

Цетради по консерватизму

ISSN 2409-2517

[№ 3 2024]

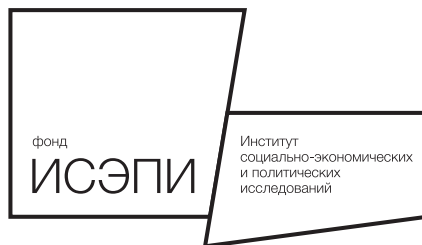
Французские учителя
для русской самобытности

фонд
ИСЭПИ

Институт
социально-экономических
и политических
исследований

Альманах

[Октябрь 2024 г.]



Французские учителя для русской самобытности

{ Октябрь 2024 г. }

ЦетраццИ

по консерватизму

{ № 3 2024 г. }

Москва
Некоммерческий фонд – Институт
социально-экономических и политических
исследований (Фонд ИСЭПИ)
2024

*В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования и науки Российской Федерации журнал включен
в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы научные результаты диссертаций
на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук по отраслям
5.5 – Политические науки, 5.6 – Исторические науки,
5.7 – Философские науки.*

Рекомендовано к печати
Экспертным советом Фонда ИСЭПИ

Редакционный совет
Д.В. Бадовский, А.Д. Воскресенский, А.А. Иванов,
М.А. Маслин, Б.В. Межуев, А.Ю. Минаков, Р.В. Михайлов (гл. редактор),
Е.Н. Мощелков, Л.В. Поляков (председатель), С.В. Перевезенцев, М.В. Ремизов,
А.С. Ципко, А.Л. Чечевишников, М.М. Шевченко, А.А. Ширинянц, А.В. Щипков.

Тетради по консерватизму: Альманах. – №3. – М.: Некоммерческий фонд – Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ), 2024. – 340 с.

Очередной выпуск альманаха «Тетради по консерватизму» посвящен французской консервативной мысли, точнее, тем ее направлениям, которые пока еще слабо изучены в нашей стране, а также образу России в ней. Особый акцент делается на легитимизме первой половины XIX века, позиции французских и в целом европейских консерваторов межвоенного периода XX века и взглядах современных французских мыслителей, заявляющих в той или иной мере о своем традиционализме и консерватизме.

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77 – 67506.

© АНО «Средство массовой информации
Альманах “Тетради по консерватизму”», 2024
© Некоммерческий фонд — Институт
социально-экономических и политических
исследований (Фонд ИСЭПИ), 2024

Р.В. Михайлов
От редакции
9

Л.В. Поляков
Слово к читателю
11

Раздел первый

Франция и Европа: путь искушений

А.М. Руткевич
Консерватизм и фашизм в Европе 1920–1930-х годов
15

Д.Т. Бабошин
Европа перед вызовом: 1930-е годы в рецепции Дени де Ружмона
73

Дени де Ружмон
Дьявол-демократ (фрагмент из книги «Дьявольская часть»)
84

В.Л. Близнеков
Святая Жанна Д'Арк – символ французского религиозного мессианизма
97

Д.С. Моисеев, С.П. Артеев, М.И. Сигачев
Развитие, традиция, эволюция: археофутуристическая концепция Гийома Фая
107

И.В. Игнатченко
Французские легитимисты в оппозиции, 1830–1873
119

С.В. Перевезенцев
Европейская русофобия XVIII века: «Огромное Московское государство
будет унижено и принуждено к приличному миру»
133

А.Ю. Полунов
Консерватор и республика: к вопросу о взаимоотношениях
К.П. Победоносцева с французскими общественными деятелями
в конце XIX – начале XX века
147

Раздел второй

Франция и Россия: надежды и разочарования

Пьер Паскаль
Крестьянка Русского Севера
159

Д.С. Житенёв, А.Е. Саньков
Образ России в новелле Пьера Дриё ла Рошеля «Двойной агент»
167

А.К. Камкин, М.И. Сигачев
Французские корни политического дискурса об идентичности и развитии
идентаризма
175

А.А. Вершинин
Армия как зеркало французского консерватизма: русские
надежды и разочарования полковника Эдмона Мандраса
185

Н.П. Таньшина
Восстание в Вандее 1832 года и русские надежды французских легитимистов
194

В.Э. Молодяков
«Авангард Европы в Азии» или «авангард Азии в Европе»?
Анри Массис о России
213

Д.Т. Бабошин
Пьер Паскаль: французский католик в большевистской России
234

В.Э. Молодяков
«Опасный союз, чреватый сюрпризами и взрывами»:
Жак Бенвиль о России и франко-русском союзе
244

Раздел третий

Франция – интеллектуальный профиль

Д.С. Житенёв

«Другая» французская литература в Советском Союзе.
Первые русские переводы Луи-Фердинанда Селина,
Пьера Дриё ла Рошеля, Анри де Монтерлана и Альфонса
де Шатобриана 1930-х годов
257

Н.А. Руткевич

Кристоф Гилли: исследование новых расколов
во французском обществе. Метрополия vs Периферия
281

Бертран Ренувен

«Французы любят величие, которое они ощущали благодаря своему
государству» – интервью Наталии Руткевич
299

Марсель Гоше

«Демократия стала бессильной, а либерализм – всеильным» –
интервью Наталии Руткевич
312

Эммануэль Тодд

«...если концепции Добра и Зла больше не существуют,
то за что вообще нам стоит бороться?» – интервью Наталии Руткевич
324

От редакции

Уважаемые читатели!

Очередной выпуск альманаха «Тетради по консерватизму» посвящен французской консервативной мысли и образу России в ее ракурсе. Сразу оговоримся: мы намеренно сосредоточились на тех направлениях данного явления, которые в нашей стране еще недостаточно глубоко изучены. «Классические» представители французского консерватизма и их видение России рассматривались на страницах альманаха неоднократно, в том числе в № 3 (2015) и № 1 (2017) по итогам третьего (Калининград) и пятого (Париж) форумов «Бердяевские чтения» соответственно.

Отметим особые акценты данного номера.

1. *Легитимизм.* Об этом политическом течении, возникшем после Июльской революции 1830 года, не только в России, но и в самой Франции до сих пор имеются весьма смутные представления. При этом попытки монархических мятежей и восстаний в различных регионах Франции, включая многострадальную Вандею, инициировались легитимистами с явной надеждой и на поддержку со стороны России. Свидетельством тому секретные миссии, направляемые Императору Николаю Первому, который в глазах французских сторонников королевской власти воплощал твердый монархический порядок, призванный служить примером всей Европе.

2. *Французская и в целом общеевропейская консервативная мысль первой половины XX века.* Особое внимание уделено межвоенному периоду и реакции на политические процессы, протекающие в постреволюционной России. В этот период консерватизм столкнулся не только с прежними вызовами со стороны массовых левых движений, получивших опору в СССР – стране победившей социалистической революции, но и с абсолютно новыми вызовами со стороны различных изводов фашистской идеологии. Политические оппоненты консерваторов зачастую пользовались «некрасивым» приемом, записывая своих соперников в ряды «фашиствующих». Специальное исследование, открывающее данный номер, на анализе обширной европейской практики проводит четкие методологические отличия, жестко отграничивая одно явление от другого.

3. *Современные представители французского консерватизма и их отношение к происходящим в Европе в целом и Франции в частности социально-политическим процессам, а также их видение русского фактора в современном мире.*

Таким образом, очередной выпуск альманаха призван восполнить имеющиеся пробелы, особенно касающиеся века минувшего. Ведь несмотря на обилие переводов, пересказов, компиляций и исследований, французская религиозно-философская, равно как и общественно-политическая мысль XX века до сих пор известна русскому читателю в неполном и искаженном виде. На смену



«коммунарам» Дюкло, Торезу и «ренегату» Гароди пришли сначала Камю, Сартр, Мальро, а вслед за ними Деррида, Фуко, Альтюссер, хотя и не похожие друг на друга, но всё же сторонники леволиберальных идей. Утонченно-духовных интеллектуалов привлекали Пьер Тейяр дер Шарден, Жак Маритен и Габриэль Марсель, а любителей интеллектуальной экзотики – Рене Генон, Фритьоф Шуон и Мирча Элиаде. Однако тем, кто не читает по-французски, остаются неизвестными или известными лишь понаслышке крупнейшие представители французской консервативной, реакционной, националистической мысли Морис Баррес, Шарль Моррас, Анри Массис, а также их последователи из числа консервативно-революционных неконформистов 1920–1930-х годов: Пьер Дриё Ла Рошель, Тьерри Монье, Робер Бразийяк. Французский читатель уже давно не может представить себе интеллектуальный пейзаж своей страны без этих мыслителей, их идей и сочинений. Будем и мы постепенно исправлять эту несправедливость в отношении отечественного читателя.

Главный редактор

Слово к читателю

В отношениях России и Европы особое место всегда занимала Франция. Французские интеллектуалы XVIII века – так называемые энциклопедисты и просветители – оказывали заметное влияние на образ мыслей императрицы Екатерины Великой, о чем свидетельствует ее переписка с Вольтером и Дидро. Французская Революция 1789 года радикально подействовала на матушку-императрицу, и последние годы ее царствования ознаменовались полным отказом от всех прежних либеральных поползновений. Режим ужесточился настолько, что Александр Радищев показался Екатерине «бунтовщиком хуже Пугачева» – так оценила она его книгу «Путешествие из Петербурга в Москву». В соответствии с такой «рецензией» Ее Императорского Величества Палата Уголовного суда приговорила Радищева к высшей мере наказания, а Сенат этот приговор утвердил. Но сама Екатерина проявила гуманизм и сострадание, заменив смертную казнь ссылкой в Илимский острог в Сибири на десять лет.

Французская Революция повлекла за собой и другие, более масштабные и трагические последствия для России. Летом 1812 года французский император Наполеон Бонапарт, корсиканец, который в какой-то момент мог оказаться на русской службе, двинул на Россию шестисоттысячную армию, набранную из четырнадцати европейских государств. Сжег Москву, позорно бежал, фактически бросив свою отступающую армию. А через два года российский император Александр Первый во главе русской армии вошел в Париж.

В 1815 году был создан «Священный союз», который во главе с российским императором стал гарантом стабильности и мира во Франции и в целом в Европе. Хотя недобитые и нераскаянные европейские «революционеры» называли его «заговором государей против народов».

Русские выступили победителями, но при этом стали активно осваивать культуру побежденных – то, что сегодня называют «мягкой силой» (soft power). Прежде всего – язык. Русский «культурный слой» заговорил по-французски значительно увереннее, чем на, казалось бы, родном – русском или российском языке. Оказавшиеся разными путями в России французские гувернеры учили детей российской знати на своем родном языке «чему-нибудь и как-нибудь». А поскольку, по точному определению одного из философов, «язык – это дом бытия», то русская правящая элита вырастала с понятиями и взглядами как бы «чужого дома».

Эту парадоксальную ситуацию очень хорошо иллюстрирует казус Петра Яковлевича Чаадаева – первого русского настоящего философа, который, однако, написал свой трактат из восьми писем на французском языке. И тоже, подобно Радищеву, удостоился высочайшей рецензии на опубликованное в русском переводе в журнале «Телескоп» в октябре 1836 года «Первое философическое письмо к одной даме». На этот раз Его Величество император Николай Первый не стал сравнивать автора с Пугачевым, а просто признал Чаадаева «сумасшедшим». Что, кстати, спасло писателя от уголовного преследования и как минимум вечной ссылки в Сибирь.



Франко-российские отношения помнят и 1854 год – Крымскую войну и осаду Севастополя. И удивительное сближение самодержавной России и республиканской Франции в правление Александра Третьего, свидетельством чему является мост его имени в Париже. И, разумеется, Антанту и русские бригады, отправленные во Францию на помощь «сердечному» союзнику императором Николаем Вторым в годы Первой мировой войны. Жива и благодарная память об эскадрилье «Нормандия – Неман» в годы Великой Отечественной, но помним мы и то, как в апреле-мае 1945 года бункер фюрера в Берлине защищали французские бойцы дивизии СС «Шарлемань».

Но не будем фиксироваться на этих военных в основном воспоминаниях о наших связях с Францией. А отметим удивительное – через два века – значительное (можно сказать, даже мощное) интеллектуальное влияние Франции на советскую интеллигенцию. Оно было ощутимо уже в 1930-х годах, когда СССР посещали Ромен Роллан, Андре Жид, Анри Барбюс и другие левые интеллектуалы. И книга Барбюса «Сталин», опубликованная в СССР в 1936 году, стала настоящим гимном вождю. Барбюс прямо заявил: «В новой России – подлинный культ Сталина, но этот культ основан на доверии и берет свои истоки в низах».

Как выяснилось через двадцать лет на XX съезде КПСС из доклада Никиты Сергеевича Хрущева, все было наоборот: культ личности Сталина был навязан и партии, и «низам». И вообще, французские левые интеллектуалы оказались в роли как бы диссидентов поневоле. Роже Гароди, Луи Альтюссер и другие «творческие марксисты» были встречены в советских партийных инстанциях крайне настороженно и даже резко критично. Получалось так, словно какие-то маргиналы и ревизионисты пытаются подорвать монополию Москвы на единственно правильную интерпретацию марксизма. К тому же марксизма-ленинизма.

Но французские марксисты, которых называли «структуралистами», призывали читать «Капитал», изучать наследие Ленина и тем самым подавали пример первому послевоенному поколению советских философов. За «Капитал» взялись такие яркие представители этого поколения как Александр Зиновьев, Эвальд Ильенков, Мераб Мамардашвили, каждый из которых в дальнейшем пошел своим путем.

А интеллектуальная Франция ввела новую философскую моду – постмодернизм. Жан Франсуа Лиотар в 1974 году издал «Postmodern condition», констатируя конец «Grand Narrative» – иными словами, конец грандиозных идеологических построений и переход к ситуации тотального релятивизма, когда anything goes. Для советских философов открылось новое поле деятельности. Под предлогом критики буржуазной философии начали изучать деконструкционизм Жака Даррида, шизоанализ Жюльена Делеза и Феликса Гваттари, лингвоструктуралистский неофрейдизм Жака Лакана, работы Жана Бодрийяра. Особенно популярен был Мишель Фуко – в строгом смысле не постмодернист, но шедший как бы в этой волне. Вообще французы в 1960–1980-х годах заметно доминировали на философском и социологическом поле и в Европе, и в СССР.

За последние сорок лет это влияние заметно ослабло, в том числе потому, что с распадом СССР «буржуазная философия» вообще и французская в частности перестала восприниматься как «запретный плод». Но именно потому, что французская мысль перестала восприниматься в качестве обязательной моды, появилась возможность рассмотреть не только персонажей, эту моду воплощающих, но и более широкий интеллектуальный контекст. Собственно эту задачу призван отчасти (только отчасти!) решить очередной номер наших «Тетрадей по консерватизму». Читатель сможет познакомиться с новыми именами, представляющими современную французскую философско-социологическую мысль. В том числе с помощью их прямой речи: ради этого в номер включены интервью с некоторыми первоклассными французскими интеллектуалами. Так что чтение будет увлекательным – не откладывайте.

Франция и Европа: путь искушений

【 Раздел первый 】

А.М. Руткевич

Консерватизм и фашизм в Европе 1920–1930-х годов

Д.Т. Бабошин

Европа перед вызовом: 1930-е годы в рецепции Дени де Ружмона

Дени де Ружмон

Дьявол-демократ (фрагмент из книги «Дьявольская часть»)

В.Л. Близнеков

Святая Жанна Д'Арк – символ французского религиозного мессианизма

Д.С. Моисеев, С.П. Артеев, М.И. Сигачев

Развитие, традиция, эволюция: археофутуристическая концепция Гийома Фая

И.В. Игнатченко

Французские легитимисты в оппозиции, 1830–1873

С.В. Перевезенцев

Европейская русофобия XVIII века: «Огромное Московское государство будет унижено и принуждено к приличному миру»

А.Ю. Полунов

Консерватор и республика: к вопросу о взаимоотношениях

*К.П. Победоносцева с французскими общественными деятелями
в конце XIX – начале XX века*



Консерватизм и фашизм в Европе 1920–1930-х годов

Когда речь идет об идеологиях, мы вынужденно используем абстрактные термины, за которыми стоят самые многообразные исторические феномены. Всем нам понятно, что слова «либерал» или «социалист» применялись к людям самых разных политических и экономических воззрений. Даже если не рассматривать все разновидности социалистических доктрин XIX–XX веков, а один лишь марксизм, то мы обнаруживаем, что взгляды ближайших друзей и сотрудников Маркса и Энгельса из рядов немецкой социал-демократии разошлись с будущими коммунистами, а сами они стали очерняться как «реформисты» и «ревизионисты». Однако и в «ленинской гвардии» обнаружились «уклоны», представители коих ненавидели и преследовали даже больше, чем каких-нибудь «реакционеров». В дальнейшем маоизм в КНР отличался от идеологии «чучхе» в КНДР, правление Кадара в Будапеште не походило на порядки Чаушеску в Бухаресте, а в самом СССР политический режим 1920-х отличался от сталинского 1930–1940-х, а «развитой социализм» 1970–1980-х никак не был неким «диалектическим синтезом» предшествующих фаз развития. Все эти режимы объединяли лишь клятвы верности единой доктрине, только трактовалась она в зависимости от потребностей места и времени.

В либерализме не было и такого единомыслия. Либералы бывали и фритредерами, и протекционистами, кейнсианцами и монетаристами, революционерами и охранителями. Нынешние «неолибералы» радикально расходятся с «социальным либерализмом» 1950–1970-х годов, не говоря уж о либералах XIX столетия. Некогда они отстаивали невмешательство государства в личную жизнь, *privacy*, сегодня проповедуют ювенальную юстицию, обязательное школьное воспитание в духе «гендерного многообразия», *woke* и т.п. О быстроте перемен говорит хотя бы то, что европейские партии, именуемые ныне «фашистскими» (возглавляемые Ле Пен во Франции, Мелони в Италии, Vox в Испании и AfD в ФРГ) по своим программам близки даже не консерваторам, а либералам полувековой давности.

С консерватизмом ситуация еще более сложная, поскольку эта идеология всякий раз отсылает к традициям, а они не тождественны в разных странах да еще и в разные периоды времени. Однако при всех этих различиях в пространстве и во времени эволюция консервативных партий и движений на протяжении XIX столетия хорошо известна. Если исключить Великобританию (а вслед за ней и США), то в континентальных странах Европы консерватизм начинался как идеология сохранения монархий, иногда их реставрации, выражая интересы оставшихся сословий «старого порядка». Но к концу XIX столетия ситуация была уже иной. Развитие индустриальной цивилизации, экономическое господство буржуазии, усиление национальных государств, перешедших к империалистической экспансии и вступивших в конфликт друг с другом, – все это сказалось на политических

Руткевич Алексей Михайлович, доктор философских наук, профессор, научный руководитель факультета гуманитарных наук НИУ «Высшая школа экономики». E-mail: arutkevich@hse.ru



программах тех консервативных партий, которые вынуждены были приспосабливаться к системе парламентских выборов, откликаться на запросы своих избирателей. Поэтому они вступили на путь, предсказанный еще в начале 1820-х годов Ф. Гизо, первым представителем либерального консерватизма¹. Происходила своего рода «национализация» монархий, в рамках которых дворянство сохранило ряд привилегированных позиций (армия, дипломатия, двор и т.д.), но вступило в союз с поднявшейся буржуазией. К концу XIX века консервативные партии чаще всего выражали интересы уже всех крупных аграриев, к каковым относились не только дворяне, и немалой части городских слоев. Изменились и основные ориентиры во внешней политике. Если к середине этого столетия еще сохранялись представления времен Священного союза, а придворные разных стран предпочитали общаться на французском языке, то к концу века они примыкали к партиям либеральных буржуа, разделяли их национализм и империализм.

Об империализме великих держав как причине Первой мировой войны написано немало, причем в либеральной историографии чаще всего на скамье подсудимых оказываются относимые к «старому порядку» военные и придворные элиты², тогда как о «капиталистическом переделе мира» и вине буржуазных партий писали социалисты и коммунисты. Начали они это делать еще до войны, продолжили во время боев: Гобсон и Гильфердинг, Бухарин и Ленин считали монополистический капитал – в первую очередь финансовый – ответственным за империалистическую войну.

Все такого рода коллективные осуждения являются скороспелыми обобщениями. Среди либералов хватало пацифистов, наиболее дальновидные монархисты были противниками войны (достаточно вспомнить записку П. Дурново), социалисты на своих съездах продолжали принимать декларации в духе интернационализма. Однако не было случайностью и то, что в августе 1914 года представители всех партий в подавляющем большинстве своем голосовали за военные кредиты. Все они были патриотами, все указывали на то, что война с их стороны оборонительная и справедливая. Тому, что социал-демократы оказались «оборонцами», способствовала эволюция социалистических партий под конец «прекрасной эпохи». В Англии среди «фабианцев» уже раздавались голоса о правомерности социал-империализма, во Франции социалисты провозглашали «святым» дело освобождения Эльзаса и Лотарингии от «немецкой военщины».

Вспоминать Первую мировую войну приходится потому, что в ее результате рухнули империи, а вместе с ними утратили свое положение консервативные элиты. Это относится прежде всего к проигравшим в войне монархиям: с карты исчезли царская Россия, Германский Рейх, Австро-Венгрия. На их место пришли буржуазные республики, но и они столкнулись с угрозой революций, подобных российской. Пришлось обращаться к офицерам и юнкерам, чтобы остановить продвижение коммунистического «проекта».

Мы оставляем за скобками вопрос о том, шла ли речь о преодолевающей капитализм социалистической революции или о революции в аграрном обществе, в которой мобилизовавшие относительно небольшой слой промышленных рабочих профессиональные революционеры под марксистские лозунги установили диктатуру, которая мало чем

¹ См. ранний его текст [10].

² Некоторые либеральные авторы отходят от этой примитивной схемы. Как писал Р. Арон: «Война 1914 г. вспыхнула и приобрела чрезвычайный размах, когда Европа переживала переходную фазу от традиционных и династических государств к государствам национальным. Скорее столкновение принципов, а не какой-то один принцип сам по себе, вызывает усиление и умножение войн» [2, с. 360]. Иначе говоря, на капиталистические противоречия буржуазных наций наложилось династическое притязание, меркантилистские представления элит и т.п. Эта книга примечательна тем, что в ней подробно опровергается ленинская версия империализма, в которой борьба за колонии увязывается с вывозом капитала, а тем самым финансовый капитал становится главным ответственным за развязывание мировой войны. С этой версией явным образом связаны будущие трактовки фашизма как орудия финансового капитала.

напоминала теоретические выкладки Маркса, зато имела огромное сходство с немецкой мобилизационной экономикой времен войны, то есть с государственным капитализмом, бюрократически управляемым новой элитой. То, что этот строй был не слишком похож на мечты социалистов о «свободных ассоциациях трудящихся», пролетариат не имел никакой власти, а партийная иерархия очень быстро похоронила «демократию советов», хорошо известно. К тем, кто считал верной теорию, согласно которой по незыблемым законам экономики произойдет переход к коммунистической формации, равно как и к тем, кто предвидел «тысячелетний Рейх» в силу особых свойств арийской расы, верны слова: «Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах».

Для нас значимо лишь то, что разлад капиталистической экономики создал революционную ситуацию, а революция неизбежно вела к кровавой гражданской войне – ее в странах Европы хотели избежать не только буржуа и помещики, крестьяне и ремесленники, но и значительная часть объединенных в профсоюзы промышленных рабочих (им было «что терять», а потому Ленин с ненавистью писал о «рабочей аристократии»)¹. Подавить вооруженные восстания могла только сила, но армии в проигравших войну странах развалились, а в едва возникших на обломках империй небольших национальных государствах только формировались. Возникновение фашистских движений и партий связано прежде всего с этим страхом разных социальных групп перед лицом революции.

Силы контрреволюции были неоднородны во всех странах Европы, более того, трудно сказать, кто сыграл большую роль в подавлении коммунистических выступлений, так называемые силы реакции или умеренные «левые». Первый президент Веймарской республики, социал-демократ Эберт прославился высказыванием: «Я ненавижу революцию как грех», а принадлежавший к той же СДПГ министр обороны Носке получил прозвище «кровавая собака», подавив выступления «спартаковцев» и левых социалистов. Но те, кого они привлекли к этому подавлению (Freikorps, будущие участники капповского путча и т.п.), ненавидели всех социалистов, да и не только их – все «левые», включая относимых к ним либералов и даже католическую партию «Центр», были партиями «системы», то есть подписантами и исполнителями Версальского договора, авторами конституции Веймарской республики. Их ненавидели и контрреволюционеры, и те, кто в дальнейшем сделали фашистами.

Среди противников социалистических революций мы обнаруживаем не только реальных или воображаемых «эксплуататоров». Европейские крестьяне и мелкие собственники и до войны не слишком жаловали социалистов и профсоюзы; во время войны две трети армий составляли именно выходцы из этих слоев. Обладавший даром предвидения М. Вебер еще в июне 1918 года говорил на лекции австрийским офицерам, что при попытке социалистической революции будет разрушено государство, но на его развалинах революция «может привести к господству заинтересованных лиц из крестьян и мелкой буржуазии, то есть радикальнейших противников всякого социализма» [6, с. 339]. Националисты всех европейских стран помнили куплет «Интернационала» (исчезнувший в русском переводе): «И если эти каннибалы упорно будут делать из нас героев, то они скоро узнают, что наши пули предназначены для собственных генералов». Итальянские «сквадристы» из штурмовых рот (*arditi*) мировой войны и воевавшие во Freikorps в 1919–1921 годах немецкие молодые офицеры и юнкера стали костяком будущих фашистских партий. Они обещали не столько крупному капиталу, сколько городским средним слоям и крестьянам не допустить до власти желающих «обобществить» их собственность, превратив «империалистическую войну в гражданскую»,

¹ Ведущие теоретики левого крыла социал-демократов – Карл Каутский в Германии, Отто Бауэр в Австрии – уже к 1920 году резко негативно характеризовали большевизм как варварство и даже как поражение социализма, как рецидив антигуманизма, охваченного безумной верой во всемогущество государства [резюме их книг см. 23, с. 94–95].

и выполнили это обещание. На союз со старыми элитами они пошли далеко не сразу, да и не были просто «наемниками капитала», как их представляла тогдашняя «левая» пропаганда и представляет нынешняя историография того же толка.

Исторические исследования в той или иной степени всегда зависят от идеологических установок исследователей, но в случае фашизма такая зависимость оказывается фатальной. Доныне господствуют две доктрины, в 1930-х годах видевшие в фашизме своего главного врага. Именно тогда появляется теория тоталитаризма, которую либералы применяют как против фашизма, так и против коммунизма, тогда как марксисты своим учением о классовой борьбе в эпоху империализма наносят удар не только по фашизму, но и по либерализму. Главной причиной появления фашистских режимов объявляется классовый интерес крупного капитала, который отстаивается и либералами, на время кризиса передающими власть фашистской диктатуре. Марксисты поныне принимают данное Димитровым определение фашизма как диктатуры «самого финансового капитала». К этому добавляется то, что все «левые» склонны употреблять слово «фашизм» в самых разных контекстах, по отношению к любым противостоящим им силам. Начало этому положили еще идеологи и пропагандисты большевизма, именовавшие «социал-фашистами» немецких социал-демократов, писавшие о «военно-фашистском заговоре» советских военачальников, «фашистской своре» троцкистов и т.д. У них осталось немалое число последователей в наше время. В США «левые» именуют фашистами и сторонников Трампа, и тех, кто негативно смотрит на cancel culture, woke и им подобные «плоды просвещения». В Западной Европе к фашистским относят партии, которые выступают против *нелегальной* иммиграции, исламо-гошизма и gender studies в университетах, а иной раз (что только отягощает вину перед «всеми прогрессивным человечеством») и против распространяемой в качестве окончательной истины гипотезы о неизбежности климатической катастрофы как результата человеческой хозяйственной деятельности.

В 1930-х годах подобной «левой» публики еще не было, а потому тогдашние социалисты и коммунисты именовали фашистами все же не кого попало, а политических противников, которые в ответ на революционное насилие отвечали силой, а не болтовней в парламентах и газетах. Таковыми оказывались представители самых разных контрреволюционных организаций и правительств, которых скопом именовали фашистами, а на реальных представителей фашистских партий переносился обобщенный образ «капиталистического эксплуататора». Уже в то время подобные пропагандистские смешения порождали сомнения даже в рядах сторонников социалистического проекта. Вызывал вопросы и тот портрет «фашиста», который рисовали левые. Еще в 1937 году Дж. Оруэлл, в то время несомненный социалист, обратил внимание в очерке «Дорога на Уиган-пирс» на неэффективность и глупость марксистских интеллектуалов, рассказывающих рабочим в своих изданиях и листовках, что фашисты являются врагами пролетариата, желающими его поработить. Эти рабочие, сталкиваясь с фашистами, обнаруживали, что те сами чаще всего трудятся в поте лица своего и искренне сочувствуют пролетариям, озабочены «рабочим вопросом», стремятся его решить в корпоративном государстве, да и говорят с рабочими на понятном им языке, а не на жаргоне «политэкономии социализма».

Об экономических, социальных и политических проблемах капиталистических стран после Первой мировой войны написаны библиотеки, в которых несколько рядов занимают книги об истоках фашизма. Немало сказано относительно отличий итальянского фашизма от национал-социализма, равно как от других партий и движений, относимых к обобщенному понятию «фашизм». Воспроизводить содержание даже той малой части этих трудов в данной статье нет ни возможности, ни необходимости. Речь пойдет не о множестве партий, движений или групп, но о тех странах континентальной Европы, в которых были те режимы, которые заслуженно (или не всегда заслуженно) назывались фашистскими,

в которых сформировалась и господствовала соответствующая названию идеология. Если брать консерватизм, то затрагивается только та его разновидность, которая в межвоенный период продолжала доминировать на континенте, – правые контрреволюционные движения и партии, чаще всего монархические и националистические, характерные именно для этой эпохи. Либеральный консерватизм, конечно, тоже существовал, равно как и первые ростки того, что после Второй мировой войны стало называться христианской демократией, социальным консерватизмом. С фашизмом не могли бы сблизиться ни славянофилы, ни тори середины XIX столетия, равно как консерваторы 1970-х годов, тогда как общая память о Первой мировой войне и общее участие в контрреволюции после нее сближали часть консерваторов с фашизмом.

Различие консерватизма, будь он сколь угодно «реакционным», и фашизма кажется чем-то самоочевидным, если отбросить идеологические отождествления с последним самых различных политических образований, произведений культуры и искусства, взглядов, типов личности (вспомним хотя бы «Авторитарную личность» Адорно). Сами фашисты четко отличали себя от «реакционеров»: в нацистском гимне воспеваются товарищи, погибшие от рук красных и реакции (*Kameraden die Rotfront und Reaktion Erschossen*), испанские фалангисты устраивали покушения на монархистов даже после победы над республиканцами. Еще чаще обнаруживаются резко негативные и пренебрежительные оценки со стороны консерваторов, равно как и подавление оружием выступлений фашистов, запрет партий, их вооруженных отрядов, газет. Однако обнаруживаются не только временные союзы в борьбе с левыми, но также переходные образования, сходство позиций в области идей и ценностей¹, группы интеллектуалов, вроде части немецких младоконсерваторов, которые специфичны для каждой страны. Разумеется, далеко не все они станут предметом разговора, поскольку, например, для обсуждения так называемого австро-фашизма в его эволюции от убитого нацистами Дольфуса, которого еще никак не отнесешь к фашистам (вопреки идущей от левой – исходно австро-марксистской – интерпретации), к корпоративному государству Шушница ставит вопросы, ответ на который можно получить только посредством детального исследования. Я склоняюсь к тому, что никакого «клерикального фашизма» не было, а О. Шпанн не принадлежал к фашистским мыслителям, но меня могут оспорить историки, которые профессионально над темой работали. У меня нет цели охватить все страны, в которых возникали фашистские партии и группы². Тем более нет намерения давать моральную оценку политическим деятелям и мыслителям прошлого, поскольку речь идет о людях столетней давности, решавших проблемы *своего времени*. Достойные люди встречаются среди либералов, социалистов и консерваторов в примерно равной пропорции с подлецами, а дегуманизация политических оппонентов всегда была инструментом последних.

¹ Даже родственной ментальности молодых людей, которые уже были ветеранами войны, не находивших себе места в обществе, презиравших мирных обывателей и ненавидевших политиков, подписавших «позорный мир». Они были готовы применять оружие в подступающей гражданской войне, участвовали в путчах, иной раз и в терактах. Неплохой портрет этой группы в Германии прописан в автобиографическом романе Эрнста фон Заломона, переведенном у нас под заглавием «Вне закона» (немецкое *“Die Geachtete”* означает, скорее, «Отверженные»).

² Великобритания и США предметом рассмотрения не являются. Причина не столько в особенностях фашистских партий и движений – они имели примерно ту же идеологию. Исторически сложилась иная, чем на европейском континенте, политическая культура, британские тори могли быть в то время страстными монархистами, но им не мог прийти в голову проект установления авторитарной монархии с отсылками ко временам Стюартов. Для англосаксов характерен исключительно либеральный консерватизм, с которым соперничали левые либералы (радикалы XIX века в Англии), а затем умеренные лейбористы. Правящий класс в те годы чувствовал себя достаточно уверенным в своих силах – он мог подавить всякие попытки устроить социалистическую революцию, не прибегая к услугам фашистов.



Тем не менее сближение части консерваторов с фашистскими партиями и движениями не вызывает ни малейших сомнений. Имелись общие враги, вроде социалистов и коммунистов. Существовали пересечения и на уровне идей: консерватизм рождался как реакция на «принципы 1789 года», фашисты не единожды в своих программных документах (скажем, в итальянской «Доктрине фашизма») прямо отвергают наследие французской революции. Доныне ведутся споры о финансировании и других формах поддержки фашистов консервативными элитами, а если брать не только марксистов всех деноминаций и сект, но даже леволиберальный mainstream в историографии¹, то ярлык «фашист» используется предельно широко и налагается на самых разных политиков, на организации и идеи 1920–1930-х годов. Данное эссе никоим образом не является апологией консерваторов той поры – они в таковой и не нуждаются. Это попытка посмотреть на взаимные отношения указанных политических движений в межвоенный период.

Сразу следует сказать, что в целом я солидарен с той оценкой, которую дал в книге «Великая трансформация» один из создателей институциональной экономики К. Поланьи, который был свидетелем возникновения и развития фашизма, его несомненным оппонентом, эмигрировавшим в Великобританию. Он считал и большевизм, и фашизм ответами на кризис рыночной экономики, только ответами неудовлетворительными – лекарствами, которые только усугубляли болезнь и вели общество к смерти. В Европе 1920-х годов ответом на «пролетарский социализм» большевистского образца была контрреволюция со стороны прежних элит, к которой прибавлялось их ожесточение в тех странах, которые желали пересмотра итогов Первой мировой войны. «Контрреволюция выполняла главным образом политическую работу, выпадавшую, естественно, на долю тех классов и групп, которые чего-то лишились, – династий, аристократии, церкви, капитанов тяжелой промышленности – и связанных с ними партий» [26, с. 260]. Фашистские партии представляли собой революционное движение, направленное не только против коммунизма, но также против консерваторов. Они предлагали свои силы для борьбы с коммунистами и социалистами, даже притязали на ведущую роль в этой борьбе, но стоявшие за контрреволюцией элиты по всей Европе справились с революцией сами, не прибегая к услугам фашистов. Исключением была Италия, а потому итальянский режим на протяжении десяти лет считался специфически итальянским феноменом. Вывод Поланьи таков: «Европейский фашизм 1920-х гг. <...> лишь по стечению обстоятельств связан с национальными и контрреволюционными тенденциями. Это пример симбиоза самостоятельных по своим истокам движений, которые усиливали друг друга и создавали впечатление сущностной близости, будучи в действительности внутренне отличными по природе» [26, с. 262]. Место фашизма определялось состоянием рыночной экономики. Первые четыре-пять лет после войны к услугам фашистов прибегали изредка и лишь для того, чтобы подавить прямое насилие слева. В 1924–1929 годах стабилизация и кратковременный расцвет рыночной экономики отодвинули фашистские партии на роль маргиналов. После 1930 года экономику поразил всеобщий кризис, что превратило фашизм в мировую силу. «Прежде фашизм был лишь одной из особенностей итальянской авторитарной государственной системы, в остальном не слишком отличавшейся от более традиционных форм правления. Теперь же фашизм заявил о себе как об альтернативном решении ключевых проблем индустриального общества. Революцию общеевропейского масштаба возглавила Германия, а фашистский выбор дал ей энергию для борьбы за мировое господство, охватившую вскоре пять континентов» [26, с. 264]. До крушения мировых рынков идеи хозяйственной автаркии и корпоративного государства казались набором дилетантских клише, к концу 1930-х годов они сделались популярной

¹ Примером может служить переведенная у нас книга [7].

и авторитетной доктриной, равно противостоящей либеральной модели рыночной экономики и плановому социализму советского образца.

Прежние элиты были отчасти уничтожены, отчасти отодвинуты от власти, отчасти интегрированы революционными фашистскими партиями. Если мы всерьез рассматриваем феномен революции, отличая ее как от дворцового переворота или путча, так и от прогрессистской мифологии, в которой революции являются «локомотивами истории», влекущими ее «все дальше и дальше» (а заодно и «все выше и выше») по пути «эмансипации», то мы останавливаемся на том, что революции ведут к радикальной смене элит, к ряду социально-экономических и политических трансформаций, сопровождающихся институциональными и идеологическими преобразованиями. Успешные мятежи меняли правящую верхушку¹, революции трансформировали все общество. Вменяемые итальянские и немецкие историки уже достаточно давно рассматривают фашистские движения как революционные² – это не делает таких историков сторонниками или восхвалителями фашизма. В отличие от множества *pronunciamientos* в странах Латинской Америки, в Мексике с 1910 по 1917 год происходила революция, определившая путь развития страны в XX столетии. Можно быть противником большевизма, но считать произошедшее в 1917 году именно революцией, а не переворотом.

Фашизм и национал-социализм привели к огромным переменам не только в политике, но также в экономике и культуре. Трудно говорить о верхушечном перевороте, когда за партию Муссолини на последних свободных выборах и при наличии серьезных конкурентов проголосовало в 1924 году 63% избирателей. НСДАП на выборах в марте 1933-го поддержали почти 44%. В первые полтора десятилетия фашистской диктатуры в Италии происходила быстрая модернизация страны, немецкий историк Э. Нольте нашел для режима удачное словосочетание «диктатура развития» [см. 43, с. 278–283]. Термины «реакционеры», «мракобесие» и им подобные трудно употреблять по отношению к режимам, делающим ставку на развитие техники, промышленности, транспорта, киноиндустрии и т.п. Если брать поддержку фашистских партий со стороны разных профессиональных групп, то на начало 1930-х годов наивысший процент членов НСДАП (да и членов СА) был среди немецких медиков, а победу на выборах во всех студенческих союзах (кроме католического) в 1931 году одержали молодые нацисты.

Повторять советские штампы о «лавочниках» и «люмпенах» могут только невежды; тем, кто повторяет раз за разом слова о демагогии реакционеров, стоило бы задуматься над тем, чем от нее отличается демагогия революционеров, обещающих «светлое будущее». Европейские средние классы 1930-х годов не состояли из клинических идиотов и верно понимали, какое им грозит будущее, если реализуется то, о чем поется в «Интернационале» и в какой-нибудь «*Kominternlied*», провозглашающей как цель завоевание всего мира (*Wir Erobern die Welt*) и обещающей пришествие *Weltsowetunion*. К тому же

¹ Известны слова Тертуллиана: «Нигде люди так быстро не повышаются в чинах, как в скопищах мятежников, где мятеж считается заслугой». Политические революции начинаются с мятежа, но они им не исчерпываются, а трансформация социальных институтов чаще всего отличается от тех проектов, которые замыслились революционерами.

² У нас недавно переведена обобщающая итальянские исследования фашизма работа Э. Джентиле [12], а также книга Х. Мёллера [17], в которых ряд страниц посвящен рассмотрению фашизма как революционного движения. Переход от предельно идеологизированного к научному рассмотрению фашизма произошел в Италии в 1960-х годах, тогда как в ФРГ он начался позже. Направлялась эта «историзация» максимой видного итальянского историка Ренцо Де Феличе: перед тем, как критически судить фашизм, нужно сначала в точности понять его историческую реальность. Можно и нужно дистанцироваться от фашизма, но в задачи историка входит прежде всего рассмотрение прошлого с дистанции. Де Феличе в своей огромной биографии Муссолини первым заговорил о том, что Муссолини оставался революционером по крайней мере до конца 1920-х годов [см. 46].



коммунисты в ту пору были людьми хотя бы честными и прямо заявляли о своих методах, в отличие от сегодняшней «левой» тусовки. Они говорили о своем праве физически уничтожать классовых врагов и насколько могли, занимались этим. Листовки и брошюры «Антибольшевистской лиги» в Германии знакомили немцев с речами, вроде той, что была произнесена Зиновьевым в Смольном в сентябре 1918 года, говорившим, что из ста миллионов жителей Советской России нужно завоевать на свою сторону 90, а с остальными 10 миллионами и разговаривать не стоит, их нужно уничтожить.

От всех консервативных и реакционных движений и партий, итальянский фашизм и германский национал-социализм отличались тем, что они мобилизовали массы, политизировали тех, кто ранее в политике не участвовал или не был к ней допущен. Новые элиты, не разделявшие ценностей существовавших, отвергавшие прежние авторитеты, оспаривали их права на власть, предлагая проект ранее невиданного строя, некой спасительной для всего Запада ступени цивилизации. Э. Джентиле добавляет к этому описанию фашизма как «революционного феномена» то соображение, что средние слои (не только «мелкая буржуазия», «лавочки» в марксистской литературе) обладают собственной социальной динамикой и могут выступать самостоятельно, конфликтуя то с крупным капиталом, то с рабочим классом (пятая глава второй части упомянутой его книги). Историки давно выяснили, что крупный капитал практически не финансировал Муссолини, а Гитлера начали снабжать средствами только с 1931 года, причем немногие его представители, вроде Ф. Тиссена¹. Основные средства эти партии получали от мелких и средних собственников, членских взносов массовой организации, но уж никак не от «финансового капитала» марксистских учебников и газет. Да и международный капитал, прежде всего американский, стал финансировать нацистскую Германию уже после прихода Гитлера к власти. И не потому, что так уж любил нацистов, а по той простой причине, что в стране наступил порядок и вложения стали давать прибыль.

И в фашистской Италии, и в нацистской Германии дворянство окончательно лишилось своих привилегий и начало формироваться то, что впоследствии получило наименование *consumer society*². Среди выдвиженцев НСДАП было немало выходцев из рабочих, скажем, гауляйтер Кох, либо мелких служащих, как Борман; даже в высшем офицерстве преобладали не носители дворянских семейств (с приставкой «фон»), а бывшие младшие офицеры и унтер-офицеры Первой мировой войны, выдвинувшиеся в то время, когда потомки юнкеров поределели. Фельдмаршал Модель был сыном провинциального учителя музыки, а Паулюс происходил из семьи тюремного счетовода. Если посмотреть на военную, политическую и полицейскую верхушку режима, то в ней больше всего было отпрысков школьных учителей. Именно эти «разночинцы» продвигались на высшие посты в вермахте. В других же сферах общества, куда менее заполненных дворянами, отошли на второй план не только они, но и представители прежних патрицианских буржуазных родов. Пришедший к власти слой функционеров НСДАП «отличали мелкобуржуазный, пролетарский, а также аграрный компоненты; лидеры национал-социалистов заступили в 1933 году на место ненадолго реставрированного слоя старых руководителей, а также парламентско-демократической элиты» [17, с. 229]. Если слово «демократия» толковать

¹ Прочие «короли» металлургии, начиная с Круппа, стали делать это лишь с весны 1933 года, после прихода нацистов к власти. И партия Муссолини, и НСДАП до захвата власти основные средства получали от взносов членов этих партий, которые были массовыми и состояли из представителей городской и сельской мелкой буржуазии, *middle class*, часто *lower middle class*. См. исследование по этому поводу [50]. Ранее крупный капитал финансировал конкурентов Гитлера: либералов, партию Центра и прежде всего правых националистов под руководством Гугенберга.

² О массовом обществе в нацистской Германии, включая и феномен массовой культуры, см. книгу О.Ю. Пленкова [24].

вслед за А. де Токвилем, то есть не как форму правления, а состояние общества, противоположное аристократии, то фашизм был демократичен и на свой манер меритократичен – он растил свою элиту из всех слоев общества. В том числе и ту часть элиты, которая несла ответственность за преступления этих режимов.

Провозглашаемым идеалом было «единство народа» поверх классовых различий, а воспитание новых граждан мыслилось как формирование «целостного человека», «героя труда и борьбы». В терминах Э. Фёгелина мы имеем дело с «внутримировой религией спасения», обещающей прогресс в рамках порядка. Подобно коммунистической версии такой десакрализованной религии, фашизм был нацелен против христианства. Абстрактные конструкции интеллектуалов («класс», «нация», «раса») противопоставлялись традиционным религиям – имманентное спасение ставилось на место трансцендентного, обмирщенная эсхатология утверждала окончательное царство на Земле. Такая религия предполагала революционное преображение индивида в духе «мировоззрения» (любимое слово и нацистов, и коммунистов), воспитание «нового человека», готового трудиться и умирать в борьбе за цели движения. Не случайными были сравнения таких партий с религиозными военными орденами средневековья, равно как и культ вождя, замещающего божество. Взаимная ненависть коммунистов и национал-социалистов восходит в немалой степени к тому, что столкнулись две версии такой политической религии, а примирение их было столь же маловероятным, как прекращение взаимной резни во времена войн за веру.

Так как в мои задачи никак не входит даже краткое рассмотрение фашистских режимов, а одно лишь отношение консервативных элит к фашизму в период до и после захвата ими власти, я ограничусь несколькими точечными зарисовками, так сказать, case studies в нескольких европейских странах. Но начну я со случая русской белой эмиграции.

Русская эмиграция

Начинать приходится с недавней пропагандистской кампании в СМИ, к которой можно отнести блоги десятков коммунистических «говорящих голов». И.А. Ильина на протяжении нескольких месяцев именовали «фашистским философом» и даже «прихвостнем нацистов». Начинали эту кампанию лица, явно связанные с беглым олигархом, развили те, кто славит СССР и в особенности И.В. Сталина. Разумеется, среди «левых» блогеров хватает тех, кто кормится с того же зарубежного стола: данный олигарх начал финансировать коммунистов еще в 2003 году, поняв, что тратить деньги на либералов нерационально, а раскачивать ситуацию в стране можно через тех, кто провозглашает его самого «классовым врагом». Так как Президент России не единожды сочувственно цитировал Ильина и был инициатором возвращения праха философа на родину, то кампания была нацелена на дискредитацию В.В. Путина¹.

Поводом было создание в РГГУ Школы, носящей имя философа, каковую возглавил А.Г. Дугин, которого на Западе буквально демонизируют и нередко именуют фашистом. Воздержусь от характеристики воззрений Дугина уже по той причине, что он выпускает по одной-две книги в год и предстает то национал-большевиком, то неоевразийцем, то старообрядцем, то создателем «четвертой политической теории», хотя, как мне кажется, хранит верность традиционализму Р. Генона и Ю. Эвопы. Перечитывать написанное Геноном о царстве количества, а Эвопой о бунте против современного мира я не стану, равно как вникать в то, как Дугин использует тексты хоть Хайдеггера, хоть французских постмодернистов для борьбы с «сатанинским Западом», то есть с Модерном, включающим в

¹ Подобная кампания проводится не впервые. Подробнее об этом см. в статье Р.В. Михайлова «Новые тенденции в идеологии русофобии» [52].

себя и естественные науки, и техническую цивилизацию. Он следует предложенной Эволюцией стратегии «оседлания тигра» – для борьбы с европейской рациональностью следует использовать ее последние плоды. Ничего не имею против того, что высокообразованный мыслитель публикует свои труды и читает лекции, хотя сомневаюсь в том, что проректоры университетов и инженерных вузов по воспитательной работе со студентами – а именно для их просвещения создана данная Школа – будут вдохновлены программой «деколониализации России» от имени навеянного Ведантой традиционализма.

Однако в центре внимания наследников Ленина и Сталина был именно Ильин, а вся эта кампания была направлена не только против президента, но была также продолжением или ответвлением продолжающейся «битвы за историю», которая ведется против действительного или воображаемого «монархизма», «белогвардейщины», «хруста французской булки» и т.п. За отсутствием в последние несколько лет вменяемых либералов, черно-белая картина истории теперь навязывается как красно/белая, причем только «красный патриотизм» провозглашается допустимым. Так как эта борьба за прошлое ведется активными, но малообразованными людьми, то в ней более чем достаточно удивительных заявлений, которые никак не подкреплены фактами. Важнее всего обелить «вождя всех времен и народов», осудить почему-то за «троцкизм» Хрущева и Горбачева, найти «врагов народа» в каком-нибудь министерстве или в ЦБ и т.д. Один из такого сорта писателей хорошо назвал свой блог «сказы истории» – сказочников и сказочных невежд (можно подобрать другое существительное) с испитыми лицами доцентов кафедр истории КПСС и политэкономии сейчас немало и на телеэкранах. Школа имени Ильина была к тому же поводом для того, чтобы вдохнуть жизнь в партии, вроде КПРФ и «Справедливой России», которые рискуют на ближайших выборах вообще покинуть Государственную Думу. Ностальгия по СССР части старших поколений остается чуть ли не единственным электоральным активом наследников коммунистического проекта, а Ильин был одним из самых непримиримых его оппонентов.

Так как утверждавшие, что Ильин был «фашистским философом», судя по их статьям, либо вообще ничего в философии не понимают, либо их познания ограничиваются вузовским учебником советских лет, то следует сказать, что за словосочетанием «фашистский философ» все же стоит определенное содержание. Дж. Джентиле в Италии таким философом, без сомнения, был; именно он помогал Муссолини в написании «Доктрины фашизма»; был таковым в Германии А. Боймлер, приспособивший учение Ницше к нацистской идеологии. Имелись идеологи нацизма, называвшие себя философами, вроде А. Розенберга, но на деле их дилетантские писания, вроде «Мифа XX века», к философии не имеют никакого отношения. Примерно то же самое можно сказать по поводу большевистских идеологов – ни Сталин, ни Троцкий, ни Бухарин философами не были, а к достоинствам Ленина можно отнести скромность, поскольку он называл себя «начинающим философом». В случае национал-социализма, следует сказать, что слово «мировоззрение» употреблялось куда чаще, чем «философия», а слово «система» было под запретом: в нацистском лексиконе оно было закреплено за Веймарской республикой. Имелись мыслители, состоявшие в НСДАП (Хайдеггер, Шмитт, Гелен), но они не были «фашистскими философами», так как по содержанию их учения не только не совпадали, но резко расходились с данной политической доктриной. Точно так же имелись философы-марксисты, не принимавшие ни теорию, ни практику большевизма во всех его разновидностях.

Ильин был незаурядным философом, но оригинальным мыслителем он был в сравнительно узких областях. Прежде всего он прославился как историк философии, написав двухтомную работу о Гегеле. При этом к гегельянцам или даже неогегельянцам его относить можно только с множеством оговорок. Наиболее оригинальными являются его сочинения по философии права, переходящие в этику. Я укажу только на две яркие работы:

«О сущности правосознания» и «О сопротивлении злу силою». Христианский персонализм у него переходит в этическое учение об автономной личности, а уже оно становится основанием права. Его работы, которые можно отнести к философии религии, свидетельствуют о глубокой религиозности Ильина, но все же уступают произведениям таких его современников, как С. Булгаков, Н. Бердяев или Н. Лосский. Наконец, он был и политическим философом, написавшим, в том числе, немало публицистических статей. Так как он считался ведущим идеологом РОВС, входил в число тех, кого читали и почитали монархисты из числа белых эмигрантов, включая и руководителей этого союза, то именно его статьи, составившие сборник «Наши задачи», привлекли внимание российских политиков после крушения СССР.

Эти статьи популяризировал Н.С. Михалков, снявший об Ильине телевизионный фильм; в дальнейшем их цитировали самые разные патриотически настроенные политики и публицисты, включая и руководителя КПРФ Зюганова. Умиравший в пригороде Цюриха эмигрант за сорок лет до падения коммунистического режима предсказал, какие опасности ждут Россию. Внутри разложившаяся, аморальная кучка карьеристов и хапуг начнут расхватывать все, что попадет под руку; извне к этому разрушению приложит свою руку «мировая закулиса» – с тем чтобы не только обогатиться, но и максимально ослабить Россию. Понятно, что коммунисты той поры приводили только слова о «мировой закулисе», но избегали тех суждений Ильина, которые указывали на первопричину – на тот строй, который мог породить только такую элиту. Можно понять, почему Ильина ненавидят и беглые олигархи, и раздающие гранты западные фонды, и коммунисты. Поэтому его объявили «фашистским философом», не прочитав ни строчки из его философских трудов.

У Ильина в 1920-х годах были немалые симпатии к режиму Муссолини, он писал даже о том, что белое движение было некоей первой формой фашизма. Сила, которая остановила движение Италии в пропасть гражданской войны, в которой на место бессильных либералов и социалистических агитаторов (так сказать, Милюковых и Керенских) придут коммунисты, не могла не вызывать симпатий у эмигранта-монархиста. В статье 1928 года «О русском фашизме» он утверждал, что в ответ на безбожность и алчность современного мира разворачивается рыцарственное движение, которое было начато белыми в России, а продолжено итальянскими фашистами, причем белое движение более совершенно, будучи монархическим и религиозным. Всякий историк скажет сегодня, что Ильин ошибался, поскольку реальное белое движение не было ни фашистским (не вело за собой массы, да и не умело ими руководить), ни – за редкими исключениями – монархическим, ни религиозным (в отличие, скажем, от испанской контрреволюции 1936–1939 годов), да и о рыцарственности движения в целом можно было бы поспорить. Фашизм в 1920-х годах вообще казался многим исключительно итальянским феноменом, в котором многие видели нечто близкое своим идеям и в чем-то симпатичное – это относится не только к Ильину. Одновременно с ним расхваливал Муссолини посетивший Апеннины Черчилль, а другой британец, «большой друг Советского Союза» Б. Шоу находил в фашизме нечто родственное своим представлениям о «человеческом и сверхчеловеческом» и вел переписку с Муссолини. З. Фрейд подарил дуче свою книгу с дарственной надписью. Если британский прагматист Ф. Шиллер (именовавший свое учение гуманизмом) восторгался итальянским режимом той поры, то был ли он «фашистским философом»? Симпатия Дж. Р. Толкиена к испанским националистам во время гражданской войны говорит лишь о том, что английский католик предпочитал франкистов тем, кто жег церкви и расстреливал монахов, – следует ли и его записывать в «фашисты»?

Тем, кому не мешают идеологические шоры, стоит прочитать хотя бы книгу «Итальянский фашизм» (1928) такого современника тогдашних реалий, как Н.В. Устрялов, который не скрывал своих куда больших симпатий к Советской России, но должным



образом оценивал Муссолини и его режим. Как соотносить пресловутую «реакционность» режима с тем, что система образования в нынешней Италии почти без изменений сохранила все то, что было осуществлено реформой упомянутого выше фашистского философа (без кавычек) Джованни Джентиле? Если часто повторяемые слова о «террористической диктатуре» сопоставить с тем, что в 1931 году были амнистированы и выпущены почти все политические заключенные (а их было за все время режима 12 тысяч), а оставшиеся в тюрьме просидели ровно столько, сколько назначил суд, и главный теоретик коммунистов Антонио Грамши мог писать в тюрьме свой труд и вышел на свободу, то можно оценить весь размах террора. С конца 1922 года по 1940 год в фашистской Италии к смерти было приговорено 17 человек, из них казнено 9, а 8 амнистированы. Не был приговорен к смерти даже анархист, бросивший гранату в автомобиль с дуче. Кстати, превосходными вплоть до 1936 года были отношения между фашистской Италией и большевистским СССР¹. Стоило бы иногда сравнивать одни диктатуры с другими – вспоминается пословица о соломинке в чужом глазу и бревне в собственном. Резкие изменения итальянского режима начались в 1936–1937 годах и были связаны со сближением с германским Рейхом, но вплоть до свержения дуче в 1943 году Италия оставалась правовым государством. Эксцессы, произвол полиции случались, но куда реже, чем в США времен экономического кризиса, даже если не принимать во внимание практику полиции в южных штатах той поры. Террористическим государством называть этот режим у нас не больше оснований, чем характеризовать подобным образом СССР брежневских времен.

Террористической диктатурой в полном смысле слова была «Республика Сало» 1943–1945 годов, причем не только потому, что «сидела на штыках» немецкой армии и вела борьбу с партизанами. *Repubblica Sociale Italiana* была возобновлением раннего революционного фашизма с его синдикализмом, национализацией крупной промышленности, провозглашением в качестве главного врага монархии и олигархии. Союз с консервативными элитами был разорван, и фашизм вернулся к практике «прямого действия» 1919–1920 годов.

Еще меньше оснований обвинять Ильина в причастности к национал-социализму. Ему принадлежит статья «Национал-социализм. Новый дух», вышедшая в мае 1933 года. В ней он повторяет некоторые тезисы ранней публикации об итальянском фашизме, а основное содержание статьи сводится к похвале национал-социалистам за антикоммунизм и успокоению людей из русской эмиграции – национальная революция в Германии ведет не к хаосу, а к порядку. Можно говорить о том, что прозорливость в данном случае явно отказала философу. Только это верно по отношению не только к Ильину, но и ко всему тому кругу лиц в Германии, с которым он общался и в ком видел единомышленников, от кого он в какой-то степени зависел. Это были стоявшие за бывшим рейхсканцлером и вице-канцлером в правительстве Гитлера, близким президенту Гинденбургу фон Папену, прежде всего так называемые младоконсерваторы, группирующиеся вокруг журнала «Кольцо». Программу фон Папена написал принадлежащий этому кругу историк и журналист В. Шотте, спичрайтером был юрист и философ Э.-Ю. Юнг, возглавляемый Г. фон Гляйхеном «Немецкий клуб господ» был на 1932 год своего рода *think tank* правительства фон Папена. Ильин с ними сотрудничал, публиковался в журналах и газетах, близких этому клубу, участвовал в организованных им мероприятиях. В частности, он был одним из основных докладчиков на конференции 14 марта 1930 года, посвященной гонениям на религию в СССР, и выступал сразу за фон Папеном.

¹ Личная дружба связывала Муссолини не только с Л. Каменевым, побывавшим послом в Италии в 1926–1927 годах, но и с В. Потемкиным, послом в 1932–1934-м, который подписал советско-итальянский договор о дружбе, ненападении и нейтралитете, негласно направленный против нацистской Германии. В начале 1930-х годов между двумя странами было в том числе и значимое военно-техническое сотрудничество, прежде всего в области военного кораблестроения.

Младоконсерваторы изначально были невысокого мнения о Гитлере, а на 1932 год, когда тот соперничал за место рейхспрезидента с Гинденбургом, предельно резко его критиковали, в том числе и за антисемитизм. Гитлер говорил в ответ о «реакционной клике», которую намерен свергнуть национал-социализм. Ситуация изменилась к концу этого года. Сменивший фон Папена на посту канцлера фон Шлейхер стремился расколоть НСДАП и вообще убрать нацистов с политической сцены, а фон Папен, желавший вернуться в кресло канцлера, сумел убедить Гинденбурга в том, что Гитлера нужно сделать канцлером, но кабинет министров составить из близких ему и главе правых националистов Гугенбергу. Эти люди были убеждены в том, что им удастся «приручить» нацистов, использовать их для отбрасывания всех «левых», а затем распрощаться и с ними.

К маю 1933 года власть принадлежала именно этому кабинету, за ним стоял рейхспрезидент, которому беспрекословно подчинялась армия. Политика «реорганизации» (примерно так можно передать немецкое *Gleichaltung*, буквально означающее «выравнивание») только начиналась и задела пока лишь коммунистов и социал-демократические профсоюзы. Так что иллюзии у Ильина были те же, что и у немецких консерваторов. Окончательно они будут отодвинуты от власти после «ночи длинных ножей» 30 июня 1934 года, когда были расстреляны не только вожаки штурмовиков во главе с Ремом, но и фон Шлейхер, Э.-Ю. Юнг и еще ряд консерваторов. Одни, вроде Шотте, едва спаслись, другие, как сам фон Папен, лишились постов, но стали служить на более низких. Ильина не случайно уволили с поста директора Русского института в июне, а из института вообще исключили в начале июля 1934 года, сразу после этой «чистки». Он был поставлен на него немецкими консерваторами и убран вместе с их падением. За этим последовали вызовы в гестапо, запреты на публикации и т.п. свидетельства того, что Ильин сделался нежелательным элементом в нацистской Германии. Его оценка происходившего хорошо известна: в ряде СМИ приводилось письмо И.С. Шмелеву, в котором режиму дана нелицеприятная характеристика. Участвовать в антисемитской пропаганде и сотрудничать с украинскими националистами он отказался, а от Русского института требовалась именно такая деятельность.

В дальнейшем Ильин в целом принял теорию тоталитаризма и писал о тирании тоталитарного государства как худшей из возможных тираний, создающей «новый, невиданный еще режим бесчестия и нечестия» [14, с. 406]. При этом он не отрекается от прежних своих воззрений, указывая на итальянский фашизм как на самую «несуровую разновидность» такой диктатуры; но и она подлежит осуждению как форма разложения правосознания. Не поменялось его мнение о гитлеризме и большевизме, равно как и о западной демократии. Как и многие консерваторы начала XX века он считает демократию не вершиной политической организации в истории человечества, но возможной в определенных благоприятных условиях формой отбора элиты, то есть меритократии, остающейся желанной целью со времен «Политики» Аристотеля. Только подобные условия редки, требуется наличие образованного и граждански активного среднего класса. Мысль не новая, сходным образом писали не только консерваторы, но и либералы XIX века. Словами героя романа Достоевского: «Республику провозгласить легко, только где взять республиканцев».

Ильин никоим образом не поддерживал немецкий поход на СССР. Если брать РОВС в целом, то на момент Второй мировой войны у него вообще не было четкой централизованной позиции – его отделения в разных странах тоже воздерживались от занятия некой обязательной линии. Известно, что в Сербии местное отделение РОВС обратилось к немцам с просьбой об оружии, но повод был четко указан – защищать белоэмигрантов от нападений красных партизан. Но были и те, кто участвовал в Сопротивлении.

Стоит сказать, что РОВС на то время переживал не лучшие времена; ослабила его в немалой мере деятельность НКВД, причем речь идет не только о похищениях руководителей (Кутепов, Миллер), но о вскрывшемся проникновении во все его структуры советских

агентов. На это указывали две конкурирующие с РОВС и ориентированные на эмигрантскую молодежь организации – «младороссы» и НТС (я не привожу не единожды менявшиеся названия партий). Обе организации отчасти ориентировались в своих программах на фашистское корпоративное государство, а «младороссы» иногда называли себя фашистами – их вождь, А.Л. Казем-Бек, встречался с Муссолини и, пока тот не вступил в союз с Гитлером, полагал его режим заслуживающим подражания. Однако эта монархическая партия, формально поддерживавшая великого князя Кирилла Владимировича в притязаниях на императорский трон, была одновременно просоветской (советский строй ею принимался как политический базис общества), соединяла в своей программе обрывки славянофильства, евразийства, сменовеховства, православного монархизма с фашизмом, а на практике была от последнего достаточно далека. Во время оккупации Франции младороссы активно участвовали в Сопротивлении, а Казем-Бек, вероятно, уже был к тому времени советским агентом¹. В любом случае, к взаимоотношениям консерватизма и фашизма эта партия не имеет почти никакого отношения – монархистами они были только на словах да и не зря именовали себя «революционной партией». Еще меньшее отношение к консерватизму имеет НТС, прошедший путь от работы на польскую разведку, сотрудничество с нацистскими спецслужбами и РОА (не всегда простое и легкое – сотни полторы членов НТС оказались в лагерях в 1944 году), а затем почти полвека антикоммунистической пропаганды, оплачиваемой ЦРУ. Корпоративное государство поменяли на «солидаризм», однопартийный режим на демократический плюрализм, но сути дела это не меняет. «Нацмальчишки», как именовали членов НТС младороссы, были в 1930-х годах фашистами, в 1950-х сделались демократами. Идеи менялись в зависимости от заказчика.

Но эту партию хотя бы возглавляли незаурядные и хорошо образованные люди (Р. Редлих, В. Поремский), которые все же умели самостоятельно ставить и решать экономические и идеологические вопросы. Прочие партии создавались авантюристами, вроде РОНД или ПРО-РНСД, возглавляемой П.Р. Бермондт-Аваловым, которого нацисты арестовали только за то, что он тратил на себя выделяемые ими средства. Авантюристами были и создававшие в Харбине фашистскую партию А. Вонсяцкий и К. Родзаевский. Достаточно вспомнить о провозглашенной в 1935 году «фашистской трехлетке» – к 1938 году в СССР они обязывались осуществить национальную революцию. «Азбука фашизма» представляет собой амальгаму из итальянских и немецких первоисточников. Любопытна разве что их оценка сталинского режима после всех лет борьбы с ним. Вонсяцкому принадлежат слова о том, что истинным фашистом является Сталин, ведь он уничтожил коммунистов больше, чем Гитлер, Муссолини и Чанкайши, вместе взятые. Потерпев крах, Родзаевский признал правоту и величие Сталина, реализовавшего основные пункты его программы, вернулся в СССР и был расстрелян.

Русский фашизм в среде белой эмиграции, безусловно, существовал, ориентируясь преимущественно на итальянский образец. Имелось и некоторое число русских нацистов. Вряд ли к числу русских стоит относить ту группу эмигрантов из прибалтийских немцев, которые сыграли свою роль при образовании НСДАП, – можно вспомнить о М.-Э. фон Шойбнер-Рихтере, убитом полицией при подавлении «пивного путча», или об А. Розенберге, главном идеологе нацизма. Они исходно были немцами, полагавшими русских если не «недочелове-

¹ Уже после войны он перебежал в СССР и умер в 1977 году на своей даче в Переделкине, работая с 1957 года в Отеле внешних сношений РПЦ. О его авантюрной жизни и деятельности написано немало статей в прессе, переведена с французского книга М. Массип. Позиция младороссов всегда была патриотической, германский нацизм они не принимали, поскольку видели в нем силу, направленную на порабощение всех славян и расчленение России. Характерно заглавие книги ведущего идеолога младороссов князя С. Оболенского: «Украина это Россия». Во французском Сопротивлении младороссы занимали особое место, поскольку организовали большой партизанский отряд, действовавший в Пиринеях. Любопытные сведения о С.С. Оболенском и эволюции партии в статье [3].

ками», то людьми второго сорта. Нацизм с ясно выраженным в «Майн кампф» стремлением превращения России в колонию («нашу Индию»), планом порабощения всех восточных славян, мог рассчитывать на поддержку малой части эмиграции. Не случайно из примерно 50 тыс. эмигрантов, живших в Германии в 1933 году, к началу Второй мировой войны осталась примерно пятая их часть. В 1930-х годах «русский нацизм» не был востребован: чиновникам от НСДАП само это словосочетание резало глаз, поскольку расходилось с идеей «нордической расы», из которой исключались все славяне. Они были нужны тогда только для контроля над эмиграцией, а востребованными оказались только с началом войны на Востоке, да и то не сразу, а после ряда поражений, когда началось формирование РОА. В глазах большей части белоэмигрантов эта публика выглядела как сборище подонков, руководящих недоумками; никакой собственной идеологии у них не было, да и не могло быть.

Говорить о каком-то «русском фашизме» в современной России трудно по одной простой причине. По одну сторону у нас находится некоторое число поклонников «белой расы», засоряющих пространство Интернета своими комментариями, но немногочисленных и маргинальных. По другую сторону обнаруживаются многочисленные и крикливые персонажи: уже четверть века в наших либеральных СМИ раздувалась тема извечного черносотенства, скрытого и явного фашизма, чуть ли не соприродного России, а потому повсюду обнаруживаемого. Приведу в качестве примера запомнившуюся мне статью весьма модного в «демократической» тусовке двадцатилетней давности журналиста, прочитавшего «Русскую правду» Пестеля и утверждавшего, что тот уже был потенциальным «рейхсфюрером». То, что декабрист был знаком с речами и практикой Робеспьера, равно как и Бонапарта, такому сочинителю в голову прийти не могло в силу присущей ему безграмотности. Нападки на Ильина как «фашистского философа» доносятся из того же лагеря – бойких, но интеллектуально убогих. Поменялась разве что раскраска тусовки – желтый цвет сменился на красный.

Позиции наследников эмигрантских организаций известны. НТС с самого начала существования Российской Федерации хвалил команду президента Ельцина, а на протяжении последних двух десятилетий помогал «антикремлевской» оппозиции. Считающие себя продолжателями РОС с 2014 года поддерживали ДНР и ЛНР, отправляли туда воевать своих членов. Немалая часть поборников «белой расы» влилась в батальон «Азов». У «младороссов» прямых наследников нет, хотя некое сходство их идей с национал-большевиками и им подобными группами все же прослеживается.

Русские белоэмигранты, враждебно настроенные к политическому строю в СССР, придерживались самых разных идейных позиций: эсеры отличались от кадетов, газета Миллюкова спорила с газетой Струве. Если брать только известных мыслителей, то прямое сотрудничество с фашистами и нацистами было редким – можно вспомнить Вышеславцева, Мережковского, немногих других рангом пониже. Отношение большинства консервативных монархистов к сталинской и гитлеровской диктатуре исчерпывающе точно обозначил И. Солоневич заглавием своей книги: «Диктатура сволочи». Эта позиция далеко не безупречна по своим следствиям. Непонимание того, что наступила эпоха ворвавшихся в политику масс, сметающих сохраненные традицией институты и старые политические элиты, сказывается на способности сдерживать и направлять такие массы в то самое время, когда политические противники умели и хотели это делать. Такое игнорирование реальности мы обнаруживаем и в случае европейских консерваторов большинства стран того времени.

Италия и Германия

При всех отличиях итальянского фашизма и германского национал-социализма их сходства перевешивают: если словосочетание «фашистский режим» обладает каким-то общим для разных стран значением, то возникшие практически независимо друг от друга и



с разрывом в десять лет в Италии и в Германии диктатуры имели столь большое число общих черт, что современники ничуть не ошибались, используя применительно к немецкому режиму итальянское слово¹. Так как нас интересует исключительно взаимоотношения этих партий и режимов с консерваторами, идет ли речь о политической мысли или о взаимодействии на практике, то мы ограничимся этим аспектом.

Всем хорошо известно то, что фашистские партии не пришли бы к власти, не получи они поддержки части политических и экономических элит. Марш на Рим без труда можно было остановить, подобно тому как был остановлен марш на Берлин в ноябре 1923 года, вошедший в историю как «пивной путч». Сходным был своего рода «переходный период», когда фашисты руководили коалиционным правительством, в которое входили представители партий старой элиты. В этот период и Муссолини, и Гитлер шли на вынужденные уступки, им пришлось обуздывать собственные отряды с их тягой к насильственным «прямым действиям», отодвигать от рычагов власти тех, кто пытался раньше времени подчинять крупный капитал планам построения корпоративной экономики² и т.д. Относительно временных союзов с теми или иными группами влияния, преследующими собственные материальные интересы, написано немало, начиная с тогдашних противников³, но такие констелляции интересов мало что значат для оценки идей. Требуется понять, что собой представляли итальянский и немецкий консерватизм после Первой мировой войны.

Итальянский консерватизм обладает рядом черт, которые обособляют его от других стран континентальной Европы. В них он чаще всего был связан с ностальгией по «старому порядку», тогда как в Италии времен Рисорджименто это означало бы возвращение к раздробленности и чужеземному господству. Либералами здесь в середине XIX века называли тех, кого в других странах относили к консерваторам. Представители «католического либерализма», В. Джоберти и А. Росмини Сербати, были «либеральны» лишь в том смысле, что подготавливали конституционные реформы Кавура, а Ч. Бальбо отстаивал представительную монархию против республиканизма, полагая, что собрание депутатов есть меньшее зло в сравнении с «народом на площади». Все они желали объединения Италии, но опасались революционных радикалов, вроде Мадзини и Гарибальди. Усилиями таких либералов Италия получила конституционную монархию, в которой король обладал куда большими прерогативами, чем в Великобритании или Бельгии. Консервативная критика начинается с середины 1880-х годов как критика коррупции, которая не замедлила появиться вместе с развитием капитализма в условиях парламентской системы. *Governo di partito, partitocrazia* – таковы основные темы консервативной публицистики, которые переросли в дальнейшем в серьезные научные исследования, прославившие итальянскую социальную науку.

Хотя Г. Моска обычно относится к либералам, а В. Парето к консерваторам, оба они, создавая теорию циркуляции элит – иной раз вступая в спор о первенстве, – отталкивались

¹ Хотя сами нацисты его редко использовали, а иной раз подчеркивали отличия, на что правомерно указывал А. Молер [см. 18], только некоторые его оппозиции («коллективизм» нацистов и «индивидуализм» фашистов и т.п.) вызывают сомнения. Незадолго до смерти сам Молер признался, что всю свою сознательную жизнь был фашистом; он объяснял себе и другим, почему он, швейцарец, отправился во время войны в Германию вступать в СС, но быстро разочаровался и вернулся обратно. О фундаментальных различиях между фашизмом и национал-социализмом часто писали итальянские историки, начиная с Р. Де Феличе, но их обоснованно оспаривали немецкие специалисты: именно то, что представлялось свойственным исключительно режиму Муссолини, оказывалось присущим и национал-социализму [обзор дискуссии см. 46, с. 144–148].

² Так, летом 1933 года Гитлер сместил со всех руководящих постов О. Вагенера, рейхскомиссара по вопросам экономики, хотя тот был близким ему доверенным лицом, однако проиграл во внутрипартийной борьбе Герингу, поддерживавшему отличные связи с промышленниками. На этом завершилось продвижение идеи корпоративного государства в нацистском Рейхе.

³ В качестве примера можно привести переведенные на русский и переизданные книги таких оппонентов, как социалист К. Гейден и коммунист Э. Генри [см. 8, 9].

от итальянской реальности. В условиях, когда правом голоса обладали все более широкие массы, либеральная парламентская система в глазах всякого не склонного к иллюзиям наблюдателя выглядела как «демагогическая плутократия» (Парето). Подкуп газет, избирательных комиссий, а то и самих избирателей, стоил денег, которые возвращались тем, кто их вкладывал, через нужные законы и акты. Стоит сказать, что Италия не была каким-то исключением из правил: по всем странам Европы ширились скандалы, причем самые громкие были именно во времена правления партий либералов, – примерами могли служить хоть Вена, хоть Париж, в котором так называемый Панамский скандал показал, что подкуплена была чуть ли не половина парламента. Быстрое развитие промышленности вело к появлению пролетариата и социалистических партий, а также к разорению части мелкой буржуазии, вливавшейся в появившиеся националистические организации. В запаздывавшей в развитии Италии к этому добавлялся нерешенный аграрный вопрос с немалым перенаселением, которое разрешалось за счет массовой эмиграции в Северную и в Южную Америку.

Теории круговорота элит были консервативным и достаточно пессимистичным ответом на эти проблемы. Вряд ли уместно воспроизводить вошедшие во все учебники по социологии и политологии учения Парето и Моска. Для нас важно то, что они были критиками парламентаризма, не отвергая идею представительного правления как таковую. Социалистические доктрины ими отвергались как демагогические, но и либерализм представлял как апология власти одной из элит, а именно, финансовой олигархии. Оба мыслителя приветствовали приход Муссолини к власти, Моска был депутатом, а Парето был сделан сенатором; дуче заявил, что экономист является его учителем, – он слушал его лекции, когда был эмигрантом в Швейцарии, и утверждал, что следует его теориям на практике. Отчасти это так и было, поскольку первое коалиционное правительство Муссолини проводило либеральную политику высвобождения рынка от множества ограничений военного времени, государственного контроля, оборачивавшегося коррупцией¹. Моска называют либералом только по той причине, что в 1925–1926 годах он выступал против чрезвычайных полномочий правительства и выведения его из-под контроля парламента, тогда как Парето остается в рядах «консерваторов-элитаристов»². Только Парето умер в 1923 году до перехода к однопартийной диктатуре, а сторонником свободы мысли и прессы он был ничуть не меньшим, чем Моска. Позиция у них была общей: массовая демократия, сочетаемая с либеральным парламентаризмом, неизбежно ведут к тому, что еще Цицерон называл «наиболее уродливой формой правления», при которой «богатейшие люди считаются наилучшими» [29, с. 41]. К социалистической альтернативе оба они относились крайне негативно, поскольку огосударствление экономики ведет к затхлому царству бюрократии, а переход к нему будет стоить кровопролитной гражданской войны. Требуется найти способ мирной смены элиты, которая уже, так сказать, «зажралась» и желает сохранять свое положение, на другую, способную лучше управлять обществом. Возбуждающие массы демагоги такую элиту не составляют и не обладают необходимыми качествами, не говоря уж о самих пролетариях или мещанах.

К цезаризму, уже хорошо известному на примере бонапартизма, они также не были склонны: единовластие массовой фашистской партии никак не могло быть идеалом для консервативных критиков либерализма и социализма. Тем более что новая фашистская элита была полна малообразованных выдвигенцев и откровенных карьеристов. Сход-

¹ Об этом ярко написал Н.В. Устрялов в упомянутой выше книге: «Политике национализаций и монополий приходит конец. По всей линии проводится энергичная реакция против этатизма в экономике» [27, с. 153]. В субсидиях было отказано и промышленникам с разбухшими во время войны штатами, и аграриям – всем, недурно жившим за счет бюджета. Говоря о фашистском этатизме более позднего периода, нужно помнить, что начинался режим с противоположной экономической программы.

² Так обособляет этих мыслителей в своей фундаментальной работе К. фон Бейме [см. 32].



ным образом в те годы задавали вопросы о массовом обществе другие внимательные наблюдатели его становления, начиная с Г. Ле Бона. Хорошо известна работа Х. Ортеги-и-Гассета «Восстание масс», в которой негативно оценивается итальянский фашизм. Правда, в Италии один из наследников Парето и Моска, перебравшийся в 1907 году из Германии социолог Р. Михельс, писавший о «железном законе олигархии», целиком принял режим Муссолини. Но консервативный элитаризм оставался и в Италии, и в других странах оппонентом фашизма.

В особенности это касалось церковных кругов. При внешнем примирении фашистского режима с католической церковью трения сохранялись, как и память о том, что одной из запрещенных партий была «Popolare», связанная с католицизмом. Между социальной доктриной церкви и корпоративизмом были некоторые переклички, но уже «Доктрина фашизма», в которой неогегельянский активизм («актуализм») тайного соавтора этого эссе Дж. Джентиле и нищезанство самого Муссолини не могли вызвать ни малейших симпатий католиков. Они разделяли неприязнь к либерализму и социализму, но воспитание в духе фашизма расходилось с христианством, а культ дуче, непрерывные отсылки к языческому Риму побуждали иных католиков почитать таких цезарей, как Тиберий, Калигула и Нерон. К фашизму были близки и быстро в него влились только крайние националисты во главе с Э. Коррадини, но они и до Первой мировой войны никак не были консерваторами.

Муссолини пошел на договор с консервативными кругами – королевским двором, церковью, армией, чиновничеством, крупными землевладельцами, – но на их преданность он мог рассчитывать только при успешной политике и поддержке масс, которые лишь в малой мере контролировались этими кругами, разве что через сохранившееся католическое воспитание паствы. Стоило этой поддержке ослабнуть в результате лишений войны, которая к тому же шла к неминуемому поражению, и он был смещен. Все усилия режима по созданию «нового человека», идейного «труженика-солдата», обернулись тем, что в подавляющем своем большинстве итальянцы не желали умирать во имя возрождаемой Римской империи. В фашистскую партию и подчиненные ей женские, детские, студенческие и т.п. организации входила половина населения страны, но почти никто не выступил против низложения Муссолини. Когда немцы его выкрали и помогли организовать на севере Италии «социальную республику», у дуче нашлись защитники – часть воспитанных режимом офицеров и солдат все же встала на его сторону. Но куда больше было тех, кто влился в ряды партизан.

Как заметил Э. Нольте, одной из причин свержения Муссолини в июле 1943 года было его решение направить в армию всех сколько-нибудь дееспособных и верных фашизму иерархов партии, что привело к дезорганизации жизни в тылу. Выяснилось, что на их место пришли беспринципные карьеристы, быстро создавшие «систему клик, протекционизма и коррупции» [43, с. 339]. На своем закате фашистский режим показал, что все усилия по воспитанию «нового человека» в условиях государственного контроля за всеми и каждым не дали никакого результата.

Фашизм получил власть, когда на него был запрос. В XIX веке уже бывали ситуации, когда выступления пролетариата подавляла буржуазная милиция (скажем, в июне 1848 года во Франции). Таковой не оказалось в Италии в 1919–1921 годах, ее функции выполнили отряды фашистов. Пока деятельность дуче и его режим отвечали интересам широких слоев имущих, они поддерживали фашизм, вступали в партию (к 1940 году было 5 млн членов), скрывая иной раз свое недовольство теми или иными «злоупотреблениями». Но когда Муссолини вопреки национальным интересам вступил в союз с Гитлером (которого до 1937 года не единожды бранил), вовлек страну в ненужную войну, а под конец оказался просто марионеткой немцев, его покинули не только высшие чины армии, но и ведущие представители фашистской иерархии, вроде Дино Гранди или Джузеппе Боттаи.

Решающую роль сыграла позиция союза консервативных элит – королевского двора, армии и церкви.

В отличие от Италии, консервативная мысль в Германии первой половины XIX века была чрезвычайно богата на идеи. Ставшая популярной усилиями сначала К. Шмитта [30], а затем К. Мангейма [15] редукция немецкого консерватизма той поры к романтизму не отображает всю сложную картину, поскольку в разные периоды своего творчества к консерваторам относились далекие от романтизма мыслители. Достаточно упомянуть позднего Фихте и Гегеля времен написания «Философии права». Одни консерваторы испытывали ностальгию по средневековым сословиям, гильдиям и университетам, другие обслуживали Меттерниха в Вене, третьи прославляли осуществленные в Пруссии реформы и централизованное бюрократическое государство, тогда как четвертые, как Л. фон Штейн, уже обсуждали будущие реформы, необходимые для решения «рабочего вопроса». Даже краткий обзор многообразных консервативных учений потребовал бы отдельной статьи, а их исследованию следовало бы посвятить пару монографий. Эту предысторию следует иметь в виду, но прямым предшественником консерватизма времен Веймарской республики был Второй Рейх Бисмарка, о котором с сожалением вспоминали многочисленные монархисты, к которым принадлежал и рейхспрезидент фон Гинденбург.

Консервативная партия во Втором Рейхе была относительно массовой, тогда как Свободно-консервативная (или Имперская) сравнительно малочисленной. Обе были монархическими, но первая отстаивала интересы широкого круга аграриев – не только юнкерских хозяйств, – тогда как вторая была партией дворян и чиновников. Яркую характеристику депутатам этих партий дал М. Вебер: «...исключительно тогда, когда речь шла о денежных интересах прусских консерваторов или же об их монополии на доходы от ведомств, или (что то же самое) о их привилегиях в избирательном праве – вот когда выборная машина их ландратов беспощадно работала даже против короля. Тогда бывал (и теперь бывает) задействован весь жалкий аппарат «христианских», «монархических» и «националистических» фраз» [5, с. 69–70].

Положению этих партий в немецкой политике способствовало то, что Бисмарк, опиравшийся поначалу на поддержку либералов, с ними разошелся и предпочел иметь в рейхстаге правящую коалицию из консерваторов. Они отличались от тогдашних национал-либералов с их воинственными союзами, вроде *Alldeutsches Verband*, тем, что не поддерживали империалистическую политику захвата колоний, но вместе с принятием новой программы в 1892 году консервативная партия стала сближаться с этими организациями крупной буржуазии. Во время Первой мировой войны в рейхстаге появляется Немецкая партия Отечества (*Deutsche Vaterlandspartei*), стоявшая за командующими войсками Гинденбургом и Людендорфом, в которой часть консерваторов присоединилась к представителям национал-либеральных империалистических организаций. Возникает она в 1917 году как оппозиционная партия, поскольку правительство поставило в рейхстаге вопрос о возможности переговоров о мире. «Для правых был неприемлем никакой мир без победы Германии; предложение о проведении мирных переговоров было заклеено как «пораженческое»» [11, с. 226]. Именно эта массовая партия (более миллиона членов) стала после революции в ноябре 1918 года основанием главной партии немецких консерваторов в Веймарской республике.

Хорошо известна роль немецких буржуазных союзов с миллионами членов – *Alldeutsches Verband*, *Flottenverein*, *Kolonialgesellschaft* и др. – в подготовке и развязывании войны. Однако политику «*Drang nach Osten*» провозглашала и в то время и влиятельная часть германских социал-демократов. Ведущим журналом социалистов, в котором в центре внимания находились вопросы международной политики, был ежемесячник «*Sozialistische Monatshefte*», издаваемый двумя близкими друзьями Энгельса – Йозефом

Блохом и Эдуардом Бернштейном. Их позиции совпадали в том, что немецкий пролетариат должен поддерживать армию и флот, которые будут вести справедливую войну. В определении целей они расходились. Блох сочетал марксизм¹ с ницшеанством, писал о «прусской миссии», держался пангерманизма, а главным соперником считал Англию. Ей должна противостоять вся континентальная Европа во главе с Германией. Бернштейн у нас относительно хорошо знают как «ревизиониста», только неправомерно выводят его формулу «движение все, цель ничто» из тогдашнего немецкого неокантианства. На деле Бернштейн игнорировал всю немецкую философию, включая и Гегеля с его диалектикой. Находясь в политической эмиграции в Англии, он установил связи не только с «фабианцами», но также с британскими радикалами и либералами, в философии испытал влияние английского позитивизма той поры, а в политике держался идеи союза Германии и Великобритании. Как пишет автор обширного исследования Р. Флетчер: «Бернштейн всю свою жизнь был русофобом, видевшим в восточном гиганте смертельную опасность цивилизованной Европе... его удивительная и нехарактерная для него агрессивная *Ostpolitik* может показаться трудносочетаемой с чуть не врожденным “пацифизмом”, если только не иметь в виду то, что практически любое влияние, которое он ранее испытал – Маркс и Энгельс, британская радикальная традиция (Дэвид Уркварт, равно как и Кобден), германская буржуазная пресса того времени, социализм II Интернационала – все они разделяли глубокий страх и самую жестокую ненависть к русской мощи, русскому экспансионизму и варварству» [38, с. 171–172]. Бернштейн отстаивал идею Тройственного союза из Германии, Франции и Великобритании, который должен вступить в смертельную борьбу с Россией. Еще в 1914 году он писал, что это «дело цивилизованного мира», а потому был готов ради такой цели вернуть Франции отторгнутые у нее Эльзас и Лотарингию. Он выступал против прусского юнкерства в том числе и потому, что оно мешает союзу с Англией, чем-то напоминает русское дворянство; если в Германии победит буржуазия, то и союз с британцами возможен.

Хотя я не уверен в выводах Флетчера, пишущего об авторах “*Sozialistische Monatshefte*” как о «протофашистах», нет сомнения в том, что распространение идей национализма и шовинизма в рядах рабочего класса в дальнейшем помогло Гитлеру. Только в рядах тех же немецких социал-демократов подобные воззрения разделялись меньшинством и во время Перовой мировой войны, и после нее – это нынешние немецкие «левые» являются законными наследниками Бернштейна. Однако «протофашистами» в полном смысле слова можно назвать объединения части консерваторов и правых либералов, желавших реванша за поражение в войне и продолжение империалистической политики.

Таковой была Немецкая национальная народная партия (DNVP), не просто националистическая и монархическая, но и наследница империализма, шовинизма и расизма немецких предвоенных элит. Если партия либеральных консерваторов, Немецкая народная партия, возглавляемая видным политиком 1920-х годов Г. Штресеманом, была готова идти на союзы с партиями, поддерживающими Веймарскую республику и брать на себя ответственность за внешнюю и внутреннюю политику страны, то DNVP была антисистемной партией, отрицающей и Версальский договор, и Веймарскую конституцию. После того, как партию в 1928 году возглавил медиамагнат А. Гугенберг, она сделалась основной партией радикального национализма в рейхстаге, а после успехов НСДАП на выборах 1930 года, Гугенберг стал сторонником союза с ними в борьбе с «системой» («Гарцбургский фронт», 1931). Наряду с фон Папеном, он был главным инициатором вручения вождю нацистов поста рейхсканцлера и стал министром экономики в первом правительстве Гитлера.

¹ Всем тем, кто изучал исторический материализм, известно письмо Энгельса Блоху, в котором содержатся уточнения относительно базиса и надстройки, упреки тем, кто вульгарно сводит все сферы политики и культуры к экономике, и даже самокритика.

Если во внутренней политике между нацистами и радикальными националистами из DNVP имелись различия – NSDAP была массовой партией мелкой и средней буржуазии и не могла не учитывать ее интересов, тогда как антисемитизм в DNVP все же не был расовым, одни были монархистами, а другие желали строить «Третий Рейх» во главе с фюрером и т.д., – то во внешней политике расхождений не было. Общей целью была ревизия Версальского договора, перевооружение массовой армии и продолжение империалистической политики германской элиты предвоенной поры. Брошюра «Если бы канцлером был я», написанная в 1912 году главой «Всенемецкого союза» Г. Класом, уже содержала не только критику «вялой» внешней политики тогдашнего руководства Германии, но и прямой призыв к началу мировой войны за «жизненное пространство» для немцев. Он сформулировал ту программу, которую будет реализовывать Гитлер: радикальное уничтожение внутреннего врага, прежде всего «красных» (но уже упомянуты евреи), и решение социального вопроса посредством захвата и эксплуатации других народов. Во время Первой мировой войны озвученные союзом планы предполагали аннексию территорий и на Западе, отъем ряда колоний у Франции и Великобритании, отбрасывание России к границам Московии, поглощение и онемечивание славянских народов¹. Национал-социализм унаследовал свою внешнюю политику от этих союзов в почти неизменном виде [см. 37]. Достаточно вспомнить о германских планах дележа территорий на Востоке после подписания Брестского договора: «на севере вассальными государствами становились Швеция и Финляндия. Швеция должна была стать надежным поставщиком железной руды. В Германскую империю должны были войти Курляндия, Ливония, Эстония, Литва, значительная часть Польши... В «Большую Германию» входили Украина, Крым и Грузия. Украина и Кавказ обязаны были стопроцентно обеспечить экономическую и военную неуязвимость Германии... В сферу германского влияния входили Румыния и Болгария. Но самым большим призом Германии в войне становилась ее гегемония в России» [28, с. 597]². Гитлер лишь обосновал те же планы расовой доктриной, но в парламентских речах и документах его империалистических предшественников немцы уже именовались исключительно как «народ господ» (Herrenvolk).

Уже поэтому бессмысленно противопоставлять воззрения этой части немецких консерваторов нацизму – они подготавливали нацистскую идеологию, способствовали приходу Гитлера к власти, просчитавшись лишь в том, что желали использовать фашистское массовое движение в своих целях, тогда как нацисты сами подчинили эти элиты и превратили их в исполнителей своей воли. Да и не было в среде этих³ немецких националистов сколько-нибудь значимых политических мыслителей. Куда сложнее ситуация с так называемой консервативной революцией (далее КР), интеллектуальным движением, к которому принадлежало немалое число ведущих немецких философов и писателей, правоведов и социологов.

¹ Еще в 1894 году в программном документе Всенемецкого союза говорилось о возобновлении политики “Drang nach Osten”, нацеленной на завоевание жизненного пространства германской расы, а такая политика предполагает отвержение прав на национальность у таких «неполноценных народцев», как чехи, словаки и словенцы, утрата коими «бесполезного существования» пойдет лишь «на пользу цивилизации».

² О том, как начинали разрабатываться эти планы в 1914 году, как они шли все дальше в своих империалистических устремлениях, какие элиты участвовали в разработке – эти вопросы хорошо освещены в известной книге С. Фишера [37]. Эти планы разрабатывались не только военными, промышленниками и дипломатами – важную роль в их подготовке играли профессора истории, права, экономики во главе с известным историком военного искусства Г. Дельбрюком.

³ Разумеется, к немецким националистам принадлежали и Фр. Науманн, и М. Вебер, и В. Зомбарт, но речь идет о той разновидности национализма, которая завладела умами немецких буржуа, входивших в империалистические союзы немецкого капитала, – Alldeutsches Verband был лишь самым влиятельным и вел за собой остальные объединения. В них состояло несколько миллионов бюргеров. Именно они в 1917 году, полагая, что Германия вскоре выиграет войну, создали Vaterlandspartei, дабы править после войны.



Рассмотрение выдвинутых ими концепций выходит далеко за рамки данной статьи. Отвержение «Версаля и Веймара» было общим со всеми немецкими националистами, но не случайно для характеристики их воззрений стало применяться словосочетание «новый национализм», употребленное впервые в статье Э. Юнгера, а затем распространенное на весь набор концепций В. Гурианом¹. В интересующем нас контексте это наименование значимо, поскольку «новый» национализм постоянно противопоставляется «старому», то есть всему набору идей и политической практике тех элит, которые привели страну к поражению и бездарной Веймарской «говорильне». Антилиберализм у многих «левых» представителей КР переходит в антикапитализм, в идею сотрудничества с Советской Россией в борьбе с англосаксонским империализмом. Круги «национал-революционеров» и «национал-большевиков» были противниками нацистов – лидер последних, Э. Никш, выпустил в 1932 году книжку «Гитлер – проклятие Германии»; осуждался ими и итальянский фашизм. Относить воззрения этих преимущественно левых революционеров к консервативным вообще затруднительно, даже если принимать во внимание их пламенный национализм.

К национал-социализму имеет отношение множество писаний представителей «фёлькиш» с их расизмом и оккультизмом. А. Молер без достаточных оснований отнес их к КР, включая сочинения основателя «Аненербе» Г. Вирта, равно как и труды оказавших влияние на Гитлера австрийских «фёлькиш». Строго говоря, эти воззрения очень сложно охарактеризовать и как консервативные, и как революционные. Склонность некоторого числа наших любителей потолковать об Арктогее и Гиперборее и т.п. ведет к тому, что на всю КР переносится склонность к эзотерике, оккультной геополитике, утверждается близость к традиционализму Ю. Эволю² и т.п. В действительности политические идеи немецких младоконсерваторов были крайне далеки от всей путаной смеси расизма и оккультизма «фёлькиш», а в геополитике они предлагали расходящиеся и со «старым национализмом», и с нацизмом проекты. Все они читали Ницше, многие были ветеранами войны и на память цитировали Клаузевица, имели представление об экономике и социологии, ценили технику (а иные развивали философию техники), но уж никак не опускались до поисков Агартхи или Шамбалы³. Прусская воинская традиция предельно рациональна, поскольку стратегия и тактика ничуть не менее подчинены логике, чем медицина или инженерное дело.

Так как словосочетание «Третий Рейх» сегодня ассоциируется исключительно с нацизмом, стоит напомнить, что ввел его А. Мёллер ван ден Брук в книге с таким названием, которое очевидным образом указывает на средневековое учение Иоахима Флорского, но

¹ В книге «За будущее рейха. Национальное возрождение или политическая реакция?», вышедшей под псевдонимом В. Герхарт в 1932 году. В одной из лучших книг по этому поводу «Анатомия консервативной революции» ее автор, Ш. Бройер, принял «новый национализм» в качестве наилучшего обозначения основного содержания этой совокупности идей. Он обоснованно оспаривал классификацию этих идей, данную в известном труде А. Молера, но критики его книги столь же обоснованно отмечали, что далеко не все, в том числе и важнейшие теории в рамках консервативной революции соответствуют такому обобщению.

² Мне могут возразить, что Эвола сам критиковал оккультизм [см. 35], только отвергал он его во имя истинной эзотерики собственного традиционализма. Опубликованные в одном из главных журналов КР «Кольцо» две его статьи представляют собой восхваление итальянского фашизма. Читателям известного эссе У. Эко о «вековечном фашизме» (Ur-fascism) мог показаться странным его первый тезис о склонности фашистов ссылаться на единую древнюю традицию; в особенности странным это покажется изучавшим итальянский фашизм с его претензией на революционное новшество доктрины, несущей обновление человечеству, – это утверждал не только футурист Боттаи, но и сам Муссолини. Очевидно то, что Эко имел в виду Ю. Эволю, с последователями эзотерического фашизма которого он явно не раз сталкивался.

³ Единственный склонный к оккультизму младоконсерватор, Ф. Хильшер, был по своим идеям ближе к «фёлькиш», он стал сотрудником «Аненербе», хотя – исключительно по его собственным рассказам – участвовал в сопротивлении нацизму.

имеет и русские коннотации, – Мёллер был поклонником Достоевского и писал вместе с Мережковским вступительные статьи к каждому тому собрания сочинений. Нацисты хорошо понимали, что термин не вполне отвечает их доктрине, а потому в 1939 году из рейхсканцелярии пришел приказ о запрете его употребления в прессе. Обозначались им наследниками Мёллера, которых тогда именовали Jungkonservative, не только «третий путь» между либерализмом и социализмом, но и желанное будущее немецкого народа.

К началу 1930-х годов младоконсерваторы поделились на две группы, связанные с влиятельными кругами в политике. Как уже было сказано выше, объединившиеся вокруг журнала «Кольцо» и «Клуба господ» идеологи и публицисты постепенно (только к 1932 году окончательно) склонились к поддержке фон Папена, тогда как другая группа более молодых журналистов и ученых (среди ведущих представителей были 35-летние доктора экономики и социологии) преобразовала журнал «Деяние» («Die Tat») в think tank сначала военного министра, а затем канцлера фон Шлейхера. Оба эти канцлера были близки рейхспрезиденту Гинденбургу и следовали его намерению трансформировать Веймарскую республику если не в монархию, то в авторитарную плебисцитарную президентскую республику. За этим планом стояли не просто монархические убеждения Гинденбурга и его окружения и тем более не какие-то оккультные умозрения «фёлькиш», а реальная оценка положения Германии.

В условиях кризиса мировой системы капитализма ориентированная на экспорт экономика Германии была близка к краху, либеральная парламентская система при наличии многомиллионных массовых движений не могла им сопротивляться, не имея даже нормальной армии по условиям Версальского договора. Опасность того, что она будет сметена или «красными», или «коричневыми», неспособность оплачивать долги по краткосрочным кредитам – все это игнорировалось партиями рейхстага, которые из-за своих электоральных интересов не могли даже создать компромиссное коалиционное правительство. Открытость всему миру экономики Германии вела к тому, что в условиях кризиса аграрная продукция по демпинговым ценам ввозилась из США, Австралии и Аргентины, тогда как немецкие аграрии – далеко не только юнкера Пруссии – беднели и разорялись. Контролируемые социал-демократами профсоюзы требовали централизованно повышать зарплаты рабочим по всем отраслям. Были те, кто и в условиях кризиса с этим справлялся (химия, электротехника), но уже немецкая металлургия не выдерживала конкуренции. Требование автаркии и государственного регулирования рынка получило теперь поддержку и в кругах тех, кто ранее указывал на его полную несостоятельность в условиях международного разделения труда и общего «золотого стандарта». Только теперь не было ни работоспособного мирового рынка, ни стандарта.

Младоконсерваторы были антикоммунистами и никоим образом не желали прихода к власти направляемой из Москвы партии. Но ни итальянский фашизм, ни собственный национал-социализм не пользовались поддержкой: корпоративное государство дуче характеризовалось как нечто пригодное разве что для Италии, а темная сила масс во главе «с каким-то ефрейтором» казалась разрушительной для немецкого хозяйства да и опасной для образованной и культурной элиты. Указанные два проекта младоконсерваторов сходились в необходимости смены парламентской республики на президентскую и возвращение Германии в число независимых стран путем отмены ограничений на количественный состав армии и ее перевооружение. В остальном между ними существовали значительные различия. Но еще больше они отличались от планов нацистов, к которым примкнули «старые националисты».

Первый из упомянутых двух идеологических журналов младоконсерваторов (журнал «Кольцо») вообще трудно назвать «революционным», ему больше подходит прилагательное «пруссский». Относительно «пруссской военщины» и в самой Германии (у «левых»

публицистов, особенно в западных землях Германии), и за ее пределами сказано немало критических слов. Известная правда, конечно, содержится в шутке: у других стран есть армия, в Пруссии у армии есть страна. Забывается при этом, что Просвещение стало проникать в раздробленную на множество мелких владений Германию именно через Пруссию, в ней раньше многих других немецких государств было отменено крепостничество. И гумбольдтовский университет, и обязательное образование для всего населения, и меры Бисмарка по улучшению положения рабочих, и ничуть не меньшая, чем в Англии или Франции XIX века свобода печати также были «прусскими». В то время, когда представители *Alldeutsches Verband* и прочие немецкие националисты писали о «неполноценности» славян, Мёллер ван ден Брук в книге «Прусский стиль» говорил о том, что отличающая пруссаков от ограниченности бюргеров прочих немецких земель известная «широта взглядов» восходит к тому, что человеческий тип пруссака впитал в себя лучшие черты немцев и смешавшихся с ними славян.

«Прусский Рейх» младоконсерваторов предполагал унифицированное государство с ликвидацией сохранявшихся остатков деления на бывшие королевства и княжества, жесткую вертикаль власти. Начиная с «Пруссачества и социализма» Шпенглера, не единожды повторялось о склонности пруссаков к плановой организации жизни. Однако даже корпоративное государство итальянских фашистов казалось неприемлемым с точки зрения вмешательства в хозяйственную жизнь. Этатизм допускает элементы планирования, он дает наемным работникам большие, чем либеральная экономика, гарантии, допускается и суровый контроль над банками и внешней торговлей. Коммунизм рассматривается как непримиримо враждебная идеология, а СССР как несомненный враг. Но каких бы то ни было захватнических планов завоеваний на Востоке нет – они в ряде публикаций в «Кольце» признаются невозможными и ненужными. В качестве осуществимого предлагался план союза с Францией. Признавая окончательно утраченными Эльзас и Лотарингию, Германия открывает себе путь к экономическому и политическому проникновению в страны «малой Антанты», а наличие в них значительного по числу немецкого населения еще более усилит сближение со странами Центральной и Восточной Европы.

Проект тех, кто публиковался в журнале «Деяние» и стоял за фон Шлейхером, значительно более интересен и в каком-то смысле даже «революционен». Во-первых, признаётся, что капиталистическая система находится в упадке, мировой рынок уже не восстановить, а потому для спасения немецкой экономики требуется политика автаркии. Предполагаются значительные преобразования: национализация крупных банков и ряда отраслей промышленности, если не полная отмена, то ограничение свободной торговли с другими странами, высокие налоги на прибыль и ее перераспределение. Во внешней политике выдвигается идея сближения со странами Центральной и Восточной Европы, которые также страдают от мирового кризиса; будучи странами аграрными, они заинтересованы в немецком рынке, тогда как промышленности Германии нужны рынки этих стран. С Советской Россией предусматривается развитие уже сложившихся к тому времени отношений сотрудничества и кооперации. Зачастую общим врагом СССР и Германии объявляется империализм англосаксов.

Не вовлекаясь в обсуждение деталей, можно сказать, что проекты эти вообще могли осуществиться только в условиях авторитарной власти, способной подавить массовые выступления коммунистов и нацистов – и по отдельности, и одновременно. А риск этого имелся. К 1932 году попытка установления президентской диктатуры помимо парламента встретила бы сопротивление не только либералов, социал-демократов и католиков из партии «Центр», но и тех масс, которые вели за собой такие противники как КПГ и НСДАП. По существу, Гитлер и его подчиненные не раз выступали с предупреждением к консервативным элитам: если попытаетесь установить военную диктатуру с запретом нацистов

и коммунистов (а такие планы были и у фон Шлейхера), то получите гражданскую войну. Как писал известный немецкий историк Г.-А. Винклер: «Нарастающее исключение воли масс ответственным лишь перед президентом кабинетом неизбежно вызывало массовый протест, и никто не выражал его решительнее, чем национал-социалисты» [51, с. 28]. Армия была небольшой, полиция подчинялась правительствам земель; фон Папен без законных оснований сверг правительство социал-демократов в Пруссии (еще одна особенность этой самой большой и якобы «реакционной» земли – она упорно голосовала за СДПГ), переподчинив тем самым полицейский аппарат. Но этого было недостаточно для установления авторитарной власти – без овладения парламентским большинством и реформ, проводимых в рамках закона, повернуть Германию к разновидности цезаризма не получалось. Именно тогда немецкие элиты приняли решение дать Гитлеру пост рейхсканцлера с убежденностью, что он будет «играть по правилам». Они сделали и следующий шаг, вручив ему чрезвычайные полномочия в марте 1933 года. А потом за несколько месяцев нацисты последовательно разгромили все эти партии и подчинили себе тех, кто его призвал. К лету 1934 года Германия стала совсем другой страной, а после «ночи длинных ножей» и смерти Гинденбурга в начале августа 1934 года власть нацистов стала безраздельной.

К проектам младоконсерваторов нацисты относились с презрением и ненавистью. О планах фон Папена договариваться с Францией главный идеолог НСДАП Розенберг писал, что это – проект не Европы, а «Франко – Иудеи». Гитлер в «Mein Kampf» посвятил десяток страниц разгромной критике идей Мёллера ван ден Брука и его последователей: никакой *Ostorientierung*, союзов со всякими неполноценными и тем более с большевиками. Возможен союз с фашистской Италией, желателен с Англией, которая продолжит править своими колониями, тогда как немцы их завоюют на Востоке. Нацисты умело использовали «пруссский миф» в своей пропаганде и, как заметил один из лучших немецких историков нацизма Г. Моммзен, «паразитировали на этом мифе» начиная с торжеств в Потсдаме в марте 1933 года. Они желали символизировать преемственность немецкой истории, в которой Гитлер выглядел как наследник Фридриха II и Бисмарка, только делали это не слишком убедительно. С идеями публицистов журнала «Деяние» имелись пересечения и сходства с той частью национал-социалистов, вышедших из НСДАП вместе с Отто Штрассером, который был несомненным социалистом и сторонником налаживания отношений с СССР. Выдвигался даже план единого экономического пространства от Рейна до Владивостока¹, а идея социалистической автаркии была близка и его брату, Грегору Штрассеру, убитому 30 июня 1934 года. Несмотря на название, партия Гитлера к социализму после этой «чистки» никакого отношения не имела. Она была союзом разных групп немецкой буржуазии под руководством самой воинственной и расистской ее фракции.

Судьба деятелей КР в нацистском государстве была разной. Одни были истреблены, другие сидели в лагерях, третьи отошли от политики. Некоторые сделали блестящую карьеру в подчиненных Геббельсу журналах и газетах, а кое-кто и в SS. Но были и те, кто принял активное участие в Сопротивлении. Редко вспоминают о том, что молодые люди из «Красной капеллы» начинали свою деятельность в объединениях и изданиях «национал-революционеров». В ФРГ столь же редко вспоминают о том, что идеология тех, кто готовил переворот в 1944 году, была продолжением концепций КР – места либеральной демократии и парламентаризму в ней не было, поскольку они являются порождениями массового общества, которое на выборах всегда рискует получить такое чудовище, как Гитлер².

¹ Иногда, не спрашивая мнения голландцев, его называли «От Флиссингена до Владивостока». Флиссинген – порт на западной границе Нидерландов в устье реки Шельды.

² См. ряд публикаций Г. Моммзена, в частности [42]. В отечественной литературе нет серьезных исследований на эту тему. Лучший обзор на основе немецкой литературы см. [24, с. 266–284].

В отличие от Муссолини, свергнутого самими консервативными элитами при поддержке немалой части фашистских функционеров, в Германии попытки сместить Гитлера были со стороны армии (еще в 1938 году был план ареста и уничтожения)¹, а потом неудачные попытки покушения, вплоть до июля 1944 года, но с тогдашними элитами заговорщики почти никак не были связаны. Немецкий правящий класс настолько слился с фашистской партией или настолько был ей подконтролен, что до второй половины 1944 года, когда стала окончательно понятна перспектива проигрыша в войне, вообще не думал о смене правителя. Даже тому, кто не читал книг по социологии и политологии, очевидна та истина, что даже самый харизматичный лидер принадлежит группе, причем власть этого вождя сохраняется, пока он этой группе служит. Примеров свержения монархов, нарушивших данное правило, в истории предостаточно. К 1944 году единственным функционером, который мог заменить фюрера, был следивший за остальными Гиммлер, а потому разговоры смещения и замирения на Западе, чтобы вместе сражаться на Востоке, начались в его окружении². Но было понятно и то, что даже при наличии заинтересованных лиц на Западе, никто из руководителей Великобритании и США на тот момент не стал бы заключать договор с Гиммлером или человеком из его окружения – нацистский режим заслуженно обладал репутацией преступного и людоедского. В отличие от итальянского фашизма, который исчез, растворившись после свержения дуче, национал-социализм до конца поддерживала большая часть населения, а армия упорно сражалась до мая 1945 года. Верхушка политической элиты была осуждена в Нюрнберге и на нескольких последующих процессах, основная ее часть прошла через непростой (а иногда и поверхностный) процесс денацификации. Во всяком случае, тот немецкий правящий класс, который способствовал развязыванию как Первой, так и Второй мировой войны прекратил свое существование. Его остатки приняли новые правила игры и сделались младшими партнерами США, каковыми они остаются и поныне.

Национал-социализм был революционным движением, пошедшим на союз с экономической и политической элитой страны и полностью себе ее подчинившим. Хотя нацисты поглотили и правые партии, и военизированные их отряды вроде «Стального шлема», они сами вынуждены были идти на уступки. План построения новой армии на основе штурмовиков СА принадлежал не только Рему, но и самому Гитлеру. Это вызывало недовольство офицерского корпуса, Генштаба, Гинденбурга. Так как верхушка СА к тому же желала «продолжения революции», от них пришлось избавляться расстрелами. Все европейские революции начиная с английской включают в себя момент подавления наиболее воинственной и неуправляемой части после победы, будь то левеллеры и диггеры, «бешеные» и коммунисты Бабёфа, наши троцкисты, «перманентная революция» которых была нацелена на борьбу с «бюрократией», или с «термидорианцами», то есть с получившей властные и материальные возможности новой элитой. Муссолини обуздал своих сквадристов почти бескровно, Гитлер уничтожил пару сотен, в Советской России счет шел на сотни тысяч, но тут террор был продолжением не почти бескровной революции, а четырех лет гражданской войны под лозунгами уничтожения «классового врага». В нацистской Германии террор обрушился на «внутреннего врага», к которому были причислены прежде всего коммунисты и евреи. От провозглашенных еще до Первой мировой войны планов *Alldeutsches Verband* эта программа «очистки» Германии нацистов ничуть не отличалась.

Вожди НСДАП иногда ссылались на доктрину корпоративного государства, но на практике к ней не обращались. С безработицей и экономическим кризисом в целом наци-

¹ Так называемый заговор Остера, в котором участвовали многие военачальники начиная с Л. Бека, не желавшие начала войны и предлагавшие сместить фюрера.

² Пусть весьма отдаленно и с множеством художественных домыслов эта ситуация представлена в известном отечественном телевизионном сериале.

сты справились быстро – хозяйством до 1936 года руководил опытный финансист Я. Шахт, меры которого нередко сопоставляют с кейнсианской теорией и «Новым курсом» Рузвельта. Часто эти успехи объясняют милитаризацией экономики («пушки вместо масла»), но в первые годы своего правления Гитлер был еще вынужден соблюдать наложенные Версальским договором ограничения на вооруженные силы. Решение о четырехлетнем плане подготовки хозяйства и армии к войне было принято в сентябре 1936 года, причем Шахт был его противником и ушел в отставку, а его место занял Геринг. С этого момента можно говорить о возрастающем огосударствлении экономики. Оно было своеобразным: в офисах корпораций появлялись чиновники и партийные бонзы, а в бюро государственных чиновников – управляющие и администраторы частного бизнеса. Можно сказать, что управление этим государственно-монополистическим аппаратом еще до войны шло «в ручном режиме». То же самое можно сказать о трансформации рабочего движения в духе идеологии «народного сообщества» (Volksgemeinschaft). Не останавливаясь на том, как работали программы, вроде Kraft durch Freude, можно сказать, что происходила интеграция рабочего движения в массовое индустриальное общество; даже противники нацистов из бывших социал-демократических профсоюзов не могли не замечать того, что рабочие поддерживают режим. «К примечательным успехам национал-социалистской социальной политики нужно отнести расширение чувства социального равенства» [39, с. 98]. Элементы революционной программы были осуществлены целенаправленно, а целью была завоевательная война. Вожди НСДАП хорошо усвоили урок Первой мировой войны, когда в революцию не выдержал тягот и рухнул тыл – для тотальной войны требуется тотальная мобилизация. Объявляя войну США, Гитлер в своей речи не случайно остановился на том, что «американской плутократии» объявляет войну «немецкое социальное государство».

В истории не существует некой «генеральной линии», согласно которой возвышаются царства или совершаются революции. Расхожая схема догматичных марксистов, согласно которой Гитлера привел к власти крупный капитал, ранее его финансировавший и нацеливавший на борьбу с пролетариатом, относится не к историографии, а к идеологии. Приход его на пост канцлера был делом случая, причем из закулисных групп влияния этому способствовали остальбские юнкера, да и то не из любви к Гитлеру, а из ненависти к фон Шлейхеру, обещавшему затронуть их материальные интересы. Проработав он канцлером еще год-другой, и НСДАП утратила бы значительную часть голосов, а тем самым и свой политический вес. Немецкая крупная буржуазия присоединилась к Гитлеру в немалой части в марте 1933 года, а целиком уже в 1934 году. Но присоединилась по-немецки основательно и решительно, поддерживая все без исключения решения, будь они даже явно преступными. Из примерно пары сотен лиц, которые прорабатывали план «окончательного решения еврейского вопроса» и «план ОСТ», приговаривающий к уничтожению 35 миллионов восточных славян, лишь единицы принадлежали к функционерам НСДАП и СС. Остальные были чиновниками разных ведомств, непосредственно связанными с финансовыми и промышленными группами. Ведь рабов нужно перевозить по железным дорогам, их труд следует рационально использовать и т.д. Из этих пары сотен ответили за все это по суду только нацистские бонзы, остальные сделали блестящую карьеру в послевоенной ФРГ.

Теории тоталитаризма применительно к нацистскому режиму верны в том отношении, что тоталитарный строй нацелен на единообразное выравнивание (Gleichschaltung) и социальной действительности, и мысли, предельное упрощение сложного социума государственной опекой и партийной промывкой мозгов. Даже без всякой теории управления мы понимаем, что чем сложнее объект управления, тем сложнее должен мыслить управляющий им субъект. В Италии и в СССР упрощение одних аспектов, предшествовавших режиму, все же сопровождалось усложнением других – индустриализация и модернизация



потребовали многих жертв (среди которых были и бессмысленные). В Германии единственным осмысленным приобретением была армия, но ее можно было восстановить и без всего того, что принес немцам фашизм. Исходно революционная партия низшего среднего класса слилась с союзами империалистического капитала, причем вобрала в себя все худшее из двух составляющих. К этому союзу, равно как и к его двум составляющим трудно подходят традиционные обозначения идеологий – он вобрал нечто от консерватизма, либерализма и социализма, но получилось нечто мало похожее даже на другие разновидности фашизма. Страна превосходной литературы и философии (Dichter und Denker), лучших в Европе да и во всем мире университетов и научных лабораторий стала управляться теми, кто навязал ей примитивную расовую доктрину, служащую обоснованием мирового господства. Примерно двумя миллиардами тогдашнего населения планеты должны были править около 100 миллионов представителей Herrenvolk.

Только в Германии консервативные элиты и консервативная мысль были полностью поглощены фашистской партией, причем хотя бы минимальное сопротивление было со стороны довольно своеобразной версии консерватизма, каковой является КР. Впрочем, к 1933 году все буржуазные партии сдались практически без всякого сопротивления, а национал-либералы своей деятельностью и идеологией сыграли даже большую роль в формировании нацизма¹. После войны в образовании новых партий некоторую роль сыграли те, кого можно отнести к либеральному консерватизму: выходцы из Немецкой народной партии и католической партии «Центр» (Аденауэр) влились в блок ХДС/ХСС.

Историками не единожды ставился вопрос о том, почему немецкое бюргерство, сыгравшее столь большую роль в европейской науке и культуре, превращаясь в правящий буржуазный класс, перешло от умеренного национализма времен борьбы за объединение Германии, от вполне вменяемых либерализма и консерватизма, к империализму в его крайних формах, а затем и к национал-социализму. Вопрос остается важным и донныне, но целиком выходит за пределы данной статьи².

Португалия и Испания

Два режима в странах за Пиренеями практически во всех учебниках, словарях и энциклопедиях обозначаются как «фашистские». Оба они на три десятилетия пережили фашизм в Италии и в Германии, исчезнув в 1974 году в Португалии и в 1975-м после смерти Франко в Испании. Обе страны были когда-то огромными колониальными империями, и если Испания в 1898 году утратила почти все остававшиеся заморские владения, то Португалия немалую их часть сохраняла вплоть до 1974 года. В то же самое время они настолько отстали в промышленном развитии, что в международной политике не играли почти никакой роли. У преимущественно аграрных стран сохранялись и остатки феодальных отношений – земли принадлежали наследникам аристократии XVI–XVII веков. Формально они были конституционными монархиями – в Португалии до 1910 года (в 1908 году были убиты король и наследник, а через два года провозглашена

¹ См. документированное исследование [33], в котором показано, что политические программы империалистических союзов до Первой мировой войны во внутренней политике были именно либеральными, а сами они – и прежде всего Aldeutsches Verband – находились в оппозиции к тогдашним консервативным правительствам, а довольно часто не только канцлеру, но и кайзеру.

² По этому поводу написано немало книг, в том числе крупными философами и социологами [см., напр., 44, 34]. К сожалению, в трудах даже лучших немецких историков – Г.-У. Велера, Г.А. Винклера, Г. Манна, Э. Нольте, Г. Моммзена. Т. Нипперде и др., постоянно присутствовало возложение вины за нацизм на ту или иную социальную группу – происходило перенесение на прошлое партийной борьбы между левыми (СДПГ) и правыми (ХДС) в послевоенной ФРГ. Правда, на сегодняшний день их труды кажутся вершиной объективности, если сравнить с сегодняшними проникнутыми политкорректностью сочинениями.

республика), в Испании до революции 1931 года, но на практике выборы в парламент представляли собой целую систему подкупа и запугивания избирателей. Этим в особенности отличалась Испания, где сколько-то отвечающие закону выборы проходили только в крупных городах, а в провинции деньги передавались своего рода кураторам (или даже «решалам»), которых обозначали позаимствованным из одного из индейских языков словом «кастик» (племенной вождь)¹. Он получал деньги и обеспечивал результат тому, кто больше заплатит, – правила олигархия. В Португалии после провозглашения республики с 1910 по 1926 год сменилось 44 правительства и было 17 попыток государственного переворота, не говоря уж о восстаниях и забастовках; из восьми избранных президентов лишь один пробыл на своем посту весь срок. Коррупция настолько поразила государственный аппарат, что стали возможны невероятные финансовые аферы, а раздутый государственный бюджет разрывался.

Собственно говоря, историю того, что называется «фашистским режимом» в Португалии, приходится начинать с военного переворота в 1926 году. Этот режим создала армия, а через полвека она же этот режим и свергла, она была его опорой и всегда отчасти его контролировала. Осуществивший переворот генерал Кармона четырежды избирался на пост президента и умер в 1951 году на этом посту. Уже этим португальское «Новое государство» напоминало не столько фашистские режимы, а типичные для Латинской Америки военные хунты. Так как сами военные не обладали должной квалификацией для ликвидации последствий всеобщей коррупции, Кармона пригласил на пост министра финансов известного своей неподкупностью профессора Коимбрского университета Антониу Салазара, который за несколько лет обеспечил прозрачность трат бюджета, в несколько раз увеличил собираемость налогов, нашел средства на социальную сферу, армию, образование. Началось постепенное экономическое развитие, пусть не очень быстрое, но непрерывное – это была одна из черт будущего «Нового государства». Развитие невозможно без стабильности, только стабильность иной раз сказывается на скорости – Салазар и военные предпочли стабильность, получив при этом доверие большей части населения. Если республика 1910–1926 годов отличилась своей антиклерикальной риторикой и захватом церковных владений, то Салазар был «добрым католиком», что не могло не нравиться преобладавшему в Португалии слою крестьян.

В 1932 году Салазар стал премьер-министром, а в 1933-м на референдуме две трети португальцев проголосовало за конституцию Нового государства (против было лишь 6 тысяч голосов, треть избирателей воздержалась), причем со времени этого референдума право голоса получили и женщины. Опорой этого режима стала партия Национальный союз, вооруженным крылом которой был Легион. Новое государство было объявлено корпоративным, но обоснование его имело мало общего с идеями итальянских фашистов. Салазар взял в качестве базовых папские энциклики, провозглашающие католическое социальное учение. Коммунистов преследовали, но под запрет попадали и радикальные фашисты², желающие брать пример с Италии и Германии. Антисемитизм был вообще чужд Салазару, как и любой расизм, расходящийся с католической верой. Можно говорить о некотором влиянии на Салазара доктрины “Action française” Ш. Моррасса, но за вычетом монархизма и антисемитизма.

¹ Для этой системы даже был изобретен термин *casiquismo*, который доныне употребляется по отношению к некоторым странам Латинской Америки. В Испании эта система была целиком разрушена только при режиме Франко, поскольку при так называемой «органической демократии» франкизма «касикис» лишились своих возможностей. Режим каудильо истребил «касикизм». Это не означает того, что коррупция исчезла, она поменяла свой облик.

² Португальское фашистское движение попало под запрет 1934 года одновременно с организацией национал-синдикалистов, которых обвиняли в том числе в пропаганде чуждых португальцам иностранных моделей, в культе силы и вождизме – все это было неприемлемо для добрых католиков.

Во внешней политике Португалия исторически находилась под значительным влиянием Великобритании. Восставших в соседней Испании националистов Салазар поддерживал, но официально в гражданскую войну не вмешивался. Во время Второй мировой войны Португалия сохраняла нейтралитет, поначалу ведя торговлю с обеими воюющими сторонами, но с 1944 года при давлении англичан продажи необходимого немецкому оружию вольфрама прекратились, тогда как американцы получили базу на Азорских островах. В 1949 году Португалия вступила в НАТО, а английский протекторат постепенно сменился на американский.

Не вдаваясь в историю Нового государства, в его попытки сохранить колонии, экономическую политику и социальную сферу, обращу внимание только на то, что явно отличает режим от фашистских аналогов. Прежде всего в этом режиме отсутствовал харизматичный вождь, вовлекающий массы в политическую борьбу. Фашизм политизирует и радикализирует массы, а консерватизм стремится к их деполитизации. В случае Португалии мы имеем дело с авторитарным консерватизмом, опирающимся на армию и полицию, а созданная правящая партия никогда не играла большой роли ни в управлении, ни в идеологии. Руководил правительством скромный, ведущий почти монашескую жизнь профессор права, который привлекал своих коллег на министерские должности, – в некоторые периоды треть кабинета министров состояла из профессоров. Хотя конфликты с католической церковью случались да и была провозглашена свобода вероисповедания, церковь занимала ведущее место в духовном окормлении португальцев. Никакого воспитания «штурмующего небо» *homo novus* не только не предполагалось – на это был строгий запрет. Массовые шествия штурмовиков, театральные речи вождей на стадионах и площадях – вся эта драматургия считалась неоязычеством. Салазар не единожды осуждал все формы цезаризма, будь он правым или левым, именно как идолопоклонство. Желание сохранить остатки империи и возбуждаемый по этому поводу национализм, воскрешающий память о воспетых Камознсом предках, все же ничем не походил на культ нации Муссолини и тем более на расовую мифологию нацизма. В официальную доктрину режима входил «лузитано-тропикализм»: Лузитания (название римской провинции) объединена португальским языком, католической верой, общей ментальностью с Бразилией, Анголой, прочими колониями и их народами. Разговоры об эксплуатации несчастных негров Африки, конечно, приветствуются сегодня в американских и европейских университетах (BLM), но только с начала 1960-х годов Португалия тратила денег на колонии на треть больше, чем от них получала, а после того, как там началась антиколониальная партизанская война, эти расходы возросли вдвое.

Настаивающим на том, что фашизм есть террористическая диктатура «наиболее империалистических элементов финансового капитала» (Димитров), стоит приглядеться к деятельности авторитарного режима, остановившего разворовывание бюджета под либеральные речи в парламенте, к Новому государству, которое вступало в конфликт с междunarодным капиталом, – оно мешало осваивать нефть и алмазы в Анголе. Салазар вообще испытывал неприязнь к крупному капиталу и подозревал его в том, что тот желает ограбить простого португальца. Лучше быть победнее, но опираться на свои силы – такова доктрина Нового государства. Терроризм же этого строя сводился к тому, что из оппозиционеров понастоящему преследовали только коммунистов и анархистов, ссылая их на острова Зеленого Мыса. Смертной казни в Португалии не было. За сорок лет Нового государства в той или иной степени преследовали по политическим обвинениям 30 тыс. человек, реальные сроки получили немногие. В политической полиции (PIDE) служило всего 300 человек – даже с учетом того, что страна невелика по населению, цифра характеризует размах репрессий. Режим долгое время устраивал население аграрной страны, диссидентов было немного, а оппозиция стала заявлять о себе с выборов 1958 года и еще более с той поры,

как после некоторых экономических реформ начала 1960-х годов началось быстрое развитие промышленности, рост городов. Возникли социальные слои, которым было тесно в Новом государстве.

Даже пал этот режим в то время, когда М. Каэтану, заменивший перенесшего инсульт профессора, начал переход к многопартийному режиму, ослабил цензуру и разрушил Легион. В Португалии на закате Нового государства новые поколения, поработавшие или получившие образование в странах Западной Европы, уже не помнили маразма Первой республики, были недовольны удушливой атмосферой застрявшего во времени реликта другой эпохи. Никто не противился свержению режима во время «Революции гвоздик». Судьбу страны решили офицеры, понимавшие бесперспективность продолжения войны в африканских колониях. Поначалу у власти оказался генерал Спинола, но выдвинувшие его младшие офицеры («движение капитанов») свергли его, так как исповедовали социализм, – борьба между группами военных за искомую его версию длилась два года, пока они не пришли к тому социальному государству, которое существует поныне.

Консерватизм католического толка в Португалии кое-что перенял у фашистских режимов 1930-х годов, но никогда в строгом смысле сам таковым не был. Правая авторитарная диктатура имела, клерикализм, который левые именуют «реакционным», присутствовал, но не стоит путаться самим и запутывать других. Отсутствовала и идейная борьба, поскольку значимых политических теорий, будь они консервативными или фашистскими, просто не было. Либерализм отвергали на том простом основании, что заимствованными из Англии словами прикрывалась коррупция в Первой республике, коммунизм – за безбожие и намерение упразднить частную собственность во всех ее видах. В 1920–1930-х годах адептов этих идей в Португалии почти не было, число их возросло лишь в 1960-х. Португалия как была, так и осталась самой бедной страной Западной Европы, но, если верить статистике, медленное развитие в период Нового государства¹ шло все же быстрее, чем в последовавшие за ним десятилетия.

В Испании ситуация была совершенно иной. Само слово «либерал» возникло во время наполеоновской оккупации страны: в Кадисе на освобожденной от захватчиков территории действовали кортесы, в которых столкнулись две партии. По одну стороны были те, кого называли «великодушными», «щедрыми» (*los liberales* – *liberalidad* происходит от латинского *liberalitate*), а других «раболепными» (*los serviles*) – первые были конституционалистами, а вторые сторонниками абсолютной монархии. Кортесы утвердили тогда конституцию, но она была отменена вернувшимся после изгнания королем Фердинандом VII, он был вынужден вернуть ее в результате восстания Риго, но после его подавления вновь отменил в 1823 году. Не имея детей мужского пола, король передал корону малолетней дочери Изабелле, а не брату Карлосу. При власти регентского совета во главе с матерью королевы, либералы и прогрессисты приняли конституцию, создали двухпалатный парламент, тогда как Карлос Бурбон, имевший множество сторонников, начал первую из трех гражданских войн, называемых карлистскими. Когда речь идет о монархистах в Испании XIX–XX веков, то следует отличать тех, кто поддерживал идущую от Изабеллы поныне правящую династию Бурбонов, от потомков Карлоса «Старшего», поскольку продолжавший гражданские войны сын также носил это имя. Если первые были конституционалистами, то вторые положили начало испанскому традиционализму – идеям возврата к монархии времен XVI века, испанскому «золотому веку» колониального могущества, побед испанской пехоты (*tercios*), истинно католической веры, но также расцвета живописи, поэзии и театра.

¹ И не такое уж медленное: с 1950 по 1970 год средний ежегодный прирост ВВП составлял 5,7%.



На те слои населения, которые поддерживали стороны в династическом конфликте, не так уж легко «накладываются» привычные сетки понятий: правящую династию вместе с либералами (*moderados* – «умеренные») и прогрессистами поддерживали владельцы крупных поместий, большая часть аристократии, тогда как карлисты, являвшиеся чуть ли не по определению «реакционерами», набирали свои войска из крестьян Наварры и севера Кастилии – своего рода испанской Вандеи. Эти добровольцы пели гимн “*Oriamendi*”, звавший сражаться за отечество, короля и веру, песни, вроде “*Calzame las Alparagatas*”, в которой доброволец идет в бой, обещая «убить парочку либералов», но армия (*requete*) была именно крестьянская с офицерами из нищих идалго. С позднего средневековья на севере Испании сохранялись свободные от феодалов наследственные наделы крепких крестьян, преданных церкви католиков, помнивших участие предков в Реконкисте и в войне против французов в 1808–1814 годах. Именно с этой борьбы начинается разделение испанцев на тех, кто хотел «европеизировать» отставшую страну, и тех, кто отстаивал национальную традицию (*Hispanidad*), которой угрожают всякие «офранцуженные» (*afrancesados*), к каковым относились сначала либералы, а затем социалисты и коммунисты. В 1936 году 60 тысяч добровольцев Рекете станут ядром тех отрядов националистов, которые во главе с Франко выступят против II Республики, объявив о начале крестового похода.

Проблемой всякого традиционализма является то, что традиция оказывается в немалой мере выдуманной из потребностей сегодняшнего дня. Это относится и к Испании, где не без влияния романтизма начали создавать образ вековой традиции. Х. Ортега-и-Гассет как-то написал о том, что даже бой быков, возводимый многими к седой древности, сформировался в нынешнем виде только в XVIII веке. В терминах политической теории монархический традиционализм относился к консерватизму *status quo ante*, желавшему вернуться в идеализированное славное прошлое, тогда как монархисты-конституционалисты были никак не либералами, а консерваторами *status quo*. К последним, то есть к «умеренным», относились два мыслителя, с которых начинается консервативная мысль в Испании. Один из них, Х. Бальмес, почти не известен за пределами Иберийского полуострова, поскольку этот проживший короткую жизнь богослов, приспособлял идеи Фомы Аквинского к собственной версии «философии здравого смысла», а в политической теории обосновывал преимущества монархии, которая верна традиции, но может идти на реформы, дабы сохранить порядок и воспрепятствовать революции.

Другой консерватор, Х. Доносо Кортес, напротив, получил широкую известность по всей Европе своей книгой «Опыт о католицизме, либерализме и социализме» (1851), а затем через свое влияние на ряд мыслителей XX века, прежде всего на К. Шмитта. Начиная этот аристократ как либеральный консерватор, видный дипломат и депутат кортесов от *moderados*, но затем сделался воинственным противником либерализма и социализма, любящей парламентские дебаты буржуазии (*la clase discutidora*), сторонником «диктатуры шпаги», которая все же лучше «диктатуры кинжала». В известной речи о диктатуре в кортесах, он говорил, что свобода, о которой так любят толковать революционеры всех толков, уже мертва, а цивилизация движется к установлению самой жестокой в мировой истории деспотии [13, с. 44] – можно сопоставить это видение с прозрениями нашего К. Леонтьева, а требование диктатуры – с книгой Ш. Моррасса «Диктатор и король» (1899). Для середины XIX века во времена чрезвычайно быстрого развития Европы и господства либерального прогрессизма эта пессимистичная «политическая теология» была чем-то несвоевременным. В Испании она не была востребована и традиционалистами, так как для Доносо Кортеса возврат к идиллической традиции был уже невозможным, да и сама она понималась как начало распада из-за отпадения уже аристократии XVII–XVIII веков от христианства. К тому же католические теологи подвергали его критике за дилетантское богословие – с точки зрения томистов, Доносо представлял чуть ли не как еретик, склоняющийся к манихейству.

Куда ближе к ортодоксии стоял во второй половине XIX века замечательный историк испанской литературы, живописи и науки М. Менендес Пелайо, который поспособствовал своими научными трудами не только росту знаний о достижениях испанцев «золотого века», но также развитию испанского национализма. Он спорил не только с теми, кто по незнанию или злокозненности отрицал достижения испанцев, – публицистами, близкими иным из наших «западников» XIX века, полагавших, что следует отбросить все «остатки темного средневековья» и «всему учиться у Европы». Главные его оппоненты принадлежали к католическим богословам, для которых чуть ли не единственным достижением испанцев «золотого века» была так называемая вторая схоластика во главе с иезуитом Суаресом, а все остальное для такого традиционализма было или малозначимо, либо вообще вводило в соблазн. Понимание нации у Менендеса Пелайо было уже современным и не столь уж далеким от того определения, которое дал нации Ренан. Из него чаще всего приводят «ежедневный плебисцит», забывая о том, что Ренан говорил также о всей духовной традиции народа, ради сохранения которой такой плебисцит и производится.

Радикализации политической мысли поспособствовали поражение Испании в краткосрочной войне с США в 1898 году и утрата большинства еще остававшихся колониальных владений. Выразителями разных тенденций были представители так называемого «поколения 1898 года» – литераторы и публицисты, философы и экономисты требовали перемен. Одни из них были «европеизаторами», требовавшими скорейших реформ, другие открывали «вечную Испанию» и делали традиционалистами. Поэзия, проза, театр, философская эссеистика, зарисовки путешественника по стране – вот основные жанры деятельности представителей этого поколения. К нашей теме имеют отношение немногие из этих литераторов, причем к политике в собственном смысле слова они перешли уже в 1920–1930-х годах. Из оказавших некоторое влияние на консерватизм, а отчасти и на испанский фашизм иногда называют рано покончившего с собой А. Ганивета, чуть чаще – перешедшего от позитивизма и марксизма к религиозному экзистенциализму и апологии *Hispanidad* М. де Унамуну, практически всегда главного идеолога испанского традиционализма Рамиро де Маэсту. Так как он был схвачен в Мадриде и бессудно расстрелян как фашист республиканцами вскоре после начала франкистского мятежа, его регулярно относили к фалангистам, хотя он не имел к ним никакого отношения.

Этот поначалу почитатель Ницше и сторонник анархо-синдикализма, будучи журналистом в Лондоне, склонился к фабианскому социализму, но затем, уже после Первой мировой войны, стал истовым католиком и монархистом. Его первая консервативная книга «Кризис гуманизма» вышла в 1919 году и несла след размышлений по поводу закончившейся мировой войны. У него еще сохраняется в ней свойственный социалистам акцент на виновности капитализма в развязывании войны, но капитализм он увязывает с протестантской Реформацией, а выход находит в католической традиции. Он вступает в политику во время диктатуры генерала М. Примо де Риверы, был несколько лет послом в Аргентине и в эти годы становится главным представителем авторитарного монархизма, видя в Доносо Кортесе своего прямого предшественника. В издаваемом им журнале он публиковал статьи молодых лидеров фашизма, но сам от них был идейно далек, поскольку сама идея массовой партии вызывала у него сопротивление¹.

¹ Автору этих строк доводилось почти полвека назад читать главный труд Рамиро де Маэсту «Защита *Hispanidad*» (1934) и посмертно выпущенный при Франко сборник статей «Испания и Европа», и уже в те советские годы возникал вопрос о принадлежности его к фашизму, каковая провозглашалась не только советскими историками, но и в доступных в то время трудах западных исследователей. В этих работах Маэсту не только нет близких фашизму тезисов, но и содержится довольно язвительная критика итальянского режима. Даже в тогдашней бранчливой терминологии он мог быть квалифицирован как монархист и контрреволюционер, реакционер и ретроград, реставратор давнего прошлого, но не было ни следа собственных фашистам утверждений и лозунгов. Не во всех идеях, но стилистически Маэсту близок К. Леонтьеву.

Движение консервативной мысли к идее авторитарной диктатуры происходит после Первой мировой войны. Испания в ней не участвовала, немало от этого выиграла экономически, но сама коррумпированная политическая система вела к обострению и социальных, и региональных противоречий. Последние были этническими – Каталония и Страна басков были промышленно развитыми регионами и желали значительной автономии, а нищие сельскохозяйственные провинции не развивались в том числе из-за сохранявшихся полуфеодальных владений аристократии. Как уже говорилось выше, парламентская система была в руках тех, кто именовал себя либералами, но избирался за счет подкупа («касикизм»). Конечно в крупных городах и промышленных районах избирали социалистов в Кастилии и анархистов в Каталонии, но процент рабочих да и жителей больших городов вообще был относительно небольшим. Однако там, где рабочие обладали хоть каким-то весом, начинались забастовки, переходящие в восстания. Социалисты той поры еще были революционной партией, что показала всеобщая забастовка 1917 года, сопровождавшаяся захватами предприятий и актами насилия, против которой правительство направило войска.

Диктатура генерала Мигеля Примо де Риверы началась именно с того, что его назначили в 1922 году военным губернатором Барселоны, находившейся в руках анархистов и сепаратистов, а потому совершенно неуправляемой. Он навел там жесткий порядок, а в 1923 году, в разгар очередного парламентского кризиса с согласия короля распустил кортесы и возглавил военное правительство. Так как он установил хорошие отношения с Италией, его уже тогда начали называть фашистом, хотя военная диктатура вообще была лишена какой бы то ни было идеологии. Не стану вдаваться в экономические и социальные меры этого правительства. Достаточно сказать, что за сотрудничество с диктатурой выступали и лидеры социалистов (Х. Бестейро, Ф. Ларго Кабальеро, которые прежним правительством были приговорены к пожизненному заключению за организацию стачки в 1917 году), видевшие в ней силу, способную улучшить положение рабочих. Обращу внимание только на деятельность важнейшего его члена, не принадлежавшего к армии, Х. Кальво Сотело. Он ответил своей жизнью за то, что делал во время диктатуры, – активно мешал восстановить многопартийную систему и в особенности прервать движение к захвату власти социалистами и анархистами.

Республиканцы убили Кальво Сотело еще до начала мятежа в июле 1936 года, причем именно это террористическое убийство ускорило его начало. Оно было не просто бессудным – лидера парламентской группы арестовали полицейские офицеры, члены социалистической партии¹, которые пристрелили его по дороге и выбросили труп в реку. Впоследствии это опять-таки оправдывалось тем, что уничтожили фашиста. Но если посмотреть на его деятельность, то сначала как ученый, а затем как губернатор Валенсии он занимался вопросами реформы местного самоуправления, а потом, во время военной диктатуры, получив пост генерального директора администрации начал борьбу с касиками, выступал за избирательные права женщин, провел решение, увеличивающие права муниципалитетов. Затем, став к концу 1925 года министром финансов, провел меры по контролю за уплату земельного налога, что вызвало недовольство владельцев латифундий, ранее от него всячески уходивших, но привело к тому, что за несколько лет налогов в бюджет собрали на треть больше. Существенно увеличились расходы на транспортную инфраструктуру, на образование. Создав нефтяную государственную монополию, он вступил в конфликт с президентом американской компании «Шелл» Детердингом, который стал угрожать бойкотом Испании. В ответ Кальво Сотело заключил договор о поставках

¹ На тот момент социалистов в полиции уже было много. Коммунистическая партия еще была слаба, а анархисты не желали служить в полиции даже там, где были сильны, в Барселоне и Валенсии.

нефти из СССР. Основание государственного Внешнеторгового банка также повышало роль государства в торговле с другими странами. Все эти меры не содержат в себе ничего специфически монархического и уж тем менее фашистского. Парламент был убран именно потому, что находился в руках групп влияния, купивших большинству депутатов места, а потому препятствовал развитию страны. Кальво Сотело был противником финансовой олигархии, сторонником прогрессивного налога на ренту, затрагивавшего в то время прежде всего латифундистов. Консерватизм такого рода никак не назовешь служащим интересам сил «старого порядка» и полуфеодальных отношений. Основные враги были слева, но противостоять им еще пытались посредством реформ.

Все экономические успехи диктатуры были перечеркнуты начавшимся мировым экономическим кризисом. Примо де Ривера утратил власть и вскоре умер в Париже. После отъезда короля¹ и установления республики Кальво Сотело был вынужден эмигрировать, поскольку ему грозили не просто судом, но чрезвычайным судом из членов парламента. Он отвечал, что как юрист и гражданин готов предстать перед нормальным судом, а не перед «чрезвычайкой». Сводя счеты, его осудили заочно на 12 лет по явно надуманному поводу. На диапазон политических и экономических воззрений этого монархиста указывает то, что, находясь в эмиграции, он одновременно раздумывал, как применить в Испании во время мирового кризиса меры и корпоративного государства Муссолини, и «Нового курса» Рузвельта. Он вернулся в Испанию после следующих выборов в 1934 году, стал одним из лидеров объединения правых (CEDA – «Испанская конфедерация независимых правых»). С небольшой группой фалангистов в кортесах он встречался, но их разделяло уже то, что Кальво Сотело оставался монархистом, а сын генерала, Хосе Антонио Примо де Ривера создал антимонархическое движение, более того – движение революционное, желающее опрокинуть все прежние политические элиты. Небольшую финансовую помощь фалангистам выделяли в прагматических целях: условием было то, что прекратятся публичные нападки на монархистов.

Вопрос о том, как Кальво Сотело повел бы себя после мятежа, остается без ответа. Скорее всего, поддержал бы, но не согласился бы с последующей диктатурой Франко. Так, близкий по идеям к Кальво Сотело соруководитель CEDA Х.-М. Хиль Роблес не случайно оказался после гражданской войны сначала в эмиграции, а по возвращении в страну – в оппозиции франкистскому режиму, начав движение консервативных монархистов в сторону христианской демократии. Оба они подчеркивали, что консерватизм есть реформистское социальное движение. Эта возможность существовала до гражданской войны, но жесткое противостояние с левыми тогда целиком закрывало подобный путь развития.

Историю возникновения испанского фашизма невозможно понять без рассмотрения периода существования II Республики с 1931 года и с начала до мятежа 17 июля 1936 года, а затем до поражения ее 1 апреля 1939-го. Даже самый краткий обзор потребовал бы пересказа множества событий, описанных в книгах, статьях и диссертациях. Споры велись и ведутся доныне, а они еще дальше увели бы от темы. По существу, гражданская война началась вместе с провозглашением республики – уже с мая 1931 года начались выстрелы и массовые поджоги церквей. Один правительственный кризис следовал за другим, были и восстания рабочих, и попытки военного мятежа генерала Санхурхо, и террор, в котором участвовали как левые, так и правые. Когда правительство после выборов 1933 года было в руках правых, оно прибегало к насилию, но хотя бы действовало в согласии с законом. После победы левых на выборах в феврале 1936 года заключенные ранее левые, включая осужденных за террористические акты, были амнистированы, зато начались аресты правых – лидера фалангистов Х.А. Примо де Ривера заключили в тюрьму еще до выступления военных.

¹ Формально Альфонс XIII не отрекся, но покинул страну.

Политика Народного фронта была непрерывным подстрекательством к мятежу. Как оценить массовое убийство священников, ложно обвиненных в том, что они раздавали детям пролетариев отравленные конфеты? Число подожженных церковей исчислялось сотнями, было убито 6500 священников и монахов. В католической стране, где к выступлению уже были готовы и даже начали с лета 1934 года готовиться к боям ополченцы из карлистов, (упомянутые выше *requetes*), это выглядело именно как провокация, за которой неизбежное выступление «реакционеров» мечтали подавить «вооруженным народом». Правительство, состоявшее в основном из левых либералов и социалистов, считало, что оно уже контролирует полицию и армию, расставив на командные посты верных левым генералов. Действительно, после мятежа почти все военно-морские силы и авиация остались верны республике, равно как и часть пехотных войск. Но они явно недооценивали как угрозу все более радикализировавшихся левых – коммунистов, анархистов, немалой части социалистов¹, так и все возраставшее сопротивление со стороны правых, понимавших, что отступить им уже некуда. Их поддерживала значительная часть населения, видевшего, к чему ведет власть «красных», не скрывавших своего намерения перейти к социалистической революции. Когда уже во время войны командовавший наступающими на Мадрид войсками генерал Мола говорил о «пятой колонне», он имел на то основания – значительная часть населения столицы с нетерпением ждала мятежников и встретила их радостными толпами весной 1939 года. Страна была разделена на две примерно равные по численности части, взаимные претензии уже переросли в ненависть. Гражданские войны со времен Фукидида не случайно относят к самым жестоким и непримиримым.

В этой пожароопасной атмосфере фашизм не мог не возникнуть как движение, мыслившее себя, если можно употребить это выражение, как «встречный пал»: ответить огнем на пожар слева. Партия «Испанская фаланга» была основана в октябре 1933 года группой студентов Мадридского университета и просуществовала полгода как небольшая, хотя довольно быстро растущая организация интеллектуалов, которую еще трудно назвать фашистской, – из нее за пропаганду фашизма даже исключили пару человек. Существует гимн тех, кто изначально входил в «Фалангу» и называл ее подлинной (*Falange autentica*): «Ni marxismo, ni fascismo». Главу партии, Хосе Антонио Примо де Ривера, унаследовавшего от своего отца-диктатора не только титул маркиза, но и манеры аристократа, вообще трудно представить в роли вождя массовой организации. Сохранившиеся записи его выступлений показывают прекрасного оратора, но пригодно-го убедительно говорить негромким голосом, скорее, в университетской аудитории или с парламентской трибуны, а не на площади. На это ему указывали два вождя примкнувших к «Фаланге» в феврале 1934 года организаций. Оба они, Ледесма Рамос и Онесимо Редондо, тоже были хорошо образованными молодыми людьми, но начинали с деятельности в профсоюзах беднейших работников, вроде сборщиков сахарной свеклы. Антикапиталистические требования звучали в их устах куда убедительнее, именно они сделали преобразованную партию (*Falange Española de las JONS*) фашистской: присоединенная организация «Хунты национал-синдикалистского наступления» была революционной, вела агитацию на предприятиях и в полях, в кварталах, куда не проникали мадридские

¹ Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) сохраняла в своей программе тезисы о вооруженной социалистической революции и диктатуре пролетариата. Правое крыло партии и «центристы», возглавляемые Х. Бестейро и И. Прието, уже тогда пытались перейти на путь реформизма, считая себя наследниками основателя партии и ее долголетнего руководителя П. Иглесиаса, для которого на первом месте всегда стояло улучшение участи рабочих, а не прожектерство. Но в начале 1930-х годов в партии доминировала левая фракция, возглавляемая Ф. Ларго Кабальеро, а по ходу войны даже «центристам», вроде последнего премьер-министра республики Х. Негрина, приходилось считаться с коммунистами и советниками из СССР. От марксистской догматики эта партия не без труда избавилась, когда ее руководство находилось в эмиграции.

высоколобые, вела за собой немалое число рабочих и крестьян, становившихся в том числе вооруженными боевиками.

Это сказалось на идеологии фалангизма, которая была столь же антикапиталистической, сколь и антимарксистской, включала в себя ряд требований, свойственных левым партиям, но обосновывались эти требования националистически: солидарности всех испанцев независимо от социального происхождения препятствуют как капиталисты, так и марксисты, разжигающие классовую войну. Идеологом этого национал-синдикализма был Ледесма Рамос, который к 1936 году даже вышел из партии, поскольку она была недостаточно революционной. Программа фалангистов в области экономики во многом копирует идеи Дж. Боттаи¹, главного теоретика корпоративного государства в Италии, с тем отличием, что огромное внимание уделяется созданию кооперативов, в которых видится идеальная форма хозяйственной деятельности. Ликвидация латифундий, на место которых приходят кооперативы крестьян, – для Испании подобная программа была революционной. Частная собственность не отменяется, но вводится целый набор государственных ограничений, вплоть до национализации основных банков. За такой национализацией некоторые комментаторы той эпохи видели слабо прикрытый испанский шовинизм в его борьбе с сепаратизмом – основные банки контролировались басками, поддерживавшими сепаратизм. Никакого антисемитизма у фалангистов не было, да и расизм был им чужд. Слово «раса» в Испании вообще употреблялось без связи с биологией и даже без некой отсылки к аристократии. «День расы» отмечался в Испании 12 октября, под другим названием он был *Día de Hispanidad*, а с 1981 года, в политкорректную эпоху, празднуется под именем «День испанской нации»; это празднование дня открытия Америки, единства испанцев с народами бывших колоний, некоего духовного с ними братства. Понятно, что с расизмом такое толкование «расы» не имеет ничего общего. Единство Испании, преодоление любого сепаратизма, возвращение Гибралтара, подавление «красных», замена правящего класса на подлинно народную элиту – таковы, вкратце, основные положения программы. Х.А. Примо де Ривера часто повторял, что Испанию разрывают конфликты, порожденные сепаратизмом, партийной пропагандой и классовой борьбой. У всех этих конфликтов имеются исторические предпосылки, но именно «Фаланга» способна предложить их разрешение.

Фашистской партией ее делало прежде всего то, что национальная революция мыслилась как рождающая в борьбе новую элиту, выдвигающую и создающую новый тип человека. И Примо де Ривера, и Ледесма Рамос учились у Ортеги философии и испытали влияние идеи подлинной элиты, которая необходима в условиях «восстания масс». Ледесма Рамос, философ по образованию, учился и в Германии, занимался истолкованием Хайдеггера, из которого вынес не попытки создать новую онтологию, но учение об экзистенциальном выборе, преобразующем ведущего неподлинное существование человека. Хотя фалангисты отличались от итальянских фашистов и тем более национал-социалистов своим подчеркнутым почтением к церкви, трудно назвать христианским учение об элите, отличающейся от ведомой массы тем, что она пересоздает мир, творя себя в рискованных деяниях перед лицом смерти. В той или иной степени, тексты создателей фалангизма пронизаны героическим пессимизмом, идеей воли к власти как «преодоления себя» (*Selbstüberwindung*) Ницше и экзистенциализма – почитали они не только Ортегу, но

¹ Две лекции Боттаи февраля 1934 года были переведены на русский, их легко отыскать в Интернете. В них он, в частности, обращает внимание на отличия фашистского корпоративизма от средневековых его версий, а тем самым и от восходящего к ним католического социального учения. Боттаи подчеркивает связь современных синдикатов с высокотехнологичной промышленностью, ростом производительности труда. Фашизм является не консервативной, а революционной силой. В 1926 году Боттаи назвал фашизм «перманентной революцией».



и Унамуно. След этого мироощущения замечен в гимне фалангистов «Лицом к солнцу», написанном Примо де Риверой¹ в 1935 году.

Трудно сказать, как развивалась бы эта идеология, переживи ее создатели гражданскую войну. Только Примо де Ривера и Ледесма Рамос были арестованы и расстреляны, а Онесимо Редондо в самом начале мятежа военных собрал сотню единомышленников и, командуя ими, погиб в самом начале боев. После победы в гражданской войне Франко способствовал созданию настоящего культа Хосе Антонио Примо де Риверы, сестра последнего Пилар долгие годы руководила фалангистским женским движением (*Sección femenina*), но все то, что составляло особенности раннего и фашистского в собственном смысле слова периода «Фаланги» было отброшено, а со временем и позабыто. Ко многим революционерам подходят слова, сказанные о Бакунине, что на первый день революции такой человек просто клад, а уже на второй его следует повесить. С иными фалангистами это и произошло – даже если их причислять к деятелям контрреволюции, то последние тоже «пожирают своих детей». Связано это с тем, как шла гражданская война, какие силы в ней участвовали на стороне мятежников, кто получил власть в результате победы над республиканцами.

На момент начала выступления военных силы мятежников были не слишком велики: флот остался в основном верен правительству, а по воздуху из Африки с помощью немецкой транспортной авиации на юг Испании было переброшено примерно 20 тыс. солдат и офицеров. Но это были части, обстрелянные в войне – состоящие по преимуществу из марокканцев (*regulares*), и Испанский Легион под командованием Франко. Так как готовивший и начинавший мятеж генерал Х. Санхурхо погиб в авиакатастрофе, то в конце сентября 1936 года генералы, понимавшие необходимость единого командования, предоставили полномочия Франко как руководителю наиболее боеспособных подразделений. Сухопутные войска отчасти остались республиканскими, частью разбежались, но в большинстве своем избрали сторону националистов (именно так называли себя мятежники). Однако для завоевания страны, в которой половина населения поддерживала республику и быстро начала формировать новую сухопутную армию, к которой вскоре добавились интербригады, этого было мало. Поддержку Франко сразу получил от карлистов – *Requetes* вступили в бой и относились к лучшим частям мятежников. Из политических партий только Фаланга целиком выступила на стороне националистов, выражая интересы не религиозных крестьян Наварры, а городской буржуазии, чиновников, студентов. Чрезвычайно быстро она численно выросла примерно в пять раз. Ею также были сформированы бригады добровольцев, а своей националистической пропагандой, имевшимися газетами («*Arriba*» была важнейшей на тот момент) она играла значительную роль в войне. Ценна она была для военных и своей идеологической близостью помогавшим мятежу немецким фашистам и итальянским фашистам, пославшим в Испанию корпус из примерно из 70 тыс. солдат и офицеров². Рост числа членов партии вел к изменению ее социального состава: «Фаланга» становилась преимущественно партией городской буржуазии, поскольку других антикоммунистических партий уже не осталось. Монархистская CEDA была типичной парламентской партией с большим электоратом, немалыми финансовыми вливаниями испанской буржуазии, но не имела ни вооруженных отрядов, ни вождей, способных извести за собой. Переток монархической молодежи из CEDA в «Фалангу» начался еще до мятежа, а завершился он по ходу гражданской войны. Вливавшиеся в «Фалангу» массы чаще всего

¹ Первый куплет принадлежит поэту и раннему идеологу фалангизма Дионисио Ридруэхо.

² Состоявший не только из добровольцев (как звучало в пропаганде), но также из кадровой дивизии «Литторио»; участвовали в войне итальянские авиация и флот. Хотя одно из сражений в начале войны итальянцы под Гвадалахарой проиграли, роль их войск в победе националистов была немалой, особенно в первые полтора года войны, когда по своей численности войска мятежников серьезно уступали республиканским. На конец войны в 1939 году вся армия франкистов составляла 350 тысяч.

не разделяли революционные идеи и требования – им требовалось быстрее наведение закона и порядка. Буржуазной партией она стала именно во время гражданской войны, когда историческое ядро растворилось в сотне тысяч новых членов.

Уже то, что к единоначалию нужно было приводить не только армию, в которой были недолюбливавшие Франко генералы, но и отряды добровольцев разной политической окраски и уровня военной выучки, предполагало прекращение партизанщины и унификацию. Все поддерживающие мятеж силы ненавидели «красных», но требовался ответ на вопрос о том, ради какого будущего идет война. Армейские генералы и офицеры были чаще всего монархистами, поддерживающими династию, желавшими вернуть трон эмигрировавшему королю или его сыну («альфонсисты»), монархистами были и карлисты, но им требовались на троне потомки Карлоса Бурбона; фалангисты вообще отринули монархию, да еще выдвигали идеи, совершенно неприемлемые для большинства консервативных католиков, будь они военными, священниками или промышленниками. Хотя монархисты из умеренной партии CEDA поддерживали военных, но ее руководство отрицательно относилось и к карлистам, и к фалангистам, и к единовластию Франко. Генерал нашел выход в объединении всех этих сил в одной партии, убрав из их руководства всех препятствующих догматиков той или иной идеи. Таковых было немало, поскольку «красные береты» (которые с XIX века носили карлисты) иной раз вступали не только в драки, но и в перестрелки с «синими беретами» – добровольцами из фалангистов. Убрать надо было прежде всего потенциальных конкурентов в борьбе за власть и откровенно вносящих раздор во время войны¹.

Эта операция была проделана в апреле 1937 года, когда Франко слил фалангистов с монархистами в партию с названием «Испанская традиционалистская фаланга союзов национал-синдикалистского наступления». Добавилось прилагательное «традиционалистская», чтобы включить в партию монархистов всех оттенков, но за сменой названия последовали довольно суровые меры по отношению к тем, кто продолжал отстаивать независимую точку зрения на то, какими должны быть партия и страна. Среди карлистов таковых было сравнительно немного, в «Фаланге» же произошел раскол. Меньшей части во главе с Мануэлем Эдильей, синдикалистом и выходцем из рабочих, это единение под руководством Франко решительно не нравилось – Эдилье был вынесен смертный приговор, затем замененный на пожизненную высылку из страны. Нескольких фалангистов расстреляли, оставшиеся либо вышли из партии, либо вели в ней полуподпольное существование, вспоминая о «*Falange autentica*». В этой среде впоследствии появятся враждебные режиму синдикалистские организации. Большая часть разросшейся партии в условиях войны не желала выступать против генерала, а у оказавшихся во главе партии лиц открывались и карьерные возможности.

Итогом «крестового похода» было установление режима, который имел все черты фашистского. Единолично правил каудильо, любое публичное появление его начиналось с ритуального возгласа: «Франко, Франко, Франко!», введенного во время войны генералом Мильяном Астрадаем. От него зависели не только все существенные назначения на посты, государственные решения, назначения военных, но и смертные приговоры. Это он определил, что наряду с коммунистами и прочими марксистами нужно преследовать масонов. Имелась партия, прямо утверждавшая свое родство с правящими в Италии и в Германии. На противников режима обрушился террор – иные статьи, по которым стали арестовывать и карать по принятым еще в феврале 1939 года законам, были настолько нелепыми², что

¹ Именно такой раздор они видели у врага: социалисты боролись с либералами, коммунисты с социалистами, сепаратисты с правительством в Мадриде, анархисты вообще против всех и т.д.

² Скажем, подлежали санкциям те испанцы 18–40 лет, которые с начала мятежа 1936 года за два месяца не вернулись в страну и не вступили в ряды националистов.

приносили вред самому режиму и были через пару лет отменены. Продолжали выносить смертные приговоры бывшим противникам, из милости заменяя их на срок 30 лет тюремного заключения даже тем, кто никогда не держал оружия в руках и не отличился в преследовании мятежников, будь то журналисты «марксистских» изданий, либо интеллектуалы, вроде социалиста-профессора Х. Бесетейро или поэта М. Эрнандеса.

Наконец, как любили повторять советские учебники, была восстановлена власть помещиков и капиталистов, поддерживавших установление этого режима. Правда, республика сохраняла частную собственность и рыночные отношения, ее поначалу поддерживала значительная часть буржуазии, а в правительство входили либералы, даже руководившие им первые полтора года гражданской войны. Каталонские сепаратисты принадлежали к буржуа, а не к пролетариям – их франкисты преследовали не меньше, чем коммунистов и анархистов. Восстановлен был необходимый для хозяйственной деятельности порядок. В стране с подорванной войной экономикой, инфляцией, нехваткой продуктов питания требовалось использовать все имеющиеся капиталы для налаживания производства – буржуа сохраняли и преумножали собственность, но было необходимым и жесткое государственное регулирование. За образец взяли адаптированную модель корпоративного государства.

Послевоенный террор был продолжением того взаимного истребления, которое длилось почти четыре года. В этом отличились обе стороны, каждая из которых обвиняла другую, приводя фантастические цифры убитых противниками. По этому поводу доньше ведутся споры, но историки в целом согласны в том, что националисты казнили примерно на треть больше, поскольку они с боем занимали территории, которые до этого были под контролем республиканцев. Террор в разгар гражданской войны понятен, но его трудно назвать «коммунистическим» у одних или «фашистским» у других. Есть немало число свидетельств того, что военные трибуналы националистов, проводимые фалангистами, были куда снисходительнее, чем аналогичные трибуналы карлистов и военных. Первые были все же более образованными людьми, дифференцировали политических противников, тогда как карлисты считали всех не разделяющих их веру в Бога и короля чуть ли не исчадиями ада – все эти *afrancesados*, будь они социалистами, коммунистами или либералами заслуживали казни. Самыми жестокими были приговоры перебравшихся из Африки военных, причем первыми они расстреливали генералов и офицеров, сохранявших верность республике, – в их число входил, например, командир эскадрильи в Марокко, двоюродный брат Франко, расстрелянный в первые дни мятежа. Ненавидевшие любых республиканцев офицеры командовали либо марокканцами из *regulares*, либо Легионом, в котором было множество иностранцев (чаще всего латиноамериканцев), которым вообще не было дела до испанской политики. Они следовали понятной им максиме «лучший враг – мертвый враг» и приговорили к расстрелу множество вообще не имевших отношения к политике людей. Состояние безвластия вело и к сведению личных счетов. Вопреки всему тому, что писалось и пишется у нас о гибели Гарсия Лорки, этот замечательный поэт был аполитичен, дружил с Хосе Антонио Примо де Ривера и обедал с ним раз в неделю, приехал на малую родину накануне мятежа и оказался беззащитен по отношению к смертельно враждовавшему с его семьей клану, члены которого вытащили его из дома друга, поэта Луиса Росалеса, члена «Фаланги» и брата главы фалангистов в Гранаде, и убили, оправдавшись потом перед новой властью тем, что казнили социалиста.

Террор обосновывался слева доктриной классовой борьбы, а справа и мятеж, и террор освящались как «крестовый поход». Богословы начинали свои устные и печатные выступления со слов о недопустимости мятежа против легитимной власти, но затем выдвигали обвинения республике как власти безбожной и незаконной и делали вывод о правомерности восстания и самых суровых карах. Объединив свои силы под рукой генерала Франко, правые хотя бы избежали взаимной резни, которая захватила левых. Своего

апогея она достигла, когда коммунисты стали арестовывать и расстреливать сначала «троцкистов»¹, а затем и анархистов в Барселоне.

Однако стоит различать террор во время гражданской войны, когда судили военные трибуналы, а многих расстреливали вообще бессудно, от государственного правосудия. Каким бы суровым оно ни было, после захвата власти шли упорядоченные процессы с адвокатами и кодифицированным рассмотрением дел. Смертных приговоров было не так уж много. Имеются проверенные данные о приговорах с 1939 по 1950 год. Всего было казнено 22 641 человек, причем 15 тыс. из них приходится на 1939–1940 годы, когда судили ожесточенно, так сказать, по свежим следам, а затем число приговоренных падает до 91 в 1949 году и 57 в 1950-м. Начиная же с 1951 года таковых оказывается 5–7 человек ежегодно до 1960 года, а потом были вообще единичные случаи либо террористов, либо по старым делам отличившихся в терроре левых в годы гражданской войны. К террору можно отнести тюремное заключение куда более значительного числа тех, кто был в республиканской армии и подозреваемых в антиправительственной деятельности – через тюрьмы и лагеря прошло до 300 тыс. человек, но подавляющее их большинство были выпущены по амнистии еще в 1940 году – при нехватке рабочей силы держать простых крестьян и рабочих в заключении было бессмысленно, выпускали «под наблюдение» местной полиции. Нам есть с чем сравнить подобный террор под конец гражданской войны и после нее.

Конечно, и в 1940-х, и даже в 1950-х годах политическая полиция иной раз арестовывала по всякому поводу; цензура, как политическая, так и церковная, была свирепой до начала 1960-х; опорой режима оставались армия и полиция. В конце 1940-х для этого имелись основания, поскольку после поражения Германии и освобождения Франции через Пиренеи начался поток испанских эмигрантов-партизан, отличившихся во французском Сопротивлении и мечтавших о вооруженном свержении франкистов. У них оставалось немалое число сторонников в Испании, была и иностранная поддержка против находящегося в международной изоляции режима, поддерживавшего страны «Оси». Были вооруженные столкновения, теракты, налеты, но к 1950 году полиция с ними справилась – не случайно число смертных приговоров с этого времени падает в десять раз.

Все смертные приговоры утверждал Франко. Каудильо не был совершенно безжалостен, но помилования по политическим приговорам были крайне редки: он демонстрировал то, что доверяет правосудию и в него не вмешивается. Он вообще напоминал не столько вождя фашистского режима, сколько военного бюрократа. Лишенный личной харизмы деятель, конечно, поддерживал свой официальный культ да и сам видел в себе спасителя отечества, но был всегда немногословен, не строил из себя ни пророка, ни художника, ни интеллектуала. От генералов, с которыми он начинал путч, Франко все же отличался некоторой начитанностью и даже пробовал писать прозу, но сам он читал, помимо докладов и прочих административных бумаг, исключительно развлекательную литературу, регулярно посещал церковь, а свободное время проводил за охотой и рыбалкой, позже за любимой игрой в гольф. Так как никакой внятной идеологии, помимо убежденности в том,

¹ Ставлю кавычки, поскольку Рабочая партия марксистского объединения (POUM) троцкистской не была. Она объединяла всех марксистов, не подчиняющихся диктату Коминтерна, к каковым относились далеко не только троцкисты, но также считавшие себя сторонниками «правой оппозиции» («бухаринцы»), левые социалисты, образовавшие так называемое Лондонское бюро (которое в Испании представлял Вилли Брандт). На борьбу с фашизмом прибыло немало иностранцев, одним из них был Дж. Оруэлл. Хотя руководитель партии А. Нин поддерживал личные отношения с Троцким, последний постоянно критиковал POUM. Несколько тысяч членов этой партии были расстреляны во время чистки от неугодных сталинцам коммунистов. В Каталонии и Валенсии промосковская КПИ имела куда меньшее число членов, чем POUM. Правящие социалисты дали согласие на эту операцию уже по той причине, что готовился перенос правительства в Барселону, а господство там анархистов было нежелательным.



что Испании нужны католическая вера и монархия, у него не было, он прагматично менял позиции, советников и состав правительства. Во время гражданской войны он проявлял реализм и осторожность, за которую некоторые торопливые сподвижники называли его кунктатором. Однако, постепенно изматывая республиканцев, он шел к победе: еще летом 1938 года республиканцы наступали на реке Эбро, а к февралю 1939-го у них не осталось сил и исчезли все надежды на победу. Авантюризма хоть дуче, хоть фюрера он был на чисто лишен.

Национальные интересы Испании он отстаивал столь же практично: встречался с Гитлером в октябре 1940 года, обсуждая вступление Испании в войну, отправил в СССР «Голубую дивизию» в 1941-м, но не разрывал отношений с Англией и США, а в 1943-м отозвал эту дивизию и стал сдвигаться в сторону англосаксов. Все аргументы в пользу вступления в войну на стороне Германии уже на 1940 год. перевешивал простой аргумент: Испания критически зависела от подвоза продовольствия из Канады и Аргентины, а при морском владычестве британцев он остался бы не только без Канарских островов, но и с голодом в стране. Поэтому он выдвигал очевидно неприемлемые для немцев условия вступления в войну.

Франко не обладал ни большими познаниями, ни пресловутой интуицией вождя, ни артистизмом оратора, но ему доставало практичной хватки, четкого понимания возможных угроз его личной власти. На него было совершено или готовилось с 1939 по 1950 год около 50 покушений, причем не все они были со стороны республиканцев всех мастей, но и со стороны фалангистов и монархистов. Причем одно готовилось монархистами во взаимодействии с британским посольством (чтобы Испания не вступила в войну с Англией), а другое фалангистами, связанными с немецким посольством (чтобы она в эту войну вступила). Конфликт между традиционалистами и фалангистами затрагивал и внешнюю политику.

Несмотря на соединение в одной правящей партии монархистов и фашистов, существовала не только подковерная борьба за места в возникающей иерархии. Главным сторонником всестороннего союза с Гитлером и Муссолини был свояк каудильо Р. Серрано Суньер, который был сначала министром пропаганды, контролирующим всю печать, а затем министром иностранных дел. Его ненавидели не только все монархисты, но и представители «*Falange autentica*», видевшие в нем предателя их дела и устроившие на него покушение. Министром обороны был генерал Х.Э. Варела, карлист, арестованный республиканским правительством еще в апреле 1936 года, освобожденный мятежниками и успешно провоевавший в гражданскую войну. Он не скрывал своей неприязни к нацистам и был настроен проанглийски. На него фалангисты совершили покушение в августе 1942 года. Конфликт между фалангистами и карлистами, персонифицированный как конфликт Серрано Суньера и Варелы, рисковал перейти в открытое вооруженное столкновение. Франко решил этот конфликт, убрав с высоких постов обоих, что имело для него к тому же прямую выгоду. Армию не следует доверять идейно нетерпимым людям, а дипломатию фанатикам идеологии; назначил он на эти посты менее политизированных «альфонсистов».

Столь же прагматичным был Франко, отправляя на Восточный фронт «Голубую дивизию». Формально он поддерживал Гитлера в войне, но отправились добровольцы, от которых он сам не прочь был избавиться, поскольку ему совсем не были нужны идейные и плохо управляемые фашисты. Кстати, отношение монархистов к отправке этой дивизии было отрицательным не только потому, что они склонялись к союзу с Англией. Как писал командовавший во время гражданской войны немалой частью авиации националистов, аристократ и монархист Х.А. Ансальдо, все сторонники традиционализма, будь они карлистами или альфонсистами, разделяли антикоммунистические воззрения и полагали, что в том случае, если бы в России с коммунизмом сталкивались христиане, они сами готовы были бы вступить в бой. Однако ситуация была очевидно иной. «Германия, режим которой столь отличался как от православного традиционализма, так и от коммунизма,

сражался не за восстановление христианской веры в России, но исключительно против всей нации, без различия политических доктрин, против всего народа, причем с единственной и самой неблагородной целью – захватить земли, богатства, промышленность и сельское хозяйство для процветания агрессора. В этих условиях традиционалисты не могли ни в какой форме рекомендовать соучастие в таких целях и еще менее в таких актах разбоя» [цит. по: 49, с. 198]. Если к итальянскому фашизму отношение этих кругов было более или менее нейтральным¹, то к национал-социализму исключительно негативным. Относилось это не только к военным, но также к церковным иерархам, высшему чиновничеству, немалой части промышленников, исторически связанных с Британией, – идеи фашизма в эту среду практически не проникали.

Если с 1939 по 1942 год франкистский режим не только казался фашистским, но всячески сближался с Италией и Германией политически и идеологически, да и зависел от тех, кто помог в гражданской войне, то с 1943 года начинается отдаление. Дело не только в том, что страны «Оси» стали проигрывать войну, что уже самосохранение требовало наладить отношения с победителями. В сложившемся авторитарном государстве фашисты стали помехой. Они сыграли свою роль в подавлении «красных», но затем надобность в них отпала.

Дальнейшее развитие режима это подтверждает. За правящей партией остается роль воспитания (молодежная секция, женская секция), она дает возможность карьерного продвижения, но власть ей на самом деле никак не принадлежит. Это лишь один из рычагов или механизмов бюрократии – это стало очевидно не только для заполнивших ее карьеристов, но и для тех, кто становился на путь оппозиции режиму. С одной стороны, при министре образования Х. Руисе-Хименесе, монархисте, воевавшем с республиканцами, и фалангисте, ректоре Мадридского университета П. Лаине Энтральго² в 1951 году объявляется «политика открытости», которая – пусть пока еще неявно – нацелена на переход к христианской демократии. Даже соавтор гимна “*Cara al sol*”, в прошлом идейный фашист, вступивший добровольцем в «Голубую дивизию», Дионисио Ридруэхо вступает в прямой конфликт с франкизмом с этих позиций, а в консервативной эмиграции этот проект продвигается упомянутым выше Хиль-Роблесом. С другой стороны, воспользовавшиеся этой «открытостью» студенты Мадридского университета, «дети победителей» в гражданской войне, как их нередко называли, образуют в рамках единственно дозволенной молодежной организации кружки, которые ссылаются на синдикализм раннего фалангизма, а затем, после бурных политических выступлений в Мадридском университете в 1956 году, жестко подавленных полицией, переходят в ряды социалистов и коммунистов.

Ко второй половине 1950-х годов стало понятно, что даже остатки регулирования экономики в духе корпоративного государства препятствуют развитию. К власти приходит кабинет технократов, в котором многие посты заняли члены ордена “*Opus Dei*”. Либерализация рынков и приватизация, свободное движение капитала и рабочей силы, развитие ав-

¹ Исключая пару лет во время гражданской войны, когда были подозрения, что Муссолини желает посадить на испанский трон представителя Савойской династии, сына Амедея I, который пару лет побыл испанским королем в начале 1870-х годов.

² Видный историк медицины и философ, покинул пост ректора в 1956 году. Стоит заметить, что ранний фалангизм Хосе Антонио Примо де Ривера привлек немалое число интеллектуалов. Уже упомянутые Дионисио Ридруэхо и Луис Росалес были крупными поэтами, П. Лаин Энтральго и Х.Л. Арангурен – философами и историками науки и культуры, А. Товар – одним из лучших филологов-классиков, ставшим затем европейски известным специалистом по языкам индейцев. Он долгие годы был ректором старейшего Саламанкского университета, но в 1963 году был вынужден эмигрировать из-за политических разногласий с властями. Точно так же был изгнан из Мадридского университета за оппозиционные взгляды и покинул страну Арангурен. Оппозиция франкистскому режиму начиналась среди бывших фалангистов. Ее средоточием долгое время был издаваемый Ридруэхо журнал «Эскуриал».

томобилестроения и туризма – все это и многое другое обычно упоминается в связи с теми 15 последними годами франкизма, которые вывели Испанию в число промышленно развитых стран. Этот режим назвать фашистским уже невозможно. Элементы авторитарной диктатуры сохранялись, но сложилось индустриальное общество, в котором рабочий класс перестал быть подрывной силой, а буржуазии уже не были нужны ни аппарат военно-полицейского подавления, ни идеологический контроль партии, повторявшей мантры ушедшей эпохи. После смерти Франко эта история завершилась столь быстро и бескровно именно потому, что практически всем элитам этот режим не требовался, а оппозиционные партии, включая социалистов и коммунистов, уже не мечтали о революционном насилии, которое должно сделать мир лучше. Если брать консерваторов, то прежний традиционализм исчез: имеется монархия, но уже нет монархических партий, испанское прошлое помнят, но не зовут к нему вернуться. Из соединения ряда оппозиционных организаций, вроде тех же христианских демократов, и части франкистской элиты, руководимой бывшим министром М. Фрага Ирибарне, была создана партия Народный альянс, которая с 1989 года называется Народная партия – она подолгу бывала правящей, ныне является главной оппозиционной партией в Испании.

Франция

Самым сложным, запутанным и неприятным является случай Франции. Неприятным потому, что не только журналисты из либеральных СМИ, левые публицисты и пропагандисты, но также академические ученые Франции обычно квалифицируют монархическое движение “Action française” либо как фашистское, либо как коллаборационистское во время оккупации. Главу этого движения часто именуют ведущим идеологом маршала Петэна, который руководил находившимся в провинциальном городке Виши правительством, а на последнее возлагается ответственность за преступления, совершаемые не только немцами, но и сотрудничавшими с ними министрами, судьями и полицейскими. Эти пять лет представляют собой словно черное пятно в коллективной памяти французов – о них не любят вспоминать, а когда все же припоминают, то как бы отвергают их принадлежность французской истории. Вся вина лежит на германцах и на предателях, которые были осуждены сразу после войны.

Однако это вытесненное прошлое – воспользуемся метафорой психоаналитиков – довольно часто прорывается в сознание и вызывает истерическую реакцию. Если послевоенных голлистов и коммунистов можно было понять – их ловили, судили и казнили не столько немцы, сколько сами французы-коллаборационисты, – то совсем иная ситуация была у других политических сил. За поражение в войне должны были ответить левые либералы (радикалы) и социалисты, правящие партии конца III Республики. Они дружно переложили ответственность на престарелого маршала Петэна, который не командовал войсками и не занимал должность в правительстве (был послом в Испании). В его правительство вошли представители этих политических сил, их выразителем был Лаваль. После войны, когда развалилось краткосрочное коалиционное правительство во главе с де Голлем, IV Республикой руководили те же самые политические элиты. Кто станет вспоминать, что свою карьеру Ф. Миттеран начинал в правительстве Виши и был награжден высшим орденом (так называемой францискской). Наконец, после заката уже неоголлизма и коммунистов в 1990-х годах, к власти вернулись те же элиты. Президент Макрон еще в первый свой срок выразил их кредо: противостояние правых и левых закончилось, сегодня друг другу противостоят консерватизм и прогрессизм. Уже третье поколение учителей во французских школах преподает историю по политкорректным учебникам. Изложение всего прошлого Франции ныне напоминает советские пособия: движение от веков тьмы

и варварства шло к просветителям и революции, а затем продолжалась борьба между носителями света и тьмы¹. Понятно, где находятся в такой историографии все консерваторы, а уж такой несомненный враг республики, либерализма и социализма, каковым был Ш. Моррас, без сомнения выступает как враг рода человеческого. В этой телеологии признанный коллаборационистом руководитель "Action française" завершает ряд, начатый аристократами – роялистами, вернувшимися во Францию на штыках иностранных монархий антинаполеоновской коалиции. Все они осуждаются как противники прогресса разума и человечности. Поэтому стоит хотя бы вкратце вспомнить об истории французского консерватизма.

Французская революция кладет начало самому консерватизму как реакции на нее: консерватизм изначально противопоставляется стремлению революционным насилием преобразовать мир. Конечно, стремление к самосохранению присуще всему живому, а с тех пор, как существуют государства и религиозные культы, есть те, кто их защищает. В этом смысле консерваторами были и афиняне, осудившие Сократа, и старообрядцы, осуждавшие никониан, и Цицерон, подавлявший мятеж Катилины, и не желавшие «перестраиваться» вслед за Горбачевым коммунисты. Однако начавшаяся в 1789 году революция свергла не только существовавшую более тысячи лет монархию – династии Капетингов предшествовали Каролинги и Меровинги; она отменила католическую религию, смела сословия, цеха и гильдии, исходя из набора идей, высказанных в книгах, в Словаре Бейля и в Энциклопедии Дидро. Весь мир был словно перевернут с ног на голову: великие традиции и почтенные институты отменялись во имя абстракций. Конституции составлялись для защиты прав и свобод абстрактного индивида, некоего «общечеловека», коего, как писал в 1795 году один из первых контрреволюционеров Ж. де Местр, не существует в действительности². Если иностранные родоначальники консерватизма – Э. Бёрк в Англии, его переводчик Ф. Генц в Германии – были наследниками Просвещения, противопоставляли безумиям французской революции благоразумность английской, даже одобряя войну американцев за независимость, то ожесточенность французских роялистов требовала реставрации монархии, а в теории начиналась с пересмотра не только французского Просвещения, но и предшествовавших ему философских доктрин Нового времени – Ж. де Местр посвящает сотню страниц уничтожению сенсуализма Дж. Локка, а Л.Г. де Бональд громит Ф. Бэкона. Консерватизм во Франции был исходно католическим, и слово «реакционер» во Франции, а затем по всей Европе, закрепилось поначалу именно за религиозно мотивированной критикой революции. Восстановлению трона предшествует восстановление алтаря.

Так как именно во Франции были разрушены сами основания «старого порядка», а политическая конъюнктура менялась быстрее, чем во всех других европейских странах, то и перемены в политических доктринах были самые скорые. Именно здесь к 1830-м годам оформляются и либеральные, и социалистические учения, а первоначальный роялистский консерватизм будет все больше уступать свое место более реалистичным позициям. Вернуться в идиллическую монархию времен даже не Людовика XVI, а Генриха IV, как того хотели представители «бесподобной палаты»³ в 1820 году, уже не представлялось

¹ Во Франции имеется большое число замечательных профессионалов-историков, выходят превосходные книги и журналы. Однако эта реальность сосуществует с другой: уже не только в средней школе, но и на гуманитарных факультетах университетов учащиеся сталкиваются с идеологическим «промыыванием мозгов». Ведущее место в такой индоктринации занимает именно история.

² «Конституция 1795 года, точно так же, как появившиеся ранее, создана для человека. Однако в мире отнюдь нет *общечеловека*. В своей жизни мне довелось видеть Французов, Итальянцев, Русских и т.д.; я знаю также, благодаря Монтескье, что можно быть Персиянином; но касательно *общечеловека* я заявляю, что не встречал такого в своей жизни; если он и существует, то мне об этом неизвестно» [16, с. 88].

³ Депутаты этой палаты времен Реставрации совсем не идеализировали монархию XVIII века и крайне негативно характеризовали абсолютизм Людовика XIV. Идеальное прошлое одни из них находили в сословной монархии Генриха IV, а иные вспоминали даже о правлении Людовика IX Святого в XIII столетии.

возможным. Приписываемые Талейрану слова «они ничего не забыли и ничему не научились» относятся все же далеко не ко всем монархистам.

После революции и наполеоновской империи монархия была реставрирована, но была уже конституционной, а в 1830 году со сменой династии к власти окончательно пришла буржуазия, ориентирующаяся на либеральную парламентскую систему. Слово «консерватизм» стало употребляться во Франции к 1820 году (издание Шатобриана называлось “Le conservateur”), хотя первой партией с этим наименованием в 1831 году сделались британские тори. Французские монархисты несколько десятилетий вели друг с другом борьбу – легитимисты, орлеанисты и бонапартисты находили общий язык лишь при столкновении с наследниками якобинцев, а впоследствии с социалистами, хотя в 1830-х годах ненависть к орлеанистам приводила даже к союзам легитимистов и социалистов на выборах¹. После смерти последнего претендента на трон из легитимистов, Генриха V, или графа де Шамбора из старшей линии Бурбонов, из Капетингов остались только орлеанисты.

Если у бонапартизма была своя линия развития, которая через буланжизм конца XIX века шла к голлизму, то с роялистами ситуация была довольно сложной. Исходно к легитимистам относились те, кто не принял французскую революцию во всех ее разновидностях и желал реставрации, тогда как орлеанисты были наследниками фейанов, а иной раз и жирондистов – похвальная история последних, принадлежащая перу Ламартина, была написана сторонником орлеанизма. А он во Франции всякий раз ассоциировался с властью банковского капитала, слоя буржуазных «патрициев», считающих себя либералами, цитирующих Константа и Гизо. Однако к концу XIX века в то время, как III Республика управлялась радикалами, направлялась масонскими ложами и притесняла церковь, происходит слияние легитимистов и орлеанистов в возглавляемом Ш. Моррассом движении “Action française” («Французское действие»). В это же время из разнородных социалистических и националистических групп появляются первые организации, которые ряд исследователей относят к «предфашистским»². Хотя реваншистские националистические лиги сыграли немалую роль в радикализации консерватизма, да и всей политической жизни, к фашизму они все же имели отдаленное отношение. Созданная Гамбеттой республиканская Лига патриотов при руководстве Деруледа сделалась антипарламентской, поддерживала Буланже, но стремилась к плебисцитарной президентской республике. В Лигу французского отечества, созданную во время «дела Дрейфуса» правыми интеллектуалами, входили писатели вроде Ф. Коппе и Ж. Верна, поэты (Эредиа, Мистраль), ученые и даже художники-импрессионисты (Ренуар, Дега). Как раз идеологическая невнятность и неработоспособность этой лиги привели к выходу из нее активных молодых националистов вроде Вожуа и Пюжо, которые стали вместе с Ш. Моррассом создавать монархическую организацию. Ранее национализм был свойствен либералам и бонапартистам, с момента возникновения “Action française” монархисты делают сторонниками «интегрального национализма».

После поражения во франко-прусской войне монархия чудом не была восстановлена, но вместе с укреплением республики этот проект стал казаться все более невероятным. Лишь после того, как эта республика оказалась потрясена рядом финансовых скандалов, на волне протестов против коррупции, возникают популистские движения протеста, начиная с возглавленного генералом Буланже. В художественной литературе Франция той поры живо представлена трехтомным романом А. Франса «Современная история». Оценки самого Франса менялись по ходу написания: в первом томе показана продажная и управляемая масонскими ложами французская провинция, в третьем томе сарказм обращен на националистов и антисемитов во время процесса Дрейфуса, и очевидны симпатии автора

¹ Сложные взаимоотношения монархистов той поры основательно разбираются в классическом исследовании Р. Ремона [45].

² Прежде всего это труды писавшего по-французски израильского историка З. Штернхела [см. 47, 48].

к социализму. В начале повествования ощутим след бесед с близким другом того времени, Ш. Моррасом, который уже склонялся к монархизму, а на заключительных страницах речь идет о демонстрации тех, кто уже именует себя «национальными социалистами».

За столетие, прошедшее с революции, не только орлеанисты, но даже легитимисты научились произносить слова *renovatio* и *reformatio*, они стали приспосабливаться к реальности с новой экономикой и социальными институтами; даже католическая церковь после энциклик папы Льва XIII “*Aeterni Patris*” и “*Rerum Novarum*” пришла к частичному принятию мира науки и социальных отношений современного мира. Однако сама динамика капитализма породила и привела в движение силы, которые, казалось, уничтожали не только остатки сословий старого порядка, но все доставшиеся от традиции институты, религиозную веру, прежние нравственные заповеди. Причем речь шла не столько об огромном росте городского пролетариата – ему монархисты даже сочувствовали и пытались вернуть его к церковной вере. Во Франции раньше, чем в других европейских странах, врага стали видеть в деньгах и тех группах, которые заняты их приумножением. К старому недругу, гугенотам, добавились евреи и масоны, а так как масонские ложи действительно имели в то время немалое влияние на французскую политику, то иногда перечисление врагов начиналось именно с них. Антисемитизм во Франции становился все более заметным, чему способствовали сочинения Э. Дрюмона. Причем его агитация против сравнительно небольшой еврейской общины в этой стране принимала характер обвинения всему правящему классу – еврейский капитал выглядел лишь как бросающаяся в глаза, но мелкая деталь убивающей народ системы ограбления простого человека, а социализм превозносился, вплоть до одобрения Парижской Коммуны.

В отличие от окружавших Францию конституционных монархий, сохранявших многие институты прошлого, в III Республике свободная конкуренция партий при господстве денег протекала в условиях возникающего массового общества – первые книги по массовой психологии не случайно были написаны французами Г. Ле Боном и Г. Тардом. Уже тогда начались практические наработки политиков, нацеленные на организацию толп, выходящих на улицы с криками: «Долой воров!». Традиция городских волнений во Франции вообще долгая, причем задолго до 1789 года она могла быть направлена против верховной власти. Еще парижские буржуа времен католической лиги конца XVI века распевали песни с требованием сбросить короля. Среди тех, кто решил воспользоваться этой энергией масс, были левые наследники бланкистов и прудонистов, революционные синдикалисты, от имени которых писал Ж. Сорель, но были и правые – создатель революционной монархической партии Ш. Моррас и прямые предшественники французского фашизма XX века.

Я воздержусь от рассмотрения биографии Морраса и его политической доктрины, этим мне доводилось заниматься при написании большого послесловия к переводу его небольшой книги «Будущее интеллигенции» [22]. Коротко говоря, он отвергал всю «либеральную догматику» деклараций прав и свобод, выражающих лишь «подлинное безумие революционного индивидуализма, будь он политическим, социальным или моральным» [40, с. 51]. Человек рождается и воспитывается в семье, в городской или сельской общине, принадлежит народу и государству – в них он более или менее зависим и свободен, это связано со всей совокупностью исторических обстоятельств. Свой роялизм Моррас обосновывал не ссылками на «божественное право королей», а позитивистской социологией О. Конта.

Для темы данной статьи важным является расхождение между не единожды повторяемой Моррасом программой монархической партии, ее целями, и средствами их достижения. Проект желанного будущего практически во всех текстах Морраса не имеет никакого отношения не только к фашизму, но и к этатизму тех радикальных национали-



стов, которые влились в движение генерала Буланже, прямого наследника бонапартизма. В идеальной монархии восстанавливаются свободы муниципалитетов и провинций, гильдий и университетов, республиканский централизм отвергается как насилие над традиционными вольностями. «Авторитет вверху, свободы внизу – вот формула роялистских конституций» [41, с. 392]. У центра остаются полномочия по поддержанию порядка и по внешней безопасности, но небольшая профессиональная армия вовсе не предназначена для империалистической политики. Отменяется конкуренция политических партий в борьбе за депутатские места, поскольку она ведет лишь к власти денег, зато провинциальные и местные парламенты получают куда больше свободы распоряжаться средствами.

Можно сколько угодно повторять, что это «реакционная утопия», но это не отменяет того, что к фашистским проектам она явно не принадлежит и им почти во всем противоречит. Чтобы объяснить причисление *“Action française”* к фашистским движениям, Э. Нольте ввел понятие «революционная реакция» [43], указывая на то, что методы достижения этой утопии предлагались революционные и соответствующие практике фашистских партий. Действительно, Моррас предполагает переходный период диктатуры, которая должна снести практически весь республиканский режим. Отвергая власть денежной олигархии, он перечеркивает и прежние установки орлеанистов, которые занимали места в парламенте, охотно шли на компромиссы и с консервативными республиканцами, и с банкирами. «Интегральный национализм» противопоставляется республиканскому национализму, который в иных случаях был радикальным и доходившим до шовинизма, когда речь шла о колониальных захватах и стремлении к реваншу, отвоеванию Эльзаса и Лотарингии. Настоящее оценивается как заслуживающее полного отрицания, в нем нет ничего позитивного, а такую позицию можно оценить только как революционную. Моррас совсем не был диалектиком, предполагавшим некий синтез тезиса и антитезиса, великого прошлого французской монархии и послереволюционной Франции XIX века. Республика есть безусловное зло, с ним невозможно никакое перемирие. Хотя *“Action française”* пошло на компромисс с республиканцами во время Первой мировой войны, который отчасти соблюдался, пока у власти оставался консервативный президент (а потом и премьер-министр) Пуанкаре, но со второй половины 1920-х годов и до запрета на деятельность в 1936-м находится в непрестанном резком конфликте с республикой.

К фашистским Нольте отнес методы борьбы: акции *“Camelots du Roi”* – разносчиков газеты, которых у нас обозвали «королевскими молодчиками». То, что они освистывали политиков и профессоров, вступали в драки хоть с оппонентами из других партий, хоть с полицией, было заметно до начала войны, но в 1914 году они массово ушли добровольцами на фронт, а после войны куда заметнее были «молодчики» из левых, а потом и фашистов. То, что те же *“Camelots du Roi”* оказались заметными и популярными, когда мобилизовались для помощи парижанам во время сильнейшего наводнения 1910 года, обычно не принимается во внимание. Сравнение этих примерно 150 молодых людей с отрядами штурмовиков фашистских партий не выдерживает никакой критики. К террору они никогда не прибегали – покушения на ближайших сотрудников Морраса были со стороны левых. Читателями изданий *“Action française”*, ее избирателями были прежде всего провинциальные буржуа, верующие католики. То, что Моррас был агностиком и в конце концов был осужден вместе с партией католической церковью, серьезно ослабило позиции движения.

Уже такой состав партии и симпатизирующих ей кругов, делает диагноз Нольте, совершенно неправдоподобен. В нее влилось в начале XX века некоторое число радикальных националистов, разделявших ксенофобию Морраса и ненавидевших республику, но как раз они уже в 1920-х годах все чаще стали переходить в возникающие фашистские партии. Только не случайно лидеры их были выходцами из левых партий – прудонист Ж. Валуа покинул

Морраса в 1925 году, Ж. Дорио побывал членом Политбюро у коммунистов, М. Деа – заметным функционером и даже министром авиации у социалистов. В “Action française” вступали недовольные существующими порядками интеллектуалы, в том числе выдающиеся, вроде неотомиста Ж. Маритена, но они покидали движение, недовольные идейным диктатом Морраса. Были среди них и сделавшиеся в 1930-х годах фашистами, как Р. Бразийак, а потом и коллаборационистами. Чаще всего эти интеллектуалы-фашисты представляли собой ненавистный Моррасу тип, относимый им к романтизму, понимаемому как разнуздание хаоса сначала в собственной душе, а затем в социуме¹. Из партии Морраса они быстро уходили в том числе и потому, что у них не было карьерных шансов. И партия, и сам Моррас не меняли основные установки монархического движения, даже когда от него отвернулся орлеанистский претендент на престол.

Основанием для обвинений в коллаборационизме и фашизме остается тогда деятельность Морраса с июня 1940 по конец 1944 года в период, когда он целиком и полностью поддерживал маршала Петэна. Мне нет нужды детально описывать и анализировать ни политику Петэна, ни публицистику Морраса этих лет, поскольку эта задача с блеском выполнена отечественным исследователем В.Э. Молодяковым, который, будучи известным специалистом по данной теме, сумел «поднять» первоисточники, проанализировать их и сделать доступным для российского читателя огромный материал. Речь идет о трех томах, то есть почти тысяче страниц, посвященных Шарлю Моррасу и “Action française” в противостоянии с Германией, идет ли речь о временах кайзера Вильгельма, Веймарской республики или нацистского режима Гитлера [19–21]. Центральной темой всего исследования является непрестанная враждебность Морраса и его движения к Германии и германофилам во Франции.

То, что Моррас был националистом и ксенофобом, не вызывает сомнений; расистом он не был, но совершенно непримиримым было его отношение к «варварам». Обожевляемая им родная страна («богиня Франция») представала как наследница единственной и неповторимой античной цивилизации, Эллады и Рима. Если по поводу раннего христианства он высказывался довольно сурово, то католическая церковь приветствовалась как наследница Рима – она сумела дать четкие формы иррациональной профетической религии, а в эстетике Моррас был убежденным классицистом. Варваров он находил и внутри страны, но характерны его оценки европейских стран. Если латинские страны признаются родственными, им присущ, как повторял Моррас, «эллинско-латинский дух», то англичане уже предстают как разбогатевшие варвары, нагло навязывающие французам со времен Вольтера свои институты, вроде парламента, действующие посредством подкупа политиков и журналистов. Так как они были союзниками по Антанте, им иной раз достаются скупые похвалы, но *bête-noire* всей его публицистики являются немцы. Он иногда делает оговорки, что некоторые писатели (Гёте) и композиторы недурны, но лишь потому, что они слегка «офранцузились», но страна и народ в целом предстают как извечные враги. Он даже заявлял, что противником немцев он стал в двухлетнем возрасте, во время франко-прусской войны. Как заметил в самом

¹ Об этом человеческом типе пишут то скучные разоблачения «лавочников», «мещан во дворянстве», то восхищенные биографии авантюристов, принявших в качестве максимы ницшеанское «жить рискованно». Насколько я помню, в «Степном волке» Г. Гессе написал, что никакого противоречия здесь нет. Жизненная сила слоя конкурирующих друг с другом бюргеров вбрасывает в общество множество молодых аутсайдеров, которым недоступны или скучны обычные карьерные пути за конторкой или в индивидуальном предпринимательстве – они могут сделаться литераторами и художниками, могут проникать в политические партии, привнося в них неумную жажду возвышения. Примером могут служить активисты революционных партий той эпохи, в том числе фашистские лидеры и их ближайшие сподвижники во всех странах. Дриё Ла Рошель, первый видный французский интеллектуал, объявивший себя фашистом, писал: «Жить сильнее и быстрее – вот что сегодня называется быть фашистом».

начале своей трилогии В.Э. Молодяков, задним числом Моррас «преувеличивал давность своей германофобии, но в ее стойкости и принципиальности не приходится сомневаться» [19, с. 21]. Однако во Франции хватало шовинистов среди республиканцев, а в Германии видели врага почти все французы, включая таких давних противников Морраса, как Клемансо, военный министр во время войны, желавший сразу после нее смерти от голода миллионам немцев. В ту неполиткорректную эпоху политики позволяли себе и такие публичные заявления. Особенностью германофобии Морраса были достаточно спорные утверждения относительно немецкого романтизма и протестантизма, которые порождают разрушительные политические идеи и доктрины.

История того, как происходило развитие *“Action française”*, какую роль в обширной публицистике Морраса играла оппозиция Франция – Германия, такова тематика упомянутых книг В.Э. Молодякова. Чрезвычайно интересны и небольшие отступления – характеристики воззрений таких сподвижников Морраса, как историк Ж. Бенвиль и философ А. Массис, которые были незаурядными аналитиками и публицистами. Отношение их к гитлеровской Германии хорошо передают приводимые во втором томе слова Бенвиля, сказанные вскоре после прихода нацистов к власти: «Гитлеровская Германия посылает в мир людей, которые столь же чужды нам, как землянам – марсиане из романа Уэллса» [20, с. 15]. Моррас и его партия изначально отрицали то, что составляет сущность нацизма, – пангерманизм и расизм. Даже итальянский фашизм отвергался как этатизм, как социализм, избавившийся от демократии, в нацизме видели опасного врага. На протяжении 1930-х годов Моррас постоянно писал о немецкой угрозе, о необходимости вооружать армию. Однако совместная с немцами и итальянцами поддержка «белых» в Испании способствовала тому, что некоторые сподвижники, вроде литератора и кинокритика Бразийака, стали переходить из «Французского действия» в ряды фашистов. К 1938–1939 годам позиции *“Action française”* не изменились принципиально, однако вступление в войну с Германией ради чуждых Франции интересов да еще с перспективой сокрушительного поражения, привело к тому, что Моррас оказался в рядах тех, кого именовали «пацифистами» и «пораженцами». На деле он просто хорошо понимал, что Франция совершенно не готова к войне. В.Э. Молодяков приводит четкий ответ Морраса на эти обвинения: «Первое. Не надо начинать войну. Второе. Если, вопреки нашим советам, война будет навязана нам извне или вспыхнет по вине правительства, будем воевать хорошо, в полную силу. Выиграем ее. Чтобы выиграть: Вооружаться! Вооружаться! Вооружаться!» [20, с. 232]. В этом его позиция отличалась от тех левых политиков, которые повторяли, что не хотят «умирать за Данциг», но не желали ни увеличить срок службы в армии с одного года до двух, ни увеличивать военный бюджет. С начала войны в сентябре 1939 года позиции *“Action française”* становятся ультрапатриотическими: «Все для победы!». Даже после прорыва немцев в мае 1940 года и подхода танков к Дюнкерку Моррас продолжал писать о необходимости сражаться до конца. Только через две недели немецкие войска вошли в Париж, было подписано перемирие, а правительство возглавил маршал Ф. Петэн.

Дальнейшая история освещается чаще всего под определенным идеологически заданным углом зрения: де Голль улетел в Лондон, оттуда призвал к продолжению вооруженной борьбы, сопротивлению оккупантам, а избравших Петэна и подписавших перемирие объявил предателями. Логика того, кто сделал ставку на победу в войне антигитлеровских сил, понятна; так как он вместе с ними оказался в числе победителей, что позволило Франции вновь войти в число мировых держав и сохранить достоинство страны, боровшейся с нацизмом. Только летом 1940 года армии уже не существовало, французы были в панике, существовал риск того, что немцы, столкнувшись с продолжением военных действий, будут соответствующим образом карать по меньшей мере все мужское население страны. За перемирие выступало подавляющее большинство. Задним числом и голлисты стали

признавать неизбежность и даже полезность для Франции перемирия – это относится к Р. Арону, который в 1940 году был вместе с де Голлем в Лондоне, но на склоне лет он писал об этом в своих мемуарах, а в долгом интервью, составившем книгу «Пристрастный зритель», так говорил о той ситуации и об исторической мифологии: «Зачем отрицать действительное положение вещей? Французы это не сорок или пятьдесят миллионов героев. Вы не представляете себе сегодня всего размаха постигшего страну бедствия. Французы были несчастны. Де Голля они не знали, к тому же он был далеко. Петен же был окружен ореолом былой славы. И он находился тут же, рядом; они нуждались в нем и до известной степени принимали миф о защищающем французов маршале Петене, подобно тому как позднее немалое число французов приняли миф о де Голле как о человеке, который с июня 1940 года, в тот момент, когда он находился в Лондоне в почти полном одиночестве, был законным представителем Франции» [1, с. 122]. Арон был активным участником французской политики, умным ее наблюдателем и комментатором, а потому мог себе позволить не следовать мифам, которые выстраивают участников событий так, что по одну сторону сплошь стоят герои, а по другую подлецы.

В наибольшей мере к теме данного эссе относится именно период оккупации, режима Виши и так называемой «национальной революции», к идеологам которой в равной степени относят и монархиста Морраса, и французских коллаборационистов, часть которых прямо заявляла о своей принадлежности к фашистам. Я воздержусь от оценки Французского государства¹, как назывался режим Виши, и деятельности маршала Петэна. В целом я согласен с тем, что сказано в книге А.Н. Бурлакова [4]², и лапидарной формулировкой В.Э. Молодякова: «Называть режим Виши *фашистским* – пропагандистский трюк со словом “фашизм” как синонимом всего плохого» [21, с. 26]. Согласен и в том, что этот режим не был и тоталитарным, о чем периодически пишут либеральные историки, а не соглашусь с тем, что они отрицают применительно к режиму прилагательное «коллаборационистский». Добровольно или нет, возглавляемое Петэном правительство вынуждено было в условиях оккупации сначала двух третей, а с ноября 1942 года и всей территории Франции, сотрудничать с оккупантами (а что еще означает слово *collaboratio*?). Подавляющее большинство французов к 1940 году одобряло режим – в условиях военного поражения и краха всех институтов III Республики трудно было ожидать иного. Но единства в рядах тех, кто поддерживал режим, не было. Одни смирялись с необходимостью претерпевать оккупацию, но тайно уже думали о том, как воспользоваться возможностью от нее избавиться. И адмирал Дарлан (объявленный «наследником» Петэна), и генерал Жиро отправились в Северную Африку для налаживания контактов с англичанами и американцами, получив благословение Петэна. В правительство входили министры, вроде Ж. Ле Руа Ладюри, идеолога крестьянского кооперативного движения, который после конфликта с Лавалем покинул пост и вскоре оказался в Сопротивлении и даже сражался в рядах маки. Разумеется, хватало оппортунистов, к каковым относился и премьер-министр Лаваль. Он мог в 1935 году как министр иностранных дел республики заключать договоры, направленные против Германии, но столь же рьяно воспользовался возможностью получить высший пост в государстве. Однако были и те, кто сделался убежденным и последовательным сторонником нацизма. Одни из них поверили, что защищают европейскую цивилизацию от «иудео-большевизма»³ и вступили в дивизию «Шарлемань», остатки которой защищали рейхстаг в конце апреля 1945 года. Но у программы полного подчинения Гитлеру и нацификации Франции были сторонники: политики,

¹ Признаваемого при возникновении большинством иностранных государств, включая США и СССР.

² С той оговоркой, что правомерная цель – справедливо оценить самопожертвование Петэна – совсем не требует планомерного очернения генерала де Голля на десятках страниц книги.

³ Известная двухчасовая речь Геббельса в феврале 1943 года не сводилась к требованию тотальной войны, более половины ее составляло обоснование: вермахт защищает ценности европейской цивилизации.

вроде Ж. Дорио и М. Деа, прекрасно образованные идеологи – Дриё Ла Рошель, покинувшие “Action française” Бразийак и Ребате. Иначе говоря, режим Виши соединял разнонаправленные, а иной раз и враждебные друг другу силы.

По существу, последний том трилогии В.Э. Молодякова представляет собой подробнейший разбор столкновений Морраса с этими идеологами, которые обрушивались не только на него, но и на весь режим Виши как недостаточно радикальный, сдерживающий своими католическими и консервативными законами и идеями «национальную революцию». Одни только непрерывные обвинения Морраса в «юдофильстве» и «католической реакции» показывают, в чем расходились консерваторы и фашисты. Первые желали возвращения к «старому доброму времени», которому соответствовал девиз Виши: «Труд, Семья, Отечество», вторым требовалась фашистская революция, включающая в себя целый набор социалистических требований. Ни монархия, ни церковь, ни армейский офицерский корпус, ни капиталисты Франции не должны были избегнуть революционной трансформации.

Не проследивая личную судьбу Ш. Морраса в эти годы и после освобождения Франции, равно как и суд над ним, который приговорил его к пожизненному заключению, отмечу только то, что процесс над ним был политически мотивированным, а приговор, включавший в себя обвинения в доносах, подрыве морального духа армии и народа, опирался на фальсифицированные свидетельства и на явные передержки. В любом случае, приговор этот не был пересмотрен, а фигура Морраса периодически вызывает споры. В последний раз, когда его включили в 2018 году в ежегодник коммеморации как крупного прозаика, поэта и литературного критика, а затем из него выбросили. Последний заметный скандал во французских СМИ по поводу Петэна и режима Виши был десяток лет назад, когда тогдашний публицист (ныне лидер небольшой праволиберальной партии) Э. Земмур выпустил очередную книгу по истории, в которой написал, что режим Виши способствовал сохранению жизни десятков тысяч евреев, поскольку имеющих французское гражданство он не давал вывозить в нацистские концлагеря. Это вызвало невероятный шум, а так как самого Земмура, еврея родом из Северной Африки, да еще поклонника генерала де Голля, обвинить в антисемитизме было трудно, то телеканалы вновь обрушились на тогдашний Национальный фронт во главе с Марин Ле Пен. Но это не столь уж интересные обстоятельства сегодняшней Франции, в которой президент Макрон прославился словами: «Французской культуры не существует».

Никаким фашистом Моррас не был – это очевидно для всякого объективного историка. Можно критиковать его по множеству поводов, но и коллаборационистом его не назовешь – В.Э. Молодяков включил в третий том своей трилогии в качестве приложения текст Морраса «К истории этих четырех лет», по которому можно судить о всей его ненависти к коллаборационистам. Его не сломило и тюремное заключение, он оставался верен роялизму. Но даже при симпатии к непоколебимости убеждений Морраса, стоит все же оценить их содержание. А оно соответствует воззрениям тех монархистов, которые почти ничего не вынесли из той трансформации всех европейских обществ, которая произошла на протяжении XIX века. На межвоенный период, о котором у нас шла речь, эти взгляды уже были архаикой. Можно с интересом читать произведения Л. Тихомирова и В. Розанова, можно восхищаться какими-то периодами правления достойных монархов, только все это *унесенные ветром* времени идеи, формы и институты. Если вспомнить название еще одного романа, то всякому тоскующему по ним монархисту следует сказать себе самому: «Домой возврата нет». В XX веке встречались примечательные последователи Морраса, вроде колумбийца Н. Гомеса Давилы, но они хотя бы понимали, что с их воззрениями не следует лезть в политику.

Мы же вновь обнаруживаем ситуацию взаимодействия, иной раз взаимного влияния, но в принципиальных вопросах расхождения, полемики и борьбы консерваторов с

фашистами. Во Франции на это наложились особенности периода немецкой оккупации, когда фашисты стали получать всемерную поддержку и немалое число бывших монархистов перешло в их ряды. Тем не менее противоречия не только сохранились, но и обострились. Нечто подобное мы видим еще в нескольких странах. В Румынии авторитарный режим Антонеску силой подавляет фашистов из «Железной гвардии», а Гитлер закрывает на это глаза, поскольку ему важен военный союзник. Напротив, в Венгрии, когда это понадобилось Берлину, фашисты («нилашисты») свергают режим Хорти. Во всех этих случаях очевидно присутствие двух разных сил, консервативной и фашистской, причем всякий раз одни из них «реакционеры», а другие – «революционеры».

Всякому историку понятно, что за словами «фашизм» и «консерватизм» стоят многообразные движения и лидеры, партии и режимы. Невероятная девальвация слова «фашизм», когда им обозначаются чрезвычайно далекие от исторических прообразов явления, не отменяет того, что оно применимо не только к организациям и политикам прошлого, но и к настоящему времени. Конечно, требуется «взять в скобки» шумные кампании в прессе и на каналах телевидения, столкновения в американских кампусах, где одни студенты входящего в Ivy League университета считают «фашистом» премьер-министра Израиля, а другие относят к «фашистам» боевиков ХАМАС. Можно вспомнить о том, какое число военных диктатур в Латинской Америке записывали в «фашистские» в СССР, как лет 30 назад одни газеты у нас писали о «красно-коричневых» коммунистах, а подконтрольные последним отвечали словами о «фашистской клике Ельцина». Такое словоупотребление не является привилегией политиков и подконтрольных им журналистов. Однажды во вполне академической работе историка мне доводилось читать о фашистском тоталитаризме римского императора Диоклетиана. Читая и слушая нынешних записных «антифашистов», вспоминаешь сказанное Гумилевым: «И дурно пахнут мертвые слова». Однако если убрать все эти информационные шумы, мы все равно сталкиваемся с неоднородностью тех политических образований, которые покрываются этим термином.

Мы обратили внимание лишь на некоторые общие черты движений 1920–1930-х годов. Во-первых, фашистские партии и группы всегда именовали себя революционными, что соответствовало и самосознанию их участников. По своему составу – по крайней мере до прихода к власти – эти партии были мелкобуржуазными, в них объединялись крестьяне и ремесленники, лавочники и служащие, студенты и офицеры. Их вожди были выходцами из таких «разночинцев», не слишком образованные самоучки, восполнявшие отсутствие университетского диплома обильным чтением. Исключения имелись: Геббельс защитил диссертацию, Примо де Ривера был маркизом и с блеском окончил юридический факультет, но чаще всего они не принадлежали к культурной буржуазии или дворянству. Протест тех, кто обладает умом и энергией, против тех элит, которые препятствуют вертикальной мобильности сильных и активных, – вот непереносимая черта фашистского движения. Культ молодости и здоровья, марширующие колонны и спортивные праздники, театральные действия и бодрая музыка – все это хорошо видели современники.

Протест был направлен не только против «старческих» элит, но и против капитализма тогдашней эпохи, власти денег и тех групп, которые с нею ассоциировались. В одних странах к ним были сразу отнесены евреи, в других антисемитизм почти не присутствовал, но всевластие «процента», разорение и вытеснение мелких собственников задевало миллионы. По другую сторону стояли организованные в профсоюзы и партии рабочие, интересы которых чаще всего не совпадали с интересами крестьян и городского низшего среднего класса, а идеология и программы пугали: обобществления и перехода в наемные рабочие опасались, а перед глазами стоял пример гражданской войны, коллективизации и прочих «прелестей» СССР.



И капитализм, и социализм в чистом виде отвергались, хотя признавалась роль и частной собственности, и требований рабочих. Предложенная в Италии модель корпоративного государства принималась не всеми фашистскими партиями, да и сам корпоративизм совсем не является исключительно фашистской доктриной. Уже упоминался католический корпоративизм, который был задействован в Португалии. После Второй мировой войны социал-демократы Швеции и Норвегии держались «социального корпоративизма», тогда как в Австрии, во времена коалиции католиков и социал-демократов эти два направления соединились. Государство вмешивается как активный посредник в конфликты интересов нанимателей и наемных работников. Сегодня такое вмешательство кажется чем-то чуть ли не само собой разумеющимся, но сто лет назад казалось «новым словом».

Интервенционизм государства предполагает наличие могущественного и авторитетного центра силы. Свойственный далеко не только фашистам национализм той эпохи способствовал продвижению культа авторитарной сильной власти, а наследием только что прошедшей Первой мировой войны был яростный шовинизм, сопровождающийся поисками внешнего и внутреннего врага. Фашистские партии всегда были массовыми движениями с элементами военной дисциплины, с охранными отрядами, иногда десятками тысяч штурмовиков. Свой «новый национализм» фашисты отличали от «старого национализма» либералов, поскольку речь они вели не о совокупности наделенных правами граждан, а о *народе* и его священной воле. Дальше всех в этом отношении пошли нацисты с *Volksgemeinschaft*, выводимом из расового единства, но и в романских странах слова «народ» и «воля народа» были определяющими для идеологии. В каком-то смысле фашисты были наследниками Руссо и Робеспьера с их *volonté générale*, и все они были в чем-то «народниками». Здоровые и свежие силы народа противопоставлялись декадансу отживших свое элит.

К таковым относились и монархисты, и консерваторы всех оттенков. В «Доктрине фашизма» Муссолини писал: «Фашистское отрицание социализма, демократии, либерализма не дает, однако, права думать, что фашизм желает отодвинуть мир ко времени до 1789 года, который считается началом либерального века... Фашистская доктрина не избирала своим пророком де Местра. Монархический абсолютизм отжил свое, и также, пожалуй, всякая теократия» [цит. по: 27, с. 231]. И монархисты, и либеральные консерваторы, и сохранившиеся дворянские роды, и епископы католической церкви знали (или хотя бы догадывались), что они являются следующими за коммунистами и социалистами целями. Пока что они нужны как образованные офицеры и чиновники, завтра на их место станут возвращенные из активистов фашистских партий выдвиженцы.

Конфликт с консерватизмом был неизбежным, но просто отложенным, пока идет совместная борьба с «красными». Поэтому во всех перечисленных в данной статье случаях союз консервативной контрреволюции с фашистским движением вел не просто к конкуренции, но к войне за выживание. Выше речь шла не о всяком консерватизме, поскольку далеко не все европейские консерваторы пошли даже на временную коалицию с фашизмом. Сохранившиеся после крушения европейских династий монархисты на такой союз пошли, они были готовы братья за оружие – прошедшие фронт Первой мировой войны офицеры, юнкера и студенты из *Freikorps* входили как в монархические, так и в фашистские военизированные организации. И те, и другие были яростными националистами, а в случае Италии и Германии еще и империалистами, притязавшими на обширные территории других государств. В зависимости от соотношения сил у этих двух групп решался вопрос о господстве одной из них. В Португалии вообще не было революционной фашистской партии, движения снизу недовольных масс – квалификация режима как «фашистского» является досужим вымыслом коммунистической пропаганды. В Испании военные отряды вместе сражались против республики, на короткое время возникший режим имел черты фашистского, но затем «Фаланга» сделалась не слишком важной частью

бюрократического аппарата, а режим эволюционировал в сторону авторитарной диктатуры без привнесенных фашизмом элементов. Во Франции даже в условиях немецкой оккупации фашисты остались маргиналами, имевшими вес только благодаря своим хозяевам; правда, и монархисты к тому времени приблизились к положению небольшой группы идейных последователей талантливого, но отжившего свой век писателя и мыслителя.

Только в Италии и в Германии мы имеем дело с фашистскими режимами, прошедшими свой путь от зарождения через захват власти и подчинение себе всего населения своих стран к гибели. Консерваторы были почти целиком подчинены режимам, сотрудничали с ними, хотя скрытая оппозиция все же присутствовала. В Италии негативный опыт войны привел к тому, что сохранившиеся силы монархистов сумели сместить дуче. В Германии последним отчаянным актом было покушение на фюрера. Почти вся немецкая элита пошла на союз с нацизмом, а потому разделила его судьбу.

Консерваторов отличает от любых революционеров стремление сохранить связь с прошлыми поколениями, с местными и национальными традициями. Им изначально присуще недоверие к этатизму, уничтожающему особенности провинций, поселений, ассоциаций. Универсальное не отвергается уже потому, что в большинстве своем европейские консерваторы были христианами, но хоть республика якобинцев, хоть подчиняющая себе все общество либеральная рыночная экономика, хоть встраивающий всех в плановое хозяйство, подчиненное единственной коммунистической партии, были их оппонентами. В споре с либералами они указывали на несостоятельность индивидуализма, но коллективизм тоже осуждался, поскольку в центре внимания всегда было особенное, органические «промежуточные структуры», как говорят нынешние исследователи: семья, род, город, провинция, церковь, профессиональная гильдия и т.п. Поэтому им был чужд и фашизм с его верой во всемогущество государства и скованной «железной дисциплиной» партии с мрачной героикой бунта. Тот же фашистский корпоративизм выглядел как карикатура на социальную доктрину церкви: синдикаты служили средством для всевластия вождя и партии.

Периодически среди консерваторов появляются те, кто задает вопрос: «А имеется ли сегодня хоть что-то заслуживающее сохранения?». Его ставили представители немецкой консервативной революции, ставят ныне ее наследники¹. Вероятно, среди поддерживавших фашизм интеллектуалов имелось известное число отчаявшихся монархистов – на это обратил внимание А. Мальро, заметивший, что фашистами делаются утратившие всякое доверие прошлому и оставшиеся без традиции люди. Но для большинства консерваторов того времени фашистские партии оставались движениями плебса, с вульгарными вождями, командующими темными массами. Даже чаще других писавшие и говорившие о своей верности христианству испанские фалангисты казались неискренними: католицизм их привлекал лишь как составная часть имперского прошлого. Н.А. Бердяев правомерно сравнивал Морраса с Великим Инквизитором в романе Достоевского [53].

Для всякого консерватора остается вопрос о том, как мог возникнуть подобный союз с движением, которое отрицало и христианскую веру, и традицию с ее моральными и культурными нормами, и присущую консерваторам осторожность в делах внешней и внутренней политики. Можно сослаться на ошибки политиков, на общую с фашистами «реакционность», на угрозу большевизма и т.п. Г. Раушнинг в «Революции нигилизма» указал на одну из значимых причин: «Консерватизм как старой, так и новой чеканки стал жертвой ошибки, отождествив собственные политические принципы с лозунгами крайнего шовинизма. Консерватизм, конечно, национален, но не шовинистичен. Шовинизм есть революцион-

¹ См., например, статью А. де Бенуа с соответствующим названием: «Что сохранять? Двусмысленность консерватизма», вошедшую в одну из его последних книг [31, с. 295–305].



ная по своему происхождению форма якобинства. Консерватизм и монархизм видят свою задачу в установлении и сохранении долговременного порядка, тогда как национализм в узком смысле слова есть динамит, подрывающий всякий порядок». Вышедшая из Первой мировой войны Европа была беременна новой войной, в которой почти неизбежным было столкновение победителей и потерпевших поражение, желавших реванша. А так как на эти противоречия держав накладывалась охватившая Европу гражданская война, временные союзы противостоящих друг другу движений и идеологий не были чем-то неожиданным.

Монархический консерватизм, существовавший со времен Французской революции и доживший до Второй мировой войны, умер вместе с ее завершением. В европейских странах с сохранившимися королевскими династиями, монархии представляют собой иногда непонятно зачем сохраненный реликт, иногда ценный институт, способствующий памяти о прошлом народа. В странах, прошедших через революции, казни монархов и их семей, ситуация иная. Мы видим, какие безумные споры ведутся у нас между теми, кто доныне не решил, в какое прошлое следует возвращаться, – в дореволюционную монархию, либо в СССР. В отличие от тех, кто желает отречься от настоящего во имя реставрации прошлого, консерваторы принимают необратимость потока времени. Они полагают, что нужно помнить о былом, изучать его и ценить лучшее, не забывая и о темных страницах истории.

Литература

1. Арон Р. Пристрастный зритель. М.: Праксис, 2006.
2. Арон Р. Мир и война между народами. М.: Notabene, 2000.
3. Базанов П.Н. «Проникновенный монархист»: С.С. Оболенский: младоросс, публицист, редактор // Новый журнал. 2015. № 280.
4. Бурлаков А.Н. Петэн: Последний великий француз. СПб., 2022.
5. Вебер М. Власть и политика. М., 2017.
6. Вебер М. Политические работы. М.: Праксис, 2003.
7. Випперман В. Европейский фашизм в сравнении. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000.
8. Гейден К. Путь НСДАП: Фюрер и его партия. М.: ЭКСМО, 2004.
9. Генри Э. Гитлер над Европой. Гитлер против СССР. М. Русский раритет, 2020.
10. Гизо Ф. О средствах правления и оппозиции в современной Франции (1821) // Классический французский либерализм. М.: РОССПЭН, 2000.
11. Данн О. Нации и национализм в Германии 1770–1990. СПб.: Наука, 2003.
12. Джентиле Э. Фашизм: История и истолкование. СПб.: Владимир Даль, 2022.
13. Доносо Кортес Х. Речь о диктатуре. СПб.: Владимир Даль, 2023.
14. Ильин И.А. О Сущности правосознания / И.А. Ильин // Общее учение о праве и государстве. М.: АСТ, 2006.
15. Манхейм К. Консервативная мысль / К. Манхейм // Избранное: Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994.
16. Местр Ж. де. Рассуждение о Франции, М.: РОССПЭН. 1997.
17. Мёллер Х. Веймарская республика: Опыт одной незавершенной демократии. М.: РОССПЭН, 2010.
18. Молер А. Фашизм как стиль. М.: Толерантность, 2007.
19. Молодяков В.Э. Шарль Моррас и "Action française" против Германии: от кайзера до Гитлера. М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2020.
20. Молодяков В.Э. Шарль Моррас и "Action française" против Третьего Рейха. СПб.: Нестор-история, 2021.
21. Молодяков В.Э. Шарль Моррас и "Action française" против Германии: «подлинное лионское сопротивление». М.; СПб.: Нестор-история, 2022.
22. Моррас Ш. Будущее интеллигенции. М.: Праксис, 2003.
23. Нольте Э. Европейская гражданская война (1917–1945): Национал-социализм и большевизм. М.: Логос, 2003.
24. Пленков О.Ю. Государство и общество в Третьем Рейхе: Реальность диктатуры. СПб.: Владимир Даль, 2017.
25. Пленков О.Ю. Тайны Третьего Рейха: Культура на службе вермахта. М.: ОЛМА, 2009. С. 266–284.
26. Поланьи К. Великая трансформация: Политические и экономические истоки нашего времени. СПб.: Алетейя, 2002.

27. Устрялов Н.В. Италия – колыбель фашизма. М.: Алгоритм, 2012.
28. Уткин А.Н. Первая мировая война. М.: Алгоритм, 2002.
29. Цицерон Марк Туллий. О государстве. М.: АСТ, 2022.
30. Шмитт К. Политический романтизм. М.: Праксис, 2015.
31. Benoist, Alain de. Contre le libéralisme: La société n'est pas marchée. Monaco: Rocher, 2019.
32. Beyme, Klaus von. Politische Theorien im Zeitalter der Ideologien. 1789–1945. Wiesbaden: Westdeutsche Vlg., 2002.
33. Eley G. Wilhelminismus, Nationalismus, Faschismus. Zur historischen Kontinuität in Deutschland. Munster: Westfälische Dampfboot, 1991.
34. Elias N. Studien über die Deutschen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992.
35. Evola J. Maschera e volto dello Spiritualismo Contemporaneo. Roma, 1971.
36. Fischer F. Bündnis der Eliten. Zur Kontinuität der Machtstrukturen in Deutschland 1871–1945. Düsseldorf: Droste, 1979.
37. Fischer S. Griff nach der Weltmacht. Die Kriegzielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914–1918. Düsseldorf: Droste, 1961.
38. Fletcher R. Revisionism and Empire: Socialist Imperialism in Germany 1897–1914. London: Allen and Unwin, 1984.
39. Frei N. Der Führerstaat: Nationalsozialistische Herrschaft 1933 bis 1945. München, dtv.
40. Maurras Ch. Mes idées politiques. Paris, 1937.
41. Maurras Ch. Dictateur et Roi: Manuel de l'Enquête sur la Monarchie. Paris, 1928.
42. Mommsen H. Alternative zu Hitler: Studien zur Geschichte des deutschen Widerstandes. München, 2000.
43. Nolte E. Der Faschismus in seiner Epoche. München; Zürich: Piper, 1984.
44. Plessner H. Die verspätete Nation. Stuttgart: Kohlhammer, 1959.
45. Remond R. La droite en France: De la Première Restauration à la Ve République. Paris: Aubier Montaigne, 1992. Vol 1.
46. Schieder W. Faschismus als Vergangenheit: Streit der Historiker in Italien und Deutschland // Der historische Ort des Nationalsozialismus. Frankfurt am Main: Hrsg. von W.H. Pehle, Fischer, 1990.
47. Sternhell Z. Maurice Barres et nationalisme français, Paris: Colin, 1972.
48. Sternhell Z. La droite révolutionnaire: les origines françaises du fascisme 1885–1914, Paris: Seuil, 1984.
49. Sueiro D. y Diaz Nosty B. Historia del franquismo. Madrid: Sarpe, 1985.
50. Turner, Henry A. German Big Business and the Rise of Hitler. New York: Oxford Univ. Pr., 1985.
51. Winkler H.-A. Deutschland vor Hitler: Die historische Ort der Weimarer Republik // Der historische Ort des Nationalsozialismus.
52. Михайлов Р.В. Новые тенденции в идеологии русофобии // Международные тенденции. 2015. № 3. С. 98–107; [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://old2.intertrends.ru/rubrics/fiksiruemtendentsiyu/journals/ekonomicheskietrudnosti-politicheskoy-sistemy/articles/novye-tendentsii-v-ideologii-rusofobii>
53. Бердяев Н.А. Католичество и “Action française” // Путь. 1928. № 10. С. 115–123; [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://old2.intertrends.ru/system/Doc/ArticlePdf/728/8KihQUel7L.pdf>

Аннотация. Главной темой статьи является взаимоотношение сохранявшегося во всех странах континентальной Европы 1920–1930-х годов монархического консерватизма и фашизма. Рассматриваются как case studies те страны, которые обычно описываются как «фашистские режимы» XX века – Италия, Германия, Португалия, Испания. К ним добавляются случаи русской эмиграции, в которой возникли фашистские и квазифашистские партии, а также «режим Виши» в оккупированной Франции 1940–1944 годов. В каждом из этих случаев решающее значение для судеб режимов играли сохранившиеся консервативные элиты, которые в случае Германии до конца служили фашизму и были ему почти целиком подчинены, свергли режим (Италия), подчиняли себе фашистское движение (Испания) или вообще не испытывали серьезного влияния фашизма (Португалия). После Второй мировой войны подобные союзы стали невозможны уже по той причине, что исчез сам монархический консерватизм, являющийся наследием XIX столетия.

Ключевые слова: фашизм, революция, контрреволюция, консерватизм, монархия, корпоративное государство.

Alexey M. Rutkevich, Doctor of Philosophy, Professor, Scientific Adviser, Faculty of Humanities, Higher School of Economics – National Research University. E-mail: arutkevich@hse.ru

Conservatism and Fascism in Europe in 1920s – 1930s.

Abstract. The subject of the present article is the relationship between fascism and the monarchic conservatism, existing in the period between two World wars in continental European countries. As the case studies are taken the states, which are usually described as “Fascist regimes” of the 20th century: Italy, Germany, Portugal and Spain. Added to them are two special cases: Russian emigration, within which there were fascist and quasi-fascist parties, and “Vichi regime” in the occupied France of 1940-1944. In each of those cases the decisive role in the destiny of the regimes was plaid by the surviving conservative elites: in Nazi Germany they were nearly totally subjugated and gone under with the regime; in Italy they participated in overthrowing the regime; in Spain they overrode the fascist party themselves; and in Portugal there was no serious influence of fascism on them. After the Second World War such alliances became impossible simply because the monarchical conservatism itself inherited from the 19th century ceased to exist.

Keywords: Fascism, Revolution, Counterrevolution, Conservatism, Monarchy, Corporate State.

Европа перед вызовом: 1930-е годы в рецепции Дени де Ружмона

Одно из основных настроений, царивших во французской интеллектуальной атмосфере 1930-х годов, – предчувствие надвигающейся и неотвратимой катастрофы, бросающей вызов сложившимся представлениям о мире и месте человека в нем. Одних интеллектуалов ужас приближающейся войны вводил в паралитический ступор, у других вызывал приступ неконтролируемого многословия.

В общем шуме той грозной эпохи пробиваются поистине ценные и для нашего дня голоса. Среди них голос Дени де Ружмона (1906–1985), швейцарского философа-персоналиста, писателя, общественного деятеля, одного из основателей круга “L’Ordre Nouveau” и активного участника журнала “Esprit”. Значение этой личности, столь малоизвестной в России, подчеркивает и факт его энергичного сотрудничества и общения с французскими мыслителями самых разных философских школ и политических предпочтений: Эммануэлем Мунье, Габриэлем Марселем, Антуаном де Сент-Экзюпери, Жан-Полем Сартром, Жоржем Батаем, Роже Кайуа, Пьером Клоссовски и др. Некоторые из перечисленных собеседников и оппонентов Д. де Ружмона также станут героями нашей статьи.

Германские впечатления

С октября 1935 по июнь 1936 года Дени де Ружмон преподавал во Франкфуртском университете. Многие знакомые были поражены его согласием занять университетскую должность в Германии в столь беспокойное время и при тоталитарном режиме. Де Ружмон в ответ им мог сказать лишь следующее: «...жить в эпоху Гитлера и ни разу не увидеть и не услышать его, когда вас разделяет лишь одна ночь на поезде, – значит лишить себя элементарных начал понимания нашей эпохи» [17, р. 9]. Лучший способ составить для себя понятие о какой-либо политической доктрине – пожить в той стране, где она приведена в действие. Вернувшись в Париж, он, как свидетельствует его «Немецкий дневник» (“Journal d’Allemagne”, 1938), столкнулся с еще большим непониманием и даже осуждением: «Лишь я пытаюсь воспроизвести ту речь, что мне выдала “их” секрет, <...> мне тут же заявляют, что я гитлеровец!.. современные люди больше не верят обоснованным разумом суждениям – они верят только пережитой физической дрожи!» [17, р. 50]¹.

¹ Симптоматично, что спустя 45 лет, уже в 1981 году, Д. де Ружмон был вынужден судиться с профессором Домиником Грисони, обвинившим его в своей рецензии на книгу небезызвестного Бернара-Анри Леви «Французская идеология» в симпатиях к нацизму. Д. Грисони писал: «Вперемешку пересекаются, накладываются друг на друга, вторят друг другу разные мнения. С одной стороны, мнения правых, с другой – их мрачных, всем известных подпевал: всякие Дрие, Ружмоны, Дорио и Даркье де Пелльпуа – обращения к Почве, взывания к Расе, поиск убежища в Телесном, ненависть к Деньгам, любовь к Нации» [цит. по 26, р. 48]. Во

Бабошин Даниил Тимофеевич, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
E-mail: baboshin2014@yandex.ru



Так какой же «секрет» таил в себе гитлеровский режим, по мнению Д. де Ружмона? Он утверждает, что сила Германии в сакрализации политики, в той псевдорелигиозной идеологии централизованного государства, которое на место Бога поставило фюрера. Вот какими словами он описывает свои впечатления от массового митинга в честь Гитлера в Фестивальном зале Франкфурта:

«То, что я сейчас испытываю должно называться *священным трепетом*. Я думал, что пришел на массовый митинг, какую-то политическую манифестацию. Но для них – это настоящий *культ*! На моих глазах совершается литургия, великая сакральная церемония той религии, которой я не принадлежу. Она подавляет и отвергает меня с большей силой, даже *физически* ощутимой, нежели все эти сбитые в одно место тела [митингующих – Д.Б.]. Я один, а они все – вместе» [17, р. 48].

Западная буржуазная демократия, обезличившая и атомизировавшая общество, не способна не только дать отпор стоящей у ее порога угрозе, но даже осознать ее наличие. Ее политика, стремящаяся к идеалам технократии, секулярности и гомогенизации пространства и времени, бессильна перед страстным порывом германского псевдомифа. Он стал сокрушительной реакцией на обездушенный рационализм западного мира.

Стоит отметить, что ничего подлинно новаторского в утверждении религиозного характера национал-социалистического режима на самом деле нет. Д. де Ружмон не единственный, кто настаивает на важности этого факта. Однако остальные исследователи феномена нацизма зачастую оставляют в стороне вопрос о самих истоках (специфически религиозных) успеха гитлеризма на политической арене Германии. Ему же недостаточно констатации бросающейся в глаза псевдорелигиозной оболочки гитлеровского режима. Он обращает внимание на то, что нацизм стал своего рода субститутотом религии, заняв то место, с которого ее свергли эпоха Просвещения и принудительная секуляризация. Как могло произойти такое, что миллионы людей оказались подвержены национал-социалистической пропаганде? В конце своего «Немецкого дневника» Д. де Ружмон дает такой ответ:

«В обществе, где все изначальные связи разорваны, где религия представляется народу и элитам лишь социальным пережитком <...> где всякий принцип общественного и духовного единения, всякая *общая мера* (*commune mesure*) исчезли, – в таком обществе неотвратим распространяющийся среди масс и находящийся место в сердце каждого человека страх. Страх, порождающий зов. Именно на этот впечатляющий зов народа о единящем принципе, то есть о религии, смогли ответить диктаторы. Все остальное – литература, болтовня теоретиков или, что еще хуже, «реалистов»» [17, р. 70].

В чем-то его позиция схожа с утверждением итальянского историка фашизма Эмилио Джентиле:

«Религии, возникающие в политической сфере, в секулярном обществе являются одним из ответов на требование интеграции, воплощенное в каком-нибудь политическом движении, партии, государстве или других формах организации, которые действуют и как система религиозных верований. Поэтому в секулярных политических религиях надо видеть не демагогическое орудие (что, правда, тоже имеет место), но социальный запрос, возникающий тогда, когда общество, испытывающее кризис или

время судебного процесса Д. Грисони и Б.-А. Леви обвиняли Д. де Ружмона в «вульгарном антисемитизме» и «восторженном» преклонении перед Гитлером. Парижский суд признал Грисони виновным в диффамации. В чем-чем, а в симпатии к тоталитаризму Д. де Ружмона обвинить трудно. Впрочем, «либеральную инквизицию» мало какие трудности могут остановить, когда она отыскала себе врага.

какое-нибудь необычное напряжение, вызванное конфликтами современной жизни, стремится преодолеть их и восстановить некую цельность жизни как основу новой стабильности, принимая те политические движения, которые обещают совладать с хаосом, созидая новое, более высокое политическое единство и порядок [8, с. 376–377].

Корни такого кризисного явления как псевдорелигия гитлеризма Д. де Ружмон усматривает в торжестве рационализма XVIII века и вытеснении религиозного мировоззрения в маргинальную область человеческой жизни и сознания.

Плоды Просвещения

Тема Французской революции 1789 года и ее связи с положением дел в Европе 1930-х годов проходит красной нитью через публикации Д. де Ружмона тех лет. Он полагает ее одним из истоков современного представления о человеке как об атомизированном индивиде, равном во всем другим таким же индивидам, лишенным культурной и сословной идентичности. По его мнению, теоретики Прав человека и гражданина поддались искушению утопией тотального эгалитаризма: решив, «что все человеческие конфликты порождаются различиями между людьми, они задумали осуществить утопичную идею устранения всех этих различий. Так они льстили себя надеждой установить окончательный мир» [15, р. 15]. Но элиминировав различия, они добились только постоянного стремления к уравниванию любой ценой; они ограничили свободу и уничтожили братство.

Как отмечает Д. де Ружмон, стремление к уравниванию лишило человека свободы отличаться от другого, но, что более важно, породило необходимость постоянно сравнивать себя с другими и других с собой. В обществе при доминации эгалитарской тенденции возникает взаимный ресентимент. «У человека больше не было “ближнего”, у него остались только, по выражению Кейзерлинга, “неизбежные соседи”, к которым, согласно случаю, нужно испытывать либо зависть, либо презрение» [15, р. 16]. Так рационалистическая концепция равенства французских просветителей, перешедшая в наследство современным государственным деятелям, произвела совершенно атомизированное общество, лишенное живых, единящих принципов. Эти принципы присутствовали в христианской Европе, но секулярная эпоха методично избавлялась от них.

По этому поводу вспоминаются блестящие слова Н.А. Бердяева, друга Д. де Ружмона, которые мы позволим себе привести полностью, ведь они оказываются созвучными позиции швейцарского мыслителя:

«Рационалистическое просвещение, подтачивавшее духовные основы жизни французского народа и заразившее и самое католичество, было побеждено в творческой духовной реакции начала XIX века. И после этой творческой победы возврат к рационалистическому просвещению нужно рассматривать как реакцию мысли в самом отрицательном смысле слова... Я бы с радостью повторил слова Монталамбера: “Мы внуки крестоносцев и не уступим семени Вольтера”. Вы же, люди революции нынешнего дня, не имеете предков, вы люди без происхождения, ибо происхождение от Робеспьера или Маркса не является происхождением. Революционная идеология не может быть названа глубокой, она не знает древних истоков, она обречена быть поверхностной. Не глубоко в идеологии революции это рационалистическое отрицание зла, заложенного в природе человека и в природе мира, не глубок этот оптимистический взгляд на будущее. Революционный разрыв между будущим и прошлым

может быть лишь отрыванием поверхности от глубины, отхождением от духовного центра жизни» [4, с. 30–31].

Заметим, что еще в своей первой серьезной работе 1929 года, затрагивающей тему государственного образования, Д. де Ружмон напишет: «К восемнадцати годам школа выпустила меня в свет неестественным и мнительным, вечно на чеку лишь бы не проявить самого себя и не выделиться среди других, следовательно, глубоко лицемерным. Мозг мой был до отказа набит очевидностями наподобие “дважды два равно четыре” или “все люди должны быть равны во всем”» [22, р. 48]. Он (ученик Ж. Пиаже) обвиняет учителей в недостатке знаний в области детской психологии: несходство, необычность, «душевные ценности» были упразднены в пользу эгалитарного и стандартизирующего образования. Право на несходство искоренено обязанностью быть как все¹.

В первой половине XX века наблюдается резкое возвращение к рационалистическому Просвещению, потворство утопическому искушению всеобщим равенством. Русская революция 1917 года – далеко не единственное тому свидетельство. Буржуазные демократии Европы и национал-социалистический режим Гитлера, утверждает де Ружмон, – точно такое же следствие просветительской идеологии. Так у швейцарского мыслителя возникает идея политической теургии: создания духовной антитезы как фашизму, так и современной демократии. В этом проекте он не был одинок.

Политическая теургия

При всей кажущейся несхожести наиболее близким себе по взглядам Д. де Ружмон признавал (за исключением персоналистского лагеря) круг Коллежа социологии и в частности его лидера Жоржа Батая. Сам де Ружмон регулярно посещал заседания Коллежа и даже выступил 29 ноября 1938 года с докладом на значимую для того времени тему «Искусство любить и искусство воевать» [11]. Судя по всему, христианский персоналист, последователя Кьеркегора ввели в ницшеанский круг Ж. Батая Пьер Клоссовски и Роже Кайуа².

Несомненно, Ж. Батаю была близка тема сакральности насилия, которую незадолго до своего выступления Д. де Ружмон затронул в связи с гитлеровской аннексией Судетской области в “*La Nouvelle Revue Française*” (1938, ноябрь):

«Гитлер раскрыл изначальный аспект тоталитарной диктатуры: религиозный, или сакральный, империализм. Он потребовал вооруженного вторжения на территорию Судет. Передача этих территорий под его управление дипломатическими средствами была в его глазах недостаточно удовлетворительной. Религия, создателем коей он был, желала кровавого жертвоприношения (или хотя бы его символа), изнасилования жертвы, жестокого овладения желанной добычей...» [23, р. 866].

Однако, несмотря на общую с Ж. Батаем тональность, между ним и Д. де Ружмоном есть существенное различие. Для де Ружмона была неприемлема батаевская атеистическая метафизика, «постулирующая необходимость смерти или убийства Бога прежде перехода ко всякому свободному социологическому построению» [23, р. 314]. В этой интенции швейцарский философ видит неверное понимание Бога: если воспринимать его как «главу, единство, тоталитарное государство, фашизм или сталинизм <...>, то и я буду первым среди всех атеистов. Но если мы говорим... о вечном Боге, первом лице Троицы, для меня все заявления Батая превращаются просто в литературу (впрочем, местами прекрасную)» [23, р. 314].

¹ Тему образования Д. де Ружмон затронет и в одной из своих поздних статей, переведенных на русский язык [10].

² Подробнее об отношениях Д. де Ружмона с основными участниками Коллежа социологии см. [14].

Продолжая полемику с Батаем в статье «Против Ницше» (*“Contre Nietzsche”*, 1935), Д. де Ружмон показывает важность присутствия фигуры большого Другого (то есть Бога) для преодоления дистанции между людьми, а соответственно возможности воспринять их как своих ближних. Именно забвение Бога приводит в секулярно-либеральном обществе к всеобщей чуждости его членов, не способных выстроить личностную коммуникацию. Взаимодействие между участниками такого «безбожного» общества напоминает броуновское движение частиц – оно беспорядочно, хаотично, лишено целей и оснований. Все, что продолжает связывать людей при господстве секулярной идеологии, – это закон, не дающий им окончательно стать друг другу врагами (*Homo homini lupus est*), но его недостаточно, ведь люди остаются в состоянии взаимной чуждости.

«Сосед, которому хорошо понятый и принятый закон нам велит помочь в его беде, остается соседом, он не становится ближним. Ведь центр мира – это мое “Я”. Между мной и соседом я вижу одну лишь дистанцию. Только отношение взаимной ответственности перед неким Третьим, бесконечно высшим, абсолютно отличным от тебя и от меня, беспредельно центральным, – и вместе с тем вневременным, – устанавливает эту абсолютную, по-человечески непредставимую, противоречивую в земном плане, рационально невозможную связь; устанавливает ее как факт, как данность, дар от самого Бога... Только это отношение, дарованное Богом, устраняет всякую дистанцию, обеспечивает чистый контакт, позволяет осуществиться подлинному действию и меняет мир» [16, р. 3–4].

Такое отношение взаимной ответственности, дарованное Богом, можно назвать благодатью, восполняющей закон. Именно она позволяет преодолеть человеку свое эгоистическое, греховное начало и достичь спасения через помощь ближнему.

Будучи последователем С. Кьеркегора, Д. де Ружмон не может принять и безоговорочного восхищения Ф. Ницше, свойственного Ж. Батаю и кругу «Ацефал»¹. В глазах персоналиста фигура немецкого философа являет собой отрицательное выражение буржуазного мира. Особенно ярко это видно в ницшеанском отрицании всякой догматики: «Отсутствие догматики у Ницше – это мрачный негатив с мертвого догматизма его современников... Всякое творческое действие подразумевает догматику... Слово “догматика” часто пробуждает в уме образ голого музейного скелета. Но все позвоночные имеют скелет, к которому крепятся мышцы. Никакое усилие воли невозможно без этого скелета» [16, р. 2]. В таком бартовском духе (заметим, что переводом его «Догматики» Д. де Ружмон занимался в юншестве) он защищает догму от современного ее понимания секулярным миром, приравнявшим ее к косности, обветшалости, мертвенности, неподвижности и ограниченности.

Другим важным пунктом расхождений Д. де Ружмона и Ж. Батая была оценка роли христианства в разрушении самого переживания сакрального. Так, согласно Ж. Батаю, «...христианская религия – наименее религиозная» [28, с. 509]. Причина в том, что христиане отказались принять в сакральном его нечистую и низкую составляющую, определенный элемент трансгрессии, нарушения всякого порядка и запрета [28, с. 578]. Как отмечает отечественный исследователь интеллектуальной культуры Франции С.Н. Зенкин, «в глазах Батая христианство совершило роковую... ошибку, осудив манихейство с его идеей двух равносильных священных начал, положительного и отрицательного. Признав за злом и нечистотой лишь отрицательное бытие, не-бытие, христианство невольно сделало шаг к гомогенизации мира, исключив из него ту самую область низкого инородного, где постоянно и спонтанно зарождаются сакральное и власть» [29, с. 53].

¹ См., например, второй выпуск батаевского журнала «Ацефал», посвященный ницшеанству и фашизму [27, р. 34].



Д. де Ружмон не мог согласиться с такой оценкой христианства. По его мнению, Ж. Батай забывает о присутствии в христианской религии фигуры дьявола, который хотя и являясь не-бытием (как зло есть отсутствие добра, онтологическое ничто), все же является не-бытием действенным, активно вмешивающимся в жизнь людей. Его забвение произошло в рационалистическую эпоху Просвещения, когда и сам христианский Бог превратился в философскую абстракцию.

Разумеется, христианство радикально отличается в восприятии низкого сакрального от дохристианских культур. Их последователи привыкли персонифицировать угрожающие им силы, причины преступлений и катастроф, то есть переносить их на внешние предметы и людей. Христианская религия совершила значимый переворот в человеческих представлениях о зле. Оно вовсе не уничтожило полярность сакрального, его положительного и отрицательного зарядов, но интериоризовало их:

«...христианство на протяжении многих веков пыталось научить нас тому, что Царство Божие в нас, что и Зло также в нас и поле битвы между ними в наших сердцах. Воспитание это с треском провалилось. Мы упорствуем в своем примитивизме. Мы все время перекладываем ответственность за наши беды на людей вокруг нас или же на силу обстоятельств... я считаю, что подлинным христианином, если таким вообще можно быть, будет тот, кто никого не боится, кроме врага, что застался в нем самом» [21, р. 87–88].

Такая интериоризация зла вовсе не «отбросила виновность», как утверждает Ж. Батай. Она сделала ее переживание более драматичным и напряженным, а верующего вынуждает постоянно ощущать интенсивность взаимодействия (борьбы) двух сакральных начал внутри себя, не дает ему возможности, покуда он пребывает в состоянии активной веры, соскользнуть в область профанного.

Отметив столь кардинальные расхождения, нельзя не сказать о том, что связывало двух мыслителей, – неприязнь ко всякой форме насильственного универсализма и тоталитарности. Д. де Ружмон признаёт в Ж. Батае лучшего политического союзника для проекта персонализма и федерализма: «"Ацефал" – это знак радикального антиэтатизма, то есть единственного, достойного этого звания, антифашизма... Такое общество без единой главы – это почти то же, что мы менее романтично называем федерацией. В этом центральном пункте согласовать Ницше и его учеников с персонализмом, кажется, даже легче, чем любое другое политическое учение» [24, р. 314].

Батаевская критика гегелевско-кожевского универсализма, приведения свойственной человеку негативности к гомогенному синтезу во многом пересекается с ружмоновской. Оба декларируют принцип гетерогенности, неоднородности, творческого напряжения противоположностей как живительную силу для всякого общества, не дающую ему замереть в косном состоянии. «Единственное общество, полное жизни и силы, – пишет Ж. Батай, – единственное свободное общество – это общество би или *полицефальное*, дающее фундаментальным жизненным противостояниям постоянный взрывной выход, ограниченный тем не менее подвижными и богатыми формами» [13, р. 18].

Такая позиция отвращала обоих от современного им режима буржуазной и бюрократической демократии, устраняющей любую возможность проникновения «неоднородного» элемента в производительный процесс массового потребления. Власть такого политического режима неспособна собирать общество, она утратила сакральный фермент, обеспечивающий динамизм «притяжения-отталкивания». Из сакрального у нее остался только смех толпы над немощным чиновником, пытающимся рядиться в одежды правителя и произносить пылкие речи. Именно такое описание дает Ж. Батай Альберу Леброну, последнему президенту Третьей Республики.

«...если внешний вид власти доходит до потери всякого достоинства, если он уже не выражает ничего, кроме неуклюжей и пустой чванливости человека, не способного непосредственно достичь хоть какого-то величия и потому вынужденного добиваться его при помощи какого-нибудь искусственного средства, как это делают те люди, которые реальной властью не располагают и вынуждены демонстрировать свое величие при помощи какой-нибудь выходки, бесплодной суеты, проявляющейся там, где ожидалось застывшее величество, то это вызывает уже не просто разочарование, а взрыв смеха. Публика, находящаяся перед экраном, который только усиливает смешное и значительно притупляет чувство реальности, эта публика уже не объединяется в двойственном движении притяжения и отталкивания, в движении, удерживающем единодушное слияние на почтительном расстоянии, но зато она обретает свое духовное единство в едином взрыве хохота» [2, с. 123].

Вторят друг другу Д. де Ружмон и Ж. Батай и в отношении корней германского милитаризма: «...главный результат великих европейских революций заключался в развитии национальных форм милитаризма» [1, с. 149]. Одновременно с этим они не склонны преувеличивать масштаб силы национал-социализма. Он способен напугать только современную иссохшую демократию, лишенную какого-либо духовного фундамента, приходящую в ступор при одном только упоминании неких нематериальных мотивов и стремлений народа. Гитлеризм – всего лишь грубая форма сакрального, на которую готовы согласиться люди, лишь бы утолить свой религиозный голод. И в этом плане, как пишет Д. де Ружмон, так называемое цивилизованное общество еще более невежественно, нежели полинезийские племена:

«Современные массы, лишенные духовной культуры, подвергшиеся влиянию атеизма настолько, что христиане и представить себе не могут, перед религиозным фактом оказываются более несведущими, более обезоруженными и в большей степени “варварами”, нежели полинезийские народности со своими обрядами и колдунами. Религиозный голод этих масс удовлетворяется наиболее грубыми способами. В частности, чувством плотского братства, патетичным маршем рука об руку. И это не гипотеза: достаточно оказаться на другом берегу Рейна, чтобы вплоть до священного трепета почувствовать ужасающую реальность этой религии, находящейся в зачаточном состоянии» [19, р. 357].

Важно сказать, что слабость националистического мифа не только в его грубости, но и в его искусственном происхождении. Мифы нельзя сконструировать, в противном случае мы сталкиваемся с их ненадежным и крайне недолговечным эрзацем. Так, французский эллинист, участник заседаний Коллежа социологии Рене Гуасталла в своем докладе «Рождение литературы» [7, с. 299–321] отмечает именно эту особенность германского мифа – его «авторский», «литературный» характер. Литература же в отличие от мифа не обладает безоговорочно принуждающей силой и противоречит внутренней интенции национал-социализма – превращению общества в коллектив, объединенный одной идеей. Мир мифа и мир печати являют собой две противоположности. Первый конструирует целостное общество, второй способен лишь усугубить атомизацию общества, подарив индивиду возможность чтения в одиночестве.

Другой участник Коллежа Ганс Майер [9] идет еще дальше, вскрывая в нацистской символике и мифологии отсутствие вечных начал. Нацистские символы, как он показывает, зародились во второй половине XVIII века и были щедро удобрены второсортными неоязыческими выдумками. Так романтическая атмосфера немецких политических группировок подавила подлинный дух средневековой Германии.



Чтобы одержать победу над национал-социализмом западной демократии, по мнению Ж. Батая и Д. де Ружмона, необходим настоящий «духовный заряд». Материальное противостояние при всей его необходимости недостаточно, ведь Европу раздирает общий духовный кризис, неизбежно приводящий к тоталитарной реакции. «Костры жертвоприношений, а не зверства войны способствовали появлению таких парадоксальных существ, как люди, растущие на ужасах, которые их пленяют и над которыми они сохраняют власть» [3, с. 143], – пишет Ж. Батай. Противопоставить национал-социалистическому Рейху, империи палача, согласно ему, можно только «империю трагедии», где самопожертвование способно остановить чудовищную внешнюю силу. О том же, хотя и в других выражениях, говорит и Д. де Ружмон в дневниковой записи, датированной летом 1938 года:

«Демонстрировать силу не значит вооружаться до зубов. Реагировать на опасность тоталитаризма планами “переворужения” значило бы впускать к себе Троянского коня. Для того чтобы вооружиться настолько же, как это сделал противник, потребовалось бы навязать стране дисциплину, равнозначную той, которая управляет Германией. Даже если предположить, что нам это удастся, мы все равно окажемся позади: из двух великих стран, в равной степени вооруженных, должна будет неизбежно победить та, которая располагает большим духовным зарядом. А вооружаясь так же, как и тоталитарное государство, государство демократическое утратило бы свои лучшие нравственные силы, свою “мистику” свободы» [19, р. 345].

Человек, не обладающий ничем, кроме рассуждений и законов, не способен оказать противодействие и подчинить себе, целям своей жизни смертоносную армию. Тогда происходит бунт техники, вышедшей из-под контроля, не имеющей никакой иной цели, кроме уничтожения человечества. Обезвоженная духовная атмосфера не дает необходимых человеку сил. Так, Ж. Батай пишет: «Неограниченные притязания военного строя стали возможными, с одной стороны, из-за разложения религиозного и национального существования, а с другой – из-за порабощения, а затем и уничтожения любой религиозной организации» [1, с. 152]. Он, как и Д. де Ружмон, видит причину взлета милитаризма в XX веке в глубоком духовном кризисе, к которому привела Европу эпоха Просвещения с ее программой «очищения» публичного пространства от всего надрационального, священного, с ее торжеством «человека рассуждений и законов», способного лишь на мнимое и декларативное сопротивление техницизированному насилию современности.

Насилие – неотъемлемое свойство человеческой природы, не до конца порвавшей связи со своим животным, хищническим началом. Однако все предыдущие эпохи находили средства сдерживания этих внутренних хтонических сил. Этими средствами и были подлинные мифы, придающие творческим взрывам человеческой страсти подвижные, но тем не менее прочные формы. В Средневековье, стоящем у истоков европейской цивилизации, такой формой был рыцарский миф, сочетающий религиозную, куртуазную и военную стороны. Рыцарство служило сдерживающим фактором для неограниченной жестокости как на войне, так и в любви. Оно придавало стиль этим явлениям, а соответственно подчиняло тем правилам, отказаться от которых не мог никто, ведь установлены они были не разумом индивида, а коллективной, анонимной, иррациональной силой. «Рыцарство – это социальная норма, которую элиты тех веков мечтали противопоставить наихудшим “безумствам”, угрозу со стороны которых они ощущали постоянно» [20, р. 50].

Рыцарство было не просто «вооруженной группировкой»; это было настоящее сообщество единомышленников, связанных особыми церемониями и клятвами, живущих по выделяющим их из всего остального общества правилам. Но главное: его члены были связаны знанием о куртуазном мифе любви и служения Даме, регулярная инсценировка которого происходила в ходе рыцарских турниров.

«Прежде всего восторги любовной романтики должны были переживать не читатели, а непосредственные участники игры или зрители. Такая игра может принимать две формы: драматического представления или спорта. Средневековые явно предпочитало последнее. Драма, как правило, была все еще наполнена иным, священным, материалом: в виде исключения там могло присутствовать еще и романтическое приключение. Средневековый же спорт – и первое место здесь отводилось турниру – был в высшей степени драматичен, обладая в то же время ярко выраженным эротическим содержанием. Спорт во все времена содержит в себе драматический и эротический элементы: соревнования по гребле и футбольные состязания наших дней обладают в гораздо большей степени эмоциональной окраской средневековых турниров, чем, по-видимому, сознают и сами спортсмены, и зрители. Но если современный спорт вернулся к природной, почти греческой простоте, турнир – это спорт, перегруженный украшательством, обремененный тяжелым декором, где драматический и романтический элементы подчеркиваются столь явно, что он прямо выполняет функцию драмы» [12, с. 134–135].

Кажется, сам Ж. Батай искал способ возродить в своих обществах «Ацефал» и Коллеж социологии подобные братства, основанные на сакральных началах, найденных посреди стерильной пустыни секуляризированной цивилизации. Не случайно столь часто обращение к этой теме и у его соратников. В частности, в заметках Роже Кайуа, по которым Ж. Батай читал его доклад в Коллеже:

«В собственном смысле слово братство не является “тайным”: его проявления имеют публичный характер, и его члены хорошо известны. Но оно черпает свою животворную силу из таинственного непроявленного элемента, который только ему и присущ. Этот элемент представляет собою магическое или технологическое знание (тогда братство становится профессиональной корпорацией, например братством кузнецов, их техника считается опасной, но она дает силу и престиж: в данном случае речь идет об использовании и обработке железа, то есть магического и могущественного металла), либо знание особых мифов, иногда связанных с технологиями, монополией на которые обладает братство» [1, с. 154–155].

Д. де Ружмон и объединившиеся вокруг него персоналисты также не были чужды этой идее – недаром печатный орган, основанный Д. де Ружмоном, носил имя “L’Ordre Nouveau” – «Новый орден». Это была отчаянная попытка осуществить акт политической теургии против надвигающейся катастрофы тотальной войны.

«Дьявольская часть»: вместо заключения

Важно отдать должное Д. де Ружмону – он не останавливается на критике современного ему положения дел; он пытается заглянуть в будущее и предвидеть грядущие проблемы западного общества после окончания войны. Поражение Гитлера для него очевидно. Еще в 1942 году в книге «Дьявольская часть» он напишет: «Гитлер покончил с собой. Его авантюра обернулась предсказуемой катастрофой. И оказавшись над расprostертым трупом человека, приведшего в содрогание всю вселенную, мы воскликнем в оцепенении, смешанным со стыдом: “Как же он был мал!”. Подобно Дьяволу, он был велик лишь за счет величины наших скрытых слабостей» [21, р. 73–74].

Будущее Запада видится ему, однако, в мрачных тонах: скрытые слабости со смертью Гитлера никуда не исчезнут. Более того, они получают своеобразное алиби в виде са-



мого Гитлера. «Перед нами новая трагедия: мы всё предусмотрели против будущего Гитлера, но ничего против его отсутствия, тем не менее очевидного. Это – новый шанс для Дьявола» [21, р. 77].

Одна из проблем современности, как полагает Д. де Ружмон, – это неверие в дьявола, почитание его отголоском темных средневековых легенд. Между тем, «...самая лучшая из всех выдумок Дьявола – убедить нас в том, что его не существует!» [6, с. 102]. Дьявол как персонифицированное зло (как и зло вообще) не имеет самостоятельного онтологического статуса: «Зло не есть какая-либо сущность; но потеря добра получила название зла» [5, с. 476]. В этом Д. де Ружмон и усматривает опасность дьявола: он подобен Одиссею, который называет себя преследующему его циклопу «Никто». Дьявол – это Ничто, то самое Ничто, которое ничтожит, которое способно обернуть все благие намерения человечества самой дурной реализацией.

Пожив в США, Д. де Ружмон обнаруживает в этой стране возможное будущее Европы. Открытие Нового света европейцем, сбежавшим с континента в состоянии войны, полное радости и энергии, вызывает энтузиазм: «Америка, когда начинаешь в ней жить, оказывается не страной мечты, но это страна мечтателей» [25, р. 21]. Однако он довольно быстро осознает и ее недостатки. Бюрократия, злоупотребления и беспорядок в администрации, синдикаты и группы давления с помощью «моря бумажек» делают из страны «гигантскую помойку». В «Дневнике с двух концов света» («Journal des deux mondes», 1948) он усматривает в Америке «место крайне материалистической цивилизации <...> с невероятно дикими вершинами и чрезвычайной плотностью населения <...>, погруженного в безнадежно обезвоженную атмосферу» [18, р. 101]. Эта утилитаристская цивилизация по итогу не может принять в себя не позабывшего свои корни и устремленного к духовным ценностям человека: «Я предрекаю ваш крах, и крушение построенной вами Вавилонской башни, и идиотию, что постигнет ваших детей, и бесполезную растрату вашей энергии, не имеющей цели, и упразднение вашего влияния, и бессильную тупость ваших банкиров, и торжество ученых над вашей чувственной свободой» [18, р. 121], – пророчествует Д. де Ружмон.

Актуально звучат и следующие слова де Ружмона, относящиеся к главному пороку американской демократии: «Дьяволу удалось уверить демократов в том, что они ни в коем случае не любят зло, никак его не могут возжелать, что они добрые, а все остальные злые. Ведь все так просто!.. Вот самая главная опасность для американской демократии» [21, р. 94–95]. Вот оно, послание Дени де Ружмона послевоенному человечеству: «...если вы всерьез желаете схватить Дьявола за хвост, я скажу вам, где вы с наибольшей вероятностью отыщете его: *в кресле, в котором вы сидите*» [21, р. 117].

Литература

1. Батай Ж. Братства, ордена, тайные общества, церкви / пер. Ю.Б. Бессоновой, И.С. Вдовиной, Н.В. Вдовиной, В.М. Володина // Коллеж социологии. СПб.: Наука, 2004. С. 148–162.
2. Батай Ж. Власть / пер. Ю.Б. Бессоновой, И.С. Вдовиной, Н.В. Вдовиной, В.М. Володина // Коллеж социологии. СПб.: Наука, 2004. С. 120–133.
3. Батай Ж. Структура и функции армии / пер. Ю.Б. Бессоновой, И.С. Вдовиной, Н.В. Вдовиной, В.М. Володина // Коллеж социологии. СПб.: Наука, 2004. С. 138–144.
4. Бердяев Н.А. Философия неравенства. М.: Институт русской цивилизации, 2012. 624 с.
5. Блаженный Августин. О Граде Божьем. СПб.: Алетейя, 1998. 595 с.
6. Бодлер Ш. Великодушный игрок // Парижский сплин. СПб.: Азбука, 2014. С. 100–102.
7. Гуасталла Р. Рождение литературы / пер. Ю.Б. Бессоновой, И.С. Вдовиной, Н.В. Вдовиной, В.М. Володина // Коллеж социологии. СПб.: Наука, 2004. С. 299–321.

8. *Джентиле Э.* Фашизм: История и истолкование. СПб.: Владимир Даль, 2022. 558 с.
9. *Майер Г.* Ритуалы политических объединений в Германии эпохи романтизма / пер. Ю.Б. Бессоновой, И.С. Вдовиной, Н.В. Вдовиной, В.М. Володина // Коллеж социологии. СПб.: Наука, 2004. С. 396–417.
10. *Ружмон Д. де.* Информация не есть знание / пер. Д.Т. Бабошина // Тетради по консерватизму. 2021. № 3. С. 90–100.
11. *Ружмон Д. де.* Искусство любить и искусство воевать / пер. Ю.Б. Бессоновой, И.С. Вдовиной, Н.В. Вдовиной, В.М. Володина // Коллеж социологии. СПб.: Наука, 2004. С. 263–290.
12. *Хейзинга Й.* Осень Средневековья. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2016. 768 с.
13. *Bataille G.* Propositions sur le fascisme // *Acéphale*. 1937. №2. P. 17–21.
14. *Corbellari A.* Un humaniste kierkegaardien à la recherche du sacré. Denis de Rougemont et le Collège de Sociologie // *Etudes de lettres*. 2020. N°311. P. 71–84.
15. *Rougemont D. de.* Communauté révolutionnaire // *L'Ordre nouveau*. Paris, 1934. Février. N°8. P. 14–18.
16. *Rougemont D. de.* Contre Nietzsche // *Présence*. Lausanne et Genève. 1935. Avril-mai. N°3. P. 1–4.
17. *Rougemont D. de.* Journal d'Allemagne. Paris: Gallimard, 1938. 92 p.
18. *Rougemont D. de.* Journal des deux mondes. Paris: Gallimard, 1946. 252 p.
19. *Rougemont D. de.* Journal d'une Époque. Paris: Gallimard, 1968. 596 p.
20. *Rougemont D. de.* L'Amour et l'Occident. Paris: Plon, 1972. 445 p.
21. *Rougemont D. de.* La part du Diable. Paris: Gallimard, 1982. 251 p.
22. *Rougemont D. de.* Les méfaits de l'instruction publique // *Les petites lettres de Lausanne*. Mars 1929. N°1. P. 7–51.
23. *Rougemont D. de.* Page d'Histoire // *La Nouvelle Revue Française*. Novembre 1938. N°302. P. 866–867.
24. *Rougemont D. de.* Retour de Nietzsche // *Esprit*. Mai 1937. N°56. P. 313–315.
25. *Rougemont D. de.* Vivre en Amérique. Paris: Stock, 1947. 184 p.
26. *Guyot-Jeannin A.* Denis de Rougemont: un amoureux de l'Europe // *Elements*. Paris. Octobre 1996. N°86.
27. *Acéphale*. 1937. №2.
28. *Батай Ж.* Эротика // *Проклятая часть: Сакральная социология*. М.: Ладомир, 2006.
29. *Зенкин С.Н.* Небожественное сакральное: Теория и художественная практика. М.: РГГУ, 2014.

Аннотация. Предчувствие надвигающейся катастрофы было одним из самых острых ощущений интеллектуалов 1930-х годов. Одних это настроение эпохи вводило в паралитический ступор, у других вызывало приступ неосознанного многословия. В общем шуме тех лет выделяются ценные для нас сегодня голоса, среди которых голос швейцарского философа-персоналиста Дени де Ружмона (1906–1985). В статье представлена его рецепция того бурного времени, поиск истоков тоталитаризма в религиозном голоде европейского сознания, критика современной демократии, не способной ответить на вызовы времени. Статья предшествует переводу фрагмента из эссе Д. де Ружмона «Дьявольская часть», посвященного анализу предстоящих проблем западной цивилизации послевоенного времени.

Ключевые слова: Дени де Ружмон, французский персонализм, Вторая мировая война, Жорж Батай, тоталитаризм, сакральное, миф, политическая религия.

Daniel T. Baboshin, Lomonosov Moscow State University. E-mail: baboshin2014@yandex.ru

Challenge to Europe: the 1930-ies in Denis de Rougemont's Perception

Abstract. The premonition of impending catastrophe was one of the greatest thrills of the intellectuals of the 1930s. For some, this mood of the era led them into a paralytic stupor, while for others it caused an attack of unconscious wordiness. In the general noise of those years, voices that are valuable to us today stand out, among which is the voice of the Swiss personalist philosopher Denis de Rougemont (1906–1985). This article presents his reception of that turbulent time, the search for the origins of totalitarianism in the religious hunger of the European consciousness, criticism of modern democracy, unable to respond to the challenges of the time. The article precedes the translation of a fragment from D. de Rougemont's essay "The Devil's Part", dedicated to the analysis of the upcoming problems of Western civilization in the post-war period.

Keywords: Denis de Rougemont, French Personalism, the Second World War, Georges Bataille, Totalitarianism, the Sacral, Myth, Political Religion.

Дьявол-демократ (фрагмент* из книги «Дьявольская часть»)

Фатальная ошибка демократов

С вызывающей тревогой легкостью мы обнаружили в облике, символизирующем все ужасы нашего века, большую часть классических черт Дьявола: падший дух, князь мира сего, искушитель, обвинитель и лжец. Осталось напасть на след Легиона, того, кто всегда говорит: «Это не я, это другой! Это *люди*! Я здесь не при чем!» Того, кто всегда не там, где вы ожидаете его поймать, где его ждет наказание, где зло открыто признаёт себя. Что же, мы вскоре это сделаем, мы знаем этот дьявольский ход: ведь самое дьявольское в Гитлере – это то, как он убедил немецкий народ в том, что его несчастья пришли извне, из-за границы, вследствие Версальского договора, или евреев, или коммунистов, или англосаксонских плутократов. Всегда виноваты *другие* – никогда сам немецкий народ. Благодаря этому приему мы сегодня лучше всего способны распознать тактику Сатаны среди его приспешников.

Но будем осторожны! Эта книга полна ловушек. Если мы согласились с вышесказанным, быть может, такие обвинения касаются и нас самих. Ведь вот и та конкретная точка, где все переворачивается с ног на голову, точка, где наши обвинения, оставляя врагов поверженными, со всей силой разворачиваются против нас.

Многие демократы искренне поверили, что Гитлер единственный воплощал все зло эпохи и был чудовищем, с которым у нас нет ничего общего. «Смотрите, я только Гитлер», – говорит Сатана. Мы видим только Гитлера. Мы считаем его ужасным. Мы его ненавидим. Мы более или менее решительно противопоставляем ему наши старые демократические ценности. И вот мы оказываемся неспособны выявить демонов среди нас.

Ход сделан. Мы застигнуты врасплох. Если Дьявол – это Гитлер, значит ли это, что мы на стороне добра? Враг побежден, значит мы в расчете? Дьяволу большего и не надо: он обожает чистоту нашей совести. Это широко распахнутая дверь, через которую он входит, представляясь ложным именем.

Наш примитивизм

Все знают, что племена Меланезии, самые знаменитые жертвы социологических изысканий нашего века, имеют обычай персонифицировать угрожающие им силы, причины преступлений, несчастных случаев, бесплодия и смерти. Будь то колдун, богохульник, животное, облако, кусочек раскрашенной древесины – всегда причина зла, от которого

* Представленный фрагмент книги “La part du Diable” [1] на русском языке публикуется впервые.

Ружмон, Дени де (1906–1985), швейцарский философ-персоналист, писатель, общественный деятель, один из основателей круга “L’Ordre Nouveau”, активный участник журнала “Esprit”.

страдают эти дикари, не зависит от них, она должна быть побеждена и уничтожена, не затронув их самих.

Напротив, христианство на протяжении многих веков пыталось научить нас тому, что Царство Божие в нас, что и Зло тоже в нас и поле битвы между ними в наших сердцах. Воспитание это с треском провалилось. Мы упорствуем в своем примитивизме. Мы все время перекалываем ответственность за наши беды на людей вокруг нас или же на силу обстоятельств. Если мы революционеры, то верим, что, поменяв расположение определенных вещей – например, перераспределив блага, – мы устраним причины бедствий этого века. Если мы капиталисты, то верим, что стоит нам только присвоить все эти вещи, как мы тут же спасем весь мир. Если мы отчаянные демократы, тревожные или оптимистичные, то верим, что, отправив в пекло нескольких диктаторов, этих колдунов и хулителей права, мы восстановим мир и благополучие. Мы до сих пор подвержены магическому мышлению. Словно малые дети, мы злобно бьем стол, о который ударились. Или, как Ксеркс, хотим высечь воды Геллеспонта, только уже пламенными речами на коротких радиоволнах.

Мы забываем фундаментальный факт: в действительности наши враги *сущностно* ничем от нас не отличаются. Ведь каждый человек носит в своем теле (и душе) микробы всех известных и неизвестных болезней. Уничтожить внешние следы угрозы недостаточно, чтобы избавить нас от нее. Эти следы – Гитлер, Сталин, капиталисты, вставьте далее, что соответствует конкретным обстоятельствам, – эти следы персонифицируют существующие в нас самих возможности, тайные искушения, способные однажды проявиться под гнетом бедствий, усталости или временной утраты равновесия.

Признаем наконец компрометирующую нас истину. Гитлер не был чем-то нечеловеческим. Более того, он был не просто против нас, но в нас. И в нас он был прежде, чем стать против нас. Именно в нас самих он и восстал. И уже мертвый, он возьмет нас без боя, если мы не признаем, что он – часть нас, дьявольская часть нашей души.

Враг всегда в нас. Вот почему я считаю, что подлинным христианином, если таким можно вообще быть, будет тот, кто никого не боится, кроме врага, что затаился в нем самом.

«Мы все виновны»

Простейшее наблюдение: никто никогда не думает, что действует злонамеренно. Мы все, включая наших врагов, «люди благой воли»¹. И все же взгляните, что творится в мире, и скажите, кто все это сделал? Дьявол? Да, но нашими руками и рассуждениями. Вот тут и стоит вспомнить наш демократический лозунг: «Каждый человек значим»! Конечно, зло имеет разные степени, существует неравенство в ответственности. Но все мы во зле, все мы сообщники сильных мира сего.

И все же я чувствую, что здесь передо мной угроза недопонимания. Цель предыдущих замечаний ни в коем случае не оправдать «других», на которых до этого повесили всех собак. Так же будет неверным грести всех под одну гребенку, как, кажется, это сделал в 1939 году манифест “Oxford Group”, получивший широкое распространение в Европе и носивший любопытное название: «Мы все виновны».

Я хочу сказать следующее: мы все виновны в той мере, в какой не признаем и не бичуем в нас самих тоталитарное мышление, то есть активное и личное присутствие Дьявола в наших страстях, нужде в острых ощущениях, гражданской инерции, трусости перед толпой, ее поведением и лозунгами, безразличии к ближнему, наконец, отказе от всякого

¹ Один из ошибочных вариантов перевода Евангелия. Правильно не «И мир на земле среди людей доброй воли», но «И на земле мир, в человеках благоволение» (благоволение от Бога) (Лк. 2:14). Между двумя фразами колоссальная разница. – *Здесь и далее, кроме особо оговоренных мест, примеч. автора.*



Абсолюта, выходящего за пределы и способного судить наши «жизненно важные» интересы (а таковыми они нам представляются всегда...).

Справедливо и необходимо сказать, что сатанизм бывает не только гитлеровским, что гитлеризм – не только немецким; мы тоже уже более или менее «гитлеризованы», если судить по нашим нравам и мыслям. Хотя это и не оправдывает Гитлера. Напротив. Это обличает нас.

Если я веду себя как преступник, это не оправдывает преступника, а обличает меня. И так как надо бороться с преступностью, я не стану позволять другому преступнику избежать наказания, потому что, видите ли, прежде всего мне надо внутренне преобразиться. Наоборот, борьба за мое внутреннее преображение и борьба против продолжающего злодеяния преступника – *суть одна борьба*.

В чем смысл победы во внутренней борьбе, когда враг угрожает меня уничтожить? В чем смысл внешней победы, когда сам я тут же обращаюсь в преступника? Преступление – одно, во мне и вовне; гитлеризм – один, у нацистов и у нас. Это Дьявол.

Вот мой постскрипtum к заявлению пацифистов: «Мы все виновны, – говорят они, – значит, мы не имеем морального права воевать против Гитлера». Конечно, мы все виновны, но если мы так в этом убеждены, то нам остается только сражаться со злом в нас и вовне. Ведь зло – одно! В нас надо сражаться против него духовными и нравственными путями; вовне – материальными и военными, соответственно природе угрозы. Если кто-то поджег дом, надо звать пожарных и полицейских, неважно, виновных или нет. История поставила нас, рады мы тому или нет, в положение пожарных и полицейских. Это не делает нас святыми. Это даже не подразумевает, что мы лучше других. Но мы окажемся худшими, если не исполним наш долг.

Приметы Дьявола, ряженого в демократы

Не сумев распознать в Гитлере одну из наиболее дьявольских черт – его манеру переносить все зло на другого, чтобы оправдать себя, – мы совершим такую же ошибку. Мы сделаем из Гитлера совершенно посторонний по отношению к нам образ Дьявола. И пока мы зачарованно взираем на него, Дьявол проник в тыл и терзает нас, не вызывая подозрений.

XIX век, недолго мешкая, заменил Провидение *машинным прогрессом*. Настоящие результаты этой едва ли не повсеместной среди масс и элиты веры вынуждают нас признать, что Прогресс был очередной маской Дьявола. Не то чтобы всякий прогресс сам по себе демоничен. Но если мы предаемся грезам о Прогрессе, отпуская вещи в свободное плавание с фаталистичной, но столь успокаивающей мыслью, что все устроится как-нибудь само собой, Прогресс превращается в опаснейшее снотворное, по-настоящему дьявольский наркотик, новое имя Сатаны.

Мы поверили в *изначальную благость человека*. Очевидно, из любезности к другим людям... Но вместе с тем эта вера всегда еще и способ убедить себя в своей благости. А значит закрыть глаза на зло, которое мы несем внутри. А значит забыть о деятельном присутствии Дьявола. А значит дать ему свободу действия, чтобы в очередной раз одурачить нас.

Мы поверили в то, что *зло зависит от общественного строя*, что оно происходит из неверного распределения благ, плохо преподанного образования, неадекватных законов или же принуждения и несправедливости, которые могут быть устранены путем конкретных мер. Все эти по большей части суеверные воззрения главным образом ослепили нас в отношении человеческой природы, то есть сущностной природы зла, заложенного в нашей свободе, в наших изначальных чертах и в самом определении человека, поскольку он является человеческим существом.

Мы были *оптимистами* из принципа и даже необходимости, несмотря на все опровержения злой реальности. Этот оптимизм не был наивной доверчивостью ребенка, но настоящей ложью. Точнее: *бегством* от реальности. Ведь в действительности мы хорошо знаем о существовании зла и действии Дьявола. Но это знание нас возмущает и ужасает. Тогда мы пытаемся заклать зло, отрицая его: снова – черта магического мышления. Мы полагаем, что тот, кто изобличает фундаментальность зла, должен сам быть очень злым. Мы верим, что, признавая зло, мы его каким-то образом воссоздаем. Мы предпочитаем не акцентировать на нем внимание. Мы вытесняем его, как сказал бы Фрейд. Эти бессознательное бегство и ложь лишают нас способности понять, что происходит в мире, и отдают во власть простейших уловок Лукавого.

Мы исключили из нашего буржуазного существования *чувство трагического* и переключились исключительно на поиск комфорта и посредственных удобств. Тем самым мы вызвали к жизни Гитлера и спровоцировали извержение представленных им «мистических сил». Как фатальная компенсация Гитлер был точным негативом наших оптимистичных идеалов, в той мере, в какой они были утопичными, не считающимися с трагическим, плоскими и эгоистичными, выражающими лишь посредственное, разбавленное и разведенное (как разводят концентрированный раствор) желание прометеевского самообожествления. Наши добродетели, как и пороки, стали незначительны; их незначительность и есть сатанизм. Слишком ясно, что демократия как таковая не дала примеров героизма и достоинства¹, сравнимых по масштабу с суровыми зверствами во имя Гитлера. Что было великого в нашем лагере, то не было продуктом буржуазной демократии. Это было личным делом христиан, таких как Нимёллер, или мистических революционеров. Нам скажут, что в конце концов это нормально, ведь демократия сама по себе ничто. Она всего лишь режим, при котором как верующим, так и неверующим позволено проявить себя без риска быть за то убитыми². Да, но даже для этого нужны верующие! Мы же стали неизлечимыми скептиками.

Так же, как в присутствии чуда мы говорим: *слишком хорошо, чтобы быть правдой!* – при описании зла мы произносим: *слишком ужасно, чтобы быть правдой!*³ Все это оказалось правдой и теперь нас смущает. Мы настойчиво выбрасываем это из своих мыслей...

Ведь если это «слишком ужасное» было в самом деле правдой, надо было действовать срочно и без оглядки; а если бы так и действовали, то быстро бы обнаружили корни этого зла в нас самих и нашей *любви* к нему! Вот и тщательно оберегаемая тайна.

Дьяволу удалось уверить демократов в том, что они ни в коем случае не любят зло, не могут возжелать его, что они добрые, а все остальные злые. Ведь все так просто!.. Как бы я сам хотел, чтобы все было так просто! Пусть даже ради поддержания духа военных. Ведь как любил повторять знаменитый австрийский генерал Конрад фон Хётцендорф: «Все, что сложнее пощечины, не нужно на войне». Без сомнения, это верно для армии. Но эта война сталкивает не только армии. Она сталкивает взгляды на жизнь. Это гражданская мировая война. Она будет проиграна, если мы утратим чувство моральных реалий. И многие упрощения точно приведут нас к поражению. Я говорю здесь как европеец, который видел достаточно близко странный феномен демократической дезинтеграции и обращения в фашизм. Франция в целом была демократией в 1939 году; почти каждый ее гражданин искренне называл себя антифашистом и верил в твердость своих взглядов перед лицом

¹ Я говорю о мирном времени, а не о героях войны.

² Действительно ли это великое благо? Для большинства, наверное, да. Для героя – нет. Для святого – это не имеет значения.

³ Я имею в виду «Mein Kampf», две первые книги Раушнинга, многочисленные свидетельства о тоталитарных нравах. Наше буржуазное сомнение было одной из лучших возможностей для Гитлера.

искушения. У него была незапятнанная совесть демократа. Пришел Гитлер, Петэн капитулировал, и тут некоторые из этих «парижских интеллектуалов-антифашистов» открыли для себя, что нацизм не так уж плох; что в общем они всегда и хотели чего-то схожего с ним; и в конце концов «нацисты такие же люди, как и мы».

Вот самая главная опасность для американской демократии. Она тоже считает нацистов за животных совсем иной породы, нежели американцы. Она тоже рискует однажды совершить открытие: «В конце концов они такие же люди, как и мы». И это правда: они такие же люди, как и мы, в том смысле, что их грех скрыто присутствует и в нас.

Один из ясных уроков, выносимых из европейских событий, мне кажется, следующий: чисто *сентиментальная* ненависть ко злу в другом может сделать слепым в отношении зла, которое мы несем в себе, и серьезности зла вообще. Слишком просто выносимое осуждение злодея, что пред нами, может скрывать само злодейство и содействовать ему. Мне приходит на ум целомудренное негодование прожженного пуританина, который порок другого превращает в карикатуру, дабы не распознать его в себе. Я усматриваю глубокую двусмысленность в некоторых запальчивых разоблачениях гитлеризма: резкость тона и чрезмерное упрощенчество суждений вскрывают смутные терзания совести, скрытую тревогу, сокровенную предрасположенность. Видя антифашистов, которые хотят быть только «анти-», — без мнительности по отношению к себе, — я не могу избавиться от мысли, что в один день тот «про-», что дремлет глубоко в их сердце, внезапно проснется и все вывернет наизнанку. Мы видели слишком много подобных случаев, индивидуальных и коллективных. Мы видели, как население Саара в 1935 году бросилось в объятия Рейха. Мы видели, как социал-демократическая Вена за сутки превратилась в Вену, одержимую гитлеровской страстью. Мы видели, как некоторые из наших «оккупированных» друзей внезапно открывали «хорошие стороны» тоталитарной системы. Вот почему мы говорим сегодня кичливым демократам: «Взгляните на Дьявола среди нас! Перестаньте думать, что он похож на Гитлера или его эпигонов, *он всегда будет больше всего похож на вас!* Только в себе самих вы сможете поймать его с поличным. И только тогда вы излечитесь от невероятной наивности перед тоталитарной угрозой. Вы сможете не поддаться гипнозу».

Нам не хватает современного изображения Дьявола. Когда-то мы перестали верить в него. Затем вообразили, что Дьявол — это Гитлер. А Дьявол лишь радостно потер руки (как и Гитлер).

Возможно, теперь будет более плодотворно, занятно и в конце концов правильно попытаться изобразить Дьявола в облике подвижного и оптимистичного плейбоя с девственно чистыми мыслями. Или же, если вышло так, что меня читают либеральные интеллектуалы, в облике интеллектуала, *который не верит в Дьявола...*

Юмор и демократия

Над демократией нужно смеяться. Прежде всего потому, что она единственный режим, допускающий насмешливую критику. Наконец, потому что при почти полностью профанном общественном строе юмор необходим для правильного функционирования институтов. Вот как это работает.

Дьявол по желанию может быть язвителен и ироничен, но он не выносит юмора и в этом, возможно, он наименее всего согласуется с нашим режимом. Ведь Демократия, основываясь на предрассудке о всеобщем равенстве, в общем-то комична, она не может функционировать без юмора, как всякая машина — без масла и взаимодействия ее частей. Именно чувство юмора спасает людей, живущих в демократическом государстве. И от чего оно их спасает? От удушья, вызванного чрезмерной близостью, фатальным результатом разрушения иерархии. Благодаря чувству юмора становится возможным восстановить

пригодную для дыхания, почтительную дистанцию между соседями, мужьями и женами, чиновниками и обыкновенными жертвами государства.

В самом деле, возьмите любую демократию. Устраните всякий юмор как из ее повседневной жизни, – брюзжание граждан, так и из чисто политической, – склоки партий, и вы получите в конце концов тоталитарное государство во всем его блеске.

Автор этой книги внутренне убежден в том, что демократия чахнет без критики, и заранее объявляет всех, кто в последующих главах усмотрит признаки тоталитарного мышления, худшими его представителями. Пусть они узнают себя в отражении. Я пройду с главным демоном, которых Дьявол отправляет в наши демократии с целью превратить их в свои образцовые колонии.

Демон свободы

Почему мы никогда не любили и не славили свободу так, как в современную эпоху? Возможно, потому что она стала как никогда недоступной? Или же наоборот, потому что она под самым носом и всем доступна? Верно и то, и другое, в зависимости от того, о ком мы говорим и какое значение придаем этому слову.

Для большинства моих современников свобода – это право не подчиняться. Когда они его получают, ими тут же овладевает скука и вскоре они призывают тирана. Как только тиран начинает свирепствовать, любовь к свободе возносит их на вершины мужества. И так по кругу: частично эта кокетливая игра и обуславливает Историю. Основывать тот или иной режим на прекрасном слове «Свобода» – значит подчинять политике силы в значении, данном ей Макиавелли, политику коллективного прекраснотворения. (Так брак по чувственной любви занял место брака по расчету, заключаемого родителями и нотариусом; и, вне всяких сомнений, все это в ущерб нравам).

Однако такая система не обходится без иллюзий, автоматически обращающихся в разочарование. Свобода, за которую мы идем на смерть, не та свобода, что нам гарантирует государство. Отстаиваемая нами свобода теряет свое обаяние, как только ее излагает юрист... Вот великое недопонимание, символизируемое богиней у побережья Нью-Йорка, чей свет освещает безразлично всех людей.

Приглядитесь к ней: эта богиня абстрактна, но от того вызывает не меньше эмоций. Она взывает к религиозному чувству, которое сама же выпендривается в пустоту. Сколько беженцев плакало, увидев ее! Одно ее присутствие было залогом свободы мысли и жизни, столь беспутно растраченных ими в Европе. Нам самим неудобно говорить о ситуации, в которой самая понятная эмоция скрывает столько странной сумятицы и неразберихи.

По правде сказать, свобода-в-общем-смысле не может быть претензией к целой эпохе – даже в области политики, несмотря на все напыщенные речи и подлинные жертвы. Эта неопределенная свобода не может указать на конкретный объект желания, ведь она – изначальный спутник человеческого существования. Человек свободен, и это значит, что в каждый момент своей жизни он стоит перед двоякой возможностью: совершить желаемое Богом благо, дающее человеку свободу, или совершить благо по собственной прихоти и тут же обнаружить себя в ее оковах. Будьте свободны просто так, без цели и причины, будьте свободны делать, что вам заблагорассудится, – и с наибольшей вероятностью вы сделаете то, чего от вас хочет Дьявол. Но будьте свободны сообразоваться своему призванию, что отпускает вам Бог, и исполнить его, – и тогда вы избежите механического круга, в который забросило вас рождение и происхождение, ошибки и общественное мнение.

Свобода – это не право, но риск – как в плане политики, так и в плане духа. Ее глупо отстаивать не только в силу ее сущности, но и в силу того, что она утрачивается, как только



оказывается на что-либо направлена: зло это или благо, – но вновь возвращается, стоит возникнуть риску.

Но все же мы говорим о политической свободе, возразите вы мне. Я к ней подхожу. Здесь речь идет не о реальной свободе вообще, прервать которую не сможет ни один тиран, но о даваемом государством праве следовать своему призванию. Если человек не знает своего призвания, отстаиваемая им свобода пуста; в нее вмешается Дьявол под тысячью доступных ему личин, самая распространенная из которых – общественное мнение. Но если человек знает свое призвание, ему не нужны никакие права, кроме как права следовать ему. Если государство откажет ему в этом праве, он может свободно выбрать между позором и бунтом. Бунт его может привести как к мученичеству, так и к восстановлению человеческих прав: в обоих случаях он остается свободным, но не во имя абстрактной Свободы, а во имя своего личного предназначения. Если же он, напротив, выберет позор, подчинившись свирепству закона над исполнением своей веры, он в силу собственной ошибки утратит свободу выбора, составлявшую все его человеческое достоинство. Тогда вне всяких сомнений он станет частью анонимной массы рабов, отстаивающих Свободу. Они отстаивают ее, потому что более не свободны. Простой факт того, что они требуют ее без великой и решающей причины и цели, доказывает, что они к ней попросту неспособны. Иначе они бы ее утвердили, предпочтя своей жизни подлинные причины жить.

Безусловная свобода – призрак, предвещающий худшую тиранию.

Демон полиции

Путешественник и беженец, растерянно прогуливающийся по Нью-Йорку перед вышагающим на фоне коммерческого неба символом Свободы с пустыми глазами¹, не замедлит получить возвращающий к реальности удар. Это тот самый момент, когда он сталкивается с налоговой инспекцией и Службой миграции...

В Европе и обеих Америках я в течение этой войны пересек более двенадцати границ и заполнил сотни всяких анкет, одна из которых содержала не менее 32 страниц. Эти стандартизированные исповеди, я должен признаться, были ценой за многочисленные отпущения грехов. Но вместо того чтобы подарить мне чувство чистой гражданской совести, заверенной государством, они оставляли меня каждый раз в смятении перед той личностью, которую я только что заверял. С каждой анкетой вырисовывался некий условный персонаж: он носил мое имя, был моего возраста и имел те же самые особые приметы, но чем более я стремился придать всему этому связность, тем более ощущал трудность найти самого себя в этих официальных данных. Каждый раз это был словно суд, который надо убедить в моей виртуальной невинности, оправдательный приговор которого я получал будто по чистой случайности. Мне казалось, что близится момент, когда полиция будет знать обо мне больше, нежели я сам. Глухая к возмущениям моего настоящего я, не способного все же предоставить подтверждение своей идентичности в предусмотренных документами рамках, сама полиция открывала мне, что я красный и, хуже того, что я белый²!.. Вокруг меня царила тишина, как в церкви. Каждый знал, что должен через это пройти. Пройти – это и была единственная цель. И успех мог зависеть от каприза Судьбы, настроения того всемогущего господина в шляпе за столом с множеством печатей.

Конечно, все эти процедуры вполне оправданны в военное время. Демократическое общество должно защищаться так же, как и все остальные. И в мирное время оно должно будет организовываться даже лучше других, не только в целях безопасности, но и

¹ В ее голове устраивают банкеты.

² Цветовое обозначение левых (красных) и правых (белых) партий в Третей республике. – *Примеч. пер.*

ради общего блага. Количество проверок будет расти. Ваши способности, мнения, мысли опишут в точных цифрах. Вы будете классифицированы, помечены ярлыком; прошлое ваше будет отслежено вплоть до утробы матери, а сами вы будете снабжены номером и лишены права на голод.

Что смущает меня во всей этой полицейской и профессиональной машинерии – ее достоинства ведь и так слишком бросаются в глаза, – так это безответственность ее исполнителей. Представьте, что объявили охоту на красных. Никто в точности не знает, кто такие красные. Ни начальник, который всегда вне доступа; ни руководитель службы, который занят службой; ни исполнители, которые довольствуются точным выполнением указаний. Ваш коэффициент выдает в вас красного. Но мыслите и чувствуете себя вы белым. Тем хуже для вас. Вы отброс общества.

Помните ключевую интригу в романе «Годы учения Вильгельма Мейстера»? Гете ведет своего героя от испытаний к открытиям, и весь путь его определен таинственной волей руководителя тайного общества. Вильгельм идет к своему спасению более или менее масонскими путями розенкрейцерской секты. У Гете это было образом Провидения. Сегодня же – это образ Полиции. С той разницей, что больше нет никаких духовных целей, а имя начальника не имеет практического значения или вовсе неизвестно. Когда им окажется сам Дьявол, вы о том даже не узнаете и, как сегодня, будете лишены права или возможности протестовать.

Подлинный миф нашей Полиции был дан еще Кафкой. В «Процессе» перед нами разворачивается история банковского служащего, которому вменяют неизвестно за что вину и который напрасно тратит силы в поисках Судьи и объяснения. Его приговаривают к смерти, несмотря на поддержку дурацкого адвоката, подобного служителю некоего культа, который утверждает, будто знает самого Судью, но сам понимает происходящее не лучше своего подопечного.

Я утверждаю, что у Дьявола появляется возможность развернуть свою игру повсюду, где исчезает смысл, когда организация, слетев с катушек, начинает работать против людей и никто не может ничего с этим поделать. Образ современной полиции.

Демон безопасности

Когда человек оказывается перед одной из обычных угроз своему существованию, у него есть две возможности: или он пытается развить в себе силы, превосходящие те, что ему угрожают, или же он пытается устранить угрозу. Наш выбор был сделан уже давно: мы стремимся скорее устранить угрозу, нежели подчинить ее себе. Это и определяет буржуазное поведение и общий дух нашей демократии.

Если посмотреть на ситуацию в общем и докопаться до ее корней, то прогресс, которому мы возносим хвалу, заключается в одном слове – стерилизация. Будь то любовь (контрацептивные меры предосторожности), будь то профессиональная жизнь (страхование), будь то образование молодежи, будь то медицина, будь то международная политика – везде мы доводим до крайности беспрецедентный опыт генерализированной стерильности и досрочного пресечения рисков.

Мораль страхования-против-всех-рисков. И кто скажет, что это не есть наша религия, что сами наши религии не начали подстраиваться под нее? Кто осмелится заявить, что она нацелена на что-то иное, нежели методичное подавление морали поэтической, одновременно объемлющей риск и уверенность, угрозу и отпор, бездны и вершины? Никакая другая эпоха не была столь антидуховной, потому что ни в одну из них не были так озабочены устранением всякого зла малой ценой, вместо того чтобы компенсировать его высшим благом. Мы забыли о золотом стратегическом правиле, которое гласит, что лучшая



защита – это нападение. Не ведая очарования сопротивления, пренебрегая душевными силами, мы ищем спасение в бегстве. Страхование жизни заменило нам духовную подготовку к смерти.

Я с легкостью могу представить Дьявола в образе служащего страховой компании. Он все понимает и уже все предусмотрел. Он знает человека во всей его вульгарности и гордится тем, что знает, как его к ней одной свести. Он объясняет вам, в чем ваше Благо. Он знает все гораздо лучше вас. Ну же! Он столько таких повидал. Он блефует, выслушивает ваши замечания, но дает вам понять их банальность, статистичность. Наконец он обещает чистое ничто души: здоровье – благополучие – процветание – жизнерадостность и пожизненное чувство правоты. Вы станете, как боги, немного дураками, но постоянно смеющимися. Вы никогда не умрете. Если только слегка. Ничего не теряя...

Демон незначительности

...neither having the accent of Christians,
nor the gait of Christian, pagan, nor man.

(*Hamlet III, 2*)¹

Когда соль утрачивает вкус, править становится одним удовольствием, идет ли речь о народе или наших страстях. На этой вере основывается мир застрахованных. Они думают, что обнаружили систему. Они любят мир, добродетель, порядок и здоровье. Они правы, но их ведет Дьявол, ведь они восхотели мира без борьбы и добродетель без искушений, порядок в силу анестезии и здоровье в силу дезинфекции. Все это способно уменьшить число несчастий человечества, но не ослабить зло, когда оно в первую очередь отсутствие творческих добродетелей.

В жестокой страсти и открыто провозглашенном конфликте зло легко опознать – и это преимущество для добра. Но когда с виду все тихо, когда пружины страстей более не напряжены и раскаты былых противостояний позади, зло находит убежище в нашей уверенности и пропитывает собой мир, завоеванный без борьбы. Теперь это преимущество на стороне Дьявола.

Все знают историю о великом визире, повстречавшем Смерть в саду Тегерана. Она подала ему загадочный знак. Ошеломленный визирь спрятался в Исфахане. Он думал, что спасся. Но вот Смерть явилась вновь в тот же вечер в его дворец. «О Аллах! – закричал визирь, – ты обманула меня!». «Нет, – ответила Смерть, – мой знак в Тегеране означал, что я буду ждать тебя здесь сегодня вечером».

Так и Дьявол подает нам знак в наших пороках и ожидает нас в наших добродетелях. Зная, что его слишком легко раскрыть в бедах, преступлениях и драмах, он предпочитает властвовать под покровом исправления нравов.

Я не обвиняю нас в нехватке дисциплины, не отстаиваю культ «благородных дикарей» и не призываю к войне. Я просто констатирую, что в обществе с угасшим духовным чувством исправление нравов становится идеалом, вольность речи кажется неприличием, откровенная страсть превращается в диагноз психиатра. Мы только и думаем как бы избежать конфликтов, ставящих перед нами настоящие вопросы, взрывов, делающих явными истины человеческого сердца, его бездны и чудеса. Будьте «любезны», говорит нам буржуазия. За эту любезность она платит непомерную цену, о которой и не подозревает: вкус жизни. Мы установили культ всего того, что не ведет к последствиям. Он правит в наших

¹ «...не были похожи ни на крещеных, ни на нехристей, ни на кого бы то ни было на свете» («Гамлет», III, 2). – Пер. Б. Пастернака.

нравах и нашем общественном мнении¹. Мы забыли, что последствие этого культа – незначительность как наших добродетелей, так и наших пороков.

Однако незначительные добродетели, пустые и лишённые смысла, являются в действительности Царством Ничто. Они достигаются только ценой величия. (Кто ещё знает, в чем его измерить?). И этому мы можем дать только *мелкие* примеры, которые естественно покажутся незначительными...

Когда вы ставите в граммофон дорогую уже долгое время вашему сердцу пластинку – Монтеверди, Моцарта или Баха – и милая дама со своими очаровательными друзьями слушают ее вполуха, из вежливости, и по завершении музыки говорят: "So lovely, really..."² с безразличным видом, это ведь ничего не значит, вам показалось, подайте скорее выпивку. Но все же верным будет отметить, что нечто упущено из виду. Эти люди не злые, они не сделали ничего плохого, им просто не хватает чувства. И все же вселенская энтропия растет: нет ничего более катастрофичного в мире. Мы проходим мимо. Такова жизнь, таков мир... Таков Дьявол, скажу вам я! Ведь проходя здесь мимо, вы упускаете образ мира сего. А если вы примете для себя странность придавать важность столь мелким вещам, – действительно, сущей безделице, – возможно, вы завоюете право гражданства в райской вселенной, почтение к которой вам подарил Бах своим великолепным чувством, достаточным для того, чтобы сделать вас современником его вечности.

Дьявол незначителен в буквальном значении этого слова. Самая главная его победа в наше время – это лишение значения почти всех наших занятий, обычаев и костюмов, искусств, труда и досуга. Это дошло до той стадии, что современный человек удивляется, когда его спрашивают о значении его имени, форм и цветов, которыми он себя окружает, фраз, которые без конца повторяет, и заработанных им денег. Он удивляется самому предположению, что все эти и другие вещи вообще могут что-либо значить в духовном универсуме.

Я утверждаю, что все бессмысленное по праву принадлежит черту; что все, несущее в себе смысл, несет и какое-то благо, нонсенс в том числе, как аллюзия на непредвиденный и скрытый смысл. Что касается чистого абсурда³, это – категория веры или абсолютного зла. То, что разуму видится абсурдным, принимается верой как ее положение в вечности: так верующий говорит о Боговоплощении и чуде. Став дьявольской карикатурой, абсурд превращается в фиксацию временности: такова идея успеха, власти, богатства самих по себе. Вот она, преисподняя.

<...>

Демон популярности

Из всех когда-либо существовавших тварей Дьявол – тот, кто лучше всех знает "how to win friends and influence people"⁴. Именно поэтому современная демократия особенно подвержена его советам.

Сила режима, основанного на большинстве, зависит от женских капризов Мнения. Это неизбежно приводит к тому, что главной задачей руководителей становится *популярность*, а не справедливость или эффективность государственных мер. Эта тенденция политической жизни проникла и в жизнь частную, как всегда и происходит при любом режиме. Так некогда привычки королевского двора задавали тон галантного обхождения

¹ Есть и его компенсация в с виду противоположном культе *сенсационного*.

² «Как же мило...» (англ.).

³ В значении, которое ему дал Кьеркегор.

⁴ «как завоевать друзей и влиять на людей» (англ.).



на всех уровнях общества. Они давали пример в искусстве угодничанья вышестоящим, властвования над нижестоящими и устанавливали повсюду допустимую дистанцию в общении. Нравы нашего парламента, партий и их руководства кажутся сегодня совершенно противоположными: речь идет об угодничании перед массами, поскольку именно они дают власть; о примирении с нижестоящими путем их обмана, поскольку властвовать над ними более не позволено; наконец о знании по имени как можно большего числа избирателей, клиентов и сотрудников. Признак демократического престижа не возвышенность манер, а фамильярность.

В этом отношении было бы занятно сравнить книгу господина Дейла Карнеги и «Карманный оракул» Балтасара Грасиана. Этот иезуит составил коллекцию сентенций, обучающих социальной хитрости при абсолютной монархии. В свою очередь, господин Дейл Карнеги учит нас завоевывать, конечно, не настоящих друзей, но клиентов, избирателей, всех, кто так или иначе может оказаться полезным. Это демократическая версия «Карманного оракула» (*Homme de Cour*), который мы могли бы назвать «Человек приемной» (*Homme de l'Antichambre*)¹. Отметим прежде всего, что между иезуитом и нашим экспертом по популярности произошел невероятный прогресс с моральной точки зрения. Грасиан учит вас обманывать, хитрить, врать, жульничать – все это, кажется ему, стоит личного престижа и заинтересованной благосклонности вышестоящих. Господин Карнеги, напротив, морально безупречен. Он утверждает, что золотое правило человеческих отношений дано уже в Евангелии: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Пример: больше всего человек нуждается, согласно профессору Дьюи, в чувстве собственной важности, так не теряйте возможности дать почувствовать вашему собеседнику всю важность, которую вы ему придаете: будьте уверены, он ответит тем же.

В принципе, это подсказывает даже здравый смысл. Но ведь это противоречит Евангелию, желающему от нас смирения. Идеал господина Карнеги – это постоянно улыбающийся болтун, угодник ради самого угодничанья, опытный в стратагемах ложной скромности и неутомимо методичный в умении нравиться всякому, кто однажды может оказаться полезным. Грасиан, надо отдать ему должное, хотя бы не делал вид, что следует указаниям Христа. Он обладал беспощадной честностью безнравственности, открыто бросающей вызов чистой добродетели. Даже в пороке он сохранял некий стиль.

Описанный нами контраст дает возможность измерить утрату духовной энергии, представленной в нашем «моральном прогрессе». Признаем же Дьявола в мире, где каждый произносит банальности для выгодного заключения сделок и, цитирую, «обзаведения легкими и приятными контактами».

Значит ли это, что я какой-то неправильный? Или завтра нам скажут, что сама по себе духовность аморальна, антисоциальна и вредит делам? Что соль земли вредна для здоровья? И что демократическая мудрость сводится к «технике межчеловеческих отношений», научающей людей обзаводиться друзьями, покорять мир – и потерять свою душу?

Парадокс демократии

Поступая совершенно разумно, тоталитарные режимы склонили на свою сторону глупость. Под их руководством дуракам нечего терять. Сильные души там изгнаны грубым ресентиментом плебеев, слабые – были легко убеждены в том, что не имеют право на личное существование, посредственные – главные исполнители этого плана.

¹ Игра слов: французское название труда Балтасара Грасиана «*Homme de Cour*» («Человек двора»). – *Примеч. пер.*

Как видно, тоталитарный режим – лишь низкая ипостась демократии. Дайте волю тем демонам, которых я описал, и наша демократия ничем не будет отличаться от тоталитаризма, кроме разве что недостатка в точности, более явного беспорядка, менее увлекающей риторики.

Здоровая демократия, за которую я борюсь, как и само здоровье, утопична. Я представляю ее следующим образом: ум при ней ничего не теряет, сильным душам легко, слабые – учатся быть сильными, посредственные – смущены своей посредственностью и числом. Там присутствуют стойкие элиты с отменной дисциплиной, малые группы торжествуют над массой, а государство уважает даже самое необычное призвание.

Это целостная программа, если ее додумать: из нее достаточно просто развить последствия во всех областях – в экономике, морали, гражданском сознании и религии. Прекрасная работа! Прекрасное будущее! Вернемся к Дьяволу.

Пятая колонна всех времен и народов

Я обо всех отзываюсь плохо: о тоталитаризме и демократии, о других, о нас, наконец, о самом себе. Но если Дьявол повсюду, личина его становится размытой. И все определения, которые я одно за другим ему давал, компенсируя друг друга, взаимно нейтрализуются. Дьявол – это не Гитлер, хотя тот и демоничен; он также не демократия, которая все же далека от святости; но он действует повсюду, он во всем... Ваши описания, скажут мне, недостаточно ясны. Почему вы нам не дадите точный и легко узнаваемый портрет Сатаны?

Дело в том, что Дьявол по своей природе не поддается ясным и честным определениям. Он тот, кто всегда вмешивается в процесс создания и оценки своего описания. Сущностно парадоксальный, он, конечно, существует, но сам пребывает в не-сущем, в том, что тяготеет к ничто, что тайно желает уничтожения существования – других или своего собственного. Его свойство не быть чем-либо положительным дает ему неопределенную свободу действия, делает его инкогнито и предоставляет алиби, чтобы скрыться с места преступления.

Вульгарный и обольстительный, фарисей и негодяй, лицемер и циник, отталкивающий, но и не менее притягательный, вне всяких сомнений он самое поэтичное существо в этом мире. Он красив в глазах глупцов, считающих, что зло всегда уродливо; он неотразимо обаятелен в своем вызывающем уродстве для искушенных и утонченных умов. Коротко говоря, он всегда не там, где вы собираетесь его обнаружить. Он карикатурно подражает действию Святого Духа, он всегда двусмыслен для нашего сомнения и приводит разум в замешательство.

Мы хорошо знаем, что излюбленное занятие Пятой колонны состоит в том, чтобы сеять смятение в стане противника, распространяя в нем ложные и правдивые слухи. Таково и действие Дьявола в нашей жизни: господин организованного смятения! Гитлер был душой пятой колонны этого века, но Сатана есть сама суть Пятой колонны всех времен и народов.

Наконец – и тут я лично должен быть осторожен – Дьявол – это существо, которое, как только его изобличают, срочно покидает свое пристанище и находит новое убежище в своем обличителе, считающем свою совесть чистой. В тот момент, когда вам кажется, будто вы уловили его действие у другого и уже хотите с ним расквитаться, – оказывается, что вы сами и есть Дьявол!

– Так что же?..



Последнее обращение

– Если вы хотите обыграть Дьявола еще до того, как он совершит свой первый и второй ходы, если вы всерьез желаете схватить его за хвост, я скажу вам, где вы с наибольшей вероятностью отыщете его: *в кресле, в котором вы сидите.*

Перевод Д.Т. Бабошина

Литература

1. Rougemont D. de. La part du Diable. Paris: Gallimard, 1982. P. 83–117.

Аннотация. Эссе «Дьявольская часть» (“La part du Diable”) было написано Дени де Ружмоном еще в годы Второй мировой войны и посвящено анализу послевоенных проблем западного общества. По мнению швейцарского мыслителя, победа над гитлеровским режимом недостаточна, ведь сама европейская и американская демократия подвержена дьявольскому искушению тоталитаризмом. Не осознав наличие внутренних демонов, она обречена на вырождение. Богатое на прозрения, особенно актуальные в наши дни, это философско-богословское эссе дает концентрированную картину слабостей современного мира. Представленный фрагмент этой книги публикуется на русском языке впервые.

Ключевые слова: Дени де Ружмон, демократия, Вторая мировая война, тоталитаризм, Дьявол, свобода.

Denis de Rougemont (1906–1985), Swiss Philosopher-Personalist, Writer, Public Figure, One of the “L’Ordre Nouveau” Founders, Active Participant in the “Esprit” Magazine Work.

The Devil's Part

Abstract. The essay “The Devil's Part” (“La part du Diable”) was written by Denis de Rougemont during the Second World War and devoted to the analysis of the post-war problems of Western society. According to the Swiss thinker, the victory over Hitler's regime was not enough, because European and American democracy itself was subject to the devilish temptation of totalitarianism. Without realizing the presence of internal demons, it was doomed to degeneration. Rich in insights, which are especially relevant today, this philosophical and theological essay provides a concentrated picture of the weaknesses of the modern world. The presented fragment of this book is published in Russian for the first time.

Keywords: Denis de Rougemont, Democracy, the Second World War, Totalitarianism, Devil, Freedom.

Святая Жанна Д'Арк – символ французского религиозного мессианизма

Кто воюет против Святого королевства
Франции, воюет против короля Иисуса.

Жанна Д'Арк

Мессианизм – сложный социальный и культурный феномен. Существует как религиозный, например, иудейский или христианский, так и политический или секулярный мессианизм [8]. В первоначальном смысле мессианизм – это идея богоизбранности отдельного народа для выполнения особой миссии в мире. Религиозный мессианизм изначально имел библейское происхождение и означал веру в пришествие Мессии – Помазанника Божия, то есть Спасителя, призванного спасти избранный мессианский народ Божий (Израиль, согласно иудаизму, или Новый Израиль – Церковь, согласно христианству). Со временем религиозный мессианизм претерпевает эволюцию, когда происходит трансформация понятия мессианского народа из религиозной общины верующих в идею народа-богоносца или нации. Причем идея мессианского народа изначально носила религиозный характер – весь народ, например, в Средневековье, как в иудаизме, так и в христианстве должен был обладать общей религиозной идентичностью.

Средневековый христианский мессианизм

Средневековая Западная Европа, как известно, в сравнении с другими периодами развития ее культуры в наибольшей степени находилась под влиянием христианской религии прежде всего в форме католицизма. Всеобъемлющее влияние католической Церкви на рождение новых европейских государств и народов не могло не способствовать появлению феномена национально-религиозного мессианизма в первую очередь у наиболее сильных централизованных государств – Англии и Франции, возникших в эпоху Средневековья на обломках Западной Римской империи.

При этом интересно отметить, что по интенсивности и степени развития средневековый христианский мессианизм в английском и французском королевствах принципиально различаются, так что можно говорить о том, что на протяжении по меньшей мере эпохи Средних веков английский мессианизм находился в тени французского. Только в средневековой Франции мессианизм стал значимым религиозным феноменом, в то время как в английском королевстве он оставался в первую очередь феноменом социально-культурным или этническим.

Близнеков Владимир Леонидович, кандидат философских наук, доцент, Институт общественных наук, Российская академия народного хозяйства и государственной службы. E-mail: vbiznekov@gmail.com

Английский религиозный мессианизм

Идеалом английского средневекового мессианизма, безусловно, стал культурный и религиозный миф о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Часть историков-медиевистов прошлого века не признавало историчности личности короля Артура, считая его мифологическим персонажем британского эпоса. Большинство современных английских историков все же готово признать его реальное существование в качестве военного вождя или короля племени бриттов – наиболее сильного и воинственного кельтского племени Британии, который стал символом военного сопротивления кельтов вторжению германских племен – саксов, англов и ютов – на территорию современной Англии в V–VI веках н.э.

Кельтская Британия, была завоевана римлянами в 43 году н.э. и до 407 года н.э. находилась под римским владычеством. Находясь в составе Римской империи, Британия была христианизирована и превратилась в процветающую римскую провинцию. Но в начале V века н.э. из-за нестабильного политического положения Западной Римской империи Рим выводит свои легионы с территории Британии, по сути, бросив свою бывшую провинцию на произвол судьбы. Враждующие друг с другом кельтские племена оказываются неспособными после ухода римлян установить стабильный политический порядок на острове и поэтому быстро становятся жертвами экспансии германских племен, перманентно прибывавших на территорию Британию с территорий современной немецкой Саксонии и Дании. В течение почти всего V века британские кельты терпят постоянные поражения от германцев, которые постепенно завоевывают их территорию на востоке и юге Британии, вытесняя побежденных туземцев все дальше и дальше на запад острова – в неплодородные земли Уэльса. Война кельтов с германцами длилась более двух столетий и закончилась в начале VII века полной военной победой англосаксов, образованием германских раннесредневековых королевств на всей территории Британии и полным вытеснением побежденных бриттов на территорию Уэльса.

При этом историки отмечают интересный исторический феномен: перманентная экспансия англосаксов на земли кельтов неожиданно остановилась в начале VI века и не возобновлялась на протяжении нескольких десятилетий. Этот факт некоторые ученые считают доказательством историчности личности короля Артура и его легендарных военных побед над германскими завоевателями.

В британском раннесредневековом эпосе и многочисленных мифах и легендах король Артур предстает удачливым военным вождем бриттов, военные победы которого над германцами обусловлены покровительством ему со стороны мистических духовных сущностей, посредником для связи с которыми выступает легендарный британский маг и волшебник Мерлин – воспитатель и ближайший советник короля. Валлийские поэмы и легенды рисуют типично языческий образ британского короля Артура, настолько пропитанный кельтской мифологией, языческими ритуалами и суевериями, что вполне можно усомниться в принадлежности короля бриттов к христианской Церкви. Несомненно, король бриттов как историческая личность был успешным военным вождем, но без малейших признаков святости или христианского благочестия.

Но английский священник и писатель Гальфрид Монмутский, происходивший из Уэльса и живший в XII веке, то есть спустя более чем 600 лет после смерти легендарного короля бриттов, написал несколько ставших знаменитыми средневековых литературных произведений – «История королей Британии», «Жизнь Мерлина», «Пророчества Мерлина». Эти труды сформировали историко-мифологическую концепцию, или так называемый артуровский канон, представившие короля Артура не только успешным полководцем-рыцарем, но и мессианским христианским королем, спасающим на войне свой христианский народ от германских варваров-язычников. Спутники и соратники короля Артура при

этом превратились у Гальфрида Монмутского в идеальных средневековых рыцарей Круглого стола, став впоследствии героями многочисленных рыцарских романов и фэнтези.

Интересно отметить, что оформлению культа короля Артура в духе английского мессианизма в британской культуре мешали этнический и политический факторы. Понятно, что англ и саксы как победители бриттов отнюдь не были заинтересованы в создании мессианского культа их политического врага, и во время правления в стране англосаксонских королей вплоть до норманнского завоевания Англии в середине XI века не предпринималось значимых попыток героизации образа короля Артура. В это время только кельты Уэльса в своем эпосе развивали его мифологический культ. Но с приходом к власти норманнской династии, политически подавившей господство англосаксов в Британии, наступает ренессанс артуровского эпоса и кельтской мифологии, что дало возможность через столетие появиться историко-мифологической концепции Гальфрида Монмутского. По вышеупомянутым причинам король Артур так и не стал общеанглийским идеалом религиозного и политического мессианизма.

Французский религиозный мессианизм

Французский мессианизм в Средние века получил наибольшее развитие и историческое значение по сравнению с мессианскими идеями других народов Европы того времени. Он намного раньше и гораздо сильнее, чем в других европейских государствах, оказался подвержен влиянию христианства и поэтому приобрел ярко выраженный религиозный характер.

Безусловно, первая и главная причина возникновения французского христианского мессианизма – это принятие королем франков Хлодвигом I в 496 году христианства от римской церкви. Франки – сильнейшее в военном отношении и политически наиболее успешное раннесредневековое германское племя – сразу после захвата Галлии, населенной галло-римским населением, принадлежавшим к римской церкви, стали единственным германским народом, сразу принявшим христианство в ортодоксальной форме в отличие от остальных германских племен материковой Европы, принявших вначале христианство в популярной у германцев арианской форме. Это обеспечило франкам возможность получить власть над местным католическим населением без военных конфликтов и религиозной вражды, что привело к их быстрой ассимиляции в галло-римскую культуру, а также позволило приобрести политическую поддержку у местного католического духовенства. Франки также согласились со временем оставить свой родной германский язык и перейти на романский язык галло-римского населения, который в настоящее время называется старофранцузским. Таким образом, они приняли гораздо более высокую римскую культуру местного покоренного населения, что явилось также очень дальновидным политическим шагом. Поэтому франкское завоевание Галлии было мирным и практически бесконфликтным в отличие от имевшего место в то же время жестокого и кровопролитного завоевания кельтской Британии англосаксами, не пожелавшими принять кельтский язык и культуру и принявших христианство от кельтских миссионеров только после полного завоевания Британии.

Именно франки под руководством короля Карла Великого в конце VIII века восстановили погибшую в конце V века Западную римскую империю, а их германский король в 800 году короновался императором Запада и правителем Римской империи, что стало шоком для императорского двора Восточной Римской империи, то есть Византии, где не могли себе представить, что германский варвар станет императором Западной Римской империи. Кроме того, короли франков в Средние века являлись главными союзниками и защитниками римских пап, откуда возникло знаменитое выражение: «Франция – любимая дочь католической Церкви».

Все это создало идеальные предпосылки и условия для возникновения французского средневекового христианского мессианизма в качестве религиозно мотивированного мессианизма политического. Нужно было только дожидаться случая, когда французский мессианизм проявит себя в политической жизни.

Средневековые крестовые походы, безусловно, являлись возможностью для проявления христианского политического мессианизма. В первом крестовом походе, начавшемся в 1097 году, который оказался единственно успешным для европейских рыцарей в военном отношении, хотя в то же время носил brutальный и варварский характер по отношению к завоеванному мирному населению, большинство крестоносцев составляли именно французские рыцари, что считалось само собой разумеющимся. Выступившие в третий крестовый поход в 1190 году английская и французская армии уже возглавлялись собственными королями. Английским войском руководил легендарный король-рыцарь Ричард Львиное Сердце, а французским – дальновидный и осторожный король Филипп II Август. Казалось, что сама судьба давала англичанам и французам идеальный шанс для осуществления национальной мессианской идеи – славу военной победы над мусульманским войском Саладина и возвращение утраченного Иерусалима под контроль христианских правителей. Но, как показала история, ни один из двух королей-крестоносцев не имел ни малейшей мессианской мотивации и отнюдь не желал рисковать своей властью и жертвовать собственной жизнью и жизнями своих воинов ради религиозно-политических идеалов католической Церкви. Обоими христианскими королями руководил чисто политический расчет – ослабление своего союзника-конкурента и его крестоносной армии, а также приобретение для своего государства новых территорий, в том числе и христианских.

Интересно отметить, что во время третьего крестового похода произошло событие, которое можно истолковать как символический отказ раз и навсегда английского короля и соответственно его народа от религиозного и политического мессианизма или соответственно от английской мессианской идеи.

3 марта 1191 года король Англии Ричард Львиное Сердце во время остановки английской армии крестоносцев на Сицилии по пути в Палестину нанес дружественный визит королю Сицилии Танкреду. В ходе встречи оба европейских монарха подтвердили свою дружбу и обменялись подарками. При этом король Сицилии подарил английскому королю пять галер и четырех коней. В свою очередь, король Англии Ричард преподнес другу и союзнику символически поистине бесценный дар – легендарный меч короля Артура, известный по имени Эскалибур, которому приписывались волшебные и мистические свойства [4, с. 76]. Незадолго до этого монахи английского аббатства Гластонбери при восстановлении собора аббатства после пожара объявили об обнаружении саркофагов с именами короля Артура и его супруги Гвиневры. Рядом с останками легендарного короля бриттов находился его знаменитый меч, который незамедлительно был передан монахами королю Ричарду.

Подлинность меча короля Артура, похоже, не вызывала в то время ни у кого сомнений, иначе Ричард не стал бы его дарить королю Сицилии. Но на самом деле не важно, был ли меч Эскалибур подлинным или нет, главным в этом символическом акте было абсолютное непонимание английским королем Ричардом высокой ценности британской политической мифологии и ее мессианских претензий, связанных прежде всего с личностью короля Артура. Обменять такое национальное идеологическое сокровище, как Эскалибур, на какие-то галеры и лошадей мог только абсолютно недальновидный посредственный политик, совершенно не имеющий стратегического мышления. Можно даже сказать, что в политическом отношении данным символическим актом английский король поставил крест на будущем политического мессианизма Англии, хотя в это же самое время британский писатель Гальфрид Монмутский сделал столь много, чтобы представить короля Артура

идеалом для всего средневекового христианского рыцарства. Неудивительно, что третий крестовый поход закончился для крестоносцев полным провалом, а сам король Ричард при возвращении домой оказался еще на долгие годы в плену у своего политического соперника – герцога Леопольда Австрийского.

Во время крестовых походов только знаменитый французский король Людовик IX Святой являлся воплощением христианского религиозного мессианизма. Он принял участие в катастрофическом для него Седьмом крестовом походе, в результате которого сам оказался в плену, а также замыслил роковой Восьмой крестовый поход, во время которого скончался от моровой язвы. Людовик Святой провозгласил своей главной задачей достижение устойчивого мира между христианскими народами, поэтому сам добровольно передал англичанам спорные французские земли Пуату, Гиень и Гасконь, что вызвало изумление и ужас современников [4, с. 85].

Людовик Святой был готов жертвовать собой и политическими интересами своей страны ради осуществления целей и задач католической Церкви. Он видел Францию добродетельной, христианской и мирной державой. В каком-то смысле этот французский король оказался антиподом британского короля Артура, который был успешным военным вождем, но не обладал святостью. Король Людовик, наоборот, вскоре после смерти был объявлен святым, но как военачальник проявил себя абсолютно неуспешным. Именно поэтому Людовик Святой не может претендовать на роль идеального персонажа французского мессианизма.

Жанна Д'Арк – святая Дева, спасшая Францию

На протяжении более 800 лет с момента образования королевства франков в конце V века и вплоть до начала Столетней войны с Англией (1337–1453) Франция никогда не испытывала таких несчастных и страшных событий, с которыми ей во время этой войны пришлось столкнуться.

Инициатором Столетней войны стал английский король Эдуард III Плантагенет, который по матери, Изабелле Французской, был внуком знаменитого французского короля Филиппа IV Красивого и после смерти в 1328 году Карла IV – последнего французского короля из династии Капетингов – оказался ближайшим законным наследником французского престола. С тех пор он видел миссию своей жизни в объединении английского и французского королевств под властью английской короны. Для Франции это означало ее поглощение Англией, полную потерю государственного суверенитета и, естественно, полный крах всех французских национальных мессианских идей.

Интересно, что с точки зрения средневекового как государственного, так и церковного права претензии английского короля на французский престол были формально юридически абсолютно законны. Но французская знать категорически не желала видеть чужака на троне в своей стране, находя различные отговорки, ссылаясь даже на Салическую правду – свод обычного древнегерманского права племени франков начала VI века, в соответствии с которым женщина не может управлять народом франков, а значит и ее потомки не могут претендовать на королевскую власть. Но английский король совершенно не сомневался в своем праве на английский престол, а следовательно, согласно средневековым представлениям, должен был объявить войну Франции по причине нарушения его права.

Война началась в 1337 году и имела для Франции беспрецедентно трагические последствия. Военные действия происходили исключительно на территории Франции, вследствие чего страна подверглась страшному разорению. Но еще более ужасным и унижительным фактом для Франции были перманентные позорные поражения французской



армии от англичан. На протяжении всей своей истории франки имели славу храброго, удачливого и непобедимого народа, одержавшего великие военные победы над своими врагами, что было даже отмечено во франкском эпосе «Песнь о Роланде», который исследователи относят к XII веку¹.

За время Столетней войны в сражениях с англичанами французские рыцари полностью утратили военную славу и удачу своих великих предков – воинов племени франков. Историки-медиевисты видят в этом несколько объективных причин: более высокая организация и дисциплина английской армии по сравнению с французской, высокая эффективность английских лучников в сражениях, нежелание французских рыцарей использовать опыт английских лучников и вообще абсолютное нежелание французов извлекать уроки из своих предыдущих поражений от англичан, устаревшая рыцарская модель французской армии по сравнению с более современной английской армией свободных крестьян-лучников и др. [2, с. 57–77]. Вследствие данных причин французская армия потерпела ряд тяжелых и унижительных поражений от англичан, таких как в знаменитых битвах при Креси (1346), Пуатье (1356) и Азенкуре (1415). При этом численность французских рыцарей неизменно была больше, чем английских лучников, а в битве при Азенкуре французская армия более чем в четыре раза превосходила английскую.

Для средневекового менталитета вопрос победы или поражения в войне одной или другой стороны был непосредственно связан с вопросом об отношении к войне Бога – победить могла только та сторона, которую поддерживал Бог. Если французы перманентно терпят столь жестокие поражения, значит, Бог на стороне англичан, других вариантов быть не могло. Англичане охотно соглашались с данным тезисом, аргументируя тем, что именно они ведут справедливую войну, поскольку нарушено право их короля на французский престол, они должны получить военной силой то, что принадлежит им по праву. Следовательно, Бог поддерживает англичан, потому что право и справедливость на их стороне.

Но большинство французов совершенно не могли согласиться с тем, что они виновная сторона в этом конфликте, поскольку поражение в Столетней войне означало бы для них не только конец французского мессианизма, но и гибель их государства и народа. Для французов было очень важно продолжать вести рыцарскую войну, несмотря на то, что они, в том числе по причине рыцарского характера своей армии, терпели поражения от англичан. Французы считали, что английские солдаты не только полностью утратили ценности средневекового рыцарства, идеалом которого в свое время являлись как раз британские рыцари Круглого стола короля Артура, но и запятнали себя даже на самом высоком уровне ужасными военными преступлениями, вследствие чего Бог не будет поддерживать их в войне. Даже известный современный английский историк Джон Норвич был вынужден признать особую жестокость английской армии в отношении мирного французского населения на оккупированных территориях во время Столетней войны [4, с. 107] и выразил неподдельное негодование трусливым и преступным приказом английского короля Генриха V сразу после победы англичан в битве при Азенкуре 25 октября 1415 года убить всех французских пленников, кроме самых знатных воинов, числом более 1200 человек, угрожая при этом повесить тех английских солдат, кто откажется убивать пленников французских рыцарей. При этом битва при Азенкуре, как подчеркивает английский историк, до сих пор считается в Англии одной из самых славных побед в британской истории [4, с. 132].

¹ В «Песни о Роланде» есть в частности такие слова о военной доблести и храбрости франков в сражении с маврами:

Сказал Турпен: «Бесстрашен наш народ.
С ним не сравнится никакой другой.
В "Деяниях франков" писано о том,
Что Карл один имел таких бойцов» [6, с. 10].

Тем не менее ситуация для Франции в Столетней войне становилась все более и более трагичной. К 1429 году большая часть территории страны вместе с Парижем была занята английскими войсками, последним очагом сопротивления французов был Орлеан, сдача которого означала капитуляцию Франции в войне. Кроме того, во Франции шла еще одновременно и гражданская война между партиями арманьяков и бургундцев, поддерживавших своих кандидатов на королевский престол. Партия бургундцев открыто переходит на сторону англичан, заставив престарелого французского короля Карла VI Безумного подписать с английским королем Генрихом V в 1420 году предательский договор в Труа, в соответствии с которым английский король объявлялся наследником французского престола вместо сына Карла VI дофина Карла, которого безумный французский король объявил незаконнорожденным бастардом своей жены королевы Изабеллы Баварской, соответственно, не имеющим никаких прав на французский престол. В этих условиях деюре Франция уже перестала существовать как суверенное государство, и для любого рационально мыслящего современника было понятно, что вскоре она прекратит свое существование и дефакто.

В этот самый критичный момент для французского государства во Франции наступает мессианское время, когда главным политическим фактором в войне становится пробудившийся французский мессианизм. На исторической арене появляется французская девушка Жанет, абсолютно уверенная в правоте своей родины Франции и в успехе своей политической миссии освободить страну от англичан и короновать дофина Карла, поскольку только акт церковной коронации в Реймском соборе означал в то время для народа легитимность власти короля.

Эта девушка имела фамилию Дарк без апострофа¹, но никогда не называла себя по фамилии, но всегда *la Pucelle*, что в переводе с современного французского языка буквально означает «дева», «девственница». После победоносного снятия осады Орлеана она предпочитала называться *la Pucelle d'Orléans*, что принято переводить на русский язык как «Орлеанская Дева». Но здесь надо иметь в виду, что в XV веке во Франции слово *la Pucelle* употреблялось повсеместно, в значении просто «девушка» и не имело значения подчеркнутой невинности. Поэтому можно сказать, что Жанна в современном понимании именovala себя Девушкой [5, с. 11].

Жанна утверждала, что избрана Богом для спасения Франции от врага, что она постоянно слышит голоса святых, а именно архангела Михаила, Екатерины Александрийской и Маргариты Антиохийской, которые предсказали ей будущую победу Франции в Столетней войне и поставили задачи объявить всем французам о ее Божественной миссии спасения страны и сообщить дофину Карлу, который из-за слов безумного отца-короля сомневался в своем королевском происхождении и в том, что он является единственным законным наследником французского престола.

Феномен слышания голосов сразу разделяет людей на сторонников и противников религиозного мистического опыта, то есть в конечном счете – религиозного мессионизма. Сама Жанна была не только настоящей патриоткой Франции, но и глубоко религиозной католичкой, по ее утверждению, она слышала голоса с 13 лет. Люди, не верящие в мистику и чудеса, будут неизменно утверждать, что факт слышания голосов означает психическую патологию [3, с. 63–64]. Такой подход разделяют большинство современных людей, в том числе большинство французов, являющихся сторонниками Жанны, и считающих ее национальной героиней Франции, но готовых рассматривать ее подвиг и смерть во имя спасения Франции только в контексте секулярного политического мессионизма. Факт слышания

¹ Позднее французские почитатели изменили ее фамилию на дворянский манер Д'Арк, чтобы приписать ей дворянское происхождение. Жанной, а не Жанет ее называли, когда она была в плену у англичан. Таким образом Жанет Дарк стала Жанной Д'Арк.



Жанной голосов особенно любят подчеркивать в наше время ее враги, в первую очередь англичане, в том числе даже желающие быть объективными английские историки не могут побороть этот соблазн [4, с. 135].

До сих пор англичане не могут преодолеть в себе неприкрытую ненависть к молодой девушке, которую они как своего главного политического врага купили у взявших ее в плен предателей-бургундцев по цене 10 тысяч золотых ливров (в то время это была обычная сумма для выкупа из плена королей) и казнили после абсолютно лицемерного и фарсового судебного процесса, где «...ей не разрешили иметь ни защитника, ни духовника» [4, с. 138], а судьями выступали французские коллаборационисты-богословы из Сорбонны, жившие на оккупированной англичанами территории Франции. Формально Жанну сожгли на костре за ношение мужской одежды, но она уже была обречена как только предстала перед вражеским судом.

Для французов – современников Жанны факт ее мистического опыта в виде слышания голосов святых и даже утверждение о ее Божественном призвании спасти Францию не вызывал никаких проблем. Народ Франции, стоящей на краю пропасти, жил только предсказаниями о чудесном спасении родины. В то время даже распространялось предсказание советника короля Артура, волшебника Мерлина, жившего в Британии тысячу лет назад, о том, что должна появиться девственница из Лотарингии, которая спасет Францию от вторжения англичан: «Из древнего леса выйдет Дева, чтобы спасти Францию». В это время народ обвинял в гибели Франции свою распутную королеву Изабеллу Баварскую, противопоставляя порочной женщине, сына которой, Карла, безумный король-отец объявил бастардом, непорочную Деву, посланную Богом [ср. 1]. Самое популярное пророчество того времени гласило: «Женщина погубила Францию, Дева ее спасет». Все французы в то время были совершенно согласны в одном – в том, что отныне только Бог может спасти Францию, даже если они говорили эти слова с иронией. Жанне поверили потому, что все ее предсказания сбылись.

Это казалось невероятным, но после появления Жанны на политической арене permanentные поражения французов в Столетней войне сменились неизменными военными победами. Даже ее смерть на костре не помогла врагам Франции, от такого сокрушительного удара английские оккупанты так и не смогли оправиться. Через два десятка лет после ее казни Франция вернула себе все территории, кроме порта Кале. Столетняя война закончилась победой Франции!

История Жанны Д'Арк представляет собой уникальный случай влияния религиозно мотивированного мессианизма на политическую и военную историю. Молодая девушка, называвшая себя Орлеанской Девой, нанесла своей жизнью и смертью смертельный удар по идее английского мессианизма, одновременно подняв на пьедестал мессианизм французский. В отличие от двух вышеупомянутых претендентов на мессианскую роль в средневековой политической истории – британского короля Артура и французского короля Людовика Святого – она воплотила в своей жизни как религиозный, так и политический мессианизм, обладая как святостью, так и военной успешностью.

Случай с ее святостью в истории Римско-католической Церкви тоже уникальный, поскольку она является единственной жертвой католической Церкви не просто реабилитированной, но и причисленной к лику святых. Но поскольку миссия Жанны находилась прежде всего в политическом, а не в религиозном измерении, то она была канонизирована Святым престолом не как христианская мученица, а как благочестивая христианка, исполнившая повеление голосов святых.

Но как ни парадоксально, факт ее сложных отношений с Римско-католической Церковью только добавляет ей во Франции страстных почитателей. Хотя большинство ее сторонников во Франции всегда составляли правые консервативные католики и монархисты,

среди ее симпатизантов всегда было много французских либеральных националистов и даже левых патриотов-социалистов.

Среди французских интеллектуалов – поклонников Жанны Д'Арк особенно интересна личность Шарля Пеги (1873–1914) – выдающегося французского поэта, драматурга и публициста начала прошлого века, бывшего одновременно как членом социалистической партии Франции и активным дрейфусаром, так и страстным патриотом и ярким сторонником французского мессианизма. Французский мессианизм для Пеги заключался не в военной экспансии Франции, а в долге Франции быть примером для других стран и народов любви и верности своей родине, справедливости и самопожертвования, а идеалом подлинного патриотизма, чести, правды и добра для уроженца Орлеана Пеги являлась Орлеанская Дева. Личность Жанны Д'Арк настолько очаровала его, что он посвятил ей долгие годы литературного труда. Уже в 1897 году, еще совсем молодым человеком, убежденный социалист и атеист Пеги пишет свою первую драму «Жанна Д'Арк», а еще через 13 лет непрерывной работы, в 1910 году, вышла в свет знаменитая пьеса Шарля Пеги «Мистерия о милосердии Жанны Д'Арк», популярность которой среди современников сразу сделала имя автора известным не только во Франции, но и во всей Европе. «Мистерия о милосердии Жанны Д'Арк» проникнута духом религиозного мессианизма. Под влиянием главного художественного персонажа сам автор переосмысливает свое отношение к религии: не принимая католический клерикализм, он становится верующим христианином, не являясь при этом практикующим католиком [7, с. 31–45]. Его воодушевляет как глубокая религиозность Жанны, так и ее конфликт с католическими клерикалами. Автор всей жизнью стремится подражать своей героине, вплоть до страстного желания по ее примеру умереть за родину, которое он осуществляет в сентябре 1914 года во время битвы на Марне в самом начале Первой мировой войны, являясь командиром взвода французской армии.

Среди обширной мировой литературы, посвященной Жанне Д'Арк, стоит также отметить значительное философско-историческое исследование русского эмигранта во Франции прошлого столетия, патриота и журналиста князя Сергея Сергеевича Оболенского (1908–1980), который так же, как и Шарль Пеги, потратил многие годы на изучение ее духовного феномена и значение ее личности для Франции, России и христианской цивилизации. Результатом многолетней работы С.С. Оболенского стала книга «Жанна – Божья Дева», вышедшая уже после смерти автора на русском языке сначала во Франции, а затем и в России. Данная книга – это уникальная работа о Жанне Д'Арк и религиозном мессианизме, изданная в оригинале на русском языке.

Случай Жанны Д'Арк является апогеем французского религиозного и политического мессианизма. Французский мессианизм существовал более 500 лет и принимал различные политические, социальные и культурные формы. При этом имела устойчивая выраженная тенденция постоянного и неуклонного угасания религиозных и мистических аспектов французского мессианизма вследствие секулярной ситуации во Франции и в Европе начиная с эпохи Просвещения. С середины XX века под влиянием европейской глобализации и постепенной утраты Францией политического суверенитета имеет место перманентное угасание французского мессианизма в целом. Тем не менее Жанна Д'Арк до сих пор является главной национальной идеей Франции и французов.

Литература

1. Басовская Н.И. Жанна д'Арк: Два года перед бессмертием [Электронный ресурс] // Прямая речь: лекторий, 2014. Режим доступа: https://www.pryamaya.ru/nataliya_basovskaya_zhanna_dark_dva_goda_pered_bessmertiem
2. Басовская Н.И. Столетняя война: леопард против лилии. М.: АСТ, 2010.
3. Блиźnieков В.Л. Святая националистка // Вопросы национализма. 2014. № 17.



4. *Норвич Дж.* Франция: Краткая история от Галлии до де Голля. М.: Колибри; Азбука-Аттикус, 2023.
5. *Оболенский С.С.* Жанна – Божья Дева. СПб.: Русская культура, 2013.
6. Песнь о Роланде // БВЛ. Т. 10: Песнь о Роланде; Коронование Людовика; Нимская телега; Песнь о Сиде; Романсеро / пер. с фр. Ю.Б. Корнеев. М., 1976.
7. *Тайманова Т.С.* Шарль Пеги: вступ. ст. // *Пеги, Шарль.* Наша юность: Мистерия о милосердии Жанны Д'Арк. СПб.: Наука, 2001.
8. *Talmon J.* Political Messianism – The Romantic Phase. New York: Praeger, 1961.

Аннотация. В статье исследуется проблема влияния религиозного мессианизма на политическую и военную историю. Делается вывод о большом значении религиозного и мистического опыта одной личности на формирование национальной идеи государства и народа.

Ключевые слова: Жанна Д'Арк, религиозный мессианизм, Франция, Англия, церковь, святость.

Vladimir L. Bliznekov, PhD in Philosophy, Associate Professor, Institute of Social Sciences, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. E-mail: vbliznekov@gmail.com

Saint Joan of Arc – the Symbol of French Religious Messianism

Abstract. In the article the author examines the problem of the influence of religious messianism on political and military history. The author concludes that the religious and mystical experience of one person is of great importance in the formation of the national idea of the state and the people.

Keywords: Joan of Arc, Religious Messianism, France, England, Church, Holiness.

Развитие, традиция, эволюция: археофутуристическая концепция Гийома Фая

Проблема развития занимает одно из ключевых мест в общественно-политическом и научном дискурсах. И на фоне очевидного кризиса как западных, так и не-западных моделей экономического и социально-политического развития (особенно показательны в этом отношении кризисные явления в КНР в последнее десятилетие – серьезные проблемы в строительной отрасли, ранее считавшейся локомотивом всей китайской экономики; нестабильность курса юаня; долги провинций, достигшие опасных значений; неоднозначные перемены в политико-управленческой сфере – Си нарушил традицию, по которой после смерти основателя КНР Мао никто не занимал должность председателя более двух сроков, усиливает роль коммунистической идеологии, государство все активнее вмешивается в экономику – это свидетельствует об отходе от модели 1980–2000-х годов, которая превратила Китай в мировую державу, а период пандемии COVID-19 показал, что в китайском обществе присутствует протестный потенциал, не говоря уже о перманентном латентном недовольстве Гонконга и Макао) актуальность этой тематики только возрастает. В научном отношении актуализация обусловлена отсутствием какого-либо доминирующего подхода к самому понятию «развитие», хотя этот концепт является одним из наиболее употребительных в научном дискурсе и его значимость в академической и экспертной среде только возрастает.

Между тем на фоне возникшего глубокого раскола между Россией и Западом на официальном уровне и в академической среде с обеих противоборствующих сторон усиленно продвигается идея отсутствия каких-либо общих идейных платформ, способных стать общим знаменателем. Это заблуждение [12]. Некоторые пласты консервативной мысли могут стать надежным фундаментом для конструктивного диалога по официальному и академическому трекам. И одной из таких недооцененных платформ является наследие французской философской правоконсервативной традиции, что с учетом особой роли Франции в истории и культуре России представляется особенно примечательным.

Современная политология и наука о международных отношениях не испытывают дефицита в словах, претендующих на статус терминов. Однако лишь малая их часть может выйти за пределы запоминающихся журналистских штампов, то есть может быть концептуализирована и операционализирована в эффективные эпистемологические инструменты. И здесь представляет интерес наследие французского мыслителя Гийома Фая (1949–2019) – автора недооцененного и «недоосмысленного». Он недостаточно вписан

Моисеев Дмитрий Сергеевич, кандидат философских наук, старший преподаватель НИУ «Высшая школа экономики». E-mail: dmoiseev@hse.ru

Артеев Сергей Павлович, кандидат политических наук, научный сотрудник ИМЭМО РАН. E-mail: artsp7@yandex.ru

Сигачев Максим Игоревич, кандидат политических наук, научный сотрудник ИМЭМО РАН. E-mail: maxsig@mail.ru



в академическую традицию как Запада, в том числе Америки [9], так и России и других политико-культурных ареалов. Его концепт «археофутуризм» [4] представляется здесь удачным примером. Однако археофутуризм, вошедший в лексикон изначально в политехнологическом контексте, необходимо переосмыслить в духе академической традиции.

Само понятие введено французским философом в одноименной работе «Археофутуризм. Мир после катастрофы: европейский взгляд» (1998). Фай определяет археофутуризм как «философский союз между аполлоническим и дионисийским, всегда противопоставлявшимся друг другу, а не деле друг друга дополняющими» [4, с. 66]. Согласно французскому мыслителю, архаика, под которой подразумевается «разделение гендерных ролей, передача этнических и народных традиций, духовности и организации духовенства, видимые и структурируемые социальные иерархии, поклонение предкам, инициатические обряды и испытания, восстановление органических сообществ» [4, с. 63], и футуризм, представляющий собой «фаустовский, дерзающий и искушаемый дух, стремящийся к новым формам цивилизации» [4, с. 64], в своем синтезе дадут возможность в полной мере использовать достижения технического прогресса и одновременно обрести традиционные ответы на сущностно важные вопросы в сферах персональной этики и социальной теории.

Отдельный интерес представляет симпатия Гийома Фая к современной России и его вера в то, что в «посткатастрофическом» будущем неизбежен геополитический союз между нашей страной и европейскими народами и образование на просторах Евразии нового глобального политического игрока – «Евросибири», построенной на археофутуристических ценностях.

Концепция Г. Фая в зарубежном и российском научно-философском дискурсе

Бельгийский интеллектуал и друг Гийома Фая, Робер Стекерс, так характеризует одну из ключевых интенций своего товарища: «Действительно, сама структура мира в глазах Фая по сути своей трагична и останется таковой несмотря на то, что христиане, постхристиане и сторонники естественного права выдают желаемое за действительное. Следуя по стопам Жюль Моннеро, систематически писавшего о “гетеротелии” (то есть о том факте, что человек обычно достигает цели, отличной от той, что он ставил перед собой в своих планах и мечтах), Фай постоянно доказывает мысль о том, что политические усилия, институциональные конструкции и препятствия, возведенные неуклюжими цензорами, в целях избежать “пересдачи карт”, в итоге всегда приведут к неудаче; но прежде чем произойдет это заслуженное исчезновение, начнутся волнения, истерики, возражения и предостережения, исходящие от тех, кто хочет, чтобы одни и те же правила оставались навсегда. На протяжении долгих веков это вызывает смех у дерзких реалистов, принимающих и утверждающих трагичность мира и конечность всего сущего» [14, р. 21].

Ввиду этого ницшеанство Фая принадлежит пространству между смешным и трагичным, а его критика современной западной цивилизации не имеет ничего общего с прогрессистскими идиллиями Маркузе и Руссо. Фаевское прочтение Ницше ведет к созданию довольно оригинального образа сверхчеловека – веселого и творческого, с особенным азартом игнорирующего и зачастую преступающего устоявшиеся общественные нормы. Сверхчеловек Фая является дионисийским *par excellence*. Подобного подхода французский интеллектуал придерживался и в отношении себя самого. Несмотря на трагический характер собственных пророчеств, он не терял присутствия духа и никогда не старался быть избыточно серьезным, позволяя себе мета-ироничное отношение, в том числе к себе самому и собственным бывшим соратникам по GRECE (Groupement de Recherche et

d'Études pour la Civilisation Européenne) – ассоциации, созданной во Франции в 1968 году различными антилиберально настроенными интеллектуалами, надеявшимися преодолеть морально устаревшее и дискредитировавшее себя наследие течений «старых правых».

По воспоминаниям Яна-Бера Тилленона, Фай был одновременно и мыслителем, и полемистом, и актером, способным сыграть любую роль, и радиоведущим, и в целом крайне разносторонней личностью. В своем образе мысли и жизни он ориентировался на древнегреческих философов и вдохновленный античностью отвергал мелкобуржуазные идеалы модерна с их убогой одномерностью. Во многом потому Фаю было сложно ужиться в одном коллективе с коллегами по GRECE – разрыв, помимо идейных причин, был обусловлен и разницей в темпераментах.

И все же французский философ тяжело переживал разрыв и то, что ему пришлось стать «чужим среди своих». Робер Стекерс в воспоминаниях о Фае в связи с этим вспоминает слова Пьера Виалю: «Его талант творил чудеса; возможно, даже слишком много чудес для тех надутых эгоистов, которых он непреднамеренно затмил... Как только “развод” с некоторыми иерархами “новых правых” стал неизбежным, это потрясло самые глубины его существа, хотя лишь немногие из нас тогда это осознавали. Это нанесло ему раны, которые так никогда и не были исцелены полностью» [13, р. 90]. Вместе с тем это никак не повредило наследию Фая – его оригинальная концепция археофутуризма, возможно, важнее прочего наследия французских «новых правых» ввиду того, что она предельно конкретно обозначает проблемы современного Запада и предлагает столь же конкретные и реалистичные пути их преодоления.

Другой друг Фая, известный французский писатель и историк провансальской культуры Пьер-Эмиль Блэрон, писал о философе: «Гийом Фай был настоящим пробудителем... Он будто пришел из “иного мира”, параллельного нашему, чтобы выполнить эту задачу. У подобных людей не бывает иных задач, кроме как передавать другим свои знания и свою энергию, и в итоге вся их жизнь сводится к этому акту передачи. Пробудители появляются в критические периоды истории, когда все переворачивается с ног на голову, и все ценности изменяются на противоположные, что вызывает у окружающих отчаяние. Для подлинного пробудителя его миссия всегда является более важной, чем собственный комфорт и интересы, да и в целом важнее собственной личности» [6, р. 99]. Блэрон также отмечает, что пробудитель не является гуру, но в то же время всегда задает своей жизнью образец для подражания и подает пример. Он практически всегда является реалистом – хотя иногда и может выглядеть мистиком и провидцем. Гийом Фай обладал всеми этими качествами. «Он был метеором, сжигающим свою жизнь в тысячах вспышек света. Действительно, метеор – иными словами, небесное тело, которое никогда не падает на поверхность земли и исчезает, как только сгорает» [6, р. 107], – вспоминает друга Блэрон.

Помимо этого, он был провокатором в хорошем смысле. Блэрон, вспоминая одно из выступлений Фая по телевидению, приводит его ответ на обвинение в провокативном поведении: «Разумеется, сама причина, по которой я нахожусь здесь, заключается в том, чтобы провоцировать; слово “провокация” происходит от латинского *“provocare”*, что означает побуждать других реагировать на вас, думать» [6, р. 101]. Фай никогда не пытался быть политкорректным и «сглаживать углы», потому некоторые его особенно радикальные мысли сложно даже упоминать. Вместе с тем, именно в этом заключался его метод радикальной мысли, который он методологически описал в «Археофутуризме» – искать новые формы и новые смыслы, не обращая внимания на сиюминутные требования конъюнктуры и политического момента. В этом смысле Фай очень близок к древнегреческим мудрецам, которыми он вдохновлялся и которым во многом подражал.

В связи с этим Пьер Могэ справедливо указывает: «Гийом Фай говорит о проблемных вопросах без обиняков, пусть и иногда прибегая к намеренным провокациям. По крайней

мере у него хватает смелости излагать факты, о которых другие предпочитают умалчивать, и он достаточно смел, чтобы начать дискуссию, которую все остальные с радостью постарались бы избежать. В осажденном Константинополе пять столетий назад местные священнослужители предпочли обсуждать пол ангелов, а не призывать людей готовиться к защите города; и никто никогда не смог бы обвинить Фая в том, что он не захотел последовать их примеру!» [11, р. 144].

Комментируя антисистемную философию Фая, направленную против современного левоглобалистского истеблишмента коллективного Запада, видный деятель мирового «нового правого» движения Пьер Кребс отмечает: «Следует признать, что у Системы все еще есть козыри в этой политической игре... Но чего стоят самые изощренные игры без козырей? На самом деле у нас нет ничего, кроме наших собственных идей, уверенности и воли, и, следовательно, не так много возможностей бороться против разрушающих сознание механизмов Системы, которая давит души и разрушает личности. И все же у нас все еще есть лучший козырь в распоряжении, туз из тузов, которого нет у них, и который они никогда не получают, потому что они затуманили собственные пути крови. Что касается нас, мы знаем, куда мы идем, потому что мы знаем откуда мы пришли» [10, р. 122].

Концепция Г. Фая уже рассматривалась отечественным исследователем Д.С. Моисеевым в докладе «Археофутуризм Гийома Фая: футурологический прогноз “справа”» [3]. Как отмечает автор доклада, рассматривая концепцию французского философа, видение будущего со стороны Гийома Фая вытекало из его скептических оценок современных социокультурных тенденций развития западного мира. По мнению Фая, современный Запад, вдохновленный эпохой Просвещения с присущими ей эгалитарно-индивидуалистическими принципами, не сможет выдержать конкуренции с более архаично ориентированными цивилизациями. Поэтому в целях выживания Запад сам должен обратиться к архаичным, досовременным, неэгалитарным слоям западноевропейской цивилизационной идентичности, сохранив при этом материально-техническое превосходство. Ставя цель очертить контуры возможного будущего и место цивилизации Запада в этом будущем, Фай как раз и предложил концепции археофутуризма, а также виталистического конструктивизма, сочетающие архаические ценности со стремлением к высокотехнологичному будущему [3, с. 63].

Политическая эволюция Гийома Фая в контексте французских «новых правых»: от 1968 к 1998

В России Фай известен прежде всего как автор концепции археофутуризма. Его книга была переведена на русский язык с большим запозданием – лишь в 2011 году Несмотря на это, идеи Фая при всей их противоречивости могут способствовать осмыслению политических реалий и проблем современности, а также выстраиванию жизнеспособных перспективных моделей развития будущего.

Фай долгое время ассоциировался с той школой мысли, которую в 1978 году французские СМИ назвали новыми правыми. Данная школа мысли представляла течение «панъевропейского идентитарного национализма». Французские «новые правые», в свою очередь, выросли из GRECE, о которой уже упоминалось выше. Молодые интеллектуалы неоправного толка стремились противостоять глобализации и американизации во имя защиты французской культуры [7, р. 5]. Они ставили перед собой цель не столько участвовать в практической политике, сколько влиять на культурно-метаполитическую сферу духа. Для «новых правых» исторически было важно утвердить свои идеи и ценности в области метаполитики, тогда как Realpolitik была для них вторична и имела не столь уж большое значение.

Фай присоединился к «новым правым» достаточно рано, еще в начале 1970-х годов, когда учился в аспирантуре считающегося элитным Парижского института политических исследований (SciencePo), где он писал диссертацию для получения степени доктора философии по политическим наукам. В течение 13 лет, с 1973 по 1986 год, Г. Фай считался одной из наиболее влиятельных фигур в GRECE помимо ее непосредственного лидера и идейного вдохновителя Алена де Бенуа. В тот период на мировоззрение Фая оказали сильное воздействие такие идейные течения контрлиберальной мысли как немецкая «консервативная революция» и интегральный традиционализм. Также он, как и другие философы круга «новых правых», увлекался индоевропейским наследием дохристианского язычества.

В 1986 году Г. Фай порывает с «новыми правыми», покидает ряды GRECE и вплоть до 1998 года работает в качестве журналиста. Выход в 1998 году его книги «Археофутуризм», обосновывающей необходимость поиска срединного пути между крайностями традиционализма и модернизма, в свою очередь, знаменует собой возвращение французского интеллектуала в социально-политическую философию.

Археофутуристическая концепция Г. Фая в контексте нового интегрализма

В работе «Археофутуризм» Гийом Фай пишет: «Идея этой книги состоит из трех логически связанных тезисов. Первый из них гласит, что современная цивилизация, порождение модернизма и эгалитаризма, достигла последнего пика своего развития и находится перед угрозой скорого глобального катаклизма по причине конвергенции катастроф» [4, с. 4]. Под «конвергенцией катастроф» французский философ подразумевает высокую вероятность одновременного развития военного, экологического, экономического и культурного кризисов (следует отметить, что ряд прогнозов Фая уже подтвердился).

Помимо прочего, концепция Фая примечательна реабилитацией этничности, этнического фактора. Под архаикой в рамках археофутуризма Г. Фай понимает в первую очередь возвращение к идее этноса. Этничность в археофутуризме, обеспечивающая единство старого и нового, – это изначальное «архе», которое понимается как источник традиции в греческом смысле, как некое вечное начало, лежащее в основе того или иного сообщества, общества.

Какое место занимает этнический фактор? Безусловно, он занимает ключевое место в археофутуристическом проекте будущего как возвращения к прошлому на новом витке. В связи с этим представляется возможным обратиться к уже вошедшим в академический и общественно-политический дискурс концептам, которые обретают новое звучание в текущих реалиях.

Археофутуризм как идея воплощает в себе стремление сочетать футуристические и архаические элементы (с точки зрения модернистов): высокие технологии, с одной стороны, и этноцентризм – с другой. Будучи выходцем из кругов французских «новых правых», воспринявших, в свою очередь, терминологию немецкой «консервативной революции» 1920–1930-х годов, Г. Фай считал понятие «консерватизм» недостаточным. Консерватизм как термин, с его точки зрения, ассоциируется с антидинамичными и устаревшими феноменами, поскольку необходимо не просто консервировать настоящее или возвращаться к недавнему прошлому, а стремиться по-новому обрести и осмыслить наиболее архаичные корни как фундамент для уверенного движения в будущее. Символом желаемого соединения научно-технического прогресса и архаизма для него могло стать примирение таких противоположных полюсов итальянского социально-философского дискурса как футурист Ф.Т. Маринетти и радикальный традиционалист-антимодернист Ю. Эвола [4, с. 5].



Подчеркивая бесплодность противопоставления традиционалистов и модернистов, французский мыслитель рассматривал археофутуризм как попытку избежать этих крайностей. К традициям следует подходить выборочно и избирательно. Кризис же современного общества, в свою очередь, требует выработки нового языка и новых понятий, поскольку в стремительно меняющемся мире с его новыми, постоянно возникающими угрозами лишь идейно-мировоззренческое творчество способно преодолеть косность устаревших доктрин [4, с. 6].

Своих бывших единомышленников по лагерю «новых правых» из группы GRECE Фай критиковал за идеологическую окаменелость, а также за культурную приверженность прошлому, его сентиментализацию и ностальгию по ушедшим эпохам [4, с. 19]. Таким образом, позиция мыслителя, выраженная через концепцию археофутуризма, заключается в том, что традиционализм не должен сводиться к ретроградству и реакционности, а модерн может обойтись без тотального отрицания прошлого.

Чтобы проиллюстрировать эту мысль, приведем ряд цитат Фая, который писал: «...ошибка – слишком сильный акцент на фольклоризме и чрезмерный культ корней. Душа европейской творческой культуры не в маленьких пирамидках из обожженной глины, не в раскрашенной мебели из Шлезвиг-Гольштейна, бретонских капорах или наивных деревянных скульптурах скандинавских фермеров. Она скорее в Реймском соборе, двойной спиральной итальянской лестнице в Замке Шамбор, рисунках Леонардо да Винчи, комиксах Либераторе и брюссельской школы, дизайне Феррари и немецко-франко-скандинавских ракетах “Ариан-5”. Сведенная к простому фольклору, европейская культура обесценивается и падает до уровня “примитивного искусства”» [4, с. 27–28]. И далее он продолжает: «Огромное множество текстов о европейских “традициях”, зачастую связанных с позабытыми или мифическими народными обычаями, заставляют нас забыть о главном вопросе: самоутверждении современной европейской культуры, нависших над ней геодемографических угрозах и потребности в реконкисте [4, с. 28].

Подытоживая суть концепции археофутуризма, внятного («отдельного стоящего») определения которому сам автор в своей книге не дает, можно отметить, что она сводится к необходимости синтеза традиций и новаций как ключа к преодолению навалившихся на человечество и в первую очередь на Запад экзистенциальных проблем. Под традицией (архаизмом) Фай понимает обращение к «первоначальным импульсам», то есть утраченным ныне паттернам функционирования западных обществ, связанных с этничностью, религией и «античной политической родословной». Футуризм же означает приверженность идее «планирования будущего» на основе научно-технологического прогресса. Таким образом, археофутуризм как синтез архаизма и футуризма означает модель цивилизационного развития Запада путем облачения своей глубинно-исторической идентичности в современную научно-технологическую оболочку.

К числу экзистенциальных проблем Запада автор относит эгалитаризм и засилье культуры политкорректности, комплекс миграционных, этнорелигиозных и демографических сложностей, кризис национального государства. По мнению Фая, Запад нуждается в реабилитации этнического как нормального, необходимого и даже ключевого звена своей идентичности. В этой связи можно привести следующую цитату Фая: «...идеологическая ошибка: симпатия к странам третьего мира. Я сам ее испытывал и хочу заняться самокритикой. Эссе Алена де Бенуа “Европа и Третий мир: одна и та же битва” (Europe – Tiers-monde, même combat), важнейшая работа на эту тему, и мои статьи о том же, вышедшие в начале 80-х, были вызваны неверно направленным антиамериканизмом и привели в идеологический и стратегический тупик, который беспокоил меня с тех самых пор. Все народы в истории ведут свою войну – любой альянс носит временный характер. Помимо этого, само понятие “третий мир” потеряло смысл. Перед нами Китай, Индия, будущая

мусульманская империя... “Третьего мира” не существует. Симпатия к третьему миру, служившая нам неуклюжей заменой антирасизма, игнорирует реальную историю: иммиграционное и геополитическое давление Юга на Север. Более того, эта несправедливая симпатия к странам третьего мира сопровождалась сбивающей с толку и наивной происламской позицией, которую мы все приняли, в то время как на самом деле арабо-мусульманский мир стал представлять собой объективную, агрессивную, реваншистскую и серьезную угрозу Европе, ставшей “землей для завоевания”» [4, с. 29–30].

По мнению Фая, этническая идентичность (вместе с конфессиональной) «коренных» жителей западных государств, осознанная как позитивная ценность и возвращенная в статус традиции, в свою очередь позволит преодолеть вызовы и угрозы западной цивилизации и создаст предпосылки для реализации проекта Большой Европы с участием России.

Один из последователей археофутуристической концепции в статье «Гийом Фай и археофутуризм» отмечает, что философия археофутуризма стала кульминацией стремлений Фая соединить вечные европейские архетипы со своим видением будущего. «По своей сути археофутуризм – это решение Фаем проблемы дихотомии между прославленным прошлым Европы и ее будущим. Отнюдь не считая их противоречивыми сферами, Фай представлял себе плавное слияние обеих. Это философия, которая призывает Европу одновременно черпать вдохновение в греко-римском, языческом и средневековом наследии и в то же время с энтузиазмом относиться к технологическому и научному прогрессу. Представьте себе город Рим в археофутуристической парадигме Фая: Колизей, некогда символ имперского величия, может быть превращен в экологически чистую арену, где в виртуальной реальности воспроизводятся исторические события. На площади Пьяцца Навона могут появиться скульптуры, интегрированные с передовыми технологиями, где барочные конструкции дополняются современными интерактивными или световыми элементами. Даже в Ватикане можно было бы сохранить древние писания с помощью неинвазивных технологий, предоставив ученым со всех уголков мира голографический доступ к рукописям в режиме реального времени. По сути, Рим стал бы живым музеем, воспевающим свое прошлое и одновременно процветающим мегаполисом с развитой технологической инфраструктурой. Видение Фая не было ограничено географическими или временными рамками. Вспомним учебные заведения Оксфорда или Кембриджа. В археофутуристической обстановке исторические залы будут по-прежнему наполнены мудростью предков. Однако студенты могут использовать дополненную реальность для просмотра шекспировских пьес или инструменты искусственного интеллекта для углубления в платоновские диалоги. Представьте себе систему обучения, усовершенствованную искусственным интеллектом, в которой педагогика Сократа или Аристотеля адаптируется и персонализируется для каждого студента, обеспечивая сочетание классических и современных образовательных технологий» [8].

Безусловно, Фай – правый радикал и в большей мере политический практик, чем теоретик. И его видение не выглядит внутренне непротиворечивым и четко логически аргументированным. К тому же после начала СВО 24 февраля 2022 года идея геостратегического блока между Европой и Россией утратила свою актуальность, что не означает бесперспективности рефлексии в рамках идеи Глобального Севера: Россия – Европа – Северная Америка (прочно вошедший в обиход и ученых, и политиков концепт «Глобального Юга» по сути своей дихотомичен и методологически не может не коррелировать с Глобальным Севером).

Следует отметить, что внимание Фая к этническому фактору в конце 1990-х годов, в период торжества глобализации, оказалось востребованным сегодня. Уже спустя 10–20 лет после выхода его книги именно этничность стала генератором разделений в обществах многих стран: политическая экспансия ультраправых и ультралевых



движений и партий в ЕС; BLM, Трамп и трампизм в США; официальный старый-новый «антиколониальный» дискурс властей в России («англосаксы») и новое прочтение «русскости» и неоднозначная реакция на него. Этничность стала политизированным феноменом, а этнизация – дальнейшим катализатором смешения внутренней и внешней политики до степени неразличения.

Этнические кейсы: этноконфессиональные миры

Возрождение этничности проявляет себя многообразно. Помимо внутривнутриполитических процессов (широкое возвращение этничности в том или ином виде в официальную политическую повестку, широко распространенный и на Западе, и в России антииммигрантский общественно-политический дискурс), наблюдается формирование и возрастание роли транснациональных политических пространств, которые представлены в двух типах. Первый тип – хорошо известные интеграционные объединения, которые отличает глубокая институализация и формализация. К этому типу относятся, например, ЕС, АСЕАН, ЕАЭС. Второй тип – своеобразная альтернативная интеграция – часто не воспринимается в качестве значимого феномена, но его роль в политике набирает обороты. И среди них все более заметными становятся этномыры как пространства, формируемые акторами, вектор активности которых основан на этнической и сопряженных с ней идентичностях (языковой, религиозной, постимперской). Они слабоинституционализированы и в меньшей степени обусловлены территориальным фактором. В качестве примеров можно привести Тюркский мир (этнический и конфессиональный фактор как направляющие), Арабский мир (этноконфессиональная и лингвистическая общность), Португальский мир (лингвистические, конфессиональные и исторические/постимперские основания).

Помимо собственности и этничности, представляется также целесообразным подчеркнуть особую важность лингвистического фактора, поскольку феномен языка можно рассматривать как органический синтез традиций и новаций, ведь в языках сохранение наследия предыдущих поколений сочетается с отражением новых реалий технологического прогресса, начиная с промышленных революций и заканчивая цифровой трансформацией. Арабский мир опирается на общий язык в не меньшей мере, чем на ислам. Диаспоральные миры тоже часто опираются на язык как главный фактор сохранения своей культурной идентичности. Идея негативного англосаксонства, активно продвигаемая в российском официальном дискурсе в 2020-х годах, тоже в своей основе опирается на такую реальность как Англосфера – сообщества стран и мировой сети диаспор, для которых английский язык выполняет идентификационную функцию.

В результате получается, что этничность возвращается в мировую политику на новом витке в качестве движущей силы и приводит к формированию новых субъектов, новых политических слоев, которые усложняют политическую формулу современности.

В целом модель этномиров и лингвомиров отчасти перекликается с идеей этнорегиональных блоков Фая. В целом прогностическая модель разделения мира на макрорегиональные структуры обрела новое дыхание с началом масштабной конфронтации между Западом и частью не-Запада в ходе проведения Россией СВО и американо-китайских торговых войн, хотя Фай предлагал создать устойчивый альянс Европы и России в рамках идеи Евросибири, что в чем-то перекликается с идеями одного из столпов мировой политики XX века Шарля де Голля. Этничность в мирополитическом контексте 2020-х годов проявляет себя в попытке не-Запада отстоять свою политическую субъектность с опорой на этнокультурный фактор и на негосударственных акторов (Русский мир, стремление Китая укрепить свою всемирную сеть диаспор, отказ от глубокой адаптации новых поколений арабо-мусульманских общин на Западе). Этнокультурный фактор, с одной стороны,

архаичен и возвращает нас во времена до Вестфальской политической модели мира (хотя там этничность была вторична относительно религиозной принадлежности), с другой – футуристичен, потому что «преодолевают» рамки национального государства и двигает нас к пост-Вестфальской архитектуре мироустройства, где государство по-прежнему важный, но все менее монопольный по своим возможностям субъект политической жизни. Мир пост-Вестфалья – это мир сложно переплетенных политических идентичностей, в которых гражданство лишь одно из многих.

Страновые кейсы: Индия, Япония, Саудовская Аравия

Прикладные примеры валидности прогноза Гийома Фая относительно археофутуристского характера XXI века наблюдаются в различных странах мира. Наиболее наглядно синтез традиционного и технологического проявляется в Индии, Японии и Арабском мире.

Индия, которой с 2014 года руководит Нарендра Моди, лидер правой Бхаратиya джаната парти (БДП), ведущей консервативную и националистическую политику в духе «хиндута», демонстрирует значительные успехи на пути технологической цифровизации городов и деревень, привлечения иностранных инвестиций, развития малого и среднего бизнеса, строительства современной транспортной инфраструктуры [15]. В то же время одним из важнейших приоритетов политики Моди является культурный национализм, сохранение индуистского наследия. Яркой демонстрацией этого подхода является поддержка БДП в качестве кандидата на пост главного министра штата Уттар Прадеш жреца храма Шивы Йоги Адитьянатха в 2017 году [16]. Йоги выиграл выборы, возглавив крупнейший штат в стране, и, по сообщениям политологов, рассматривается в качестве одного из претендентов в преемники Моди на посту главы государства [17].

Япония, разгромленная по итогам Второй мировой войны и потерявшая свою империю, во второй половине XX века возродилась как экономический и технологический лидер региона. В 1950-х годах темпы роста ВВП Японии достигали 14,9%, в 1960–1970-х норма частичного производственного накопления составляла в среднем 18,2% ВВП [2]. Несмотря на структурный кризис японской экономики в 1990-х годах, страна остается одним из мировых лидеров, поставляя инновационные технологические продукты. Во многом успехи Японии объясняются синтезом футуристической устремленности к новым высотам технического совершенства и национальных традиций – в частности, принципа гармонии «ва», чувства долга («гири»), принципа наставничества, интегрированного в японскую систему хозяйствования принципа «участвующего управления».

Значительный вклад в археофутуристское *настоящее* Японии внесли национальные подходы к образованию, которые формировались с VII века н.э. [5]. В эту систему интегрированы элементы конфуцианства и буддизма (в обоих учениях познание считается безусловным благом). Вместе с тем, ввиду принципа «вакон-есай» («японский дух, западные знания»), японцы начиная с эпохи Мэйдзи (вторая половина XIX – начало XX века) были открыты для технологической модернизации, осуществленной ускоренно и централизованно. Этот принцип остался в силе и после Второй мировой войны, дополненный подходом «до:токуке:ику» («моральное воспитание»), позволяющим воспроизводить японский национальный дух и характер даже в условиях современного глобального мира.

Помимо этого, необходимо отметить, что, несмотря на парламентскую структуру управления страной, Япония сохранила институт монархии и успешно передает из поколения в поколение уникальную духовную традицию – синтез местного язычества (синто) и буддизма, который из века в век скреплял нацию.



Археофутуристский характер имеет и динамика трансформаций арабского мира в конце XX – начале XXI века, наиболее ярким примером которых являются перемены, происходящие в одном из лидеров региона – Королевстве Саудовская Аравия. Суннитская теократия, управляемая семьей Аль Сауд на принципах абсолютной монархии, в 2021 году поднялась на 16-е место в мире по объему ВВП [1], в 2022 году стала мировым лидером по темпам экономического роста (8,9%) [18]. Саудовская Аравия, обладая 24% разведанных мировых запасов нефти и развитой нефтеперерабатывающей промышленностью (национальная нефтяная компания Saudi Arabian Oil Group (Saudi Aramco) является одной из крупнейших в мире), стремительно становится крупнейшим региональным финансовым центром и имеет амбиции стать мировым лидером в сфере финансов, инвестирует в развитие технологий и строительство инфраструктуры.

Вместе с тем, будучи местоположением священной для мусульман Мекки – колыбели ислама, Саудовская Аравия в принципах организации общества и его норм строго руководствуется религиозными положениями. Улемы (религиозные лидеры) имеют консультативные полномочия по всем проектируемым изменениям законодательства, суды руководствуются в первую очередь нормами шариата, регулирующими все аспекты повседневной жизни подданных саудовского короля. Система исполнения наказаний Саудовской Аравии в значительной степени игнорирует глобалистские предписания, сохраняя во многом традиционный характер (распространены такие виды наказаний, как отсечение кисти, наказание плетью и проч.).

Таким образом, Индия, Япония и Саудовская Аравия являются яркими примерами того, как принципы археофутуризма, сформулированные Гийомом Фаем, применяются в XXI веке. Неевропейские государства, культурам которых в целом чужды теоретические наработки Просвещения, руководствующиеся принципами национальных культурных норм, а также религиозными установками, достигают значительных успехов в международной конкуренции и динамично развиваются, не пренебрегая новейшими технологиями и разработками западной науки, в то же время сохраняя приверженность собственным оригинальным подходам к государственному строительству и не только сберегая собственное культурное наследие, но и черпая в нем дополнительный ресурс для развития в направлении лучшего будущего.

Спустя почти 30 лет после публикации первого издания «Археофутуризма» мы ясно видим проблему, о которой предупреждал Фай, – левоглобалистский, культурно-марксистский дискурс, являющийся наследником Просвещения и универсалистских подходов, постепенно терпит крах, являясь не ресурсом Запада, а его приговором. Не-западные общества сегодня тоже сталкиваются с мощными вызовами (упомянутый выше Китай), однако в большей мере склонны искать выход из тупика в своих традициях.

Таким образом, в контексте проблематики оптимального соотношения традиций и новаций ради выработки новой модели мирового развития концепция археофутуризма, предложенная французским философом Гийомом Фаем в конце 1990-х годов и понимаемая как гибридное мировоззрение, стремящееся к балансу традиций и инноваций, представляет интерес и с академической, и с политико-практической точек зрения. Фай предвидел переход/возврат мира к не-государственным форматам (макрорегионы, цивилизации), в которых политическое становится во все меньшей мере связано с национальным государством, неформализованное догоняет по значимости формализованное, старое перестает быть синонимом ненужного, а будущее не отрицает прошлого.

Литература

1. Абдалла И. Al-Eqtisadiah: Саудовская Аравия поднялась на 16-е место по объему ВВП // Arab Inform: The International Journal of Arab Studies. 29.05.2022. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://arabinform.com/news/al_eqtisadiah_saudovskaja_aravija_podnjalas_na_16_e_mesto_po_obemu_vvp/2022-05-29-3890
2. Блохина А. Традиции на благо японской экономики // Мировое и национальное хозяйство. 2011. № 1 (16) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://mirec.mgimo.ru/2011/2011-01/tradicii-na-bлаго-yaponskoj-ekonomiki?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
3. Моисеев Д. С. Археофутуризм Гийома Фая: футурологический прогноз «справа // Революция и эволюция: модели развития в науке, культуре, социуме: Труды III Всероссийской научной конференции. М.: Русское общество истории и философии науки, 2021. С. 63–67.
4. Фай Г. Археофутуризм. Тамбов: Ex Nord Lux, 2011. 256 с.
5. Харса А.Н. Традиции в современной системе образования Японии // Вестник СГУПС. 2013. Вып. 29. С. 158–163.
6. Blairon P.-E. Guillaume Faye, an Awakener of the Twenty-First Century // Krebs P., Steuckers R., Blairon P.-E. Guillaume Faye. Truths&Tributes. London: Arktos, 2020. P. 96–109.
7. Faye G. Archeofuturism: European Visions of the Post-Catastrophic Age. London: Arktos, 2010. 249 p.
8. Hoffmeister C., von. Guillaume Faye and Archeofuturism. Arktos [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://arktos.com/2023/08/10/guillaume-faye-and-archeofuturism/>
9. Kao WC. Identitarian politics, precarious sovereignty // Postmedieval. 2020. No. 11. P. 371–383. DOI: 10.1057/s41280-020-00202-8
10. Krebs P. Guillaume Faye's Gun-Like Quill // Krebs P., Steuckers R., Blairon P.-E. Guillaume Faye. Truths&Tributes. London: Arktos, 2020. P. 117–123.
11. Mangué P. Should Guillaume Faye Be Lynched? // Krebs P., Steuckers R., Blairon P.-E. Guillaume Faye. Truths&Tributes. London: Arktos, 2020. P. 142–147.
12. Moiseev D.S., Kharin A.N., Sigachev M.I., Arteev S.P. Conservative Values as a Bridge between Russia and the West // Russia in Global Affairs. 2023. Vol. 21, No. 3 (83). P. 38–60. DOI 10.31278/1810-6374-2023-21-3-38-60. – EDN AKMQWW.
13. Steuckers R. Farewell, Guillaume Faye, After Forty-four Years of Common Struggle // Krebs P., Steuckers R., Blairon P.-E. Guillaume Faye. Truths&Tributes. London: Arktos, 2020. P. 37–95.
14. Steuckers R. Guillaume Faye's Contribution to the 'New Right' and a Brief History of His Ejection // Krebs P., Steuckers R., Blairon P.-E. Guillaume Faye. Truths&Tributes. London: Arktos, 2020. P. 9–36.
15. Калинин А., Кедровская И. Открывая Индию: феномен развития и перспективы для сотрудничества. [Электронный ресурс] // Московская школа управления Сколково. 2023. 2 октября. Режим доступа: <https://www.skolkovo.ru/expert-opinions/otkryvaya-indiyu-fenomen-razvitiya-i-perspektivy-dlya-sotrudnichestva/>.
16. Скосырев В. Моды сделал ставку на Йоги // Независимая газета. 2017. 23 марта. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.ng.ru/world/2017-03-24/8_6957_india.html
17. Щедров И.Ю. Выборы в штате Уттар-Прадеш: правящая партия Индии укрепляет позиции [Электронный ресурс] // ИМЭМО РАН. Актуальные комментарии. 2022. 23 марта. Режим доступа: <https://www.imemo.ru/publications/policy-briefs/text/vibori-v-shtate-uttar-pradesh-pravyashtaya-partiya-indii-ukreplyaet-pozitsii>
18. Церазов К. Саудовская Аравия: строительство глобального финтех-хаба [Электронный ресурс] // Forbes. Экспертиза. 2023. 11 ноября. Режим доступа: <https://blogs.forbes.ru/2023/11/24/saudovskaja-aravija-stroitelstvo-globalnogo-finteh-haba/>

Аннотация. В статье рассматривается концепция археофутуризма французского философа Г. Фая. В условиях кризиса моделей развития она может стать ключом для разрешения конфликтов и формирования альтернативных оснований для устойчивого диалога противоборствующих сторон, а также выстраивания адаптивных механизмов для обществ по всему миру. Археофутуризм – это не только поиск актуального в прошлом вместо автоматического отрицания Традиции как культурно-идентитарной преемственности, передачи культурной идентичности из поколения в поколение, но и синтез традиционных моделей этики с футуристическим мышлением, открытость к новым технологическим прорывам. Г. Фай выступал за геополитический союз России и европейских народов, что следует из его концепции Евросибири.

Ключевые слова: развитие, альтернативы развития, археофутуризм, Фай, традиция, Запад, кризис.

Dmitry S. Moiseev, PhD in Philosophy, Senior Lecturer, "Higher School of Economics" National Research University. E-mail: dmoiseev@hse.ru

Sergey P. Arteev, PhD in Political Science, Research Worker, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations of the Russian Academy of Sciences. E-mail: artsp7@yandex.ru

Maksim I. Sigachev, PhD in Political Science, Research Worker, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations of the Russian Academy of Sciences, Russia. E-mail: maxsig@mail.ru

Development, Traditions, Evolution: Guillaume Faye's Archeo Futuristic Concept

Abstract. In the article the authors examine the archeo futuristic concept of the French philosopher Guillaume Faye. Under the development models crisis the concept may become the key to conflict resolution and formation of alternative grounds for sustainable dialog between opposing sides, as well as building adaptive mechanisms for societies around the world. Archeo futurism means not only the search for the vital issues in the past instead of total negation of Traditions as cultural and identitarian continuity and passing the cultural identity from generation to generation, but also the synthesis of traditional ethical models with futuristic thinking and openness to the newest technological achievements. G. Faye was a proponent of possible alliance between Russia and European people which follows from his Eurosiberia concept.

Keywords: Development, Alternatives of Development, Archeo Futurism, Faye, Tradition, West, Crisis.

Французские легитимисты в оппозиции, 1830–1873

Ключевой вопрос для идейно-политической истории Франции XIX века – вопрос о форме правления: монархия или республика? Если монархия, то какая: традиционалистская «милостью Божьей» или либерально-парламентская? Если республика, то какая: красная, якобинская, социалистическая или умеренно-буржуазная, консервативная? Или, наконец, авторитарная диктатура? Для эпохи турбулентности 1830–1879 годов вопрос о политическом устройстве был, пожалуй, ключевым для определения левый – правый в идейно-политическом спектре.

Однако правый, монархический лагерь до полноценного утверждения республиканской формы правления в 1880-х годах также не был монолитен, в нем выделялись разные группировки и политические оттенки в зависимости от симпатий к той или иной династии. Если в годы Реставрации (1814–1830) размежевание в правом лагере проходило скорее по линии ультрароялисты (сторонники неограниченной власти монарха, тесного союза между тронном и католической Церковью, последователи теорий Ж. де Местра и Л. де Бональда, а также устроители «белого террора» 1815 года) versus умеренные или даже либеральные монархисты (при этом все сторонники династии Бурбонов, это обстоятельство никогда не ставилось под вопрос), то после Июльской революции 1830 года, сбросившей с престола династию Бурбонов, в монархическом лагере появляются новые водоразделы. Отныне возникают два непримиримых лагеря – правивших в 1830–1848 годах либеральных монархистов, или, как их называли, орлеанистов (по названию младшей ветви Бурбонов, династии Орлеанов, которым они присягнули) и оппонировавших им справа легитимистов. Позже к ним на правом фланге добавятся еще и бонапартисты – сторонники воцарения во Франции Луи-Наполеона Бонапарта, племянника Наполеона I, и династии Бонапартов.

Французские легитимисты – политическая группировка, которая образовалась сразу после свержения короля Карла X с французского престола в ходе Июльской революции 1830 года и традиционно поддерживавшая старшую ветвь Бурбонов. В период Июльской монархии (1830–1848) на правом фланге они оппонировали орлеанистам – таким же сторонникам наследственной монархии, однако поддерживавшим младшую ветвь Бурбонов – династию Орлеанов и их представителя Луи-Филиппа Орлеанского, ставшего в 1830 году «королем баррикад».

Если в годы Реставрации либеральные монархисты выступали как прогрессивная сила, боровшаяся против власти за гражданские свободы, то после утверждения Июльской монархии, орлеанизм стал приобретать «охранительные» черты, полностью отказавшись от углубления реформистского курса. Вместе с тем к 1830-м годам многие легитимисты в свою очередь отказались от ультрароялистского дискурса периода Реставрации, который



никак не соответствовал историческому моменту. Это произошло в том числе и потому, что они увидели, что парламентаризм как политический институт может им быть полезен как площадка для усиления своего влияния.

Таким образом, по мере некоторой либерализации взглядов многих легитимистов и некоторого поправления взглядов правивших либералов, своеобразного консервативно-либерального синтеза возникла известная идеологическая общность двух монархических группировок. Главным камнем преткновения по-прежнему оставался важный династический вопрос.

В 1883 году эта «схизма» в лагере монархистов между легитимистами и орлеанистами наконец прекратилась в связи со смертью бездетного графа Шамбора (1820–1883) – внука Карла X. Тогда его двоюродный брат и внук Луи-Филиппа Орлеанского, граф Парижский (1838–1894), стал единым претендентом на трон от монархического лагеря. Конечно, в окружении графа Шамбора нашлись убежденные противники младшей династии Орлеанов, которых считали предателями за то, что в 1830 году последние согласились занять трон вместо «незаконно» свергнутого Бурбона, а также за то, что двоюродный брат Людовика XVI герцог Луи Филипп Жозеф Орлеанский, взявший имя Филипп Эгалите (то есть в переводе Филипп Равенство), проголосовал в Конвенте времен Французской революции конца XVIII века за казнь Людовика XVI. Поэтому эти роялисты присягнули на верность испанской ветви Бурбонов, не желая иметь ничего общего с Орлеанами, но таковых были единицы [26, р. 3].

В отечественной историографии французские легитимисты традиционно находились в тени. Интерес к правым группировкам в политической жизни Франции возник по объективным причинам лишь в постсоветский период, но распространился только на либералов и орлеанистов [5, 7]. Легитимистов обычно воспринимали как ретроградов, живших безвозвратно утраченным прошлым и мечтавших о реставрации Старого порядка во Франции. Внимание в отечественной историографии, за редким исключением, они не получили [4, 6].

Отношение к России может служить определенным водоразделом между орлеанистами и легитимистами. Если первые однозначно осуждали авторитарную и «лишенную свобод» Россию Николая I, то вторые относились к ней скорее благосклонно и снисходительно. Легитимисты видели в Луи-Филиппе узурпатора и последовательно отказывались сотрудничать с режимом Июльской монархии. Поэтому Россия представлялась им некой отдушиной, где священный принцип престолонаследия неукоснительно соблюдался. Россию они считали государством, где царит порядок и прочный социальный мир – неотъемлемые признаки успешного правления. Для них николаевская Россия виделась островком стабильности и служила антитезой хаотической Июльской монархии, где правил незаконный «король баррикад». В то же время необходимо подчеркнуть, что благосклонное отношение к России не являлось общим местом для всех французских легитимистов. Многие из них, будучи убежденными католиками, осуждали подавление Россией польского восстания 1831 года, ведь там пострадали их братья по вере [28, р. 24].

Понимая, что легитимизм как исторический феномен и идейно-политическое течение – явление многогранное и комплексное, в настоящей статье автор решил сконцентрироваться на проблеме политической вовлеченности группировки легитимистов в период, когда последняя находилась в оппозиции после утраты престола Бурбонами в 1830 году. Отметим, что данная статья задумывалась как общий очерк о развитии политического легитимизма во Франции.

После неудачного восстания в Вандее, на западе Франции, предпринятой герцогиней Беррийской в 1832 году, стало понятно, что силовое решение проблемы возвращения на престол Бурбонов было невозможно. Тогда же возник ключевой для легитимистов

вопрос: как вести себя по отношению к ненавистному режиму Июльской монархии – инкорпорироваться в политическую жизнь этого режима, то есть участвовать в парламентских выборах, или занять выжидательную реваншистскую позицию и не участвовать в легальном политическом процессе.

Известно, что сразу после Июльской революции 1830 года подавляющее большинство чиновников, преданных Бурбонам, не захотело служить Орлеанам и подало в отставку. Так, во «внутреннюю эмиграцию» (по замечанию Дельфины де Жирарден) [18, р. 335] отправились 156 королевских судей, 172 пэра, 52 депутата нижней палаты парламента, а также многочисленные префекты и супрефекты, добровольно сложившие с себя полномочия [15, р. 446–464]. Этим удачно воспользовались новые власти – они провели массовую административную чистку, заменив всех ответственных административных работников в столице и на местах на преданных новому режиму выдвиженцев. Так, из 86 префектов только три остались на своих местах, а из 277 супрефектов только 33 сохранили свои посты. Семьдесят четыре генеральных прокурора и поверенных в делах, а также 254 королевских прокурора и их заместители были уволены [19, р. 665–701].

В первые годы Июльской монархии (1830–1832) легитимисты не верили, что новый режим окажется устойчивым, и придерживались скорее конспиративной тактики. Однако после провала довольно нелепой попытки восстания герцогини Беррийской легитимистская «партия» [автор сознательно берет в кавычки слово «партия», поскольку в описываемый период классических партий в современном смысле этого слова не существовало, а были скорее политические группировки с размытыми подчас границами – И.И.] во Франции оказалась в достаточной степени дискредитирована. Необходимо было вернуть доверие французов к традиционной монархии.

В условиях цензовой монархии (1814–1848) в первую очередь следовало перетянуть на свою сторону ту часть буржуазии, которая не видела преимуществ легитимизма перед формировавшейся в те годы орлеанистской идеологией и практикой. Кроме того, европейские великие державы признали новый режим, а сама Июльская монархия оказалась на удивление живучим организмом, успешно отражавшим атаки как слева, так и справа. Таким образом, возникло два подхода: во-первых, консервативный либерализм адвоката Пьера-Антуана Берье (1790–1868), стремившегося примирить все лагеря монархистов и видевшего в участии в парламентских выборах ключ к возвращению Бурбонов на трон, и, во-вторых, «популистский роялизм» редакторов легитимистской газеты «Gazette de France» Антуана-Эжена де Женуда, или, как его называли, аббата де Женуда (1792–1849) и барона Жака Оноре де Лурдуаэ (1787–1860).

П.-А. Берье хотел привлечь большинство избирателей на сторону роялистов. Поскольку правые либералы-орлеанисты стояли на позициях социального консерватизма, и это обстоятельство объединяло их с легитимистами, то Берье выступал против попыток некоторых легитимистов на юге Франции создать предвыборные союзы с республиканцами там, где позиции орлеанистских кандидатов считались слабыми. Очевидно, своими главными врагами Берье видел не либералов-орлеанистов, а республиканцев, ставивших задачу уничтожить монархический строй. Берье полагал, что такая неразумная тактика была по самим легитимистам, так как умеренные слои буржуазии, будучи потенциальными союзниками легитимизма, могли увидеть в легитимистах врагов социального порядка, стремившихся подорвать устои государственности. По мысли Берье, средний класс стал наиболее жизнеспособным и могущественным элементом французского общества, но он был разделен между непримиримыми революционерами и здравомыслящими гражданами, которые «прежде всего были привязаны к идеям порядка и боялись революций» [20, р. 418–419].

П. Берье настаивал на том, что легитимисты должны позиционировать себя не как антисистемная сила и выступать пугалом буржуазии, а как политическая группа, настроенная использовать исключительно законные методы вовлеченности в политический процесс, а именно институт парламентаризма. Таким образом, чтобы рассчитывать на альянс с буржуазией, легитимистам следовало модернизировать свою политическую программу, осуществить синтез идей традиционного консерватизма и классического либерализма, и тем самым отказаться как от идей ультрароялистов периода Реставрации во Франции (1814–1830), так и от возможного союза с республиканцами на юге Франции. Необходимо было создать широкую либерально-консервативную платформу, в которой легитимисты смогли бы отодвинуть орлеанистов. Следовало убедить буржуазию (именно за ее голоса шла в то время основная политическая борьба), что возвращение Бурбонов на трон не угрожает историческим завоеваниям Французской революции 1789–1799 годов. Как подчеркивал Берье, «чем более жестокой становится республиканская партия, тем больше людей почувствуют, что они могут избежать установления республики только с нашей помощью» [21, р. 117–118, 338, 355–356, 372–373].

В лагере легитимистов существовала и другая группировка, которая была категорически не согласна ни на какой, даже тактический компромисс с орлеанистами. Эта линия проводилась «Движением за право нации» (*"Mouvement du droit national"*), группировавшимся преимущественно вокруг легитимистской газеты *"Gazette de France"* и ее редакторов – аббата де Женуда и Оноре де Лурдуаё. Если либеральный консерватор Берье был готов признавать плюрализм мнений и опирался в первую очередь на институты парламентаризма, то группа, объединившаяся вокруг *"Gazette de France"*, была категорически не согласна идти на любой компромисс с режимом Июльской монархии и его политическими принципами. Вместе с тем эта группа была настроена действовать решительно, считая, что политическая отстраненность означала автоматическое поражение движения, поскольку не приближала Карла X к трону и не делала его более популярным, нежели Луи-Филиппа.

Аббат де Женуд и Оноре де Лурдуаё считали, что монархия Бурбонов была гораздо популярнее орлеанистского режима и могла быть восстановлена простым воззванием к народу в обход парламентских процедур, игравших на руку либеральной буржуазии, от которой, по их мнению, французский народ уже устал. В отличие от Берье аббат Женуд считал, что копирование британских политических институтов не приведет к победе легитимизма. Он настаивал, что легитимистская «партия» должна сосредоточить свои усилия на завоевании народной любви в провинциях. Это можно будет сделать с помощью тактических союзов с левыми силами, а также за счет агитационных кампаний за проведение избирательной реформы наподобие той, что была проделана католиком Дэниелем О'Коннелом в Ирландии. В 1832 году *"Gazette de France"* выступила за право голоса для всех французов старше двадцати пяти лет, которые постоянно жили в стране и платили прямые налоги [27, р. 109–110]. К 1839 году Женуд уже призывал к всеобщему избирательному праву для мужчин [33, р. 50–51; 34, р. 153–155].

Разнобой в подходах к Июльской монархии в лагере легитимистов был связан с тем, что со стороны изгнанного двора Карла X не было никаких четких указаний и инструкций, как действовать. Свергнутый Карл X формально позволил каждому легитимисту во Франции иметь свободу политического маневра и самостоятельно решать, участвовать в политической жизни Июльской монархии или нет. Тем не менее ближайшее окружение Карла X было настроено не вмешиваться в политический процесс во Франции и поджидать удобного случая для возвращения Бурбонов в родную страну.

Первые трудности не заставили себя долго ждать. Несмотря на определенный успех во время парламентских выборов 1834 года (так, если в 1831 году в палату депутатов было

избрано всего три человека, то в 1834-м уже двадцать девять), вялость и инертность группировки легитимистов привела к тому, что в 1837 году представительство в нижней палате парламента снова сократилось, теперь до двадцати одного депутата, а в 1839-м немногим улучшилось – удалось провести двадцать четыре человека. На местном уровне дела обстояли еще хуже – так, к 1839 году в генеральных советах легитимистам удалось заполучить только 229 мест из 2405 [19, р. 665–701]. После парламентских выборов 1839 года П. Берье был вынужден признать, что в партии легитимистов все еще господствовали «застарелая ненависть» и аристократические предрассудки, которые делали ее неспособной к примирению [21, р. 270–271].

Известно, что в промежутке с 1836 по 1844 год герцог Ангулемский (1775–1844), ставший претендентом на трон от Бурбонов после смерти своего отца Карла X в 1836 году, создал во Франции целую сеть роялистских комитетов для координации деятельности легитимистского «подполья», но новая тактика центра не оказала серьезного влияния на политическую жизнь либеральной монархии. После кончины герцога Ангулемского его племянник и новый законный претендент на трон граф Шамбор снова предоставил легитимистам свободу действий, отказавшись от единого руководства группировкой, вернувшись, по сути, к базовым настройкам [21, р. 368].

Это позволило нотаблям-легитимистам самим определять предвыборную тактику, и на юге Франции, в Провансе и Лангедоке стали возникать тактические союзы с республиканцами. Принесшие клятву верности Бурбонам епископы юга Франции считали, что политические обстоятельства важнее этических норм, и потому не препятствовали созданию таких причудливых предвыборных блоков левых и правых радикалов, хотя, безусловно, некоторые представители духовенства сомневались в разумности сотрудничества с антиклерикальными силами. Тем не менее в годы Июльской монархии союз республиканцев и легитимистов укрепил их позиции на юге Франции [17, р. 124–133; 37, р. 253].

Февральская революция 1848 года окончательно покончила с роялистско-республиканским альянсом, выставив на первый план острые социальный и религиозный вопросы. Угроза создания красной неоякобинской республики и замаячивший призрак социализма сплотил ряды консерваторов – многие легитимисты и орлеанисты готовы были хотя бы на время позабыть о своих династических предпочтениях, сплотиться и дать отпор левым радикалам.

В то же время можно заключить, что накануне революции 1848 года легитимистская оппозиция была по-прежнему плохо организованной, у нее отсутствовал единый центр принятия решений; она не была в полной мере монолитной, поскольку существовали различные подходы. Тем не менее можно сказать, что признанным лидером «партии» во Франции все-таки по праву считался Берье. Он был видным адвокатом и отличным оратором, что особенно ценилось в те годы. П.В. Анненков, находившийся в конце 1840-х годов в Париже, отмечал: «Берье, знаменитый оратор легитимистской партии, принимал поздравления в ложах от дам за речь, произнесенную им в это же утро в палате против права взаимного осмотра кораблей державами: тут он изверг хулу на англичан и поднял бурю. Но и Гизо, отвечавший ему, стоил поздравлений: его ледяная речь рядом с огненной импровизацией Берье, захватила энтузиазм палаты и остановила его» [1, с. 56]. Впрочем, П.В. Анненков не уделял большого внимания в своих письмах легитимистам, по всей видимости, не считая их какой-либо значимой политической силой.

Между тем к концу 1840-х годов граф Шамбор стал символом единства для нового поколения легитимистов, не ассоциировавших себя с прошлыми испытаниями консерватизма. Молодое поколение легитимистов было уверено в популярности Шамбора. Благодаря газетам и контролю над различными благотворительными обществами легитимисты заняли выгодное положение в органах местной власти, создали сеть хорошо

финансируемых избирательных комитетов, которые сыграли свою роль в период Второй республики [39, р. 73].

Расхождения в легитимистской «партии» между сторонниками либерально-консервативного синтеза Берье и популизма аббата Женуда усилились в период Второй республики. Это привело к первой серьезной попытке графа Шамбора обозначить идеологию и осмыслить политическую тактику. Введение всеобщего избирательного права во Франции в 1848 году оказалось не так страшно, как поначалу показалось легитимистам, поскольку, как отметил американский исследователь С. Кэйл, им удалось использовать преимущества своего социального положения и тем самым обеспечить себе значительное представительство в Учредительном собрании и генеральных советах [19, р. 665–701].

Поскольку большинство легитимистов, баллотировавшихся в парламентские учреждения в 1848–1849 годах, были настроены либерально, то они выступали за сближение с орлеанистами. Парламентская группировка легитимистов видела свою задачу в создании консервативного парламентского большинства, способного восстановить монархию на основе союза двух ветвей династии – Бурбонов и Орлеанов. Влияние либеральных легитимистов, таких как П. Берье и графа А. де Фаллу (1811–1896), означало, что свержение республики должно проходить строго через парламентские процедуры. Иного мнения придерживались легитимисты-популисты во главе с маркизом Анри де Ларошжакленом (1805–1867), который выступал за реставрацию монархии через прямое обращение к народу и таким образом выступал идейным наследником подходов аббата де Женуда. Ларошжаклен считал, что парламентские игры и тактические союзы поставят под угрозу целостность роялистских принципов и вынудят графа Шамбора создать режим в орлеанистском духе.

«Движение за право нации» делало все возможное, чтобы расстроить наметившийся союз между существенной частью легитимистов, думавших о порядке, и орлеанистов. В своих газетах эта группировка нещадно клеймила сторонников «партии порядка», образовавшейся из «комитета на улице Пуатье», как вероотступников, «вероломных» предателей, «пожертвовавших принципами». Кроме того, участники «Движения за право нации» старались дезорганизовать местные избирательные комитеты либеральных легитимистов на юге Франции. В марте 1849 года в противовес умеренно-консервативному «комитету на улице Пуатье» члены «Движения за право нации» создали «комитет улицы Дюфо», который стремился внести раскол в лагерь легитимистов и отдалить их от «партии порядка» [15, р. 446–464]. Подобные действия всякий раз подрывали веру орлеанистов в возможность полноценного союза с легитимистами.

Президентская избирательная кампания 1848 года только усилила разобщенность в легитимистской партии и затруднила сотрудничество между либеральными легитимистами и орлеанистами. В лагере легитимистов все больше стала набирать популярность их излюбленная тактика абсентеизма – сознательного отказа от политического участия [29, р. 65]. После долгих колебаний «партия порядка», включавшая в себя различные группировки орлеанистов и легитимистов, выступила в поддержку кандидатуры Луи-Наполеона Бонапарта [36, р. 117–121]. Однако создать широкий фронт поддержки единого кандидата на президентских выборах ей все же не удалось. Более того, влиятельные легитимисты-парламентарии Берье и Фаллу призвали своих единомышленников вообще воздержаться от участия в выборах. Напротив, «Gazette de France» поддержала кандидатуру Луи-Наполеона Бонапарта и была твердо убеждена, что французский народ не только глубоко монархичен по своей сути, но и презирает парламентские институты. В издании считали, что необходимо следовать демократической и популистской риторике, и тогда успех легитимистскому движению будет обеспечен.

Раскол в среде легитимистов постепенно усиливался. В то время как из примерно ста пятидесяти легитимистов, избранных в Национальное собрание в 1849 году, большинство принадлежали к «партии порядка», сторонники прямого призыва к народу проводили энергичную кампанию на юге Франции, стремясь посеять зерна раздора между союзом легитимистов-парламентариев и орлеанистов. Они организовывали шумные демонстрации под лозунгами «Да здравствует Генрих VI! [так в случае коронации называли бы графа Шамбора – И.И.]», критиковали «предательские» интриги «партии порядка», создавали альтернативные избирательные комитеты, выступали с демократическими и антиорлеанистскими требованиями. Вместе с тем в парламенте представители этого течения блокировались с левыми радикалами. Так, популистская группировка Ларошжаклена проголосовала против антидемократического закона о выборах в мае 1850 года, оппонируя тем самым, казалось бы, родственной «партии порядка» [15, р. 446–464].

В августе 1850 года граф Шамбор издал Висбаденский циркуляр, ставший своеобразной вехой в движении легитимизма. В нем он осудил «систему, известную как призыв к народу», и попытался ограничить свободу парламентской фракции либеральных легитимистов. Вместе с тем граф Шамбор заверил орлеанистов в том, что готов отречься от популистских лозунгов и призвать к порядку свою непослушную группировку. Наиболее значительным событием, произошедшим на съезде легитимистов в Висбадене, можно считать, по сути, отречение Шамбора от «Движения за право нации». Как вспоминал маркиз де Ларошжаклен, «меня исключили из всех политических разговоров... пренебрежительное отношение, которому я подвергся, поразило каждого наблюдателя... выводы, которые все сделали, были очевидны. Я больше не мог питать никаких иллюзий; мне пришлось проглотить свое унижение» [15, р. 446–464]. Как следствие, Ларошжаклен получил выговор, а Берье, Фаллу и еще пятеро либеральных легитимистов были включены в специально созданный директорат из двенадцати членов, в котором доминировали ближайшие помощники графа Шамбора. Таким образом, Висбаденский циркуляр помог сократить свободу маневра легитимистов-парламентариев и до определенной степени дисциплинировать легитимистов-популистов.

Однако добиться примирения с орлеанистами, переставшими доверять легитимистам как надежным партнерам, в полной мере не удалось. С одной стороны, влиятельный орлеанист Адольф Тьер и группа его единомышленников в «партии порядка» выступали резко против слияния с Бурбонами, справедливо указывая на реакционно-абсолютистские намерения графа Шамбора. С другой стороны, политики-орлеанисты отмечали, что депутаты-легитимисты несвободны, вынуждены всякий раз подчиняться приказам из-за рубежа, а значит, их заявления о верности принципам народного суверенитета и парламентского большинства могут быть ложными [22, р. 55; 28, р. 338–345].

Любопытно, что государственный переворот Луи-Наполеона Бонапарта 2 декабря 1851 года не встретил бурного протеста в рядах легитимистов. Так, соратник П. Берье Дени Бенуа д'Ази (1796–1880) вспоминал, что депутаты-легитимисты «не хотели начинать гражданскую войну, чтобы восстановить республику, которую каждый из нас считал временной и невозможной». Более того, по его словам, переворот «привел к ослаблению и уничтожению красного призрака, который так долго наводил ужас во Франции» [25, р. 564–588]. То есть они ассоциировали будущего Наполеона III с ценностью порядка. В любом случае легитимисты не сделали ничего, чтобы препятствовать утверждению во Франции династии Бонапартов [19, р. 665–701].

Вопрос об участии в политической жизни сразу после государственного переворота снова расколол лагерь легитимистов. С одной стороны, руководящий центр – Комитет двенадцати – предложил вернуться к политике абсентеизма. С другой стороны, одна из фракций легитимистов считала наступивший момент удачным, чтобы окончательно разделаться



с республиканцами, дабы те больше не поднимали головы. Тем более что Папа Римский Пий IX лично поддержал государственный переворот, а католические вожди партии, такие как Шарль де Монталамбер (1810–1870), прямо указывали французам, что «голосовать против Луи Наполеона – значит потакать социалистической революции» [31, р. 170].

Во время первых выборов в Законодательный корпус в феврале 1852 года П. Берье настаивал на том, что легитимисты не могут оставаться в стороне от остальной нации. По его мнению, сторонники графа Шамбора должны были сохранить влияние на местах, которое они приобрели после Февральской революции 1848 года. Что касается присяги на верность императору, которую депутаты должны были приносить, то Берье не рассматривал ее как «серьезное препятствие для чьей-либо совести». Более того, в разговоре с другим либеральным легитимистом Венсаном д'Одрен де Кердрелем он даже заметил, что присяга была «большим надувательством», придуманным администрацией, чтобы парализовать оппонентов [22, р. 181, 199–203].

Постепенно, по мере укоренения Второй империи, граф Шамбор все больше склонялся к политике абсентеизма. Так, в апреле 1852 года легитимистам было рекомендовано воздержаться от участия в выборах и покинуть государственные посты. В июне 1852-го это уже звучало как приказ. Наконец, в октябре 1852 года граф Шамбор издал манифест, в котором сообщалось, что восстановление империи не принесет французам ни свободы, ни порядка.

Однако убедить уйти в отставку тех легитимистов, которые к октябрю 1852 года занимали те или иные посты, оказалось трудной задачей. В годы Второй республики (1848–1852) довольно много легитимистов было избрано в муниципальные и генеральные советы или стало мэрами, судьями, советниками на местах. Они были убеждены, что такая тактика сможет обезопасить французские регионы от опасного влияния республиканской «партии». Этим объясняется, что в 1851–1852 годах было гораздо меньше отставок, чем в 1830 году [19, р. 665–701].

В 1850-х годах префекты Наполеона III сообщали о том, что местные нотабли-легитимисты не только сами игнорировали электоральные процессы в стране, но и использовали все свое влияние, чтобы отговорить крестьян, работавших на их участках, участвовать в выборах. Бывало и так, что легитимисты поддерживали оппозиционных кандидатов, но эти случаи были редкими. Либерально настроенные легитимисты, опечаленные безынициативностью претендента на трон графа Шамбора, писали друг другу письма о предполагаемой смерти легитимистской «партии» [16, р. 195]. С другой стороны, в период авторитарной Империи объективно было не так много возможностей для политической самореализации.

Главной же проблемой в те годы было существование внушительного числа легитимистов, открыто присоединившихся к Второй империи. В условиях, когда реставрация монархии казалась слишком иллюзорной, желание защитить порядок и католицизм побудило многих легитимистов поддерживать новый политический режим. Действительно, ряд видных легитимистов примкнули к режиму Империи, среди них можно выделить маркиза де Пасторе, Анри де Ларошжаклена, герцога де Грамона, Артура де ла Героньера, ставшего государственным советником Наполеона III и сенатором [24, р. 107–113]. В целом режим Второй империи благосклонно относился к симпатизировавшим властям легитимистам, обещая видным их представителям должности в системе государственного управления или престижные места при дворе. Отметим, что из всех оппозиционных партий легитимистское движение меньше всего подвергалось различным преследованиям со стороны авторитарного полицейского режима Наполеона III, в отличие от, скажем, республиканцев.

Бонапартистская администрация делила легитимистов периода Второй империи на три категории: собственно «легитимисты», «умеренные легитимисты» и «присоединившиеся

легитимисты». Эта градация вполне точно передавала степень готовности к сотрудничеству с наполеоновским режимом [37, р. 116–131].

Серьезные подвиги произошли в конце 1850-х – начале 1860-х годов, когда католики разочаровались в бонапартистской политике, особенно в Италии, и потому начали задумываться о более активной политической позиции. Как раз в это время легитимисты решили вернуть в свои ряды католическое движение, воспользовавшись сложившейся политической конъюнктурой. В начале 1860-х годов легитимисты выступали не только против бонапартизма, но также против либерального орлеанизма. Поэтому они не хотели, чтобы католики, недовольные решением итальянского вопроса и положением Папы Римского, сблизилась с орлеанистами.

Таким образом, в конце 1850-х годов маркиз Рене де Бельваль (1837–1900) воссоздал журнал *“La Revue contemporaine”* («Современное обозрение»), призванный интеллектуально объединить католиков, легитимистов, а заодно и по возможности орлеанистов. Бельваль хотел этим решением составить конкуренцию престижному орлеанистскому и, скорее, антиклерикальному изданию *“Revue des Deux Mondes”* [10, р. 185–186].

Накануне парламентских выборов 1863 года либеральные легитимисты, такие как Берье и Фаллу, изъявили готовность присоединиться к Либеральному союзу – широкой оппозиционной коалиции, состоявшей из либералов-орлеанистов, республиканцев и католиков, выступавшей за восстановление гражданских свобод и парламентского правления. Постепенная либерализация режима, начавшаяся в эти годы, убедила либеральных легитимистов в том, что Законодательный корпус можно использовать как площадку для воздействия на общественное мнение в стране.

В прошлом легитимисты уже создавали политические союзы. Во-первых, в июне 1834 года на юге Франции были созданы причудливые коалиции между консерваторами-легитимистами и левыми республиканцами, прежде чем произошел раскол, оформившийся в 1846 году. Во-вторых, альянс с консервативной фракцией орлеанистов зародился в 1836–1837 и 1841–1842 годах, а затем полностью материализовался в 1848–1849 годах в начале Второй республики. Наконец, в-третьих, в 1844–1845 годах был заключен избирательный пакт с «католической партией» Монталамбера и его сторонниками на парламентских выборах в августе 1846 года [12, р. 45–60, 258–288].

Создание широких коалиций на основе объединений тактических политических союзов встречалось крайне редко. Можно вспомнить, например, коалицию, организованную накануне парламентских выборов 1839 года против правительства Луи-Матье Моле, к которой примкнули легитимисты. Кроме того, до Июльской революции, когда легитимизма как такового еще не существовало, в ноябре 1827 года возникла широкая и одновременно крайне разношерстная коалиция против правительства Жан-Батиста Виллеля, олицетворявшая причудливое сочетание левых и правых сил [35].

Во время парламентских выборов 1863 года кандидатам от легитимистской «партии» фактически пришлось вести избирательную кампанию тайком в связи с тем, что граф Шамбор не давал на это своего разрешения. Это поставило легитимистов в неловкое положение. Примечательно, что на этих выборах легитимистам, представлявшим Либеральный союз, пришлось вести борьбу с «присоединившимися» – примкнувшими к режиму Второй империи легитимистами, которых бонапартистская администрация выставляла в качестве официальных кандидатов на местах. Так, например, в Тулузе мэр города и легитимист Кампаньо при горячей поддержке министра внутренних дел Виктора де Персиньи обошел на выборах орлеаниста Шарля де Ремюза, на которого делал большую ставку Либеральный союз; местные легитимисты голосовали преимущественно за проправительственного Кампаньо вместо оппозиционного Ремюза [32, р. 160–161].



Кроме того, орлеанисты и республиканцы начали подозревать А. де Фаллу в том, что в Серге-ан-Анжу, где политик обладал значительным влиянием, он, сняв свою кандидатуру, стал тайно поддерживать официального кандидата властей, тоже легитимиста, но присоединившегося к Империи, вместо оппозиционного кандидата от либеральной оппозиции. Такая амбивалентность Фаллу негативно сказалась для него во время следующей избирательной кампании в 1869 году, когда уже его самого не избрали в его же избирательном округе [14, р. 172–178].

Таким образом, самоуспокоенность многих легитимистов, с одной стороны, и предательство иных, перешедших на сторону Империи, – с другой, подрывало хрупкое взаимодействие в лагере антибонапартистов. Легитимисты стали казаться другим участникам Либерального союза ненадежными партнерами. С другой стороны, в 1860-х годах возник новый серьезный вызов – республиканизм. Отметим, что на выборах в Законодательное собрание 1869 года республиканцы наотрез отказались вступать в какие-либо союзы с монархистами – не только с легитимистами, но также и с орлеанистами и не прогадали – по итогам выборов республиканская «партия», избравшая своей политической платформой радикальную Бельвильскую программу 1869 года, имела большой успех. Фактический разрыв республиканцев с легитимистами произошел гораздо раньше, уже в 1863 году [37, р. 116–131].

Неудивительно, что на выборах 1863 года легитимистская «партия» как оппозиционная сила полностью провалилась. Единственным светлым пятном можно считать победу П. Берье в Марселе. Поэтому политическая активность легитимистов в 1860-х годах во многом сводилась к политическим речам П. Берье в Законодательном корпусе, который в силу преклонного возраста уже не мог проявлять большую энергию [13, р. 21]. Кончина Пьера Берье в ноябре 1868 года серьезно ослабила положение легитимистов на шахматной политической доске: лишившись своего ключевого парламентария и признанного патриарха движения, легитимистская «партия» подошла к парламентским выборам 1869 года крайне дезорганизованной и ослабленной [37, р. 116–131].

Смертью П. Берье, олицетворявшего компромиссный путь развития роялистского движения и широкую коалицию с либералами и республиканцами, воспользовалась фракция непримиримых легитимистов, считавшая даже умеренно либеральных легитимистов предателями. Накануне выборов 1869 года эта группировка сделала все, чтобы похоронить Либеральный союз, и такая тактика предопределила окончательный разрыв легитимистского лагеря с орлеанистами и республиканцами. Расхождение выразилось, в частности, в том, что в Нанте непримиримые легитимисты помогли обеспечить унижительный разгром вдохновителя и создателя Либерального союза либерала и орлеаниста Люсьена-Анатolia Прево-Парадоля (1829–1870).

Выдвинув своего кандидата-легитимиста барона де Ларенти, оттянувшего на себя часть голосов консервативного лагеря, вместе с официальным кандидатом от бонапартистов и представителем республиканцев, избравшихся на этих выборах по отдельным спискам, они обернули поражение Прево-Парадоля в демонстративное политическое унижение, которое консервативный литературный критик Эдмон Бире в своих мемуарах метко охарактеризовал «Ватерлоо Либерального союза» [11, р. 346–350]. Отказ от тактических союзов с другими политическими группировками в тех обстоятельствах был равносителен отказу от победы на национальном уровне. Союз с кандидатами-католиками традиционно был недостаточным для победы даже на уровне департаментов.

Политика изоляционизма, по всей видимости, была избрана легитимистами в конце 1860-х годов в связи со смертью П. Берье, старавшегося играть роль миротворца и примирять разрозненные монархические группировки. Однако такая тактика не позволяла играть роль арбитра между бонапартистами и республиканцами, тем более что раскол в лагере

роялистов болезненно ударил по всем группировкам. Разделение на непримиримых и присоединившихся в лагере легитимистов стало еще более заметным [23, р. 476].

После провала на выборах 1869 года легитимистская «партия» оказалась на развилке истории: поддержать наметившуюся либерализацию Империи и тем самым как бы одобрить имперский политический режим или снова вернуться к политике абсентеизма, как это было в 1850-х годах. Невзирая на очередное указание графа Шамбора и авторитетное мнение «*Gazette de France*» воздержаться от участия в политической жизни страны, весной 1870 года большинство легитимистов поддалось общественным настроениям и предпочло ответить «да» на плебисците 8 мая 1870 года, таким образом, встав на сторону императора французов [9, р. 489]. Это показало, что, с одной стороны, находившийся в изгнании граф Шамбор и его двор фактически не контролировали легитимистов, проживавших во Франции, а с другой – то, что со смертью Берье в лагере легитимистов не появилось такой же харизматичной личности, которая могла бы контролировать и координировать деятельность всего движения во Франции. Таким образом, к моменту краха Второй империи движение казалось сильно ослабленным и по-прежнему не было монолитным.

Франко-прусская война 1870–1871 годов и сентябрьская революция 1870 года радикализировала и французское население. В условиях тотального разочарования в бонапартистах, втянувших французов в проигранную войну, и страха перед «красной угрозой» Национальное собрание, избранное в феврале 1871 года, оказалось промонархическим. Из 630 депутатов 400 были роялистами [30, р. 2]. Сплочению рядов монархистов в 1870-х годах служило то, что удалось достичь негласного соглашения между Бурбонами и Орлеанами. Поскольку пятидесятилетний граф Шамбор был бездетным, это означало, что граф Парижский в силу своего более юного возраста (он был на восемнадцать лет моложе) станет официальным наследником графа Шамбора и сможет управлять Францией после смерти Генриха V. Это обстоятельство предопределило слияние орлеанистов и легитимистов в 1870-х годах, решающую роль и значение правых группировок в политике первых лет Третьей республики и как следствие – политику «морального порядка».

В 1873 году монархическое Национальное собрание подготовило почву для легального и, казалось, бескровного провозглашения во Франции монархии с Генрихом V во главе, однако известная история с отказом претендента на трон от Бурбонов смириться с французским триколором похоронила надежду роялистов на реставрацию монархии во Франции [2, с. 126]. Маршал Франции Патрис де Мак-Магон, сменивший умеренного орлеаниста А. Тьера на посту президента в мае 1873 года, так и не стал французским Джорджем Монком для Генриха V.

Ф.М. Достоевский оценивал события 1873 года как фарс. В журнале «Гражданин» 17 сентября 1873 года он писал: «Самая горячая и многочисленная из этих партий тотчас же начала действовать с странною, ничем не оправданною верою в свои силы. Но легитимисты и особенно клерикалы всегда так действовали, во всю последнюю историю Франции. Началось тогда, как и всегда у легитимистов и клерикалов, с полного презрения к общественному мнению: притеснение печати, сборищ, преследования начались тотчас же. <...>. Но в том-то и дело, что и в несомненность авторитета графа Шамборского никто, кроме легитимистов, не может серьезно верить. Конечно, теперь всё, решительно всё может случиться, и даже Шамбор может въехать в Париж на белом коне... но не более как на два дня, да единственно только в том случае, если маршал Мак-Магон положит в избирательную урну свой маршальский жезл. <...>. Из всех легитимистов самые нетерпеливые, нетерпимые, самые горячие и самонадеянные и самые оторванные от почвы – это клерикалы, духовенство» [3, с. 181–183].

По справедливому мнению русского писателя, французские легитимисты были оторваны от реальности: «С графом Шамборским ведутся представителями монархических



партий самые деятельные переговоры, – точно всё дело только в нем и в его согласии. О мнении нации никто из них ничего не думает. Да так и должно быть: чистые легитимисты, по крайней мере, всегда отрицали Францию и доказали это вполне, исторически... Чрезвычайно комично начинает выступать фигура и самого графа Шамборского! Кажется, он тоже вполне уверен, что всё дело в одном только его согласии идти царствовать и стоит лишь ему согласиться, как вся Франция тотчас же станет перед ним на колени <...>. Он ничего не решил, но есть слухи, что вот как будет: нация (Национальное собрание) явится к нему вручать корону и об знамени не скажет ни слова, и вот тут-то он возьмет и подарит Франции сам столь дорогое ей трехцветное ее знамя, в виде милости на радостях. Об конституции он выразился, что если старую хартию (1814-го года), с которой уже раз приходили Бурбоны (то есть был уже прецедент), изменить каплею сообразно теперешним обстоятельствам, то, кажется, этого будет довольно. Разумеется, в таком случае всеобщая подача голосов, столь дорогая французам (впрочем, неизвестно почему, ибо более нелепого изобретения, конечно, никто не может указать даже из всех нелепостей, бывших в нашем веке во Франции), устраняется. Но до Франции какое ему дело? Сомнения нет, что граф Шамборский возвращается во Францию с самою святою уверенностью осчастливить ее и верит, что осчастливит; но возвращение его чрезвычайно похоже, в мечтах его, как бы на возвращение благодетельного помещика в свою деревню» [3, с. 183–185].

Подведем некоторые итоги. С самого начала оппозиционной деятельности в лагере легитимистов образовалась линия на слияние с монархическими группировками, и был обозначен курс на сотрудничество с действовавшей властью. Проводником этой политики был П. Берье. Он с самого начала хотел сделать легитимистскую «партию» системной силой, вписанной в существовавший режим и пользующейся всеми преимуществами парламентаризма. Можно считать эту группу сторонниками «классового подхода», потому что главными врагами они видели левых радикалов, республиканцев, и, очевидно, считали династический вопрос не столь существенным по сравнению с социальным антагонизмом. Краткий период Второй республики только актуализировал тему порядка, традиционно значимую для легитимистов. Это, по-видимому, объясняет, что многие легитимисты увидели в Наполеоне III свой политический идеал – своеобразную фигуру «спасителя» Франции и католической церкви и присоединились к новому режиму, забыв о своих клятвах верности претенденту на трон от Бурбонов графу Шамбору.

В то же время в легитимистском лагере наблюдалась и другая тенденция – после неудачного восстания 1832 года на западе Франции превратить правых роялистов в анти-системную силу, готовую блокироваться с любыми противниками действовавшей власти, например, с республиканцами.

Вместе с тем отличительной слабостью легитимистской «партии» было постоянное ожидание некой реакции из заграничного центра – королевского двора в изгнании. Это, в частности, ослабляло союз с орлеанистами в годы Второй республики и Второй империи, поскольку орлеанисты справедливо считали, что легитимисты не свободны в своих политических действиях. У орлеанистов такой зависимости от графа Парижского никогда не было, очевидно, в силу того, что они всегда рассматривали свои отношения с монархом как договор, контракт между нацией и королем и потому были самостоятельны в своих решениях. Это выгодно отличало группировку орлеанистов от легитимистов-традиционалистов, присягнувших на верность своему монарху милостью Божией.

Литература

1. Анненков П.В. Парижские письма. М.: Наука, 1983. 626 с.
2. Антюхина-Московченко В.И. Третья республика во Франции. М.: Мысль, 1986. 486 с.
3. Достоевский Ф.М. Иностранные события / Ф.М. Достоевский // Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 21. Л.: Наука, 1980. С. 180–248.
4. Игнатченко И.В. Консерваторы и либералы во Франции 30–40-х гг. XIX в.: уточнение понятий // Очерки по истории стран европейского Средиземноморья: К юбилею заслуженного профессора МГУ имени М.В. Ломоносова Владислава Павловича Смирнова / под общ. ред. Л.С. Белоусова. СПб.: Алетейя, 2020. С. 85–95.
5. Игнатченко И.В. Становление политических взглядов А. Тьера // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 2009. № 6. С. 22–34.
6. Таньшина Н.П. «Третье издание Вандеи», или заговор герцогини Беррийской 1832 года // Новая и Новейшая история. 2020. Вып. 1. С. 22–43; [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://nni.jes.su/s013038640008185-1-1/>
7. Таньшина Н.П. Франсуа Гизо: политическая биография. М.: МПГУ, 2016. 364 с.
8. Французский либерализм в прошлом и настоящем / отв. ред. В.П. Смирнов. М.: МГУ, 2001. 204 с.
9. Anceau É. Napoléon III, un Saint-Simon à cheval. Paris: Tallandier, 2008. 752 p.
10. Belleval R., marquis de. Souvenirs de ma jeunesse. Paris: Émile Lechevallier, 1895. 432 p.
11. Biré E. Mes souvenirs (1846–1870). Paris: Jules Lamarre, 1908. 387 p.
12. Changy H. de. Le mouvement légitimiste en France sous la monarchie de Juillet: 1833–1848. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2004. 424 p.
13. Chesnelong C. Les derniers jours de l'Empire et le gouvernement de M. Thiers. Paris: Perrin, 1932. 245 p.
14. Correspondance d'Alfred de Falloux avec Augustin Cochin: 1854–1872, établie et annotée par Jean-Louis Ormières. Paris: H. Champion, 2003. 504 p.
15. Cox M.R. The Liberal Legitimists and the Party of Order under the Second French Republic // French Historical Studies. 1968. Vol. 5. No. 4, P. 446–464. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.jstor.org/stable/286053> (accessed 3 June 2023).
16. Falloux A. de. Memoires d'un royaliste. 2 vols. Paris: Perrin, 1888. Vol. 2. 602 p.
17. Fitzpatrick B. Catholic royalism in the department of the Gard, 1814–1852. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 216 p.
18. Girardin D. de. Lettres parisiennes du vicomte de Launay. Paris: Mercure de France, 1984. Vol. I. 560 p.
19. Kale S. French Legitimists and the Politics of Abstention, 1830–1870 // French Historical Studies. 1997. Vol. 20. No. 4, P. 665–701; [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.jstor.org/stable/286915> (accessed 3 June 2023).
20. Lacombe C. de. Vie de Berryer. 3 vols. Paris: Firmin-Didot, 1894. Vol. 1. 490 p.
21. Lacombe C. de. Vie de Berryer, 3 vols. Paris: Firmin-Didot, 1895. Vol. 2. 596 p.
22. Lacombe C. de. Vie de Berryer. 3 vols. Paris: Firmin-Didot, 1895. Vol. 3. 645 p.
23. La Gorce P. de. Histoire du Second Empire. Paris: Plon-Nourrit, 1901. Vol. 5. 548 p.
24. La Rochejacquelein H. de. La France en 1853. Paris: Chez Simon, 1853. 243 p.
25. Locke R. A new mémoire on the French coup d'état of December 2, 1851 // French Historical Studies. 1982. Vol. 12, No. 4. P. 564–588; [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.jstor.org/stable/286425> (accessed 8 June 2023).
26. Locke R. French legitimists and the politics of moral order in the early Third Republic. Princeton N.J.: Princeton University Press, 1974. 321 p.
27. Lourdoux H. de. Appel à la France contre la division des opinions. Paris: Bureau de la Gazette de France, 1831. 119 p.
28. Milchina Véra. Légitimistes français sous la Monarchie de Juillet: image catastrophique de la France, image panégyrique de la Russie // Revue Russe. 2011. N°37. L'auto-construction de l'image de la Russie et de la France au fil du temps. P. 21–31; [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.persee.fr/doc/russe_1161-0557_2011_num_37_1_2461 (accessed 8 June 2023).
29. Noailles H., marquis de. Le bureau du roi, 1848–1873: Le comte de Chambord et les monarchistes. Paris: Hachette, 1932. 278 p.
30. Osgood S. French royalism since 1870. The Hague: Martinus Nijhoff, 1970. 241 p.
31. Pierrard P. L'église et les ouvriers en France (1840–1940). Paris: Hachette, 1984. 600 p.
32. Rémusat C. de. Mémoires de ma vie. Paris: Plon, 1967. Vol. V. 558 p.
33. Rials S. Le Legitimisme. Paris: PUF, 1983. 125 p.
34. Rials S. Révolutions et contre-révolution au XIX siècle. Paris: Diffusion Université Culture, 1987. 325 p.
35. Shent K. The Election of 1827 in France. Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1975. 225 p.
36. Sirinelli J.-F. (dir.). Histoire des droites en France. Vol. 1. Paris: Gaillimard, 1992. 684 p.
37. Tort O. Les stratégies des légitimistes sous le Second Empire ou le triomphe de l'irrésolution. Parlement[s] // Revue d'histoire politique. 2008. 13 octobre. HS 4. P. 116–131.

38. *Tudesq A.-J.* Les grands notables en France (1840–1849): Étude historique d'une psychologie sociale. 2 vols. Paris: Presses universitaires de France, 1964. Vol. 1. 559 p.

39. *Tudesq A.-J.* Les grands notables en France (1840–1849): Étude historique d'une psychologie sociale. 2 vols. Paris: Presses universitaires de France, 1964. Vol. 2. 718 p.

Аннотация. В статье рассматривается политическая практика французского легитимизма XIX века. Французские легитимисты – политическая группировка, образовавшаяся сразу после Июльской революции 1830 года и свержения короля Карла X Бурбона. В отечественной историографии почти не уделялось внимания этой правой группировке. В статье раскрывается эволюция подходов легитимистов к политическому участию в годы Июльской монархии, Второй республики и Второй империи. Показываются политические особенности этого движения.

Ключевые слова: Франция, XIX век, консерватизм, легитимизм, Июльская монархия, Вторая республика, Вторая империя, Третья республика, Пьер-Антуан Берье, граф Шамбор.

Igor V. Ignatchenko, PhD in History, Associate Professor, Department of World History, Institute of Social Sciences, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. E-mail: ignatchenko_igor@mail.ru

French Legitimists in Opposition, 1830–1873

Abstract. In the article the author examines the political practice of French legitimism of the 19th century. The French Legitimists constitute a political faction formed immediately after the July Revolution of 1830 and the overthrow of King Charles X the Bourbon. In Russian historiography, almost no attention was paid to this right-wing faction. The article reveals the evolution of legitimists' approaches to political participation during the years of the July Monarchy, the Second Republic and the Second Empire in France. The author also shows the political distinctive features of this movement.

Keywords: France, the 19th Century, Conservatism, Legitimism, July Monarchy, Second Republic, Second Empire, Third Republic, Pierre-Antoine Berrier, Prince Henri, Count of Chambord.

Европейская русофобия XVIII века: «Огромное Московское государство будет унижено и принуждено к приличному миру»

В XVIII столетие Россия вступила с уже сформировавшимся в европейском сознании образом «варварской» и «дикой» страны. Этот образ начал формироваться давно, минимум за триста лет до XVIII столетия, а первый в Европе настоящий взрыв страха перед русскими и одновременно ненависти к ним пришелся на середину – вторую половину XVI века. Предпринятая Петром I попытка включить русский народ в число так называемых цивилизованных и облагородить «варварский лик» России изменила в европейском сознании немного. Несомненно, европейские политики и мыслители одобряли направленность петровской политики, но продолжали воспринимать и самого русского царя, и его подданных как «дикарей», обряженных в европейское платье. Даже в годы, когда Россия не проявляла значительной внешнеполитической активности, европейские наблюдатели более чем скептически оценивали любые попытки подданных русской короны «европеизироваться».

В годы правления преемников императора Петра Алексеевича, несмотря на уже значительное присутствие иностранцев в русском обществе, общеевропейское впечатление о «дикости» русских и России не только не уменьшилось, но и усилилось. Об этом свидетельствовали сами иностранцы. Так, в 1787 году, возвращаясь из поездки на юг России в свите императрицы Екатерины II, в которой он участвовал по личному приглашению Екатерины Алексеевны, славившийся во всей Европе своей честностью князь Шарль де Линь написал в одном из писем своей постоянной корреспондентке маркизе де Куаньи: «Мне известно, что нет обыкновения верить ни путешественникам, ни придворным, которые хорошо отзываюся о России...» [1, р. 84–85]¹. Тем самым де Линь зафиксировал важный исторический факт: в конце XVIII столетия в сознании европейских жителей уже окончательно утвердился определенный – отрицательный – образ России, и любая попытка не то что разрушить или поколебать этот образ, но просто произнести или написать о России какие-то хорошие слова вызвали у европейских слушателей, читателей и собеседников, в России, конечно, не бывавших, в лучшем случае, недоверие, а в худшем – страх перед Россией, перерастающий в ненависть, то есть то историко-политическое и социально-психологическое явление, которое мы сегодня именуем русофобией.

XVIII столетие началось для России с тяжелого поражения русских войск в сражении под Нарвой, случившегося 19 ноября 1700 года в самом начале Северной войны. Многие

¹ Пер. с фр. С.А. Немирова, И.М. Снегирева.

Перевезенцев Сергей Вячеславович, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры истории социально-политических учений факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. E-mail: serp1380@yandex.ru



в Европе этот факт восприняли... с удовлетворением. Во всяком случае именно об этом свидетельствуют так называемые «Секретные письма курьезных людей о замечательных предметах политического и ученого мира» – анонимное периодическое издание, которое выходило в 1701–1704/1705 годах в Лейпциге [1-е изд.: 29; на рус. яз.: 2]. В «письмах», вошедших в выпуск за 1701 год, утверждалось, что «шведская победа под Нарвой есть событие, достойное великой славы, заслуживает удивления потомства и должна быть отнесена к числу знаменитейших героических подвигов всех времен» [2, с. 12]. Одновременно победа шведов под Нарвой приравнивалась к победе «христиан» над турками под Веной в 1683 году: «Вена была тогда оплотом христианства против турок; тем же самым служит Нарва в Лифляндии с шведской стороны против Москвы» [2, с. 9]. В свою очередь, поражение «москвитян» рассматривалось как «Божие наказание», во-первых, за «высокомерие и дерзость» русского царя Петра [2, с. 13] и, во-вторых, за то, что «московитяне» «переступили границы, назначенные самим Богом их государству», а ведь «всякому государству самим Богом назначены известные границы, через которые они не могут переступить, какие бы труды и усилия они не употребляли, и если они поступят вопреки божественному определению, то будут наказаны за это стыдом и позором» [2, с. 7].

Русский царь Петр объявляется «тираном», подобным древним и новым тиранам: «Царь мог иметь перед глазами примеры древних и новых тиранов, жестокость которых повсюду доводила их до позорного конца. В этом случае мне никогда не нравились извинения, подобные тому, что царю приходится иметь дело с народом, который только подобными мерами может быть удержан в повиновении; подобные объяснения ничего не значат» [2, с. 14]. Под стать царю и возглавляемое им «варварское государство», которое еще доставит много хлопот шведам, прежде чем будет достигнута главная цель: «Огромное Московское государство будет унижено и принуждено к приличному миру» [2, с. 12].

Русскому царю-тирану противопоставляется светлый образ смелого юного короля-рыцаря Карла XII, истинного защитника христианства, которому помогает Сам Господь: «Шведский король, несмотря на все убеждения императорского и французского посланников, с неописанной храбростью решился на освобождение [Нарвы], сказав, что он полагается на свое правое дело и надеется на Бога..., он двинулся со своим несравненным войском вперед и напал на огромное и занимавшее выгодную позицию московское войско, окончательно трусившее и растерявшееся, и при всеобщем смятении разбил его и захватил в плен, так что к нему очень хорошо можно применить победное изречение Юлия Цезаря: "Veni, vidi, vici". Одержанная им победа ясно выразилась в его боевом истинно-христианском возгласе: "С помощью Христа!"» [2, с. 11]. Кроме того, победа Карла над «варварским государством» – это победа над «диким зверем», к которому приравнивается Россия: «Государь, принужденный иметь дело с варварским государством, похож на человека, намеревающегося убить дикого зверя: он наносит ему один за другим жестокие удары; но животное, почувствовав раны, свирепеет еще более и старается всеми силами отмстить своему врагу, который, таким образом, находится в это время в большей опасности, чем до нанесения раны животному» [2, с. 13].

Уверенность в том, что победа в Нарвской битве была Божиим изъяснением, добавляет тот факт, что «трусливыми» «московитянами» командовали наемные иностранные генералы и офицеры. Иностранные офицеры, «выходцы из известных своею храбростью наций», просто не могли потерпеть поражение, если бы не Божия помощь шведам: «Если бы это были все только одни москвитяне, то никто бы, знакомый с храбростью и военным искусством шведов, этому не удивился; но так как офицеры были большею частью немцы, шотландцы, датчане и из других известных своею храбростью наций, то это еще удивительнее и скорее должно почестся за дело Божеское, чем человеческое» [2, с. 7]. В действительности, необходимо отметить, что присутствие иностранных офицеров в

русской армии было одной из причин поражения в битве, потому что солдаты не доверяли иностранцам, и неожиданное появление шведов возле своих порядков приписали их измене. Согласно легенде, спасаясь от своих собственных солдат, которые начали избивать иностранных офицеров с криками «Немцы – изменники!», командующий русской армией фельдмаршал Карл Евгений де Кроа сломал шпагу и крикнул, глядя на русских солдат: «Пусть сам черт воюет с этой сволочью!».

Именованье императора Петра I «тираном» и «варваром» было не единичным. Знаменательно, что и другие иностранные современники, видевшие русского государя Петра Алексеевича, довольно критически относились к его стремлению стать «настоящим европейцем». Насколько почти «варварская» личность русского государя соответствует западноевропейским «стандартам» оценила курфюрстина София Ганноверская: «Это государь одновременно и очень добрый, и очень злой, у него характер – совершенно характер его страны. Если бы он получил лучшее воспитание, это был бы превосходный человек, потому что у него много достоинства и бесконечно много природного ума» [цит. по: 3, с. 118–119].

Если уж русский государь оставался «варваром», хотя и скрывал свою «варварскую» природу под европейским лоском, то простые русские жители воспринимались иностранцами совершенно однозначно. Об этом, в частности, писал в своем «Общем отчете о русском дворе» Карл Вильгельм Финк фон Финкенштейн, посланник прусского короля в России в 1747–1749 годах¹. Зато прибалтийские немцы, ставшие русскими подданными в результате петровских завоеваний, по убеждению многих иностранных наблюдателей, в том числе и Финкенштейна, обладали цивилизационным превосходством над русскими. В свою очередь, русские «варвары», по убеждению тех же иностранных наблюдателей, не ценили эти «цивилизационные преимущества» и с радостью бы от них избавились: «Как ни старался Петр I их воспитать, труды его лишь на внешности отразились; платье переменили и бороды более не носят, но внутри остались русские почти что прежними, и если чему-то у европейцев научились, то от сего старинные их недостатки лишь изощрились и еще более сделались опасны... Русские – пьяницы и лентяи, прежним своим невежеством дорожат, а старания, кои употребил Петр I, дабы их от него избавить, проклинают» [4, с. 292].

Одним из основных центров распространения русофобии в Европе уже на протяжении двухсот лет оставалась Польша. Связано это было со многими причинами, одна из важнейших – значительная численность православного населения Речи Посполитой. Более двухсот лет польские власти и Римско-католическая церковь стремились сократить влияние православия в Польше, а в конце XVI века, особенно после принятия в 1596 году Брестской унии, на православных Речи Посполитой начались настоящие гонения, продолжавшиеся и в XVIII веке. Православными епископами можно было стать только лицам, имеющим шляхетское происхождение. В 1717 году запрещено было строить православные храмы и починять ветхие. В 1722-м у православных было отнято право участвовать в местных сеймах для избрания депутатов на общий сейм. В 1733 году сейм запретил православным занимать все общественные должности. С 1736-го поставлять православных священников можно было только с разрешения самого короля, а помещики давали одобрение только тем кандидатам, кто соглашался на принятие унии. Поощрялись фанатические выступления католиков против православных. Православные монастыри грабили, жгли, монахов пытали, часто убивали. Деревенских обывателей и мещан мучили бесчеловечными

¹ «Общий отчет о русском дворе» представляет собой записку, подготовленную Финкенштейном для короля Фридриха Великого в 1748 году. Текст записки в 1749 году был переписан секретарем по-французски и собственноручно подписан Финкенштейном, затем хранился в одном из немецких государственных архивов. Первая публикация на французском языке состоялась в 1998 году [31; на рус. яз.: 4].



пытками, принуждая к униатству. В Речи Посполитой осталось одно православное епископство – Белорусское, при этом в 1754 году папа римский Бенедикт XIV настойчиво требовал не избирать нового православного епископа после кончины его предшественника.

О том, как католики собирались бороться с православием в Западной Руси, ярко повествует иезуитский «Проект уничтожения православной и униатской веры в русских областях, подвластных Польше» (*“Projectum dedelen dafunditus religione orthodoxanec non unitain Russia e provinciis, regno Poloniae subditis”*), свидетельствующий о жесточайшем преследовании русских православных людей в Речи Посполитой по религиозному и этническому признакам. Еще в XIX веке, когда текст этого Проекта был впервые опубликован на польском языке, его публикаторы утверждали, что сам Проект был впервые озвучен в 1717 году, но на польском языке сохранился только в поздних рукописях [5, с. 221–226]. Кроме того, уже в XIX веке были известны несколько вариантов рукописных переводов Проекта с польского на русский язык. Эти разные русские переводы в XIX веке несколько раз издавались [6–10]. Современные исследования подтверждают мнения, высказанные русскими исследователями XIX века. Так, И.Н. Слюнькова, опубликовавшая недавно данный Проект по рукописи, найденной ею в Российском государственном архиве древних актов, отмечает, что текст «Проекта уничтожения греко-российского вероисповедания», по-видимому, имел широкое хождение, упоминания о Проекте встречаются в литературе по истории Речи Посполитой периода 1717–1773 годов [11].

Проект носит яркий антиправославный и антирусский характер. Вот краткое изложение основных методов борьбы с православием и русским народом Речи Посполитой, предлагаемых в этом документе. Во-первых, «чтобы нам совершить столь спасительное и вождевленное предприятие, должно стараться хранить некоторую дружбу с Россиею и возводить на польский престол таких государей, к которым бы расположена была сия держава» [11, с. 189].

Во-вторых, «дворянство греко-российского вероисповедания, хотя оно и остается в унии, а тем более отщепенцы, ни к каким не должны быть допускаемы государственными должностям, особенно же к таким, в которых они могут приобрести друзей, нажить имение и снискать какое-либо уважение и таким образом покровительствовать всем своим единомышленникам» [11, с. 190].

В-третьих, «зажиточнейшие обыватели отечества не должны принимать русских ни в какие услуги, особенно не допускать их туда, где они могли бы сколько-нибудь образоваться, разве в том только случае, когда можно надеяться, что они откажутся от своего вероисповедания, ибо таким образом, пребывая в невежестве, они впадут в крайнюю нищету и останутся в самом презренном уничижении, следовательно, принуждены будут или совершенно пасть от своей бедности, или переменить вероисповедание для какого-нибудь повышения и улучшения своего состояния» [11, с. 190].

В-четвертых, «так как в городах и местечках русских находится еще значительная часть зажиточных жителей русских, то и сих нужно довести до нищеты и невежества, чтобы они не могли ни деньгами, ни умом помочь себе» [11, с. 190].

В-пятых, «самый трудный к разрешению узел в сем благодетельном начертании составляют архиереи и священники, коих нужно ослепить, чтобы они не могли ни возвыситься, ни думать, а тем более делать, что захотели бы» [11, с. 190].

В-шестых, «епископы наши, все вообще взявшись, так сказать, за руки, должны приводить в действие с особенным тщанием то, чтобы русские архиереи носили титул викарных, оставаясь сами в зависимости и подчиненности, чтобы они и их священники подвергаемы были ревизии наших прелатов, публично наказываемы за преступления, и чтобы им выставляемы были на вид их суеверия» [11, с. 191].

В-седьмых, «священники в наши времена большие суть невежды, совсем неученые, без всякого просвещения, и если они навсегда останутся в таком состоянии, то это не только не будет служить препятствием, но тем более будет споспешествовать к удобнейшему выполнению сего проекта» [11, с. 191].

В-восьмых, «семейства священников во всем должны зависеть от местного господина, начальства и для большего их унижения должны быть строго наказываемы за самые малейшие преступления или неповиновение». [11, с. 192].

В-девятых, «но если бы по какому-нибудь случаю [чего, впрочем, не надеюсь] русские достигли надлежащего образования, то надлежит с ними поступить таким образом: уговаривать тех, которые захотят оставаться в духовном звании, чтобы они вели жизнь безбрачную, показывать им более, нежели другим, уважения, давать более свободы, увеличивать доходы и пр.» [11, с. 193].

В-десятых, «особенно непреклонен и других в непреклонности удерживать способен простой народ русской, умеющий читать свои Писания...». Поэтому, указывается в Проекте, «нужно устранить причину такового их упорства, и упорство само собою исчезнет, что не трудно нам, полякам, сделать, если запретить детям своих крестьян учиться в находящихся при церквах школах» [11, с. 193].

В-одиннадцатых, «чтобы удобнее погубить со временем русских, для сего не худо бы записывать в особую общую книгу все случающиеся в их обрядах неблагопристойности, срамные слова и поступки против римлян [то есть против католиков – С.П.] и частные приключения священников, в которых при столь великом их невежестве не будет недостатка, дабы, когда этот проект начнет приходить в действие, светский видел основательные причины таковых поступков со стороны поляков» [11, с. 193].

В-двенадцатых, «когда все сие в продолжение известного времени будет приготовлено, то к самому делу должно приступить не вдруг, не везде в одно и то же время, даже и не во всех местах». Нужно начать, указывается в Проекте, «с тех удаленных мест, где более католиков, нежели русских... Таким образом, постепенно, с осмотрительностью и благоразумием, когда успеем в некоторых местах то поощрением, то обманом, то укоризною привести русских на римлян, то все останутся в той мысли, что при помощи Божией во всей стране Русской, к общему всех желанию, будет процветать римское вероисповедание» [11, с. 194].

Знаменательно и то, что автор Проекта призывает бороться в первую очередь не столько собственно с православными, которые в польском оригинале названы схизматиками (в оригинале – *schyzmatycy*, в переводе – «отщепенцы»), но преимущественно с униатами, именуемыми последователями «русского», «греко-российского» обряда. Кроме того, из содержания Проекта ясно видно, что польские католики, в особенности поляки-иезуиты, рассматривали унию не только как способ принуждения православного и греко-католического населения Речи Посполитой к переходу в католичество, но и как средство своеобразной этнической чистки русских.

В тексте прямо говорится о возможности физического уничтожения на территории Речи Посполитой русского населения, в полное духовное «исправление» которого автор явно не верил. Именно поэтому в качестве «последней меры» предлагается «ревнителей» православия из русских «отдать в услугу татарам», то есть, отправить все православное русское население Речи Посполитой в рабство к крымским татарам, а освободившиеся территории заселить «правильными» поляками: «Поелику народ украинский, подольский и волынский, держась своего вероисповедания, готов произвести мятеж, то в таком случае, ежели трудно будет предавать смерти и по малочисленности польских войск удержать мятежников, Республика не должна жалеть о том пожертвовании, если всех таковых ревнителей отдать в услугу татарам [они скоро

приберут их в свои руки], а оставшийся после них край заселить народом польским и мазовецким» [11, с. 194].

Только в 1768 году под сильнейшим нажимом России, когда были арестованы и отправлены в Москву основные противники православия, польский сейм возвратил православным все их гражданские и церковные права и имущества (права были также возвращены и протестантам, но римско-католическое вероисповедание в Польше продолжало оставаться господствующим). Однако польская шляхта и католическое духовенство не собиралось признавать эти решения. Раздавались призывы к крестовому походу против православной России. Даже после первого раздела Польши в 1772 году в Малороссии, оставшейся под польским владычеством, положение православных не изменилось. Лишь после третьего раздела Польши положение проживающих в западнорусских землях православных нормализовалось.

Приверженность русских людей православному вероисповеданию вызывало заметные опасения практически у всех европейцев. К примеру, поступившего на службу к Петру I протестантского пастора из Нарвы Симона Дитриха Геркенса привлекало в царе его критическое отношение к православным традициям: «Говорят также, будто его величество желал бы по-доброму реформировать и улучшить русское вероисповедание, как он уже для людей, переходящих в русскую веру, отменил в обряде крещения погружение в воду, прежде требуемое. Кроме того, он разрешил не соблюдать в своей армии принятые у русских долгие и строгие посты, во время которых им совсем нельзя есть мясо...» [цит. по: 12, с. 66].

Удивительно, но даже те иностранцы, которые пытались изменить общие русофобские настроения других европейцев и подчеркивали многие положительные изменения, произошедшие в России в ходе петровских реформ, не могли удержаться от странных заявлений по поводу исторических перспектив русского народа. Так, другой прусский дипломат, Иоанн Готтгильф Фоккеродт, почти четверть века проживший в России и хорошо выучивший русский язык, в 1737 году по поручению тогда еще прусского кронпринца Фридриха (будущего прусского короля Фридриха II Великого) составил для французского мыслителя и писателя Вольтера записку о положении России в начале XVIII века¹. В отличие от многих иных иностранных авторов, Фоккеродт в своем сочинении демонстрирует вполне хорошее знание России и ее истории, любезно отзываясь и о стране, и о ее жителях, а особенно высоко он оценивает императора Петра I и его деятельность по преобразованию России. Однако при всем том Фоккеродт, будучи сам немцем-протестантом, уверен в полном превосходстве протестантизма и немецкого, а шире – западноевропейского образа жизни над русскими православным вероисповеданием и традиционными принципами бытия. Поэтому на протяжении всего сочинения Фоккеродт выражает уверенность, что Россия сможет стать по-настоящему «цивилизованной» страной, только усвоив западноевропейские правила и, в лучшем варианте, отказавшись от своей веры. Но при всей расположенности к России, русскому народу, лично к Петру I и петровским преобразованиям, Фоккеродт, как и большинство европейцев, крайне опасался возрастания могущества Российского государства и увеличения численности русского народа. Поэтому с одобрением воспроизвел мнение «некоторых неглупых, впрочем, врачей» о том, что было бы хорошо, если бы различные болезни приняли среди русских характер эпидемии и не дали бы возможности возрасти русскому населению: «Если только можно дать веру мнению некоторых, неглупых впрочем, врачей, то Провидение поставило уже преграду подобным предприятиям и

¹ Неизвестно, воспользовался ли Вольтер материалами Фоккеродта, но установлено, что несколько позднее записку Фоккеродта использовал в своих «Записках о России» адъютант Фридриха II Христофор-Герман Манштейн. Первая публикация записки Фоккеродта на немецком языке состоялась в 1872 году [32; на рус. яз.: 13].

послало русскому народу внутренний вред, который не только мешает его размножению, но должен заметным образом убавить и настоящее его число и привести его в невозможность решаться на сколько-нибудь значительные предприятия» [13, с. 101–102]¹.

Как и немцы Финкенштейн и Фоккеродт, довольно критически относились в России англичане и французы. При этом если англичанин Натаниел Рэкселл, автор «Путешествия через северную часть Европы, в частности, в Копенгаген, Стокгольм и Петербург в серии писем»², смотрел на Россию всего лишь холодным высокомерным взглядом, то француз Шарль Массон в своих «Секретных записках о России времени царствования Екатерины II и Павла I» был гораздо более эмоционален и пристрастен³.

Мелкий подмастерье швейцарского часовщика, Массон, оказавшись в России в 1786 году, был обласкан российскими властями, получил сначала место преподавателя в Артиллерийском и инженерном шляхетном кадетском корпусе, затем оказался произведен в капитаны драгунского полка, преподавал математику великим князьям, а в 1795 году был назначен секретарем великого князя Александра Павловича с зачислением в Екатеринославский гренадерский полк. В России Массон удачно женился. Однако воцарение Павла I Петровича оборвало карьеру Массона в России: по повелению нового императора он был вывезен из Петербурга в Курляндию. Видимо, столь неожиданно прерванная удачная карьера повлияла на то, что Ш. Массон написал на редкость едкое сочинение, в котором не пощадил никого – ни императрицу, ни ее сына-наследника, ни придворных, ни русских людей.

В самом деле, вроде бы Массон жалел русский народ, пребывающий, по его мнению, под властью тиранов и варваров. Однако вина в том принадлежит самому русскому народу, потому что ему, несмотря на то, что он сохранил «много достоинств», свойственны «варварство» и «скотство»: «Русский человек – раб; он следует внушению, он то, чем его хотят сделать». Так, рассуждая о характере русского солдата, Массон писал: русский солдат «начинает обнаруживать мужество и верность своим генералам; чувства эти заменяют ему патриотизм», однако при этом сравнивает русского солдата с «хорошо выдрессированной собакой», которая «из послушания проявляет мужество льва». Больше того, хотя «постоянные войны закалили русских», но одновременно «придали их заслугам самый жестокий и варварский характер». Виновницей этого Массон в итоге называет императрицу Екатерину II: «Впрочем, таков характер их генералов, и, пожалуй, даже скорей характер Екатерины, всегда поощрявшей их... Гению Екатерины нужна была такая молодая податливая нация, о которой она может сказать то же, что ланфонтеновский ваятель говорил о своей мраморной глыбе: "Что выйдет из нее? бог, стол или лоханка?" Екатерина не могла сделать из русского – бога, но человека – несомненно; ее величайшее преступление, что не в этом она полагала славу свою: она сделала из него себе лоханку. Вытерпев царствование Екатерины и ее двенадцати фаворитов, русский народ доказал, что он самый униженный из народов, если же он вынесет до конца тиранию Павла, он окажется и самым подлым из всех» [14, с. 136–139].

¹ Стоит заметить, что немецкий наблюдатель ошибся: за XVIII век население России возросло с 10,5 до 37 млн чел., то есть более чем в три раза; в XIX веке – еще почти в 3,5 раза (в 1897 году в стране проживало 128,2 млн чел., а удельный вес населения России к общей численности населения всего мира вырос на 2,5% – с 5,3 до 7,8); в 1914 году население страны составляло 163 млн чел., соответственно, доля жителей России в мире возросла до 8%.

² Первое издание путевых дневников Н. Рэкселла, посвященных его путешествию по Дании, Швеции и России, вышло в 1775 году [33]. Последующие издания носили название "A Tour through some of the northern parts of Europe, particularly Copenhagen, Stockholm and Petersburg in a series of letters, by Ni. Wrxalljun".

³ Книга Ш. Массона первым изданием вышла в двух томах в Амстердаме в 1800 году [34]. Затем она несколько раз переиздавалась на французском, немецком, английском и датском языках. Перевод на русский язык см. [14].

Но более всего от Ш. Массона досталось великому русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову, для создания образа которого автор «Секретных записок о России...» не пожалел самых черных красок и самых черных эпитетов: «палач», «пресытившийся тигр», «старый сумасшедший», у которого «свирепые, угрюмые глаза, ужасные уста, на которых выступает пена», «воинственный варвар», «чудовище», «живодер» и т.д. «Приезжающий в Россию иностранец, слыхавший громкое имя Суворова, – начинает свое повествование о русском полководце Ш. Массон, – желает увидеть этого героя. Ему указывают на маленького старика с худым и сморщенным лицом, каковой прыгает по апартаментам дворца на одной ножке, бегаёт и скачет по улицам в сопровождении толпы детей, которым он кидает яблоки, чтобы заставить их драться, и кричит самому себе: “Я – Суворов!”». И продолжает немного дальше: «Если иностранец и затруднится признать в этом старом сумасшедшем победителя турок и поляков, то его колебания исчезнут, когда он увидит его свирепые, угрюмые глаза, ужасные уста, на которых выступает пена, и поймет, что перед ним убийца жителей Праги. Суворов был бы всего-навсего смешным шутком, если бы не показал себя самым воинственным варваром. Это чудовище, которое заключает в теле обезьяны душу собаки и живодера. Аттила, его соотечественник и, вероятно, предок, не был ни столь удачлив, ни столь жесток... Ему присуща врожденная свирепость, занимающая место храбрости: он льет кровь по инстинкту, подобно тигру». [14, с. 136–137].

Упомянув Прагу, Массон имеет в виду предместье польской столицы Варшавы, которое взяли штурмом полки Суворова в ходе подавления польского бунта в 1794 году. Массон в данном случае повторяет распространенное в западноевропейской публицистике и литературе обвинение А.В. Суворова в устройстве «резни в Праге», выдвинутое сразу же после событий польскими эмигрантами и подхваченное в Западной Европе, где Суворова стали называть «полудемоном». Особенно этим отличались французы и англичане. Основой такого обвинения послужила массовая гибель во время штурма не только восставших, но и мирного населения этого варшавского предместья. На самом деле в приказе А.В. Суворова на штурм Праги было специально указано: «В дома не забегать, просящих пощады – щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать» [15, с. 398]. Однако ожесточенное сопротивление польских мятежников (один из русских участников штурма отметил, что поляки «дрались с остервенением и без всякой пощады») вызвало ответное ожесточение русских солдат, помнивших, как поляки расправились с солдатами русского гарнизона Варшавы в апреле 1794 года (тогда из 8 тыс. русских солдат было убито разными способами от 2 до 4 тыс. чел.). Русские солдаты стали убивать всех подряд. Суворов призвал польских жителей скрываться в русском лагере, кто успел это сделать, остался в живых. Сразу после штурма Праги польские источники объявили о более чем 20 тыс. невинных жертв, погибших от рук «русских варваров». Стали распространяться страшные слухи, в частности, о том, что Суворов якобы приказал отрубить кисти рук у 6 тыс. пленных польских шляхтичей. Но официальные данные о потерях сторон совсем другие. По данным реляции Суворова, поданной по итогам сражения, было убито 13 340 поляков, взято в плен 12 860 чел., утонуло в Висле больше 2 тыс. чел. Потери русских войск составили свыше 1500 чел. из них 580 убитых. Вскоре Суворов отпустил до 6 тыс. пленных из ополчения, ок. 4 тыс. поляков из регулярных войск были отправлены в Киев, кроме того, по просьбе польского короля были отпущены все польские офицеры [15, с. 399, 403, 430]. Сохранилась недовольная запись одного из приближенных Екатерины II: «...Граф Суворов великие оказал услуги взятием Варшавы, но зато уж несносно досаждают несообразными своими там распоряжениями. Всех генерально поляков, не исключая и главных бунтовщиков, отпускает свободно в их дома, давая открытые листы...» [16, с. 398].

Ш. Массону, как и всем французским скептикам-атеистам, естественная для русского человека религиозность Суворова казалась суеверием, следствием варварской дремучести, поэтому Массон был уверен, что русский фельдмаршал буквально «заставляет начальников произносить вслух молитву перед походом...». Конечно, Массон не мог понять, что А.В. Суворов был искренним религиозным человеком, понимавшим значение традиционной православной веры в жизни русского воина. Именно поэтому в его знаменитой книге «Наука побеждать» присутствуют и такие поучения русским солдатам: «Умирай за Дом Богородицы, за матушку, за пресветлейший дом! – Церковь Бога молит...»; «Солдату надлежит быть здорову, храбру, твердо, решиму, справедливу, благочестиву. Молись Богу! От Него победа. Чудо-богатыри! Бог нас водит – Он нам генерал!» [17, с. 47, 50].

Как видно, победы Суворова во славу России вызывали у Массона, как и у многих других европейцев, даже обласканных российскими властями, просто животный страх и ненависть... И Массон объясняет свою ненависть к русскому полководцу: он опасался, что именно Суворов возглавит русские войска в борьбе с распространившейся по всей Европе революционной заразой, которую несли на своих штыках французские солдаты: «Известно, как и почему Павел отставил его по восшествии на престол. Ропот солдат вынудил его потом снова вызвать Суворова. Говорят, он намерен воспользоваться им как бичом для наказания французов» [14, с. 124]. Надо признаться, Ш. Массон не ошибся в своем паническом прогнозе.

Наверное, квинтэссенцией русофобских настроений европейцев XVIII столетия стал миф о «потемкинских деревнях», то есть о бутафорских деревнях и городах, которые якобы были выстроены по указанию князя Г.А. Потемкина вдоль маршрута Екатерины II во время ее поездки в 1787 году в Северное Причерноморье. Напомним, что в 1786 году Г.А. Потемкин уговорил императрицу Екатерину Алексеевну посетить новые области на юге России – Новороссию и Крым, им управляемые. В январе 1787 года императрица, окруженная свитой и иностранными послами, отправилась в путешествие. Чуть позже к ней присоединились польский король Станислав Понятовский и австрийский император Иосиф II. Зрелище, представшее перед путешественниками, поразило их воображение: города, крепости, селения, сады, дороги, храмы, дворцы, училища, верфи, корабли. По лугам паслись многочисленные стада, по берегам рек и вдоль дорог располагались толпы поселян. Более же всего впечатлили путешественников и в особенности иностранцев мощная русская армия и великолепный Черноморский флот.

Иностранные послы были столь поражены увиденным, что не поверили своим глазам. Точнее – не захотели верить. Зато они были уверены в другом – в отсталости России. Уже во время самого путешествия некоторые из иностранных участников поездки засомневались – а на самом ли деле существовали все эти города и деревни или это были только красивые декорации, обман, мистификация, очередная проделка князя Потемкина? В частности, рассказ французского посла Л.-Ф. Сегюра об императорской поездке позволяет сделать заключение, что, с одной стороны, сам Сегюр был восхищен увиденным, но, с другой стороны, сомневался в реальности увиденного им масштаба осуществленных Г.А. Потемкиным мероприятий. Так, в письме Потемкину, написанном 25 августа 1787 года, то есть сразу после крымского вояжа, Сегюр отмечал: «Я с большим удовольствием опишу там все те великолепные картины, которые вы нам показывали: торговлю, привлеченную в Херсоне несмотря на зависть и болота, чудом созданный в два года флот в Севастополе, ваш Бахчисарай из тысячи и одной ночи, вашу Темпейскую долину, ... ваши почти сказочные празднества в Карасу-базаре, ваш Екатеринослав, куда в три года вы собрали более монументов, чем сколько могли их собрать в течение трех веков многие из столиц, пороги, расчищенные вами как бы для того, чтобы вводить в заблуждение историков, географов и журналистов, и ту гордую Полтаву, где вы атакою



70 батальонов отвечали на те нападки, которым подвергалось ваше устройство Крыма со стороны невежества и зависти. Если мне не поверят, то это будет ваша вина, зачем вы сделали столько чудесного в столь короткое время, ни разу не похвалившись, пока не показали всего разом. Согласитесь, что моя повесть будет несколько походить на сказку о гениях, и вы даете мне новые доказательства, подкрепляющие знаменитое изречение, что истинное иногда может не быть вероятным» [18, с. 184–185]. Но, вернувшись во Францию, в своих мемуарах Сегюр не только высказал сомнение в истинности увиденного когда-то на юге России, но сообщил о сомнениях иных участников путешествия. По свидетельству французского посланника, именно такие сомнения высказал в разговоре с ним австрийский император Иосиф II:

«– Вы видите, – сказал император, – что здесь ни во что не ставят жизни и труды человеческие, здесь строятся дороги, гавани, крепости, дворцы в болотах, разводятся леса в пустынях без платы рабочим, которые не жалуются, лишены всего, не имеют постели, часто страдают от голода...

– Все здесь начинается, – отвечал я, – и ничего не оканчивается. Князь Потемкин часто оставляет то, что только что было начато, ни один проект не составляется солидно, ни один не исполняется до конца. В Екатеринославе мы видели начало города, который не будет обитаем, начало претендующей на большее величие, чем собор святого Петра в Риме церкви, в которой никогда не будет службы, место, избранное для Екатеринослава безводное, Херсон окружен опасной болотистой атмосферой. В последние годы степи опустели хуже прежнего, Крым лишился двух третей своего прежнего населения. Город Кафа разорен и никогда не поднимется более. Один Севастополь – действительно великолепное место, но пройдет много времени, пока там будет порядочный город. Все украшения временные, для императрицы. Я знаю Потемкина, его пьеса сыграна, занавес упал, князь теперь займется задачами или в Польше, или в Турции. Настоящая администрация, требующая постоянства, не согласуется с его характером.

– Я согласен со всем этим, – сказал император, – нас вводили в заблуждение, вели от иллюзии к иллюзии» [19, р. 180–182]¹.

Из этих сомнений Сегюра, и других участников императорского вояжа, и родились уже во время самого путешествия слухи о «намалеванных на картоне деревнях» и «подсадных» крестьянах. О том, что такие «басни» стали передавать друг другу участники экспедиции, сообщает и упомянутый в самом начале статьи князь Ш. де Линь, который, в отличие от многих, наоборот, был уверен в подлинности всего, что показал им Г.А. Потемкин: «Даже и те россияне, кои соболезнают, что не находились с нами, будут утверждать, что нас обманывали, и что мы обманываемся. Распустили уже смешную басню, что при нашем проезде приказывали переносить картонные деревни на сто миль в окружности; что корабли и пушки были нарисованы, конница – без лошадей, и проч.» [20, р. 84–90].

Но в реальности увиденного стали сомневаться и некоторые русские участники поездки, впрочем, в основном, из зависти к Потемкину, или из желания ему навредить. Среди таких недоброжелателей Г.А. Потемкина А.М. Панченко называет П.А. Румянцева и А.А. Безбородко [21, с. 93–104]. В результате, видимо, совместными усилиями иностранных и русских доброхотов Потемкина в европейской прессе сразу же были запущены публикации о якобы грандиозной мистификации, устроенной светлейшим князем: мол, все деревни и города, представленные императрице, – это и в самом деле были бутафорские декорации, нарисованные на холстах или деревянных щитах. Первые публикации появились в одной из голландских газет [см. об этом 22, с. 17], а затем переключались на страницы книг и даже воспоминаний.

¹ Пер. с фр. А.Г. Брикнера в ред. С.В. Перевезенцева.

Об этом в своих мемуарах написал, к примеру, Юхан Альбрехт Эренстрём, шведский дворянин, офицер, дипломат, который в 1786–1787 годах, сопровождая шведского политического деятеля и дипломата Г. Спренгтпортена, вместе со своим патроном оказался в свите императрицы Екатерины II в путешествии на юг России: «От природы пустые степи, по которым она [то есть императрица Екатерина II – С.П.] проезжала, были распоряжениями Потемкина населены людьми, на большом расстоянии видны были деревни, но они были намалеваны на ширмах; люди же и стада пригнаны фигурировать для этого случая, чтобы дать самодержице выгодное понятие о богатстве этой страны. На ночлегах в этих пустынях она для себя находила большое множество великолепнейших шатров, в виде домов, богато меблированных. Везде видны были магазины с прекрасными серебряными вещами и дорогими ювелирными товарами, но магазины были все одни и те же и перевозились с одного ночлега на другой. Рассказывали, что владельцы этих магазинов выписали из Москвы и что они получили плату за свой труд сделать все это путешествие и выставлять свои товары на показ. В городах, через которые следовала императрица, она зато находила более существенные предметы для удовольствия глаз, а именно прекрасные триумфальные ворота, широкие улицы, много красивых домов и между ними настоящие деревянные дворцы, выстроенные нарочно для нее» [23, с. 12]¹. Впрочем, нельзя исключать тот факт, что сюжет о деревнях, нарисованных по приказу Потемкина «на ширмах», появился в воспоминаниях Эренстрёма уже под влиянием многочисленных рассказов об этой якобы махинации Потемкина, опубликованных в начале XIX века в различных изданиях.

Слухами и сплетнями о «потемкинских деревнях» поделился и французский дворянин, офицер, путешественник, писатель, критик Альфонс-Туссен-Жозе-Мари-Марсель Форсия де Пилес, который в России побывал, скорее всего, только в первой половине 1791 года. Уже в 1796 году появилась на свет его книга «Путешествие двух французов в Германию, Данию, Швецию, Россию и Польшу, учиненное в 1790–1792 гг.» [1-е изд.: 35; на рус. яз.: 24]. В частности, в этой книге утверждалось: «Свойство государей есть всегда быть обманутыми. Ее Величество [то есть Екатерина II – С.П.] дороги нашла превосходными, хорошо содержимыми, деревни многочисленными и обитаемыми. Она еще не ведала того, что дороги были починены тогда только, как сделалось известно об ее отъезде; что оные многочисленные деревни, предмет ее восхищений, были созданы для проезда ее и разрушены в тот же день, и несчастные крестьяне, пришедшие за тридцать и сорок лье, чтоб стать по сторонам пути и жить в оных домах в продолжение нескольких дней, были отосланы восвояси. То было изобретение гения Потемкина, который сумел таковою хитростью нового рода убедить свою монархиню, что страна, почитаемая пустынею, процветает» [24, с. 285–286].

Нередко в литературе можно встретить мнение, что автором мифа о «потемкинских деревнях» был немецкий дворянин, секретарь саксонского посольства при императорском дворе Екатерины II в 1787–1795 годах Георг Адольф Вильгельм фон Гельбиг. На самом деле, как уже было показано, этот миф родился в ходе самого путешествия, однако Гельбиг сыграл значительную роль в его распространении. Сам он в поездке императрицы на юг России в 1787 году не участвовал, поэтому рассказы об этой поездке в его статьях и книгах в очередной раз были основаны на различных слухах и сплетнях. Так, в анонимной публикации в журнале «Минерва» в 1798 году Гельбиг заявил: «В некотором отдалении как будто бы виднелись деревни, но дома и церковные колокольни были лишь намалеваны на досках. Другие близлежащие были только что отстроены и заселены, но жители, по-видимому, поселялись в них временно, а по вечерам им приходилось покидать свои

¹ Первая публикация мемуаров Ю.-А. Эренстрёма состоялась на шведском языке в 1882 году [36].

жилища и ночью в величайшей спешке добираться до других деревень, где они проводили только несколько часов до тех пор, пока императрица не проплывала мимо них» [25, с. 30]¹. Эту же фразу он повторил немного позже, в 1804 году, в первом издании своей книги о Потемкине на немецком языке [26, с. 115, 116, 125]². Зато в 1813 году в английском издании книги о Потемкине, Гельбиг уже не стеснялся в красочных описаниях того, что сам он видеть не мог: «Это был прекрасный день в начале весны, когда императрица поднялась на борт со своим двором. Абсолютный штиль, ясное небо, покрытый зеленью берег усиливали эффект великолепных декораций, которыми Потемкин решил восхитить свою государыню. Теперь он привел в движение все колеса грандиозной машины, которую он создал с такой тщательностью, и представил глазам путешественников искусное зрелище, самое необычное и оригинальное, что когда-либо было задумано. На больших или менее отдаленных расстояниях по берегам реки виднелись довольно изолированные жилища и хорошо построенные деревни, размеры которых заставили бы созерцателя ожидать многочисленного населения, а их внешний вид, казалось, свидетельствовал о богатстве и комфорте обитателей. Многие из этих частных домов и деревень были только что построены. Утверждалось даже, что самые отдаленные здания были не достроены и имели только фасад... Поскольку населения страны было недостаточно, чтобы оживить пейзаж, из нескольких частей империи послали за крестьянами; их последовательно перевозили из одного места в другое (часто ночью), чтобы придать дорогам, по которым императрица должна была проехать на следующий день, видимость суеты и оживления. Так же сообщалось, что многочисленные стада крупного рогатого скота всех видов были вывезены подобным образом, чтобы оживить виды берегов реки и создать впечатление богатства, комфорта и процветания этих мест» [27, р. 115–116]³.

Распространение мифа о «потемкинских деревнях» продолжалось и позднее. В результате во многих языках, в том числе и в русском, словосочетание «потемкинские деревни» стало устойчивым выражением, идиомой, означающей обман, попытки скрыть за благопристойным фасадом какие-либо неблагоприятные явления. Как считают исследователи, «в своем нынешнем виде, причем уже вне связи с Россией, в качестве универсальной метафоры, “потемкинские деревни” появляются в 1840-е гг. во французской и немецкоязычной печати» [см. об этом: 28, с. 97–101]. В частности, в одном из французских журналов в 1848 году это выражение использовалось уже как общепринятое, всем понятное, метафорически означающее иллюзию, обман: «Она [политическая экономия] не показывает нам общество в виде оперных декораций <...>; она бесполезна для тех, кому видятся эфемерные монументы и фантастические пейзажи наподобие потемкинских деревень (*les villages de Potemkin*)»; «наскоро созданные потемкинские деревни (*schnell geschaffen en Potemkin's ehen Dörfern*)» [29, р. 1–15]. К сожалению, эти слухи обрели популярность не только в Европе, но и в России. Может, пора прекратить использовать выражение «потемкинские деревни» и не оскорблять память Григория Александровича Потемкина?

* * *

Европейская русофобия XVIII века продолжила начатый задолго до того противоречивый путь от удивления и непонимания русской действительности и русского православного миропонимания до страха перед всем русским и ненависти к России и русскому народу. Конечно, далеко не все иностранцы, побывавшие в России, возненавидели ее «всем сердцем». Скорее даже наоборот, многие, может быть, даже большинство иностранных

¹ Пер. С.В. Перевезенцева.

² Пер. А.Г. Брикнера в ред. С.В. Перевезенцева.

³ Пер. С.В. Перевезенцева.

наблюдателей оставили вполне благозвучные или, в худшем случае, нейтральные описания русской жизни, русской веры и русских характеров. Однако в политической реальности европейских государств чаще всего возобладали те, пусть и немногие, идеи и настроения, которые мы сегодня можем назвать русофобскими. К сожалению, в последующие столетия эти идеи и настроения только усилились. Видимо, прав был князь де Линь, утверждая, что в Европе «нет обыкновения верить ни путешественникам, ни придворным, которые хорошо отзываются о России».

Литература

1. *Ligne C.-J. de. Lettres et pensées.* Paris; Genève: J.J. Paschoud, 1809.
2. Отзывы иностранцев-современников о Великой Северной войне / пер. Ф.Ф. Вестберга // Русский архив. 1896. Кн. 1. Вып. 1. С. 7–22.
3. *Богословский М.М.* Петр I: Материалы для биографии. Т. 2. М.: ОГИЗ, 1941.
4. *Финкенштейн К.В.Ф. фон.* Общий отчет о русском дворе // *Лиштенан Ф.-Д.* Россия входит в Европу: Императрица Елизавета Петровна и война за австрийское наследство 1740–1750. М.: ОГИ. 2000. С. 290–293.
5. Дополнения к Актам историческим, относящимся к России: Собраны в иностранных архивах и библиотеках и изданы Археографическою комиссиею. СПб., 1848. № 81. С. 221–226.
6. Витебские губернские ведомости. 1858. № 42. 18 октября. С. 2–4.
7. День. 1860. № 15, 16.
8. Киевские епархиальные ведомости. 1862. № 6. С. 170–182.
9. Проекты об уничтожении греко-российского вероисповедания в отторженных Польшей от России областях / предисл. и публ. О. Бодянского // Чтения Императорского Общества истории и древностей Российских. 1862. Кн. 4. Разд. 3. С. 1–58.
10. Холмский греко-униатский месяцеслов на 1869 г. Варшава, 1869. С. 126–140.
11. *Слюнькова И.Н.* Проект уничтожения греко-российского вероисповедания, представленный в 1717 г. государственным чинам Речи Посполитой иезуитом С. Жебровским // Вестник Церковной истории. 2007. № 3 (7). С. 186–195.
12. *Беспярых Ю.Н.* Петербург Петра I в иностранных описаниях. Л.: Наука, 1991.
13. *Фоккеродт И.-Г.* Россия при Петре Великом / пер. с нем. А.Н. Шемякина // Неистовый реформатор: мемуары / И.-Г. Фоккеродт, Ф.-В. Берхгольц. М.: Фонд Сергея Дубова, 2000. С. 12–105.
14. *Массон Ш.* Секретные записки о России времени царствования Екатерины II и Павла I: Наблюдения француза, жившего при дворе, о придворных нравах, демонстрирующие незаурядную наблюдательность и осведомленность автора / вступ. ст. Е.Э. Ляминой, А.М. Пескова; подгот. текста и коммент. Е.Э. Ляминой, Е.Е. Пастернак. М.: Новое лит. обозрение, 1996.
15. А.В. Суворов: Документы. Т. 3. М., 1952.
16. Архив князя Воронцова. М., 1880. Кн. 12.
17. *Суворов А.В.* Наука побеждать // Александр Васильевич Суворов / сост., авт. вступ. ст. С.Н. Семанов. М.: Русский мир, 2000.
18. [Сегюр Л.-Ф. де] Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II [1785–1789]. СПб., 1865.
19. *Ségur L.-Ph. de. Mémoires ou souvenirs et anecdotes.* Т. 3. Paris, 1827.
20. *Ligne C.-J. de. Lettres et pensées.* Paris; Genève: J.J. Paschoud, 1809.
21. *Панченко А.М.* «Потемкинские деревни» как культурный миф // Русская литература XVIII – начала XIX в. в общественно-культурном контексте: XVIII век. Сб. 14. Л., 1983.
22. *Бильбасов В.А.* Князь де Линь в России. Ч. III // Русская старина. 1892. Т. 74. Апрель.
23. Из исторических записок Иоанна Альберта Эренстрема / сообщил Г.Ф. Сьоннерберг // Русская старина. 1893. Т. 79. № 7 (Июль).
24. *Лилес Форсия де.* Прогулки по Петербургу Екатерины Великой: Записки французского путешественника / сост. и коммент. А.Н. Спащанского. СПб.: Паритет, 2014.
25. *Potemkin der Taurier (Fortsetzung)* // *Minerva, ein Journal historischen und politischen Inhalts.* Hamburg, 1798. Bd. 2. Mai.
26. *Helbig G. von.* Potemkin, Ein interessanter Beitrag zur Regierungsgeschichte Katharina's der Zweiten, Leipzig, 1804.
27. *Helbig G. von.* Memoirs of the Life of Prince Potemkin. London: H. Colburn, 1813.
28. *Душенко К.В.* «Потемкинские деревни» и «фасадная империя» // Вестник культурологии. 2018. № 3.
29. *Fonteyraud A.* La vérité sur l'économie politique // *Journal des économistes.* Paris, 1848. Т. 21. N 85. 1 eraoût.
30. *Geheime Briefe, sozwischen curieusen Personen über notable Sachen der Staatsundgelehrten Welt gewechselt worden, bestehend in Zwölffunterchiedenen Posten, über das 1701 Jahrne bensteinem vollkommen en Register.* Freystadt, 1701.
31. *Lichtenhan F.-D.* La Russie d'Élisabeth vue par des diplomates prussiens // *Cahiers du Monde russe.* 1998. Octobre – decembre. Т. 39 (4). P. 445–469.

32. *Vockerodt J.-G.* Russland unter Peter dem Grossen. Leipzig, 1872.
33. *Cursory remarks made in a tour through some of the northern part of Europe, particularly Copenhagen, Stockholm and Petersburg* by Nl. Wrxall jun. London. 1775.
34. *Blamont, Masson de.* Memoirs secrets sur la Russie, et particulièrement sur la fin du règne de Catherine II et le commencement de celui de Paul I. Amsterdam, 1800.
35. *Fortia de Pile, A. T. de.* Voyage de deux Français en Allemagne, Danmarck, Suède, Russie et Pologne fait en 1790–1792. Paris: Desenne, 1796.
36. *Statsråd et Johan Albrekt Ehrenström* sefterlem nade historis kaantec kningarut gifnaaf S.J. Boëthius, Docent vid Upsalauniversitet. Upsala. 1882.

Аннотация. В статье раскрываются основные темы и тезисы европейской русофобии, обсуждавшиеся и публиковавшиеся немецкими, польскими, английскими и французскими политиками, путешественниками, религиозными и литературными деятелями XVIII столетия. Конечно, далеко не все иностранцы, побывавшие в России, возненавидели ее «всем сердцем». Скорее даже наоборот, многие, может быть, даже большинство иностранных наблюдателей оставили вполне благозвучные или, в худшем случае, нейтральные описания русской жизни, русской веры и русских характеров. Однако в политической реальности европейских государств чаще всего возобладали те, пусть и немногие, идеи и настроения, которые мы сегодня можем назвать русофобскими. К сожалению, в последующие столетия эти идеи и настроения только усилились.

Ключевые слова: русофобия, европейская русофобия XVIII в., история, политика, культура, Россия, Европа.

Sergey V. Perevezentsev, Doctor of Historical Sciences, Professor; Professor, History of Social and Political Doctrines Department, Faculty of Political Science, Lomonosov Moscow State University. E-mail: serp1380@yandex.ru

European Russophobia of the 18th Century: “The Huge Moscow State Will be Humiliated and Forced into Decent World”

Abstract. The article reveals the main themes and theses of European Russophobia of the 18th century, published by German, Polish, English and French politicians, travelers, religious and literary figures of the 18th century. Of course, not all foreigners who visited Russia hated it “with all their hearts”. On the contrary, Russian life, faith and characters were described quite favorably or, at worst, neutrally by many, perhaps even most, foreign observers. However, in the political reality of European states the ideas and sentiments, albeit few, that we can call Russophobic today, most often prevailed. Unfortunately, in the following centuries, those ideas and sentiments only intensified.

Keywords: Russophobia, European Russophobia of the 18th century, History, Politics, Culture, Russia, Europe.

Консерватор и республика: к вопросу о взаимоотношениях К.П. Победоносцева с французскими общественными деятелями в конце XIX – начале XX века

Примечательной особенностью идейной жизни России конца XIX – начала XX века был пристальный интерес, проявлявшийся К.П. Победоносцевым – влиятельным государственным деятелем, обер-прокурором Святейшего Синода, одним из столпов официального консерватизма – к общественно-политической жизни Франции. Знаменитый консерватор не только самым внимательным образом следил за публикациями в ведущих периодических изданиях III Республики. Он рекомендовал важнейшие из них своим соратникам по правительственному лагерю, направлял их редакторам и журналистам консервативных изданий – М.Н. Каткову, А.С. Суворину, П.И. Бартеневу, В.П. Мещерскому, Л.А. Тихомирову, А.А. Александрову – с призывом использовать данный материал в своих газетах и журналах. Основное сочинение Победоносцева – «Московский сборник», вышедшее во Франции в 1897 году под названием «Религиозные, социальные и политические вопросы. Размышления государственного деятеля» [10] – вызвало живой интерес у французской публики, выразившийся в многочисленных рецензиях. Отметим также, что обер-прокурор был избран членом-корреспондентом (1888) и действительным членом (1896) французской Академии моральных и политических наук, публиковался в печатных изданиях и в иных формах участвовал в общественно-идейной жизни III Республики. Чем же был вызван интерес высокопоставленного сановника к стране, основные начала государственного строя и политической культуры которой, казалось бы, полностью противоречили его воззрениям?

Во многом подобное явление было связано с тем, что российские консерваторы – и Победоносцев здесь был, пожалуй, самым ярким примером – часто обращались к анализу общественно-политической жизни Запада, стремясь предотвратить скатывание России к революции, ставшей столь частым явлением в странах Европы. Попытки внедрить в общественный строй России заимствованные с Запада институты, основанные на принципах секуляризма, индивидуализма, бессословности, формальной законности, разделения властей способствовали, по мнению консерваторов, развитию революционных тенденций. Дабы пресечь действие этих вредоносных процессов, следовало выявить, осмыслить их истоки, изучая ту среду, в которой они родились. Но, обращаясь к подобному анализу, российские консерваторы обнаруживали, что безусловно отвергаемые ими либеральные и леворадикальные идеи существуют на Западе в сложном взаимодействии и противоборстве с идеями консервативными, на которые сторонники сохранения традиционных порядков в России вполне могли опереться.

Подобный феномен, пожалуй, наиболее ярко проявлялся в идейной жизни Франции. Революционное действие здесь издавна вызывало весьма мощное консервативное

Полунов Александр Юрьевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений. Факультет государственного управления, МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: polunov@spa.msu.ru



противодействие. Осознав эту особенность общественно-политического развития западной страны, российские консерваторы могли ссылаться на ее пример, широко черпать из данного источника привлекавшие их идеи. Особенно это было характерно для Победоносцева, который в силу своей биографии (в прошлом – профессор Московского университета, известный ученый-правовед, сотрудник ряда периодических изданий) из всех государственных деятелей испытывал, пожалуй, наибольшую склонность к ведению идейной полемики по злободневным общественно-политическим вопросам.

Опора на традиции, интуицию и непосредственное восприятие в противовес рационализму, отстаивание религиозных начал в борьбе с секулярными тенденциями, культ патриархального общественного уклада – все эти установки, близкие его собственным, Победоносцев в изобилии мог найти у французских консерваторов, писавших, в частности, по проблемам народного просвещения. Подобная тематика была чрезвычайно близка российскому сановнику, поскольку организация образования, особенно начального (в форме церковно-приходских школ), была «ударной» частью программы его деятельности на посту обер-прокурора Святейшего Синода. Внимание российского консерватора привлекали концепции историка, социолога и педагога Эдмона Демолена (Edmond Demolins), который создал в провинции школу, основанную на религиозных началах, и сам преподавал в ней. Демолен с недоверием относился к современным педагогическим теориям, отвлеченным концептуальным построениям, и призывал деятелей народного образования опираться в процессе обучения прежде всего на практический опыт, непосредственное взаимодействие учителя с учениками [4]¹.

В статье Жоржа Гойо (Georges Goyau), опубликованной в журнале “Revue de Deux Mondes”, Победоносцев находил указания на разрушительные последствия секуляризации образовательной системы: после того, как в III Республике религиозные конгрегации, традиционно занимавшиеся школьным делом, были отстранены от этого вида деятельности, оно стало неуклонно приходить в упадок. Светская школа отрывает детей от привычной им социальной среды, подрывает влияние семьи, искажает здоровые основы мировоззрения детей, наполняя умы абстрактным книжным знанием, – все эти тезисы российский консерватор доказывал читателю, опираясь на сочинение писателя и критика Поля Бурже (Paul Bourget) «Социология и литература» [6, с. 212–217]².

Стремясь поставить на прочную основу критику западного парламентаризма в российских охранительных изданиях, Победоносцев, как отмечалось выше, регулярно направлял консервативным журналистам ссылки на французские издания и публикации в прессе, освещавшие темные стороны политической жизни III Республики. «Относительно системы парламентских выборов и их производства, в последнее время немало статей в иностранных журналах (за коими никто не следит у нас), – сообщал обер-прокурор Тихомирову 11 февраля 1895 года. – Только у нас имеющие очи не видят и имеющие уши не слышат и интеллигенция продолжает поклоняться фетишу конституции» [21]. Консервативный сановник руководил работой газетно-журнальных деятелей, давая им указания о том, каким образом готовить к изданию западные материалы, на что в первую очередь обратить

¹ Написано на основе сочинений Демолена «Новое образование» и «От чего зависит превосходство англосаксонского племени» [19, 20]. Перевод сочинений французского педагога Победоносцев подготовил совместно с С.А. Рачинским – своим ближайшим единомышленником, бывшим профессором Московского университета, который, как и Демолен, удалился в провинцию и стал преподавать там в созданной им школе. Программа церковно-приходских школ была разработана обер-прокурором во многом на основании идей Рачинского.

² Вопросам образования и воспитания был посвящен также ряд других изданий Победоносцева, подготовленных на основе сочинений французских авторов, в частности, публикация «Призвание женщины в школе и обществе» (1901), основанная на статье Стефана Лями в “Revue de Deux Mondes”.

внимание, за какими изданиями следить ("Revue de Deux Mondes", "Revue Internationale", "Le Constitutionnel", "Union Chrétienne" и др.). Уже в конце жизни, отправленный в отставку, но не смилившийся, Победоносцев взялся за перевод книги бельгийского правоведа А. Пренса «О духе демократического правительства», выявлявшей негативные стороны системы всеобщих выборов [17]¹. «Считаю эту книгу очень важной и очень полезным ее распространение в публике именно теперь, – писал российский консерватор своему единомышленнику, государственному и общественному деятелю С.Д. Шереметеву. – Книжка эта должна показать тем, кто в состоянии думать и понимать, какая бездна разверзается перед нами в нашем парламенте» [2, с. 20–21].

Разумеется, не только критика современной системы образования и парламентаризма находились в фокусе внимания Победоносцева при его обращении к реалиям французской жизни. Чрезвычайно важны для него были и обличения социализма (в частности, в трудах известного философа и социолога А. Леруа-Болье) [см. 22, л. 46], и выступления против разделения Церкви и государства. Материалы, посвященные последней теме и принадлежащие известному французскому проповеднику патеру Гиацинту Луазону, составили основную часть статьи «Церковь и государство» в «Московском сборнике». В целом, обращаясь к событиям общественно-политической жизни III Республики, публикациям французских ученых и публицистов, российский консерватор интересовался самыми разными темами и авторами. Но, безусловно, фокусом, на котором сосредотачивалось его основное внимание, были работы философа и социолога Фредерика Ле Пле и его последователей, создавших во второй половине XIX века своеобразную традицию научных исследований и общественное движение под названием «Школа социального мира» ("L'École de la paix sociale").

Ле Пле был примечательной фигурой, в биографии которого своеобразно отразились важнейшие тенденции интеллектуальной жизни и общественно-политического развития Западной Европы XIX века. Горный инженер по профессии, занимавший ряд высоких правительственных постов, видный ученый-социолог, Ле Пле сыграл значительную роль в организации промышленного производства во Франции. Столкнувшись с нарастающей остротой рабочего вопроса, французский государственный деятель выдвинул проект смягчения противоречий между рабочими и предпринимателями на основе усиления начал социальной опеки, дополнения характерных для рыночной экономики контрактных отношений элементами патриархального попечительства. Проникновение данных идей в Россию не было случайностью: с «империей царей» у французского инженера имелись прочные контакты. Еще в 1830-х годах он участвовал в экспедиции с целью изучения Донецкого бассейна, организованной известным промышленником А.Н. Демидовым, а в 1840–1850-х по поручению Демидова управлял его заводами на Урале.

Среди русских знакомых Ле Пле был влиятельный вельможа, крупный государственный деятель консервативного направления С.Г. Строганов, по словам Победоносцева, отзывался о французском ученом «с величайшим уважением» [5, с. 10]. Видимо, рекомендации Строганова, близко знакомого с будущим обер-прокурором, и подтолкнули последнего к изучению трудов основателя Школы социального мира. Российский консерватор тщательно штудировал сочинения Ле Пле, поддерживал с ним переписку², а в 1890-х годах опубликовал биографию французского мыслителя и перевод его книги «Основная конституция человеческого рода» [13].

¹ Перевод опубликован в 1906 году под названием «Всеобщая подача голосов».

² О своей переписке с Ле Пле Победоносцев упоминает в письме к издателю журнала «Русский архив» П.И. Бартеневу [23, л. 371]. К сожалению, сама переписка пока не найдена ни в русских, ни во французских архивохранилищах.



Большинство концептуальных построений Ле Пле и его последователей совпадало с идейными установками Победоносцева, вызывало его безусловное одобрение и активно использовалось последним для обоснования своих воззрений. Так, российскому консерватору глубоко импонировало утверждение французского мыслителя о том, что «начала общественного строя находятся в идеях, нравах и учреждениях частной жизни более, чем в писаных законах, так как частная жизнь характеризует общественную, и семья есть основа государства» [5, с. 8]. Представления о том, что семейно-патриархальные начала должны лечь в основу системы государственного управления, а изживание общественных недостатков достигается не переустройством учреждений, а воздействием на сознание, духовную жизнь людей стали подлинным *credo* Победоносцева. Во многом ими определялась специфика его положения в правительственном лагере и в консервативных кругах.

Выдвигая на первый план необходимость воздействия на внутренний мир людей, отдавая ему приоритет перед административно-законодательными преобразованиями, российский консерватор, естественно, очень высоко оценивал социальную роль религии, и в этом пункте он также весьма близко сходил с последователями Школы социального мира. Критика данными деятелями секуляризма, распространявшегося в странах Запада, вызывала всемерное одобрение обер-прокурора. «Каких еще можно требовать фактических доказательств того разорения, до которого дошли мы? – сочувственно цитировал российский консерватор восклицания Ле Пле в своей статье, посвященной биографии французского мыслителя. – Не ясно ли, что благосостояние нашего племени можно восстановить прочным образом не иначе, как утвердив его на двух непереносных основах: на Законе Божием и на родительской власти». Отказ от религии, подчеркивал Победоносцев со ссылкой на французских консерваторов, породил во Франции во время революции «дикие явления варварства, насилия и анархии». Сама же страна после революции «уподобилась дому, сложенному из сухих камней без цемента», поскольку цемент этот – религия – «разбит, и никто не знает, чем заменить его» [1, с. XLI, XXXVIII].

Безусловно отвергая секуляризм как принцип организации общественной жизни и солидаризуясь в этом с последователями Ле Пле, российский консерватор поддерживал последних и в их протестах против излишней государственной централизации, интервенционизма. Он сочувственно цитировал требования «ограничить вмешательство государства во все предметы, не входящие прямым образом в его компетенцию», предложения «в общине развить местную жизнь, привлечь всех граждан к интересу общинного управления». Одобрение Победоносцева вызывали и заявления Ле Пле о том, что на местах главную роль в управлении должны играть не государственные чиновники, а «авторитетные люди» (*autorites sociales*) – «люди дела и опыта, проводящие жизнь в деревне, изо дня в день занятые заботами о воспитании семьи своей и об устройстве быта зависящих от них людей» [5, с. 19; 1, с. XI].

На первый взгляд симпатия обер-прокурора к подобным декларациям звучала странно, учитывая безоговорочную защиту им принципа неограниченного самодержавия, утверждение жесткой вертикали власти. Однако здесь была своя логика. Победоносцев в данном случае выступал против реформирующего вмешательства правительственной бюрократии в традиционный общественный уклад, подобного тому, что имело место в ходе реформ 1860–1870-х годов и стало причиной, как считали консерваторы, серьезных социальных потрясений. По мнению обер-прокурора, самодержавие, оставаясь всевластным, должно было в социальном плане опираться на исторически сложившиеся общественные структуры и не позволять бюрократии затрагивать их основы. Подобные построения российского консерватора, как отмечалось выше, отчетливо перекликались с идеями его французских единомышленников. Возникла основа не только для идейного взаимодействия, но и для организационно-делового сотрудничества, и такая совместная

деятельность стала примечательной страницей истории общественно-политической жизни двух стран в конце XIX – начале XX века.

Деловые контакты консервативного сановника с последователями Ле Пле носили многообразный и разносторонний характер. Прежде всего обер-прокурор официально вошел в число сторонников Школы социального мира, став в 1888 году членом Общества социальной экономики (*Société de l'économie sociale*) – ключевой организации, созданной учениками французского социолога. Помимо Победоносцева членами Общества состоял ряд других русских подданных, в том числе видных сановников – посол России в Ватикане А.Г. Влангали, виленский генерал-губернатор П.В. Оржевский, варшавский губернатор барон Н.Н. Медем. В организацию они вошли явно по рекомендации обер-прокурора. Российский консерватор публиковал в журнале Общества *La Reforme sociale* свои статьи и заметки своего сподвижника С.А. Рачинского [18, р. 718–721; 15, р. 947–948; 16, р. 290–294], стремился как можно шире ознакомить русскую публику с данным органом и с другим изданием последователей Ле Пле “*Science sociale*”. «Это прекрасный журнал, к сожалению, у нас неизвестный», – писал Победоносцев Тихомирову 7 мая 1894 года, предлагая максимально широко использовать материалы данного издания в консервативном органе «Русское обозрение» [24, л. 39].

Пользуясь своим административным весом, российский сановник оказывал содействие французским последователям Ле Пле, приезжавшим в Россию с исследовательскими целями. В свою очередь, руководители Общества социальной экономики высоко ценили сотрудничество со своим высокопоставленным российским соратником и неизменно отзывались о нем с большим пиететом. «Дань уважения, – писал журнал “*La Reforme sociale*”, – оказываемая трудам Ф. Ле Пле и его школы человеком, сколь влиятельным, столь и просвещенным, не может не вызывать сильнейшего отзвука среди всех, кто стремится внести вклад в восстановление величия и процветания нашей родины» [7, р. 378]. Публицисты «Общества» всячески подчеркивали влияние обер-прокурора на государственные дела в России, указывали, что он – «один из самых приближенных советников императора» [8, р. 229]. На страницах органов Общества социальной экономики анонсировались и рецензировались сочинения Победоносцева, появлялась информация о его деятельности и сведения о России, которые он передавал в данные журналы.

В целом в 1890-х – начале 1900-х годов фигура российского консерватора – и благодаря его участию в деятельности французских общественных организаций, и в первую очередь в связи с той ролью, которую он играл в политической жизни России, вызывала самый пристальный интерес во Франции. Значительный резонанс, как отмечалось выше, породила публикация «Московского сборника», переведенного на французский вскоре после его выхода в России. Еще до публикации полного перевода газета «Фигаро» опубликовала отрывки из него как особенно важный и актуальный материал. Вызванный книгой резонанс выразился как в многочисленных рецензиях в ведущих французских изданиях, так и в откликах читателей – письмах Победоносцеву. Книга стала предметом обсуждения на заседании Академии моральных и политических наук в Париже¹.

Интерес к взглядам и деятельности российского консерватора проявился и в том, что целый ряд видных общественных и государственных деятелей, литераторов и ученых III Республики, знакомых с Победоносцевым лично или по публикациям, оставили отзывы о российском политике и его сочинениях. У части авторов – прежде всего придерживавшихся консервативных и консервативно-либеральных воззрений – критика российским

¹ Отклики на «Московский сборник» были собраны самим Победоносцевым и находятся в его фонде в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки [25]. Примечательно, что перевод книги организовал Л. Буржуа – крупный политический деятель, занимавший ряд постов в правительстве III Республики, а в 1895–1896 годах возглавлявший его.



сановником реалий общественно-политической жизни Франции и Запада в целом вызывала определенное сочувствие. Об этом, в частности, писал патриарх французской русистики А. Леруа-Болье, размышлявший над причинами, побудившими руководство России в 1880–1890-х годах избрать консервативный курс. «Наши свободы, которые подчас слишком тяжелы для слабых, и наша распущенность, грозящая подорвать всякую власть авторитета и традиций; наша демократия, жадная до власти, в своей погоне за новшествами и материальным благополучием бессознательно выставляющая напоказ свой наивный и грубый материализм; бесконечная политическая агитация, похожая на бесплодный водоворот; вся наша нестабильность, реальная и предполагаемая, напугали Россию и царя, – писал французский автор. – После долгих лет наивной веры в то, что подлинная цивилизация – это подражание нашим порядкам, часть русских, входящих в состав тончайшего образованного слоя, стали задаваться вопросом, не ведет ли в пропасть широкая дорога прогресса, указанная нашими политиками и мыслителями» [14, р. 57].

С этим мнением перекликались и другие отзывы во французской прессе. Так, общественный деятель и дипломат барон Адольф д'Аврилль в своей рецензии на «Московский сборник» сочувственно цитировал выпады обер-прокурора против основ современной западной культуры – безрелигиозного гуманизма, индивидуализма, рационализма. Он находил «суровыми и во многом оправданными» суждения российского консерватора о парламентаризме, выборном начале, свободы прессы и суде присяжных и соглашался с выводами Победоносцева о невозможности основать систему государственной власти и народного образования на исключительно светских началах [11, р. 525–528].

Ряд западных, в том числе французских авторов, встречавшихся с российским сановником, оставил благосклонные отзывы о его личности, чертах его характера. Примечательно мнение Эжена Мельхиора де Вогюэ, литератора и дипломата, автора выдающегося труда «Русский роман», в течение долгого времени состоявшего секретарем французского посольства в Петербурге. Суммируя свои впечатления от бесед с обер-прокурором, Вогюэ отмечал, что тот, будучи безусловным консерватором в сфере политической, являлся либералом в старом понимании этого термина, отличаясь пытливостью и чуткостью ко всему новому в художественной и интеллектуальной сфере. «Во время первой нашей встречи, – вспоминал литератор, – настроенный против него ходившими о нем легендами, я был ошеломлен, услышав отзывы о его любимых авторах, высказанные с величайшим жаром, отражающим свободу его духа» [12, р. 136]. По словам французского литератора, он мало знал русских, столь воспитанных и образованных, как Победоносцев. Сохранился и целый ряд других, столь же сочувственных воспоминаний об обер-прокуроре. Однако прочного взаимопонимания у российского консерватора с большинством французских современников в конечном счете так и не утвердилось. Это отразилось и на его взаимоотношениях с французским обществом в целом, и на особенностях заимствования им положений западной консервативной идеологии, которые он считал наиболее близкими к своим взглядам.

Прежде всего следует отметить, что авторы консервативно-либерального толка, сочувственно относясь к отдельным идеям Победоносцева и допуская частичную справедливость его выпадов в адрес политического строя стран Запада, все же не были готовы отказаться от основ этого строя и связанной с ним политической культуры. Это проявлялось в целом ряде замечаний, касавшихся обер-прокурора. Так, Вогюэ отвергал излюбленную идею российского консерватора о сходстве целей и глубинном единстве идеологии либералов и революционеров. По его мнению, реальные события свидетельствовали о другом. Именно убийство в 1881 году Александра II революционерами позволило консерваторам сорвать введение умеренного представительства и одержать победу над либералами. Встречавшийся с Победоносцевым посол Франции в России Морис Бомпар отмечал личную религиозность российского сановника, но в то же время утверждал, что на основе его идей

невозможно построить управление государством. Имелись в виду представления обер-прокурора о необходимости сосредоточить всю власть в руках самодержавия и его взгляд на общество как на исключительно опекаемое, несамостоятельное начало [9, р. 258].

Если говорить о взаимоотношениях Победоносцева с теми, чьи воззрения ему были наиболее близки, – консерваторах, прежде всего последователях Ле Пле, – то здесь также складывалась достаточно сложная ситуация. Нередко стороны, используя одинаковые и схожие понятия и словесные конструкции, вкладывали в них различное, а то и противоположное содержание. Так, для обер-прокурора «свобода местной жизни» означала прежде всего сохранение в неизменности традиционных, исторически сложившихся принципов общественного устройства, включая все их архаические черты, обеспечение гарантий того, что правительственные реформы не коснутся данной сферы. Западные же консерваторы, в том числе последователи Ле Пле, понимали этот лозунг существенно иначе – как призыв к развитию частной инициативы, общественных движений на местах. Само Общество социальной экономики и другие объединения последователей Ле Пле были в полном смысле слова общественными организациями – децентрализованными, основанными на негосударственной финансовой поддержке [см. 3, с. 208]. В России времен Победоносцева деятельность подобных структур подвергалась серьезным ограничениям.

Выступая против секуляризма, настаивая на значительной роли религии в жизни общества, сам Ле Пле и представители Школы социального мира в то же время последовательно выступали за веротерпимость, считали, что все конфессии в равной мере должны вносить вклад в обеспечение социальной стабильности. Такая позиция была неприемлема для Победоносцева, жестко отстаивавшего в России первенство православия. На практике это оборачивалось в «империи царей» ограничением прав неправославных исповеданий, а во многих случаях и гонениями на них. Подобная политика вызывала острую критику на Западе, в том числе и со стороны консервативных деятелей¹. Указанные моменты свидетельствовали о том, что идейные установки западных консерваторов далеко не всегда соответствовали тому варианту охранительной идеологии, который утвердился в России, а также реальной практике государственного управления, в том числе и образу действий самого обер-прокурора. Это делало ссылки Победоносцева на западные идеи далеко не всегда убедительными для русского общества.

В целом попытки обер-прокурора организовать кампанию идеологического воздействия на русского читателя, используя концепции европейских консерваторов, не достигла ожидаемых целей. Для значительной части общества они просто прошли незамеченными, способствуя утверждению расхожих представлений о Победоносцеве как о прямолинейном «душителе» и «гонителе», не учитывавших всю сложность воззрений обер-прокурора и проводимой им политики. Однако история этих попыток, как и восприятия российского сановника французским обществом, стала примечательным эпизодом истории рубежа XIX–XX веков, заслуживающим всемерного внимания исследователей.

¹ С такой критикой выступал, в частности, упоминавшийся выше барон д'Авриль [см. 11, р. 530].

Литература

1. *Ле Пле Ф.* Основная конституция человеческого рода. Изд. К.П. Победоносцева. М.: Синодальная типография, 1897.
2. «Мать мою, любимую Россию, уродуют»: Письма К.П. Победоносцева С.Д. Шереметеву // *Источник*. 1996. № 6. Письма от 31 июля и 6 августа 1906 г.
3. *Мондэй К.* Школа Ле Пле в России // *Финансы и бизнес*. 2008. № 1.
4. Новая школа: Изд. К.П. Победоносцева. М.: Синодальная типография, 1898.
5. *Победоносцев К.П.* Ле Пле. М.: Б.и., 1893 (оттиск из журнала «Русское обозрение»).
6. [*Победоносцев К.П.*] Плоды демократии в начальной школе (1906) / К.П. Победоносцев // *Сочинения*. СПб.: Наука, 1996.
7. *Bibliographie // La Reforme sociale*. T. XXI. Janvier – juine 1890 (livraison du 16 mars 1890).
8. *Blondel M.* Un livre de M. Pobedonostzev. Par M. Blondel // *La Reforme sociale*. Livraison de 16me juillet 1897.
9. *Bompard M.* Mon ambassade en Russie, 1903–1908. Paris: Librairie Plon, 1937.
10. *Pobedonostzeff C.-P.* Questions religieuses, sociales et politiques. Pensees d'un Homme d'Etat. Traduit du Russe. Paris: Baudry et Companie, editeurs, 1897.
11. *D'Avril A.* Pensees d'un homme d'Etat // *Revue des questions historiques*. 1898. T. XX.
12. *Vogue E.-M. de.* Un temoignage d'outre-tombe: Pobedonostzeff // *Les routes*. Paris: Bloud de Acad. et Cie, 1910.
13. *Le Play P.-F.* La Constitution essentielle de l'humanité. Exposé des principes et des coutumes qui créent la prospérité ou la souffrance des nations. Tours: Alfred Mame et fils, 1881.
14. *Leroy-Beaulieu A.* Etudes russes et europeennes. Paris: Calmann Lévy, 1897.
15. *Pobedonostzeff C.-P.* La lutte contre l'alcoolisme en Russie // *La Reforme sociale*. T. XXVII (livraison du 16 juin 1894)
16. *Pobedonostzeff C.-P.* La protection de la petite propriete rurale et le "homestead" en Russie // *La Reforme sociale*. T. IX (livraison du 1 mars 1890).
17. *Prins A.* De l'Esprit du gouvernement démocratique: Essai de science politique. Bruxelles; Leipzig: Misch & Thorn, 1905.
18. *Ratchinski.* La lutte contre l'alcoolisme en Russie: Mémoires d'un maître de l'école // *La Reforme sociale*. T. XXI (livraison du 1 mai 1891).
19. *Demolins, Edmond.* L'Education nouvelle. Paris: Librairie de Paris, 1897.
20. *Demolins, Edmond.* A quoi tient la superiorite des Anglo-Saxons. Paris: Librairie de Paris, 1897.
21. *Победоносцев К.П.* Письмо к Л.А. Тихомирову от 11 февраля 1895 г. // ГАРФ. Ф. 634. Оп. 1. Д. 113. Л. 50–50 об.
22. *Победоносцев К.П.* Письмо к Л.А. Тихомирову от 29 января 1895 г. // ГАРФ. Ф. 634. Оп. 1. Д. 113.
23. *Победоносцев К.П.* Письмо к П.И. Бартеневу от 25 сентября 1893 г. // РГАЛИ. Ф. 46. Оп. 1. Ед. хр. 585.
24. *Победоносцев К.П.* Письмо к Л.А. Тихомирову от 7 мая 1894 г. // ГАРФ. Ф. 634. Оп. 1. Д. 113.
25. ОР РГБ. Ф. 230. К. 4404. Ед. хр. 8–10, 12, 16, 18, 25, 31, 49.

Аннотация. Российские консерваторы часто обращались к анализу общественно-политической жизни Запада, чтобы избежать революции в России. Наиболее показательным и при этом сравнительно малоизученным здесь является пример К.П. Победоносцева – одного из наиболее влиятельных консерваторов своего времени. Такое противоречивое государство, как Франция, оказалась прибежищем не только принципов секуляризма, индивидуализма и других оснований западных институтов, но и мощного ответного движения французских консерваторов. Их идейные установки, такие как отстаивание религиозных начал и культ патриархального общественного уклада, находили живой отклик у Победоносцева. Основное внимание выдающегося русского консерватора было направлено на работы философа и социолога Фредерика Ле Пле. Благодаря участию российского консерватора в общественно-политической жизни Франции, его фигура вызвала значительный интерес в этой стране, проявлявшийся в публикациях таких деятелей, как Адольф д'Авриль, Жен Мельхиор де Вогюз и пр. Однако были и расхождения, в частности, по такому вопросу, как необходимость веротерпимости, что противоречило убеждениям Победоносцева. Несмотря на то, что его попытка воздействовать на русского читателя при помощи идей французских консерваторов в целом была неудачной, она заслуживает внимания исследователей.

Ключевые слова: К.П. Победоносцев, Ф. Ле Пле, консерватизм, либерализм, секуляризм, образование, самодержавие, религия.

Alexander Yu. Polunov, Doctor of History, Professor, Head, Department of Interethnic and Interdenominational Relations Management. School of Public Administration, Lomonosov Moscow State University. E-mail: polunov@spa.msu.ru

Conservative and the Republic: on the Issue of the Relationship Between K.P. Pobedonostsev and French Public Figures in the Late 19th – early 20th Centuries

Abstract. Russian conservatives often turned to the analysis of the socio-political life of the West in order to avoid revolution in Russia. The most illustrative and at the same time comparatively little-studied example here is that of K.P. Pobedonostsev, one of the most influential conservatives of his time. Such a contradictory state as France turned out to be a refuge not only for the principles of secularism, individualism and other foundations of Western institutions, but also for the powerful counter-movement of French conservatives. Their ideological principles, such as the defense of religious principles and the cult of the patriarchal social order, found a lively response in Pobedonostsev. The main attention of the outstanding Russian conservative was directed to the works of the philosopher and sociologist Frederic Le Play. Due to the participation of the Russian conservative in the socio-political life of France, his figure aroused considerable interest in this country, which was manifested in the publications of such figures as Adolphe d'Avril, Jean Melchior de Vogüé and others. However, there were also differences, in particular on such an issue as the need for religious tolerance, which contradicted Pobedonostsev's convictions. Despite the fact that his attempt to influence the Russian reader using the ideas of French conservatives was generally unsuccessful, it deserves the full attention of the researchers.

Keywords: K.P. Pobedonostsev, P.-F. Le Play, Conservatism, Liberalism, Secularism, Education, Autocracy, Religion.



Франция и Россия: надежды и разочарования

{ Раздел второй }

Пьер Паскаль
Крестьянка Русского Севера

Д.С. Житенёв, А.Е. Саньков
Образ России в новелле Пьера Дриё ла Рошеля «Двойной агент»

А.К. Камкин, М.И. Сигачев
Французские корни политического дискурса об идентичности и развитии идентаризма

А.А. Вершинин
Армия как зеркало французского консерватизма: русские надежды и разочарования полковника Эдмона Мандраса

Н.П. Таньшина
Восстание в Вандее 1832 года и русские надежды французских легитимистов

В.Э. Молодяков
«Авангард Европы в Азии» или «авангард Азии в Европе»? Анри Массис о России

Д.Т. Бабошин
Пьер Паскаль: французский католик в большевистской России

В.Э. Молодяков
«Опасный союз, чреватый сюрпризами и взрывами»: Жак Бенвиль о России и франко-русском союзе



Крестьянка Русского Севера [1]

Едва забрезжил рассвет, прошел, постукивая по барабанке, висящей на шее, пастух, как во всех избах встают с постелей матери семейств. Спят они всегда в одежде. Они берут подойник и спешат доить корову; если коров две, то старшая дочь тоже уже на ногах. Затем открывают дверь и ведут животное к окраине деревни, где пастух ждет общее стадо. Каждое утро минут двадцать как невозможно протолкнуться на деревенской улице, вся она полна мычания. После чего женщина возвращается в дом и приступает к исполнению своей самой важной домашней обязанности: она топит печь.

Русская печь представляет собой величественное сооружение: по длине, ширине она занимает около четверти комнаты; по высоте опечем уходит в пол и трубой возвышается над крышей. Ее свод простирается от двери и не доходит до окна; чело печи повернуто на улицу. В ней множество элементов: под продолжается свободной поверхностью (шесток), на которую ставятся горячие блюда; ниши (печурки) предназначены для щепы и небольших предметов; на боковой стороне ниши побольше позволяют сушить куски ткани, в которые закутывают ноги; снизу подпечье, где греются замерзшие зимой куры; сверху всегда постелено белье, там можно поспать в тепле и с удовольствием. Остающееся пространство между печью и окном занимает кухня: там находятся тарелки, стаканы, ножи, деревянные ложки; там же располагается всякая утварь: глиняные кувшины, чугунные кастрюли, ведро для мусора; в углу грубо сделанный стол и вдоль стены скамья. Еще есть маленький люк в полу, ведущий в подвал, где хранятся съестные припасы. В этом углу избы женщина – королева: три длинных шеста, оканчивающихся рогатками разных размеров (ухваты), с помощью которых она ставит и достает горшки из печи, – знаки ее власти. Еще крепкая свекровь не уступает молодой невестке эту символическую обязанность топить печь. Готовка еды и распределение припасов – не мужского ума дело. Даже коровой он распоряжается только в исключительных случаях ее болезни, покупки или продажи.

Вскоре в небо поднимаются две полосы дыма.

Прежде всего берутся за приготовление корма для скотины: помои, в которые сбрасывают остатки еды, корки хлеба, очистки овощей; все это солят, разбавляют водой и кипятят. Затем готовят семейный суп (щи) из картошки и капусты, свежей летом, кислой зимой, но без хлеба. Суп этот не плотный, как принято у французских крестьян. Если дома есть кусок мяса, его добавляют в суп. Второе блюдо – каша: очищенные от шелухи зерна гречихи или проса, приготовленные в воде или на молоке в глиняном горшке. Все помещается в глубь печи. Иногда подаются яйца. Все это – ужин. Печь – сооружение крайне практичное: еда, приготовленная утром, остается горячей весь день. Иногда пекут лепешки, на Масленицу – блины: они, конечно же, подаются и съедаются сразу же, пока их готовит

Паскаль, Пьер (1890–1983), французский филолог-славист, преподаватель, историк, переводчик; создатель школы славистов-русистов во Франции.



мать. Мучные блюда, пирожки с капустой, лапша – все это требует много времени и усилий: это праздничные блюда.

Тем временем надо бы подготовить самовар для завтрака: наполнить водой его пузатое тулово, подбросить немного угля в трубу, понемногу заполняя ее, установить на нее конфорку. Идеальная воздушная тяга. Вода кипит. Ее переливают в маленький чайник: когда-то пили чай, сегодня его держат для города, где есть нехватка в нем, а в деревнях выкручиваются, как могут. Хозяйки сушат лесную землянику или малину и пьют этот земляничный или малиновый чай. Когда земляники нет, ее заменяют сушеной морковью. Завтрак состоит из ложки молока с черным хлебом и нескольких стаканов чая. Мать семейства его подает, а после и сама быстро завтракает.

Пришло время обновить запасы воды: она идет к колодцу на деревенской улице в ста или двухстах метрах от дома. Она вешает ведро на цепь, свисающую с жерди, вращающейся между двумя столбами, быстро погружает его, достает, ставит на край колодца, повторяет ту же операцию со вторым ведром и размеренным шагом возвращается домой с двумя ведрами на коромысле, которое она несет на плече. Ходить за водой – дело строго женское, чуть ли не постыдное для мужчины: сынишка с неохотой окажет матери помощь в этом деле. Напротив, колодец – это место для встреч, где можно задержаться, пока соседка наполняет ведра или надевает их на коромысло, и обменяться с нею новостями. За четыре-пять ходок чаны, стоящие в передней, заполнены. Возможно, сегодня день, когда пекут хлеб: накануне вечером надо было замесить тесто и дать ему подняться. Теперь из него делают каравай и после того, как убрали всю золу, его помещают на большую деревянную лопату и выставляют на под, закрыв печь. Нужно подождать около двух часов. В это время наводят порядок, подметают, моют посуду, возможно, слегка приводят себя в порядок, присматривают за детьми. Тяжелая домашняя работа окончена. Не зря здесь встают ни свет ни заря.

Дети, по существу, не слишком обременяют: самый младший – в березовой берестяной люльке (зыбка), подвешенной на подвижном шесте к потолочному брусу; ему еще требуется грудь, но после того, как его покормят, если он кричит, то его успокаивают с помощью незатейливой соски из полого коровьего рожка. Поблизости всегда его старшая сестра, которая качает малыша и отгоняет мух. Если это первенец, то обычно помогает свекровь. Дети постарше бегают летом сами по себе босиком по двору, короткая рубашка едва прикрывает им спину от ветра. В шесть лет бойкие, до всего любопытные непоседы, они уже многое знают о деревенской жизни, сами заботятся о себе и помогают по мелочи. Позднее мальчики и девочки разделяются: первые переходят под руководство отца, вторые становятся помощницами матери. Материнство едва ли дает перерыв в повседневных заботах: крестьянка не знает отдыха во время беременности; когда она чувствует приближение родов, она топит баню, отправляется туда с бельем, ложится наземь и зовет деревенскую повитуху, естественно, без всякого образования. В бане жарко, в доступности кипяченая вода для мытья, так что процедура проходит в относительно гигиеничных условиях. Вместе с тем и помещение никак нельзя назвать грязным: те же соображения, до сих пор наблюдаемые у отсталых народов, должно быть, стоят у истоков той практики, согласно которой роженица рождает вне дома. Но русская крестьянка, родив, возвращается в дом и вновь принимается за хозяйство.

После всегда неизменных домашних забот начинается работа, которая различается день ото дня, в зависимости от времени года. Летом у женщины есть свои обязанности в поле: есть те орудия, к которым обычно она даже не прикасается, так как они требуют слишком больших усилий, – мотыга и коса. Но она управляет с граблями, которыми переворачивает в десяти километрах от деревни, в болотистой местности, перепрыгивая с кочки на кочку, покосенную траву, которую надо высушить; тяжелыми вилами

с тремя зубцами она заготавливает огромные, высотой в двух взрослых мужчин, стоги сена; серпом срезает пшеницу. В одиночку она связывает снопы и укладывает их в бабки по 12–15 снопов – так чтобы они не промокли под дождем: мужчина брезгует этой работой. Она укладывает навоз в полях. Она веет зерно, правит бороной. Там, где еще не внедрили молотилки, она даже помогает молотить цепом рожь, овес и гречиху. В одиночку она сажает, окучивает, пропалывает и собирает картошку. В одиночку она ухаживает за огородом, который располагается за домом, поливает его, пропалывает, собирает овощи. В этом разделении труда нет строгого разграничения. Если в какой-то области мужчины заняты, например, рубкой, извозом или сплавом леса, женщина тоже идет косить, пахать, сеять. Тогда и полевые, и домашние заботы взваливаются на ее плечи. На Украине можно увидеть, как она косит, в Подмоскowie – пашет; в местах озер, например, на севере Ленинградской области, где чаще передвигаются на лодке, нежели пешком, именно она всегда гребет. Все это делается без спешки, торопиться некуда, но без отдыха – за одной работой сразу следует другая.

Есть растение, целиком находящееся под ведомством женщины, – это лен со своими мелкими голубыми цветочками, изящным и хрупким стеблем. Его вручную вытаскивают с корнем в августе, сушат, в сентябре бросают в броснушке, околачивают колотушкой, чтобы получить семя, которое даст масло; стебли укладывают на траве до первого снега, в других местах мочат в реках. Позднее их толкут в мялке, треплют в трепалке, дважды прочесывают полученным таким образом волокна. С ноября до Великого поста женщины прядут на веретене, все зимние вечера посвящены этому занятию. Девочки начинают учиться этому в семь лет и с тех пор не перестают прядь по вечерам, распевая вместе с деревенскими ребятами песни в специально предназначенной для этого избе у какой-нибудь вдовы. Наконец на большую колотушку наматывается нить. Затем на станке ткut ту самую крестьянскую ткань, выдерживающую все трудовые испытания, после отбеливания из нее делают красивые и длинные полотенца, рабочие мужские рубашки и штаны, белье, грубые, но такие ценные пологи, которые защищают спящих от комаров. Именно женщина, всегда она, окрашивает ткань всевозможными минеральными или растительными красителями, которых не знают даже химики, но о которых ей рассказали ее мать и бабушка. Именно она шьет, чаще всего вручную, так как швейная машинка – большая редкость в деревне. Чтобы получить за год семь кусков ткани по 11 или 12 метров, нужно с учетом всех процедур после посевных работ, около 90 дней непрерывного труда. За такой кусок можно выручить максимум 5 рублей... Женщины об этом знают и жалуются на это. Это действительно парадокс деревенской жизни: работа идет себе в убыток, но можно одеться¹. Мужик тоже возделывает пшеницу, никогда не получая достойную пролитого пота оплату, но есть надо. На Юге, где лен не растет, женщина с еще меньшей выгодой обрабатывает коноплю. Там, где есть бараны, именно она их стрижет, прядет и ткет шерсть. Так что зимой, как и летом, есть свои заботы, и даже летом, казалось бы, в июньский перерыв между посевными и уборкой сена, слышна в избах непрекращающаяся работа.

В любое время года вечерние домашние хлопоты все те же: сходить за водой, подоить вернувшуюся корову, покормить цыплят, разогреть самовар, накрыть ужин, сотня других мелких забот, перечислить которые невозможно. В праздники животным и людям тоже надо есть: только полевые работы прерываются, было бы время. Стараются принарядиться, то есть надевают одежду, которую купили и к которой относятся крайне бережно; надевают туфли, волосы прячут в белый, а не темный платок. Ходят в церковь, которая иногда находится далеко, отстоять службу. А остаток дня остается свободным для ужина, можно

¹ Было бы совершенно иначе, если бы в этом деле полагались на государственную промышленность.



сходить в гости или принять у себя родственников, встретиться с кумушками. Женщины полностью свободно чувствуют себя только с женщинами, замужние женщины – только с замужними женщинами: их можно увидеть по шесть, семь, восемь на скамейке перед домом одной из них: они либо сидят молча, либо оживленно разговаривают. Девушки общаются между собой. Вечерами они берут друг друга под руки по три или четыре и ходят вдоль деревенской улицы, распевая смешные песни, часто изменяющиеся в соответствии с событиями. Парни тоже поют, не смешиваясь с девушками.

Праздники бывают часто, к воскресным дням прибавляются Рождество Господне и Рождество Богородицы, двенадцать апостолов, два-три дня празднеств престольных дней: деревня как когда-то не знала имперских праздников, так не знает и советские. Но все эти дни отдыха предваряет рабочий канун: каждую субботу и накануне праздников убираются в избе, моют дощатый пол, натирают до блеска самовар, протирают окна. К тому же в эти дни обязательно нужно сходить в баню. Баня – это деревянное сооружение, возведенное поблизости от ручья или пруда: ее тщательно огораживают, в ней есть кирпичная печка, которая нагревает огромный таз с водой. Топят печь, нагревают воду, которую переливают в одну или две бочки, сам таз остается полным. Жар держится долго, и все члены семьи ходят попариться, полежать на скамьях, а после омыться горячей, теплой или холодной – по желанию – водой. Наслаждение баней – уже преддверие праздника. На входе каждый оставляет в предбаннике, где более терпимая температура, свое грязное белье, а хозяйка приступает, пользуясь горячей водой, к стирке. Такие банные и постирочные дни случаются раза три за две недели: мало где сыщешь таких же чистых крестьян, как на Севере России, мало где жилье поддерживается в такой чистоте, в какой поддерживаются избы. Русская неопрятность – это абсолютно несправедливая выдумка, по крайней мере в отношении широких северных пространств.

Таковы ежедневные хлопоты крестьянки. Редко бывает, чтобы они скопом и всем своим грузом валились на одни и те же плечи. Как у отца есть сыновья-помощники, так и у матери – дочери, с которыми она делит свои заботы. Ясное дело, что женщина, которой не на кого оставить ребенка в люльке, принимает минимальное участие в полевых работах. У молодоженов работа не пыльная: у них меньше земли, потому меньше ртов, животных; баня может делиться с родственниками, нет самовара и т.д. Может при необходимости помочь в поле или по дому какая-нибудь родственница в обмен на услугу или, если таковой не нашлось, соседка, потому что взаимовыручка – обычай крайне почитаемый в общине. Но что точно, так это то, что крестьянка работает больше мужчины, и статистика это подтверждает. В 1923 году проводили исследование распорядка дня в Воронежской области среди 82 деревенских семей, и результаты анкетирования в этом южном, чисто сельскохозяйственном регионе совпадают с моими данными, собранными посредством прямого наблюдения в нескольких деревнях северной полусельскохозяйственной, полулесной зоны. Таким образом, если разделить весь день (за исключением праздников) на три части: работа, отдых и прием пищи, сон – окажется, что в среднем крестьянин работает 10 ч. 22 мин., отдыхает 5 ч. 48 мин., а спит 7 ч. 50 мин.; крестьянка же работает 14 ч. 4 мин., отдыхает 3 ч. 19 мин., спит 6 ч. 37 мин. В год крестьянка работает 4342 часа, а крестьянин – 3234! Речь идет о матери семейства: девушка, конечно же, спит больше – 7 ч. 47 мин., отдыхает больше – 4 ч. 13 мин., но работает не менее 12 часов, меньше по дому и больше в поле или занимаясь иными делами. Вызывающая смех точность этих цифр все же дает правдивую картину [2].

Доля крестьянки тяжела: это жизнь без конца в работе, почти без всяких развлечений. Даже зимой, когда мужик валяется на печке, она на ногах, за хлопотами, которые не ждут. Существует целая литература из песен, где лирично описываются ее тяготы. Поэт Некрасов правдиво сказал о ней: «ты вянешь раньше времени», выбитая из сил, роняет она в жбан кислый квас то ли пота своего, то ли слез, не разберешь. В 40 лет она

уже родила на свет десять детей, из которых в живых пятеро, у нее походка и морщины старухи, она и сама себя признаёт старухой. Ее сундуки иногда полны юбок, сарафанов, красивых шуб, а ходит она в лохмотьях; она потеряла страсть к нарядам. У нее нет на это времени, нет желания.

Следует ли из этого, как полагают некоторые, почитающие за революционность видеть во всем эксплуатацию, что женщина эксплуатируется главой семейства? Никким образом, поскольку плоды этой тяжелой работы идут на благо всей семьи, и этого достаточно, чтобы отвергнуть это обвинение. Но более того, русская крестьянская семья – это чудесный организм, где работа каждого индивида на коллектив предоставляет в то же время этому индивиду особые права. Хозяйка, столько часов жертвуя на заботу о животных или пряжу, заботится и о самой себе: все молочные продукты (молоко, масло, сливки), продукты с птичьего двора (яйца, пух), ткани принадлежат ей, они полностью в ее распоряжении: она может их менять, одеваться или одевать и наряжать своих дочерей. Это ее вполне конкретное право, так же как, с другой стороны, масляные семена льна или конопля принадлежат отцу. Все, что с таким прилежанием прядет или вышивает незамужняя девушка, – это ее приданое, которое в двух блестящих железных сундуках будет демонстративно на виду всей деревни перевезено в день свадьбы. Еще часть женской собственности: бесчисленные ягоды, собранные в лесах, сушеные грибы. Остатки семейных съестных припасов обменивают на нитки, иголки, булавки: таков обычай. В этом нет никакого эгоистического присвоения, ведь все это служит одновременно на благо всей семьи, но в этом есть определенная специализация, некоторая свобода для женщины распоряжаться этим имуществом. Можно ли вообще точно подсчитать прибыль и потребление в отношении каждого члена семьи? Нет, нет никакой эксплуатации одного другим. Но на всем этом лежит печать сурового закона трудовой жизни, скудно вознаграждаемой природой и еще меньше – обществом, почти безутешной, почти безрадостной.

В работах, где роль женщины вспомогательная, в поле, женщина – лишь исполнительница указаний мужа. Но уже на огороде она – полновластная хозяйка: она решает, что, когда и каким образом посадить; она распределяет трудовые обязанности между женщинами в семье. Еще больше это касается домашнего хозяйства. Хорошая хозяйка никогда не забудет к концу зимы припасти на лето льда в специально отведенном для этого месте в погребе. Она знает, когда и в каких количествах засолить капусту и огурцы, знает, когда забродит квас, какого варенья накрутить, когда вынести на свежий воздух зимнюю одежду, шубы и овчину, чтобы сохранить их в надлежащем состоянии. Она все делает так, чтобы ни продукты, ни усилия, ни время не уходили впустую: в своей области она полностью руководит всеми хлопотами. Сколько задач нужно выполнить каждый день! Роль хозяйки требует не только массы самых различных познаний, но и способность все просчитать, предвидеть, соотнести – за всем этим стоит подлинный ум. После такого не все ли равно, что чаще всего она не умеет читать в отличие от мужчины и что даже если до дома доходит газета, она в ней не видит никакого прока, кроме как для использования по хозяйству? Реальность предоставляет ей достаточно поводов для выражения своего мнения. Стоит ли говорить о таких ее добродетелях, как твердость, энергичность, уравновешенность, столь необходимых в хозяйстве, как и крепкое здоровье? От этих разных качеств хозяйки зависят по большому счету благосостояние семьи и его приумножение. Неумелая, ленивая и глупая женщина – это бедствие, без замедления ведущее к упадку и гибели.

Брак – это тоже дело чуть ли не всей жизни. Когда-то он планировался исключительно родителями, сегодня не без их участия. Смешиваются интересы и чувства: «Она отважная, разумная, не ворчит»; «Он не пьет, рукастый, с хорошим домом» – вот элементы, которые вполне открыто входят в составляющие части любви. Деревенские обычаи также окружили брак сложным церемониалом, который, по крайней мере частично, до сих пор присутствует

на Севере. Родители молодого человека отправляют представителей к родителям девушки, иногда приходят и сами – все это сопровождается большим количеством церемоний. Переговоры заключаются в кратких обменах иносказательными формулами: «У меня хороший товар... – У меня тоже, но я не тороплюсь с ним расстаться... – Не постареет ли!..» Если родители приходят к согласию, подружки девушки идут к молодому человеку, который их потчует, его же друзья идут к девушке. Они официально знакомятся. Вскоре образуется шествие к невесте, все поют, а отцы бьют по рукам в знак состоявшейся сделки. Затем празднуют в обоих домах. Накануне свадьбы подружки невесты поют вместе с ней жалобные, прощальные песни, расплетают ей косу, родители благословляют дочь и ведут ее в баню. Настал день свадьбы, все отправляется в церковь: девушка слышит суровое назидание, которое превосходным басом произносит дьякон: «Жены, повинуйтесь своим мужьям!». По возвращении ее сундуки перевозят в новый дом, а затем пируют. Молодоженов величают князем и княгинюшкой. Следующие несколько дней пиршество продолжается. Не делает ли из женщины такое количество церемоний драгоценное сокровище, с которым жалко расставаться и которое не обретают без некоторых гарантий? Не делают ли эти церемонии из женитьбы взаимное предприятие, обдуманное, общественное и заключающееся на всю жизнь, которое не может быть разорвано ни одной, ни другой стороной без бесчестия для себя?

Известно достаточно для понимания взаимоотношений между супругами. Наслушавшись слишком склонных к обобщениям путешественников или шутливых пословиц, их часто неверно трактуют. История о женщине, убежденной в том, что муж ее не любит, потому что не бьет, поговорки «Волос долог, да ум короток», «Курица не птица, женщина не человек» и другие такого же рода, грубые советы XVI века из «Домостроя» попа Сильвестра не соответствуют и, вне всяких сомнений, никогда не соответствовали реальности. Мужская особь всегда готова посмеяться или унижить на словах слабый пол. Но как мужчина может в самом деле презирать спутницу всех его забот, с начинаниями которой он должен считаться, без которой, одним словом, он не смог бы выжить? Женщина, показывающая себя на высоте своих обязанностей, уважаема своим мужем и общиной не менее, чем умный и трудолюбивый крестьянин. Если случается, что выпивший мужчина бьет жену и детей, то случай этот встречается не чаще, чем в городах или других странах, и вовсе никак не одобряется. Что бы об этом ни думали, это случай исключительный. В повседневной жизни муж и жена общаются друг с другом, советуются, обмениваются опытом и озарениями, подбадривают друг друга. Если «мужика» вот-вот охватит лень, «баба» поторопит его к работе, поругает его. Она знает о всех его делах, она его поверенная. Они не склонны часто обмениваться фразами, еще меньше словесными проявлениями чувств. На первый взгляд, их отношения могут показаться прохладными: но отец, больше всего на свете любящий своего младшего сына, и по отношению к нему открыто своих чувств не выражает. В деревне не принято, чтобы взрослый мужчина выражал свои чувства. Доказательством того, что женщина никоим образом не почитается увечной в силу своего пола, является тот факт, что она может стать главой семейства. Если отец умирает, а сын еще не дорос до того, чтобы его заменить, управление берет в свои руки мать. В обычное время для общины ее нет¹: но в отсутствие отца именно она представляет семью на собрании, у нее есть право голоса, и никто над ней не насмехается. Вдова почитается за главу хозяйства, пока ее сын не женится: только тогда она уступает ему свои права главы, а своей невестке – права по хозяйству.

Кажется, что великорусское деревенское общество наследует древнеримской концепции, выраженной в формуле: “Ubi tu Gaius, ego Gaia”², где ты – хозяин, там я – хозяйка.

¹ См. статью “La commune paysanne après la Révolution” в “Révolution prolétarienne” от 1 ноября 1928 года.

² «Где ты – Гай, там я – Гайя» (лат.) – Примеч. перев.

Существует разделение полномочий: наиболее суровые обязанности, воспитание сыновей, внешние отношения с одной стороны, хлопоты по хозяйству, воспитание совсем маленьких детей и дочерей, помощь в разных заботах – с другой. В доме есть две власти, в полномочиях у каждой – своя область: князь и княгиня, как величает народный обряд молодоженов. Но одна из них, власть отца, господствует, поскольку мужские полномочия охватывают большую часть как общественных, так и семейных дел. Женщина как хозяйка очага, находящая там равное мужчине достоинство, «равенство благосостояния и чести», – не это ли идея Прудона?

Но Революция прошла и свергла все эти старинные обычаи, призвав к равенству обоих полов на всех жизненных поприщах. Она сделала из крестьянки, не только матери, но и восемнадцатилетней девушки, избирательницу и избираемую на совете, члена общего собрания. Она разорвала непрерывность супружеских уз. Она освободила женщину от всякого порабощения... Все эти приведенные выше формулы обладают лишь декларативной ценностью. Спустя двенадцать лет в реальном положении деревенской женщины почти ничто не поменялось. С материальной точки зрения, поначалу ее жизнь даже стала еще тяжелее: сын или отец в Красной армии, а значит, как и во время мировой войны, ей в одиночку приходится разбираться со всеми обязанностями; остановка всего производства в период «военного коммунизма», а значит, ей пришлось вернуться к огниву для разведения огня, смоляным щепам для освещения, еще больше вышивать, чтобы всех одеть. Она не понимала, к чему ее присутствие на собраниях: не она член общины, а ее семья и именно отец – ее представитель. По указанию сверху в совет включили несколько женщин, но на практике совет больше почти не собирался. Остается свобода от супружеских уз. Но когда это новшество воспринимают всерьез, оно ведет, скорее, к катастрофическим последствиям: тяжелые заботы возлагаются на женские плечи, хитрые парни сообразили, как с помощью советского брака, который можно расторгнуть в любой момент, получить для себя бесплатную работницу. Сезон работ окончен и можно развестись – это возможно по требованию одной из сторон – а так как ребенка нет, все довольно просто. Так что родители и жених находят бесконечно более надежным старомодный брак: это единственный способ для женщины не превратиться во временную прислугу. Да и мужу не придется бояться, что по какой-то нежданной прихоти, место у его очага внезапно окажется пустым. Деревенское общество иначе жить и не может, только если не произойдет тотальный переворот, что навряд ли. Что касается полевых работ, то и здесь Революция, естественно, ничего не поменяла. Она никак не улучшила долю хозяйки. Она слегка затронула, скорее, девушку, отправив ее в школу, внушив ей чувство большей независимости по отношению к родителям, меньшей сдержанности перед парнями: и все же не стоит преувеличивать масштаб этого замечания. К тому же положение девушки скоротечно: наступает время, когда жизненные необходимости берут верх, и вчерашняя комсомолка, стоит ей выйти замуж, уже смеется над своими заблуждениями молодости и становится почтенной матроной подобно своей матери. Так и бывшие красноармейцы спустя два года возвращения в деревню сливаются с остальными мужиками, как и вообще всякое постороннее тело, всякая чужеродная идея лишь на мгновение баламутят поверхность этого необъятного и грозного океана деревни и русского леса – чтобы затем он поглотил их¹.

Москва, декабрь 1929 года

Перевод Д. Т. Бабошина

¹ Все это описание подразумевает северные регионы России: население там живет как за счет полей, так и за счет леса; оно лучше обустроено, но больше голодает, нежели сельскохозяйственные области; оно более привязано к традициям, но ничуть не отстает в интеллектуальном плане. Женская доля, в общем, кажется будто бы лучшей на Севере. Нет такого разделения на богатые, средние и бедные семьи (кулаки, середняки, бедняки). Очевидно, что конкретное положение хозяйки зависит от благосостояния семьи, но обязанности ее никак не отличаются.



Литература

1. *Pascal P.* La paysanne du Nord de la Russie // *Revue des études slaves*. Paris: 1930. Т. 10. P. 232–244.
2. *Струмилин С.* Бюджет времени рабочего и крестьянина в 1922–1923 гг. М., 1924. Диаграммы 2 и 3.

Аннотация. Статья «Крестьянка Русского Севера» (“La paysanne du Nord de la Russie”) написана французским славистом Пьером Паскалем в 1929 году и представляет собой зарисовку быта русской крестьянки. Тяжелая женская доля описывается автором в самых точных и конкретных подробностях. Одновременно с этим статья разоблачает укоренившиеся и существующие даже сегодня предрассудки о крестьянском укладе и семейных традициях. Пьер Паскаль видит в деревенской Руси подлинную Россию, которую не затронули революционные преобразования коммунистического правительства. Эта статья выдает в Пьере Паскале тонкого и внимательного наблюдателя, влюбленного в предмет своего изучения и умеющего фиксировать значимые детали быта и поведения и выводить из них сущностные черты конкретной общности. На русском языке статья публикуется впервые.

Ключевые слова: Пьер Паскаль, русская деревня, русский менталитет.

Pierre Pascal (1890–1983), French Philologist and Slavist, Lecturer, Historian, Translator, Founder of the School of Slav and Russian Philologists in France.

Peasant Woman of the Russian North

Abstract. The article “Peasant Woman of the Russian North” (“La paysanne du Nord de la Russie”) was written by the French slavist Pierre Pascal in 1929 and represents a sketch of the life of a Russian peasant woman. The difficult female lot is described by the author in the most precise and specific details. At the same time, the article exposes deep-rooted prejudices about the peasant way of life and family traditions that exist even today. Pierre Pascal sees in rural “Rus” the true Russia, which was not affected by the revolutionary transformations of the communist government. This article reveals in Pierre Pascal a subtle and attentive observer, who loved the subject of his study and was able to record significant details of everyday life and behavior and derive from them the essential features of a particular community. The article is published in Russian for the first time.

Keywords: Pierre Pascal, Russian Village, Russian Mentality.

Образ России в новелле Пьера Дриё ла Рошеля «Двойной агент»

В творчестве писателя и политического публициста Пьера Дриё ла Рошеля (1893–1945) темы России и русской идеи занимали особое место, к ним он обращался на протяжении всей жизни, начиная с самых ранних произведений. События и смыслы, связанные с Октябрьской революцией, Гражданской войной и становлением нового грандиозного советского проекта, притягивали мятежный ум французского автора, для которого разработка идеи обновления Европы и Франции (и как следствие – преодоление их упадка) виделась одной из главных задач публичной интеллектуальной деятельности. При этом, как справедливо указывал С.Л. Фокин, политические воззрения Дриё ла Рошеля формировались не только благодаря глубокому изучению научных трудов по истории, культуре, экономике тех или иных наций, но и в первую очередь через постоянное внимательное чтение тех произведений зарубежной литературы, которые были воплощением, как ему казалось, национального духа [1, с. 182]. Среди русских авторов французский писатель выделял прежде всего Ф.М. Достоевского, который в первой половине XX века стал важнейшей фигурой для европейской культуры (французской и немецкой в особенности). Но также справедливо было бы отметить, что Дриё ла Рошель, веривший в силу литературы, придавал большое значение и собственным художественным произведениям, в которых мог выразить несомненно большие смыслы, чем в политической публицистике. Он прямо подчеркивал превосходство литературы и культуры над политикой [1, с. 202–203]. По этой причине нам видится крайне важной как для понимания отношения французского автора к «русской теме» и коммунизму, так и его личных психологических мотивов, обусловивших политические поиски, новелла «Двойной агент» (*“L’agent double”*, 1935). Это единственное произведение Дриё ла Рошеля, действие которого разворачивается в России. Хронологически оно охватывает предреволюционные годы и события Гражданской войны. Биографы французского писателя Пьер Анрё и Фредерик Гровер называли это сочинение одним из текстов, который дает ключ к пониманию судьбы самого автора [2, р. 326]. И это отнюдь не случайно.

Новелла была написана Дриё ла Рошелем одной апрельской ночью 1935 года после ужина с Андре Мальро, с которым его связывала близкая дружба. Сам автор характеризовал новеллу следующим образом: «Это исповедь русского политического агента, очень в духе Достоевского, его безнадежно разрывает на части, потому что он чувствует себя одинаково преданным соперничающим мифам о пролетариате и царе, всем великим идеям, будь то реакционным или революционным. Он стал коммунистом не из идеологических

Житенёв Даниил Станиславович, заместитель заведующего Отделом редких книг Научной библиотеки РАНХиГС, главный редактор издательства Silene Noctiflora (г. Москва). E-mail: zhitenev.dan@gmail.com

Саньков Александр Егорович, директор центра культурно-просветительской деятельности Научной библиотеки РАНХиГС. E-mail: al.egor.san@gmail.com



симпатий, а вдохновившись вождем и “напористой силой, исходящей от всякого собрания мужчин”» [цит. по: 2, р. 326].

Тем интереснее, что для раскрытия своего весьма неоднозначного и парадоксального восприятия борьбы и единства идей, в том числе и в области радикальной политики, Дриё ла Рошель использует «русскую тему». Именно образ России, соединяющей в себе противоположности, возвышающейся, по мнению автора, над всякими оппозициями, демонстрирует ту самую «неизмеримость», о которой говорит главный герой «Двойного агента». Безмерность России, ее принципиальная несводимость к умозрительным человеческим конструкциям в области общественно-политической мысли, становится важной метафорой для выражения отношения автора к последним. Новелла представляется важным свидетельством восприятия России и русских французским писателем: «Россия – это и Царь, и коммунизм, и много чего еще <...> Русские – потому что коммунисты, но и коммунисты – потому что русские. Революция – не более, чем плоть от плоти народа, который ее совершает. И скоро вы поймете, что православие – тоже плоть от плоти русского народа. Двадцатый век не закончится, не став свидетелем странных примирений». Разумеется, это произведение, как и другие сочинения Дриё ла Рошеля, во многом носит если не автобиографический, то исповедальный характер. Главный герой становится проводником мысли автора, а в одном из действующих лиц, французском коммунисте Леаллере, легко угадывается Раймон Лефевр, друг юности Дриё, погибший в районе полуострова Рыбачий при возвращении в 1920 году из объятий пламенем Гражданской войны России. Ему Дриё ла Рошель посвятил одну из глав в книге «Мера Франции» (“Mesure de la France”, 1922) [3, р. 137–163], а также мысленно всегда связывал его образ с Андре Мальро [2, р. 328].

Новелла «Двойной агент» была опубликована в июльском номере «Нового французского обозрения» за 1935 год (“La nouvelle revue française”, №262), буквально за пару месяцев до приезда Дриё ла Рошеля в СССР по приглашению Андре Мальро. Позже это сочинение вошло в состав сборника «Неприятные истории» (“Histoires déplorables”, 1963), изданного посмертно.

В научный оборот в России фрагменты перевода этого произведения были введены С.Л. Фокиным [4, с. 97–105]. Мы же посчитали необходимым и полезным представить русскому читателю полный перевод новеллы «Двойной агента» Дриё ла Рошеля. Он выполнен по тексту сборника «Неприятные истории» [5, р. 111–122]. Выражаем благодарность А.В. Серебренникову (НИУ ВШЭ) за консультирование при работе над переводом.

Пьер Дриё ла Рошель

Двойной агент

– Никогда не знаешь, как все начнется, не так ли? Уже в гимназии... Вижу, вы спешите. И так, когда мне было восемнадцать лет, товарищи потащили меня на подпольное собрание. Там не было никого выдающегося, но была эта напористая сила, исходящая от всякого собрания мужчин, она всегда захватывала меня. Когда все взгляды устремлены в одну точку в пространстве, обнаруживая нечто, меня охватывает неудержимое волнение. Кровь приливает к голове, растворяя, разгоняя мое природное безразличие. Я покорен их мимолетной радостью.

Человек, говоривший в этой ничем не примечательной комнате, резко остановился. Он сидел на кровати, окруженный людьми, которые чуть ранее ворвались к нему: «Попался!» Один из них выложил револьвер на ночной столик рядом с часами. Все они сидели и безучастно слушали его. Почти сразу он продолжил:

– Разве идеи не трогают меня? Да, идеи меня трогают. Они трогают меня ужасно. Человеческие идеи – эти величественные боги, сочащиеся из человеческих жил, эти кровавые пары!

Короче говоря, тем же вечером я подошел к человеку, державшему речь, которого я воспринял как вождя, и чтобы доказать ему свою – и завоевать его – любовь, сказал: «Я коммунист. Положитесь на меня. Требуйте от меня все, что пожелаете». Мои слова были столь непристойны, что он косо посмотрел на меня. Обладал он проницательностью или нет, но заподозрил, что нечто ускользает от него в моем возбуждении. Он покачал головой и что-то недовольно проворчал.

Меня тем не менее подвергли испытанию, и вскоре в моем мужестве, моей преданности никто не мог сомневаться. Повсюду меня видели в первых рядах. Чрезвычайно быстро восприняв идеи, которые мне предлагались, я далеко ушел в их развитии. Я мыслил живо и последовательно. Более того, я говорил, и в речи мысль моя развивалась и разрешалась. Меня слушали.

Я говорил слишком хорошо, заходил слишком далеко. Некоторые чувствовали головокружение, следуя за мной в рассуждениях, приводивших к абсолюту, слишком близкому к небытию. Например, я доказывал, что обобществление женщин необходимо для того, чтобы задушить заразу собственности. Несколько раз я чувствовал на себе взгляд того, кто в первый день меня заподозрил и покачал головой.

Моя активность, однако, не ослабевала, и в один прекрасный день я был арестован охранкой. Несколько месяцев провел в тюрьме. Я уже страдал за идею и прежде; но муки одиночества опустошили меня. Эти месяцы тюрьмы привели к следующему эффекту: мне показалось, что в мою жизнь навсегда просочилась капля распада. Когда впоследствии я познал женщин, то стал почти привязан к жизни, но всегда наставал момент, когда я смотрел на них как будто издали, словно сквозь решетку.

По выходе из тюрьмы я вернулся к товарищам и тоже смотрел на них будто издали. Впрочем, я продолжил дела, словно ничего не случилось.

Еще одна перемена произошла в моем сознании в тюрьме: она касалась книг. С четырнадцати до восемнадцати лет я любил все книги. Каждая освещала меня своим лучом. И я, не задерживаясь, переходил от одного мнения к другому, словно от одного происхождения к другому в едином сне. С тех же пор, как я стал коммунистом, был длительный период, в который я был поглощен изучением этой доктрины. Я больше не читал ни правых визионеров, ни скептиков – скептиков от политики в целом – ни мистиков. Но в тюрьме я, наконец, вернулся к ним. Я вновь обнаружил в них прежнюю привлекательность, но, как ни обманывал себя, в глубине души она меня больше не соблазняла. «Это их талант, – сказал я себе, – на миг пленяет меня. Но им не поколебать того основания, которое я нашел».

Меж тем как-то раз на одном из наших собраний кто-то решительно заговорил о некоей организации крайних монархистов, набирающей влияние. В голову мне пришла идея составить о них собственное представление. Я был поражен тем фактом, что все мои товарищи, которые теперь выражали свою ненависть к этим одержимым из другого лагеря, спокойно и непринужденно мирились с полным своим незнанием их бытия.

Я стал размышлять о том, как бы лучше узнать этих противников, столь далеких и вместе с тем близких, которых, без сомнения, я каждый день встречал на улице. И тут же я выказал удивительную способность, осознал которую много позже.

Мне не потребовалось много времени, для того чтобы благодаря новым товарищам попасть на собрание Черной сотни. Я был поражен, что мне с величайшей легкостью позволили присоединиться к этому весьма интимному кругу. Тогда я не думал, что эту легкость во многом обеспечили мои несравненно изворотливые речи.

Там был человек, говоривший как уважаемый учитель. Это был поп. Явно выходец из народа, он худо-бедно обладал какой-то грязной и путаной культурой, в которой семинарское образование перемешивалось со знанием некоторых довольно необычных современных авторов. Но он обладал еще и даром какого-то тяжеловесного красноречия.



Он внезапно возгнетал огонь. Я сразу ощутил искры на своей коже, – и целый мир, погребенный во мне, задрожал.

Спустя мгновение я с ужасом обнаружил уже не тихое волнение, но стремительную и всеобъемлющую вспышку откровения. Я оглянулся вокруг на эти лица, которые, как мне казалось, я ненавидел. Они по-прежнему казались мне безобразными, отвратительными. И все же что-то освещало их, освящало.

Я почувствовал с ними такую близость, что устыдился своего притворства. Я сбежал при первой возможности, проявив внезапную холодность, встревожившую их. Потрясенный я бродил по улицам. Я ощущал, как все во мне пошатнулось. Смутное предчувствие собственной гибели охватило меня.

На следующий день я вновь был среди моих товарищей-коммунистов. Я смотрел на них вдвойне отстраненнее, чем по выходе из тюрьмы. Но в то же время с напряженным любопытством, словно видел их впервые. Я коснулся руки одного, другого – с изумлением и радостью.

Мы спорили. Я держался злым, язвительным критиком. Одно за другим я уничтожал все аргументированные мнения. Так, что товарищи, чувствуя, как земля уходит из-под ног, умоляюще смотрели на меня с отчаянием в глазах. Иные же стали негодовать, ропща на мой нрав. В конце концов я увидел, что причиняю зло, и замолчал.

Я стал говорить реже, я слушал. А яд проникал в мое сознание. Никогда больше я не нападал на обоснованные суждения, но все великие идеи, живостью которых я прежде так страстно наслаждался, поблекли. Разве не было у них сестер, рожденных из той же персти, которые были бы ценны по крайней мере столь же, сколь и они?

Тем не менее я продолжал методично и остервенело работать на благо партии. Мои свершения громоздились гряда за грядой. И вместе с тем в свободное время я без боя сдавался тому чувственному любопытству, которое влекло меня к нашим врагам.

С ненасытным сладострастием я читал Достоевского, Библию, Розанова. Я ходил по церквам. Я упивался духовной музыкой, таинствами, фимиамом, золотом на стихарях. Я насыщался всей этой красотой. Наконец, я жаждал женщин, мещанок ли, дворянок – набожных, неистовых.

Опустошенный ощущениями и желаниями, я возвращался в наши голые спальни, к нашим бедным тужуркам, скромному теплу наших сердец, власти наших общественных построений. В меня вселилась переменчивость.

*

Так могло бы продолжаться еще долго. Но однажды, в церкви, я повстречал того самого попа. Он был молод, могуч, гадок. Он обладал пошлой мужественностью и мечтательным взглядом. О, эта мечта! Мечта – столь простая, столь свежая. Он мог видеть священное, из плоти и золота: Господа в муках, Императора во славе.

Едва он почувствовал что-то в моей душе, я открылся ему. И вновь то чувство, которое было у меня с вождем коммунистов: я хотел любить, быть любимым. Я был очарован этой новооткрытой любовью, царившей в другой части вселенной. Грех проникает всюду.

Долго я слушал этого одинокого человека, говорившего со мной в своей маленькой убогой комнате, в которой было несколько книг, иконы и грязная тарелка. Он увлек меня своим пылом, самоотверженностью, фанатизмом.

Он дошел до того, что ненавидит. Он говорил мне о моих друзьях, о том зле, которое они несли, которое причиняли. Глаза его широко раскрылись. Из голубых они превратились в почти белые. Как небо, когда летишь на аэроплане – это уже не то небо,

которое видишь с земли; это небо, посреди, внутри которого, ты находишься. Он бледнел, он дрожал. Его уста и руки приблизились к моим устам и рукам. Руки его схватили мои руки. Он остановился на минуту, на целую минуту. Затем торжественно произнес низким своим голосом:

– Мир может рухнуть. Дьявол силен. Бог не может умереть, но Его творение может умереть у Него в руках. Бог не может пострадать. Но Христос может быть унижен так, как Он еще не был унижен. Мы должны прийти Ему на помощь. У Него есть только мы. Мы должны удержать мир.

Волна напряжения пробежала по моим нервам. Чувство бесконечной ответственности оживило меня. Я все понял. Я воскликнул:

– Я сделаю все, что вы пожелаете!

Я пал к его ногам. Так я стал развратником духа.

*

Так я стал шпионом.

Поп уже понимал, как он может меня использовать, в какой хитрый план нужно встроить мою сугубо деликатную работу. Вскоре он сообщил мне, что я должен отправиться в Сибирь.

Я был арестован полицией, брошен в тюрьму и выслан под конвоем. Несколько недель спустя я уже обитал в самых сокровенных помыслах великих ссыльных вождей. Предавая их, я смог снова полюбить и оценить коммунистов. Я вновь обрел согласие, но, правда, не с идеями, а с самой жизнью коммунистов того времени.

С тех пор я мог полностью существовать в двух мирах. Переходил из одного в другой без стеснения и помех, мгновенно скользил от одного к другому – коммунистическая жизнь, православная мысль.

У меня, двоеженца, было две любви. Душа может быть полностью разделена в себе самой. Я служил Богу и дьяволу. Потому что дьяволу я служил тоже! С самого начала я предавал попу ради вас так же, как и вас ради него. Вы прекрасно знаете, что я оказал неоценимые услуги вашему делу в этот последний час – вам, моим врагам. Секретные отчеты в Центральный комитет были столь же плодотворны, сколь и записки в Священный Синод.

На деле, в те времена первые были даже в приоритете. Из двух идей, которым я служил, одна какое-то время, конечно, должна была быть сильнее другой. Так что, по-видимому, это та, которую я одобрил лучше всего.

Но, скажу я вам, на самом деле ничто никогда не исчезает. Не только никакая духовная энергия, но и само воплощение мысли никогда не исчезает. Я обнаружил у немцев, у американцев слово в слово все, что сам излагал в копеечных тетрадках, которые подбрасывал я до самых высоких тайн православия.

Благодаря своей склонности и умению проникать в следствия идей, я пророчил, я предвосхищал. Широко сеял свое двойное знание. Реакционеры пользовались этим так же, как и революционеры. Не знаю, что случилось с моими копеечными тетрадками. Говорили мне, что они не пропали и что какой-то плутоватый князь, таксист, торговал ими вразнос и нашим, и вашим. Неважно. То, что помыслили однажды, помыслят снова. Если это могло быть, то может быть вновь. Все непреложно.

Один из врагов ухмыльнулся. Человек вскочил и вскричал пронзительным голосом:

– То, что вы принимаете за сомнительное тщеславие сочинителя – это затаенная гордость Сибиллы, художницы из художников, – и она прекрасно знает, почему все, что из нее исходит – двояко! – *Тотчас же он продолжил с саркастическим спокойствием* – Но давайте перейдем к тому, что вас интересует больше всего.



*

Во время войны я был солдатом. Я был счастлив, я служил. Кому? Царю? Возможно. Святому Православию? Вероятно. России? Да.

Скажите ли вы мне сегодня так же, как сказали бы десять лет назад, что «Россия ничего не значит, страна – или ничто, непаханая земля, или только идея. Россия – это или Царь, или коммунизм»? Но нет, отвечу я вам, опираясь на весь свой жизненный опыт; да, на опыт и моей жизни, и вашей. «Россия – это и Царь, и коммунизм, и много чего еще». Россия – это я. Мы с ней бесконечно превосходим все движения, всякую точку зрения. Вы говорите, что я – двойной, но нет, я – неизмеримый...

Но давайте не будем отвлекаться. Я продвигаюсь медленно, как будто мне страшно. Возьмите револьвер – может, я пойду быстрее. Мне интересно, почему вы меня слушаете. Не любопытно ли вам, часом? Или вы впервые вполне узнали себя в этом двойном зеркале, которое я держу перед вами? Русские – потому что коммунисты, но и коммунисты – потому что русские. Революция – не более, чем плоть от плоти народа, который ее совершает. И скоро вы поймете, что православие – тоже плоть от плоти русского народа. Двадцатый век не закончится, не став свидетелем странных примирений.

Итак, в 1918 году я оказался в Мурманске, занятом союзниками. Вновь как секретный агент – белых и красных – я был занят делами всех русских людей. Однажды я узнал о приезде того самого человека, за которого вы пришли отомстить. Хорошо, что на этой истории я умру, поскольку она самая деликатная из всех, завязка и развязка которых были в моих руках – обеих моих руках – правой и левой.

Почему самая деликатная? Этого человека, угодившего мне в руки, я любил, восхищался им. Еще одного. Ах, в своей жизни я любил, много любил. «Это-то тебя и сгубило», – скажет глупец. Но для таких людей, как я, гибель и спасение – одно и то же.

В этом иностранце, французе, столь плохо говорившем по-русски и едва ли лучше по-немецки, я с первой минуты разглядел сокровище. Я свое дело знаю и знаю, что такое вождь. В обоих лагерях они одной и той же породы. Я говорю о тех лагерях, где можно повстречать породу вождей: коммунистических и фашистских. Я не говорю о мутном мирке демократов, где заправляют усатые певички, всегда готовые, сбросив с себя бремя, уйти в отставку.

Леаллер был вождем. В двадцать пять лет. Это было ясно. Он был собран, обладал необходимым талантом. Он примерял все мировые проблемы ко всякой минуте своей частной жизни. Каждая минута его жизни имела значение. Он знал, что только по коридору его судьбы может пройти толпа возможностей. История свершается лишь в нескольких людях. Есть лишь один театр, действующих лиц мало, статистов мы даже не видим. Это еще одна причина, по которой я рад, что отказался от собственного достоинства.

Леаллер спешил отыскать нелегальный путь отплытия в Европу, в поисках которого и прибыл в этот Богом забытый порт, бывший в ту пору одним из выходов в мир, подступы к которому я, Цербер, стерег всеми своими головами. Отправляясь во Францию – в ту Францию 1918 года, свирепость которой мы преувеличивали, но которая, однако, еще не вовсе уснула, – отправляясь с тем исключительным преимуществом для политика в тогдашней Европе, знанием новой России, со своим гениальным красноречием, потребностью в немедленном и изнурительном риске, тактической быстротой, он мог нанести сильный удар. Я, если угодно, верю в великих людей. Говорю «если угодно» потому что, видит Бог, в обыденности, вне своего дела, они едва ли замечательны. У этого вот были тщеславные стороны, подлые тики европейской культуры. Но он был так молод! Он был первозданным гением – невежественным во многом, но блистательным трижды на дню.

Я проводил с ним часы напролет. Иногда он, скорее из предчувствия, чем от недоверия, смотрел на меня косо. Но и спустя долгое время он не мог сформировать обо мне окончательного мнения. Судим ли мы о земле, которая у нас под ногами? Бескрайняя священная земля, питаемая кровью людей, воинов! Он не мог опасаться меня больше, чем всей этой России, столь чуждой ему, так тяжело давившей на его сильные плечи, суровое послание которой он нес своей стране.

Мы ждали определенного корабля, который его вывезет. Корабль этот, как только выйдет в открытое море, должен был быть потоплен по одному моему слову. С восхищением и нежностью я смотрел на добычу в своих руках. Гениальность, высокое предназначение, настоящее чудо природы!

Колебался ли я? Я никогда не колебался и не сомневался. Я всегда верил сразу во все. Бога и дьявола я совмещаю в своей душе.

Раз уж он оказался в моих руках, значит, должен был погибнуть. Моим тогдашним долгом было как можно чаще предавать тех, кто находился в моей власти, – красных, с которыми я всегда жил. Я предпочитаю мысль белых, но жить всегда мог только с красными. С Марксом в кармане и невыразимым русским ладом в сердце.

Когда я впервые увидел Леаллера, сильнейшее сочувствие заставило меня протянуть к нему руки. Я благословил свою жертву. Так эта великая судьба, как и многие другие, должна была прерваться в первых сынах. Немногие великие достигают своего расцвета. Я привык к кровопролитию. Но никогда я не испытывал таких сердечных мук, как в случае с Леаллером. В этом мире резни и пожаров, полном гнусных засад и гибельных провалов я прожил свой час тяжелейшей смертельной скорби. В Гефсиманском саду двое кропили землю кровавым потом – Иисус и Иуда.

Я совершил чудо, чтобы скрыть от него будущее и заменить этому молодому мученику всех фанатиков, которых ему не достанет. Когда корабль, на который я указал сторожевым судам белых, отошел от причала, я – лучше, чем целая толпа – одним взглядом и окриком дал ему понять, что он во веки веков освящен чаяниями мира.

*

Человек прервался и испытующе оглядел воспаленным взором всех, кто был вокруг него, и чье холодное внимание постепенно сменилось своего рода оцепенением. Затем мягко продолжил:

– Что ж, полагаю, что сказал достаточно. Думал, что умру, так ни с кем и не поговорив. Палач, в конце концов, – лучший духовник. Убейте меня, я ваш главный враг. Не классовый враг, как могли бы сказать иные ваши дураки или лицемеры, и не враг партии. Я враг вашего дела, вашей политики. Я нахожусь на уровне проблем, которые вам недоступны, в лабиринте, в который вы никогда не ступали. Я с женщинами, детьми, стариками, животными, растениями – вопреки вашей разверстке. Я вне общества, я – в самой природе. Я – орудие солнцеворотов. И вот грядет время, которое оправдает меня, – когда примирятся Святая Русь и Коммунизм. Я могу умереть. Теперь, когда вы стали совсем как я, вы можете меня убить.

И все же я любил то, чем грезил в каждом поступке: я любил идеи, все человеческие идеи! С изумлением и отзывчивостью отцовской рукой лелеял я равно миф о пролетарии и миф о царе. Разрываемый на части своими братьями, я все же не был никому чужд.

Может, мне следовало стать пастырем, и каждое утро давать хлеб и вино, в которых умирает и воскресает Господь.

Убейте меня, наконец. Я вечен.

Он замолчал.



*

Мужчины в комнате вострепнулись. Тот, кто был у них главным, поднялся и поставил револьвер к животу этого чудовищного путаника:

– Ты, псина...

Перевод А.Е. Санькова под редакцией Д.С. Житенёва

Литература

1. Фокин С.Л. Фигуры Достоевского во французской литературе XX века. СПб.: РХГА, 2013. 396 с.
2. Andreu P., Grover F. Drieu la Rochelle. Paris: La Table Ronde, 1989. 599 p.
3. Drieu La Rochelle P. Mesure de la France. Paris: Grasset, 1922. 163 p.
4. Фокин С.Л. «Русская идея» во французской литературе XX века. СПб.: Издат. дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2003. 211 с.
5. Drieu La Rochelle P. Histoires déplorables. Paris: Gallimard, 1963. 256 p.

Аннотация. Авторы впервые вводят в научный оборот полный текст перевода на русский язык новеллы «Двойной агент» (1935) французского писателя и политического публициста Пьера Дриё ла Рошеля (1893–1945). Это единственное его произведение, действие которого разворачивается в России. Данное сочинение ярко отражает как отношение автора к России и «русскости», так и сложное восприятие им общественно-политических течений современности, роли интеллектуала как актора в процессе их разработки и осмысления. Новелла была опубликована накануне визита Дриё ла Рошеля в СССР и служит важным свидетельством идейного поиска писателя межвоенной эпохи.

Ключевые слова: Пьер Дриё ла Рошель, французская литература, коммунизм, православие, Россия, Гражданская война в России.

Daniil S. Zhitenev, Deputy Head, Rare Books Fund of Scientific Library, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), Editor-in-chief of Silene Noctiflora Publishing House (Moscow). E-mail: zhitenev.dan@gmail.com

Alexander E. Sankov, Director, Cultural and Educational Center, Scientific Library, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA). E-mail: al.egor.san@gmail.com

The Image of Russia in Pierre Drieu la Rochelle's "Double Agent" Novel

Abstract. For the first time the authors introduce in scientific use the full text of the Russian translation of the "Double Agent" (1935) novel by Pierre Drieu la Rochelle (1893–1945), French writer and political publicist. This is the only work by Drieu la Rochelle, which action takes place in Russia. This piece vividly reflects both the author's attitude towards Russia and Russianness, as well as his complex perception of the socio-political trends of his time, the role of the intellectual as an actor in the process of their development and comprehension. The novel "Double Agent" was published not long before Drieu la Rochelle's visit to the USSR, it served as important evidence of the ideological search of the interwar French writer.

Keywords: Pierre Drieu la Rochelle, French Literature, Communism, Orthodoxy, Russia, Russian Civil War.

Французские корни политического дискурса об идентичности и развитии идентаризма

Развитие идентаризма как идейно-мировоззренческого направления берет свое начало во Франции в конце 1960-х годов. Предтечей идентаризма является движение «новых правых», которое возникло как реакция на события «красного мая» 1968 года. «Новые правые» группировались вокруг двух основных центров: Группы исследования и изучения европейской цивилизации (GRECE), основанной в 1968 году и возглавляемой Аленом де Бенуа, и клуба «Орлож». В GRECE в период наивысшего пика ее активности в 1970–1980-х годах входило более 500 интеллектуалов, которые издавали несколько журналов, в частности «Элементы» (Элементы европейской цивилизации), основанный в 1973 году [10, с. 85], в котором авторы пытались сформулировать принципы панъевропейской идентичности, раскрыть культурный код древнего наследия европейских народов.

Следует отметить, что «новые правые» отвергали традиционное «жесткое» деление на левых и правых, при этом журнал и его авторы придерживались определенной идеологической линии, основными моментами которой были критика либерализма, недоверие к США и их политике, неприятие культуры общества потребления, которое насаждалось как раз «мягкой силой» США [17]. Не в последнюю очередь под воздействием левых выступлений 1968 года Ален де Бенуа и его соратники пытались проводить параллели между коммунизмом и нацизмом как двумя тоталитарными, с их точки зрения, идеологиями [2, 7]. Сам де Бенуа и его сподвижники активно продвигали тему неоязычества и уделяли также большое внимание аспектам охраны природы, поскольку это позволяло охватить широкую аудиторию и отчасти выйти из-под критики идеологических оппонентов.

Как отмечают исследователи западной, в том числе французской, консервативной философии, радикально-коммунитарная модель культурного консерватизма нашла отражение в работах некоторых континентальных философов-консерваторов. Одним из наиболее ярких представителей этого течения является уже упомянутый выше Ален де Бенуа – один из основоположников французских «новых правых». Несмотря на то, что он разделял консервативные идеалы, был противником эгалитаризма и выступал против культурного либерализма и прогрессизма, его методы достижения консервативных целей отличались от тех, что предлагались правыми либертарианцами. Там, где либертарианцы видели условие для поддержания порядка – в свободе, рынке и собственности, – Бенуа усматривал главную причину разрушения традиционного общества. Ценностные установки, порожденные капитализмом, такие как прогресс, развитие, успех, индивидуализм и права человека, французский философ считал источником разрушения органических связей, традиций, коллективистского альтруизма и естественно сложившихся иерархических систем [14, с. 203].

Камкин Александр Константинович, Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук. E-mail: alexander.kamkin@yahoo.com

Сигачев Максим Игоревич, Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук. E-mail: maxsig@mail.ru



Радикализм А. де Бенуа выражается в нескольких основных постулатах. Во-первых, он призывает к радикальной переориентации культурной политики европейских государств, возрождению традиций и обычаев, отказу от ценностных установок капитализма (погоня за прогрессом, экономическим ростом, абсолютизация материалистических целей). Это невозможно без устранения культурной гегемонии либерализма. Культура рассматривается как арена борьбы между различными ценностными системами. Во-вторых, Бенуа предлагает внедрение принципа этноплюрализма в политику европейских государств как альтернативы мультикультурализму. Ценностная переориентация должна сопровождаться изменением политики решения глобальных проблем, вызванных глобализацией экономической деятельности. Он предлагает переход к локальной политике, поиску решения проблем на местном уровне и снижению влияния международных институтов. Это, по мнению Бенуа, может привести к эффективному решению проблем возрождения социальных связей, восстановлению культур малых сообществ и решению экологических проблем. Культура и ценности капитализма рассматриваются как угроза, создающая риски для нелиберальных обществ и их традиционных институтов. Бенуа видит в этом источник основных культурных, социальных, экологических и политических проблем, считая, что политика отходит на второй план под натиском экономики [14, с. 204].

Следует отметить чрезвычайно широкий спектр идей, которые выдвигали французские новые правые. При этом они порой делали достаточно спорные выводы. Так, в своей книге «Коммунизм и нацизм» Ален де Бенуа в оценке понятия «тоталитаризм» высказывал мысль о том, что нацизм и коммунизм одинаковы в своей тоталитарной сущности, в то же время у Муссолини признаков тоталитарности французский мыслитель не нашел [2, с. 7].

Красной нитью через труды большинства «новых правых» проходит мысль о преемственности европейской традиции с античностью. Отвергая христианское наследие Европы, представители данного направления – Ален де Бенуа, Доминик Веннер – идеализируют античность, пытаясь найти параллели с восточными практиками. В дихотомии Афин и Иерусалима они однозначно выбирают Афины [3, с. 73]. Важно подчеркнуть, что выдвинутая Аленом де Бенуа идея этноплюрализма оказала прямое влияние на мировоззрение иденитаристов, став важной составной частью иденитаристской идеологии.

Непосредственная история иденитаристского движения, как и возникшего ранее на рубеже 1960-х – 1970-х годов интеллектуально-философского течения «новых правых», тоже берет свое начало во Франции. «Новые правые» не только оказали прямое идеологическое влияние на мировоззрение иденитаристов, но и в лице ряда своих представителей (прежде всего Доминика Веннера и Гийома Фая) приняли личное участие в становлении идеологии иденитаризма. Поэтому можно говорить о наличии духовной преемственности между старшими поколениями французских «новых правых» и более молодым поколением иденитаристов, впервые начавшим заявлять о себе в общественной жизни Франции на рубеже 1990-х – 2000-х годов.

В 1998 году была основана организация «Радикальное единство» (“Unité radicale”), которая противопоставляла себя традиционным группам старых французских правых. На тот момент во главе «Радикального единства» находился французский праворадикальный теоретик Кристиан Буше. Одна из фракций «Радикального единства», базирующаяся в юго-восточной Франции, была связана с мыслителем Гийомом Фаем, выходцем из GRECE.

В манифесте «Радикального единства» говорилось, что его стратегия заключается не в попытке прихода к власти, а во внутреннем развитии и влиянии, нацеленном во внешнюю сферу. Иными словами, организация позиционировала себя как интеллектуальный центр, влияющий на политическую повестку. Эта организация стала лабораторией, в которой зародился иденитаризм. В начале 2002 года «Радикальное единство» раскололось вследствие того, что его ряды покинул Кристиан Буше со своими сторонниками. После

раскола лидерство перешло к Фабрису Роберу и Гийому Люту, который, по его словам, идейно вдохновлялся работами теоретика «новых правых» Г. Фая. Помимо «Радикального единства», Гийом Лют также состоял в старейшей монархической организации Франции «Аксон Франсэз» и в молодежном крыле Национального фронта.

Некоторые члены «Радикального единства» проявляли крайний радикализм. Так, один из активистов, Максим Брюнери, 14 июля 2002 года, в день взятия Бастилии, совершил покушение на президента Франции Жака Ширака [12]. В результате, спустя месяц, 6 августа 2002 года, последовал декрет о роспуске «Радикального единства».

6 апреля 2003 года несколько представителей бывшего «Радикального единства», включая Фабриса Робера, создали организацию «Идентаристский блок» (*"Bloc identitaire"*). Фабрис Робер возглавил движение идентаристов. Среди вдохновителей данной организации, как уже говорилось выше, были новые правые интеллектуалы Гийом Фай и Доминик Веннер. В основу идеологического дискурса организации был положен концепт идентичности, который нуждался в защите от инокультурной миграции.

В 2008 году в связи с преобразованием движения в партию «Идентаристский блок» осуществил ребрендинг: партия получила новое название «Идентаристы» (*"Les identitaires"*). В 2009 году «Идентаристы» приняли участие в муниципальных выборах, заручившись поддержкой 7,68% избирателей и получив всего на пять голосов меньше, чем «Национальный фронт» [21]. В Эльзасе они смогли набрать 5% голосов. Количество активистов данной группы возросло с 500 чел. в начале до 2–3 тысяч.

В 2012 году при партии «Идентаристы» (бывший «Идентаристский блок») образовалось молодежное крыло под названием «Поколение идентичности», которое значительно превзошло свою материнскую организацию, поскольку переросло французские национальные рамки и приступило к экспансии за пределы Франции в общеевропейском масштабе. Оно получило известность благодаря операции «Защита Европы». Впоследствии оно откололось от «Идентаристского блока», превратившись в самостоятельное движение, и начало создавать свои отделения практически во всех европейских странах: в Австрии, Германии, Италии, Великобритании и скандинавских государствах.

Несмотря на запрет организации во Франции в 2021 году [19], в современной Франции идеи идентаризма не сошли на нет, их носители преимущественно представлены объединением «Земля и Народ» (*"Terre et Peuple"*) [24], основанным Пьером Виалем в 1995 году. Объединение «Земля и Народ» имеет также родственные организации, например *"Tierra y Pueblo"* в Испании, «Европейская акция» и пр.

Автор работы «Топор Негоро: скитания европейских «реакционных» интеллектуалов в XX веке» М.В. Хлебников отмечает, что, несмотря на то, что движение «новых правых» формально ушло с политической и культурной арены Франции, его идеи продолжают оказывать влияние на сознание и поведение современных европейцев [16]. Парадоксально, но актуальность идей «новых правых» подтверждается их несовпадением, а точнее, внутренним противостоянием современным политическим установкам и тенденциям. «Новые правые» с самого начала резко критиковали политику мультикультурализма, отстаивание «прав человека», а также национальную, расовую и религиозную терпимость [16, с. 6]. М.В. Хлебников подчеркивает, что как «консервативные революционеры», так и «новые правые» заявляют о себе в кризисный момент истории. Однако если первые возникли на фоне процессов внутри немецкого общества, исторический фон появления «новых правых» более широк и внешне менее драматичен. Конец 60-х годов XX века был переломным этапом мировой истории. Движение «новых правых» возникло в 1968 году как объединение молодых интеллектуалов правой ориентации (писателей, журналистов, преподавателей), которые стремились дать ответ на вызовы настоящего и определить векторы общественно-политического развития, альтернативные леволиберальным нарративам [16, с. 235–239].

Характеризуя особенности идентаристского дискурса, исследователь идентаризма А. Шнайкер подчеркивает, что ключевая организация европейских идентаристов – «Поколение идентичности» (“Generation Identity”) – находилась в течение довольно долгого времени в центре правой политики по всей Европе. Тем не менее она не позиционировала себя как правую организацию. Напротив, она стремилась переместиться из маргинальной ниши политического спектра в центр гражданского общества. А. Шнайкер отмечает, что идентаристы использовали язык прав человека для формулирования своих радикальных правых позиций в формах, которые созвучны с общепринятыми требованиями в области прав человека. Используя схожие с либеральными правозащитными организациями язык, символы и представления, «Поколение идентичности» в то же время продвигает эксклюзивное понимание прав человека, основанное на идентичности [22, с. 149].

Ф. Вильгельмсен, сравнивая идентаристское движение с панскандинавским праворадикальным интернационалом – «Северным движением сопротивления», приходит на примере этих организаций к любопытному выводу о противопоставлении правого радикализма, представленного «Поколением идентичности», и правого экстремизма в лице скандинавских национал-социалистов из «Северного движения сопротивления». Если экстремисты-панскандинависты в лице «Северного движения сопротивления» являются антидемократами, то правые радикалы, к которым Вильгельмсен причисляет идентаристов, в принципе не отрицают демократию. «Поколение идентичности» и в целом идентаристы склоняются к «прямой» плебисцитной демократии, в то же время парламентская демократия (либерального толка) подвергается ими серьезной критике [23].

Европейский идентаризм можно рассматривать как правую версию паннационализма. Объектами идентаристской идеологии выступают не столько политические нации европейских государств, сколько этнические общности (к примеру, германский мир, учитывая тесное сотрудничество идентаристов Австрии, Швейцарии и Германии).

Особое развитие концепт этнонациональной идентичности получил в рамках политического дискурса европейских правых о суверенитете. Примечательно, что ими же отстаиваются идеи этнонационального суверенитета в рамках суверенизма «справа». В первую очередь речь идет о консервативно-традиционалистских интеллектуалах, продолжающих традиции французских «новых правых». Ярким примером идентитарного и одновременно суверенистского подхода может служить книга Доминика Веннера «История и традиция европейцев. 30 000 лет идентичности» [4]. Исследователями феномена «новых правых» отмечается, что «движение... продолжает оказывать влияние на умы и действия современных европейцев. Актуальность идей «новых правых» ... подтверждается их... внутренним противопоставлением современным политическим установкам и трендам» [9, с. 6]. Действительно, продвигаемая новыми левыми и культурмарксистами повестка глобального мультикультурализма воспринимается сторонниками национальной идентичности как «закат Европы Отецеств» и культурное самоубийство Старого Света.

Подобные идеи «новых правых» получили развитие не только во Франции, но и в других европейских странах. Так, можно вспомнить теоретика немецких «новых правых» (Neue Rechte) Хеннига Айхеберга, сформулировавшего принципы национальной идентичности в книге 1978 года. «Национальная идентичность» [18]. Сформированный данной книгой дискурс, который можно охарактеризовать как национал-идентаристский, повлиял как на германскую ветвь идентаристов-суверенистов в лице Пьера Кребса, Андреаса Молау, и др. Рост правых партий, таких как Австрийская партия свободы и «Альтернатива для Германии» также обусловлен открытым обсуждением этой темы.

Во вторую очередь в контексте идентитарного дискурса можно вести речь о партиях и движениях правопопулистской или праворадикальной направленности. Так, самая крупная фракция популистов-евроскептиков в Европейском парламенте по результатам

выборов с 2017 года носит характерное название «Идентичность и демократия». Очень важно подчеркнуть, что предшествовавшая ей правопопулистская группа в Европарламенте, которая была создана в 2007 году, именовалась «Идентичность, Традиция, Суверенитет» (ИТС). Тем самым ИТС в своем названии подчеркивала идентитарный дискурс. Важную роль в процессе адаптации идентитарного подхода к правому политическому дискурсу играет феномен европейского идентаризма как разновидности паннационализма. По сути дела, идентаристское мировоззрение – это попытка адаптации правого дискурса к новым реалиям миропорядка, в рамках которого претерпевающее кризис национально-территориальное государство постепенно теряет роль монопольного субъекта системы международных отношений. Апелляция европейских идентаристов к панэтническим и культурным панидентичностям отражает тот объективный факт, что большие политические пространства альтернативного национальному типу начинают занимать все более значимое место в рамках мировой политики. «В постнациональную фазу конструирование и осмысление новых политических панидентичностей связано с образованием инокультурных диаспоральных сообществ и “миров” и с новыми социальными движениями... В культурном отношении панъевропейская идентичность основывается на переосмыслении общего цивилизационного и исторического наследия» [11, с. 364]. Идентаристы расширяют рамки суверенизма находящихся в кризисе наций-государств, распространяя понятие суверенитета на большие политические пространства. Таким образом, получается, что в современных условиях полноценным полюсом многополярного мира может быть уже не столько классическое национальное государство, сколько большое политическое пространство, или, говоря языком Карла Шмитта, «большое пространство» (нем. *Grossraum*).

В качестве самого главного принципа идентаристское движение указывает этноплюрализм, что, на наш взгляд, отражает тот факт, что в процессах трансформации современного мироустройства важную роль по-прежнему играет этничность, этноидентичность, этнический фактор в целом, который, в свою очередь, имеет множество разновидностей – этноконфессиональную, этноцивилизационную, этнокультурную, этнополитическую, этнорегиональную и т.д. Таким образом, если в XX веке правые политические силы стремились укрепить субъектность титульных этнических групп через институты национального государства, то в XXI веке правые видят перспективы усиления этнической субъектности с помощью супранациональных механизмов. И феномен европейского идентаризма служит демонстрацией данного тренда на переход от суверенитета наций-государств к суверенитету больших политических пространств. Хотя не стоит сбрасывать со счетов и то, что тем самым новые европейские правые хотят отмежеваться от традиционного европейского национализма, который оказался сильно дискредитирован политическими режимами 1920–1940-х годов.

Усиление значения этнического фактора далеко не случайно. Глобальная нестабильность в качестве важной глубинной первопричины имеет кризис модернистского проекта, а Модерн в значительной степени строился на подавлении этничности, ее встраивании в государственно-политические проекты гражданских наций, которые в значительной степени и выступали в качестве суверенов новоевропейской эпохи. Сегодня же в условиях нарастания дисфункций и кризисных явлений внутри мир-системы Модерна можно говорить о реванше этничности. Этносы вновь обретают политическую субъектность. В связи с этим можно предположить формирование в будущем этноальтернативы (этноплюралистической альтернативы, этноцентричной альтернативы) мирового развития, в рамках которой можно будет ставить вопрос не только об этноидентичности, но и об этносуверенитете как надстройке над этноидентитарным базисом. Соответственно особую роль приобретает этноцивилизационная, этнокультурная проблематика. Исследователи политических



процессов все чаще поднимают вопрос о кризисе национальных государств как ключевых агентов Вестфальской модели международных отношений, хотя есть и противоположная позиция [6].

В этой связи особую значимость приобретает проблематика альтернативных, над-национальных политических пространств, построенных на этнических, цивилизационных, региональных основаниях. Этномир – это транснациональное политическое пространство или сообщество, которое формируется в первую очередь на основе фактора этнокультурной общности, для этномиров часто характерно взаимодействие сразу нескольких этнических групп [1, с. 8]. В рамках такой этноальтернативной модели глобального развития субъектами будут уже не только классические нации-государства Модерна, но и этномировы, построенные по сетевому, а не иерархическому принципу, диаспоральные миры и т.д.

Европейский идентаризм представляет собой попытку адаптировать в рамках правого политического дискурса эту новую альтернативную реальность этнокультурных политических пространств, уйдя тем самым от исключительной апелляции к национально-государственному суверенитету. Европейский идентаризм – феномен, обладающий несколькими измерениями. Он может анализироваться как идеология, как дискурс, как политическое движение. Европейские идентаристы апеллируют не столько к национально-государственным разделениям, сколько к размежеваниям на основе этноконфессионального принципа, особенно активно апеллируя к роли арабо-исламского фактора в западно-европейских обществах.

Австрия и Германия – новый центр идентаристского движения

Примечательно, что несмотря на свои французские истоки, идентаристское движение получило сильное развитие не только в романских, но и в германоязычных странах. Так, достаточно прочные корни оно пустило в Австрии. Одной из ключевых и наиболее известных фигур среди идентаристов стал лидер австрийского отделения «Поколения идентичности» Мартин Зелльнер. Программный для европейских идентаристов труд под названием «Поколение идентичности. Декларация войны поколению 1968 года» также был написан австрийцем Маркусом Виллингером. Правому идентаристскому дискурсу в ФРГ посвящен и доклад Института политических исследований Бременского университета [20]. Авторы доклада утверждают, что когда в 1990-х годах политика идентичности стала положительно обсуждаться, это происходило в основном с леволиберальной точки зрения, в плане защиты прав всевозможных меньшинств. Однако вскоре требование «идентичности» и формулирование новой политики идентичности стали инструментом правоконсервативных и правопопулистских движений и сил, которые перекодировали семантическое поле вокруг термина «идентичность». В процессе вопрос о том, кто исключен из общественного дискурса, превратился в противоположный. Однако среда, в которой культивируется этот дискурс, отнюдь не ограничивается движением идентаристов [20].

Идентаризм можно рассматривать как разновидность идентичности этноса и нации, которая отводит центральную роль вопросу этноса и нации. Следует отметить, что этномировы не тождественны границам национальной государственности. Например, в Швейцарии сосуществуют сразу три этномировы: германский, французский и итальянский (кантон Тичино). Этноидентичность проявляет себя не только на общенациональном, но также на региональном и локальном уровнях. Поэтому этноидентитарный подход включает в себя элементы локализма и регионализма.

Идентаристское движение можно рассматривать в качестве своеобразной панъевропейской разновидности неонационализма, поскольку оно обладает ячейками во многих

европейских странах. Так, «Идентаристское движение в Германии... является частью европейского идентаризма... являясь одним из ряда политических течений правого толка, объединенных под собирательным понятием «новые правые», заявляет о своей приверженности правым («консервативным») ценностям, отвергает национал-социализм и фашизм, расизм и антисемитизм и делает ставку на «консервативную революцию» [15, с. 60].

В европейском идентаризме находят отражение тесное переплетение этнического и популистского дискурса, которые отчасти сближаются, формируя целостную реальность этнопопулизма, обращающегося к народу как этносу, что обусловлено и этимологической близостью, поскольку в греческом языке этнос и является одним из обозначений народа.

Французско-европейский идентаризм и Россия

Вопрос о взаимоотношениях французского и в целом европейского идентаризма и России не имеет однозначного ответа. В целом идентаристы разделяют присущую «новым правым» русофилию. Прежде всего им близка выдвинутая Г. Фаем идея Евросибири как великоевропейского большого пространства «от Лиссабона до Владивостока» – большого великого Севера. В рамках этого евроконтинентализма значительное место и роль, безусловно, отводятся России. Новыми правыми интеллектуалами и вслед за ними идентаристами Россия мыслится как неотъемлемая часть европейского мира, без которой Европа оказывалась неспособна стать самостоятельным центром силы в рамках складывающегося полицентричного мироустройства. В 2022 году Институт Илиаде, связанный с «новыми правыми», выпустил видеоролик «Ни Лампедуза, ни Брюссель, быть европейцем», который набрал 5,6 млн просмотров на Youtube. В качестве одного из символов европейской цивилизации там видны башни Кремля [25]. Определенные предпосылки подобного геостратегического русофильства среди европейских «новых правых» и их предшественников имелись еще в период «холодной войны» и были унаследованы еще от эпохи «консервативной революции». Интерес немецких консерваторов межвоенного периода к России и к русской цивилизации был достаточно глубоким [подробнее см. 8, с. 110–119]. Лидер панъевропейской организации «Молодая Европа» бельгиец Жан Тириар выдвигал концепцию «Евро-Советской империи от Дублина до Владивостока». Он рассматривал «Западную Европу как аналог Древней Греции, а СССР – как аналог Македонии Филиппа и Александра, сумевшей объединить греческий мир и обеспечить его гегемонию в Восточном Средиземноморье» [13, с. 115–116].

Следует отметить, что в 2018–2021 годах существовал и российский филиал идентаризма – движение «Идентаристы России». Лидеры российского отделения движения идентаристов вели активную общественную работу, издавали просветительскую литературу (в частности, энциклопедическое издание «Поколение идентичности», 2019).

Уже упоминавшийся идейный предтеча идентаризма Г. Фай тоже неоднократно посещал Россию (Москву и Санкт-Петербург) начиная с 2005 года. В своих выступлениях он ратовал за континентальный блок России и Европы [5]. Поэтому можно говорить о том, что интерес идеологов французских «новых правых» и идентаристов к России как своего рода геополитическому противовесу Западу не случаен и не поверхностен.

Таким образом, идентаристское движение претендует на то, чтобы перерастить рамки отдельных европейских национальных государств и реализовать паннационалистическую версию европейского проекта, основанную на альтернативных идеях, сопряженных с этничностью. Эти идеи, хотя и восходят к паннациональным идеям рубежа XIX–XX веков (пангерманизм и т.д.), но принципиально отличаются опорой на транснациональные механизмы воплощения – солидарность, кооперация, общеевропейская институционализа-



ция. Фактически речь идет во многом об образовании идентаристского интернационала со своими ответвлениями практически во всех европейских странах. По сути, идентаризм – это одно из проявлений адаптации партийно-политического ландшафта к структурным мирополитическим изменениям. Идентаристы стремятся решить проблемы на национальном уровне наднациональным путем. В этом они похожи на антиглобалистов, которые хотят остановить глобализацию, но своей деятельностью, по сути, формируют новые механизмы глобальной солидарности. При этом важно учитывать, что идентаристы являются не столько евроскептиками, сколько альт-европеистами (по аналогии с alt-Rights в США), которые выступают за единую Европу, но с иным интеграционным дизайном. И движущей силой их проекта европейской интеграции выступает не экономический фактор, а европейский культурный код.

У европейского идентаризма существует пять основных идеологических столпов, среди которых идейное и интеллектуальное наследие французских новых правых, традиционализм, археофутуризм Гийома Фая, метаполитика, панъевропейский национализм, сближающийся порой с идеей европейских этномиров. В отличие от европейских националистов и «новых правых», институт национального государства для идентаристов лишь одна из форм существования европейских народов. Так, например, Гийом Фай выступал с идеей своего рода федералистской империи, где «сотни локальных и региональных сообществ с высоким уровнем автономии, были бы организованы в «Евразийскую» конфедерацию» [7]. Отчасти это перекликается с концепцией неоимперий [см. 26].

На данный момент вопрос о влиянии идентаризма на политическую повестку Европы и Франции в частности остается открытым. Мейнстримные правые партии, в частности «Национальное движение», вынуждены прибегать к приемам динамической политической идентичности, чтобы расширять свои электоральные поля, а идентаризм склонен с некоему идеологическому фундаментализму, что ограничивает его распространение. Увлеченность его идеологов и активистов дохристианскими культами и попытка политизировать неоязычество отталкивает от него тех европейских правых, которые выступают с позиций христианства. Попытка сплотиться перед лицом общей угрозы в виде массовой миграции, культурного марксизма и общественной деградации пока что представляет характер ситуативных союзов. Поэтому вопрос о том, будут ли способны идентаристы перейти из политических аутсайдеров в политический мейнстрим (если это вообще будет для них актуальной задачей), остается открытым.

При этом важен аспект влияния идентаризма на общественно-политическое развитие Европы, в частности на развитие политического дискурса в правом движении при всей его разнородности. В свое время французские новые правые задали несколько векторов интеллектуальному дискурсу и политическому развитию как в самой Франции, так и в соседних государствах. Можно с уверенностью говорить, что дискурс вокруг вопросов идентичности внесет свой вклад в развитие политического развития современного европейского общества и политических институтов.

Литература

1. Артеев С.П. Транснациональные политические пространства: вопросы политической субъектности: Финно-угорский мир // Вестник Пермского университета. Серия: Политология. 2020. № 1. С. 5–17. doi: 10.17072/2218-1067-2020-1-5-17. doi: 10.17072/2218-1067-2020-1-5-17
2. Бенуа, Ален де. Коммунизм и нацизм: Двадцать пять очерков о тоталитаризме XX столетия (1917–1989). М.: Totenburg, 2021. 178 с.
3. Веннер, Доминик. Самурай Запада: Настольная книга непокоренных. М.: Totenburg, 2021. 234 с.
4. Веннер, Доминик. История и традиция европейцев. 30 000 лет идентичности. М.: Totenburg, 2018. 346 с.
5. Гийом Фай: континентальный блок и генетическая революция [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ruskline.ru/monitoring_smi/2005/05/30/gijom_faj_kontinental_nyj_blok_i

- geneticheskaya_revolyuciya/?ysclid=m20knnh9iw829958936 (дата обращения: 01.09.2024).
6. Барабанов О.Н., Фельдман Д.М. Если Вестфаль и болен, то этот больной скорее жив, чем мертв // Международные процессы. 2007. № 3. С. 104–113.
7. Идентаризм – что это? [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://askrsvarte.org/blog/identarian/?ysclid=m2di3grqa0835846339> (дата обращения: 01.09.2024).
8. Камкин А.К. Идеи русских почвенников и немецкие консервативные революционеры // Современная Европа. 2009. № 4 (40). С. 110–119.
9. Катаева С.Г. Язык альтернативного протестного движения в Германии («Идентаристское движение») // Актуальные проблемы романо-германской филологии и методики преподавания иностранного языка: Материалы научно-практической конференции. Липецк: Липецкий гос. пед. ун-т имени П.П. Семенова Тян-Шанского, 2017. С. 6–9.
10. Кёпце Б. Неоконсерватизм и «новые правые». М.: Изд-во политической литературы, 1986. 144 с.
11. Кудряшова И.В. Политическая панидентичность // Идентичность: Личность, общество, политика: Энциклопедическое издание / отв. ред. И.С. Семенов. М.: ИМЭМО РАН; Весь Мир, 2017. С. 228–242.
12. Максим Брюнери, покушавшийся на Ширака, давно известен полиции как правый экстремист [Электронный ресурс] // Лента.ру. 2002. 15 июля. Режим доступа: <https://lenta.ru/news/2002/07/14/chirac2/> (дата обращения: 10.10.2024)
13. Моисеев Д.С., Сигачев М.И., Харин А.Н., Артеев С.П. Концепция глобального консерватизма // Россия в глобальной политике. 2023. Т. 21. № 5. С. 108–123
14. Парфенов А.Д. К проблеме обоснования ценностей в западных политико-философских моделях культурного консерватизма // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. 2023. № 3. С. 203. DOI: 10.24412/2071-6141-2023-3-199-210
15. Сигачев М.И. Европейский идентаризм как паннационалистическое течение: между разделением и интеграцией // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2023. № 1 (74). С. 59–63
16. Хлебников М.В. Топор Неропа: скитания европейских «реакционных» интеллектуалов в XX веке. М.: Изд. книжного магазина «Циолковский». 2019. 320 с.
17. Dard, Olivier. La Nouvelle Droite et la société de consommation Vingtième Siècle // Revue d'histoire. 2006. 3. № 91. P. 125–135.
18. Eichberg H. Nationale Identität. Entfremdung und nationale Frage in der Industriegesellschaft. Muenchen: Langen-Muller. 1978. 195 S.
19. France bans far-right anti-migrant group Generation Identity [Электронный ресурс] // France 24. 03.03.2021. Режим доступа: <https://www.france24.com/en/france/20210303-france-bans-far-right-anti-migrant-group-generation-identity> (дата обращения: 10.10.2024).
20. Identitätspolitik. Demokratische Antworten auf einen rechten Diskurs Vortrag in der Reihe "Nach dem Rechten sehen" von der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Theater Bremen am 14. Januar 2020 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.boell-bremen.de/sites/default/files/2020-02/Vortrag_Identitätspolitik_öffentlich.pdf (дата обращения: 02.02.2023).
21. Le mouvement d'extrême droite Bloc identitaire se lance dans les régionales // Le Point. 2009. 17 octobre.
22. Schneider A. The New Defenders of Human Rights? How Radical Right-Wing TNGOs are Using the Human Rights Discourse to Promote their Ideas // Global Society. 2019. Vol. 33. No. 2. P. 149–162. DOI: 10.1080/13600826.2018.1546673
23. Wilhelmsen F. Heroic Past and Anticipated Futures: A Comparative Analysis of the Conceptions of History of the Nordic Resistance Movement and Generation Identity // Politics, Religion & Ideology. 2021. Vol. 22. No. 3–4. P. 77–301. DOI: 10.1080/21567689.2021.196884
24. Terre et Peuple [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://terreetpeuple.com/>
25. Ни Лампедуза, ни Брюссель, быть европейцем: видео [Электронный ресурс] // Институт Илияде. 2005. Режим доступа: <https://redice.tv/news/ni-lampedusa-ni-bruxelles-%C3%AAtre-europ%C3%A9en>
26. Сигачев М.И., Харин А.Н., Скакун П.П. Теоретическое и проектное осмысление Российской государственности сквозь призму концепции неоимпери // Тетради по консерватизму. 2022. № 2. С. 287–311.

Аннотация. Статья посвящена анализу такого политического и интеллектуального направления в современной Европе, как идентаризм. Авторы выводят генезис данного явления из идейного наследия французских «новых правых». В статье дан анализ эволюции французского и общеевропейского идентаризма, его основных акторов, идейных постулатов, а также ставится вопрос о его влиянии на общественно-политическое развитие Европы.

Ключевые слова: идентаризм, консерватизм, национализм, археофутуризм, новые правые, общественно-политическое развитие.

Alexander K. Kamkin, PhD in Philosophy, Senior Scientific Researcher, CCEPR, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations of the Russian Academy of Sciences. E-mail: alexander.kamkin@yahoo.com

Maxim I. Sigachev, PhD in Philosophy, Scientific Researcher, CCEPR, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations of the Russian Academy of Sciences. E-mail: maxsig@mail.ru

French Roots of Political Discourse on Identity and the Development of Identitarianism

Abstract. The article is devoted to the analysis of such political and intellectual trend in modern Europe as identitarianism. The authors deduce the genesis of this phenomenon from the ideological heritage of the French "New Rights". In the article they analyze the evolution of French and pan-European identitarianism, its main actors, ideological postulates, and also raise the question of its influence on the socio-political development of Europe.

Keywords: Identitarianism, Conservatism, Nationalism, Archaeo Futurism, New Rights, Socio-political Development.

Армия как зеркало французского консерватизма: русские надежды и разочарования полковника Эдмона Мандраса

Военная элита принадлежала к числу тех социальных страт французского общества, которые проиграли долгий XIX век. Ее политическое влияние достигало пика при обеих Империях. В 1871 году армия сохранила лояльность сформированному республиканцами правительству и помогла ему подавить вооруженное восстание парижских коммунаров. Поражение во франко-германской войне 1870–1871 годов не привело к существенному падению ее общественного престижа. На армию смотрели как на опору порядка и инструмент восстановления международного престижа Франции за счет активной колониальной экспансии. Третья республика первоначально делала ставку на союз с военной элитой, несмотря на очевидный идейно-политический конфликт. Для Л. Гамбетты не стали открытием результаты предпринятого в 1876 году неофициального исследования настроений офицерского корпуса, которые четко показали, что большая часть французской военной элиты придерживается консервативных воззрений и поддерживает монархию. Расчет нового режима был понятен: «постепенная республиканская и демократическая аккультурация офицеров, связанная с расширением воинской обязанности» [6, р. 139], сохранение внешней угрозы со стороны Германии должны были примирить армию с республикой.

Военная элита имела собственное видение складывавшейся в конце XIX века ситуации. Она воспринимала себя в качестве «святой арки», соединяющей нацию поверх и помимо политических партий, «краеугольного камня» и «консолидирующего начала, обеспечивающего моральный дух народа» [8, р. 125]. Присущий военным культ нации (еще недавно олицетворенной Императором), идея служения и вытекающий из нее примат иерархии, сохранявшаяся среди офицеров массовая религиозность воспринимались как ценности высшего порядка. Отторжение политиканства являлось частью идентичности французского офицерства, которое в массе своей не поддержало популистское антиправительственное движение под предводительством бывшего военного министра генерала Ж. Буланже. Армия видела свою миссию в защите Отечества и лишь в этой части претендовала на политическую роль: при активном участии армейского командования возник франко-русский союз, направленный на сдерживание Германии [9]. Военные резервировали для себя нишу, которая позволяла им занимать особое положение в обществе, не вступая при этом непосредственно в политическую борьбу.

Однако подобное позиционирование не учитывало фактора резкой радикализации французского республиканизма, которая постепенно меняла природу возникшего в 1870-х годах политического режима. Конфликт между радикализмом, преемствовавшим якобинству, и армией, воспринимаемой в качестве главного пережитка старого порядка, был не-



избежен. Один из главных парадоксов дела Дрейфуса заключался в том, что никакого тотального неприятия военными республиканского кодекса прав и свобод, в чем их упрекали дрейфусары, на деле не наблюдалось. Требование пересмотра приговора А. Дрейфусу исходило из самой армейской среды. Из 25 тыс. офицеров, числившихся во французской армии, лишь 1800, то есть меньше 10%, поддержали идею создания памятника майору Ж. Анри, уличенному в подтасовке доказательств виновности Дрейфуса и покончившему жизнь самоубийством. Военные в массе своей занимали нейтральную позицию и предпочли бы, чтобы армия как институт не вмешивалась в события [6, р. 142]. Проблема для них заключалась в том, что инициативой в конфликте владели не они. Республика радикалов решила раз и навсегда покончить с политической субъектностью армии.

Последствия дела Дрейфуса для французской армии выходили далеко за рамки кадровых чисток, которыми с энтузиазмом занялись радикальные правительства в 1900-х годах. Из вооруженных сил изгонялись не просто конкретные офицеры, заподозренные во враждебности республике. Речь шла о маргинализации политической культуры, постулировавшей идею величия нации и служения ей. «Республиканизация» армии [16, р. 398] формально не преследовала эту цель, но фактически военной элите предлагалось принять новую модель лояльности, в рамках которой во главу угла ставился принцип полной политической пассивности, отказа от участия в формировании ценностного ядра складывавшегося социально-политического порядка. Но готова ли будет такая армия вообще воевать? В этом многие сомневались. Известен диагноз, поставленный в 1913 году социалистом М. Самба: «Посадите на трон короля или сохраните мир» [15, р. 17].

В 1914–1918 годах вооруженные силы оказались верны республике. Противостояние общему врагу сплотило офицерский корпус, который в то же время еще больше демократизировался за счет кратного расширения численности армии. Типажи вроде генерала Н. де Кастельно, начальника штаба главнокомандующего Ж. Жоффра и потомственного аристократа, становились все более редки, хотя по-прежнему во многом определяли социокультурный облик офицерства. Символическим примирением республики и армии стало присвоение выдающимся французским полководцам, проявившим себя на полях сражений, маршальских званий, ранее являвшихся отличительно чертой воинской иерархии Первой и Второй Империй. И тем не менее процесс упадка армии как социального института, носительницы особого набора ценностей и политического мышления продолжался. Моральное воздействие разрушительных последствий мировой войны лишь разгоняло его.

Генерал Ш. Нолле, военный министр в правительстве Э. Эррио в 1924–1925 годах, говорил о «болезненном состоянии» французских вооруженных сил. «Армия, – поясняет его слова британский историк П. Джексон, – постепенно теряла свою идентичность живого воплощения французской нации по мере того, как массовые настроения становились все более критичными к категориям патриотизма и жертвенности, ключевым для системы ценностей профессиональных военных... На протяжении 1920-х годов армейское командование чувствовало себя все более изолированным и уязвимым» [10, р. 472]. Престиж военной службы падал на глазах, что наглядно проявилось в падении конкурса в самые престижные военные училища. В 1928 году французский офицерский корпус насчитывал лишь 25% выпускников Сен-Сира против 40% в 1913 году. Нация не хотела питать армию живыми силами. На протяжении 1920-х годов в два приема был сокращен срок службы по призыву – с трех лет до одного года [14, р. 331].

Армия переставала воспринимать себя в качестве «святой арки», морального авангарда общества. В ее среду проникали политические импульсы, транслируемые различными партиями, поочередно и во все более противоречивых комбинациях стоявшими у руля страны. Корпоративные преграды, сломанные превращением армии в «воюющую нацию»

в 1914–1918 годах, больше не препятствовали идеологизации рядового и, что важно, офицерского состава вооруженных сил. Военные в значительной степени шли за общественными настроениями, и это приводило к тому, что их сознание воспроизводило те же фобии, которые смущали рядового французского буржуа.

Все это происходило в стране, которая оказалась в крайне непростой международной обстановке. Для того чтобы просто удержать в целом выгодный для Франции статус-кво, закрепленный в Версальском мирном договоре, требовалась активная стратегия – соединение дипломатии и военно-мобилизационного планирования в целях поддержания баланса сил, обеспечивающего Парижу положение европейского арбитра. Военным предстояло сыграть ту же роль, которую они брали на себя в конце XIX века, – сформулировать и провести через политическое руководство решение о переориентации европейской политики Франции ради купирования очага реванша в Центральной Европе, что предполагало поворот к Советскому Союзу. Это требовало от них серьезных интеллектуальных, но главное – волевых усилий. Как показали события, французский офицерский корпус оказался в целом не на высоте исторической задачи. Фигурой, воплотившей собой все его комплексы и страхи, стал генерал М. Гамелен, в 1931–1940 годах возглавлявший генеральный штаб сухопутных сил. Будучи «хорошим республиканским солдатом» [11, р. 110], ответственность за выработку стратегии национальной обороны он полностью оставил в руках политиков.

В это время те, кто привел страну к победе в 1918 году, один за другим уходили из жизни или покидали властную авансцену. Эти люди придерживались различных взглядов, однако за годы острой политической борьбы, ставкой в которой являлось сохранение республики, руководя страной в судьбоносные годы Первой мировой войны, они выработали навыки стратегического мышления, обрели опыт и харизму, помогавшую им подниматься над партийными схватками и метаниями общественного мнения. Военные с ними часто не соглашались, но следовали тем курсом, который задавали политики в силу сложившихся отношений субординации и совместной работы в прошлом.

Их преемники не участвовали в боях за консолидацию республиканского строя, не имели опыта управления в сложных условиях мировой войны и как политики сформировались под влиянием того шока, который в 1914–1918 годах испытало все французское общество. Один из ярких представителей этой когорты, лидер СФИО (французская социалистическая партия) Л. Блюм, в годы Второй мировой войны написал работу, где точно определил суть проблемы: Франция, избавившись от внепартийных харизматиков начала XX века, которых она интуитивно опасалась, обратилась к партийным политикам, которые воплощали в себе все слабости дезориентированного буржуа. Республиканская политическая культура, сугубо рациональная по своей сути, переварила последние аффективные компоненты, унаследованные от великого якобинского прошлого. Ее сутью стал узко понимаемый здравый смысл, вращавшийся вокруг императива недопущения новой войны любыми способами.

В среде французского офицерства, впрочем, были те, кто считал, что армии, если она не хочет стать свидетельницей национальной катастрофы, придется в том или ином виде заняться политикой. Одним из этих людей был полковник Эдмон Мандрас – яркая, но забытая фигура в истории французской армии в XX веке. Он родился в 1882 году в Лангедоке в буржуазной семье, разделявшей консервативные ценности. Его отец-монархист воспитывал сына в духе католической веры. Впоследствии Эдмон отошел от религии, однако она наложила неизгладимый отпечаток на его сознание и мировосприятие. «С моральной точки зрения, – вспоминал он, – я до сих пор проникнут духом строгого католицизма, усвоенного моими предками. Покинув храм, я сохранил в себе его атмосферу» [5, р. 14]. Окончив в 1903 году элитарный коллеж Станислава в Париже, где его однокашниками

были будущие видные политические деятели Третьей республики, он продолжил учебу в Политехнической школе. Получив в 1905 году диплом, Мандрас пошел по военной стезе и стал офицером-артиллеристом. Он никогда не считал себя военным по призванию и часто сожалел о сделанном выборе. Перемещаясь по провинциальным гарнизонам, молодой офицер часто мысленно упрекал себя в том, что в свое время не предпочел карьеру преподавателя, которая бы больше отвечала его склонностям к литературе и философии. На почве усвоенного в детстве религиозного мистицизма у него зародилась тяга к русской культуре.

Мандрас ярко олицетворял французское русофильство конца XIX века, ставшее порождением кризиса консервативной и религиозной идеи после краха Второй империи и утверждения республиканского общественно-политического строя [3, с. 111–116]. Переосмысляя наследие А. де Кюстина и знакомясь с творчеством Ф.М. Достоевского, его представители находили в России определенный духовный ориентир, а также противовес Германии. Но в это же время Мандрас всегда оставался типичным буржуа и французским националистом, воспитанным на идеях революции конца XVIII века. В рамках этого дискурса Россия представляла страной, стоявшей на более низком культурном уровне, чем Франция, а отношение к ней варьировалось от поверхностно-восторженного (земля «благородных дикарей») до враждебно-недоверчивого (образ «варвара у ворот»).

Он начал учить русский язык и в 1911 году провел два месяца в России, которая произвела на молодого лейтенанта неизгладимое впечатление. «Эти два месяца стали вехой в моей жизни, – вспоминал Мандрас. – Они меня буквально опьянили и породили во мне непреодолимую тягу ко всему русскому. Я был покорен этой необъятной и как будто бесформенной (*désossée*) страной». В русских он увидел «идеалистов, наделенных удивительной деловитостью, но при этом умеющих абстрагироваться от материальных обстоятельств существования» [5, р. 15]. В этом они являли собой противоположность немцам. За годы мировой войны 1914–1918 годов, которую он прошел от первого до последнего дня и окончил в звании капитана, Мандрас сформировал комплексное представление о Германии как экзистенциальной угрозе для Франции. Воинственный дух и внутренний динамизм немецкой нации неизменно толкали ее на путь завоевания европейской гегемонии. После 1918 года, находясь на службе в оккупационной администрации в Рейнской области, Мандрас убедился в том, что версальские ограничения мало способствуют ликвидации военного потенциала Германии: никакие лимиты на численность вооруженных сил не могли поколебать реваншистские настроения, широко распространившиеся среди немцев.

Тогда во Франции многие задумывались о том, как навсегда обезопасить «священную землю отечества» от угрозы с восточного берега Рейна. Россия к этому времени, казалось, сошла с исторической авансцены как великая держава и утратила ценность в качестве возможного союзника. Большевицкая революция «отменила» всю огромную страну с ее тысячелетней историей и богатой культурой. Стратегически мыслящие французские военные искали ей альтернативу в лице молодых государств Восточной Европы. Однако Мандрас не утратил своего прошлого интереса к России. Отучившись в Высшей военной школе, которая открывала перед французским офицером путь в армейскую элиту, в 1921 году он поступил на службу во Второе (разведывательное) бюро Генштаба сухопутных сил, где возглавил русское направление [13, р. 91]. В его распоряжении оказался богатый материал советской военной и гражданской периодики, изучая который он составлял представление об СССР, его вооруженных силах, внутривнутриполитическом и экономическом положении. С 1927 года Мандрас преподавал русский язык курсантам Высшей военной школы. В начале 1930-х годов во Франции не было офицера, лучше знакомого с Советским Союзом и Красной Армией, чем Мандрас.

Он достаточно высоко оценивал военный потенциал Советского Союза, оппонируя доминировавшему на западе мнению о том, что СССР не в состоянии эффективно вести современную войну. Во главе угла здесь стояло глубокое недоверие к России в ее коммунистической итерации. Мандрас же являлся одним из тех, кто полагал, что Россия всегда остается Россией. В своих неопубликованных мемуарах он писал: «Я любил Россию и русских, несмотря на пороки их политических систем, будь то царской или советской» [5, р. 15]. Устойчивый архетип «славянской души», сложившийся у французов в течение XIX века, подробно описал А. Леруа-Болье [12], с работой которого Мандрас, очевидно, был знаком. В его изображении русские представляли «молодым народом, который, в отличие от старых европейских наций, еще находился в стадии становления. Присущие ему легкость, живость ума, артистическая чувственность, гостеприимство, вкус к публичному слову вызывали к нему симпатию». У этого образа имелась обратная сторона: «гордыня, не отягощенная моралью лживость, суеверность, отсутствие представления о мере, непоследовательность в усилиях и вообще небрежное отношение к будущему».

Однако долгое время считалось, что плюсы перевешивали минусы, а между Россией и Францией существует определенная духовная близость «не без ощущения последней своего превосходства над еще незрелой нацией» [7, р. 20]. При этом Леруа-Болье видел в русских европейскую нацию, а созданное ими государство считал главным инструментом европеизации огромных территорий Восточной Европы [12, р. 241–262]. Не удивительно, что те французы, которые разделяли подобные взгляды, в массе своей восприняли Октябрьскую революцию как полный разрыв с прошлым. Русский идеализм, казавшийся столь притягательным в своей наивности, обернулся катастрофой невиданных масштабов. На руинах старой России возник социально-политический строй, порвавший с европейской культурной традицией, а как следствие – со всем тем, что оправдывало «славянскую душу» в глазах французов.

Как считалось, новое советское государство стало результатом «варваризации» русского общественного пространства и превратилось в разновидность «темной материи», непостижимой западному рациональному уму иначе как через категорию разрушения [7, р. 37–41]. Мандрас был одним из тех немногих во Франции, кто полагал, что сохранение на территории бывшей Российской империи централизованной государственности – это само по себе положительное явление. По поводу оборотной стороны «славянской души» он не испытывал иллюзий, однако наличие сдерживавшей ее узды в виде авторитарной власти позволяло ему примириться с большинством негативных последствий русского революционного эксперимента. Жесткость установившегося режима являлась с этой точки зрения даже определенным преимуществом. Все то отрицательное, что в России подавляло государство, в полной мере проявлялось у другого славянского народа – поляков. «[Поляки], – писал Мандрас, – лгут так же, как дышат, пьянство и беспечность укоренены в народе, а господствующий класс кроме того воспроизводит лень, инфантильную гордость и непреодолимое пристрастие к взяточничеству» [5, р. 19].

В то время как большая часть французской военной элиты с подозрением относилась к советско-германским контактам, Мандрас подозревал поляков в тайном стремлении договориться с немцами. По его мнению, в России при всей сложности ее судеб после 1917 года существовал по крайней мере тот субъект, с которым можно было выстраивать стратегические отношения: договариваться, влиять, идти на взаимные уступки. В его распоряжении имелся потенциал, который мог полностью изменить баланс сил в Европе в пользу Франции, и если имелись сколько-нибудь осязаемые шансы наладить взаимодействие с советским государством, ими нельзя было пренебрегать. На фоне растущей германской угрозы это стало бы роковой ошибкой.

Мандрас ни в коем случае не являлся фрондером режиму Третьей республики. Он представлял собой продукт «республиканизированной» армии и по своим взглядам был, вероятно, близок Ш. де Голлю, в то время сотруднику аппарата Высшего совета национальной обороны. Мандрас с тревогой наблюдал за постепенной деградацией французского парламентаризма и ослаблением исполнительной власти, однако главные его тревоги были связаны с тем, как внутривластный упадок скажется на обороноспособности страны. Повлиять на первую проблему он не мог, но вторая могла быть решена, если бы во французском Генеральном штабе все-таки возобладал стратегический взгляд на внешнюю политику Третьей республики. Когда полковнику в 1932 году предложили направиться в Москву в качестве первого военного атташе Франции в Советском Союзе, он не колебался. «Я хорошо понимаю, – писал он своему единомышленнику подполковнику Ж. де Латтруде Тассини, – что для сближения необходимо государственное решение. Подстегнуть его – это цель, которой я хочу добиться» [5, р. 36].

Но СССР интересовал его и с другой стороны: он стремился воочию увидеть новую ипостась русской государственности. Действительно ли Россия после 1917 года вернулась в допетровскую эпоху? Насколько сильно изменилась русская культура? Что представляет собой преобразившееся русское общество? Какова природа новой русской власти? За всеми этими вопросами стояла та же проблема французского консерватора, которую в XIX веке решали Ж. де Местр, А. де Кюстин и А. Токвиль: может ли Европа опереться на культурные и символические ресурсы русского традиционализма перед лицом наступающего модерна? Очевидно, что сталинский СССР имел мало общего с николаевской Россией и практически никто во Франции за пределами коммунистической и социалистической партий всерьез не задумывался о заимствовании «русского опыта». Но Россия как зеркало была по-прежнему интересна тем, кто обладал достаточной глубиной ума для того, чтобы заглянуть за идеологический горизонт.

За два неполных года работы в Советском Союзе Мандрас смог расширить свое представление о военных возможностях Красной Армии [2]. Главное ее преимущество он усматривал в сочетании важных элементов современной военной машины (материальная база и вооружение) с наследием прошлого. Советские вооруженные силы имели такое вооружение, о котором французская армия могла лишь мечтать (артиллериста Мандраса больше всего поразили орудия и танки), в то время как ее личный состав был плотью от плоти «коренной» России. «Солдат хорош, – писал военный атташе в отчете, – его организовывает дисциплина, суровость которой не отменяет советская велеречивость. Сегодня он такой же, каким был всегда – выносливый, послушный, достаточно сообразительный, но до небрежности беспечный. Охваченный той же страстью к просвещению, которая вдохновляет сегодня всех русских, он, как правило, гораздо лучше образован, чем когда-либо в прошлом. Средний командный состав, по-моему, отвечает поставленным перед ним задачам: он не блещет культурой, но близок к людям. Командиры среднего звена, безусловно, профессионально не развиты, но диктатура своей железной рукой борется с их врожденной ленью и заставляет их с религиозным усердием усваивать спускаемые сверху правила» [17].

Главная отличительная черта военной элиты, которую отмечал военный атташе, – это ее возрастной состав. Многим командирам в генеральских званиях едва исполнилось сорок лет. Это имело свои плюсы, молодые кадры быстрее усваивали новые способы ведения войны. Полковник уловил особую атмосферу, определявшую отношения между командным составом и красноармейцами. Она, по его словам, была «совершенно не такой», как во французской армии: «Хотя в ходе несения службы внешние признаки субординации выражены достаточно строго и даже выглядят немного чрезмерными, здесь, безусловно, царит вольность, которая, возможно, шокировала бы некоторых наших офицеров...

Кажется, что сегодня все эшелоны армейской иерархии соединены крепкими узами товарищества. Красные командиры близки к своим людям, и командующий дивизией приносит в отношения с подчиненными простоту и добродушие, в которых нет ни силы, ни принуждения» [18]. Моральный упадок, поразивший французскую армию, резко контрастировал с тем высоким социальным престижем, которым пользовалась в Советском Союзе Красная Армия. Он внимания Мандраса не ускользнул тот факт, что она вбирала в себя все лучшее, чем располагал советский народ. Государство же сделало ее объектом своих постоянных забот, обеспечивая военным наилучшие условия жизни и службы.

За полтора года пребывания в СССР Мандрас лишь укрепился в своем неприятии коммунистической идеологии. Советское государство он описывал в категориях, явно позаимствованных у де Кюстина. В феврале 1934 года он писал о «суровом божестве, каковым является коммунистическая партия, идол, питающийся человеческими жертвами: человек, каким бы выдающимся он ни был, ничего не значит перед лицом этой безымянной силы. Господствует лишь один человек, который своей первобытной энергией смог стать воплощением партии и олицетворением ее единства: Сталин. Одновременно диктатор и непогрешимый первосвященник, у сонма своих официальных последователей он вызывает практически религиозное чувство рвения» [19].

Вместе с тем большевики, по его мнению, придавали «славянской душе» ряд новых качеств. Рост значения культа вождя, который теперь вдохновлялся не старой христианской верой, а новой идеологией – одно из них. Однако Мандраса как военного интересовало не только это. «Необходимо помнить, – отмечал он еще в 1932 году, – что в России господствует мистика научного прогресса и что в электрификации Ленин видел одно из наиболее надежных средств для осуществления на земле коммунистического строя. Хороший коммунист обожает все научное или техническое, все новое, все носящее печать “завтрашнее”» [20, л. 12]. Советская система архаична и в то же время современна. Родился «новый культ индустрии и машины, присваивающий латентное религиозное чувство, сохранявшееся у русских» [7, р. 219].

Из поездки на Украину, недавно пережившую голод, Мандрас сделал важный вывод. «Большевики, – писал он в отчете в Париж, – приложили колоссальные усилия в сфере промышленности, где им удалось добиться значительных, а в ряде отраслей даже удивительных результатов... Конечно, не обошлось без ошибок... Несмотря на все, проделанная работа вызывает восхищение, тем более что ценой успеха стали тяжелые лишения, которым вожди, усвоившие милитаристское мировоззрение, без колебаний подвергли страну... Сегодня очевиден невероятный факт: за четыре года в этой огромной империи с плохими дорогами почти все крестьяне были организованы в колхозы, а все, что пыталось сопротивляться – уничтожено» [21].

Восприятие Мандрасом советских реалий отмечено глубоким дуализмом. Как стратег он не сомневался в необходимости сближения с Москвой. Красная Армия, признавал он, страдает очевидными недостатками, «что вполне понятно, если мы вспомним что [ее] командующие как военные сформировались в годы Гражданской войны и кампании против Польши. Но коммунисты обладают в высшей степени развитым навыком самокритики». «Представляется, что этот инструмент надежен» [5, р. 185], – подытоживал полковник. Как человек буржуазной культуры, он отвергал саму суть коммунистической идеологии. «Никогда нельзя забывать, что большевики являются коммунистами... Из того факта, что Россия – это коммунистическая страна, для нас, французов, следует, что мы не можем говорить о таком же сближении с ней, как, например, с Англией... В тот день, когда ситуация покажется благоприятной для революции, большевики, несомненно, порвут все филькины грамоты, чтобы ринуться на баррикады» [5, р. 185].



Однако его очевидно привлекало то, что находили в России французские консерваторы XIX века, – господство национальной идеи, связывающей воедино власть и народ. Она сообщала государству энергию, позволявшую осуществлять масштабные проекты развития. В народе, переживавшем огромные лишения, чувствовалась жизненная сила, иссякавшая во французском буржуазном обществе. Первый признак этого – русская многодетность, на фоне которой французская рождаемость, уже не обеспечивавшая естественного воспроизводства населения, выглядела катастрофой. «Паровой каток» должен был вновь встать на службу национальным интересам Франции, которые сам Париж больше не мог не только отстоять, но даже в полной мере осознать.

Миссия Мандраса завершилась ничем: он покинул СССР в конце 1934 года, проект новой Антанты фактически так и не был реализован, несмотря на заключенный в 1935 году пакт о взаимопомощи между двумя странами [1]. В апреле 1936 года военный министр Л. Морэн запросил у Мандраса его мнение о реальной ценности военного потенциала Советского Союза. Давая письменный ответ на этот запрос, он поставил диагноз внутреннему состоянию Третьей республики: «Моральная атмосфера в стране, ее демографическое состояние и военная организация – сегодня все исключает для нее ведение наступательной войны за пределами ее границ... Я выступаю в поддержку этой политики отступления без всякой радости в сердце. Напротив, видит Бог, сколь сильно я желаю реформы [политического] режима, которая сделала бы возможным внутреннее возрождение, являющееся первым условием достойной внешней политики Франции» [5, р. 207].

Военное поражение Франции в 1940 году стало и политическим крахом для ее армии, утратившей представление о своей роли в судьбах народа. Попытка части военной элиты во главе с маршалом Ф. Петэном создать новый консервативный государственный проект, вероятно, имела бы перспективу, не явись она следствием условий мира, продиктованных внешним врагом. Показательно, что и французские коллаборанты, отправившиеся в Советский Союз воевать на стороне Гитлера в 1941 году, делали наблюдения, во многом пересекавшиеся с тем, о чем писал Мандрас. Однако Вторая мировая война окончательно подвела черту под историей французской армии как носительницы особой консервативной политической культуры. Сама же Франция «расписалась в том, что она больше не является великой державой» [4, р. 795]. Та страна, которая возникла в 1944–1946 годах, выбрала принципиально иной путь развития.

Литература

1. Вершинин А.А. Неудавшийся союз: Военно-политическое сотрудничество СССР и Франции накануне Второй мировой войны (1930–1939 гг.). СПб.: Нестор-История, 2024. 796 с.
2. Вершинин А.А. СССР и Красная армия глазами военного атташе Франции Э. Мандра, 1933–1934 гг. // Новейшая история России. 2021. Т. 11. № 3. С. 686–704.
3. Шарль К. Интеллектуалы во Франции. М.: Новое издательство, 2005. 325 с.
4. Allain C., Autrand F., Bély L., Contamine P., Guillen P., Lentz T., Soutou G.-H., Theis L., Vaïsse M. Histoire de la diplomatie française. Paris: Perrin, 2005. 1050 p.
5. Bach A. Le colonel Mendras et les relations militaires Franco-Soviétiques: 1932–1935, mémoire de maîtrise d'Histoire. Université de Paris IV (Sorbonne). Vol. 1. Paris, 1981. 220 p.
6. Boniface X. De la défaite militaire de 1870–1871 à la nation armée de 1914 // Histoire militaire de la France. Vol. 2. De 1870 à nos jours / sous la dir de H. Drévilion, O. Wieviorka. Paris: Perrin, 2018. P. 19–151.
7. Cœuré S. La grande lueur à l'Est: Les Français et l'Union soviétique. Paris: CNRS Éditions, 2017. 358 p.
8. Desmons E. La République belliqueuse: La guerre et la constitution politique de la IIIe République // Revue française d'histoire des idées politiques. 2002. Vol. 1. No. 15. P. 113–133.
9. Dujin N. Vers l'alliance franco-russe: la convention militaire de 1892 // Revue historique des Armées. 2004. No 237. P. 12–23.
10. Jackson P. Beyond the Balance of Power: France and the Politics of National Security in the Era of the First World War. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. 582 p.

11. *Jackson P.* France and the Nazi Menace: Intelligence and Policy Making, 1933–1939. Oxford: Oxford university press, 2000. 440 p.
12. *Leroy-Beaulieu A.* L'Empire des tsars et les Russes. T. I. Paris: Hachette, 1889. 654 p.
13. *Vidal G.* Une alliance improbable: L'armée française et la Russie soviétique, 1917–1939. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2015. 307 p.
14. *Wieviorka O.* Démobilisation, effondrement, renaissance, 1918–1945 // Histoire militaire de la France. Vol. 2. De 1870 à nos jours / sous la dir de H. Drévillon, O. Wieviorka. Paris: Perrin, 2018. P. 321–475.
15. *Winock M.* La Rupture des équilibres, 1914–1939 // La République recommencée. 1914 à nos jours / sous la dir. de S. Berstein, M. Winock. Paris: Seuil, 2008. P. 15–186.
16. *Winock M.* Le moment Dreyfus et l'approfondissement d'une culture politique républicaine // L'invention de la démocratie, 1789–1914 / sous la dir. de S. Berstein, M. Winock. Paris: Seuil, 2008. P. 361–399.
17. Compte rendu du colonel Mendras sur les manœuvres de septembre 1933, 25 septembre 1933 // Archives du Service Historique de la Défense – Département de l'Armée de Terre (SHD-DAT). 7N3121.
18. Le Colonel Mendras, Attaché Militaire à Monsieur le Ministre de la Guerre, Etat-Major de l'Armée, 2e Bureau. Moscou, 26 janvier 1934 // SHD-DAT. 7N3121.
19. Compte rendu officiel du Colonel Mendras, février 1934 // SHD-DAT. 7N3121.
20. *Мандрас Э.* Статья в «Ревю д'Энфантери» / пер. с фр. // РГВА. Ф. 33987. Оп. 3а. Д. 500.
21. Compte rendu du Colonel Mendras de voyage en Ukraine. 20 octobre 1933 // SHD-DAT. 7N3121.

Аннотация. Армия во Франции XIX века традиционно являлась одним из оплотов консерватизма. Свидетельством тому активная роль, которую генералитет сыграл в заключении франко-русского союза в первые десятилетия существования Третьей республики. Дело Дрейфуса нанесло по авторитету и самосознанию военных мощный удар. Первая мировая война способствовала примирению армии с республикой, но военное перенапряжение способствовало росту массового пацифизма в обществе и дальнейшему ослаблению военной корпорации. Рост угрозы со стороны Германии пробудил у ряда офицеров понимание того, что армия вновь должна взять на себя политическую роль. Одним из них был полковник Эдмон Мандрас, в 1933–1934 годах занимавший пост военного атташе в СССР. Будучи носителем буржуазной культуры, он отвергал идеологические крайности советского режима, но находил в СССР примеры удачного совмещения модерна и традиции, которые способствовали консолидации советского государства и общества. Сравнивая их с тем, что имело место во Франции, Мандрас укреплялся в мысли об обреченности общественно-политического эксперимента Третьей республики.

Ключевые слова: французский консерватизм, Третья республика, дело Дрейфуса, Эдмон Мандрас, Вторая мировая война.

Alexander A. Vershinin, PhD in History, Senior Scientific Adviser, Institute of Scientific Information for Social Sciences (INION) RAS. E-mail: vershininmsu@yandex.ru

Army as a Mirror of French Conservatism: Russian Hopes and Disappointments of Colonel Edmond Mendras

Abstract. The army in the 19th century France was one of the strongholds of conservatism. That was reflected in the active role that the generals played in making the Franco-Russian alliance in the first decades of the Third Republic existence. The Dreyfus case dealt a powerful blow to the authority and consciousness of the military. The First World War contributed to the reconciliation of the army with the republic, but the hardships which the nation endured led to the growth of mass pacifism in society and further weakening of the military corporation. The growing German threat awakened the understanding that the army should again assume a political role among a certain number of officers. One of them was Colonel Edmond Mendras, who held the post of military attaché in the USSR in 1933–1934. As a bearer of bourgeois culture, he rejected the ideological extremes of the Soviet regime, but found there some examples of a successful combination of modernity and tradition that contributed to the consolidation of the Soviet state and society. Comparing them to the situation in France, Mendras became convinced that the socio-political experiment of the Third Republic was doomed.

Keywords: French Conservatism, Third Republic, Dreyfus Case, Edmond Mendras, World War II.

Восстание в Вандее 1832 года и русские надежды французских легитимистов*

События Вандейской войны 1793–1796 годов глубоко изучены во французской историографии, однако по-прежнему являются предметом серьезных не только научных, но и идеологических споров¹. Слово «Вандея» со временем стало именем нарицательным, превратившись в символ оппозиции и антитезы Французской революции. Для самой Вандеи война стала системообразующим событием. Эта кровавая гражданская война оказала огромное влияние на коллективное сознание, будучи в оппозиции с принципами и духом Французской революции. В ходе «Ста дней» случилось «второе издание» Вандеи, когда вандейских крестьян попытался, но безуспешно, поднять король Людовик XVIII [см. 12–13]. Вандея была умиротворена Конкордатом, а точнее, либеральной религиозной политикой, обеспечившей населению свободу культа [14, p. 567–842]².

Июльская революция 1830 года и приход к власти короля Луи-Филиппа Орлеанского вновь превратили Вандею в ставку в политической игре. Вандею попытались поднять на щит легитимисты, сторонники свергнутого короля Карла X (1824–1830).

Легитимизм

Несмотря на преобладающее развитие в XIX столетии либеральных идей и их последовательное воплощение на практике, сопротивление этой тенденции было весьма выраженным. Консервативные ценности были распространены в обществе, а консервативные политики и группы занимали сильные позиции на политической арене Франции. Да и сам орлеанизм, французский либерализм Июльской монархии, имел ярко выраженный умеренный характер, являясь примером либерально-консервативного синтеза [15, с. 26–44]. Одной из таких консервативных сил был легитимизм – политическое течение, возникшее

¹ Работ на тему Вандеи написано множество. В 1985 году молодой исследователь Рейналь Сеше под руководством известного историка Пьера Шоню защитил диссертацию, в 1986 году опубликованную в виде книги «Франко-французский геноцид: Вандея-отомщенная». Восстание в Вандее Р. Сеше именует не просто гражданской войной, а «франко-французским геноцидом», продолжая весьма давнюю историографическую традицию, восходящую еще к Гракху Бабёфу, современнику Революции, предложившему использовать термин «популицид». Эта идея встретит жесткое сопротивление, и потом Р. Сеше напишет книгу о меморициде [1–3]. Из наиболее важных работ см. также [4–9]. Из российской историографии по Вандее см. [10–11].

² Впервые работа была опубликована в 1914 году.

* Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

Таньшина Наталия Петровна, доктор исторических наук, профессор, кафедра всеобщей истории Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; ведущий научный сотрудник, Институт международных исследований Московского государственного института международных отношений (Университета). E-mail: nata.tanshina@mail.ru

после Июльской революции 1830 года и объединявшее сторонников «легитимной» династии Бурбонов, а именно короля Карла X.

27–29 июля 1830 года во Франции произошла революция, явившаяся ответом на нарушение королем Карлом X конституционной Хартии 1814 года¹. В ходе «Трех славных дней» власть рухнула. 2 августа Карл X отрекся от престола в пользу своего внука, герцога Бордоского, сына герцога Беррийского, убитого в 1820 году, и его матери герцогини Марии-Каролины Беррийской при регентстве герцога Луи-Филиппа Орлеанского, который назначался им наместником королевства. 3 августа Луи-Филипп сообщил представителям обеих палат об отречении короля и его сына герцога Ангулемского, утаив, правда, условия этого отречения. Палаты провозгласили трон вакантным. 7 августа Палата депутатов предложила корону герцогу Орлеанскому, которую тот принял 9 августа и принес присягу на верность конституционной Хартии. Он стал королем Луи-Филиппом I, королем французов, милостью Божьей и волей народной. Карл X с семьей отправился в Великобританию, а потом в Шотландию, где обосновался в Эдинбурге, в замке Холируд, бывшем местопребывании королей Шотландии, где он уже жил в 1814 году. 27 января 1831 года Карл подписал прокламацию в пользу своего внука Генриха V, в которой герцогиня Беррийская объявлялась регентшей на время несовершеннолетия ее сына, а также сообщалось, что она примет этот титул после того, как окажется на территории Франции [16, р. 518–519].

Легитимизм и его идеология являются недостаточно разработанными сюжетами даже во французской историографии [49]. Если либеральная идеология была в определенной степени реабилитирована начиная с работ классика французской политологии, крупнейшего специалиста по истории политической мысли Франции XIX века Рене Ремона [17–18], то в отношении легитимизма этого еще в полной мере не произошло. Соглашусь со словами французского историка Жака Валетта, что французские легитимисты являются «бедными родственниками» французской историографии. Можно выделить лишь несколько трудов, посвященных истории легитимизма XIX века. В 1983 году работу по истории легитимизма написал известный французский правовед и историк Стефан Риаль, профессор факультета права университета в Кане. Он анализирует легитимизм на всем протяжении XIX века [19]. В 1987 году диссертацию на тему: «Французские легитимисты перед лицом Франции и мира (1820–1859)» защитил Пьер Гуринар. В 1992 году работа была опубликована в Ниме [20]². В 2005 году монографию, посвященную истории легитимизма в годы Июльской монархии, написал Хьюго Шанжи [21]. С работ этих авторов начался пересмотр устоявшегося подхода к легитимизму, который восходит к позиции Р. Ремона и А.-Ж. Тюдеска. Характерно, что с именем Ремона связан как пересмотр традиционного взгляда на либерализм Июльской монархии, так и формирование «классического» подхода к анализу легитимизма.

Во французской науке идут серьезные дискуссии о том, как интерпретировать легитимизм. Несмотря на то, что под термином «легитимисты» понимают в том числе и ультраконсерваторов эпохи Реставрации (1814–1830), большинство исследователей датируют рождение легитимизма именно 1830 годом. Кроме того, легитимизм весьма трудно точно характеризовать, поскольку он никогда не являлся социально однородным и единым течением, не соотносился напрямую с какой-либо политической ориентацией и не отличался религиозным единообразием. По мнению А.-Ж. Тюдеска, легитимизм – это скорее чувство,

¹ Июльская революция стала ответом на Июльские ордонансы, подписанные Карлом X 25 июля 1830 года, существенно нарушавшие Хартию 1814 года. По ним во Франции восстанавливалась цензура, распускалась Палата депутатов, изменялось избирательное право и назначались новые выборы.

² Пьер Гуринар – профессор истории и географии в Экс-ан-Провансе, доктор истории и доктор филологии, посвятил свою карьеру истории французского легитимизма XIX века.



нежели идеология. По его словам, легитимизма как когерентной и четкой доктрины не было [22].

Существуют диаметрально противоположные мнения о том, как интерпретировать легитимизм и насколько он был жизнеспособен. Первое мнение, классическое, восходит, как отмечалось выше, к А.-Ж. Тюдеску и Р. Ремону. По словам Рене Ремона, история легитимистской оппозиции – это история мысли, уверенной в своей правоте, но неспособной найти средства достижения цели, адаптированные к реалиям настоящего времени. Это история общества, влияние которого клонилось к упадку вследствие эволюции нравов [18, р. 74]. Р. Ремон считает легитимизм архаичным политическим течением, отмечая ретроградность «легитимистского общества» и анахронизм мысли, и полагая, что у легитимистов не было будущего. По мнению исследователя, легитимизм – это все больше и больше прошлое, когда поле политического действия последовательно закрывалось для него [18, р. 74]. По словам А.-Ж. Тюдеска, ностальгия по прошлому соединялась у легитимистов с романтизмом, который, по мнению исследователя, был причиной идеологической слабости легитимистов после 1830 года. Более того, Тюдеск утверждал, что идеи легитимистов являлись одновременно бессвязными и тоталитарными [21, р. 13].

Если одни французские исследователи считают легитимизм архаичным политическим течением, не имевшим будущего и связанным с отжившей политической традицией и практикой [18, 23], то другие рассматривают его как одну из важных тенденций французской политической жизни вплоть до смерти в 1883 году сына герцогини Беррийской Генриха V, графа Шамбора. Такова, например, позиция известного французского правоведа и историка Стефана Риалья [19, р. 5].

Сходной позиции придерживается и Хьюго Шанжи. По его мнению, с 1830 по 1870 год идея легитимной монархии находилась в забвении. «Но какие воспоминания она оставила во французском народе?» – задается вопросом исследователь. Как понять избрание легитимистов в Национальное собрание в 1871 году в условиях всеобщего избирательного права? По мнению историка, если бы легитимизм был такой слабой структурой, вряд ли его сторонники получили бы столько голосов в 1871 году [21, р. 8–9].

* * *

Итак, Июльская революция привела к резкому и внезапному разрыву между новым режимом и приверженцами старшей ветви Бурбонов. Однако поначалу сторонники Карла X, то есть в целом аристократическо-дворянское общество, администрация и чиновники, а также армия, не проявляли никакой инициативы, столь велика была всеобщая растерянность. Но вскоре враждебность легитимистов новому режиму проявилась и выразилась в волне их добровольных отставок, которые предшествовали уже государственной политической чистке.

53 депутата, сохранившие верность королю Карлу X, получили отставку из-за своего отказа принести присягу Луи-Филиппу. Пэры, назначенные Карлом X, были лишены постов в силу действующего закона; другие потеряли посты, отказавшись принести присягу [19, р. 9]¹. Осталось только десять прежних пэров, объединившихся вокруг герцога Эдуара Фиц-Джеймса (1776–1838) и маркиза Сципиона Дрё-Брезе (1793–1845). Наибольшее число отставок было на Западе, на Юге практически все государственные служащие сохранили свои посты [24, с. 341]. Как отмечал С. Риаль, чистка, проводившаяся по распоряжению тогдашнего министра внутренних дел Франсуа Гизо, была самой массовой за столетие, вплоть до 1877–1879 годов. Из 86 префектов только три остались на своих

¹ Среди них Л. де Бональд, Л.О.В. де Бурмон, герцог А.Ф. де Кар, Ф.-Р. де Шатобриан, архиепископ Парижский Г.Л. де Куэлен.

местах, из 277 супрефектов – только 33. 74 генеральных прокурора и генеральных адвокатов и 254 королевских прокурора были уволены; 65 командующих батальонами или подразделениями из 75 были заменены. Лишь финансовая администрация по техническим причинам была сохранена [19, р. 10].

Несмотря на то, что последствия этого кризиса для легитимистов были весьма ощутимыми, они постепенно начали организовываться и отказываться от тактики саботажа режима. Они делали ставку на прессу, понимая, что это важнейший рычаг и метод формирования общественного мнения. Сначала легитимисты располагали только органами сатиры: это издания *“La Mode”* и *“Le Revenant”*. Помимо этого, они издавали большое количество разнообразных эссе и брошюр. Их темы: децентрализация, разнообразные свободы, в том числе свобода религии, расширение избирательного права. Все это сочеталось с весьма жесткими нападками на власть.

Можно ли говорить о том, что легитимизм имел целостную доктрину? По мнению С. Риаля, такой доктрины сформулировано не было; даже Луи де Бональд (1754–1840) и Жозеф де Местр (1753–1821), классики консервативной мысли, на его взгляд, не разработали целостной системы убеждений. Однако существовали темы, которые объединяли ансамбль их взглядов: это семейная матрица и ассоциации, что сближало легитимистов с социалистами. В сфере политики легитимисты выступали за расширение избирательного права, но с опорой на низшие, а не на средние слои.

Легитимисты в душе были заговорщиками. Это следствие долгой традиции, восходившей к временам Фронды, Революции, эмиграции и борьбы против Наполеона. Для большинства из них политика являлась делом чести, секретных организаций, вооруженных заговоров.

После Июльской революции легитимисты вновь делают ставку на заговор и восстание, решив в очередной раз поднять Вандею. Это обреченное на провал восстание 1832 года вошло в историю и приобрело романтический флер в значительной степени из-за участия в нем герцогини Марии-Каролины Беррийской, невестки короля Карла X и матери «чудесного дитя»¹. Этой очаровательной маленькой женщине (151 см роста) с раскосыми глазами, привыкшей к празднествам, балам и веселым компаниям, прекрасной наезднице и фехтовальщице, мастерски владевшей пистолетом и прекрасно стрелявшей из ружья, при этом романтической и авантюристичной, весьма импонировала легитимистская манера действовать, а не рассуждать².

Мария-Каролина решила окружить себя людьми, разделявшими ее романтическую страсть к секретным действиям [28, р. 178–179]³. Одним из самых ярких заговорщиков был граф Фердинанд де Бертье – сын парижского интенданта, которого толпа линчевала в самом начале Революции. Именно под его влиянием после первоначальной растерянности среди сторонников Карла X, волны отставок и чистки весьма быстро начинают формироваться нелегальные роялистские структуры [33]. Как и многие другие легитимисты, Бертье отказался присягать Луи-Филиппу, удалился в свое имение и прекратил государственную деятельность. Однако уже в начале сентября он стал инициатором объединения сторонников реставрации Бурбонов. В это же время он установил переписку с Карлом X и герцогиней Беррийской. Карл X назначил его организатором легитимистских сил во Франции [33, р. IX–X]. Переписка Бертье служит весьма ценным источником, показывающим, что восстание 1832 года было не просто авантюрой взбалмошной герцогини, а являлось

¹ Герцог Бордоский родился спустя почти восемь месяцев после убийства в феврале 1820 года его отца, герцога Беррийского.

² Герцогиня Мария-Каролина Беррийская является весьма популярным персонажем, ей посвящено большое количество работ, как научных, так и художественных [см., напр., 25–29].

³ О заговоре герцогини Беррийской см. также [30–32].

продуманной, подготовленной операцией, в которой оказались задействованы серьезные силы и ресурсы, а также делалась ставка на иностранные державы.

С одобрения Карла X оставшуюся половину года Бертье посвятил подготовке проекта. Он создал «Общество друзей порядка», целью которого было объединение лидеров легитимистов. В общество входили виконт Ф.-Р. де Шатобриан, маршал Виктор, маркиз де Пасторе, Ла Тур-Мобур, герцог Фиц-Джеймс, Гид де Нёвиль, адвокат П.А. Беррье. Помимо этого Бертье создал «Общество друзей верности» для сбора средств, а также «Общество друзей легитимности», вокруг которого объединялись сторонники легитимистов, готовые примкнуть к движению.

Легитимисты не составляли единого течения. Как полагал Бертье, их группа разделилась между двумя «системами». В мае 1831 года он писал герцогине Беррийской: «В роялистской партии есть такое же разделение, как и в революционной [то есть правящей орлеанистской – *Н.Т.*] партии: партия движения и сопротивления¹, или... партия спонтанного действия и больших жертв с надеждой на полную и прочную реставрацию, и партия ожидания, доверия и содействия благоприятным переменам, реставрация с как можно меньшими жертвами» [33, р. 73].

По мнению английского исследователя Теодора Зелдина, легитимисты были разделены не на две, а на три группы, каждая из которых отстаивала свой путь реставрации монархии. Существовала группа сторонников насильственных действий, преемников шуанов времен Революции во главе с герцогом де Каром. Во-вторых, существовала легитимистская фракция в парламенте, убежденная в том, что монархию можно восстановить законным путем, участвуя в выборах, лидером которой был Беррье. Кроме того, выделялось левое крыло, «народный легитимизм», тактика которого заключалась в перехвате инициативы у левых и восстановлении монархии путем референдума. Их лидер – аббат Антуан Эжен Женуд (1792–1849), редактор «*La Gazette de France*» [24, с. 339–341].

Сначала легитимисты предприняли попытку организации заговора, который вошел в историю как «заговор на улице Прувер», когда заговорщики планировали захватить дворец Тюильри в момент Карнавала. Предполагалось, что после ужина близ церкви Святого Евстахия и рынка, покончив с винами, заговорщики проникнут в галерею Лувра и, проследовав в полночь между двумя рядами шедевров, заколют злодея-узурпатора прямо на балу. «Замысел романтический; все, как в XVI столетии, в эпоху Борджиа, флорентийских Медичи и Медичи парижских – все, за исключением людей», – как отзывался о нем Шатобриан [34, с. 464].

В ночь с 1 на 2 февраля 1832 года состоялся ужин; однако полиции было заблаговременно сообщено о готовящемся покушении. Во время провозглашения тостов в зал ворвались полицейские и арестовали всех заговорщиков. Разоблачив «заговор на улице Прувер», правительство пришло к выводу, что легитимисты делали ставку скорее на терроризм, нежели на гражданскую войну. Однако в целях предосторожности на Запад были направлены войска, чтобы успокоить местность. К тому же в начале 1832 года Луи-Филипп опасался не столько сторонников Генриха V, сколько республиканцев и особенно разразившейся эпидемии холеры [27, р. 198]².

Между тем эта неудача не смутила отважную герцогиню. Принцесса рассматривала восстание в Вандее как реализацию на практике исторических романов, служивших ей путеводной политической звездой, и, как свидетельствует легенда, будто бы успела повидаться с Вальтером Скоттом, который умер 21 сентября 1832 года [27, с. 181].

¹ Движение и Сопротивление – два фланга орлеанизма, умеренного либерализма Июльской монархии.

² Об эпидемии холеры см. [35, с. 145–166].

Вандея

Что в это время происходило в Вандее? Несмотря на то, что жители Вандеи считали Бурбонов неблагодарными, короли Людовик XVIII и Карл X делали много для того, чтобы умиротворить регион. Для поддержки вдов, сирот, родителей погибших вандейцев в 1818 году был создан специальный фонд, финансируемый из бюджета военного министерства. Изначально размер фонда составлял 250 тыс. франков, в 1827 году он достиг 750 тыс., что однако же весьма скромно по сравнению с расходами двора в те же годы, составлявшими 790,4 тыс. франков. Эти деньги позволили осуществить выплату пенсий и субсидий многим тысячам людей. К этому добавились пособия для обучения мальчиков и девочек [27, р. 190]. В соответствии с ордонансом от 26 июля 1821 года старшие офицеры получали ежегодно 300 франков помощи, капитаны – 200, младшие офицеры – 150, солдаты – 100 франков [2, р. 238]. С 1814 года многие вандейцы и лидеры шуанов, а также их сыновья оказались в королевской гвардии; для многих это означало интеграцию в придворное дворянство. Лидеры роялистов, такие как Луи Огюст Виктор де Бурмон, Жозеф Кадудаль¹, Огюст де Ла Рошжаклен², были введены в ближайшее окружение королевской семьи.

По словам французского историка Ж.-Ж. Брежона, это не Бурбоны показали себя неблагодарными по отношению к Вандее, а писатели-роялисты во главе с Ф.Р. де Шатобрианом были несправедливы по отношению к Бурбонам и создали этот миф [27, р. 190–192].

Кроме материальных компенсаций, Людовик XVIII пытался проводить политику примирения, признания и благодарности по отношению к сохранившим верность королю вандейцам. Военная Вандея покрылась многочисленными памятниками. Их строительство финансировалось как по народной подписке, так и за счет пожертвований со стороны королевской семьи, как, например, колонна Людовика XVI в Нанте или статуя лидера Вандейского восстания Франсуа-Анатаза Шаретта в Леже [см. 36].

Карл X, вступивший на престол в 1824 году, продолжил политику старшего брата. Пенсии, признанные недостаточными, были утроены [2, р. 238]. «Эмигрантский миллиард» 1825 года³ также был доказательством того, что Бурбоны не хотели выглядеть неблагодарными по отношению к Вандее. К концу режима Реставрации со времени войны прошло более 30 лет; дома были отстроены заново и люди хотели мирной жизни [3, р. 271]. Р. Сеше полагает, однако, что если в материальном аспекте власти заботились о регионе, то с точки зрения исторической памяти они хотели забыть о прошлом, исключить Вандею из национальной истории. По его словам, Людовик XVIII и Карл X следовали политике *status quo*, определенной еще Наполеоном и выраженной в официальной формуле «король ничего не знает, король все забыл» [2, р. 236].

Восстание

Экзальтированная герцогиня Беррийская и люди из ее окружения, среди которых был и герой алжирской экспедиции 1830 года маршал Луи Огюст Виктор де Бурмон, жили в плену иллюзий, надеясь поднять крестьян Вандеи на восстание. Поначалу возобладала

¹ Жозеф Кадудаль – младший брат героя Вандейской войны генерала шуанов Жоржа Кадудала (1771–1804).

² Огюст дю Вержье де Ла Рошжаклен (1784–1868) – третий брат вандейского героя Анри дю Вержье, графа де Ла Рошжаклена, с 1818 года полевой маршал.

³ В 1825 году Карл X принял закон о миллиарде для эмигрантов, который возвращал им один миллиард франков в вознаграждение за имущество, конфискованное в годы Революции, однако деньги выплачивались не наличными, а посредством 30 млн ежегодной ренты.



тактика молниеносных действий, которые должны были начаться после высадки принцессы на средиземноморском побережье Франции. Бурмон должен был заниматься военной стороной; герцог де Блакас¹ – дипломатической, Бертье возобновил контакты с тайными организациями во Франции и попытался установить единое руководство ими. Была разработана настоящая программа переустройства Франции со следующими разделами: армия, аристократия, палата пэров, администрация, колонии, амнистия [33, р. 66–69]. В теории все выглядело весьма убедительно: страна была охвачена сетью легитимистских организаций, все имена были зашифрованы, как у настоящих заговорщиков, были проведены точные расчеты. На бумаге это был не только план восстания, но и план переустройства общества.

Герцогиня, рассчитывая не только на крестьян Вандеи, но и на европейских государей, учитывая негативное отношение консервативных монархов к либеральному и нелегитимному в их глазах режиму Луи-Филиппа Орлеанского. Главным спонсором операции был банкир Габриэль-Жюльен Уврар, финансист Наполеона. Кроме этого, герцогиня выставила на продажу свои драгоценности и коллекцию картин. У португальского короля она получила займ в 40 тыс. франков. Король Сардинии, Карл-Альберт, Вильгельм I Голландский, герцог Брауншвейгский и другие монархи тоже оказали ей помощь.

Однако герцогиня рассчитывала не только на финансовую поддержку европейских монархов, но и на их прямое участие в восстании [см. 37]. Мария-Каролина надеялась на помощь голландского короля Вильгельма I, отказывавшегося признавать договор о независимости Бельгии, обретенной после революции в Брюсселе в августе 1830 года; она делала ставку на португальского короля Мигела I, отказавшегося признать режим Луи-Филиппа, отправив к нему свое доверенного человека Симона Дётца². Особые надежды она возлагала на Николая I, учитывая русско-французское сближение в последние годы царствования Карла X и реакцию императора на Июльскую революцию.

Действительно, в первые дни после Июльской революции государь отправил миссии генерал-адъютанта графа А.Ф. Орлова и генерала И.И. Дибича в Вену и Берлин в целях выяснения позиций европейских монархов относительно коллективных действий против «незаконнорожденной» Июльской монархии. Однако поддержки он не получил; европейские государи признали режим Луи-Филиппа. 18 сентября 1830 года Николай I, скрепя сердце, сделал то же самое. Однако когда вслед за Июльской революцией разразилось восстание в Бельгии и она в итоге была отделена от Нидерландского королевства, император был готов организовать вооруженную интервенцию в пользу нидерландского короля Вильгельма, но и от этой идеи в итоге был вынужден отказаться, а бельгийская проблема была перенесена за стол переговоров в Лондоне. Николай Павлович, несмотря на всю свою верность легитимным принципам и эмоциональность, был политиком весьма рационального толка и в итоге прислушался к здравым советам графа К.В. Нессельроде и посла Российской империи во Франции графа Ш.-А. Поццо ди Борго признать произошедшие изменения, дабы не допустить очередной общеевропейской революции и войны [38].

Центром деятельности принцессы стало герцогство Масса и Каррара³, где она обосновалась летом 1831 года. Между тем в лагере легитимистов усиливались сомнения. Обескураженный Бертье временно отошел от дел; руководство перешло к Бурмону. Глав-

¹ Пьер Луи Жан Казимир, герцог де Блакас (другое написание фамилии – де Блака, 1771–1839) – французский дипломат и политик. В годы Революции был направлен в Петербург с поручением выхлопотать для Бурбонов убежище в России, что ему и удалось. В 1799 году сражался под командой Суворова в Италии. После Июльской революции остался предан Карлу X и последовал вместе с ним в изгнание.

² В итоге тот предал, точнее, продал герцогиню, но не за 30 сребренников, а за 500 тыс. франков министру внутренних дел Адольфу Тьеру.

³ Герцогство Масса и Каррара в 1829 году было аннексировано герцогством Модена и Реджо.

ный орган легитимистов, "La Gazette de France", к концу 1831 года отказалась от тактики насильственных действий [19, p. 12]¹.

Кроме того, в окружении герцогини с самого начала было немало противников этой авантюры, начиная с герцога де Блакаса, последовательно боровшегося против идеи восстания [3, p. 280]. О том, что ситуация изменилась и Вандея не готова проливать кровь, предупреждал герцогиню и Шатобриан, включенный ею в состав Временного правительства. В ответ на записку, в которой герцогиня сообщала ему о его назначении, он написал: «Западные и южные департаменты, чье терпение, как нарочно, истощено произволом и насилием, хранят тот верноподданнический дух, который отличал их издревле. Но эта половина Франции никогда не пойдет на заговор в узком смысле слова; они – просто воины запаса. Это превосходный резерв легитимизма, но на роль авангарда они решительно не подходят и никогда не добьются успеха в наступательном бою. Цивилизация ушла слишком далеко вперед, чтобы в наши дни могла разразиться одна из тех грандиозных междоусобных войн, что несли с собой избавление и пагубу в эпохи более набожные, но менее просвещенные» [34, с. 465].

Шатобриан был прав. Несмотря на все старания легитимистов и ошибки, допущенные некоторыми сторонниками Луи-Филиппа (антирелигиозные манифестации и акты вандализма – уничтожение крестов, статуй, монументов), моральный климат в Вандее после Июльской революции не особенно изменился. Даже если отдельные священники и отказывались присягать новому режиму, вандейцы, обессиленные предыдущими конфликтами, не хотели воевать. Старики почти все умерли. А рапорты легитимистских агентов, в которых герцогине сообщалось, что у «узурпатора» Луи-Филиппа не было будущего, не соответствовали действительности.

25 марта 1832 года в Массе у герцогини Беррийской состоялось решающее заседание. Бертье выступил против идеи восстания, полагая, что подходящий момент был упущен. Другие советники принцессы, Бурмон, Кергорле², Сен-Прие³, наоборот, выступили за восстание. Это мнение возобладало. Между тем надежды герцогини на помощь за границы не оправдывались. Бертье писал герцогине: «Все то, что я узнал от членов дипломатического корпуса в Париже, не вселяет оптимизма <...> Они хотят надеяться, что нынешнее правительство сможет остановить революционный пыл, они его воспринимают как единственно возможное во Франции... и полагают, что нация поддержит его в случае враждебных действий» [33, p. 87].

Действительно, новый посол Франции в Российской империи маршал Эдуар Мортье, герцог Тревизский был очень доброжелательно встречен в Санкт-Петербурге, куда прибыл 2 апреля 1832 года. Король Луи-Филипп весьма желал сближения с Россией и именно с целью завоевать расположение императора отправил в Россию наполеоновского маршала, зная о пиетете Николая ко всему, связанному с воинской доблестью. Как писал в своих воспоминаниях граф А.Х. Бенкендорф, «Мортье был принят с почестями, достойными старого и храброго солдата, который 30 лет доблестно сражался под знаменами республики и Наполеона. Император выразил ему свое доверие и полностью завоевал восхищение этого старого военного, но политические дела остались в том же положении, что и до его приезда» [39, с. 510].

¹ Тех, кто колебался, прозвали «панкалье» (pancaliers), от вандейского названия сорта капусты без кочерыжки.

² Граф Луи-Флориан-Поль де Кергорле, бывший депутат Уазы и пэр Франции, находился в Брюсселе во время свержения Карла X. Потребовал организовать над собой суд палаты пэров. Его процесс проходил с 22 по 24 ноября 1830 года и закончился осуждением на шесть месяцев тюрьмы и штрафом 500 франков.

³ Эммануэль Луи Мари виконт де Сен-Прие (1789–1881) – французский политический и военный деятель.



В тот же день состоялся разговор маршала с графом К.В. Нессельроде, результатом которого посол был весьма удовлетворен. Говорили об Июльской революции и условиях, в результате которых Луи-Филипп стал королем. Мортье сказал Нессельроде: «Если слово “регентство” будет произнесено, станет невозможно сдержать народные страсти, столь экзальтированные: возможно, что при одном упоминании этого слова Карл X и вся его семья станут жертвами и следствием этого станет беспорядок и гражданская война». «Иначе и не может быть», – ответил Нессельроде [37, р. 184–185]. Как видим, он четко дал понять, что Россия не желает дальнейшей эскалации напряженности во Франции, понимая, что это чревато гражданской войной, а значит, нарушением спокойствия во всей Европе.

Герцогиня, однако, не теряла надежды на помощь императора Николая Павловича. 11 апреля она написала ему письмо, которое было отправлено в Эдинбург. «Призванная, – писала она, – чаяниями Юга и Вандеи, я иду к преданным жителям этих земель, чтобы доверить им судьбу своего сына. Уверенная в праведности нашего дела, я рассчитываю на Божественное Провидение и на поддержку всех великодушных сердец. Именно поэтому, Сир, я и осмеливаюсь высказать свое мнение, а ваши благородные качества позволяют мне надеяться на то, что Вы не оставите меня в беде» [37, р. 185].

Урегулировав формальности, герцогиня выправила паспорт для отбытия во Францию, направилась в Ливорно и там, переодевшись в юнгу, села на борт рыбацкого парохода «Карло-Альберто», где ее ждали помощники во главе с маршалом Бурмоном. Вечером 24 апреля 1832 года они высадились на пляже недалеко от Марселя, рассчитывая на триумфальный марш, подобно «полету Орла», как именовали бросок Наполеона на Париж. Герцогиня укрылась на маленькой ферме в окрестностях Марселя, ожидая сигнала к восстанию, которое должно было начаться в ночь с 29 на 30 апреля, но в тот же вечер она получила записку: «Марсель поднимется завтра» [40, р. 255, 260].

Однако вместо обещанных двух тысяч сторонников герцогиня увидела лишь шестьдесят человек. Все, что они смогли сделать, – поднять белый флаг на колокольне церкви Сен-Лорен и направиться к Дворцу правосудия. Как описывал это событие Александр Дюма, находившийся тогда на государственной службе¹, их встретил бравый младший лейтенант, по политическим взглядам патриот, почти республиканец. Выхватив из толпы того, кто ему показался вожаком, он попросту поколотил его, после чего остальное «войско» с криками «Спасайся, кто может!» разбежалось [40, р. 256–261].

Население Марселя тоже не откликнулось на призыв к восстанию, а за «Карло-Альберто» был отправлен в погоню фрегат «Государство»: там думали, что Мария-Каролина была на борту судна. Она, однако, все это время укрывалась в маленьком домике, где и получила новую записку: «Все потеряно, необходимо покинуть Францию» [40, р. 261].

Несмотря на то, что было понятно, что Вандея могла подняться только после Юга, а Юг активности не проявлял, герцогиня решает остаться и идти в Вандею. 15 мая она обратилась к жителям региона с прокламацией: «Вандейцы, бретонцы, вы все, верные жители Запада! Высадившись на юге Франции, я не побоялась пересечь страну, подвергая себя опасностям, чтобы выполнить свой священный долг, и вместе со своими храбрыми друзьями разделить их тяготы и заботы. Наконец-таки я среди этого героического народа!

¹ Александр Дюма в то время уже прославился как автор ряда громких пьес, а с первых дней Июльской монархии принимал активное участие в общественной жизни, выполняя ряд поручений командующего Национальной гвардией генерала Жильбера де Лафайета. Ему была поручена инспекция в Мэн-и-Луару, Нижнюю (Внутреннюю) Луару и Вандею, где он находился с середины августа до 22 сентября 1830 года и представил весьма обстоятельный отчет о поездке. В своих воспоминаниях А. Дюма подробно рассказал о вандейской эпопее 1832 года, выправив их по воспоминаниям «Вандея и Мадам» генерала Поля Фердинана Станисласа Дермонкура (1771–1847), направленного на подавление восстания и арестовавшего герцогиню в Нанте. Дюма редактировал книгу Дермонкура.

Откройте Франции двери удачи! Я встану во главе вас, уверенная в победе, когда рядом такие люди! Вас призывает Генрих V, его мать, регентша Франции, служит вашему счастью! Настанет день, и Генрих V станет вашим братом по оружию, если враги снова будут угрожать нашей родине! Повторим наш древний и наш новый клич: «Да здравствует король, да здравствует Генрих VI!» [40, р. 276].

17 мая герцогиня оказалась в Вандее, где, как выяснилось, ее никто не ждал. На следующий день она переделалась в штаны из синего сукна, надела черную куртку с металлическими пуговицами, желтый жилет, крестьянскую рубаху и башмаки. Ее светлые волосы скрыл темный парик, на который она надела шерстяную шапку. Принцесса превратилась в «малыша Пьера». Испытывая невероятный душевный подъем, она сгорала от нетерпения и заражала всех своим энтузиазмом. К любви к приключениям примешивались увлечение театром и рискованными затеями. Вскоре у Малыша Пьера появился напарник – Малыш Поль. Это была Стилит де Керсабьек, молодая, чуть взбалмошная вандейка, преданная герцогине. План был таков: в ночь с 23 на 24 мая Вандея должна была восстать. Предполагалось захватить общественные кассы, реквизируют лошадей, увлечь колеблющихся. Между тем Луи-Филипп отправил в Вандею 45 тыс. человек во главе с генералом Дермонкурром.

В Россию тем временем поступили известия о высадке герцогини Беррийской в Марселе. В петербургских салонах проявляли явный интерес к делу героини Прованса и Вандеи, однако официальные власти известия о ее неудачах восприняли, скорее, с облегчением. Маршал Мортье доносил из Петербурга 14 (26) мая 1832 года: «Каковы бы ни были чувства России по отношению к нам, сохранение мира – это потребность, которую она остро испытывает» [37, р. 186].

24 мая началось обреченное на поражение восстание. 3 июня правительство объявило о введении осадного положения в департаменте бывшей военной Вандеи; она была наводнена солдатами, правительственные войска устраивали обыски. 12 июня с восстанием было покончено.

Герцогиня, однако, отказалась покинуть Запад, надеясь, что Вандея вскоре все-таки возьмется за оружие. Переодевшись в крестьянку, вместе с мадемуазель де Керсабьек она отправилась в Нант. Оттуда 20 июня она обратилась к вандейским генералам с циркуляром, в котором советовала занять выжидательную тактику и избегать военных столкновений, исключая случаи самозащиты. Напрасно Карл X, убежденный в бесполезности борьбы, настаивал на возвращении своей невестки в Англию, напрасно сын Генрих просил маму вернуться, напрасны были доводы Шатобриана, Бурмона – герцогиня никого не слушала [3, р. 296]. Она незамедлительно возобновила переписку со своими сторонниками во Франции и с европейскими монархами, надеясь раздуть с их помощью затухающее пламя и подождать, пока под Луи-Филиппом зашатается трон.

Между тем европейские государи не спешили оказать поддержку восставшей герцогине. Поверенный в делах Франции в России барон Поль де Бургоэн 10 июля сообщал министру иностранных дел Орасу Себастьяни, что французское правительство могло быть спокойным, поскольку Россия, несмотря на страстный характер императора, «никогда не решится на акт открытой агрессии и не будет вероломно подстрекать к вмешательству в наши внутренние дела». По словам Бургоэна, Россия могла ответить только на прямую агрессию со стороны Франции, но не будет вмешиваться в ее внутренние дела [37, р. 187]. Тем временем из Нанта в Эдинбург было доставлено письмо герцогини, адресованное императору Николаю, в котором она просила государя о помощи. Нужен был доверенный человек, который мог бы доставить письмо в Россию и переговорить с Николаем Павловичем.

Секретная миссия генерала Рошешуара

Выбор пал на человека, не просто хорошо знакомого с нашей страной, но служившего России. Это был генерал граф Луи Виктор Леон де Рошешуар, племянник и приемный сын герцога Армана-Эммануэля де Ришельё, градоначальника Одессы, генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии, а также зять банкира Уврава. Вот как он сам писал об этом: «Мое знание русского языка, мои личные контакты с лицами, приближенными к императору, позволяли мне выполнить эту миссию. Я получил твердые инструкции передать письмо Мадам только лично императору или условленному лицу» [16, р. 522].

Леонтий Петрович, как Рошешуара именовали в России, в 1804 году поступил на службу к дяде, с 1805 года участвовал в военных действиях на Кавказе, воевал с турками, был участником Отечественной войны 1812 года и Зарубежных походов русской армии. Когда Ришельё по настоянию императора Александра I был вынужден вернуться на родину, где отсутствовал более 20 лет, во Франции остался и Рошешуар. Сразу после освобождения Парижа он стал его мэром, потом – начальником штаба военного министра, а затем военным губернатором столицы. О миссии Рошешуара в Россию мы узнаём из воспоминаний самого генерала, опубликованных в Париже в 1892 году¹.

Накануне Июльской революции Рошешуар должен был отправиться в Алжир. Его бригада прибыла в Тулон и уже готовилась к отправке на африканский берег, как 9 июля пришла депеша главы кабинета князя Жюль де Полиньяка о том, что город Алжир взят и белый флаг развевается над дворцом дея [16, р. 516]. В экспедиции надобность отпала. Однако эта «маленькая победоносная война» не помогла Карлу X сохранить свой трон.

После Июльской революции Рошешуар, как и многие другие французские военные, был отправлен в отставку с сохранением прав и ежегодной пенсией 2 тыс. франков, выплачиваемой вплоть до 1839 года [16, р. 517–518]. Он остался верен династии Бурбонов и через Антуана Аженора де Грамона, герцога де Гиша, предложил свои услуги герцогине Беррийской. Ему было предписано прибыть в Гаагу, чтобы просить у короля Нидерландов позволения для августейших изгнанников жить в его королевстве под предлогом того, что климат Шотландии не подходил здоровью Карла X. В действительности, наметившееся франко-английское сближение вызывало опасения, что семья Карла X окажется под постоянным наблюдением [16, с. 519–520]. Однако когда под именем барона Фалленштейна в начале марта 1832 года Рошешуар прибыл в Гаагу, Вильгельм, незамедлительно приняв Рошешуара и заверив его в своем наилучшем расположении к Карлу X и его семье, дал понять, что момент ему казался неподходящим: французская и голландская армии вот-вот готовы были начать военные действия (Франция и Великобритания оказывали Бельгии военную помощь). Иными словами, Рошешуар получил отказ [16, р. 520].

Из Гааги, также инкогнито, Рошешуар отправился в Лондон. Герцог де Гиш в письме от 24 марта инструктировал генерала: «Сразу по приезду возьмите фиакр, прикажите ехать на Принцесс-стрит, 50, назвав адрес громко, так, чтобы все слышали. Как только кучер тронется, прикажите ему ехать в отель “Симпсон”, на Куин-стрит, где я снял вам жилье на имя барона Фалленштейна. Только некоторые лица будут в курсе этого дела и придут к вам в отель. Сообщите мне о своем приезде, как только будете в Симпсон-отеле, но не раньше... Подпись: G.» [16, р. 520–521].

На исходе третьего дня пребывания в Лондоне, под покровом ночи, Рошешуар отправился в Эдинбург, к приближенному Карла X, герцогу де Блакасу. Тот был осведомлен о дружбе Рошешуара с графом генералом от кавалерии Алексеем Федоровичем Орловым, продолжавшейся еще со времен службы в штабе императора Александра I. Орлов был

¹ На русском языке воспоминания публиковались фрагментарно [41, 42].

в это время в Лондоне, и Рошешуар виделся со своим другом. Блакас поручил Рошешуару написать Орлову письмо, дабы узнать о намерениях императора Николая I. Вот этот текст, написанный 26 мая 1832 года и одобренный Карлом X:

«Я надеюсь, мой дорогой Орлов, что Вы уже вернулись из своего долгого путешествия, и что радость вновь оказаться среди близких не заставила Вас забыть о несчастных изгнанниках, о которых я говорил Вам накануне моего отъезда из Лондона. Я также надеюсь, что Вы не забудете о своем обещании ходатайствовать перед императором о том, что в случае неудачи, им будет обеспечена протекция... Осторожность обязывает их защищаться не только против действий, но и против намерений английского правительства, тесно связанного с Луи-Филиппом. Великодушное сердце императора не сможет, я в этом убежден, отказать им в помощи, заботе и поддержке. Я давно и навсегда привязан всем сердцем и душой к моим легитимным принцам, я прекрасно знаю, что это больше не в моде, но это первородный грех, который будет меня сопровождать до моего последнего вздоха. Напишите мне, или позвольте Вам написать, или дайте мне услышать слова утешения и поверьте мне, преданному Вам до конца жизни, графу Рошешуару» [16, р. 521–522].

Через Гамбург Рошешуар отправился в Санкт-Петербург. На борту парохода он встретил графа М.С. Воронцова с семьей, который, по словам Рошешуара, помог ему избежать проволочек с карантинном. 1 (12) августа к Рошешуару на яхте прибыл глава Третьего отделения граф А.Х. Бенкендорф. Соблюдая секретность и обращаясь к генералу как к незнакомцу, он урегулировал все бюрократические формальности. Вечером того же дня Бенкендорф прислал Рошешуару записку, приглашая его прибыть к нему завтра, в 8 часов утра, соблюдая инкогнито.

Наутро Рошешуар явился к графу Бенкендорфу. По словам Рошешуара, Александр Христофорович встретил его с большим радушием, вспоминал о былой дружбе в штабе императора Александра I и объяснил холодность первой встречи необходимостью соблюдения тайны. Он был детально осведомлен о положении дел герцогини Беррийской, проявив к ее судьбе, как писал Рошешуар, трогательный интерес. Генерал попросил об аудиенции у Николая I, которому он должен был передать письмо, добавив: «Я не знаю, что нас ждет во Франции, и я хотел бы просить у Его Императорского Величества, чтобы в случае неудачи нашего предприятия, мне и моей семье было бы позволено прибыть в Россию» [16, р. 523]. Граф Бенкендорф обещал Рошешуару передать просьбу об аудиенции в тот же день. Однако на следующий день он сообщил, что император пожелал, чтобы Рошешуар встретился с графом Нессельроде.

Карл Васильевич встретил французского посланника не менее доброжелательно. Вице-канцлер начал с разговоров о прошлом, засыпав генерала вопросами о герцогине Беррийской, ее жизни и шансах на успех ее дела, а потом сказал: «Император сейчас в Царском Селе, соответственно, нам будет трудно представить вас. Поэтому Его Величество поручили мне побеседовать с вами, можете мне полностью довериться». Однако, как писал Рошешуар, не получив ответа со стороны Нессельроде на поданный им условленный знак, он ответил, что, имея поручение передать письмо лично императору, он хотел бы дождаться дальнейших инструкций [16, р. 523–524].

На следующий день Бенкендорф пригласил Рошешуара на новую встречу. И, по словам генерала, на условленный знак ответил. Что это за знак, Рошешуар не сообщает, но, вероятно, речь идет о масонском тайном знаке, с учетом того, что Бенкендорф был членом масонской ложи [43, с. 102–103, 1092]. Тогда Рошешуар передал Бенкендорфу письмо герцогини со словами: «Мои инструкции не позволяли мне доверить эту депешу графу Нессельроде <...> Письмо написано симпатическими чернилами, чтобы его прочесть, надо обмакнуть перо в раствор зеленого купороса и смочить им бумагу. В том случае, если будет письменный ответ, я его смогу передать Мадам через пять дней после возвращения

в Голландию через лицо, которое всегда знает о ее местопребывании и которое передает ей всю корреспонденцию» [16, р. 524].

Спустя три дня Рошешуар получил записку от графа Нессельроде, в которой тот приглашал его в Канцелярию. Чтобы избежать визита в полицию, и чтобы газеты не узнали о присутствии генерала в Петербурге, один из канцелярских служащих заменил его паспорт на российский. Во время визита после обмена любезностями граф Нессельроде приступил к главному: «Император прочел переданное вами письмо. Мадам просит у Его Императорского Величества поддержки и помощи, которые ей якобы были обещаны. Мне неизвестно, ни в какое время, ни по какому поводу Его Величество могли дать подобное обещание...» [16, р. 524]. Рошешуар заметил, что речь шла об обязательствах, о которых император, видимо, не поставил канцлера в известность, но тот, по его словам, симулировал совершенное неведение.

Граф Нессельроде заверил Рошешуара, что император имел самый живой интерес к делу герцогини Беррийской и ее сына, что он молился за успех ее предприятия, и что, как только ею будут одержаны хоть малейшие победы, она обретет больше, нежели моральную поддержку. На прощание Карл Васильевич добавил: «Мне поручено передать вам, что Его Императорское Величество в курсе ваших заслуг, с радостью примет в России вас и вашу семью и возьмет вас на службу» [16, р. 524–525].

Что самое интересное, «секретной» миссия Рошешуара была только в глазах самого генерала и легитимистов. На самом деле, французское правительство знало о визите генерала в Россию, и принятые меры предосторожности не помогли ему сохранить инкогнито. Уже через два дня после приезда Рошешуара, 3 (15) августа 1832 года маршал Мортье доносил министру иностранных дел графу Себастьяни: «Мне только что сообщили, что генерал граф Рошешуар, зять г-на Увара, прибыл в Кронштадт последним пароходом из Любека. Мне совершенно не известна цель этого путешествия. Если я узнаю, что он вовлечен в какие-либо политические интриги, я не замедлю сообщить об этом Вашему превосходительству» [37, р. 187–188].

«Вчера утром, – писал Мортье 5 (18) августа, – я получил записку от г-на Нессельроде, приглашающего меня на встречу к трем часам. Я был точен. Нессельроде начал с того, что дал мне знать о письме, которое он только что получил от императора с приказом сообщить мне о его содержании. “Я не знаю Рошешуара, – писал император, и я не знаю о деле, которое его привело в Россию. В любом случае, вы можете заверить французского посла, что, если это путешествие связано с каким-то политическими интригами, я смогу навести порядок и предупредить их последствия”» [37, р. 188].

По словам Мортье, «для того, кто знаком с порядками этого двора и царящим там фанатичным культом легитимности, демарш императора относительно прибытия графа Рошешуара имеет первостепенное и решающее значение. Без всяких предисловий император высказался категорично. Здесь далеки от симпатий по отношению к вандейцам, и это позволяет надеяться, что карлизм, потеряв свое последнее прибежище, откажется вскоре от своих последних надежд» [37, р. 189].

В донесении от 9 (21) августа Мортье сообщил, что император Николай, предпочитавший общаться с дипломатами на военных маневрах, пригласил на них и его и сообщил ему относительно приезда Рошешуара: «Я с ним не знаком и не знаю, зачем он приехал сюда». Характерно, что эта встреча состоялась уже после разговора Рошешуара с Бенкендорфом и Нессельроде и после передачи Николаю Павловичу письма от герцогини Беррийской, соответственно, император был прекрасно осведомлен о цели визита. Однако, как доносил французский дипломат, Николай I сказал ему: «Если бы это путешествие имело целью какую-либо политическую миссию, будьте уверены, я бы в этом разобрался, поскольку я не хочу, чтобы в Париже считали, что в этом деле есть какие-то подводные

камни» [44, р. 90–90 recto verso]. Потом император добавил: «Может быть, господин Рошешуар, прежде служивший в русской армии, намеревался просить меня о службе; я не собираюсь прибегать к его услугам» [44, р. 90 recto verso].

Мортье, однако, полагал, что Рошешуар прибыл в Россию не только для того, чтобы ходатайствовать о службе. Такой вывод, по его словам, можно было сделать исходя из разговоров, которые генерал вел в России (то есть Мортье об этом было известно). Граф Рошешуар якобы говорил о нестабильности политической ситуации во Франции, и о том, что такая ситуация не могла долго длиться. Кроме того, по словам Мортье, Рошешуар не появлялся в свете, соответственно, хотел сохранить инкогнито [44, р. 91].

Однако уже в следующей депеше Мортье с удовлетворением сообщил в Париж об отъезде Рошешуара. 18 (30) августа дипломат сообщал министру иностранных дел Себастьяни: «Я рад сообщить вашему превосходительству об отъезде зятя г-на Уврава. Он возвращается в Любек на том же пароходе, с которым я отправляю эту депешу. Прием, который был ему оказан при императорском правительстве, несомненно, соответствовал заверениям, которые мне были переданы по поводу его приезда, и убедил его в бесполезности пребывания в этой стране» [44, р. 97].

Сам же Рошешуар считал свой визит вполне успешным, по крайней мере в том плане, что он «имел результатом усиление добрых отношений между царем и Мадам и разрушение иллюзий. Я уехал с убежденностью, что если у нас будет успех, то поддержка будет более значительной...» [16, р. 524–525]. 10 сентября генерал Рошешуар прибыл в Гаагу. К этому времени надобность приютить семью французских королевских изгнанников отпала: Карл X принял предложение австрийского императора Франца I обустраиться в Праге.

В Гааге Рошешуар отправил королю Вильгельму I детальный рапорт о визите в Россию. Там же его ожидало письмо от графа А.Ф. Орлова из Петербурга, датированное 1 августа 1832 года. Это был ответ на письмо Рошешуара, написанное им еще в Шотландии.

«Я получил, мой дорогой Рошешуар, ваше письмо от 26 мая. Не сомневайтесь в моем искреннем сочувствии к несчастьям, о которых вы мне говорили, но, согласитесь, ни вы, ни я, не можем считать себя посредниками в столь важном деле; нам не позволено рассуждать о нем так, будто бы речь идет о наших собственных интересах. Кроме того, я понимаю, что условия, вынудившие вас, насколько мне известно, искать в России прибежища для несчастной августейшей семьи, полностью изменились. Поскольку на повестке дня больше не стоит проект, о котором упоминается в вашем письме, мне остается только извиниться перед вами за столь долгое ожидание ответа. Примите...» [16, р. 525–526].

Как видим, Орлов не спешил с ответом, ожидая, чем закончится авантюра герцогини Беррийской. В боях под Шеном и Ла-Пенисьером вандейцы были разгромлены. 7 ноября 1832 года Мария-Каролина была арестована в Нанте; спустя восемь дней ее интернировали в замок Блай, в Жиронду. Эпопея завершилась громким скандалом. В замке выяснилось, что герцогиня ожидала ребенка. 26 февраля официальный орган короля Луи-Филиппа, газета «Le Moniteur universel» поместила письма герцогини, в которых та утверждала, будто во время своего пребывания в Италии она тайно обвенчалась с графом Гектором Луккези-Пали и это его ребенок. Несмотря на то, что ее слова были встречены с большим сомнением, для Луи-Филиппа Мария-Каролина больше не представляла опасности: из вдовствующей принцессы она превратилась в заурядную итальянскую графиню, утратив все права на французский престол. Поэтому после того, как 10 мая 1833 года в присутствии многочисленных свидетелей она родила девочку, Анну-Марию-Розалию¹, ее освободили. Она удалилась в Богемию, вела там тихую, спокойную жизнь, хотя время от

¹ Девочка умерла в младенчестве, но от этого брака родились еще три девочки и мальчик.

времени возникали слухи, будто она вновь в Вандее и вновь готова сражаться. 16 апреля 1870 года она скончалась в Брюнзее, недалеко от Граца [3, р. 297].

Что касается генерала Рошешуара, то он по просьбе Марии-Каролины до 1834 года оставался в Гааге в качестве ее представителя при короле Нидерландов Вильгельме I. Потом он отправился в свой замок Жюмильяк, к жене и четырем детям, с которыми он не виделся два года [16, р. 536]. Граф занимался воспитанием детей, хозяйственными делами и писал сочинения на исторические темы, в частности «Историю дома Рошешуар». Смерть его жены 26 июля 1857 года подорвала душевные силы и здоровье генерала; 21 февраля 1858 года с ним случился апоплексический удар, а спустя неделю он умер [16, р. 536].

Спустя два года после отъезда из Петербурга генерала Рошешуара на пароходе «Николай I» в нашу страну прибыл его соотечественник и тоже сторонник герцогини Беррийской, более того, некоторое время служивший ее пажом и даже, по слухам, участвовавший в Вандейском восстании. В истории России ему была уготована печальная слава. Звали его Жорж д'Антес, или Дантес, как нам привычнее.

Был ли Дантес в Вандее? Как писал его внук Луи Метман, в течение нескольких недель его дед был в Вандее при герцогине Беррийской [45, с. 293]. Французские историки Вандеи о какой-то роли Дантеса при герцогине Беррийской не упоминают, более того, не называют его имени в привязке к Марии-Каролине. На мой взгляд, убедительней звучит версия о том, что Дантес, прибыв в Россию, мог выдумать легенду о своем участии в восстании. В частности, А.И. Тургенев в письме князю П.А. Вяземскому от 4 (16) августа 1837 года писал: «Я узнал и о его происхождении, об отце и семействе его: всё ложь, что он о себе рассказывал и что мы о нем слышали: его отец – богатый помещик в Эльзасе – жив и кроме его имеет шестерых детей; каждому достанется после него по 200 тысяч франков. С Беррийской дюшессой он никогда не воевал и на себя налгал» [46, с. 148]. Отец Дантеса в годы Реставрации был членом Палаты депутатов, а Жорж некоторое время учился в знаменитой военной школе Сен-Сир и буквально за несколько недель до Июльской революции был зачислен в пажеский корпус герцогини Беррийской. Л.П. Гроссман в «Записках д'Аршиака» очень осторожно относится к версии о возможном участии Дантеса в восстании. Устами д'Аршиака он говорит: «Передавали, что он остался верен герцогине Беррийской и даже сопровождал ее в Вандею в 1832 году с целью вызвать восстание и произвести государственный переворот в пользу старших Бурбонов» [47, с. 65]. В любом случае, после поражения восстания Дантес уехал в Германию, а потом оказался в Петербурге.

В итоге «третье издание» Вандеи окончилось поражением. Главная причина провала заключалась в том, что Вандея была умиротворена либеральной религиозной политикой, обеспечившей населению свободу культа, а какой король на троне, Луи-Филипп Орлеанский или наследник Карла X Бурбона, крестьянам было все равно. После крушения режима Луи-Филиппа в 1848 году Вандея также осталась спокойной. Несмотря на то, что на территории бывшей Шуанерии еще сохранялись очаги напряженности, они не имели политического характера. Это были акты разбойничества, убийств и бандитизма.

Изменился ли легитимизм после подавления восстания? Среди французских исследователей нет единства по этому вопросу. По мнению Рене Ремона, если в 1830 году легитимистская оппозиция внушала орлеанистам серьезное беспокойство, то после поражения восстания она уже не представляла особой опасности для властей. Исследователь ставил вопрос: как объяснить, что партия, насчитывавшая в своих рядах элиту общества,

обладавшая серьезной поддержкой влиятельных семейств, приверженцы которой имели наследственную привычку пренебрегать опасностями, даже если они не имели личного опыта бряцания оружием, так и не смогла поколебать режим, в то время как несколько тысяч рабочих или ремесленников без всякого образования, материальных средств и лидеров смогли возглавлять на многих предприятиях и в различных регионах объединенные силы и заставили дрожать правительство (имеется в виду республиканское восстание 5–6 июня 1832 года и восстания в Лионе 1831 и 1834 годов)? По мнению Ремона, объяснение этой неэффективности легитимизма следует искать в философии и социальной структуре партии. История легитимистской оппозиции для него – это история мысли, уверенной в собственной непогрешимости, но неспособной найти средства достижения цели, адекватные настоящему времени [18, р. 74].

Авторы, имеющие иной, оптимистичный взгляд на легитимизм, полагают, что, напротив, поражение 1832 года многому научило легитимистов и заставило их изменить тактику действий. По словам Хьюго Шанжи, после провала восстания легитимистская оппозиция отказалась от всякой идеи заговора, чтобы произвести «мягкую контрреволюцию», эффект которой мог проявиться лишь в отдаленной перспективе [21, р. 335]. Именно после поражения заговора герцогини Беррийской легитимисты делают ставку на парламентскую оппозицию и легальные методы борьбы [19, р. 11].

Как отмечает Х. Шанжи, после поражения восстания стратегия легитимистов заключалась в их активном участии в политической жизни страны. Конечно, определенное их число отказывалось от участия в выборах. Например, «La Gazette de France» в своей «Декларации принципов» от 30 марта 1832 года рекомендовала воздержаться от участия в департаментских выборах в следующем году. Однако вскоре издание изменило свою позицию, и в целом отказ легитимистов от участия в выборах не получил широкого распространения. Из 2405 генеральных советников легитимисты заняли 187 мест в 1833 году, 215 в 1836-м и 229 в 1839 году [21, р. 15].

К этому времени легитимистское движение не было однородным. В нем выделялась «Молодая Франция», или «генрихисты», сторонники графа Шамбора, Генриха V, и «Старая Франция», или «карлисты», сторонники идей экс-короля Карла X, умершего в 1836 году. «Генрихисты» во главе с Шатобрианом хотели показать и доказать своевременность обновленного роялизма. Напротив, «Старая Франция», «карлисты», с подозрением относились к идеям модернизации и видели в этом некий «доктринальный занос».

Сын герцогини Беррийской, граф Шамбор, вступил на поле большой политики в 1844 году. 4 июня этого года умер его дядя, граф Ангулемский, Людовик XIX. Это событие превратило графа Шамбора в глазах всех роялистов в Генриха V. В двадцать три года он знал тяготы ссылки, продолжавшейся на протяжении тринадцати лет, начиная с 1830 года. Он был сиротой своего отца, герцога Беррийского, и оказался под почти полным контролем со стороны матери. Суровый образ жизни лишь слегка сглаживался добротой, пусть и с трагическим оттенком, его тетки, герцогини Ангулемской, «сироты Тампля», дочери казнённых Людовика XVI и Марии-Антуанетты, и веселостью его сестры, Mademoiselle. Между тем, в характере графа Шамбора не было ничего депрессивного. Бонвиван, большой любитель охоты, он соединял в себе отречение и величие. Очень благочестивый и воспитанный – воспитания скорее современного – он много читал и путешествовал, чтобы подготовить себя к роли монарха. Хромота, следствие травмы, лишь придавала ему пикантности и вовсе не вредила, что отмечалось современниками. По характеру он был скрытный, всегда выслушивал мнения других, но принимал решения самостоятельно, как настоящий суверен.

Граф Шамбор выступил с концепцией монархии одновременно классической и умеренной. Если он утверждал о своем желании провозгласить великое «национальное движение 1788 года», то есть подъем накануне Революции, если он искренне признавал

равенство граждан перед законом, то он не принимал революционные принципы как таковые и оставался верен монархии. Он был надеждой легитимистов вплоть до своей смерти в 1883 году, хотя и сошел с политической арены гораздо раньше, после того, как в «Манифесте» 1871 года заявил о невозможности соединения белого королевского знамени и триколора: «Француз, Генрих V, не может отказаться от знамени Генриха IV» [21, р. 86].

Легитимизм жив и сейчас. Несмотря на то, что это течение не играет сколь-либо заметной роли, легитимисты сохранили организационную структуру. Во Франции действует Ассоциация «Генрих V – граф Шамбор». В 1992 году она опубликовала свой манифест, представленный во время третьего легитимистского банкета Св. Жанны д'Арк, проходившего в Париже 1 мая того же года. Основные идеи манифеста созвучны с главными тезисами легитимистов позапрошлого века: опора на традиции, верность христианским заповедям и сохранение семейных ценностей [48].

Итак, ожидания легитимистов относительно поддержки со стороны императора Николая I, как видим, не оправдались. Николай Павлович, убежденный сторонник принципа легитимизма, до конца своих дней считавший короля Луи-Филиппа «узурпатором престола», воздержался от вмешательства во внутренний конфликт Франции. Во французской историографии существует мнение, что император не оказал поддержки делу вандейцев по целому ряду причин: внимание России было приковано к Польше, финансовый кризис и необходимость европейских займов, бельгийская проблема, а также первостепенный интерес российских властей к Восточному вопросу, а именно конфликту между султаном Махмудом II и пашой Египта Мухаммедом Али. Безусловно, эти факторы оказывали влияние на политику российского правительства. Однако главное заключалось в том, что Николай I проявил себя как рациональный политик, не желавший поддерживать авантюру, обреченную на провал. Это позволяет скорректировать взгляд на политику Николая Павловича, который порой представляется как «рыцарь самодержавия», готовый скакать куда угодно ради подавления революции и восстановления легитимных порядков. Он понимал, что поддержка герцогини Беррийской еще больше дестабилизирует французское общество, что будет опасным для европейской стабильности и равновесия. Поэтому как и само восстание в Вандее, так и «секретная» миссия генерала Рошешуара были обречены на провал.

Литература

1. *Secher R.* Le Génocide franco-français: la Vendée – Vengé / préf. de Jean Meyer. Paris: Presses univ. de France, 1986. 338 p.
2. *Secher R.* Vendée: du génocide au mémoricide. Paris: CERF, 2011, 444 p.
3. *Gabory E.* Histoire des guerres de Vendée. 1793–1832. Paris: Perrin, 2015. 300 p.
4. *Gabory E.* Les guerres de Vendée. Paris: Laffont, 1989. 1474 p.
5. *Martin J.-Cl.* La Vendée et la France. Paris: Seuil, 1987. 408 p.
6. *Martin J.-Cl.* Une guerre interminable: La Vendée deux cents ans après. Nantes: R. et M. Vivant éd., 1985. 158 p.
7. *Prisson Ph.* La guerre de Vendée: L'amnésie de l'histoire de France. Paris: Epopée de l'Histoire, 2016. 761 p.
8. *Brégeon J.-J., Guicheteau G.* Nouvelle histoire des guerres de Vendée. Paris: Perrin, 2017. 380 p.
9. *Buisson P.* La grande histoire des guerres de Vendée. Paris: Perrin, 2017. 280 p.
10. *Летчфорд С.Е.* «Вандея» – судьба одного понятия // Новая и новейшая история. 2000. № 19. С. 37–43.
11. *Мягкова Е.М.* «Необъяснимая Вандея»: сельский мир на Западе Франции XVII–XVIII вв. М.: Academia, 2006. 281 с.
12. *Летчфорд С.Е.* Вандея в 1815 году // Французский ежегодник. 2003. М., 2003. С. 151–164.

13. *Lignereux A.* Chouans et Vendéens contre l'Empire. 1815, l'autre guerre des Cent-Jours. Paris: Editions Vendémiaire, 2015. 379 p.
14. *Gabory E.* Napoléon et la Vendée / E. Gabory // Les guerres de Vendée. Paris: Laffont, 1989. P. 567–842.
15. *Таньшина Н.П.* Либерально-консервативный синтез: политико-философский аспект (на примере французского либерализма первой половины XIX века) // Философские исследования. 2004. № 2. С. 26–44.
16. *Rochechouart L.V.L. de.* Souvenirs sur la Révolution, l'Empire et la Restauration. Paris: Plon, 1892. 541 p.
17. *Rémond R.* La vie politique en France. 1789–1848. T. 1–2. Paris: Amicale des élèves de l'Institut d'études politiques, 1965.
18. *Rémond R.* Les droites en France. Paris: Le Grand livre du mois, 1998. 544 p.
19. *Rials S.* Le Légitimisme. Paris: PUF, 1983. 125 p.
20. *Gourinard P.* Les royalistes français devant la France dans le monde (1820–1859). Nîmes: C. Lacour, 1992. 686 p.
21. *Changy H. de.* Le Mouvement légitimiste en France sous la Monarchie de Juillet (1833–1848). Rennes: PU Rennes, 2005. 420 p.
22. *Tudesq A.-J.* La démocratie en France depuis 1815. Paris: Coll. SUP., 1971. 199 p.
23. *Richard G.* Histoire des droites en France. Paris: Perrin, 2017. 670 p.
24. *Зелдин Т.* Франция, 1848–1945: Честолюбие, любовь и политика. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2004. 672 с.
25. *Lucas-Dubreton J.* La Princesse captive: La Duchesse de Berry. 1832–1838. Paris: Perrin, 1925. 245 p.
26. *Dupland E.* Marie-Caroline duchesse de Berry. Paris: Ed. France-Empire, 1996. 481 p.
27. *Brégeon J.-J.* La Duchesse de Berry. Paris: Tallandier, 2009. 303 p.
28. *Rouchette T.* La Folle Equipée de la Duchesse de Berry. Paris: Centre Vendéen de Recherches Historique, 2004. 492 p.
29. *Hillierin L.* La Duchesse de Berry. L'oiseau rebelle des Bourbons. Paris: Flammarion, 2010. 541 p.
30. *Changy H. de.* Le Soulèvement de la duchesse de Berry 1832. Paris: Albatros, 1986. 253 p.
31. *Таньшина Н.П.* «Третье издание Вандеи», или заговор герцогини Беррийской 1832 года // Новая и новейшая история. 2020. № 1. С. 22–43.
32. *Таньшина Н.П.* «Третье издание Вандеи», или заговор герцогини Беррийской. СПб.: Евразия, 2020. 160 с.
33. *Bertier F. de.* La conspiration des légitimistes et de la duchesse de Berry contre Louis-Philippe. 1830–1832 (Correspondances et documents inédits) // Études d'histoire moderne et contemporaine / publiées par la Société d'histoire moderne. T. 3. Paris: A. Hatier, 1950. 125 p.
34. *Шатобриан Ф.Р. де.* Замогильные записки. М.: Изд-во имени Сабашниковых, 1995. 738 с.
35. *Таньшина Н.П.* Эпидемия холеры 1832 г. в Париже // Французский ежегодник 2021: Эпидемии в истории Франции. Т. 54. М.: ИВИ РАН, 2021. С. 145–166.
36. *Secher R.* La Guerre de Vendée: Itinéraire de la Vendée militaire. Paris: Talandier, 1989. 111 p.
37. *Dejean É.* La Duchesse de Berry et les monarchies européennes, août 1830 – décembre 1833: d'après les archives diplomatiques et des documents inédits des Archives nationales. Paris: Plon-Nourrit, 1913. 393 p.
38. *Таньшина Н.П.* Самодержавие и либерализм: эпоха Николая I и Луи-Филиппа Орлеанского. М.: РОССПЭН, 2018. 333 с.
39. *Бенкендорф А.Х.* Воспоминания. 1802–1837 / публ. М.В. Сидоровой и А.А. Литвинова; пер. с фр. О.В. Маринина. М.: Российский фонд культуры, 2012. 759 с.
40. *Dumas A.* Mes Mémoires. Neuvième série. Paris: Lévy, 1863.
41. [Рошешуар Л.-Г.] Из воспоминаний графа Рошешуара // Русский архив. 1890. Кн. 1. Вып. 4. С. 473–500.
42. *Рошешуар Л.-Г.* Мемуары графа де Рошешуара, адъютанта императора Александра I. (Революция, Реставрация, Империя) // Кавказская война: истоки и начало. 1770–1820 годы: Воспоминания участников Кавказской войны XIX века. СПб.: Изд-во журн. «Звезда», 2002. 549 с.
43. *Серков А.И.* Русское масонство. 1731–2000. М.: РОССПЭН, 2001. 1222 с.
44. Archives diplomatiques du Ministère des affaires étrangères. Cp. Russie. Vol. 185–186. Vues. 560. P. 12408.
45. *Metman L.* Georges Charles d'Anthès // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Вып. 25–27. Пг.: РАН, 1916.
46. *Тургенев А.И.* Письмо Вяземскому П.А., 4/16 августа 1837 г. Киссинген // Пушкин. Лермонтов. Гоголь / АН СССР. Отд-ние лит. и яз. М.: Изд-во АН СССР, 1952. 1059 с.
47. *Гроссман Л.* Записки д'Аршиака: Петербургская хроника 1836 года. 3-е изд. М.: Моск. т-во писателей, 1933. 492, [3] с.
48. Manifeste légitimiste. Association Henry V – Comte de Chambord. Paris, 1992. 14 p.
49. *Таньшина Н.П.* Французский легитимизм первой половины XIX в.: «бедные родственники» историографии // ЭНОЖ. 2020. Вып. 3 (89). Т. 11.



Аннотация. Статья посвящена анализу событий восстания 1832 года в Вандее, вошедшего в историю как заговор герцогини Беррийской. Автор исследует деятельность французских легитимистов, сторонников династии низложенного короля Карла X Бурбона, анализирует дискуссии, происходящие во французской исторической науке относительно сущности легитимизма, времени его появления, основных направлений и идеологии. Одним из центральных аспектов статьи является анализ действий герцогини Марии-Каролины Беррийской, имеющих целью получение поддержки со стороны иностранных держав, а также миссии генерала Рошешуара, отправленного герцогиней Беррийской к императору Николаю I. Надежды французских легитимистов на иностранную, в том числе российскую, поддержку не оправдались. Император Николай I проявил себя как рациональный политик, отказавшись от идеи вмешательства во внутренние дела Франции, полагая, что это опасно для европейского равновесия и спокойствия.

Ключевые слова: заговор герцогини Беррийской, восстание в Вандее 1832 года, французский легитимизм, взаимоотношения России и Франции, император Николай I, миссия генерала Рошешуара.

Natalia P. Tanshina, Doctor of Historical Sciences, Professor, Department of General History, Institute of Social Sciences, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration; Leading Researcher, Institute for International Studies, MGIMO University. E-mail: nata.tanshina@mail.ru

The Vendee Rebellion of 1832 and the Russian Hopes of the French Legitimists*

Abstract. The article is devoted to the analysis of the events of the 1832 Vendée rebellion, which went down in history as the insurrection of the Duchess of Berry. The author examines the activities of French legitimists, supporters of the dynasty of the deposed king Charles X of Bourbon, analyzes the discussions going in French historical science regarding the essence of legitimism, the time of its appearance, the main directions and ideology. One of the central aspects of the article is the analysis of the actions of the Duchess Marie-Caroline of Berry, aimed at obtaining support from foreign powers. The article examines the mission of General Rochemore sent by the Duchess of Berry to Emperor Nicholas I. The author concludes that the hopes of the French legitimists for foreign, including Russian, support were not justified. Emperor Nicholas I showed himself to be a reasonable politician and abandoned the idea of interfering in the internal affairs of France, believing that it was dangerous for European balance and tranquility.

Keywords: Insurrection of the Duchess of Berry, the Vendée Rebellion of 1832, French Legitimism, Relations Between Russia and France, Emperor Nicholas I, Mission of General Rochemore.

* The article was prepared as part of scientific and research work in the context of RANEP state task.

«Авангард Европы в Азии» или «авангард Азии в Европе»? Анри Массис о России

И долго буду я для многих ненавистен
Тем, что растерзанных знамен не опускал,
Что в век бесчисленных и лживых полуистин
Единой Истины искал.

Борис Садовской, 1917

Французский критик, философ и публицист Анри Массис (1886–1970) более шестидесяти лет работал в литературе (первая книга в 1906 году, последняя в 1967-м) и, получив известность еще до Первой мировой войны, добрых полвека влиял на интеллектуальную жизнь своей родины, где его нынче подзабыли. Причин, наверно, много, но достаточно одной – неполиткорректность. Массис не был ни фашистом, ни антисемитом, ни социал-дарвинистом, ни сексистом (какие еще «страшные слова» остались?). Но он был консерватором, католиком, националистом, близким к монархическому движению “Action française” и его вождям Шарлю Моррасу и Жаку Бенвилю, поддерживал «национальную революцию», провозглашенную в 1940 году маршалом Филиппом Петэном, главой Французского государства. В сегодняшней Франции и половины этого набора достаточно для «черного списка», но так было не всегда. Во время послевоенной «чистки» Массис был интернирован «освободителями», но всего на четыре месяца (легко отделался!), а в 1960 году избран во Французскую академию.

В СССР / России Массиса не переводили, а если упоминали, то походя и негативно – как «реакционера», если не «фашиста». Автор этих строк впервые узнал о нем лишь в 1992 году из перевода книги его оппонента Рене Генона «Кризис современного мира». Я обращался к личности и наследию Массиса в трилогии о борьбе Шарля Морраса и “Action française” против Германии, но затронул лишь некоторые аспекты его деятельности [1–3]. На русский язык переведена лишь одна его статья [4]. Поэтому обзор написанного им о России необходимо предварить очерком трудов и дней этого выдающегося человека (единственной биографией Массиса остается книга Мишеля Тодá [5]).

1

Коренной парижанин Анри Массис родился 21 марта 1886 года в XVIII округе столицы, на Монмартре, которому в старости посвятил лирическое эссе «Моя деревня» [6, р. 17–28], и умер 16 апреля 1970 года в XIV округе в возрасте 84 лет. Сын страхо-



вого агента, потомок честных, небогатых и трудолюбивых буржуа, Массис окончил лицей Кондорсе, где учился у философа Алена (Эмиль-Огюст Шартье), о котором сохранил добрую память, хотя не разделял его взгляды [6, р. 29–41], затем Сорбонну, где изучал французскую литературу и в 1908 году получил степень по философии. Еще в студенческие годы он дебютировал работой «Как Эмиль Золя писал романы», опубликованной в журнале “Revue des revues” в 1905 году и год спустя выпущенной отдельной книгой. Это филологическое исследование о работе Золя над романом «Западня», рукописи которого незадолго до того поступили в Национальную библиотеку и стали доступны исследователям. Натуралист, дрейфусар и атеист Золя был духовно чужд Массису, но молодого литератора привлекла возможность заглянуть в творческую лабораторию прославленного романиста. Со свежееизданной книгой дебютант отправился представляться «мэтрам». «Толстый том облегчил доступ в литературные круги, хотя, на деле, это был странный паспорт для вступления, в возрасте девятнадцати лет, в Республику словесности», – заметил Массис четверть века спустя в книге «Припоминания. Воспоминания 1905–1911» (“Évocations. Souvenirs 1905–1911”) [7, р. 9]. Влиятельный критик, профессор Сорбонны и академик Эмиль Фаге одобрил многообещающий дебют молодого филолога. Массис не стал ни академическим ученым, ни педагогом, хотя написал диссертацию «Философские источники психологии Стендаля», а позднее участвовал в издании сочинений Паскаля и Боссюэ – своих любимых авторов.

Литературным, политическим и житейским кумиром молодого Массиса, примером для подражания стал «принц юности» Морис Баррес, эстет, денди и националист, с которым он познакомился в 1906 году и вскоре подружился, несмотря на разницу в возрасте. В моем собрании хранится любовно переплетенный, с сохранением обложек и корешка, необрезанный «особый» экземпляр (№ 13 из 25 на бумаге Hollande) итогового издания знаменитого романа Барреса «Под оком варваров» (1892), который автор надписал: «*Анри Массису его друг Морис Баррес. Апрель 1908*». На своих книгах Массис часто делал развернутые и содержательные дарственные надписи, достойные отдельного изучения, но порой надписывал их именно так, как это сделал Баррес, – слово в слово. Роман «Под оком варваров» – первая часть трилогии «Кульм моего Я» о самоанализе, самопознании и самосовершенствовании – вышел в 1888 году и сделал двадцатилетнего Барреса известным. Трилогией зачитывались несколько поколений французских юношей, от двадцатилетнего Шарля Моррасса, бывшего среди ее первых читателей, до Массиса, вспоминавшего о том, «с каким жаром мы в школе читали эти книги, написанные, казалось, только для нас. <...> Мы нашли писателя, который говорил нам о нашей душе» [6, р. 43]. Так что томик в полукожаном переплете имеет особое значение.

Диалог, временами переходивший в спор, со старшим другом Массис вел более полувека – от прочитанного главным героем в рукописи философского этюда «Мысль Мориса Барреса» (“La pensée de Maurice Barrès”, 1909 [1908]), фрагмент которого автор почти через шесть десятилетий включил в «изборник» «На протяжении жизни» (“Au long d’une vie”, 1967) [6, р. 42–45], до итоговой книги воспоминаний и размышлений «Баррес и мы» (“Barrès et nous”, 1962) и речей к столетию мэтра, которые академик Массис произносил как представитель «бессмертных» (Hommage à Maurice Barrès à l’Académie Stanislas à Nancy, le 6 octobre 1962). Под воздействием Барреса Массис заинтересовался политикой, проблемами морали, воспитания и образования, занялся журналистикой и проникся резко отрицательным отношением к Германии. «Мы почувствовали раскрывшиеся над нами крылья войны, – вспоминал он впечатление от сенсационного визита кайзера Вильгельма II в Танжер 31 марта 1905 года, который был воспринят как агрессивный антифранцузский демарш. – Эта дата означала вступление в жизнь нашего поколения» [7, р. 183]. Массису только что исполнилось девятнадцать лет.

В отношении к Германии его укрепил второй учитель – Шарль Моррас, вождь и идеолог монархического и националистического движения “Action française”, ярый германофоб. Массис заинтересовался его идеями в 1908 году, с началом издания ежедневной газеты “L’Action française” (Баррес опрометчиво предсказал ей всего полгода жизни). Моррас оценил книгу Массиса «Дух новой Сорбонны» (о ней далее) и летом 1911 года первым написал «дорогому собрату». В начале 1910-х годов многие молодые французские националисты двигались от Барреса к Моррасу, от ностальгического романтизма и лирического эстетства к «политике прежде всего», дисциплине, догме, борьбе. Процесс завершила Великая война, как в случае Массиса. Он не стал правоверным моррасианцем (судьба католической веры и церкви волновала его намного больше, чем восстановление монархии), не состоял в Лиге “Action française” и не печатался в ее газете, но, оставаясь добрым католиком, не отрекся от движения и вождя, когда их в конце 1926 года по политическим мотивам осудил Святой Престол. Долгой истории отношений с Моррасом как важнейшему событию своей интеллектуальной жизни Массис посвятил одну из своих лучших книг «Моррас и наше время» (“Maurras et notre temps”, 1951, 1960). Главный герой, отбывая после войны пожизненное заключение за «подрыв морального духа» и «сотрудничество с оккупантами» (трудно придумать более нелепые и оскорбительные для Морраса обвинения), прочитал ее в рукописи и сообщил автору немало ценных советов и поправок.

Третьим... но не учителем, а старшим товарищем для Массиса с 1910 года стал католический поэт и публицист Шарль Пеги, погибший в битве на Марне в начале Великой войны, на которую ушел добровольцем. Именно Пеги вдохновлял предвоенное поколение молодых католиков вроде Эрнеста Психари, погибшего в самом начале Великой войны в Бельгии, – внука Эрнеста Ренана и друга юности Массиса, написавшего о нем книги «Жизнь Эрнеста Психари» (“La vie d’Ernest Psichari”, 1920) и «Наш друг Психари» (“Notre ami Psichari”, 1936). Массис часто обращался к наследию и памяти Пеги, видя в них непреходящую национальную ценность. «Когда речь идет о Франции, всегда надо обращаться к Пеги» [6, р. 148], – наставительно говорил он в декабре 1940 года слушателям Национальной школы молодежных кадров в Урьяже (деп. Изер), где германофоба Массиса понимали без лишних слов. «Через пятьдесят лет после своей смерти Пеги рядом, – повторил он в сентябре 1964 года. – Мы чувствуем его присутствие среди нас как самого живого из людей – и это показывает, насколько мы в нем нуждаемся» [6, р. 63–72, 78–84 (цит. р. 79)] (Péguy parmi nous. Séance publique annuelle des Cinq Académies, lundi 26 octobre 1964; “Aux sources de Charles Péguy”, 1964).

Подобно многим молодым интеллектуалам своего поколения, Массис пережил увлечение философией Анри Бергсона и творчеством Поля Клоделя. Окончательное расставание с бергсонизмом в 1913 году [8, р. 161–170] совпало с окончательным возвращением Массиса в католицизм, в церковь, от которой он на время отдалился [5, р. 61–74]. Когда в начале января 1941 года Бергсон умер в оккупированном немцами Париже, Массис посвятил его памяти выступление на радио Виши. Клодель повлиял на его возвращение в церковь, но в начале 1945 года Массис порвал с ним, возмущенный поведением «первого католического поэта Франции», который оклеветал уже арестованного Морраса, но предпочел не явиться на судилище над ним [5, р. 75–79]. Верность принципам была самой характерной чертой Массиса, к которому подходят слова Бориса Садовского «растерзанных знамен не опускал».

Известность Массису – правда, еще не под настоящей фамилией – принесли две серии статей, в дополненном виде выпущенные отдельными изданиями, под псевдонимом Агатон (Agathon). Вместе с Массисом под ним укрылся молодой психолог Альфред де Тард, сын социолога Габриэля Тарда. Первая серия статей, опубликованная в 1910 году, стала и первым антигерманским выступлением Массиса. Агатон обвинил руководство и



профессуру Сорбонны в «германизации» гуманитарного образования, придании ему анти-национального характера путем пропаганды германской философии и леволиберальных трактовок национальной истории, в кумовстве и клановости. Филолог Массис выступал не против науки о литературе, но против «сухого, мелочного, бездушного» гуманитарного образования, для которого характерны «ужас перед талантом, глумление, зависть, неблагодарность», что делает его направленным «против литературы, против культуры, против духа» [8, р. 74–75], а также против «применения карточек, нумерации и подсчетов к творениям духа» и «подмены суждений колонкой цифр» – в чем видел немецкое влияние.

Статьи попали в цель и вызвали скандал. Сорбоннские нотабли один за другим называли дерзкого Агатона реакционером – страшное слово в Третьей республике. Авторство хранилось в тайне, хотя внимательные читатели могли заподозрить руку Массиса, который 5 июня 1910 года опубликовал под своей фамилией текст с красноречивым заголовком «Защитим себя от германской культуры» [8, р. 17–19]. Годом позже статьи вышли отдельной книгой под названием «Дух новой Сорбонны» (*L'esprit de la nouvelle Sorbonne*, 1911) [5, р. 43–56]. Критику развил погодок Массиса Рене Бенжамен, учившийся там же, но вынесший оттуда стойкую неприязнь к официальной науке и образованию. В памфлете «Фарс Сорбонны» (*La farce de la Sorbonne*, 1911; перераб. изд. 1921) он писал: «Советую французским студентам никогда не заглядывать в аудитории факультета словесности. <...> Вы полны доверия и надежд. Олар убедит вас в тщете любого исследования, Сеньобос – в непознаваемости прошлого. <...> Вы открываете душу. “Где ваши карточки?” – спросит Лансон» [9, р. 149–151].

Вскоре после выхода книги Массис и де Тард были приглашены на организационное собрание Лиги за французскую культуру, созданной консервативными литераторами под председательством академика Жана Ришпена, стали ее секретарями и членами Комитета действия. Поле деятельности расширилось. В 1912 году они под тем же псевдонимом провели и опубликовали в журналах анкету, через год изданную книгой под заглавием «Сегодняшняя молодежь» (*Les jeunes gens d'aujourd'hui*, 1913). Согласно ей, новое поколение французов отличается от предыдущих такими чертами, как «вкус к действию», «патриотическая вера», «католическое возрождение», «политический реализм». Эти четыре определения, вынесенные в подзаголовок книги и соответствующие ее главам, авторы назвали главными элементами «французского возрождения». «Мы не книгу писали – мы совершали поступок», – подчеркнул он [6, р. 50]. Критики говорили, что книга Агатона переполнена национализмом и предчувствием войны и что не вся французская молодежь такова, – и то, и другое было верно [5, р. 119–138]. Живший в Париже и следивший за местными новинками А.В. Луначарский – противник национализма, критик Барреса и Пеги, отдававший должное их литературному таланту, – назвал «во многом лживую, но симптоматичную книгу Агатона» «продуктом духа классовой самообороны буржуазии» [10].

Определяющим событием в жизни Массиса явилась Великая война. Он разделял уверенность своих учителей в неизбежности скорой войны с Германией и поэтому поддержал замену в 1913 году двухлетнего срока обязательной военной службы на трехлетний, обвиняя оппонентов – «левых» либералов и социалистов – в антипатриотизме [5, р. 98–116]. Поколение Массиса и непосредственно предшествовавшее ему поколение Пеги вынесли на плечах основную тяжесть войны. «Наше поколение важно: на него возложены все надежды, и мы это знаем. От него зависит спасение Франции, а значит, мира и цивилизации. <...> Мало какое поколение входило в жизнь с таким чувством самоотречения и смирения, – утверждал Массис в начале сентября 1914 года в статье «Поколение, принесенное в жертву», которую неоднократно перепечатывал. – <...> Поколение, принесенное в жертву – да, ради величия Франции и свободы человека. Оно принимает свою жертвенность, чувствуя себя предназначенным для нее» [6, р. 72–77].

На эти слова в печати откликнулся Баррес, один из главных голосов сражающейся Франции. Позже Массис собрал предвоенные статьи в сборник «Аванпосты. (Хроника возрождения). 1910–1914» (“*Avant-Postes. (Chronique d'un redressement). 1910–1914*”, 1928) – как напоминание.

Массис участвовал в Великой войне в качестве солдата, мобилизованного в августе 1914 года и тяжело раненого в январе 1915-го, затем офицера, до старости сохранившего «легкий шаг пехотинца» [11]. Этому опыту он посвятил книги «Впечатления войны. 1914–1915» (“*Impressions de guerre. 1914–1915*”, 1916), «Жертвоприношение. 1914–1916» (“*Le sacrifice. 1914–1916*”, 1917; премия Французской Академии) и «От Лоретты до Иерусалима» (“*De Lorette à Jérusalem*”, 1924), содержание которых во многом повторяется. «На войне нам внезапно стал ясен истинный смысл нашей жизни и нашей смерти. Вот высшее предназначение. То, что мы здесь действительно делаем – это завоевание Бога». Знаменитый пианист Альфред Корто, с начала войны ставший душой «Национальных утренников» в Сорбонне и «Театра в армии», выступавшего на передовой, отчеркнул эти фразы на страницах 78–79 в своем экземпляре «Впечатлений войны», который 1 августа 1916 года получил от автора с дарственной надписью о «*подлинной симпатии*» [книга в моем собрании – В.М.]. Были ли Массис и Корто друзьями, не знаю, но единомышленниками точно были. В памфлете «Ромен Роллан против Франции» (“*Romain Rolland contre la France*”, 1915), отмеченном премией за литературную критику, Массис оценил занятую поселившимся в Швейцарии писателем – оппонентом Агатона перед войной – позицию «над схваткой» как «моральное дезертирство» [5, р. 172–176].

По болезни Массис в феврале 1916 года был отозван с фронта и переведен на службу в Бюро прессы при МИД. В июне его в составе военно-морской миссии отправили в Грецию, где он героически проявил себя во время антифранцузского выступления 1–3 декабря (это дало материал для книги «Измена Константина» о политических зигзагах греческого короля (“*La trahison de Constantin*”, 1920), написанной вместе с журналистом Эдуаром Элси), затем в феврале 1917 года в Александрию, откуда на Святой неделе 1918-го он совершил паломничество в Иерусалим. 15 ноября 1918 года лейтенант Массис, награжденный Военным крестом, покинул Александрию, в марте 1919-го был демобилизован, напоследок съездив с информационной миссией в Константинополь, и вернулся к журналистской и литературной работе.

Когда Массис обратил внимание на Россию? Вероятно, после Февральской революции и отчасти спровоцированных ею волнений во французской армии, вспыхнувших в апреле 1917 года и умело ликвидированных главнокомандующим генералом Филиппом Петэнном. Победа большевиков придала уверенности французским «левым». 26 июня 1919 года в социалистической “*L'Humanité*” появилась составленная Ролланом и Анри Барбюсом «Декларация независимости Духа», осуждавшая патриотическую позицию писателей, вроде Барреса, в годы войны и славившая «единую Правду, свободную, без границ, без пределов, без расовых и кастовых предрассудков» [цит. по: 5, р. 184]. Среди подписавших – философ Ален, будущий коммунист Жан-Ришар Блок, будущие «большевизаны» Жюль Ромен и Жорж Дюамель и... будущий апологет национал-социализма и «коллора-ции» Альфонс де Шатобриан. 19 июля в литературном приложении к “*Le Figaro*” Массис ответил манифестом «За партию Ума» (“*Pour un parti de l'Intelligence*”), призвав «национальный ум» на службу национальным интересам и на борьбу с «большевизмом, нападающим на дух и культуру с целью уничтожить общество, нацию, семью, личность» [12, р. 177–182]. Под «большевизмом» автор понимал не только явление российской действительности, но его возможное международное влияние.

Манифест выдвинул Массиса как лидера молодых консервативных интеллектуалов, оцененного старшим поколением: среди полусотни подписавших его нотаблей были

Моррас, Жак Бенвиль, прозаик Поль Бурже, поэт Франсис Жамм, художник Морис Дени, нарисовавший фронтиспис к «Впечатлениям войны». Неудивительно, что в 1920 году Массису предложили стать со-редактором нового журнала “La Revue universelle”, дочернего предприятия “Action française” и одноименной газеты. Он делал журнал вместе с главным редактором Бенвилем, а после его смерти в 1936 году единолично руководил им до прекращения издания летом 1944-го. Лучший журнал консервативной Франции межвоенных лет требует отдельного исследования еще и потому, что среди его авторов были не только правоверные моррасианцы, но Жак Маритен (в 1910–1920-х годах друг Массиса, который подробно написал о нем в книге «Моррас и наше время»), Жорж Бернанос (в письмах клявшийся Массису в уважении и преданности, затем истово проклинаявший Морраса [2, с. 223–230]), Анри де Монтерлан (талант которого Массис оценил одним из первых [6, р. 87–96]) и даже Франсуа Мориак (вскоре непримиримый противник).

Не-политическая критика и эссеистика Массиса лежит за пределами статьи, поэтому ограничусь упоминанием основных книг. Литературе, почти исключительно французской, он посвятил: сборники статей «Суждения» в двух томах (“Jugements”, 1923, 1924) с примыкающими к ним «Размышлениями об искусстве романа» (“Réflexions sur l’art du roman”, 1927), «Десять лет спустя. Размышления о послевоенной литературе» (“Dix ans après. Réflexions sur la littérature d’après guerre”, 1932), «От Андре Жида до Марселя Пруста» (“D’André Gide à Marcel Proust”, 1948), литературные портреты «Раймон Радиге» (“Raymond Radiguet”, 1928), «Драма Марселя Пруста» (“Le drame de Marcel Proust”, 1937), «Андре Жид» (“André Gide”, 1948). Массис провозглашал критика наставником писателя, поэтому особое внимание уделял идейной и духовной стороне творчества, считая нравственное и политическое влияние важнее формальных достоинств. Высоко оценивая Барреса, Морраса, Пеги, Клоделя, с оговорками Пруста и Валери¹, он осуждал Ренана и Франса за скептицизм и пессимизм, Роллана за интернационализм и социализм, Жида за «достоевщину», аморализм, разрушение иерархии ценностей, позднее – за симпатии к коммунизму и СССР.

Эссеистика на религиозно-философские темы включала эссе «Реализм Паскаля» (“Le réalisme de Pascal”, 1924), к чьему наследию Массис не раз обращался, составив и прокомментировав свой вариант «Мыслей» (1935), и поздние сборники «Лица идей. Темы и дискуссии» (“Visages des idées. Thèmes et discussions”, 1958) и «От человека к Богу» (“De l’homme à Dieu”, 1959). Автор отстаивал традиционные христианские ценности в католической интерпретации, духовный и социальный авторитет церкви, критиковал атеистов, агностиков, персоналистов и католиков-модернистов. Массис нередко объединял под одной обложкой статьи на литературные, философские и политические темы, как в сборнике «Споры» (“Débats”, 1934) и в антологиях «Честь служить. Тексты собранные как вклад в историю поколения (1912–1937)» (“L’honneur de servir. Textes réunis pour contribuer à l’histoire d’une génération (1912–1937)”, 1937), «Идеи остаются» (“Les idées restent”, 1941), «На протяжении жизни» (“Au long d’une vie”, 1967).

2

В политической публицистике Массиса особое место занимали темы Германии и России как врагов Франции и «Запада». Тему Германии мы уже рассмотрели [13]. Теперь рассмотрим тему России. Скажу сразу: Массис был русофобом, но не столько ненавидел Россию (ненавидел он коммунизм и нацизм), сколько боялся ее. Германофобия Массиса как ученика Барреса и Морраса была куда более сильной и тотальной.

¹ Массис критиковал программный текст Валери «Кризис духа» (1920) за сомнения в будущем европейской цивилизации и за оправдание «хаоса» в современном мире [6, р. 109–115].

В 1927 году вышла программная и самая известная книга Массиса «Защита Запада» (*Défence de l'Occident*), переведенная на английский, немецкий и испанский языки; с некоторыми сокращениями автор перепечатал ее в итоговом труде «Запад и его судьба» (*L'Occident et son destin*, 1956). Название стало брендом. В некрологе, озаглавленном «Защитник Запада», «собрат» Массиса по Французской академии прозаик Пьер-Анри Симон писал: «У людей моложе пятидесяти лет имя Анри Массиса, покинувшего этот мир, где он чувствовал себя неуютно, не вызовет особых воспоминаний. Для тех, кто достаточно прожил или достаточно прочитал, чтобы представлять себе интеллектуальную жизнь между 1910 и 1940 гг., это до сих пор великое имя. <...> «Защита Запада» – самое важное из его произведений, лучше других показывающее сильные и слабые стороны его мысли» [14].

Это книга не научная и даже не философская, но дидактическая и догматическая, написанная безоговорочно убежденным в своей правоте человеком. «Я люблю Массиса, потому что он догматик», – говорил Ален, пояснив: «Догматики интересны мне тем, что они не колеблются. Это люди, которые сделали выбор. Массис сделал выбор в пользу всеобщего, в пользу духа. Это хороший выбор. Массис заимствует свои принципы у Аристотеля и святого Фомы [Аквинского – В.М.]. Это великая традиция, но уводящая нас от современной мысли. Ну и что!» [цит. по: 5, р. 256]. Прочитав «Защиту Запада» в корректуре, Маритен критически заметил в письме к автору: «Книга оживлена духом борьбы, а не духом справедливости» [цит. по: 5, р. 265].

Главная мысль книги, ее послание – западная цивилизация в смертельной опасности: ей угрожает Восток = Азия = варвары. «Возвращение варваров, то есть новое торжество менее сознательной и цивилизованной части человечества над более сознательной и цивилизованной, уже не кажется невозможным. Большевицкая революция приучила нас к этой мысли, еще вчера чудовищной, а теперь навязанной нашему духу» [15, р. 71]. Что сказал бы националист, консерватор и католик Массис о сегодняшней Европе? Какую форму приняли бы его призывы к «защите Запада»? От кого он призвал бы его защищать? И кого решил бы призвать в союзники?

«Запад» для Массиса – не вся Европа, но лишь ее романско-католическая часть, центром которой является Франция как наследница эллинизированного христианского Рима. В эту цивилизацию – единственную «цивилизацию» – он также включал Бельгию, Италию, Испанию, Португалию: отсюда симпатии к Муссолини, пока тот не стал союзником Гитлера, к Франко и особенно к Салазару, интервью с которыми вошли в книги Массиса «Вожди. Диктаторы и мы» (*Chefs. Les dictateurs et nous*, 1939) и «Салазар лицом к лицу. Три политических диалога» (*Salazar face à face. Trois dialogues politiques*, 1961). Наиболее опасных врагов «Запада» автор нашел в Германии, делая исключение для ее католической части, и в России, что вызвало протесты Эрнста-Роберта Курциуса, Николая Бердяева, Владимира Вейдле – и Рене Генона, подвергшего резкой критике «азиатские» главы книги [16, с. 97–103].

Получив от автора «Защиту Запада», Курциус, протестант и уроженец Эльзаса, писал ему 8 апреля 1927 года: «Я не католик, как вы, но отстаиваю свое право быть христианином. Я не латинянин, как вы, но отстаиваю свое право быть западным человеком и по-своему служить делу Запада. Сводить дело Запада к католицизму и латинству представляется мне политически ошибочным. Трудно не любить большевиков сильнее, чем я, но неужели вы не чувствуете, как обезоруживаете нас, разделяя Запад и "германство"? <...> Разве мы защищаем не один и тот же гуманизм? Неужели вы заинтересованы в том, чтобы толкать нас на Восток, в сторону России, Азии, варварства?» [цит. по: 5, р. 268–269].

«Массис обоготворяет латинскую цивилизацию, – указал Бердяев в рецензии. – Пределы бытия для него совпадают с пределами этой цивилизации, и за ее пределами начинается царство хаоса, темный и страшный Восток. <...> Хотелось бы защитить и

европейскую культуру против Массиса. Европейская культура не есть только латинская культура, она есть культура романо-германская, и в самой Франции есть не только латинские элементы. Германцы играли огромную роль в судьбах европейской культуры. Существует еще и англо-саксонский мир. Для Массиса Европа кончается у Рейна. Германия для него Азия и столь же страшна, как Россия и Индия. Это производит впечатление смешного и ограниченного французского самодовольства, неспособного понять многообразие Божьего мира. <...> Массис – человек, бессознательно пораженный ощущением, что господству латинской цивилизации наступает конец, что другие силы вступают во всемирную историю и будут определять ее, что культурная монополия Запада кончается и пробуждается Восток. <...> Массис не достиг своей цели, он не защитил Запада, он написал книгу, которая производит впечатление обвинения против Запада. Многие скажут, что лишь умирающая цивилизация может себя так защищать. <...> Именно сам Массис губит Европу, поддерживая раскол и вражду между Францией и Германией, объявляя войну Франции со всем миром. Это-то и мешает Франции, стране древней, великой и утонченной культуры, сыграть положительную роль в объединении Европы, без которой ей действительно грозит опасность со стороны Китая и нехристианского Востока. Мы живем в эпоху, когда необходимо не только большее духовное единение внутри Европы, но и христианское духовное единение Востока и Запада. <...> Мы идем к христианской вселенности и ее должны нести нехристианскому Востоку. Массис мешает этому, а не помогает», – подытожил Бердяев [17].

Вейдле в программной статье «Границы Европы» (1936) выступил против «ущербления Европы» Массисом, добавив, что тот «сам позаботился привести свою теорию к абсурду»: «Насчет Англии в его книге дело обстоит неясно, зато континентальная Европа кончается у него на Рейне, западнее даже, чем проходила граница Римской империи, так что города, где родились Гёте и Бетховен, ему пришлось бы отнести уже к “Востоку” или к “Азии”. <...> Укрепления он строит слишком близко к Риму и Парижу и отдает врагу слишком много европейской земли» [18].

Первым врагом Запада Массис объявил «германский идеализм» (О. Шпенглер, Г. Кайзерлинг); вторым – «славянский мистицизм», «панславизм» и большевизм как его новейшую форму; третьим – «азиатский пантеизм» (Р. Тагор, М. Ганди, К. Окакура). Причем, по утверждению автора, они сближаются между собой и могут действовать как союзники.

Массис никогда не посещал Россию, не знал русского языка и очень редко контактировал с русскими эмигрантами, бывая в Русско-французской студии (в феврале 1931 года он выступал там в прениях о Достоевском и Пегги¹), но изучил то, что было доступно ему в переводе или изложении. Он упоминал или цитировал Тютчева, Герцена, Достоевского, Данилевского, Льва Толстого, Розанова, Бердяева, Сергея Булгакова, «О русском крестьянстве» Горького и «Скифы» Блока, Плеханова, Ленина и Троцкого, евразийца Трубецкого и сменовеховца Устрялова, а также французские тексты Чаадаева, Софьи Свечиной, Григория Вырубова и Николая Брянчанинова (с последним мог быть знаком лично²). Среди источников также назовем трехтомник Анатоля Леруа-Больё «Империя царей и русские» (1881–1889) и сборник статей Андре Жида «Достоевский» (1923, русский перевод 1994), который, по утверждению биографа, «подтолкнул Массиса к изучению духовных связей между Востоком и Западом» [5, р. 257].

¹ Вместе с Маритеном Массис был одним из соредкторов книжной серии «Золотая трость» (*Le Roseau d'Or*) издательства «Plon», публиковавшей в том числе произведения русских эмигрантов, включая перевод «Нового Средневековья» Бердяева.

² Критика Брянчаниновым Шпенглера, Кайзерлинга и Тагора в книге «Московская трагедия» (1925) прямо напоминает аналогичные высказывания Массиса в «Защите Запада», вышедшей двумя годами позже [подробнее см. 19].

«На Западе всегда были не прочь рассматривать византийско-славянский мир как не европейский, во всем противоположный единственно-европейскому западному миру», – напомнил Вейдле [18]. Для Массиса, опиравшегося на Чаадаева и его последователей, принципиально «азиатский» и «антизападный» характер русской цивилизации, ее исконная оторванность от Европы – аксиома. «Эти азиаты никогда не чувствовали себя связанными с историческими судьбами других рас Запада» [15, р. 77]. Некоторые его утверждения: «Русские – народ без исторического опыта», «пробужденный от долгой спячки лишь слепым, поверхностным и неуклюжим подражанием другим народам» [15, р. 83, 87]; «В славянском интеллектуальном типе давно узнается [кем? – В.М.] выживание индийского типа» [15, р. 122], – просто нелепы. Доказать «азиатский» характер автор пытался ссылкой на монгольское иго: «Россия лишь пять столетий назад пережила нашествие варваров, а старая Европа прошла через это испытание более четырнадцати веков назад» [15, р. 84–85]. Как будто турки не осаждали Вену в 1683 году, всего-то за два века до рождения Массиса...

Второй аргумент – православие как «отпадение» от «Вселенской церкви», в соответствии с католической трактовкой, и использование церковнославянского языка, отрезавшее Россию от латинской Европы. «Выбор, сделанный киевскими князьями, не был счастливым, потому что изолировал Россию и очень надолго отдалил ее от европейской цивилизации и образа мыслей» [20, р. 3], – утверждал известный Массису Брянчанинов. Незнакомый «защитнику Запада» Густав Шпет, испытавший влияние Чаадаева, писал в начале 1920-х: «Варварский Запад принял христианство на языке античном и сохранил его надолго. С самого начала его истории, благодаря знанию латинского языка, по крайней мере в более образованных слоях духовенства и знати, античная культура была открытою книгою для западного человека. <...> Совсем не то было у нас. Нас крестили по-гречески, но язык нам дали болгарский. Что мог принести с собой язык народа, лишенного культурных традиций, литературы, истории? <...> Русская художественная литература героически боролась с кирилло-мефодиевским наследием в языке, и когда воссиял Пушкин, болгарский туман рассеялся навсегда» [21, с. 28, 38].

Вейдле, скорее всего читавший Шпета, подчеркнул: «Если вся европейская культура построена на христианстве и классической древности, то и христианство, и классическая древность на ее западе не те, что на востоке. Запад вскормлен Римом и той Грецией, что прошла сквозь Рим; Восток непосредственно питается греческим наследством и тем, что от Рима перешло в духовное хозяйство Византийской империи» [18]. Католику Массису Греция была близка лишь постольку, поскольку «прошла сквозь Рим». В этом он отличался от агностика Морраса, предпочитавшего эллинизм «иудеохристианству» и ценившего в католицизме прежде всего Порядок и Систему, а не Веру.

Третий аргумент в пользу антиевропейского, азиатского характера русской цивилизации Массис заимствовал у популярного во Франции Григория Вырубова, западника и позитивиста: «В России есть церкви, но никогда не было религии, кроме примитивного политеизма. Церковь понемногу изживала язычество, но ничего не давала взамен. <...> Россия никогда не была ни по-настоящему христианской, ни по-настоящему православной (orthodoxe)» [15, р. 91]. По мнению Массиса, «сердце русского народа чувствительно к религиозным переживаниям – об этом говорят его благочестие и мистицизм – но он плохо понимает учение Христа и догматы Церкви. Из-за ошибки своих духовных вождей он веками был лишен живительного света истинного учения, оставлен без какого-либо твердого морального и религиозного наставления, за исключением более или менее строгого исполнения самой внешней части культа, и отдан во власть суеверий» [15, р. 90–91]. Здесь Массис повторял утверждения «Московской трагедии» Брянчанинова. «Даже в конце XIX в. русский был, можно сказать, лишь полу-христианином. Христианство до него не дошло



и его не преобразовало. Он едва интересовался догматами, не искал в религии уроков моральной жизни и внутреннего совершенствования. <...> Русский народ продолжает сохранять наивную и пугающую веру в могущество духов, волков-оборотней, демонов, населяющих воды, леса и дома [то есть водяных, леших и домовых – В.М.]. <...> В этих суеверных представлениях и детских верованиях нетрудно найти пережитки примитивных культов. Короче говоря, народ не получил серьезного христианского образования. <...> Поэтому трудно отыскать в настоящей религиозности русского народа чистый дух христианства» [20, р. 5–8].

Для Массиса русский человек – носитель Хаоса. И в этом он следовал за словами Брянчанинова: «Русский никогда не знает, что он сделает в следующую минуту, и душа России не ведаёт, на что способна», поэтому «невозможно предвидеть, что станет с Россией завтра», – которые тот с небольшими вариациями трижды повторил в «Московской трагедии» [20, р. 13, 89, 176], затем в «Истории России» (1929), переведенной на несколько языков. Массис читал Горького и знал слово «босьяк», поэтому основным носителем анархии считал крестьянина – перекасти-поле, без представлений о законе, порядке и частной собственности, склонного к недеянию. В доказательство он снова цитировал Брянчанинова: «Русский крестьянин ближе к китайцу, к тибетскому отшельнику, к индийскому парии, чем к европейскому крестьянину» [15, р. 81].

«Массис пишет о том, чего он не понимает и что он плохо знает, – парировал Бердяев. – Германию и Индию он знает плохо, по нескольким популярным книжкам и статьям. Россию же не знает совсем и совсем не способен о ней судить. Особенно жалки и грубо неверны суждения Массиса о Православии, о котором он не имеет ни малейшего понятия, как впрочем и большая часть иностранцев. <...> По схеме Массиса, дух России должен походить на дух Индии. Но в действительности нет ничего подобного. Россия совсем не походит на Индию, и русскому народу совсем не свойственна безлика, отвлеченная духовность. Россия в духовности своей есть христианская православная страна. И православие есть христианство наиболее верное истокам христианского откровения, наименее искаженное рационализацией и юридизацией, свойственными римскому духу. Массису кажется, что нет других источников духовной культуры кроме латинства. Если не латинство, то Индия. Но русская религиозная культура имеет источник греческий и древнееврейский, библейский. И исходящие оттуда начала действуют в нашей исконной языческой славянской стихии. Русскому народу и русскому религиозному мышлению особенно свойственны эсхатологизм и мессианизм, восходящие к древне-еврейскому сознанию и совершенно чуждые Индии. <...> Мы, русские, более связаны с Грецией, чем латиняне. Через Православную Церковь, через греческую патристику, через платонизм, глубоко нам присущий, мы принадлежим греческой традиции. И чужд нам не греческий дух, а дух латинский» [17].

Петровскую европеизацию Массис считал не только насильственной и потому противоестественной, но сугубо внешней и потому неглубокой. Результат – пропасть между европеизированной элитой и «примитивным» народом. Автор подчеркнул, что Петра и его сподвижников в Европе интересовали только техника и внешние формы жизни (кафтаны – парики – табак), но не идеи, не литература, не искусство. Зато большевистская революция представлялась ему национальной, а не «марксистской» (то есть не «западной»), и естественной, а не навязанной. «После двух столетий насильственной европеизации Россия вернулась к своим азиатским корням» [15, р. 69]. Так думали многие, отказываясь принимать всерьез даже популярного в Европе Дмитрия Мережковского, который не уставал твердить: «Идея классовой борьбы <...> связывает большевизм с марксизмом, как пуповина связывает младенца с утробой матери. Именно по этой идее видно, что недалеко большевистские яблочки от яблони марксистской падают». «Европейцы думают, – предупреждал он в той же статье «Царство антихриста. Большевики, Европа и Россия» (1921),

изданной и по-французски, – что русский большевизм – болезнь для них не опасная: что-то в роде чумы на рогатый скот – к людям неприлипчива. Но, если они ошиблись, то жестоко расплатятся» [22 с. 12-13, 19].

Массис, Мережковского не читавший или проигнорировавший, видел опасность большевизма не столько в его социальных идеях и даже практике, сколько в «азиатском» характере страны, где он победил, в сочетании с новой волной ее внешней экспансии. Советская Россия «собирается сама и собирает все народы Востока в поход против цивилизации, навязанной ей силой, несмотря на ожесточенное сопротивление. <...> Большевизм опасен, потому что основан на антизападном, античеловеческом принципе, который логично и решительно противостоит нашей великой духовной традиции. <...> Эллинистическая культура, латинский мир, христианская цивилизация никогда не встречали более явного и безжалостного врага, чем тот, что опирается на отроги Урала. <...> Из авангарда Европы в Азии, как говорили при Романовых, большевистская Россия стала авангардом Азии в Европе, как в эпоху великих татарских и монгольских ханов» [15, р. 69, 72–74]. Автор ссылался на евразийцев: цитировал Трубецкого [15, р. 75–76] и «списком» упомянул Карсавина, Вл. Ильина, Савицкого и Сувчинского, добавив от себя: «Православное московитство, славянофильство, евразийство, большевизм – последовательные, но в глубине одинаковые формы враждебности к Западу и римско-христианской цивилизации» [15, р. 120]. Это тоже восходит к «Московской трагедии», направленной против славянофилов (французам автор пояснил, что «славянофилы» и «панслависты» – одно и то же!), народников, большевиков и евразийцев. Всех их Брянчанинов объявил наследниками славянофилов с их иррациональным мессианством, верой в особый путь и миссию русских и России.

За два года до книги Массиса, 22 марта 1925 года, Вячеслав Иванов писал из Рима Федору Степуну: «Что же до России <...> думаю, и от нее должно отречься, если она окончательно самоопределится (это шире и дальше, чем большевизм и его политика) как авангард Азии, идущей разрушить Запад – причем Германия, *nota bene*, может оказаться ее ревностной союзницей» [23, с. 950–951]. Признав семь лет спустя в письме к Курциусу, что евразийство «в полнейшем согласии с основной тенденцией большевиков стремится породнить Россию с монголами и китайцами, чтобы раз и навсегда вырвать ее из христианского мира», Иванов подчеркнул: «Понимание России как части азиатского мира – ложно до основания» [23, с. 957].

«Защитник Запада» ответил и на вопрос «что делать?». Европе нечему учиться у Востока, но надо «полностью возродить принципы греко-латинской цивилизации и католицизма» [15, р. 250]. Он восхвалял Средние века как период единства Запада, а в настоящем видел лишь один путь к спасению: «Католическая церковь представляет единственной силой, способной восстановить подлинную цивилизацию» [15, р. 262]. «Массис, как и Ш. Моррас, воображает, – отметил Бердяев, – что можно победить истощение, разложение и декаданс возвратом к классическим латинским идеалам, к Франции XVII века. На этой почве возможно лишь бессильное реакционное движение. <...> Культ задерживающих и замораживающих классических форм есть дурная романтика небольшой группы, не желающей сознательно вступить в новую мировую эпоху» [17]. Консервативный критик Рене Жиллуэн в статье «Судьба Запада» отнес Массиса к «новосредневековцам» вместе с Маритеном, Клоделем и... Бердяевым, подчеркнув, что воспеваемая ими «средневековая система, каковы бы ни были ее достоинства на бумаге, никогда не применялась на практике» и что для Массиса «великим веком Франции все же является век Людовика XIV, а не Людовика Святого». «Надо ли говорить, что я не принадлежу к тем, кто видит в Средних веках лишь мрак. Но в чем их такое блистательное преимущество перед современным миром?» – задал Жиллуэн риторический вопрос. Ответ, видимо, казался критику безукоризненным: «Восток угрожал ему [средневековому Западу – В.М.] куда больше, чем

современному Западу, который пока не видел, как мы знаем, ни мавров в Гренаде, ни турок перед Веной, ни арабов перед Пуатье» [24]. Что он сказал бы сегодня?..

3

В конце 1920-х у Массиса появились новые друзья – учащиеся лицея Людовика Великого, затем Высшей нормальной школы, которым предстояло вписать яркую страницу в литературу: Робер Бразийяк, Тьерри Монье, Морис Бардеш¹. Молодые неконформисты были настроены националистически (значит, антигермански), антикоммунистически и антикапиталистически, поэтому тяготели к *«Action française»*, но явно предпочитали яркого Морраса герцогу де Гизу, бесцветному и политически индифферентному претенденту на престол. Моррас был олимпийским богом. Массис, всегда тянувшийся к молодежи, стал любимым старшим товарищем для ровесников своего сына: пил с ними чай в общепитии, гулял по Парижу, ходил в кафе и театры, слушал музыку, включая модные шлягеры. Именно для них, по собственному признанию, он написал свои «Припоминания», желая рассказать о своей молодости и ее друзьях, оставивших этот мир. Бразийяк откликнулся на книгу признательной рецензией: «Он подарил нам своих друзей, своих ушедших, и это лучший подарок, какой он мог нам сделать». И привел отклик Бардеша: «Что за судьба у человека, который в сорокалетнем возрасте вспоминает своих друзей двадцати лет, перечисляя только покойных?» [25, р. 380, 378].

«В свои сорок пять каким молодым он нам казался! – вспоминал академик Монье в предисловии к последней книге академика Массиса «На протяжении жизни». – Несомненно, более молодым, чем некоторые среди нас, благодаря своей трепетной стройности, искре в глазах, быстроте мысли и слова; чаще на ногах, чем сидящий, чаще шагающий, чем стоящий, тело, руки, мысль – в постоянном движении. <...> Всё сближало его с нашей молодостью, потому что всё сближало его с молодостью. <...> Массис нашел себя среди нас или нас вокруг себя. Он связал в одну цепь людей 1910-х и людей 1930-х годов. Мы, естественно, считали его наставником, поскольку знали, что нам предстоит сделать то же самое, что он и его товарищи по оружию уже сделали. За это ему наша благодарность и наше доверие, пусть даже о разных политических, общественных или метафизических материях мы думали по-другому, чем он» [6, р. 8, 10, 12].

Массис одним из первых оценил талант Бразийяка, напечатав в 1930 году его статью о Вергилии в *«La revue universelle»*, которую автор сам принес в редакцию. «Диалог с младшими, который десять лет спустя стал почти невозможен, разом установился, благодаря незнакомому юноше, который вместе со своей дружбой одарил меня своими друзьями», – вспоминал Массис много лет спустя [6, р. 159]. Текст вошел в книгу «Присутствие Вергилия» (1931), после выхода которой Моррас – благодаря Массису – поручил 23-летнему автору литературную страницу *«L'Action française»*. В замечательной книге «Наше предвоенное» (1941), которая, надеюсь, скоро увидит свет на русском языке, Бразийяк оставил, пожалуй, лучший портрет Массиса начала 1930-х в окружении молодежи. В годы немецкой оккупации их пути разошлись диаметрально: не бывший ранее ни германофилом, ни сторонником нацизма Бразийяк стал коллаборантом, за что Моррас публично проклял его [3, с. 236–241]. Несмотря на это, Массис, остававшийся врагом нацизма и германофобом, вспоминал о нем с восхищением и печалью: «Я верен дружбе с ним [Бразийяком – В.М.], как с ребенком, которого имел несчастье потерять. Он был ровесником моего сына, и я любил его, как если бы он был моим сыном» [26, р. 264; 6, р. 157]. Эссе Массиса

¹ Бардеш – ближайший друг, зять (муж сестры) и издатель сочинений Бразийяка – с 1952 по 1982 год нерегулярно выпускал «правый» интеллектуальный журнал «Защита Запада».

«Робер Бразийяк и его поколение», откуда взяты эти слова, вошло в его книгу «Моррас и его время», затем в 1966 году было перепечатано в двенадцатом, заключительном томе собрания сочинений Бразийяка, которое закрепило его статус как одного из виднейших французских писателей первой половины XX века. По соседству в моем шкафу стоит книга Массиса «Десять лет спустя» (1932) с дарственной надписью: «*Роберу Бразийяку его друг Анри Массис*». Иногда я кладу ее на стол вместе с книгой Барреса «Под оком варваров» с почти такой же надписью.

Приход Гитлера к власти в январе 1933 года застал врасплох большинство французов, но не Морраса и его соратников, которые предупреждали о такой возможности и о ее опасности для Франции. В их числе был Массис, который в апреле-мае 1932 года побывал в Германии и опубликовал об увиденном цикл весьма тревожных статей [27, р. 185–205]. Судя по дневнику, который он обнаружил много позже, впечатления были еще более безрадостными [6, р. 116–147]. По мере нарастания антагонизма между Третьим Рейхом и Советской Россией и ползучей экспансии коммунизма в Европе, открыто полыхнувшей во время гражданской войны в Испании, одни французы увидели в СССР союзника против «фашистов» и «бошей», другие – в Гитлере бастион против большевизма. Массис, который подобно Моррасу и его единомышленникам, был на стороне Франко, как ранее на стороне Муссолини во время итало-эфиопской войны¹, отверг оба варианта, а потому, как и Бенвиль, был противником франко-советского договора 1935 года.

В книгу «Вожди» Массис включил интервью с Муссолини, Салазаром и Франко, две статьи против Гитлера и очерк-предупреждение «Гитлер в Риме» (1938): дуче свернул «не туда». Сталина нет, но в предисловии, законченном 2 февраля 1939 года, автор писал: «Остережемся верить, что для защиты Европы нам придется выбирать между Берлином и Москвой. Мы не обратим взор ни в одну, ни в другую сторону. <...> Опасность тем более велика, что национал-социализм перешел из внутренней фазы в фазу экспансии и завоеваний, что он мечтает и готовится организовать Европу и надеется объединить ее, дав ей свой закон. Именно это он называет “защитой европейского порядка” <...> Вопреки своим претензиям гитлеризм никоим образом не может сойти за защитника западной цивилизации. <...> Вечным ценностям, составляющим достояние христианской цивилизации, германский расизм противопоставляет собственное понимание мира» [28, р. 41, 9–11, 15–16]. «Пропаганда доктора Геббельса и французских гитлеровцев представляла нам Гитлера как защитника Запада, хотя Гитлер в 1939 году первым вернул Россию в Европу, – подчеркнул Массис десять лет спустя. – <...> Мы никогда не рассчитывали на Советскую Россию в деле защиты прав “западных демократий” и никогда не видели в гитлеризме бастион христианства против большевизма. Залогом общего спасения мы считали только союз Запада против союза двух варварств» [29, р. 50–51].

С началом войны против Германии Массис был мобилизован (он также был ненадолго призван во время военной тревоги сентября 1938 года) и получил назначение в штаб Второй армии. Несмотря на оптимизм правительственных заявлений и прессы, атмосфера не походила на «священное единение» 1914 года, тем более при отсутствии боевых действий. «Наша страна, сама того не желая, сползала в войну, – вспоминал Массис. – Она шла на нее с чувством брошенности, безразличия, усталости, как захваченная катастрофой, против которой не могла, как думала, ничего поделать и которую принимала пассивно, в унынии. Гитлер использовал это психологическое и моральное состояние, начав войну с девятимесячного застоя, который должен был укрепить его позиции. Я присутствовал при этом медленном разложении, при этой “демобилизации под знаменами”, когда зараза

¹ Массис был основным автором «Манифеста французских интеллектуалов в защиту Запада и мира в Европе» (4 октября 1935) против санкций Лиги Наций в отношении Италии и «Манифеста к испанским интеллектуалам» (10 декабря 1937), к которым присоединился весь «цвет» консервативной Франции.

поразила всех, от арьергарда до авангарда» [26, р. 316]. В конце января 1940 года вышел сборник его статей «Тридцатилетняя война. Судьба поколения. 1909–1939» (*“La guerre de trente ans. Destin d'un âge. 1909–1939”*, 1940), призванный показать франко-германские отношения последних трех десятилетий как непрерывную войну, пусть в разных формах. Работу по достоинству оценил противник. В инскрипте Андре Феллю (экземпляр в моем собрании) автор сообщил, что «эту книгу 5 марта 1940 г. доктор [Фридрих] Гримм [публицист, автор книг о Франции – В.М.] на немецком радио обличил как “произведение писателя, принадлежащего к клике зачинщиков войны”, а в июле 1940 г. оккупационные власти конфисковали ее у издателя и полностью уничтожили». Та же судьба постигла «Защиту Запада», «Честь служить» и «Вождей». «Я стал нежелательным, с чем мог себя только поздравить», – заметил Массис по этому поводу [5, р. 333].

4

Поражение Франции в июне 1940 года стало для Массиса трагедией, хотя увиденного им хватало, чтобы понять ее неизбежность. Нахождение маршала Петэна во главе правительства он, подобно Моррасу, воспринял как «божественный сюрприз», как последний шанс хоть что-то спасти. Командующий Второй армией, затем Четвертой группой армий генерал Шарль Юнцигер, при котором с октября 1939 года находился капитан Массис, был назначен главой делегации в комиссию по перемирию. Известный германофобской репутацией офицер стал ему не нужен, и генерал, ничего не объясняя, 21 июня в Бордо попрощался с ним, фактически освободив от обязанностей. Речь Петэна по радио 25 июня определила дальнейшие действия Массиса: «Я офицер: у меня есть командир, мне остается только подчиниться». Опубликованное днем позже заявление Морраса с призывом «Французское единство прежде всего!» окончательно избавило его от «сомнений или малейших колебаний». В Бордо Массис представился Петэну, которого видел второй раз в жизни, и отдал себя в его полное распоряжение. Затем он отправился в Лимож на территории «свободной зоны», где Моррас 1 июля 1940 года возобновил издание газеты *“L'Action française”*, позднее перенесенное в Лион; в том же Лионе с 1 января 1941 года снова начал выходить журнал *“La Revue universelle”*. «Германия остается врагом номер один», – заявил ему Моррас в начале разговора как руководство к действию [26, р. 326–334].

Поддержка Массисом и Моррасом маршала Петэна не распространялась на его администрацию и ее политику. Моррас сохранял независимость от режима: *“L'Action française”* была одной из всего двух газет «свободной зоны», которые отказались от правительственных субсидий. Массис хотел войти в окружение Петэна в качестве советника по идеологии и делам молодежи (маршал позволял ему думать, что он таковым является), получил финансирование для журнала *“La Revue universelle”*, первый обновленный выпуск которого открывался статьей главы государства, в феврале 1941 года принял назначение в Национальный совет (консультативный орган, не имевший политической власти), затем Орден Франциски. Веря в возрождение Франции на национальных, традиционных, католических и патерналистских началах, Массис, которому помогал Монье, пытался придать определенность провозглашенной маршалом «национальной революции», указывая, что она не должна копировать иностранные образцы [5, р. 334–341]. В 1943 году он составил сборник «Франция духа. 1940–1943» (*“La France de l'esprit. 1940–1943. Enquête sur les nouveaux destins de l'intelligence française”*), призванный показать состояние науки и культуры Французского государства. Книга открывалась статьей Морраса, а среди авторов – «вишистов», то есть не эмигрантов и не коллаборантов – мы видим не только Корта, также члена Национального совета, но и Фредерика Жолио-Кюри, продолжавшего в оккупированном Париже изучать радиоактивность. В начале августа 1944 года чувствовавший себя пленником Петэн попросил именно Массиса

помочь в составлении последнего обращения к французам на случай, если немцы насильно вывезут его из страны [30, р. 636–637; 5, р. 346], – что и случилось 20 августа.

Отношение Массиса и Морраса к Германии осталось прежним, только теперь его нельзя было выражать публично и «прямым текстом». Немцы это понимали и сразу запретили “L’Action française” и “La Revue universelle” в оккупированной зоне. Нацистские авторы и парижские коллаборанты не жалели бранных слов по их адресу. Люсьен Ребате в книге «Развалины» (1942) – грубом памфлете против “Action française”, Морраса и режима Виши и одновременно панегирике Гитлеру и национал-социализму – писал: «Рядом с “Hotel du Parc” [резиденция Петэна в Виши – В.М.] я встретил Анри Массиса в сверкающей форме капитана-литератора с новеньким Военным крестом, завоеванным великолепием возвышенных мыслей штабного журналиста. <...> Массис с сожалением узнал меня, принужденно улыбнулся, подал два пальца и побыстрее улизнул. <...> Этот присяжный защитник западной цивилизации ни разу не обличил еврейского врага. Двадцать лет изображая наставника французской молодежи, он женил своего единственного сына на жидейшей и богатейшей девице Оппенхайм. В городе можно было видеть под ручку с счастливым супругом эту молодую особу, живот которой округлял будущий еврейчик Массис. Прежде Массис-ариец всегда был приветлив ко мне, но теперь он коснулся моей руки в последний раз» [31, р. 491]. Комментарии излишни!

В конце апреля 1944 года, когда исход войны был уже предсказуем, в Лионе вышла книга Массиса «Открытие России» (“Découverte de la Russie”). Говоря о прошлом и настоящем, она обращалась к будущему: Европу ждало пришествие (для других – нашествие) большевиков. Давняя позиция автора: «большевистская Россия является угрозой для мира и для всей цивилизации» [32, р. 7] – осталась неизменной, да еще и со ссылками на популярное во Франции «Завещание Петра Великого». Концепцию «Защиты Запада», откуда дословно взято много страниц, Массис дополнил материалами об экономическом и военном потенциале СССР, в том числе из переводов «Новой географии СССР» Н.Н. Михайлова и «В поисках советского золота» Дж. Литтлпейджа (в работе ему помогал историк Пьер Лафю, автор книги о Ленине). Цифры и факты должны были показать конкретную, материальную реальность угрозы.

Скажу сразу: в книге нет *ни слова* о Германии как возможном защитнике от советской угрозы или союзнике в борьбе с ней. Германофобия автора осталась неизменной. Зато подробно описано историческое соперничество России / СССР с Англией и США, прежде всего в Азии. Массис считал неизбежным грядущий конфликт между ними. Надеялся на него в 1944 году? В переиздании 1955 года он выделил соответствующий фрагмент в отдельную главу «К третьей мировой войне».

Массис признал, что с военной и экономической мощью СССР сочетает духовную, причем «сталинское государство не похоже на большевизм героических времен» и «стало апостолом нового патриотизма», «мало заботясь о том, чтобы оставаться верным ленинскому учению» [32, р. 113]. «Что несет нам пробуждение патриотизма и религиозного сознания в России? Можно признавать патриотизм и воинские достоинства народа и не бояться последствий этого патриотизма и героизма, пока они не повернутся против нас. Можно так же признавать мистицизм, религиозный дух расы и при этом бояться того, чем они угрожают нашей собственной вере в той мере, в какой они стремятся ее разрушить. Разве не именно таков этот славянский народ, гордый своей православной верой, восставший против всемирной церкви, против католической и римской идеи? <...> Против кого обратит новый русский патриотизм свое стремление стать центром нового человечества, свой фанатизм молодого народа с примесью варварской крови, свое неистовство и мощное животное начало? <...> Вот единственное, что важно для нас, защищающих интересы Запада» [32, р. 11, 20–21]. При этом он не забывал напоминать, что не только кавалерий-

ские части, но и «бесчисленные экипажи танков и самолетов» Красной Армии состоят из «азиатских кочевников» [32, р. 94–95].

Как будто на радость нынешним сталинистам-имперцам, Массис настаивал на органичной преемственности имперского и советского режимов от панславизма к большевизму, выводя ее из цивилизационных особенностей русского народа – как азиатского (а вот это не всем понравится). «Более близкий к татарскому абсолютизму, чем к марксизму, большевизм – лишь средство напасть на остальную мир, который он ненавидит и хочет разложить перед тем как его уничтожить. <...> Если советская революция победила, то потому что большинство русских увидело в ней средство возрождения московской родины, ослабленной, униженной и разобщенной в последний период царизма. <...> Славянское тщеславие облегчило принятие большевистского режима и бесчеловечного насилия. Народ степей согласился на великие социальные потрясения, учиненные советским государством, прежде всего ради того, чтобы удовлетворить тщеславие, раненное упадком империи» [32, р. 25, 14–15]. Подтверждение Массис пытался найти в цитатах из Ленина и даже вспомнил о «национальной гордости великороссов». Мысль об антирусском характере большевистского режима и о том, что от него больше всех пострадали русские, похоже, не приходила ему в голову.

Мой экземпляр «Открытия России» был подарен «в единстве мысли и действия» известному историку и писателю Антуану герцогу де Леви Мирпуа. Символично, что именно герцог в 1953 году был избран во Французскую академию в «кресло» Морраса, а в 1961-м принимал Массиса в «благородную компанию».

Одним из источников информации для «Открытия России», вероятно, был Григорий Алексинский, некогда большевистский депутат Второй Государственной думы, дважды политический эмигрант, бежавший сначала от царизма, потом от режима бывших товарищей, популярный во Франции автор, говоривший: «Я пишу французские книги о России для того, чтобы французы лучше знали и больше любили национальную Россию и ее народ» [подробнее см. 33]. В Виши, куда он бежал от немцев, Алексинский издал книги «Четверть века коммунистического режима. Итог эксперимента» (1941) и «Изба дяди Ивана» (1943) – отсылка к «Хижине дяди Тома» Бичер-Стоу – о тяжелом положении рабочих и крестьян в СССР. Были ли Массис и Алексинский лично знакомы до выхода «Открытия России», я не знаю, но вскоре судьба свела их принудительно. В сентябре 1944 года по Виши прокатилась волна арестов, согласно заранее составленным спискам. «Категория 8 включала всего два имени, зато выдающихся. Один из главных вождей довоенной мысли, советник маршала, позже ставший академиком, встретился с бывшим депутатом Думы от Петрограда, талантливым писателем и историком» [34, р. 149]. Идентифицировать анонимов нетрудно – это Массис и Алексинский.

8 декабря 1944 года Массис был препровожден в парижскую тюрьму Френ и месяц спустя временно освобожден. 10 октября 1946 года все обвинения с него были сняты, что в реалиях послевоенной «чистки» можно считать везением [5, р. 347–348]. Он смог вернуться к литературной деятельности, но на время оказался «не-лицом», так как в 1944 году попал под неофициальный, но действенный «запрет на профессию», объявленный голлистско-коммунистическим Национальным комитетом писателей [35, р. 473]. Вышедшее в конце 1946 года под названием «Письма из России» сокращенное издание «России в 1839 году» маркиза Астольфа де Кюстина – настольной книги русофобов – открывалось обширным «введением составителя», не названного по фамилии. Читатель узнал ее лишь через пять лет, когда издательство «Plon» купило остаток тиража и одело книгу в новую обложку – обычная практика для Франции тех лет – на которой стояло «Введение Анри Массиса».

«Слишком забытая» книга, по мнению Массиса, «ничего не потеряла ни в правде, ни в силе, поскольку, несмотря на революции, ускоряющие ход истории, природа народов не меняется» [36, р. 9]. Он принял за чистую монету не только рассказы и оценки Кюстина, но и его уверения в непредвзятости, как бы ручаясь за автора перед читателем, однако половину введения посвятил истории его семьи, так как эти главы не вошли в сокращенное издание. Создается впечатление, что Массису особо нечего сказать кроме повторения давних и банальных тезисов: «Если господство России над народами более варварскими и рабскими, чем она сама, казалось Кюстину заслуженным <...> то ее влияние на более передовые народы представлялось ему непрочным. <...> Век спустя проблема еще не решена. Книга маркиза де Кюстина патетически ставит ее перед сознанием Запада: указывает на вечные подводные камни и в каждой строке дает основополагающие сведения. <...> Его всегда справедливые замечания, умно проанализированные и правильно понятые, дадут политической философии те советы, которые надо спросить у истории и ее свидетелей» [36, р. 57–58]. Верьте мне, люди!

Мой экземпляр в «плоновской» обложке содержит развернутую надпись Массиса генералу Пеннакиони, начальнику артиллерийской школы, офицерам которой он 26 января 1955 года рассказывал о Кюстине и его «*пророческих взглядах*». Далее он выписал цитату из дневника Шарля Сент-Бёва от 19 декабря 1847 года об Адольфе Тьере, который говорил о двух «молодых», еще «варварских» народах, идущих на смену «старой Европе»: русских и американцев. Год спустя Массис привел эти слова во введении к своей книге «Запад и его судьба» (*L'Occident et son destin*, 1956), где Кюстин фигурирует как «здравомыслящий наблюдатель» [37, р. 14, 26]. Генерал читал маркиза с карандашом в руках, отмечая на полях заинтересовавшие его фрагменты вроде следующего: «Из подобного общественного устройства проистекает столь мощная лихорадка зависти, столь неодолимый зуд честолюбия, что русский народ должен утратить способность ко всему, кроме завоевания мира. <...> Я вижу этого колосса вблизи, и мне трудно себе представить, чтобы сие творение божественного Промысла имело целью лишь ослабить азиатское варварство. Мне представляется, что главное его предназначение – покарать дурную европейскую цивилизацию посредством нового нашествия» [36, р. 228–229; 38, с. 340–342; пер. И.К. Стаф]. Интересно, что из Кюстина вошло в программу артиллерийской школы?

Массис продолжал считать СССР главной угрозой – физической, идейной и моральной – для Франции и западной цивилизации. При этом в США он видел не спасителя от советской угрозы, но соперника, причем столь же бездуховного, коллективистского и неевропейского, в борьбе за мировое господство, которая «ставит под угрозу исчезновения то, что мы называем „цивилизацией“» [37, р. 11]. «Американизм и коммунизм не противостоят друг другу. Они действуют в одном направлении, только коммунизм идет дальше – и всё. <...> Мы должны выбирать не между американизмом и коммунизмом, но между современным миром и миром христианским. С революцией [19]17 г. не воюют с помощью принципов [17]89 г.» [37, р. 35, 42].

Российско-советская тема появилась в первой после войны политической книге Массиса «Германия вчера и послезавтра» (*Allemagne d'hier et d'après-demain*, 1949). Западную Германию он считал не союзником, но таким же источником опасности, как и Восточную. «Свободе», которую они [немцы – В.М.] презирают из принципа и осуждают, исходя из опыта, они предпочтут советский порядок, потому что это настоящий порядок, жестокий, конечно, но существующий и поддерживаемый. <...> Разве теоретик классовой борьбы Карл Маркс – не ученик Гегеля, апологета прусской монархии? <...> Гегелевский человек – человек прежде всего немецкий – в равной степени может *стать* бисмарковцем,

национал-социалистом или марксистом. Марксизм и национал-социализм – две разновидности гегельянской авантюры¹. «Какая разница, что гегелевско-нацистский опыт провалился! – думают сегодня иные немцы². – Ведь есть еще гегелевско-марксистский, который победил и может быть осуществлен до конца» [29, р. 67, 73–74; 37, р. 307, 309].

Итоги Массис подвел книгой «Запад и его судьба», собрав ключевые фрагменты трех предыдущих и дополнив их новыми очерками. «Защита Запада» вошла с сокращением некоторых деталей; «русскую» главу это не затронуло, но из «азиатской» автор убрал рассуждения о родстве славянского и индийского духа [15, р. 122–126], которые критиковал Бердяев. Это относится и к «Открытию России», откуда исключены не только повторы из «Защиты Запада», но фрагменты о бедственном положении трудящихся в СССР [32, р. 99–108] и о перерождении сталинского режима из большевистского в патриотический при сохранении прежних экспансионистских, империалистических устремлений [32, р. 112–118]. Исключил Массис и фразу о том, что СССР для реализации этих устремлений понадобятся помощь Германии и Японии [32, р. 197], то есть «континентальный блок». В третью часть «История десяти лет (1945–1955)», суммирующую общеизвестные ныне факты, вошли отдельные страницы книги «Германия вчера и послезавтра».

Итоги Второй мировой войны Массис однозначно оценил как выгодные для СССР и невыгодные для Европы. Ответственность за это он возлагал прежде всего на руководителей США и лично на Франклина Рузвельта, которые – из-за политической незрелости, непонимания Европы и незнания ее истории, ложного представления о советском режиме и его целях – позволили СССР «довести свои передовые окопы прямо до крепостей цивилизации» [37, р. 296–297]. Такая же критика звучала и в США. Цитируя американцев, Массис сделал вывод: «Америка ни социально, ни морально, ни интеллектуально не готова к роли, которую история обязала ее принять на себя» [37, р. 268]. Развязанную коммунистами гражданскую войну в Греции, гражданскую войну в Китае, советское присутствие в Иране, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки он считал событиями уже Третьей мировой войны – конфликта между бывшими союзниками, которых связывало только наличие общего врага, Третьего Рейха.

Поверженный враг тем не менее остался на европейской шахматной доске. Разделенная на зоны оккупации Германия стремилась к единству. «Можно быть уверенным, что Германия заключит любой союз, полезный для освобождения своей земли от присутствия иностранцев и для восстановления своего единства. <...> Те, кто страшатся только советской опасности, рискуют увидеть ее удвоенной за счет германской опасности и оказаться перед лицом двух врагов вместо одного» [29, р. 52; 37, р. 303], – предупреждал Массис, поскольку «немцы знают, что русские держат в своих руках ключи от воссоединения их страны» [37, р. 313]. Он с тревогой наблюдал не только за советской политикой в ГДР, но и за нормализацией отношений с ФРГ в 1955 году, поскольку допускал возможность «национал-коммунистического» Четвертого Рейха, основанного на близости двух народов и двух культур, противостоящих западной цивилизации [29, р. 63–65; 37, р. 307–308]. Однако объединение Германии состоялось совсем не так, как предполагал «защитник Запада».

Затем Массис рассмотрел историю прихода коммунистов к власти в Китае, критикуя американскую политику, «для характеристики тотального провала которой нет достаточно сильного слова», и предсказал, что «китайский коммунизм в конце концов отвергнет авторитарное руководство Москвы» и станет лидером Азии [37, р. 322, 324–326]. Коммунизм отобрал у Франции

¹ Ср. известную шутку о Второй мировой войне как «битве правых и левых гегельянцев». Одним из первых ее опубликовал (от имени некоего «философа») историк Х. Холборн, эмигрант из Германии, в США в 1943 году [благодарю И.С. Кауфмана за это указание – В.М.].

² При перепечатке текста в сборнике «Запад и его судьба» автор сделал значимое добавление: «иные *молодые* немцы».

Индокитай и угрожает ей в Северной Африке¹, но она, как и вся Западная Европа, «пассивна и исполнена духа фатализма», поэтому «защита Запада важна как никогда» [37, р. 339]. Автор указывал на важность духовного объединения Запада вокруг католической церкви и его возрождение через это объединение, поскольку «без веры Европа, колыбель западной цивилизации, ничего не стоит» [37, р. 43]. Вопрос веры Массис полагал важнейшим. Подчеркнуто атеистический коммунизм СССР – «плод византийского христианства и исторического материализма, использующий чаяния новой земли и нового человека» [37, р. 36] – по-своему религиозен, в отличие от США, где под ритуальными фразами о Боге скрывается голый материализм. Политические и экономические планы «единой Европы» или Европейской Федерации он считал опасной химерой, напоминая о восьмидесяти миллионах немцев и сорока миллионах французов, – аргумент, к которому до конца жизни прибегал Моррас.

После смерти Морраса в ноябре 1952 года Массис почитался как патриарх французских интеллектуалов-националистов, но не претендовал на роль политического вождя и оракула, поэтому его влияние, особенно на молодежь, было гораздо меньше. Он боролся за освобождение и реабилитацию Морраса и Петэна, заседал и выступал в консервативных и католических организациях. Положение самого уважаемого среди «правых» и самого «правого» среди уважаемых закреплено избранием Массиса 19 мая 1960 года во Французскую академию в первом туре 16 голосами из 28 (он был кандидатом в 1936 и 1955 годах, но не прошел). Друзья приветствовали избрание «человека мужественной верности» (верность – ключевое слово в определении Массиса), «апостола, оживленного той же пылкой верой, что и в молодости» [11], видя в этом признание идей и ценностей, которым служил (служить – ключевое слово самого Массиса) новый «бессмертный». Не случайно в дарственной надписи Марселю Вириа, крупному банкиру, в молодости бывшему «королевским газетчиком», Массис сказал о своей книге «От человека к Богу» (1959), что в нее *«занесены пятьдесят лет истории, опыта и борьбы за идеи, которым я хотел служить»* [экземпляр в моем собрании – В.М.].

Выход итоговых книг о Моррасе и Барресе в 1961–1962 годах ознаменовал завершение активной литературной деятельности Массиса. В предисловии к его сборнику «На протяжении жизни» брат по Академии и давний друг Монье в 1967 году писал: «Образ факела, передаваемого из поколения в поколение, от слишком частого использования на банкетах и в речах истерся и стал немного смешным. Факелу я предпочитаю эстафету, которую один атлет передает другому. Эстафета, которую Анри Массис нес так долго, кому она будет передана? Я ищу руку, которая примет ее» [6, р. 13]. Другому «бессмертному» П.-А. Симону, по взглядам далекому от Массиса, запомнился «бедный, скромный, приветливый старик, удрученный физическими немощами и домашними горестями [в 1968 году умерла жена Массиса, многие годы прикованная к постели, – В.М.] и переносивший все испытания с мужеством, одновременно стоическим и христианским, и с благородством, вызывавшим симпатию и восхищение» [14].

В современной Франции Массиса не переиздают и почти не читают. Пора издать и прочесть его в России, которой он страшился, но которую искренне хотел понять. Многие его утверждения вызовут неприятие и протест у русских интеллектуалов, прежде всего национально мыслящих. Однако знание идей и трудов национально мыслящих, патриотических, консервативных интеллектуалов других стран может нас только обогатить.

¹ Массис был в числе первых 185 подписавших «Манифест французских интеллектуалов за сопротивление оставлению» Алжира (7 октября 1960) – ответ на «Манифест 121» во главе с М. Бланшо и Ж.-П. Сартром в поддержку независимости Алжира и отказников, не желавших принимать участие в войне (6 сентября 1960).

Литература

1. Молодяков В. Шарль Моррас и "Action française" против Германии: от кайзера до Гитлера. М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2020. 304 с.
2. Молодяков В. Шарль Моррас и "Action française" против Третьего Рейха. СПб.: Нестор-История, 2021. 342 с.
3. Молодяков В. Шарль Моррас и "Action française" против Германии: «подлинное лионское сопротивление». М.; СПб.: Нестор-История, 2022. 408 с.
4. Массис А. Шпенглер – предвестник национал-социализма (1933) / пер. М.М. Шевченко [с параллельным текстом] // Тетради по консерватизму: Альманах. 2020. № 4. С. 246–252.
5. Toda M. Henri Massis. Un témoin de la droite intellectuelle. Paris: La table ronde, 1987. 393 p.
6. Massis H. Au long d'une vie. Paris: Plon, 1967. 277 p.
7. Massis H. Évocations. Souvenirs 1905–1911. Paris: La Palatine à la Librairie Plon, 1931. 301 p.
8. Massis H. Avant-Postes. (Chronique d'un redressement). 1910–1914. Paris: Librairie de France, 1928. 180 p.
9. Benjamin R. La farce de la Sorbonne. Paris: Arthème Fayard, 1921. 156 p.
10. Луначарский А.В. Молодая французская поэзия (1913) / А.В. Луначарский // Собр. соч.: в 8 т. Т. 5. М., 1965. С. 280–305.
11. La belle élection d'Henri Massis à l'Académie Française // Cahiers Charles Maurras. 1960. № 2. Septembre. P. 35–38.
12. Massis H. L'honneur de servir: Textes réunis pour contribuer à l'histoire d'une génération (1912–1937). Paris: Plon, 1937. 367 p.
13. Молодяков В.Э. «Защитник Запада»: Анри Массис против Шпенглера, Гитлера и Германии // Тетради по консерватизму. Альманах. 2020. № 4. С. 235–245.
14. Simon P.-H. La mort d'Henri Massis: Un défenseur de l'Occident // Le Monde. 1970. 19.04.
15. Massis H. Défense de l'Occident. Paris: Plon, 1927. 281 p.
16. Генон Р. Кризис современного мира. М.: Арктогея, 1992. 160 с.
17. Бердяев Н. Обвинение Запада // Путь (Париж). № 8 (1927). С. 145–148.
18. Вейдле В. Границы Европы (1936) / В. Вейдле // Умирание искусства. М.: Республика, 2001. С. 117–124.
19. Молодяков В. Николай Валерианович Брянчанинов – русский историк и литератор во Франции // Невский библиофил. Вып. 25. СПб.: Реноме, 2020. С. 29–61.
20. Brian-Chaninov N. La Tragédie Moscovite. (Essai de Psychologie collective). Paris: Spes, 1925. 182 p.
21. Шпет Г. Сочинения. М.: Правда, 1989. 608 с.
22. Мережковский Д.С. Царство антихриста: Статьи периода эмиграции. СПб., 2001.
23. «Современные записки» (Париж, 1920–1940): Из архива редакции / под ред. О. Коростелева и М. Шрубы. Т. 3. М.: НЛО, 2012. 1015 с.
24. Gillouin R. Le destin de l'Occident / R. Gillouin // Le destin de l'Occident suivi de divers essais critiques. Paris: Prométhée, 1929. P. 13–56.
25. Brasillach R. Œuvres complètes. Vol. VIII. Paris: Au club de l'honnête homme, 1964. 694 p.
26. Massis H. Maurras et notre temps. Entretiens et souvenirs / Édition définitive augmentée de documents inédits. Paris: Plon, 1961. 453 p.
27. Massis H. La guerre de trente ans. Destin d'un âge. 1909-1939. Paris: Plon, 1940. 291 p.
28. Massis H. Chefs. Paris: Plon, 1939. 262 p.
29. Massis H. Allemagne d'hier et d'après-demain, suivi de Germanisme et Romanité par Georg Moenius. Paris: Conquistador, [1949]. 146 p.
30. Pétain Ph. Actes et Écrits. Paris: Flammarion, 1974. 653 p.
31. Rebatet L. Les décombres. Paris: Denoël, 1942. 670 p.
32. Massis H. Découverte de la Russie. Lyon: H. Lardanchet, 1944. 277 p.
33. Молодяков В. Григорий Алексинский и его французские книги: о России, революции, Ленине, Горьком и о себе // Невский библиофил. Вып. 26. СПб.: Реноме, 2022. С. 209–260.
34. Aron R. [et Garnier-Rizet Y.]. Histoire de l'Épuration. [T.] II: Des prisons clandestines aux tribunaux d'exception. Septembre 1944 – Juin 1949. (L'épuration politique). Paris: Fayard, 1969. 645 p.
35. Cardot C.-A. Guidargus du livre politique pendant l'Occupation (1940–1944). <Veyre-Monton>, 2006. 488 p.
36. Custine, marquis de. Lettres de Russie / avec une introduction de l'éditeur [Henri Massis]. Paris: Éditions de la nouvelle France, 1946 [Plon, 1951]. 372 p.
37. Massis H. L'Occident et son destin. Paris: Grasset, 1956. 357 p.
38. Кюстин А. де. Россия в 1839 году: в 2 т. Т. 1. М.: Изд-во имени Сабашниковых, 1996. 528 с.

Аннотация. Статья анализирует позицию французского консервативного политического философа Анри Массиса (1886–1970) в отношении российской цивилизации и различных политических режимов России / СССР. Католик и националист, последователь Мориса Барреса и Шарля Морраса, Массис на протяжении всей жизни считал Россию наряду с Германией не только не принадлежащими к европейской цивилизации, но опасными врагами «Запада». В статье рассмотрены возможные источники такого взгляда. «Западом» Массис считал лишь романско-католическую часть Европы, центром которой является Франция как наследница эллинизированного христианского Рима. Эту цивилизацию он считал единственной «настоящей» цивилизацией. В течение многих лет Массис предупреждал об опасности «панславистской» экспансии против «Запада», особенно в случае объединения усилий России и Германии. Необходимым средством для противостояния экспансии Массис считал духовное объединение западных народов вокруг католической церкви.

Ключевые слова: Анри Массис, Россия, цивилизация, панславизм, большевизм, экспансия, католицизм.

Vassili E. Molodiakov, LLD (Political Sciences), PhD (History), Professor, Takushoku University (Japan).
E-mail: dottore68@mail.ru

“Europe’s Vanguard in Asia” or “Asia’s Vanguard in Europe”? : Henri Massis on Russia

Abstract: This article analyzes the views on Russian civilization and different political regimes in Russia / USSR of the French conservative political philosopher Henri Massis (1886–1970). Catholic and French nationalist and follower of Maurice Barrès and Charles Maurras, Massis during all his life viewed Russia, as well as Germany, to be not only outside of European civilization but also a dangerous enemy of ‘the West’. This article deals with possible sources of such a view. According to Massis ‘the West’ is limited to the Roman-Catholic part of Europe with France as its center, in the capacity of the inheritor of Hellenized Christian Rome. Massis valued this civilization as the sole ‘authentic’ human civilization. For many years Massis warned about the danger of ‘panslavist’ expansion against ‘the West’, especially in case of joint efforts of Russia and Germany. Massis considered the spiritual unity of Western peoples around the Catholic Church as the necessary means to resist the expansion.

Keywords: Henri Massis, Russia, Civilization, Panславism, Bolshevism, Expansion, Catholicism.



Пьер Паскаль: французский католик в большевистской России

Известный французский славист, автор не теряющего до сих пор актуальности научного труда, посвященного жизни протопопа Аввакума и истокам церковного раскола в русском православии [4], Пьер Паскаль (1890–1983) – человек удивительной судьбы, перипетии которой достойны художественного романа. Французский лейтенант, рьяный католик, оказавшийся в годы Первой мировой войны в составе Французской военной миссии в России в качестве переводчика, а после Октябрьской революции решивший связать свою жизнь с новым советским государством и ставший секретарем наркома Г.В. Чичерина, он – личность, попавшая в самую гущу исторических событий начала XX века. Какими бы ни были обстоятельства, он никогда не терял любви и интереса к русскому народу.

Его пятитомный «Русский дневник» фиксирует как события политические, так и их отражение во внутренней жизни автора. Он представляет собой потрясающий эго-документ, передающий читателю не только внешнюю канву действий, встреч и личных писем его составителя, но и сам дух эпохи, повседневную жизнь простых советских граждан, «голос улиц»¹. Эти записи в отличие от многих других свидетельств того же времени вобрали в себя не только подробности о знакомстве с первыми лицами тогдашней истории, но и реакции, размышления, разговоры ее далеко не первостепенных участников.

Пьер Паскаль – это поистине талантливый свидетель, умевший «разговорить» простых людей, уловить обрывки фраз и бесед в толпах и очередях и выделить в них сущностное, то, что может поведать о настроении эпохи. Этот же талант отмечает за ним и его друг, коллега и основатель славистического журнала *“Revue des études slaves”* Андре Мазон: «...Пьер Паскаль был свидетелем в самом точном значении этого слова; не просто лихорадочно любопытным ко всему наблюдателем наподобие какого-нибудь журналиста, не просто полным энтузиазма сторонником какой-либо партии, готовым восхищаться или негодовать, а главное разыгрывать определенную роль, не просто равнодушным прохожим, которого ничто не удивляет. Он был взволнованным свидетелем, сознающим свою ответственность, для которого важно вынести суждение, не противоречащее совести» [7, р. 8]. Его тонкие наблюдения, касающиеся русского характера, звучат и сегодня вполне свежо, а внутренний конфликт между католической верой и приверженностью социалистическим идеалам, желание примирить непримиримое продолжают волновать и современного читателя.

¹ В переводе на русский язык на данный момент вышло два первых тома «Русского дневника» [3; 5]. Издательство «Владимир Даль» планирует продолжение этой серии.

Бабошин Даниил Тимофеевич, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
E-mail: baboshin2014@yandex.ru

«...писать о России с любовью, не поступаясь правдой!»

Пьер Паскаль, как и его знаменитый однофамилец, родился в Оверне 22 июля 1890 года в семье Шарля Паскаля, профессора греческого и латинского языков. С детства ему повезло быть в окружении книг и ученой атмосферы. Сам Пьер отмечал: «Всем тем, чем я являюсь и чем я был, я обязан моему отцу. С детства я жил в окружении книг. Будучи молодым лицеистом, когда отца не было дома, я устраивался в его кабинете, брал в руки книги, что-то вычитывал в них, отмечал имена авторов, перелистывал словари» [14, р. 11]. Между тем обстановка в семье была самая что ни на есть буржуазная, и это с детства начал чувствовать юный Пьер. Отец не разделял религиозности сына, сам был человеком совершенно светским и настоящим республиканцем, не посещавшим мессу. Сын же, напротив, находил в католической вере смысл своей жизни.

Духовный путь П. Паскаля начинается с изучения русского языка: «Я начал учить русский язык. Именно он пробудил во мне религиозное чувство...» [цит. по: 6, р. 24]. Русский язык Паскаль начал изучать в лицее Жансон-де-Сайи, где в рамках политики сближения с Российской империей был открыт данный курс. Однако, по свидетельству П. Паскаля, заслуги самих учителей в его интересе к языку и культуре России были минимальны – его молодой преподаватель отбивал у своих учеников всякую охоту учиться, запугивая их грамматическими сложностями. Паскалю во многом пришлось удовлетворять возникшую в нем жажду ко всему русскому самостоятельно. Он всегда подчеркивал роль призвания, а не образования в своей страстной увлеченности Россией, беспорядочном и эклектичном чтении русских классиков, мыслителей, историков. Чем больше он узнавал о России, тем более возрастала его любовь к ней – любовь к «этой религиозной стране». «Но благодаря Боссюэ и личным рассуждениям я знал, что истина в католической Церкви» [цит. по: 6, р. 24]. Эти два полюса притяжения будут составлять конфликт всей его жизни.

На некоторое время этот конфликт удалось утишить посещением студенческой группы аббата Фернана Порталья. Аббат Порталь был членом французской конгрегации лазаристов, человеком неистощимого миссионерского пыла. Во многом именно он стал главным французским идеологом воссоединения католической и православной Церквей, в котором основную роль, по его мнению, должна была сыграть Россия, примирив чрезмерную односторонность как Запада, так и Востока [подробнее об аббате Портале см. 2]. Оставаясь чаще всего в тени, он породил целую плеяду французских славистов. Будучи близким к кругу католически настроенных студентов Эколь Нормаль, он организовал у себя дома на улице Гренель собрания так называемых тала – «тех, кто посещает мессу» (*ceux qui vont-t-à-la-messe*). Для многих из них он стал духовником. Его влияние на П. Паскаля трудно переоценить – именно он привил ему идею церковного воссоединения, захватившую ум молодого студента, который уже во время одной из своих первых довоенных поездок в Россию начал устанавливать связи с либеральными представителями Православной церкви, вдохновленными экуменической философией Вл. Соловьева.

Другим способом связать свою любовь к России и католическую веру для П. Паскаля стало изучение личности Жозефа де Местра. Именно ему он посвятил выпускное кандидатское сочинение «Жозеф де Местр и Россия». В целях подготовки в 1911 году он отправляется в свое первое путешествие в Россию, которое началось с месячного пребывания в Киеве и посещения Нежина, а там – городской гимназии, где учился Н.В. Гоголь. После чего Паскаль отправляется в Курск, Москву и Санкт-Петербург, довольно быстро входит в франко-русское университетское сообщество и, в частности, посещает защиты работ во Французском институте, где знакомится со многими своими будущими французскими коллегами.



В сочинении, посвященном де Местру, П. Паскаль решительно отказался от всех деталей, не связывавших этого консервативного мыслителя с Россией. Сама работа делилась на две части: «Влияние России на Жозефа де Местра (его русские впечатления, то, чем он ей обязан)» и «Влияние Жозефа де Местра на Россию: педагогическое, философское, политическое». Во введении к этой работе Паскаль сформулировал идею, которая пройдет красной нитью через всю его дальнейшую жизнь и научную деятельность: «Можем ли мы не впасть в заблуждение и показать, что возможно писать о России с любовью, не поступаясь правдой!» [цит. по: 6, р. 21].

В своих письмах к родителям он отстаивал свое восхищение перед Россией и ее народом вопреки всем распространенным на Западе предрассудкам: «...нет на свете более нежного и по-настоящему приятного народа, что отражается даже в его отношении к животным» [цит. по: 6, р. 22]. Молодой П. Паскаль в этих письмах также выражает свой восторг русскими музеями, в частности Эрмитажем: «Мне кажется, это-то должно было бы привлечь людей к посещению России, и все же здесь нет даже англичан. Повсюду принято считать Россию варварской» [цит. по: 6, р. 22].

Пари Паскаля

В 1914 году, как только разразилась Мировая война, П. Паскаль, несмотря на свои пацифистские убеждения, отправляется на фронт. Молодой лейтенант Паскаль не оставил никаких свидетельств по поводу своих военных впечатлений. В августе 1914 года его подразделение приняло на себя атаку немецких войск в сражении в Шармском проходе и потеряло пять человек. Паскаль был серьезно ранен шрапнельной пулей, задевшей легкое, что в дальнейшем послужило причиной плеввропневмонии. Это было его первое ранение и первое пребывание в госпитале.

Поправившись, Паскаль направляется на франко-турецкий фронт, где участвует в Дарданелльской операции. 24 июня 1915 года вновь получает ранение, на этот раз в плечо, и госпитализируется. После чего он покидает поля сражений и ввиду его прекрасного владения русским языком назначается в апреле 1916 года во Французскую военную миссию, направлявшуюся в Россию. Именно в момент отъезда из Парижа мы застаем его на первых страницах «Русского дневника».

Официально декларируемая цель Французской военной миссии вписывалась в общую предвоенную политику Франции – поддержание связей со своим союзником. Эта делегация должна была работать на достижение привилегированного места Франции в экономико-дипломатической сфере и оттеснение с этого места Великобритании. Для самого же Паскаля, погруженного во внутренние дрязги и бюрократию этой организации, озвученная цель была сомнительной: «Я предпочел бы чисто военную работу. Всякие интриги вызывают у меня отвращение. И почему? Я не понял подлинной цели пропаганды. Следовало бы лучше изучать Россию во Франции» [5, с. 62]. Уже позднее в письме Марселю Мартине от 30 мая 1920 года он поведал об изнанке работы Французской военной миссии: «...я понял всю тайну слов “франко-русский союз и дружба”, а именно: совпадение интересов, временных, хрупких, всегда готовых к разрыву, двух господствующих классов, сознающих себя врагами; “информационное обслуживание”, а именно: подкуп российских журналистов с целью дискредитации русской армии в пользу французской армии; “военный атташе”, а именно: широкомасштабный военный, политический и экономический шпионаж, направленный на подчинение союзной страны...» [3, с. 233].

П. Паскаль действительно мало подходил для такой роли военного пропагандиста и вредителя. Вот каким его вспоминает полковник Анри Оливари в 1933 году: «Чернявый, маленького роста, с большой головой мужчина с туманным взором и большим пенсне –

переводчик Паскаль. Я уже в другом месте объяснял, что выпускники Эколь Нормаль – безнадежные антимилитаристы. И вот Паскаль, человек с обширными общекультурными познаниями, развитым художественным чувством, глубоким знанием русского языка и литературы, направляется в Петроград в качестве руководителя отдела пропаганды! Лучшего выбора, конечно, не было! Он был анархистом и сверх того убежденным католиком – следовательно, человеком из крайне опасной категории людей искренних» [10, р. 59].

Разумеется, к такому портрету brave лейтенанта следует относиться с некоторой долей критичности: написан он был уже после всех произошедших с Паскалем событий и политических метаморфоз. Стоит отметить, что навряд ли Паскаль в начале своего пребывания в Военной миссии придерживался взглядов анархических да и вообще как-либо внятно формулировал свои политические воззрения. В этой связи любопытен эпизод пребывания Паскаля в могилевской Ставке и его награждения орденом св. Анны лично императором Николаем II. Он выдает в нем отсутствие каких-либо анархических тенденций на тот момент. Такими словами описывает лейтенант русского государя: «Впечатление величия, которое производит император, исходит не от его физического облика, не от какой-либо пышности, поскольку он совсем прост в форме полковника, но от его значительности, в которой чувствуется сознание ответственности, своей божественной миссии» [5, с. 136]. В декабре 1916 года Паскаль в письме своему отцу по поводу знаменитой речи Павла Милюкова в Думе, где тот без конца ставил вопрос: «Глупость? Или предательство?», пишет: «В Думе есть люди, желающие поиграть в Парламент; надеюсь, им это не спустят с рук» [цит. по: 6, р. 45].

Политические метаморфозы П. Паскаля происходят внезапно. Отношение к Февральской революции у него довольно сложное: она будто выбивает его из привычного состояния – в его дневнике отсутствуют записи за март 1917 года. Еще в конце февраля он вместе с 23-летним студентом Львом Зандером, будущим деятелем международного экуменического движения, рассуждает о своей любви к «святой Руси, цивилизации ума и души» и мечтает о том, как хорошо было бы «жить в XIII в., быть монахом, ученым и набожным, согбенным над богословскими фолиантами» [5, с. 172]. Но эти грезы прерываются нежданно грянувшей революцией с ее «оргией слов, мнений, речей, собраний» [5, с. 177]. Французская военная миссия назначает П. Паскаля одним из ораторов-пропагандистов, целью которых было убеждение русских солдат в необходимости наступления. Его отправляют на Северный фронт в Ригу. И здесь чувствует он всю бессмысленность и ложность своего положения: «У русского народа острое чувство трагического характера этой войны, которой он не желает, которая абсурдна, которой не должно желать человечество, не способное из нее выпутаться <...> у меня впечатление, что мы потерпели неудачу» [5, с. 211].

Все большее раздражение вызывают у него его коллеги, их презрение к русскому народу: «В полдень мне был нужен Шомье: прилип Першене, подошел Фредерикс. Распалались против России весь обеденный час. Не нашли ничего заслуживающего снисхождения, ни людей, ни деяний. Я не раскрывал рта, не знал, что возразить столь уверенным в себе людям» [5, с. 327]. И раздражение это, поначалу выражаясь лишь вежливым и непонимающим молчанием, постепенно росло. Вместе с ним росла симпатия к большевизму и новой Октябрьской революции. Наконец в жизни П. Паскаля происходит кардинальный поворот – несмотря на угрозы майора Шапуи, он отказывается возвращаться во Францию вместе с Военной миссией и остается с большевистской Россией.

Что побудило Пьера Паскаля, убежденного французского католика, принять это судьбоносное решение связать свою жизнь с новой, советской Россией? Причин тому, кроме протеста по отношению к своему русофобскому окружению в Миссии, действительно

много и все они тесно переплетены друг с другом. Этот вопрос задавали и французские современники Паскаля. В своем дневнике он упоминает публикацию Людовика Нодо, который дает следующий портрет нашего героя: «Мне рассказывали, что совсем недавно он был блестящим выпускником Эколь Нормаль Суперьор, и этот факт ничего не говорит ни в его пользу, ни против него. <...> В нем мы находим крайне яркий образец особенных лакун, которыми может обладать человек, вскормленный университетской культурой, но которому не хватает знания людей, психологического инстинкта и чувства реальности... Развивая лишь память у студента, мы иногда приходим к таким несуразностям. Оправдать господина Паскаля можно тем, что он еще молод, жил только книгами и ничего положительно не знает о жизни» [8, р. 170]. Позднее появлялись и другие публикации относительно тайных мотивов Пьера Паскаля. В частности, поводом к ним послужило его пребывание в качестве переводчика в составе советской делегации на Генуэзской конференции 1922 года. Это вызвало подозрения: наверняка недавний экуменист Паскаль присутствует здесь не случайно, а должность переводчика – только прикрытие для тайной миссии по налаживанию связей между советским правительством и Папским Престолом. На страницах своего дневника Паскаль дает один забавный пример из итальянской прессы: «Лейтенант Паскаль [Pasquale] – образованный и крайне религиозный человек, склонный к мистицизму. Став русским и подружившись с Лениным, он охвачен одной навязчивой идеей: примирить православие с Римской Церковью. Он присоединился к большевистской делегации в Генуе и поселился в Отеле Санта-Маргериты, где держится поодаль от всех, ведет скрытный образ жизни, предаваясь ревностным религиозным практикам» [13, р. 55]. Впрочем, несмотря на невольно комический характер этой зарисовки, в ней есть некоторая доля правды, а именно – духовно-мистическое, а не политическое восприятие большевизма П. Паскалем.

Конечно, одной из причин его союза с большевизмом была негативная политическая мотивация: Паскаль с детства глубоко проникся крайне антибуржуазным пылом и неприятием парламентаризма и республиканизма. Так, в своем эссе, посвященном отцу, он отмечал: «Я начал обнаруживать, что с прислужгой [в нашем доме] плохо обходились: они жили в плохих условиях, работали без перерыва, питались тем, что перепадет со стола, их безжалостно увольняли, когда они заболели, постоянно напоминали об их подчиненном положении. Но отец мой в этой области домохозяйства не имел никакой власти. Да и мать была отнюдь не злее других. Таковы были тогдашние нравы» [14, р. 15]. Кроме буржуазных нравов, отвращала П. Паскаля и сама парламентская распушенность Франции, перед которой сначала русская монархия, а после русский большевизм казались лучшей альтернативой: «Одна только политическая революция никогда не улыбалась мне. Абсолютная монархия, напротив, не могла мне не понравиться, если она была в согласии с разумной социальной системой справедливости и равенства. Декларация прав человека и гражданина – это дерзкое лицемерие, замечательное зеркало всего режима буржуазии, которое всегда меня отталкивало. Царизм показался мне прекрасным перед лицом этой распушенности» [3, с. 232].

Впрочем, подобные взгляды трудно назвать целостным политическим мировоззрением. Скорее всего, П. Паскаль так и оставался человеком аполитичным, но резко чувствующим отвращение к буржуазным и секулярным выражениям своего времени. Вряд ли можем мы принять вслед за переводчиком первого тома его «Русского дневника» В.А. Бабинцевым обозначение дореволюционных взглядов Паскаля как консервативных, о чем он пишет в прекрасно излагающей его сложные взаимоотношения с идеологией большевизма статье [1]. Нельзя отнести Паскаля и к социалистически-анархическому лагерю, как это часто делали *a posteriori* его приятели и знакомые, вернувшиеся во Францию и пытавшиеся объяснить себе и другим этот странный демарш лейтенанта. На протяжении

всего первого тома его дневника мы чаще встречаем описания церковных служб, нежели какие-либо размышления о политических партиях или учениях. Собственно, личная цель поездок Паскаля в Россию всегда была одной и той же – осуществление проекта церковного воссоединения, на который его вдохновил упоминаемый выше аббат Фернан Порталь. Его группа, хотя и была близка к идеям христианского социализма Марка Санье, все же мало интересовала юного католика П. Паскаля конкретно политической своей стороной. Оказавшись в составе Французской миссии в России, он публикует пять статей на русском языке в петроградском «православно-кафолическом» журнале «Слово истины». Четыре из них посвящены вопросу воссоединения Церквей [подробнее см. 9; там же автор приводит все пять статей П. Паскаля на русском языке].

В большевизме и Октябрьской революции П. Паскаль видел прежде всего мистическое событие – возможность построения нового божественного порядка на грешной земле. Читая учебник архиепископа Казанского Антония «Догматическое богословие», он отмечал великую опасность, которой тот не смог избежать, – «*оправдание сущего*» [5, с. 287]. В 1917 году П. Паскаль был твердо уверен, что возможно земное воплощение религиозных идеалов посредством социализма. Большевизм был для него продолжением русского православия. Показательно его описание русской Пасхи 1918 года.

«Толпа входит в церковь. Внутренние нагромождения ее портят, видно плохо, но все равно это Россия: колонны, расписанные ликами святых, пророков и монахов, иконостас с рядами праведников до самого верха свода, гробницы с драгоценными образами по бокам. Это Россия. И солдатская масса, воины Красной армии со звездочками на фуражке, остриженные по уставу, серьезные и суровые – даже вон тот, несомненно командир, поскольку при сабле, во френче с тесным, широко расстегнутым воротником – все это православная Россия в новой форме. И все это святая Русь, самозабвенно устремленная в будущее (Блок был не прав, представляя *Двенадцать* палящими в святую Русь)... народ революционный, потому что христианский» [5, с. 473–474].

Однако период мистического восторга продлился только несколько лет. Постепенно Паскаль начинает сознавать свою ошибку. Сначала он наблюдает сопутствующее Новой экономической политике обуржуазивание советской элиты. «Если я приостановил записи в дневнике в 1921 году, – пишет он во введении к третьему тому «Русского дневника», – то это было, возможно, вследствие разочарования. Я прекратил чувствовать себя “в лоне коммунизма”, быть морально солидарным с коммунистической партией. Но я оставался верен моей дружбе с русским народом...» [13, р. 9]. Советская верхушка все больше проникается духом фаворитизма: «Почему на всех закрытых собраниях, куда вход только по билетам Московского комитета, всегда такое количество барышень?.. Это маленький, но яркий показатель торжествующего духа фаворитизма, распространенного даже среди лучших коммунистических руководителей и губящего столько вещей» [13, р. 28]. Коммунистическая идеология начинает превращаться в средство карьерного продвижения, примером чему для П. Паскаля служит личность бывшего французского офицера и деятеля международного коммунистического движения Жака Садуля.

Для П. Паскаля всякий социализм мог быть оправдан только своим подчинением идее христианства. В декабре 1919 года ему пришлось даже писать объяснительную записку в ЦК партии по поводу его католического вероисповедания и отнюдь не ортодоксальных марксистских воззрений. Там он достаточно искренне излагает свою мировоззренческую позицию:

«2. Я – католик, то есть в силу ряда философских, исторических и нравственных причин, излагать которые заняло бы много времени, я сознательно признаю истинность учения католической церкви.

<...>

4. Я – коммунист, то есть сознательно признаю справедливость всех теоретических, политических, исторических или тактических положений, содержащихся в программе Российской коммунистической партии. И здесь дело не в случае и не в ряде поверхностных аналогий между коммунизмом и христианством. Мои личные размышления привели меня к тому, что я стал интернационалистом, антикапиталистом и антипарламентаристом. Впоследствии путем исследований и опыта я принял учение исторического материализма, классовой борьбы и диктатуры пролетариата» [3, с. 72–73].

Такое пари между истиной христианской веры и справедливостью коммунистического учения, конечно же, не могло длиться вечно. Даже в этом объяснении истина веры для П. Паскаля первичнее справедливости коммунизма. Позднее, в 1921 году, он прямо скажет о необходимости, но недостаточности коммунизма [13, р. 16].

Знал ли Паскаль о преследованиях православной Церкви со стороны советского руководства? Знал, внутренне осуждал, но прямо по этому поводу почти не высказывался. Только в своих поздних работах, уже не советского периода жизни, Паскаль занимает радикально осуждающую эти действия позицию, в частности, в книге «Религия русского народа» [12]. Там же он указывает и на причину стойкости русской народной веры в ответ на подавление советской властью – эта вера была более нравственного, нежели интеллектуального характера; она не полагалась на священные тексты, в ее основании лежала семейная традиция. В «Русском дневнике» П. Паскаль приводит следующее наблюдение относительно карикатурных, высмеивающих религию публикаций журнала «Безбожник»: «Успех [этой антирелигиозной кампании] кажется великим, но на деле ничего собой не представляет. Для русского народа не внове потешаться над своими священниками. Один из исследователей... в своем докладе рассказал, что за один вечер из уст крестьян услышал больше насмешливых историй о духовенстве, нежели даже десять “Безбожников” смогут напечатать за год. И это никак не сказывается на их довольно туманной вере и не мешает им, – добавляет он, – как молодежи, так и старикам, исправно приносить своему попу муку, яйца, кур» [13, р. 87].

Разочарованный окончательно в коммунистическом проекте, П. Паскаль все же вплоть до 1933 года не покидает Россию. Более того, именно в годы наиболее полного метафизического отчаяния находит он подлинную Россию, которую всегда любил всем своим сердцем.

Русская душа глазами латинянина

Эту подлинную Россию он находит в русской деревне. Его «Русский дневник» содержит описание его путешествия в 1927 году по Волге от Калязина через Углич в Нижний Новгород. Для П. Паскаля это было путешествие не просто в пространстве, но во времени: он побывал в деревнях, где с момента Революции ничто так и не поменялось. Каждое лето на протяжении пяти лет (1926–1930) он проводил в деревне Блохино Нижегородской области, живя рядом с крестьянами и разделяя их труд. Именно там он узнал об общинном характере русского народа, выражающемся в крестьянской взаимовыручке. Он начинает говорить об отдельной «крестьянской цивилизации» в России с ее собственными обычаями, моральными ценностями и своеобразным языком.

Крайне интересно в этой связи краткое эссе «Крестьянка Русского Севера», перевод которого сопровождает нашу статью. Это подлинный шедевр, выдающийся в Паскале тонкого и внимательного наблюдателя, влюбленного в предмет своего изучения и умеющего

фиксировать значимые детали быта и поведения и выводить из них сущностные черты конкретной общности. Знакомая далеким от крестьянских реалий Русского Севера читателей с повседневным существованием русской крестьянки, он опровергает многие устоявшиеся предрассудки относительно образа жизни и семейных традиций в русской деревне. Кроме того, он констатирует непреходящий характер этой русской деревни, несокрушимость ее уклада перед испытаниями времени: «...вчерашня комсомолка, стоит ей выйти замуж, уже смеется над своими заблуждениями молодости и становится почтенной матроной подобно своей матери. Так и бывшие красноармейцы спустя два года возвращения в деревню сливаются с остальными мужиками, как и вообще всякое постороннее тело, всякая чужеродная идея лишь на мгновение баламутят поверхность этого необъятного и грозного океана деревни и русского леса – чтобы затем он поглотил их» [11, р. 243–244].

Эту подлинную Россию, надо сказать, П. Паскаль находил и раньше в городе – в русском человеке. В 1917 году он представляет во Французском институте в Петрограде свой доклад «Русская душа глазами латинянина». Эту русскую душу лучше всего передают, согласно докладчику, народные песни и марширующая с песней по улицам рота солдат, а не интеллигенты, пытающиеся копаться в своей психологии и приобретшие много наносного извне. Он выделяет три главные черты русского характера: солидарность – вольнолюбие – стремление к абсолюту. Приводим полный конспект доклада П. Паскаля:

«Солидарность»

“Соборы”, образ святой множественности.

Непрерывные вереницы повозок на улицах Петрограда.

Поведение людей в очередях.

Голосование чохом, целым полком.

Вкус к артелям, кооперативам и их объединениям.

Обращения: “товарищ”, “православные”.

В философии и религии теория “соборности”, или единения всех верующих.

Чувство коллективной ответственности, как в момент отступления 1915 г.

Как следствие такого коллективного духа – недостаток гордости. Русский смирен; подозрителен к личностям, которые высовываются, – русский народ демократичен; власть была наложена на него, как крышка.

Вольнолюбие

Отвращение к строгому соблюдению правил, к подчинению, принуждению.

Важность, придаваемая отмене обязательного отдания воинской чести.

Русский не делает карьеру: он берется за многое одновременно и меняет профессии.

Беспечность к сбережениям и отвращение к расчету.

Пренебрежение логикой.

Презрение к тому, что традиционно.

Странствования и бродяжничество.

Как следствие такого характера, Россия подчиняется не столько закону, сколько влиянию того, кто сумеет победить ее недоверие.

Сентиментальный патриотизм без примеси национализма.

Религиозность без догматизма.

Интуитивная мораль без фиксированных правил.

Легкость разводов.

Обычай воздержания, перемежаемого пьянством.



Все эти проявления резюмируются словом “воля”, что не равнозначно понятию “сила воли”.

Тяга к абсолюту

Потребность по любому вопросу начинать от сотворения мира.
Полное воплощение принципов (напр., толстовская мораль).
Отвращение к смертной казни и войне.
Непонимание разницы между моралью индивидуальной и моралью государственной.
На Западе следуют максиме: “Своя рубашка ближе к телу”.
Русский душу отдаст ради спасения других.
В политике – большевизм.
В философии – малое значение, придаваемое объективной реальности.
В практической жизни любое средство становится нежелательным, если в нем вскрывается малейшее несовершенство.
Как следствие – меланхолия и склонность к отчаянию, к моральной капитуляции; будучи не в силах достигнуть абсолютного блага, бросаются в абсолютное зло» [5, с. 398–400].

В духе русских славянофилов Паскаль отмечает, что Петр I навязал русскому народу внешний для него порядок, но оставил нетронутой русскую душу, «включая особую форму русской лени, она не есть наслаждение бездельем, но смирение перед бессилием, бесполезностью усилий» [5, с. 400].

Не мог П. Паскаль не сравнивать в этом отношении русских и французов, разность характеров которых особенно проявилась в условиях Первой мировой войны. Он противопоставлял глубоких и скромных русских кичливым и шумным французам: «Русский не кичится собой, ни даже своим Отечеством. Он любит свою страну глубоко, знает ей цену, но держит это про себя. Француз кичится тем, что побывал на фронте, рассказывает о своих подвигах, страданиях и ранениях. И все потому, что считает, будто совершил нечто необычайное. Русский при случае, если будет повод, сообщит вам, что был на фронте, но для него это крайне заурядный факт, он ни на мгновение не подумает бахвалиться» [5, с. 174].

За интересом Паскаля к личности протопопа Аввакума стояла все та же притягательность русской души: солидарной и вольнолюбивой, во всем стремящейся к абсолюту. Любопытно то, как Паскаль вообще пришел к теме своего главного исследования. В 1925 году он покидает Коминтерн и устраивается научным сотрудником в Институт Маркса – Энгельса под руководством бывшего меньшевика Д.Б. Рязанова, где занимается разбором архива Гракха Бабёфа. В часы отдыха он знакомится с никому не нужными архивными древностями и обнаруживает издание «Жития протопопа Аввакума». «Я начал читать эту книгу, и с самого начала она меня захватила. После почти интернационального языка современных журналов и книг я столкнулся с чистым и сочным русским языком, языком, на котором говорил весь русский народ до Петра Великого и на котором еще до сих пор говорят крестьяне» [4, с. 33]. Суть церковного раскола XVII века П. Паскаль видит не просто в обрядовых мелочах, на которых не смогли сойтись два противостоящих лагеря, но конфликт двух разных пониманий христианства: одно желало подчинить все земное небесному делу спасения, другое стремилось примирить небо и землю. Не подобный ли этому трагический конфликт лежал в основании паскалевского большевизма: желание во всем следовать истине своей веры и одновременно стремление примирить эту небесную истину с земной справедливостью, построением коммунистического рая на земле?

Литература

1. *Бабинцев В.А.* Пьер Паскаль: левая траектория французского консерватизма // Французский ежегодник: Левые во Франции. М., 2009. С. 208–220.
2. *Данилова О.С.* Группа аббата Ф. Порталья и Россия (1903–1919) // Французы в научной и интеллектуальной жизни России (XVIII–XX вв.). М.: Олма медиа групп, 2010. С. 268–280.
3. *Паскаль П.* В лоне коммунизма: Русский дневник 1918–1921 / пер. с фр. А.В. Родосского. СПб.: Владимир Даль, 2023. 319 с.
4. *Паскаль П.* Протопоп Аввакум и начало Раскола / пер. с фр. С.С. Толстого. М.: Знак, 2011. 680 с.
5. *Паскаль П.* Русский дневник: Во французской военной миссии (1916–1918) / пер. с фр. В.А. Бабинцева. Екатеринбург: Гонзо, 2014. 592 с.
6. *Sœur S. Pierre Pascal.* La Russie entre christianisme et communisme. Lausanne: Les éditions Noir sur Blanc, 2014. 416 p.
7. *Mazon A.* Avant-propos // Revue des études slaves. Paris: 1961. Т. 38. P. 7–18.
8. *Naudeau L.* En prison sous la terreur russe. Paris: Librairie Hachette, 1920. 247 p.
9. *Niqueux M.* Pierre Pascal et la réunion des églises (d'après ses articles de Slovo istiny, 1917) // Revue des études slaves. Paris, 2017. Т. 88. P. 473–494.
10. *Olivari H.* Mission d'un cryptologue français en Russie (1916). Paris: L'Harmattan, 2009. 444 p.
11. *Pascal P.* Lapaysanne du Nord de la Russie // Revue des études slaves. Paris, 1930. Т. 10. P. 232–244.
12. *Pascal P.* La religion du peuple russe. Lausanne: L'Age d'Homme, 1990. 154 p.
13. *Pascal P.* Mon état d'âme. Mon journal de Russie: Tome troisième 1922–1926. Lausanne: L'Age d'Homme, 1982. 238 p.
14. *Pascal P.* Mon père Charles Pascal // Revue des études slaves. Paris: 1982. Т. 54. P. 11–17.

Аннотация. В статье представлен жизненный, творческий и мировоззренческий путь известного французского слависта Пьера Паскаля (1890–1983) в Советской России. Попав в самую гущу исторических событий, эта сложная и противоречивая личность оказалась подлинным свидетелем, зафиксировавшим в своем пяти-томном «Русском дневнике» не только внешнюю канву действий, встреч и писем, но и передавшим дух того бурного времени и личную коллизию выбора между католической верой и коммунистическим проектом. Автор статьи пытается проанализировать причины, по которым П. Паскаль решил связать свою жизнь с Революцией и большевизмом. Среди них он выделяет мистико-духовное восприятие Революции, негативную политическую мотивацию и любовь к России. Вплоть до наших дней П. Паскаль остается наглядным воплощением сформулированного им самим в юношестве кредо: «...писать о России с любовью, не поступаясь правдой».

Ключевые слова: Пьер Паскаль, большевизм, Советская Россия, экуменизм, французская славистика.

Daniil T. Baboshin, Lomonosov Moscow State University. E-mail: baboshin2014@yandex.ru.

Pierre Pascal: French Catholic in Bolshevik Russia

Abstract. This article presents the life, creative and ideological path of the famous French Slavist Pierre Pascal (1890–1983) in Soviet Russia. Finding himself in the thick of historical events, this complex and contradictory personality turned out to be a true witness, who recorded in his five-volume «Russian Diary» not only the external outline of actions, meetings, and letters, but also conveyed the spirit of that turbulent time and the personal conflict of choice between the Catholic faith and the communist project. The author of the article tries to analyze the reasons for P. Pascal's decision to connect his life with the Revolution and Bolshevism. Among them, the author singles out the mystical-spiritual perception of the Revolution, negative political motivation, and love for Russia. To this day, P. Pascal remains a clear embodiment of the credo he himself formulated in his youth: "...write about Russia with love, without compromising the truth".

Keywords: Pierre Pascal, Bolshevism, Soviet Russia, Ecumenism, French Slavic Studies.

«Опасный союз, чреватый сюрпризами и взрывами»: Жак Бенвиль о России и франко-русском союзе*

1

Главным направлением внешнеполитической деятельности монархического движения “Action française” во все время его существования, с конца XIX века до августа 1944 года, была борьба против Германии как «наследственного врага» Франции. Этапы этой борьбы: пропаганда реванша (возвращения Эльзаса и Лотарингии) до Первой мировой войны, «священное единение» всей нации в годы войны, требование расчленить Германскую империю сразу после ее окончания, осуждение Версальского договора как слишком мягкого в отношении Германии, поддержка экспансионистской политики правительства (оккупация левого берега Рейна, поощрение рейнского сепаратизма, интервенция в Рур) и критика отказа от нее, предупреждения об опасности национал-социализма, кампания за перевооружение, борьба против идеологически мотивированного конфликта с Рейхом, в котором Франция была обречена на поражение, поддержка военных усилий после объявления войны, посильное сопротивление и усилия к сохранению национального единства в годы оккупации – теперь основательно исследованы и в отечественной литературе [1–3].

Политическую линию “Action française” определял его лидер и главный идеолог Шарль Моррас (1868–1952), бывший фигурой национального масштаба. Ведущим внешнеполитическим аналитиком движения и его одноименной ежедневной газеты, выходившей в 1908–1944 годах (называем ее “L’AF”, чтобы не смешивать с движением), стал его верный последователь Жак Бенвиль (1879–1936). «Ни единого раза Моррас и наши учителя, – вспоминал бывший активист “Action française” Анри Шарбонно, – не допускали возможности союза или примирения с Германией, даже побежденной. Все подобные попытки высмеивались или объявлялись изменническими! Ни один немец не заслуживает доверия! А к тем, кто верил в “хорошую Германию” и проявлял некоторый пацифизм после чудовищного убийства многих миллионов человек (и с каким результатом?), относились как к идиотам и преступникам» [4, р. 80–81].

Успешно бороться с Германией один на один Франция не могла хотя бы из-за очевидного демографического дисбаланса (монархисты ставили его наличие в вину Третьей республике). Значит, Франции требовались союзники. Почему же Моррас и Бенвиль выступали против союза не только с большевистским СССР, но и с императорской Россией?

Излагая в 1945 году этапы своей политической эволюции, Моррас остановился на «союзе с Россией, который все наши дурни считали направленным против Германии и

* Сокращенный вариант статьи см. [17].

Молодяков Василий Элигархович, доктор политических наук, профессор, университет Такусёку, Токио, Япония. E-mail: dottore68@mail.ru

который, напротив, работал в ее пользу» [5, р. 72]. За сорок лет до этого он признавал, что «патриоты и буланжисты [к которым он сам тогда принадлежал – В.М.] страстно желали союза с Россией, полагая, что Россия, наконец, даст нам возможность вновь появиться на Рейне» [6, р. 14]. Однако фанатичный германофоб не мог простить Петербургу «заигрываний» с Берлином в 1880–1890-х годах, которым дал такое объяснение: «Россия более не видит в Германии ни наследственного врага, ни врага по обстоятельствам. Германизированная до мозга костей, управляемая немцами [так! – В.М.], Россия никогда первой не порвет с Берлином. Для наших союзников антигерманизм был лишь чувством; он если и царил у них, то не господствовал над ними» [6, р. 15–16]. Считая Россию «менее цивилизованной страной», чем Франция, но имеющей «менее несовершенную политическую организацию» (монархию, а не республику) и «неисчерпаемые ресурсы населения и территории», Моррас согласился бы видеть Францию «учителем и советчиком» России. Однако ненавистная ему «неустойчивая и анархическая французская демократия» Третьей республики, заключившая союз ради своих узкополитических интересов, уготовила Франции лишь «недостойную роль сателлита царя» [6, р. 17].

«Мирный» франко-русский союз 1891 года не способствовал реваншу, не усиливал Францию, не давал ей гарантий помощи в случае нападения Германии (эффективность дипломатического вмешательства со стороны Петербурга Моррас оценивал скептически), зато мог втянуть Францию в конфликт между Россией и Германией в невыгодный для нее момент. После поездки в Грецию в 1896 году Моррас отметил, «какой вред нанес нам союз с Россией на всем греческом, латинском и даже турецком Востоке» [5, р. 73]. После Фашодского кризиса 1898 года он не видел в Великобритании перспективного союзника в борьбе против Германии. Эта позиция, сформировавшаяся в конце 1890-х годов, оказала определяющее влияние на сложившуюся тогда же общеполитическую позицию его последователя Бенвиля, тоже фанатичного германофоба, но – в отличие от Морраса – знатока политики, истории и культуры Германии.

В качестве обозревателя “L’AF” Бенвиль еще до Первой мировой войны не раз писал о России. Комментируя 30 июля 1908 года (далее даты публикации статей указаны в тексте перед ссылкой на источник) отклики прессы на встречу президента Клемана Армана Фальера, сторонника укрепления франко-русского союза и при этом противника войны с Германией, с императором Николаем II, Бенвиль признал ослабление позиций обоих партнеров. Позиций Франции – в результате «дела Дрейфуса» (в котором Моррас видел также британскую интригу) и уступок, сделанных Германии во время Танжерского кризиса 1905 года. Позиций России – в результате поражения в войне с Японией и смуты 1905–1907 годов. Приведя слова комментатора “Le Temps”: «Союзы ничего не дают, если заключены между беспомощными», – Бенвиль назвал слово «беспомощность» «слишком сильным», однако добавил: «Если Франция ослаблена, мы знаем, кто в этом виноват» [7, р. 1–4]. Любой читатель “L’AF” понимал, что речь идет о режиме Третьей республики – главном «внутреннем враге» монархистов. Составитель посмертного сборника статей Бенвиля о России Ж. Марсель из всех его текстов предвоенного периода выбрал только эту статью.

2

В начале 1910-х годов Бенвиль приобрел репутацию компетентного и проницательного аналитика, которому предоставляли свои страницы и другие издания, что было нетипично для жестко политизированного газетно-журнального мира Франции. За склонность предсказывать худший вариант событий его прозвали Кассандрой, но начавшаяся мировая война казалась подтверждением его прогнозов. Республиканский мейнстрим, не



воспринимавший монархистов “Action française” как серьезную политическую или идейную силу, был вынужден считаться с ними, а у широкого читателя «акции» германофобов резко выросли в цене. Статьи Бенвиля на международные темы читались и за пределами Франции, хотя не имели такого влияния, как тексты ведущего обозревателя “Le Temps” Андре Тардье, будущего министра и премьера, тесно связанного с политическими и финансовыми кругами. Однако видный критик Рене Думик, главный редактор влиятельного и респектабельного журнала “La Revue des Deux Mondes”, в мае 1915 года отправил в Италию, мучительно решавшую вопрос о вступлении в войну на стороне Антанты, именно Бенвиля, уже бывавшего там ранее и принятого как во французском посольстве в Риме, так и в Ватикане. Несмотря на чрезвычайные усилия Германии, с началом войны отправившей в Рим послом бывшего канцлера и министра иностранных дел князя Бернгарда фон Бюлова, Италия 22–24 мая 1915 года объявила всеобщую мобилизацию и войну Австро-Венгрии, а также разорвала дипломатические отношения с Германией, хотя вступила в войну с ней только 28 августа 1916 года. В очерке, написанном для “La Revue des Deux Mondes” по итогам поездки, Бенвиль назвал май 1915 года «историческим месяцем Италии». Выход его книги «Война и Италия» (1916) в известном издательстве Артема Файяра стал свидетельством признания автора за пределами круга единомышленников [8, р. 146–150].

В годы войны Бенвиль по понятным причинам оценивал франко-русский союз положительно, но без особых восторгов. Известный всей правящей элите, но не входивший в «коридоры власти», он в конце 1915 года принял исходившее из МИД предложение съездить в Россию с неофициальной миссией для сбора информации. Рекомендательные письма Бенвилю подписал шеф секретариата МИД Филипп Бертело, правая рука министра Аристиды Бриана и ответственный за ведение пропаганды. Бриан и Бертело были политическими противниками движения “Action française”, которое после окончания мировой войны развяжет против них настоящую войну на страницах “L’AF”. Однако влиятельный журналист Эмиль Бюре, в прошлом социалист и руководитель аппарата Жоржа Клемансо в его бытность премьер-министром в 1906–1909 годах, а ныне доверенное лицо Бриана, порекомендовал для этой миссии именно Бенвиля, отдавая должное как его аналитическим способностям, так и приобретенному влиянию в политических кругах. Посол в России Морис Палеолог подобным «миссиям» не сочувствовал и не испытывал добрых чувств к Бенвилю, который в 1914 году критиковал на страницах “L’AF” его назначение на этот пост [8, р. 151–154].

Бенвилю поручили выяснить состояние общественного мнения в России, прежде всего в отношении Франции. Пользуясь положением журналиста, не связанного с правительством и даже находящегося – как монархист – в оппозиции к нему, он мог свободно общаться с представителями умеренно оппозиционных политических кругов, с которыми дипломаты почти не контактировали. Россия переживала собственное «священное единение», которое воплотилось в позиции Прогрессивного блока в Государственной думе и в деятельности союзов земств и городов, деятельности которых французский визитер уделил большое внимание. Результатом поездки стал очерк «Четыре месяца в России во время войны», опубликованный в номере “La Revue des Deux Mondes” от 15 августа 1916 года [9]. В марте 1917 года Бенвиль включил его в свою новую книгу под названием «Россия в 1916 году» [10, р. 213–310], разбив на главы и добавив раздел об отношении – восторженном – русских к воюющей Франции [10, р. 243–253]. Корректуру книги он дочитывал уже после получения известий о Февральской революции (предисловие помечено 21 марта 1917 года [10, р. 8]), чем, по-видимому, объясняется косметическая правка журнального текста. Отчет, представленный Бенвилем в МИД, видимо, был уничтожен в мае 1940 года при эвакуации министерства из Парижа; в бумагах Бертело сохранились лишь отдельные фрагменты [8, р. 154].

Очерк Бенвиля, проведенного в России около четырех месяцев с конца января по середину мая 1916 года (кружной путь туда и обратно занимал не меньше недели), удивляет современного читателя своей... неинформативностью. Точнее, отсутствием сколько-нибудь важной информации, хотя он встречался с министром иностранных дел Сергеем Сазоновым (которому передал личное послание от председателя Палаты депутатов Поля Дешанеля [8, р. 153]), министром финансов Петром Барком [10, р. 229], думскими нотаблями. Это больше дидактический, а не аналитический текст. Автор знал Россию только по книгам, а его познания в русском языке, ограничивавшиеся, как у большинства соотечественников, не требовавшими перевода понятиями *knout*, *pogrom* и *nitchevo*, обогатились, судя по тексту, словами *isvochtchik*, *tchin* и *vodka*. С русскими собеседниками гость общался по-французски, не забывая отмечать этот факт как доказательство «универсальности нашего языка и превосходства нашей цивилизации» [10, р. 307–309].

Не ставя под сомнение достоверность изложенного, мы видим в нем то, что Бенвиль хотел донести до французского читателя, прежде всего до влиятельной и элитарной аудитории “*La Revue des Deux Mondes*”.

Первое: Россия, несмотря на уверения германской пропаганды, внутренне едина и предпринимает огромные военные усилия, «мобилизова[в] миллионы и миллионы солдат» [10, р. 225], а значит является надежным союзником Антанты.

Второе: война содействовала подъему патриотических настроений и мобилизации национального духа России, что в частности проявилось в эффективности «сухого закона» [10, р. 228–232].

Третье: Россия освободилась от внутреннего германского влияния, видит в немцах «дьявола», и переживает подъем «неославянских» настроений [10, р. 232–243, 295–303]. Признав, что отношение к немцам в России исторически было иным, чем «у нас, латинян», Бенвиль пояснил: «Немцы для нас то же самое, что татаро-монголы для славян» [10, р. 236].

Четвертое: Россия восхищается Францией, ее единством и стойкостью, героизмом защитников Вердена и волнуется о ее судьбе [10, р. 243–253].

Пятое: «бюрократический режим» (в журнальном тексте: «администрация, которая на языке оппозиции осуждающе называется бюрократией»), несмотря на всю критику в его адрес, успешно справляется с управлением страной. «Кто же заменит ее в своей исторической функции? <...> Что станет с русским государством без станового хребта, который дал ему его создатель [Петр Великий – В.М.]?» [10, р. 259–260, 279–281].

Шестое: война вызвала к жизни патриотическое общественное движение и гражданскую инициативу (Бенвиль встречался в Москве с сопредседателем Земгора князем Георгием Львовым, будущим первым главой Временного правительства), хотя «бюрократия чувствует свою монополию [на власть – В.М.] под угрозой», а правительство (в журнальном тексте был прямо назван премьер Борис Штюрмер) даже проявляет враждебность к нему [10, р. 260–263, 283–285].

Седьмое: либеральная оппозиция, понимая важность национального единства в условиях войны, не выступает против монархии, не готовит революцию, хотя о ней «еще говорят» (в книжном тексте «говорят каждый день»!), и даже не требует «ответственного министерства», то есть конституционного строя, но лишь привлечения в правительство «лиц, облеченных народным доверием» [10, р. 272–279, 303–306]. Заявления в таком духе Бенвиль слышал не только от председателя Государственной думы октябриста Михаила Родзянко и кадетских лидеров Павла Милюкова и Василия Маклакова, но, как сообщил позже, и от Ивана Ефремова, «знаменитого прогрессиста, который по мыслям, общему

взгляду на вещи, лексикону и даже особенностям личности воплощает тип нашего левого республиканца» [11, р. 11].

Общие выводы: «В войне Святая Русь и либеральная Россия едины. <...> В ходе войны против Германии Николай II, неизменный в своих решениях, стал живым центром сопротивления Империи» [10, р. 272, 289]. Первый – и, как оказалось, единственный – приезд царя в Думу 22 (9 по старому стилю) февраля 1916 года французский монархист восторженно описал как демонстрацию национального единства [10, р. 286–290]. Франко-русский союз крепок [10, р. 306–307]. Словом, все хорошо. По крайней мере оснований для беспокойства нет.

3

Журнальная публикация очерка Бенвиля появилась в оптимистическое для «союзников» время после Брусиловского прорыва, но книжная готовилась уже после Февральской революции, на которую автор был обязан откликнуться – в том числе в связи с собственными заявлениями.

Первый отклик на отречение Николая II показывает, что его последствия Бенвиль оценил не сразу: «Россия, на восемьдесят лет отставшая от остальной Европы, устроила полу-революцию больше в стиле 1830 г., чем 1789 г. <...> При регентстве, по крайней мере, главное останется в безопасности, и Россия будет защищена от худшей из бед – возвращения славянской анархии, примеров которой история явила нам так много. <...> Германия, рассчитывавшая на революцию в России как на одну из карт в игре, увидит свои расчеты опрокинутыми, если события пойдут тем путем, на который указывают петроградские дни» (17 марта 1917) [7, р. 5–8].

В номере «La Revue des Deux Mondes» от 15 апреля 1917 года появился очерк Бенвиля «Как родилась русская революция» [12] [я использовал современное переиздание print-on-demand [11] – В.М.], написанный по горячим следам. Автору, покинувшему Петроград за девять месяцев до революции, надо было показать свою, как сейчас говорят, экспертность, поэтому он неоднократно ссылаясь на личные впечатления и беседы, частично используя материал предыдущего очерка. Революцию он не предсказывал. Теперь ему предстояло объяснить тем же читателям, почему она произошла, причем столь внезапно и стремительно. Уже в предисловии, датированном 21 марта 1917 года, к «России в 1916 году» (введение в заголовок даты, полагаю, подчеркивало, что сказанное уже относится к прошлому) автор оправдывался: «В силу естественной осторожности мне пришлось ограничиться лишь намеками на работу, которая шла в умах. В действительности предчувствие революции давало о себе знать на каждом шагу. Здесь мы найдем знаки предупреждения об этом. Эти знаки, о которых неуместно было говорить до события, можно прочитать между строк» [10, р. 8].

Бенвилю фактически пришлось взять назад свои слова по ряду проблем. Признавая «относительно обнадеживающими» свои прошлогодние впечатления о «гарантированной внутренней стабильности» и отмечая «исключительную сдержанность» иностранных дипломатов в оценках и прогнозах [11, р. 7], он более откровенно писал о связях лидеров Прогрессивного блока с правительством и даже не исключал их министерских амбиций при Николае II, приведя в пример товарища председателя Государственной думы Александра Протопопова, который в сентябре 1916 года возглавил МВД. «Русский либерализм связал свое будущее с войной. <...> Между правительственными кругами и самыми либеральными думцами не было непреодолимой пропасти», – подчеркнул автор, повторив рассказ о приезде императора в Думу и приведя вполне монархические высказывания Родзянко и Маклакова [11, р. 15, 9–11]. Теперь Бенвиль откровенно писал о «холодном приеме,

оказанном Штюмеру», в том числе из-за немецкой фамилии¹, о том, что Николаю II «среди воспитателей явно не хватало хорошего учителя истории» [11, р. 15].

Основную ответственность за революцию и ее допущение он теперь возложил на бюрократию, людей *tchin*, острой критике которых посвятил один из центральных разделов статьи [11, р. 16–22]. Признав, что созданный Петром Великим государственный аппарат был необходим не только для модернизации России по западному образцу, но и для ее дальнейшего управления, Бенвиль заявил, что власть бюрократии ослабляла царскую, постепенно подменяя ее. Он обвинил чиновников в нежелании вести войну с Германией, так как нарушение привычного статус-кво ставило под угрозу их монополию на власть, особенно с подъемом общественного движения и инициативы снизу. Императора Бенвиль упрекал в нежелании прислушиваться к голосу общественности, патриотической и лояльной. «Менее слабый и более дальновидный монарх, чем Николай II, не позволил бы сделать из себя орудие в руках клики, использовавшей традиции государства исключительно в своих личных интересах. <...> В действительности Россия больше не была управляемой и, что еще хуже, не чувствовала себя управляемой» [11, р. 21, 22]. Монархический принцип сам по себе под сомнение, конечно, не ставился: «Если Николай II потерял свой трон по слабости, то его имя, по крайней мере, не запятнано» [11, р. 29–30].

Откуда Бенвиль заимствовал столь критический взгляд на российскую бюрократию? Только из разговоров с оппозиционными думцами и «земгусарами»? А может, из популярной книги «Современная Россия» (1912, 1915) жившего во Франции и писавшего по-французски Григория Алексинского, русского революционера (большевика, затем члена группы «Вперед»), ставшего в годы мировой войны «оборонцем» [подробнее см. 13]. Полагаю, Бенвиль мог быть лично знаком с ним.

Идя навстречу интересу читателей, автор посвятил отдельный раздел очерка Распутину, пояснив, что отказался искать встречи с ним, но от личности «старца» перешел к важности событий в церковном мире России (назначение распутинского ставленника епископа Варнавы (Накропина) архиепископом Тобольским и Сибирским и его деятельность), которым «в Европе не уделяют должного внимания» [11, р. 22–26].

Бенвиль питал иллюзии относительно «обновления договора династии с русским народом» (23 марта 1917) [7, р. 9–10]. Или по крайней мере хотел внушить это читателям «L'AF». В финале очерка он заявил, что последний царь упустил возможность «омоложения монархии», но выражал надежду на подъем русского национализма и называл произошедшую революцию «национальной». «Своей революцией она [Россия – В.М.] еще покажет волю к жизни», – заключил Бенвиль [11, р. 22–26]. Он уверял читателей в «новом повороте борьбы между национальным духом и немецкими влияниями» (20 и 27 апреля 1917), хотя и вспоминал слова Моррасса о «германизированной» России [7, р. 15, 16–17]. Во Временном правительстве аналитик видел – или хотел видеть? – «людей доброй воли, пытающихся действовать в соответствии со своими доктринами» и верящих в «патриотизм и разум русского народа» (12 мая 1917) [7, р. 22].

Рост антивоенных настроений и влияния в России «крайне левых», за которыми многим виделась тень кайзера, заставлял думать о дальнейшей судьбе франко-русского союза. «Если представить (не дай Бог!) республику в России, – писал Моррасс еще 1 мая 1916 года, – ее ориентация будет куда более прогерманской, чем у монархии» [14, р. 28]. Отвечая в конце мая 1917 года на вопросы московской газеты «Русское слово», он назвал

¹ «За разговор по телефону на немецком языке в Петрограде полагается штраф в три тысячи рублей. За обедом в Яхт-клубе офицер встал, попросил разрешения сказать по-немецки два слова, только два, и под общий смех серьезно произнес: “Гофмейстер Штюмер”» [11, р. 12]. Знал ли Бенвиль, что петербургский Яхт-клуб, где бывали великие князья и иностранные дипломаты, был центром великосветской фронды против императрицы-«немки» и «старца»?

«очень приятной» возможность «установить отношения с нашими союзниками русскими республиканцами», однако посвятил весь ответ прославлению французской монархии [15, р. 305–321]. Его соратник Бенвиль уверял, что Россия верна Антанте, однако указывал на разность их целей в войне: «Куда направлены интересы и чувства России? Не прямо против Германии, как наши» (8 июня 1917) [7, р. 26–30]. Читатели «L'AF» сразу понимали это смешение скепсиса и надежды. Даже после большевистского переворота, оцененного им как «торжество анархии и пораженчества», аналитик призывал «сохранить от союза то, что можно сохранить, и не отказываться от двадцати пяти лет политики сотрудничества» перед лицом общего врага, хотя напомнил о своем всегдашнем скептицизме в отношении «брака по любви с Россией» и о необходимости следовать «принципу наименьшего зла» (23 ноября 1917) [7, р. 33–37].

4

Брестский мир окончательно похоронил франко-русский союз и, казалось, подтвердил тезис Морраса об «управляемой немцами» России. Бенвиль видел в этом подтверждение правильности своего скепсиса в отношении союза с ней. «Порядок для русских – германский, и представлен он Вильгельмом II. Антанта представляет одновременно войну и демократию. <...> Республиканская Россия слишком слаба, чтобы защититься от немцев», – суммировал он в статье «Немцы и Россия», заметив: «Некогда Московия уже знала иноземное завоевание. Поляки были в Кремле. Тушинский вор играл роль Ленина» (3 мая 1918) [7, р. 40–44]. «Больше не приходится сомневаться, что большевики и Германия заодно», – продолжал он в статье «Германская политика в России» (5 июля 1918), хотя и подчеркнул: «Германская политика в отношении Российской империи всегда основывалась на неприязни к славянству. Вот о чем нельзя забывать! Немцы ведут себя, как в центре Африки, не придавая более значения ни реакционным, ни революционным идеям, как будто речь идет о негритянских племенах» [7, р. 45–48]. Возможно, поэтому Бенвиль пессимистически оценивал перспективы «союзной» военной интервенции, сознательно или бессознательно, но искажая ситуацию: «До сих пор ни одно по-настоящему серьезное русское движение не восстало против Ленина и не попросило нашей помощи. С другой стороны, правительство Ленина относится к нам, как к врагу. <...> Когда Россия выварится в собственном большевистском соку, тогда и посмотрим, что там произойдет» (10 декабря 1918) [7, р. 49–51]. Даже российские долги и судьбу российских ценных бумаг, волновавшую их держателей во Франции, он не считал должным поводом для интервенции с непредсказуемыми расходами и непредсказуемым результатом.

Одним из первых во Франции Бенвиль высказал ставшее расхожим мнение о том, что в результате большевистского переворота «Россия вернулась к своим восточным истокам», то есть ушла из Европы, добавив: «Россия сложнее, чем принято думать, и фанатизм может принять там непредсказуемые формы. Чтобы использовать во благо эту человеческую массу, ее надо понимать и знать» (16 января 1919) [7, р. 52–54]. Сам он на такое знание и понимание претендовал, отметив в одноименной статье (10 мая 1919), что стабильный «мир на Востоке» невозможен без согласия России хотя бы на границы «санитарного кордона», проведенные Парижской мирной конференцией [7, р. 55–56]. Аналитик высмеял надежды европейцев на перемены в результате свержения большевистского режима и замены его на более либеральный: «Россия охотно принимает сильную власть и даже тиранию. Возможно, потому, что она в ней нуждается. За неимением хорошего тирана Россия склонилась перед дурным. <...> Единственное русское государство, которое мы знаем, это государство самодержавное, бюрократическое и централизованное. Союзники сегодня рекомендуют России стать не только демократической и либеральной, но еще и

федеративной. Два таких эксперимента за один раз – это уже много». Статью «Завтрашняя Россия» (19 июня 1919), из которой взята эта цитата, он заключил словами: «Возрождение России не облегчит нашу политику на Востоке. Об этом следует подумать, прежде чем вернуться к грезам о прелестях франко-русского союза» [7, р. 57–59].

Дипломатические инициативы большевиков в Европе и их контакты с представителями бывшей Антанты, прежде всего с англичанами, побуждали «Кассандру» бить тревогу и снова напоминать о возможности сговора между большевиками, «привыкшими изменять странам, верным союзу», и немцами, «позволить которым усилиться было бы такой ошибкой» (30 и 31 января 1920) [7, р. 63–65, 66–67]. Официальное «возвращение» Советской России в Европу он считал опасным прежде всего потому, что «она станет естественным союзником тех, кто заинтересован в пересмотре договоров и в изменении новых государств и границ» (28 февраля 1920) [7, р. 68–70]. Бенвиля заботила прежде всего безопасность Франции, которой, по его всегдашнему убеждению, угрожала Германия. Россия беспокоила его как возможный союзник Германии, а защитить Западную Европу от их объединенной экспансии не мог ни «санитарный кордон», ни, подразумевалось, англичане, избравшие иную тактику (12 августа 1920) [7, р. 71–74]. «Дружественная и союзная Россия далеко. Сейчас она в Крыму с Врангелем», – меланхолично заметил он 9 сентября 1920 года и четко добавил: «Мы никогда ничего не организуем в Европе, если не сможем оставить первую любовь Третьей Республики», то есть франко-русский союз [7, р. 75–77]. Возможные надежды на эффективное антибольшевистское сопротивление растаяли после эвакуации «белых» из Крыма, надежды на внутренний раскол – после подавления Кронштадтского восстания. В отклике на него, озаглавленном «Будущее большевизма» (19 марта 1921) Бенвиль заключил: «В России у контрреволюции в точном смысле слова, похоже, нет шансов» [7, р. 78–79].

Настоящий переполох во Франции вызвал Рапалльский договор как материализация всегдашнего кошмара русско/советско-германского союза (18 мая 1922) [7, р. 80–82]. Коминтерн вызывал у Бенвиля меньше опасений, поскольку «в наших западных странах большевизм невозможен» (23 января 1924) [7, р. 85]. «Союз с Россией остается для Германии козырной картой на будущее», – отметил он, подводя итоги десятилетнего пребывания большевиков у власти (11 ноября 1927) [7, р. 103–105]. «Было бы ошибкой верить в то, что Германия навсегда отделится от русского мира. Она сохраняла там немалое влияние во время войны и несмотря на войну! Россия так же нужна Германии, как Германия нужна России» (20 марта 1928) [7, р. 108–110].

Новости «красной Москвы» оставались в поле зрения французского аналитика, не придававшего значения «белой» эмиграции. Он откликался: на XII съезд РКП(б), впервые проходивший в отсутствие вождя (1 июня 1923) [7, р. 83–84]; на смерть Ленина, «навязавшего России коммунизм, как Петр Великий навязал ей европейскую цивилизацию, – с помощью палача» (23 января 1924) [7, р. 85–86], и «выдающегося фанатика» Дзержинского (24 июля 1926) [7, р. 89–91]; на интервью «ренегата европейской цивилизации» [10, р. 81] Чичерина французским журналистам (17 декабря 1925) [7, р. 87–88]. Бенвиль не оставил без внимания выступления «левой оппозиции» во главе с Троцким и Зиновьевым (следил ли он за их прежней враждой?) против Сталина (20 октября 1926) [7, р. 92–93] и ее поражение (13 ноября 1927) [7, р. 106–107], начало коллективизации и «ликвидации кулачества» (7 июля 1928, 24 ноября 1928) [7, р. 114–116, 117–118], характеризуя все это как проявления внутреннего кризиса. Однако, говоря об «уступках буржуазным идеям, на которые пришлось пойти Сталину», – «буржуазным идеям, то есть человеческой природе», пояснил автор, – он отметил его умение «примирять доктрину с жизненной необходимостью» (7 октября 1931) [7, р. 128–130].

Новый разворот французской внешней политики в сторону Москвы начался с победой Левого блока на парламентских выборах 1932 года. Правительство Эдуара Эррио, апологета франко-советского союза, 29 ноября 1932 года заключило с СССР пакт о ненападении сроком на два года. Дополнительным аргументом в его пользу мог служить приход Гитлера к власти в январе 1933 года. Однако Бенвиль, ранее предсказавший это событие, уже 23 февраля 1933 года заявил, что «немного даст за новый союз с СССР, как ныне называется Россия». «Что касается лиги социалистических демократий против фашизмов, – добавил он саркастически, – лиги, в которую Эррио вовлекает [югославского – *В.М.*] короля Александра и [румынского – *В.М.*] короля Кароля, то это лишь греза, но если всё всерьез, то “контр-атака” означает войну» [7, р. 134–135]. «Мировая революция, коммунистическая пропаганда, красная угроза в колониях – нельзя делать вид, будто этих ужасов никогда не было», – напомнил он 15 декабря 1934 года, в разгар обсуждения нового договора с СССР. И напомнил: «Чтобы союз был прочным, он должен основываться на соответствии интересов, которое не зависит от текущего момента. Союз должен быть постоянным – или его нет» [7, р. 136–138].

«Сегодня, как и вчера, политические интересы Франции и России требуют объединения их сил, чтобы сдержать воинственную и алчную Германию» [цит. по: 16, с. 739], – заявил 2 декабря 1935 года Эмиль Бюре, тот самый, который двумя десятилетиями раньше рекомендовал отправить Бенвиля с миссией в Россию. «Будут ли Советы воевать за нас? Будем ли мы воевать за Советы? Вот вопросы, причем самые важные», – подчеркнул Бенвиль еще 12 февраля 1935 года, напомнив об «изменах» России-союзницы при Людовике XV, Наполеоне и во время Брестского мира [7, р. 139–140]. Он назвал договор с СССР «опасной авантюрой» (14 апреля 1935) [7, р. 143], «опасным союзом, чреватый сюрпризами и взрывами» (11 декабря 1935) [7, р. 154–155]. Сторонники альянса говорили о его военном значении. Бенвиль парировал указанием на «проблематичность помощи со стороны Красной армии <...> в случае угрозы» из-за сложных отношений Москвы со своими западными соседями – союзниками Франции (30 ноября 1935) [7, р. 152–153] и на отсутствие границы между СССР и Германией как главным противником Франции (26 января 1936) [7, р. 160–161].

Откликаясь на подписание пакта о взаимопомощи 2 мая 1935 года, Бенвиль отметил, что «союз с Россией возобновляется с вечными романтическими иллюзиями, которые последовательно принимают все те же формы и идут тем же ходом», хотя «коммунистическая революция победила не в стране Бориса Годунова и Анны Карениной» (Борис Годунов здесь скорее оперный, чем исторический). И добавил: «Французы знают Советскую Россию так же плохо, как знали царскую. В этом неведении есть привлекательность, и с ней ничего не поделать» [7, р. 144–145]. Затем он выступил против ратификации пакта: «Мы не имеем права забывать, что война 1914 г. пришла к нам под предлогом союза с Россией и уловок Сербии. Природа нового союза такова, что он чреват прямым вовлечением нас в конфликт не только между германизмом и славизмом, но между коммунизмом и гитлеровским национализмом» (14 ноября 1935) [7, р. 148–150].

«Гитлер хочет бросить нас против Сталина, а Сталин против Гитлера. Диктаторы оспаривают Францию друг у друга», – суммировал Бенвиль 23 ноября 1935 года [7, р. 151]. Еще 28 апреля 1935 года Моррас предупреждал: «Гитлеровские интриги гораздо опаснее советских. Советы могут создать революционную ситуацию. Гитлер готовит методичную варваризацию всей Европы. – Но Гитлер “правый”! [говорит воображаемый собеседник – *В.М.*]. – Дитя! Гитлер – немец! Гитлер – такой же “правый”, как тот персонаж двухтысячелетней давности, которого латинский историк называл Арминий и который носил имя

Герман. Дикарь? Варвар? Нет: архетипическое воплощение дикости и варварства. <...> Мы можем наблюдать гитлеровских посланцев в лучшем обществе, рассказывающих о немецком диктаторе как о естественном защитнике прав, чувств, интересов, идей порядка, прогресса, общественного блага. <...> Однако под именем Гитлера нам несут не порядок <...> но лишь саму Германию и вечный германизм» [цит. по: 2, р. 107].

Реакция Берлина на франко-советский пакт была ожидаемой. Нотой от 25 мая 1935 года правительство Рейха объявило его направленным против Германии и противоречащим Локарнским соглашениям 1925 года, приверженность которым при этом подтвердило. 21 ноября Гитлер в беседе с послом Андре Франсуа-Понсэ заявил, что не просто видит во франко-советском договоре «военный союз, направленный против его страны», но что «Россия представляет опасность для Европы; она не является европейской страной, она думает только о разрушении Европы» [цит. по: 16, р. 735].

«Гитлер дал понять, что, заключив союз с Советами, Франция закрывает путь к соглашению с Германией, – писал Бенвиль 2 января 1936 года. – Мы не спрашиваем его совета, подписывать нам пакт с СССР или нет. Это касается только нас» [7, р. 158]. Сторонников союза с Германией во Франции было крайне мало – в отличие от сторонников сотрудничества с ней ради поддержания мира, безопасности и стабильности в Европе. Идеи Бриана оживали в выступлениях его учеников и последователей Фернана де Бринона, Жоржа Сьюареса, Жана Лушера – непримиримых оппонентов “Action française” и будущих коллаборантов времен оккупации. «Русский альянс и германский альянс в равной степени достойны того достославного персонажа, который, спасаясь от ливня, бросился в реку», – суммировал Бенвиль [7, р. 159]. Заглавие статьи, откуда взяты эти слова, «Не выбирать между двумя альянсами» можно считать его завещанием и лозунгом “Action française”.

Жак Бенвиль умер 9 февраля 1936 года после тяжелой болезни, буквально до последних дней продолжая комментировать внешнеполитические события и выступать против франко-советского союза. В предисловии к посмертному сборнику его статей «Россия и восточный барьер» (1937) бывший французский посол в Румынии и Великобритании граф де Сент-Олер, похвалив «здравый смысл» и «прозорливость» автора, особо отметил его аргументы против «шутовства франко-советского пакта, который ужасен не только сам по себе, но и потому, что отдалил от нас наших лучших друзей в Восточной Европе. Противоестественный союз разрушил наши естественные союзы» [7, р. X] со странами Малой Антанты.

Критикуя противников франко-советского союза, апологеты нового «сердечного соглашения» пытались представить их «фашистами», играющими на руку Германии. Возможно, к кому-то это применимо, но точно не к непримиримым германофобам из “Action française”, начиная с Морраса и Бенвиля.

Литература

1. Молодяков В. Шарль Моррас и “Action française” против Германии: от кайзера до Гитлера. М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2020. 304 с.
2. Молодяков В. Шарль Моррас и “Action française” против Третьего Рейха. СПб.: Нестор-История, 2021. 342 с.
3. Молодяков В. Шарль Моррас и “Action française” против Германии: «подлинное лионское сопротивление». СПб.: Нестор-История, 2022. 408 с.
4. Charbonneau H. Les mémoires de Porthos. Paris: Les éditions du clan, 1967. 459 p.
5. Charles Maurras et Maurice Pujo devant la Cour de Justice du Rhône. N.p.: Verités françaises, 1945. 679 p.
6. Maurras Ch. Kiel et Tanger. 1895–1905. La République Française devant l'Europe. Paris: Nouvelle Librairie Nationale, 1910. 347 p.
7. Bainville J. La Russie et la Barrière de l'Est. Paris: Plon, 1937. 294 p.
8. Decherf D. Bainville: L'intelligence de l'histoire. Biographie. Paris: Bartillat, 2000. 431 p.
9. Bainville J. Quatre mois en Russie pendant la guerre // La Revue des Deux Mondes. T. 34. 1916. 15.08. P. 778–814.

10. *Bainville J.* Petit musée germanique, suivi de La Russie en 1916. Paris, Société littéraire de France, 1917. 312 p.
11. *Bainville J.* Comment est née la Révolution russe. N.p. [USA], [2023]. 30 p. [print-on-demand].
12. *Bainville J.* Comment est née la Révolution russe // La Revue des Deux Mondes. 1917. 15.04. T. 38. P. 869–893.
13. *Молодяков В.* Григорий Алексинский и его французские книги: о России, революции, Ленине, Горьком и о себе // Невский библиофил. Вып. 26. СПб.: Реноме, 2022. С. 209–260.
14. *Maurras Ch.* Les chefs socialistes pendant la guerre. Paris: Nouvelle Librairie Nationale, 1918. 320 p.
15. *Maurras Ch.* Devant l'Allemagne éternelle: Gaulois, Germains, Latins. Chronique d'une Résistance. Paris: Éditions A l'Étoile, 1937. 400 p.
16. *Эррио Э.* Из прошлого: Между двумя войнами. 1914–1936. М.: Изд-во иностранной лит-ры, 1958. 772 с.
17. *Молодяков В.Э.* "Action française" против франко-русского и франко-советского союза: взгляд Жака Бенвиля // 130 лет франко-русскому альянсу: проблемы и вызовы двустороннего сотрудничества / отв. ред. Ю.М. Галкина. СПб., 2022. С. 146–155.

Аннотация. Главным направлением деятельности монархического движения "Action française" во все время его существования была борьба против Германии как «наследственного врага» Франции. Политическую линию движения определял его лидер и идеолог Шарль Моррас, ведущим внешнеполитическим аналитиком был Жак Бенвиль. Понимая, что Франция не может успешно бороться с Германией один на один из-за демографического дисбаланса, эти непримиримые германофобы тем не менее выступали против союза не только с большевистским СССР, но и с императорской Россией. Они были убеждены, что «германизированная до мозга костей» Россия «управляется немцами», поэтому союз с ней не усиливает Францию, не дает ей реальных гарантий помощи в случае нападения Германии, но может втянуть Францию в русско-германский конфликт в невыгодный для нее момент. В 1917 году Бенвиль надеялся «сохранить от союза то, что можно сохранить, и не отказываться от двадцати пяти лет политики сотрудничества», но после Брестского мира призвал отказаться от «грез» о дальнейших перспективах союза с Россией. Поэтому он стал последовательным критиком поворота французской политики в сторону СССР после победы Левого блока на выборах 1932 года. Критикуя франко-советские пакты о ненападении (1932) и о взаимопомощи (1935), Бенвиль называл их «опасной авантюрой» и указывал на «проблематичность помощи со стороны Красной армии» из-за сложных отношений СССР с западными соседями – союзниками Франции.

Ключевые слова: "Action française", Жак Бенвиль, Шарль Моррас, франко-русский союз, Германия, реванш, революция

Vassili E. Molodiakov, LLD (Political Science), PhD (History), Professor, Takushoku University, Tokyo, Japan.
E-mail: dottore68@mail.ru

"Action Française" Against the Franco-Russian and Franco-Soviet Alliance: the Case of Jacques Bainville*

Abstract. The main direction of the political activity of the French monarchist movement "Action Française" throughout its existence was the struggle against Germany as the "hereditary enemy" of France. The political course of the movement was determined by its leader and ideologue Charles Maurras; and its leading foreign policy analyst was Jacques Bainville. Realizing that France could not successfully fight against Germany one-on-one because of the demographic imbalance, these irreconcilable Germanophobes nevertheless opposed an alliance not only with the Bolshevik USSR, but also with Imperial Russia. They were convinced that "Germanized to the core" Russia was "controlled by the Germans", so an alliance with it did not strengthen France, or gave her real guarantees of assistance in the event of a German attack, but could draw France into the Russian-German conflict at an unfavorable moment for it. In 1917, Bainville still hoped to "preserve what can be preserved of the alliance and not abandon twenty-five years of the policy of cooperation", but after the Brest-Litovsk Treaty in 1918, he called for abandoning "dreams" about the future prospects of an alliance with Russia. Therefore, Bainville became one of the most consistent critics of the new turn of French policy towards the USSR after the victory of the Left Bloc in the elections in 1932. Criticizing the Franco-Soviet Non-Aggression Pact (1932) and the Franco-Soviet Treaty of Mutual Assistance (1935), Bainville called them "dangerous adventures" and pointed to the "problematic assistance from the Red Army" due to the difficult relations of the USSR with its western neighbors – allies of France.

Keywords: "Action Française", Jacques Bainville, Charles Maurras, Franco-Russian Alliance, Germany, Revanche, Revolution.

* See the condensed version of the article [17].

Франция – интеллектуальный профиль

{ Раздел третий }

Д.С. Житенёв

*«Другая» французская литература в Советском Союзе.
Первые русские переводы Луи-Фердинанда Селина, Пьера Дриё ла Рошеля,
Анри де Монтерлана и Альфонса де Шатобриана 1930-х годов*

Н.А. Руткевич

*Кристоф Гильи: исследование новых расколов во французском обществе.
Метрополия vs Периферия*

Бертран Ренувен

*«Французы любят величие, которое они ощущали благодаря своему
государству» – интервью Наталии Руткевич*

Марсель Гоше

*«Демократия стала бессильной, а либерализм – всесильным» –
интервью Наталии Руткевич*

Эммануэль Тодд

*«...если концепции Добра и Зла больше не существуют, то за что вообще
нам стоит бороться?» – интервью Наталии Руткевич*



«Другая» французская литература в Советском Союзе. Первые русские переводы Луи-Фердинанда Селина, Пьера Дриё ла Рошеля, Анри де Монтерлана и Альфонса де Шатобриана 1930-х годов*

Четыре автора, чьи имена вынесены в заглавие статьи, собраны вместе отнюдь не произвольно. Не только потому, что все они писали по-французски, а переводы их сочинений были опубликованы в середине 1930-х годов в Советском Союзе: в 1934 году «Путешествие на край ночи» Луи-Фердинанда Селина, а в 1936-м «Холостяки» Анри де Монтерлана, «Комедия войны» Пьера Дриё ла Рошеля и «Бриера» Альфонса де Шатобриана [1–4]. Французских писателей вообще довольно активно издавали на русском языке в те годы. Но почему именно фамилии Селин, Монтерлан, Дриё ла Рошель и Шатобриан следуют в данном случае через запятую? Что их объединяет? И почему же, наконец, они названы «другими»? По отношению к кому или чему они оказались «другими»? На эти вопросы мы постараемся ответить в данной работе.

Начнем наш обзор с самых общих биографических и библиографических сопоставлений. Всех вышеперечисленных авторов в той или иной степени можно отнести к классикам французской литературы XX века, несмотря на ряд спорных и неоднозначных моментов их биографий. Книги Селина, Дриё ла Рошеля и Монтерлана выходили в легендарной серии «Библиотека Племяды» (“La Bibliothèque de la Pléiade”) издательства «Галлимар». Эта серия объединяет наиболее значительных французских и зарубежных авторов, произведения которых публикуются в научной редакции со справочными и аналитическими материалами. Ближайшим, но не вполне точным аналогом серии можно назвать отечественные «Литературные памятники» издательства «Наука». Сам факт публикации в «Библиотеке Племяды» означает для писателя самую высокую степень признания. Сочинения Монтерлана вообще появились в серии при его жизни, что большая честь, которой были удостоены редкие авторы.

Трое из них представители одного поколения. Дриё ла Рошель родился в 1893 году, Селин в 1894-м, а Монтерлан в 1895 году. Только Альфонс де Шатобриан выбивается из этого ряда, он старший из них всех, 1877 года рождения. Исходя из изложенного выше, нетрудно догадаться, что все они участники Первой мировой войны, опыт которой оставил значительный след в их творчестве. Альфонс де Шатобриан встретил войну уже зрелым человеком, но и он был мобилизован и проходил службу в санитарном отряде.

Расцвет творчества этих авторов приходится на межвоенное время. Именно в этот период были написаны их наиболее значительные произведения. Здесь необходимо сделать оговорку лишь в отношении Анри де Монтерлана, который прожил до 1972 года и

* Основные положения настоящей работы были впервые обнародованы в одноименной публичной лекции, прочитанной в Культурно-просветительском центре Балтийского федерального университета имени И. Канта (г. Калининград) 16 мая 2023 года.



продолжал писать и активно публиковаться и после войны, когда, в частности, выходят его драмы, вошедшие в прижизненный том в «Библиотеке Плеяды» [5]. Двое из четырех указанных авторов посетили Советский Союз. Дриё ла Рошель в 1935-м, а Селин в 1936 году.

Три из четырех названных выше произведений («Холостяки», «Комедия войны», «Бриера») никогда не переиздавались на русском языке с момента их первой публикации. Исключение составляет лишь «Путешествие на край ночи» Луи-Фердинанда Селина. Это произведение с 1994 года издавалось и переиздавалось в разных переводах порядка десяти раз. Возвращение Селина в Россию происходило в самом конце XX века, когда было учреждено русское отделение Общества друзей Селина и на русском языке появились и другие книги французского писателя, во многом благодаря стараниям переводчицы и писательницы Татьяны Кондратович, больше известной под псевдонимом Маруся Климова. На рубеже веков в Москве прошла и международная конференция «Юродивый во французской литературе», посвященная Селину, в которой приняли участие известные отечественные и зарубежные исследователи, и вышел сборник «Селин в России», объединяющий материалы этой конференции, а также малоизвестные документы о пребывании писателя в Советском Союзе, отзывы советской критики на его произведения [6]. А не так давно переводы Селина стали выходить в известном крупном издательстве в доступной серии «Эксклюзивная классика» наряду с сочинениями Толстого, Достоевского, Пушкина, Гюго, Мопассана и прочих всемирно известных авторов [7–9].

И, наконец, мы подходим к важной характеристике обозначенных в статье авторов, которая и определила дальнейшую судьбу их произведений в СССР. Дело в том, что они, находясь в мировоззренческих поисках 20–30-х годов XX века, так или иначе сблизились с антикоммунистическими силами эпохи, вплоть до взаимодействия с немецкой стороной в середине 30-х – первой половине 40-х годов XX века. За всеми ими во время и после войны закрепилась репутация коллаборационистов. Наименее политизированным оставался, пожалуй, Анри де Монтерлан, но и тот не избежал обвинений в сотрудничестве с немцами, хотя и был фактически оправдан, получив лишь запрет на публикацию в течение года [10, р. 257]. Вопрос о феномене французского коллаборационизма и его типологии до сих пор остается малоизученным в отечественной историографии. По этой причине путаница в том, кого из политических деятелей и деятелей культуры Франции считать коллаборационистом, а, главное, каким – дело, увы, вполне обычное. Мы будем ориентироваться на недавнюю статью А.Н. Бурлакова и В.Э. Молодякова «Идейный коллаборационизм во Франции 1940–1944: опыт типологии» и отметим, что к идейным коллаборантам можно отнести лишь Альфонса де Шатобриана, тогда как Дриё ла Рошель, к примеру, оставался лишь попутчиком, имевшим собственные взгляды, отличные от идеологии национал-социализма, хотя он и принимал некоторые отдельные ее элементы [11].

Однако эти замечания относятся к более позднему периоду, не связанному напрямую с темой данной статьи. Просто примем эти факты к сведению для общего понимания траектории поисков этих писателей-интеллектуалов. Мы же остановимся на обстоятельствах появления переводов их сочинений на русском языке в 1930-х годах. Уже в те времена, когда все было еще не так однозначно с их взглядами (на этом подробнее мы остановимся ниже), они воспринимались как чуждые советским читателям авторы «другой» литературы. «Другой», разумеется, по отношению к революционным, «прогрессивным» авторам. Так, советский поэт Николай Платонович Бажан, характеризуя творчество Селина во время выступления на Первом Всесоюзном съезде советских писателей в 1934 году, говорит о нем как о представителе «второй литературы», «литературы людей, топчущихся на месте, литературе людей, не порвавших с проклятым своим старым», но при этом подчеркивает, что такие авторы «не должны выпадать из круга нашего внимания», «то, что

делается в подвалах и мансардах буржуазной литературы, заслуживает нашего внимания и изучения» [12, с. 60].

Так или иначе переводы произведений Селина и других «сомнительных» французских авторов публиковали, хотя и в цензурированном или сокращенном виде, сопровождая едкими критическими предисловиями. Почему это произошло? Почему их попросту не проигнорировали? В чем была их сила и значение для своего времени? Отвечая на эти вопросы необходимо принимать во внимание несколько важных аспектов, связанных с состоянием советской культуры, литературы эпохи, а также направлений ее международной политики, переводческой деятельности и книгопечатания, отметить особенности культурного транзита между СССР и Западной Европой, в первую очередь Францией.

Несмотря на то, что часто в исследованиях говорят о феномене тридцатых годов через запятую с годами двадцатыми, объединяя их в раннюю советскую эпоху, разница между этими десятилетиями в истории СССР велика [13, с. 5]. Именно в 1930-х происходит формирование в Советском Союзе своего особого «культурного проекта», происходит «институализация советского культурного поля» [14], но оно вовсе не было монолитным в те годы (по крайней мере до середины 1930-х), как это может показаться. Также не будем забывать, что эти события разворачивались на фоне крайне сложной международной обстановки в Европе.

К 1930-м годам в СССР оформлялись две важные тенденции, которые в значительной степени повлияли на культурные процессы, в том числе и на переводы зарубежных авторов на русский язык. Это постепенное ограничение для советских граждан поездок за рубеж и общая централизация и идеологизация деятельности в области культуры. Интенсивные и неформальные связи советских писателей с зарубежными коллегами и русской эмиграцией, характерные для 1920-х годов, постепенно сворачиваются, власти страны стараются контролировать контакты, передвижения, творчество и убеждения литераторов. В 1930-х годах международными культурными контактами в СССР стали заниматься почти исключительно специальные организации.

В 1920-х годах Париж становится не только одним из центров русской эмиграции, но и притягивает к себе писателей из Страны Советов. В 1927 году в Париж приехало столько деятелей советской культуры, что французская пресса говорила о «Съезде советских писателей во Франции». В этом году столицу Франции посетили: Михаил Слонимский, Ольга Форш, Исаак Бабель, Всеволод Вячеславович Иванов, Вера Инбер, Лев Никулин и другие [15, с. 68]. Ранее, в 1922 и 1923 годах, в Париже побывал Сергей Есенин. Владимир Маяковский также неоднократно оказывался во Франции.

Многие советские литераторы, приехавшие в Париж в 1927 году, повторяют поездку через несколько лет. Лев Никулин дважды – в 1929–1930 и 1933 годах, Бабель в 1933 году, а Илья Эренбург проводит в Париже больше времени, чем в Москве. Появляются и циклы очерков советских писателей о своих зарубежных поездках, порой длительных, когда успеваешь как следует погрузиться в быт и культуру мест, которые посещаешь. Среди таких вещей книга Веры Инбер «Америка в Париже» (1928), Льва Никулина «Вокруг Парижа (Воображаемые прогулки)» (1929), Ольги Форш «Под куполом» (1929) [15, с. 69], наконец знаменитый фотоальбом с очерками «Мой Париж» (1933) Ильи Эренбурга, оформление которого выполнил Эль Лисицкий.

Но к 1930-м годам выезд за границу по личным обстоятельствам для советских граждан становится крайне затруднительным, если не сказать закрытым. При этом важнейшую роль в деле налаживания контактов с зарубежными авторами начинает играть сформированное в 1925 году Международное бюро революционной литературы (позже ставшее Международным объединением революционных писателей, или МОРП). В его деятельности принимали участие Луи Арагон, Теодор Драйзер, Анри Барбюс, Бертольд



Брехт и другие писатели. Центральным печатным органом МОРП, действовавшего под началом Коминтерна, становится авторитетный журнал «Интернациональная литература». Среди постоянных сотрудников этого издания со стороны Франции числились все те же Луи Арагон, Анри Барбюс, а еще Андре Жид, Жак Дюкло, Поль Низан, Леон Муссиак, Поль Вайян-Кутюрье, Ромен Роллан. К этим писателям и их мнению в оценке тенденций в зарубежной литературе принято было в СССР относиться со всем вниманием. Сведения о деятельности французской секции МОРП – Ассоциации революционных писателей и художников (А.Е.А.Р.) и ее отклики на события культурной жизни Франции и мира регулярно публиковались в «Интернациональной литературе».

Все в том же 1925 году создается Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС), но наиболее активная деятельность ВОКС приходится именно на 1930-е годы. Общество занималось как «экспортом» за рубеж советской литературы, организацией фестивалей и выставок, так и приемом и приглашением иностранцев в СССР [13, с. 23].

В это время в Советском Союзе разворачивается активная пропагандистская кампания, призванная продемонстрировать всему миру достижения Октября, первой пятилетки, успехи строительства нового социалистического общества. Многие зарубежные интеллектуалы активно откликнулись на эту кампанию. Французские в том числе. В 1930-х годах СССР посетили Луи Арагон, Андре Мальро, Андре Жид (его встречали особенно радушно). Не единожды СССР посещали Ромен Роллан, общавшийся в том числе и со Сталиным в 1935 году, Анри Барбюс – член французской компартии, который встречался со Сталиным четыре раза, а в 1933 году стал почетным членом Академии наук СССР. Член Французской коммунистической партии, друг Жан-Поля Сартра и Андре Мальро, писатель Поль Низан проживет в СССР целый год (1934) и будет принимать участие в организации визитов французских писателей в СССР.

Если раньше к СССР обращались в первую очередь писатели-коммунисты или любопытствующие globtrotter'ы вроде Анри Бери или Поля Морана, то в 1930-х годах в СССР сознательно видели главного союзника авторы-антифашисты, представители разных взглядов.

В 1934 году (17 августа – 1 сентября) в СССР состоялся Первый Всесоюзный съезд советских писателей, к которому очень долго и основательно готовились. Он прошел при участии иностранных гостей. Событие привлекло большое внимание мировой общественности. Сдвоенный номер «Интернациональной литературы» (1934, № 3–4) состоял почти полностью из приветственных слов и напутствий съезду от представителей мировой литературы (членов коммунистической партии и сочувствующих). На съезде был установлен «соцреалистический канон» и задекларировано подчинение Союза писателей «линии партии». Это была значительная веха в утверждении «советского культурного проекта» 1930-х годов [13, с. 16–17]. На открытии с приветственным словом выступил Максим Горький. Среди друзей Советского Союза, наиболее близких ему, он назвал Романа Роллана (в то время на русском языке было опубликовано его собрание сочинений, и он становится культовой фигурой), Андре Жида (высокое мнение о нем в советской критике изменится после выхода «Возвращения из СССР» в 1936 году), и Андре Мальро [13, с. 17]. На съезде присутствовали Луи Арагон, Андре Мальро, Жан-Ришар Блок, Поль Низан. А в резолюции к нему был выделен целый ряд западных авторов, на которых предлагалось ориентироваться советскому книгоизданию и писательскому миру. Среди французов были названы: Андре Мальро, Луи Арагон, Жан-Ришар Блок. В следующем, 1935 году в Советском Союзе вышло в свет сто книг иностранных авторов [16, с. 290]; среди лидеров по тиражам были Арагон, Барбюс, Мальро.

Что же касается самого книгопечатания, то если в 1920-х годах в СССР существовали многочисленные частные, кооперативные издательства, к середине десятилетия их

было, по данным издания «Наша печать» [17, с. 59], больше 2000, то с конца 1920-х до середины 1930-х годов происходит централизация издательского дела, в ходе которой частные кооперативные издательства закрываются или же вливаются в государственные. Появляется «Объединение государственных книжно-журнальных издательств» (ОГИЗ), в которое были включены многие крупные и мелкие издательства. Оно сконцентрировало издательское, полиграфическое производство в стране и книготорговлю [13, с. 15]. Напомним, что в 1929 году принимается первый пятилетний план, включавший и планирование печати.

Наравне с выстраиванием новой советской литературной традиции, подход к выбору изданий для переводов в издательствах становится строже, а информации о новой иностранной литературе становится меньше, как и возможности ее получить. Официальной закупкой зарубежных книг стало монопольно заниматься АО «Международная книга», а для получения информации о европейских книжных новинках, их содержании и политическом статусе их авторов необходимо было следовать указаниям МОРП [18, с. 108–109]. При этом при выборе произведений для переводов стали обращать внимание на «прогрессивных» авторов, «разоблачающих» буржуазную современность, в целом ужесточились идеологические требования к переводчикам. Ранее же кооперативные издательства ориентировались во многом на коммерческий успех тех или иных авторов, легкость и доступность их стиля и языка, интересный сюжет произведений. Таким образом многие популярные французские авторы рубеж 1930-х годов для доступа к советской аудитории просто не преодолели, например, Пьер Мак Орлан, Клод Фаррер [19, с. 740–743], Пьер Бенуа, Жорж Дюамель, Пьер Амп, а также Поль Моран и Анри Бери, описавшие увиденную ими Советскую Россию не так, как требовалось большевистскому режиму. Но вот кого считать «прогрессивным» автором, сознательным или стихийным борцом с капитализмом? Здесь критерии различных советских литературоведов и критиков могли сильно разниться. Кроме того, в отрыве от текущего европейского культурного контекста было тем более сложно отследить идейную эволюцию тех или иных авторов. При том, что и советские установки в отношении ряда общественных явлений менялись в течение 1930-х годов. В советской литературной критике возникали порой курьезные ситуации, например, влиятельный критик Владимир Ермилов пишет в декабрьском номере журнала «Красная новь» за 1933 год про французского писателя Роже Мартена дю Гара по поводу его книги «Старая Франция» следующее: «Мы не знаем политических убеждений, его симпатии и антипатии, но мы знаем, что он говорит правду» [20, с. 188]. А в архиве кооперативного издательства «Время» (одного из немногих сохранившихся в 1930-х годах) есть занятное письмо 1934 года, в котором сообщается ответ МОРП на запрос о политических взглядах Томаса Манна, что писатель «открыто перешел в лагерь фашизма» [цит. по: 18, с. 111].

Между тем выбор для переводов произведений авторов, которые оказались в заголовке нашей статьи, нельзя назвать случайным или непродуманным. Это были заметные фигуры французской литературы того времени. Переводами, редактурой и написанием сопроводительных статей к ним занимались видные советские литераторы.

Дело в том, что их произведения можно с уверенностью отнести к ярким образцам критики современности (в советской терминологии «буржуазного общества»). Согласно представлениям советского литературоведения, они находились в тупике своих буржуазных представлений о культуре и им не хватало четких социальных формул, верного идейного инструментария, чтобы возвыситься над описанным ими ужасом действительности стран капитализма и обнаружить путь к светлому будущему. И в этом помочь им могла только коммунистическая партия и марксизм как наука. Иными словами, это люди безусловно талантливые, но сильно заблуждающиеся [21–23]. В те годы, когда за любого более или менее видного представителя западной литературы шла настоящая борьба,



советская культура просто не могла от них отвернуться. Тем более, и это крайне немало-важно, что в пользу каждого из них писателями из круга «друзей Советского Союза» было высказано веское слово.

Луи-Фердинанд Селин

Так, с начинающим французским писателем и врачом Луи-Фердинандом Детушем, выступившим под псевдонимом Селин, взорвавшим критику своим дебютным скандальным романом «Путешествие на край ночи» (*"Voyage au bout de la nuit"*) в 1932 году, знакомятся писатель, коммунист, экс-сюрреалист Луи Арагон и его жена Эльза Триоле, младшая сестра Лили Брик. Как и многие другие интеллектуалы левых взглядов, они были очарованы смелым большим произведением Селина о скитаниях деклассированного интеллигента своего поколения, видели в нем решительную антиколониальную и антикапиталистическую критику, антимиитаризм, анархический дух [24, с. 11–12]. Вспомним, что и знаменитый роман Жан-Поля Сартра «Тошнота» (*"La Nausée"*, 1938) открывается эпиграфом – цитатой из пьесы Селина «Церковь» (*"L'Église"*, 1933), которая была своеобразным сценическим вариантом романа «Путешествие на край ночи». Иными словами, доктор Детуш был признанной фигурой в среде левых интеллектуалов. Кроме того, Селина можно было смело назвать новатором литературного стиля, настоящим революционером в области художественного слова. Он активно использовал язык улицы, жаргон низов, арг, нецензурную брань, остроумные неологизмы собственного сочинения. То есть фактически бросил вызов классическому канону французской литературы, сформированному Академией со времен Буало в XVII веке, возвращая в литературу простонародный язык. По этой причине Селина принято было ставить в один ряд с Джойсом как безусловного новатора в области литературы [25, с. 5–9]. Селина начинают переводить на иностранные языки, его произведение становится событием. Интересно, что стилистическое и содержательное влияние Селин продолжал оказывать на мировую литературу и многим позже, в послевоенное время, даже в 1960-х годах. Им зачитывались битники: Уильям Берроуз, Аллен Гинзберг (которые даже в 1958 году побывали у Селина в гостях), Джек Керуак. Высоко ценили произведения французского автора Генри Миллер и Чарльз Буковски.

В 1932 году Луи-Фердинанд хотя и был писателем начинающим, но, по мнению Троцкого, который также с большим интересом ознакомился с книгой «Путешествие на край ночи», «вошел в большую литературу, как другие входят в свой дом»: «Зрелый человек, с огромным запасом наблюдений врача и художника, с суверенным безразличием к академизму, с исключительным чувством интонаций жизни и языка, Селин написал книгу, которая останется независимо от того, напишет ли он другие и будут ли они на высоте первой» [26, с. 581]. Кстати, одним из первых Селина сравнил с Рабле именно Троцкий. Сейчас это расхожее мнение.

Вернемся к дружбе Арагона и Триоле с Селином в начале 1930-х годов. Авторитетный биограф Селина Франсуа Жибо пишет в статье «Ленинград 1936 года глазами Луи-Фердинанда Селина» следующее: «В ту пору у Селина с Арагоном и Триоле были прекрасные отношения, они не теряли надежды привлечь его на сторону коммунистов. Они выступили с предложением перевести «Путешествие на край ночи» на русский язык, что вскоре и было сделано: вышел перевод, подписанный Эльзой Триоле, но выполненный в Москве неизвестным советским переводчиком. Арагон недостаточно хорошо читал по-русски, чтобы выполнить эту работу, а участие Триоле сводилось лишь к разъяснению переводчику отдельных слов и выражений на арг, которые он не понимал» [24, с. 12]. Триоле и Арагон также настаивали на том, чтобы Селин посетил Советский Союз. Арагон призывал Селина приехать в СССР и публично, со страниц еженесячника *"Commune"*,

издаваемого А.Е.А.Р. [22, с. 100]. По словам самого Селина, они предлагали ему заменить для СССР самого Анри Барбюса [6, с. 137]. Но вышедший в 1934 году русский перевод «Путешествия на край ночи» оказался значительно сокращенным, что вызвало ярость Селина, и отношения с Арагоном и Триоле были испорчены до конца его жизни. Об этом он вспоминал даже в поздних своих произведениях, например, в послевоенном романе «Из замка в замок» (*D'un château l'autre*, 1957) обрушивается на чету с гневной эскападой [27, с. 45]. Впрочем, некоторые исследователи не сомневаются в том, что перевод романа был выполнен Триоле, а также несмотря на то, что он оказался сокращенным по сравнению с оригиналом больше чем на 40%, отмечают его своевременность и важное культурное значение. Здесь же стоит отметить, что сокращению произведение Селина в советском издании подверглось в первую очередь не из цензурных соображений, а из-за трудностей перевода [28, с. 54–56].

Несмотря на то, что первое русское издание «Путешествия на край ночи» вышло с большими купюрами, советская критика, кажется, не так сильно огорчилась по этому поводу, как сам Селин, и ответила целым залпом статей в ведущих газетах и журналах: статья М. Бочачера «В тупике» («Октябрь», 1934, № 8), Е. Гальпериной «Селин и конец буржуазного реализма» («Литературная газета», 1934, № 79), П. Калецкого в воронежской газете «Коммуна» (1934, № 167), А. Лейтеса «Потерянная и обретенная родина» («Правда», 1934, № 209) и того же автора в «Литературной газете» (1935, № 42) под заголовком «Злоба или ненависть?», Л. Никулина «Луи Фердинанд Селин» в «Правде» (1935, № 217), А. Оборина «Мировая война и иностранная художественная литература» («Октябрь», 1934, № 8), Юрия Олеши «Путешествие на край ночи» («Литературное обозрение», 1936, № 20), Н. Рыковой в «Литературном современнике» (1934, № 9), А. Селивановского «Голос с того края» («Знамя», 1934, № 10), Н. Соболевского «Книга отчаяния и смерти» («Новый мир», 1934, № 9) [24, с. 12]. Среди авторов откликов мы видим популярных прозаиков (Никулин и Олеша), влиятельных критиков (Лейтес и Селивановский), специалистов по французской литературе (Рыкова).

Самая первая публикация фрагмента романа «Путешествия на край ночи» в русском переводе состоялась еще в 1933 году в журнале «Интернациональная литература» [29]. Ему предшествовало небольшое предисловие, в котором советскому читателю сообщалось: «Луи Фердинанд Селин – врач. “Путешествие на край ночи” – его первая книга. Она получила премию Ренодо Теофраста (премию журналистов). За месяц разошлось 1000 экземпляров, цифра для Франции совершенно баснословная. Вся левая пресса (в том числе “Монд” и “Юманите”) дала о ней блестящие отзывы» [29, с. 17]. Иными словами, пройти мимо такого события журнал «Интернациональная литература», который старался отслеживать наиболее передовые явления в культурной жизни зарубежья, просто не мог. Редакция журнала со своих страниц заявляла, что публикует не только «выдающиеся произведения иностранных революционных писателей», но и «дает место отдельным произведениям буржуазных писателей, имеющим исключительное художественное значение». Ко второй категории, безусловно, относился и роман Селина. В этом же номере «Интернациональной литературы» выходит большая статья советского литературоведа Ивана Анисимова «Ночь капитализма», в которой отмечаются пессимистические тенденции в современном искусстве Франции как свидетельство острого кризиса капитализма. И в этом анализе роману Селина отводится одно из центральных мест [21, с. 136–140]. Свои размышления о творчестве французского писателя Анисимов заключает однозначно и покровительственно: «Селин художник большого таланта и большой жизненной правды. Он должен говорить во весь голос. Филистерство, прикрываемое философией нигилизма, он должен сбросить с себя как ветхую одежду. Только став на революционную точку зрения, может идти дальше, развиваться этот замечательный художник. От стихийной, слепой



критики капитализма он должен перейти к сознательной борьбе с ним. Селин, в творчестве которого так много здоровых плебейских черт, должен найти путь к рабочему классу. Это обрежет связывающие его путы и даст огромный новый взлет его замечательного таланта. Задача Ассоциации революционных писателей Франции помочь ему в этом, за такого писателя, как Селин, надо бороться» [21, с. 140].

В 1934 году выходит два советских издания «Путешествия на край ночи» [1, 30] с «руководящим» предисловием все того же Ивана Анисимова, который в 1934–1938 годах заведовал редакцией иностранной литературы Гослитиздата, а также был членом редколлегии журнала «Интернациональная литература». В основу предисловий легла упомянутая выше статья. При этом предисловия в первом и втором издании несколько отличаются. Первое издание вышло до Съезда советских писателей, второе после, с этим, возможно, и связаны изменения в предисловиях. В 1935 году фрагменты из романа были также изданы в виде брошюры в серии «Библиотека “Огонек”» в переводе и с предисловием Сергея Ромова (Соломона Роффмана), в 1906–1928 годах жившего во Франции и бывшего активным участником литературной и художественно-богемной жизни Парижа [31]. Общий тираж трех изданий составил 60 тысяч экземпляров. В 1935 году вышло украинское издание «Путешествия на край ночи», также с предисловием Анисимова [32]. Кроме того, судя по всему, советская публикация «Путешествия на край ночи» легла в основу русского зарубежного издания, увидевшего свет в 1937 году в Шанхае [33]. Интересно, что книга Селина была опубликована на русском языке раньше, чем книги Мальро и Арагона. Здесь же уместно отметить, что, собственно, отдельные издания сочинений французских авторов-коммунистов были слабо представлены в русских переводах до середины 1930-х годов, за исключением книг Анри Барбюса и Поля Вайяна-Кутюрье.

Иван Анисимов в предисловии к самому первому изданию «Путешествия на край ночи» на русском языке, опубликованному Государственным издательством художественной литературы, пишет: «Это настолько глубокое, неотвратимое доказательство разложения капитализма, что пройти мимо него нельзя. Даже на фоне современной литературы во Франции, переполненной пророчествами гибели, роман Селина резко выделяется. “Путешествие на край ночи” – энциклопедия умирающего капитализма» [1, с. 3]. Советский литературовед называет Селина писателем «большого, яркого, своеобразного таланта», который не сознательно выступает против капитализма, а скорее, будучи в первую очередь большим искренним художником, говорит правду, обнажает его уродство. По мнению Анисимова, книга говорит о грядущих неминуемых больших социальных конфликтах. Но, отмечая художественные достоинства книги, советский критик подчеркивает, что автор не предлагает никаких решений, остается созерцателем и гнев его не находит выхода, поэтому произведение он называет «слепым», манифестом отчаяния, отказа от борьбы. Иными словами, Селин остается в плену буржуазной культуры, безыдейным, не стремится к обобщению и вскрытию разрушительных механизмов капитализма, ему не достает сознательности [1, с. 3–12]. В итоге Анисимов заключает: «Эта книга, возвращенная капитализмом, идущим к гибели, пропитанная запахом тления, вместе с тем заключает в себе огромную разрушительную силу. Книга, порожденная капитализмом и против него восстающая. В этом своеобразии и историческое значение “Путешествия на край ночи”. В этом – почва противоречий, раздирающих замечательное произведение, которое разоблачает каждой страницей своей и вместе с тем проникнуто духом покорности. В этом – косноязычность, своеобразное уродство книги Селина. Она могла бы стать книгой классового гнева, а стала лишь книгой отчаяния. Она могла бы вырасти в гигантское произведение, не будь она опутана предрассудками буржуазной мысли» [1, с. 11–12]. Во втором издании, в обновленном предисловии Анисимов добавляет: «Селин не принадлежит к тем лучшим буржуазным писателям, которые от понимания “чужовщины” капитализма идут к мужественной

борьбе с ним. Книга Селина – документ дряблой растерянности. Селин увидел “всеобщее разложение”, но остался в нем» [30, с. 13]. Иными словами, книга французского писателя оставляла смешанное впечатление.

На первом Всесоюзном съезде советских писателей также много говорили о Селине в присутствии иностранных гостей. Можно сказать, что на съезде Селин и Джойс были самыми часто вспоминаемыми зарубежными авторами. В своих докладах о французском писателе прямо или косвенно упоминают Жданов, Горький, Карл Радек, Лев Никулин, Вера Инбер и другие [12].

Лев Никулин назвал роман Селина «очень серьезным достижением в области искусства» и определил его главное настроение как «цинизм отчаяния», высказался следующим образом: «Для нас полноценно в книге Селина, когда мы думаем о том, что эта книга написана все же против буржуазии и что эта книга не может отравить сознание советских писателей, которые читают книги Джойса и Селина. Эти книги не могут отравить нас, как не отравили нас идеи более опасных врагов, людей, которые пытались прикрыть свои контрреволюционные и антисоветские идейки нашим, коммунистическим знаменем. Когда мы подумаем обо всем этом, то мы должны признать, что перевод книг Селина, Джойса, Дос-Пассоса и других и чтение их приносит нам только пользу – оно помогает нам и закаляет нас в идеологической борьбе» [12, с. 59–60].

Вера Инбер, говоря о Селине как о самом «мрачном» и «ночном» писателе последних десятилетий, цитирует Поля Низана, рассуждавшего о том, что великие произведения прошлого повествуют о страданиях, а советская литература должна стать литературой счастья. То есть рассуждает о Селине как о талантливом писателе, но принадлежащем ко дню вчерашнему [12, с. 62].

Скептики из числа советских критиков, например, Радек и Горький [34, с. 77], все же оказались правы. Коммунистом или даже попутчиком Селин не сделался. Его антропологический пессимизм не делал различия между рабочими и буржуазией, не давал почву для веры в утопии. В этой связи довольно точная характеристика этой проблемы в творчестве Селина, на наш взгляд, принадлежит французскому литературоведу Анри Годару, который готовил издание Селина для серии «Библиотека Плеяды»:

«Социальное зло, изобличенное в романе “Путешествие на край ночи” с таким неистовством и убедительностью, пустило корни и во Франции, и в ее колониях, и в Соединенных Штатах; жертвы и там и тут принадлежат к малообеспеченным классам; этого было достаточно, чтобы книга была отнесена к “левым”. Подтверждение тому – сразу же начатый Эльзой Триоле перевод на русский язык, хотя тогда роман появился в СССР лишь в искромсанном виде. Эта стихийная политическая интерпретация была, однако, в значительной мере недоразумением. Конечно, рисуя такую картину, Селин сочувствует жертвам, рассказчик, бесспорно, на их стороне, но образы жертв ничуть не более привлекательны, чем образы тех, кому выгодна эта система. Отождествление “левого” и “прогрессивного” зиждется на убеждении, будто человек добр. Недостатки характера и пороки тех или иных индивидуумов являются при таком подходе следствием эксплуатации, которой они и их отцы подвергаются, как правило, с незапамятных времен. Но, читая “Путешествие на край ночи”, не получаешь впечатления, будто “оборванцы” добрее и больше способны к совершенствованию, чем люди привилегированных классов. И те, и другие – за редкими исключениями – одинаково эгоистичны, жадны, тщеславны, завистливы, недоброжелательны, злобны, абсолютно лишены способности к сочувствию, а иногда и того хуже. В униженных гораздо сильнее желание попасть в среду обеспеченных, если только представляется возможность, чем рефлекс солидарности и взаимовыручки. Бесспорно, в книге вскрыты глубокие корни зла, жертвами которого они являются. Однако рассказчик не питает никаких иллюзий в отношении заложенных в них качеств. Да, автор без обиня-



ков разоблачает социальные условия, но одновременно он разоблачает определенные взгляды, касающиеся человека, взгляды, которым все мы в той или иной мере отдали дань, потому что они помогают нам существовать, для Селина же они – не более чем иллюзия» [25, с. 11–12].

Здесь же хотелось бы заметить, что антропологический пессимизм атеиста Селина, который в скандальном памфлете *“Mea Culpa”* 1936 года со свойственной ему злой иронией писал, что «фактическое превосходство великих христианских религий в том, что они не золотили пилюлю, не стремились одурманивать, не искали избирателя, что у них не было необходимости нравиться» и сразу заявляли человеку о его ничтожности и ничтожности его шанса на спасение [цит. по: 35, с. 43], удивительным образом переключается, к примеру, со взглядами на человеческую природу испанского католического консерватора XIX века Доносо Кортеса. Карл Шмитт в «Политической теологии» так описывал их:

«Его презрение к людям уже не знает никаких границ; их слепой рассудок, их слабая воля, смехотворный порыв их плотских вожделений кажутся Доносо столь жалкими, что не хватит всех слов всех человеческих языков, чтобы выразить всю низость этой твари.

Ни один русский анархист не утверждал, что “человек добр”, с такой стихийной убежденностью, с какой испанский католик давал на это ответ: откуда ему знать, что он добр, если Бог не говорил ему этого?

Согласно его философии истории, победа зла сама собой разумеется и совершенно естественна, и только Божье чудо предотвращает ее; образы, в которых объективируется его впечатление от человеческой истории, полны отвращения и ужаса; человечество слепо блуждает по лабиринту, вход, выход и структуру которого никто не знает, это мы называем историей; человечество – это корабль, который бесцельно то туда, то сюда кидает море, [корабль] с мятежной, грубой, принудительно набранной командой, которая горланит песни и танцует, покуда Божий гнев не потопит бунтарское отродье в море, чтобы вновь воцарилось безмолвие» [36, с. 87–88].

Для всякого, кто знаком с творчеством Селина, не составит труда уловить сходство с этими настроениями. Недаром исследователи творчества французского писателя чаще всего выделяют мотив «ничтожества» как основную и определяющую категорию, которая согласно доктору Детушу характеризует человеческий род [37, с. 184–187]. Так что Максим Горький довольно точно уловил эти тенденции в произведении французского писателя (для которого «зло» является прямым и неотъемлемым следствием самой природы человека), сказав на Первом съезде советских писателей, что герой «Путешествия на край ночи» Бардаму «потерял родину, презирает людей... равнодушен ко всем преступлениям и, не имея никаких данных “примкнуть” к революционному пролетариату, вполне созрел для принятия фашизма» [цит. по: 34, с. 77].

Второй роман Селина «Смерть в кредит» советская критика восприняла уже откровенно в штыки, французский писатель упустил свой шанс сделаться «прогрессивным». «Интернациональная литература» писала о «провале» новой книги французского писателя и «всеобщем разочаровании», подчеркивала резко отрицательную оценку романа «левым лагерем», неуместность появления книги на фоне успехов Народного фронта во Франции [38, 39]. «Литературная газета» (1936, № 59) выходит с кратким отзывом на роман. В статье под заголовком «Новое декадентство» А. Старцев дает однозначную оценку творчеству Селина: «Эстетика грязи».

Тем не менее Луи-Фердинанд Селин, будучи путешественником не только литературным, отправляется в Советский Союз в качестве туриста в сентябре 1936 года. Обычно целью этой поездки называют получение гонорара за советские издания «Путешествия на край ночи». Однако, как известно, СССР не присоединился к Бернской конвенции и с авторским правом не считался: за редким исключением переводил и издавал произведения

писателей без их ведома, а гонорары им выплачивал только по решению вышестоящих «инстанций» и в рублях, которые нельзя было вывозить из СССР. Так что до сих пор нет точных сведений о том, получил ли Селин какой-то гонорар во время поездки в Советский Союз. Но он имел редкую возможность около месяца понаблюдать за жизнью Ленинграда [6, с. 3–56; 40]. Ходил в Мариинский театр, Эрмитаж, посетил Царское Село и одну из городских больниц. Он был впечатлен городом и русским балетом. А вот советская действительность произвела на Селина тяжелое впечатление. По итогам поездки он написал ядовитые памфлеты *“Mea Culpa”* (1936) и *«Безделицы для погрома»* (*“Bagatelles pour un massacre”*, 1937), рядом с которыми *«Возвращение из СССР»* (*“Retour de l'U.R.S.S.”*, 1936) Андре Жида выглядит просто невинным дружеским шаржем. Между тем русский переводчик и литературовед С.Л. Фокин на основе ряда источников и наблюдений выдвинул предположение, что на Селина в СССР и после его возвращения из этой поездки советской стороной оказывалось давление в целях склонения к сотрудничеству, что вместе с впечатлениями от визита в Ленинград и послужило спусковым крючком для радикальной политизации французского писателя, который обернул всю силу своего таланта против своих обидчиков: отныне евреи и коммунисты виделись ему главной враждебной силой, что в полный рост и найдет отражение в знаменитых, упомянутых выше памфлетах [41, с. 162–167]. Хотя, справедливости ради, на антисемитские мотивы в творчестве Селина указывали и до публикации знаменитых памфлетов. Например, Луи Арагон говорил о таковых в пьесе *«Церковь»* еще в 1933 году [22, с. 98].

После 1936 года Селин окончательно стал нежелательной фигурой для советских читателей, однако удостоился развернутой характеристики в книге Н.Я. Рыковой *«Современная французская литература»* (1939), законченной летом 1938 года, которая на протяжении десятилетий оставалась для советских читателей едва ли единственным доступным источником сведений о многих «запрещенных людях», включая героев этой статьи. Яркое, хотя и тенденциозное изложение двух романов Селина [42, с. 358–365] заканчивается однозначным приговором: «Литература о распаде и разложении становится литературой распада и разложения. Последние вещи Селина, антисемитские и по сути дела профашистские [памфлеты – Д.Ж.], раскрывают и его политическое лицо» [42, с. 365].

Со временем издания *«Путешествия на край ночи»* станут библиографической редкостью. По свидетельству историка, коллекционера, члена-учредителя Национального союза библиофилов Василия Молодякова, в первой половине и середине 1980-х годов роман часто встречался в московских букинистических магазинах, то есть не был запрещен, но оценивался в каталоге «Буккниги» в 60 рублей. Для сравнения: не самые редкие прижизненные сборники «крамольных» Гумилева, Ходасевича или Георгия Иванова в хорошем состоянии можно было купить по 25 рублей. Первый полный перевод *«Путешествия на край ночи»*, выполненный Ю.Б. Корнеевым, будет опубликован в России лишь в 1994 году.

Пьер Дриё ла Рошель

Следующие герои нашей статьи – французский писатель Пьер Дриё ла Рошель и его книга *«Комедия Шарлеруа»* (*“La Comédie de Charleroi”*, 1934). Этот сборник новелл был опубликован на русском языке Гослитиздатом в 1936 году под названием *«Комедия войны»* [3]. Всякому французу тех времен бельгийский город Шарлеруа был хорошо известен: во время Великой мировой войны при нем разыгралось одно из первых крупных приграничных сражений, закончившееся поражением французской армии и ее отступлением. Для советских же читателей все это было не так близко, поэтому издатели скорректировали название книги на более для них понятное.

Автор «Комедии Шарлеруа» – ветеран Первой мировой, писатель, поэт, эссеист, общественно-политический публицист, вышедший из круга сюрреалистов, приятельствовавший с Луи Арагоном и Андре Бретоном, денди, интеллектуал, парижский «светский лев», один из ближайших друзей Андре Мальро. В отличие от Селина он не был новичком в литературе, его проза и эссеистика начали публиковаться еще в 1920-х, а поэтические сборники – сразу после Первой мировой войны.

«Комедия Шарлеруа» вышла на французском языке к 20-летию начала Первой мировой войны в 1934 году и принесла автору значительный успех. Это отчасти автобиографическое повествование, написанное участником боевых действий. Его можно поставить в один ряд с произведениями Ричарда Олдингтона, Эриха Марии Ремарка, Эрнеста Хемингуэя и их антипода Эрнста Юнгера. С последним Дриё познакомится лично в начале 1940-х, а опыт войны станет одним из главных предметов их бесед [43, р. 99].

В книге Дриё ла Рошель довольно откровенно делится своим солдатским опытом, переживаниями, наблюдениями и размышлениями о прошлом и будущем Европы и мира. Главный герой постоянно балансирует между храбростью и трусостью, героизмом и дезертирством. Это живой, несовершенный человек. Вообще, все герои Дриё подкупали читателя именно своей несовершенностью. Свой главный роман «Жиль» (*“Gilles”*, 1939) он сам характеризует в предисловии как рассказ о «посредственности» [44, с. 8]. При этом на искренность и автобиографичность прозы Дриё на грани с исповедью часто указывают исследователи его творчества [45, с. 478; 46, с. 357–358].

Почти через все новеллы сборника «Комедия Шарлеруа» проходят рассуждения о торжестве техники в современной войне и о войне как неизбежной спутнице человечества, и, конечно, о воле к власти – не зря главный герой носит в своем солдатском рюкзаке томик Ницше. Интересно, что в своей критике массовой войны, «войны заводов, химии, техники» и соответствующих приемов ее ведения Дриё сходится с другими участниками событий 1914–1918 годов: Эрнстом Юнгером, итальянским традиционалистом Юлиусом Эволой и отчасти Луи-Фердинандом Селином. На страницах своей книги Дриё заключает: «Современная война – это проклятое восстание материи, поработенной человеком» [3, с. 57].

Лев Троцкий называл французов самой буржуазной из всех наций [26, с. 583]. И с этим утверждением Дриё ла Рошель, вероятно, охотно бы согласился. Он сам неоднократно описывал себя именно как буржуа. «Я был зябкий буржуа, лодырь, пессимист», говорит о себе главный герой «Комедии Шарлеруа» [3, с. 19]. Однако свою буржуазность Дриё стремится преодолеть. Вообще с буржуазной культурой писатель связывает упадок Франции. От преодоления этого упадка, как он полагает, зависит будущее не только самой Франции, но и Европы, которую он почитает как высшую ценность. Именно проблема сохранения и обновления Старого Света (а вместе с ним и Франции) перед лицом новых вызовов и новых сильных мировых игроков (СССР и США) беспокоит Дриё как политического деятеля и публициста больше всего [47]. Но французы и Франция не раз становились объектами жестокой критики, на грани разочарования, со стороны писателя, в том числе этот мотив часто присутствует и на страницах «Комедии Шарлеруа». Главный герой повествования, будучи раненым, гневно восклицает: «Французы – проклятый народ. У французов нет гордости» [3, с. 72].

Пьер Дриё ла Рошель, безусловно, принадлежал к тем французским интеллектуалам, которые были разочарованы итогами Первой мировой войны. Он полагал, что такая невероятная катастрофа должна привести к национальному ренессансу, подлинной революции, движению жизненных сил, но никакого обновления, национального подъема не последовало, а была все та же Третья республика, которую он презирал. Понимая, что потенциала внутри страны для изменений, которых жаждал, не хватает, он обращал свой взор на набирающие силы большие социальные проекты в СССР, Италии, а затем и в Германии. Более того, в своей первой публицистической книге «Мера Франции» (*“Mesure*

de la France", 1922) Дриё ставит под сомнение саму ценность победы Третьей республики во время войны, которая была бы невозможна без мощного внешнего вмешательства, намекая на участие союзников, в первую очередь США [48, р. 9]. Со временем в его публицистике тема сохранения и реванша Европы, будет сочетаться с необходимостью революции, сокрушения капитализма и установления социализма.

Дриё был человеком мятежным, ищущим. Начиная с участия в сюрреалистическом движении с его выходками и шумными кампаниями, но довольно быстро перерос это увлечение (об этом подробно он пишет в романе «Жиль»), и уже в 1920-х годах увлекся политикой, временно сблизился с монархическим движением "Action française", но активно интересовался и другими течениями справа и слева. В это же время он пытался разобраться, может ли советский проект сыграть роль в обновлении Европы и если «да», то какую. Важнейшим автором для него наряду с горячо любимым с юности Ницше становится Достоевский [49, с. 181–208]. Радикализации его политических взглядов и симпатий способствовали события 6 февраля 1934 года, когда в Париже состоялась большая демонстрация различных радикальных политических сил, а также ветеранских организаций, которые требовали отставки правительства, погрязшего в громких коррупционных скандалах. Шествия переросли в беспорядки, а полиция ответила огнем. Были многочисленны убитые и раненые со стороны демонстрантов. На многих в республике это событие произвело глубокое впечатление и способствовало политизации [50]. Тогда же Дриё начинает присматриваться к радикальным правым политическим силам. Его левые друзья Арагон и Мальро пытались удержать его от перехода на противоположную сторону. В эти годы Дриё ла Рошель балансирует между крайними полюсами: фашизмом и коммунизмом. Примечательно, что авторитетные исследователи его жизни и творчества Пьер Анрё и Фредерик Гровер символически разделили свою монументальную биографию Дриё ла Рошеля на две большие части: до 1934 года и после [51]. Тем самым они подчеркнули, что события 6 февраля 1934 года и их последствия оказались определяющими в судьбе французского писателя. В этом же году Дриё совершает поездку в Германию и пишет статью «Мера Германии» ("Mesure de l'Allemagne", 1934), в которой подчеркивает силу воцарившегося в ней нового режима [51, р. 264–270; 52, с. 33].

В сентябре 1935 года писатель сразу после своего очередного визита в Германию по предложению Андре Мальро через «Интурист» совершает поездку в Советский Союз; помощь в организации путешествия также предлагал и Поль Низан [53, с. 132–133]. Это путешествие, по словам самого Дриё, было осуществлено для «очистки совести», хотя и с допущением того, что оно может изменить его взгляды [51, р. 333]. Редкий случай, если не единственный, когда в СССР приехал французский писатель с настолько неоднозначной репутацией: в 1934 году Дриё успел выпустить сборник статей и эссе под названием «Фашистский социализм» ("Socialisme fasciste", 1934), в одном из текстов которого признаётся, что с юности «сам того не зная, был настоящим фашистом» и будет работать на установление фашистского режима во Франции [54, с. 220, с. 233–234]. Видимо, доверие советского руководства к Мальро действительно было крайне высоким, потому что его характеристика Дриё как «политического противника, но честного человека» открыла последнему двери в столицу СССР, где он пробыл полных шесть дней с 20 по 26 сентября 1935 года [53, с. 132, 149]. Дружба людей с такими разными, казалось бы, взглядами, как Мальро и Дриё, – это тема для отдельного исследования. Она сохранялась в самых невероятных условиях даже в годы войны, когда один из них оказался коллаборационистом, а второй участником Сопротивления. Мальро утверждал, что считал Дриё «одним из самых благородных людей из тех, кого ему доводилось знать» [цит. по: 52, с. 39].

Во время поездки в СССР Дриё ла Рошель посетил театры, музеи, бывший Новодевичий монастырь, ему были продемонстрированы одно из образцово-показательных исправительно-трудовых учреждений и фильм «Чапаев». В Москве, по словам писателя,

его заворожил «дух молодости и свежести». Больше всего его интересовал вопрос, удалось ли в СССР создать новый тип человека: в театре он обращает такое же внимание на публику, как на сами постановки. И почти в духе национал-большевика, сменовеховца он хочет обнаружить движение национальных сил под коммунистическими лозунгами [53]. Уже из Москвы он пишет в письме: «Я вновь в ужасном водовороте ощущений. Здорово, что я приехал, но уеду я без определенного мнения» [цит. по: 53, с. 145]. Штатный сотрудник ВОКС после отъезда французского писателя из Советского Союза заключал, что у него сложилось следующее мнение: «Лярошель, хотя и более-менее склонен оценить наши достижения в области социального и культурного строительства, о котором в наших разговорах отзывался положительно, был и остался “нашим политическим врагом” и заставить его перейти с буржуазных позиций на близкие нам было бы чрезвычайно трудно, если не невозможно» [цит. по: 53, с. 150]. По пути следования в СССР, в Германии, Дриё ла Рошель оказался на партийном съезде в Нюрнберге. Он был потрясен церемониалом НСДАП, шествиями и отметил, что «не испытывал таких художественных переживаний со времен “Русских балетов”» [цит. по: 51, р. 341], ставших, как известно, колоссальным событием в культурной и художественной жизни Франции с проникновением в ее быт. Для него эстетическое измерение культуры и политики имело, без сомнения, важнейшее значение. В Москве же французскому писателю не удалось стать свидетелем парада на Красной площади. Кто знает, как бы развернулись его политические симпатии, если бы он его увидел?

Между тем, как раз во время визита Дриё ла Рошеля в Советский Союз, был подписан в печать девятый номер журнала «Тридцать дней» за 1935 год с переводом одной из новелл, вошедших в книгу «Комедия Шарлеруа» [55], а также с небольшим очерком Поля Низана о писателе, в котором он сообщал: «Дриё выпустил “Комедию Шарлеруа”. Это книга о войне и без всякого сомнения, если судить по ее литературным качествам и силе художественного воплощения, лучшая французская книга о войне» [56, с. 50]. Удивительно! Не «Огонь» (“Le Feu”, 1916) Анри Барбюса, своего однопартийца, Низан считает лучшей французской книгой о войне, а «Комедию Шарлеруа» фашиста Дриё ла Рошеля! Далее Низан продолжает: «Его [Дриё – Д.Ж.] осуждение войны ничем не отличается от современного осуждения техники реакционными мыслителями. Дриё ла Рошель особенно негодует против того, что война является наиболее мощной из машин. Впрочем, от этого чувствительного протеста против уничтожения человека военной мощью легко перейти к революционному протесту против того общественного строя, который способен пользоваться этой индустриальной мощью как политическим средством». Но писатель-коммунист с горечью заключает, что Дриё этот переход не делает и более того, переходит в стан самого прямого идеологического противника. Тем не менее Низан не теряет зыбкую надежду на то, что «он [Дриё – Д.Ж.] еще, быть может, не окончательно погиб» [56, с. 51]. Ранее, все в том же 1935 году, в журнале «Интернациональная литература» был опубликован перевод другой новеллы из книги «Комедия Шарлеруа», который сопровождало краткое предисловие: «В последнее время Дриё ла-Рошель иступленно кричит о том, что нашел “спасение” в фашизме. Его последние выступления напоминают бред. Если бы мы не знали Дриё ла-Рошеля, можно было бы констатировать: человек погиб, писатель довольно значительного таланта кончился. Но в прошлом Дриё ла-Рошеля было такое количество самых невероятных и диких “сальто”, что мы не удивимся, если в скором времени он заговорит иначе. Во всяком случае его жалким и ничтожным бравадам в защиту фашизма противостоит то, что дал Дриё ла-Рошель – художник, в самой напряженной и жизненной своей книге военных рассказов “Комедия Шарлеруа”. Рассказ “Библейский пес”, который мы взяли из этой книги, наряду с мелкобуржуазным пацифизмом, содержит много беспощадной правды о буржуазном мире и верно разоблачает мерзкое ханжество “цивилизации”, – его реалистическая ценность высока. Это – истерично и

безвыходно, это возникло на почве отчаяния, это упадочно, но это очень похоже на действительность умирающего капитализма. Это – документ» [57, с. 62]. Но и это ещё не все! В конце 1935 года в «Интернациональной литературе» появилась заметка, в которой была упомянута «увеселительная прогулка Дрие ла Рошеля по “Третьей империи”». Автор статьи, не скупясь на желчные саркастические приемы, пишет: «Немецкие фашисты, которых не часто балуют своим вниманием подлинные писатели, широко раскрыли свои объятия и нежно заключили в них Дрие Ла Рошеля. Ему показали все достопримечательности страны. Он был на Нюрнбергском съезде национал-социалистической партии. Дрие Ла Рошель был удостоен чести пить пиво и есть сосиски в том же самом кафэ, которое по вечерам посещал г. Геринг. Его пригласили осмотреть концентрационный лагерь, и чистота – пресловутая немецкая чистота – в лагере произвела на Дрие Ла Рошеля незабываемое впечатление. <...> Возвратившись на родину, Дрие Ла Рошель воспылал к ней еще большей ненавистью. Он, оказывается, убежден, что с капитализмом, который он якобы так страстно ненавидит, в Европе может справиться только... фашизм!» [58, с. 159]. О визите скандального французского писателя в СССР и осмотре им достопримечательностей Москвы в этой статье не сказано ни слова, как, впрочем, и в других заметках в журнале «Интернациональная литература» за 1935–1936 годы. По всей видимости, эта поездка осталась без внимания советской прессы, как и приезд Селина годом позже.

Кажется, все понятно. И Дриё можно было бы «отпустить». Но нет, в следующем году на русском языке отдельным изданием выходит перевод всего сборника «Комедия Шарлеруа». Перевод выполнил также ветеран Первой мировой войны, проходивший службу во Французском Иностранном легионе, писатель Виктор Финк. Осмелимся предположить, что его сборник новелл «Иностраннный легион», опубликованный в 1935 году, был написан не без влияния «Комедии Шарлеруа» и композиционно напоминает эту книгу, состоит из тринадцати новелл [59]. В предисловии к «Комедии Шарлеруа», ставшей в советском издании «Комедией войны», старый большевик, журналист и критик Феофан Шипулинский не сказал о произведении и авторе ни одного положительного слова. Сравнивая книгу с «На Западном фронте без перемен» и «Путешествием на край ночи», он заключает, что у «Ля Рошеля нет социального чутья Ремарка и нет искренней смелости Селина, поднявшего свой цинизм на высоту философии» [3, с. 4]. По прочтении предисловия задаешься вопросом: «А зачем это вообще перевели для советского читателя?». Видимо, для демонстрации судьбы французского интеллигента принявшего противоположную сторону.

Сам же перевод был подвергнут цензуре в некоторых фрагментах и, впрочем, демонстрировал нужную для советской культуры картину ужаса «империалистической войны» и растерянности перед ней «буржуазной интеллигенции». Об этом свидетельствует и отклик на книгу в журнале «Интернациональная литература» в 1936 году: «Этот обыкновенный мелкий буржуа, попав в окопы, видел то, что творится вокруг него, ощущал на своем лице дыхание смерти, познал ее бессмысленность и потому проклял войну, родившую эту бессмысленную гибель миллионов людских жизней. Именно этому вполне простому человеку удалось создать столь яркие и реалистические картины империалистической войны, столь правдивое описание судеб французских солдат и офицеров, которые мы находим в книге новелл Дрие ля Рошеля» [60, с. 192]. Эту оценку повторила Н.Я. Рыкова, вынеся положенный обвинительный приговор политическим взглядам «профашистского писателя»: «Каждый рассказ – оценка империалистической войны с точки зрения обывателя, попавшего на фронт. Именно поэтому рассказы эти в какой-то мере искренни и правдивы» [42, с. 373–374]. Добавим, что в отличие от перевода «Путешествия на край ночи» первые советские издания Дриё ла Рошеля, Монтерлана и Шатобриана в советское время редко встречались на букинистическом рынке, хотя не были запрещены и не оценивались в заоблачные суммы.



Следует заметить отдельно, что Дриё ла Рошель обращался к теме России/СССР, ее участия в судьбах Европы и мира регулярно, начиная с самых ранних произведений и заканчивая дневниковыми записями, сделанными незадолго до своей трагической гибели в 1945 году. Россия занимала важное место в творчестве французского писателя. С ней он связывал грядущие судьбоносные перемены на мировой арене, она казалась ему значительной силой политического обновления, то пугающей, то вселяющей надежду. Ещё в «Мере Франции» он вопрошает: «Не России ли предстоит дать ответ на вопрос, который затрагивает самую болезненную точку судьбы всего человечества?» [48, р. 63]. И тем примечательнее, что одно из первых переводных изданий сочинений Дриё ла Рошеля вышло при жизни писателя именно на русском языке в Советском Союзе.

В заключение сюжета о Дриё ла Рошеле и его «Комедии Шарлеруа» в русском переводе хотелось бы процитировать его слова о том, какое место во французской литературе он отводил себе сам, поскольку это важно для общей композиции всего нашего повествования: «Я располагаюсь между Селином – и Монтерланом и Мальро. Подобно Монтерлану в его “Холостяках”, я сказал только о том, что видел, но с определенным движением в сторону памфлетов Селина» [44, с. 10].

Анри де Монтерлан

В этом разделе статьи мы обратимся к личности и творчеству писателя, драматурга Анри де Монтерлана и его книге «Холостяки» (*“Les Célibataires”*, 1934), опубликованной в русском переводе отдельным изданием в 1936 году.

Монтерлан не был новатором литературного языка как Селин, не был выходцем из авангардной среды сюрреалистов как Дриё ла Рошель. Напротив, он был консерватором, вдохновлялся античными текстами, «злой мудростью» Фридриха Ницше и пламенными французскими писателями-националистами Морисом Барресом и Шарлем Моррасом. На раннем этапе творчества он пытался обнаружить в современности новых героев и представить их наследниками древних добродетелей. В своих произведениях он последовательно создавал культ силы, энергии, мужества, стойкости, твердой воли и крепких мускулов. Кто такой современный герой по Монтерлану? Солдат (напомним, что Монтерлан был ветераном Первой мировой войны), спортсмен, гонщик. Наряду с ультрасовременным и популярным на тот момент увлечением спортивными состязаниями (вспомним, как в те же годы превозносил спорт, особенно футбол, тот же Дриё ла Рошель [48, р. 117–136]), французский писатель обращается и к старинному искусству тавромахии, воспекает удаль тореадоров (книга «Бестиарии» – *“Les Bestiaires”*, 1926) и сам участвует в корриде и даже получает травму в схватке с быком. Казалось бы, для советской культуры нельзя представить более враждебного писателя: националист, ницшеанец, певец воинской героики и «спортивно-фашистской романтики», по определению Н.Я. Рыковой [42, с. 377]. Да, действительно эту часть творчества Монтерлана коммунистическая критика резко осуждала [21, с. 133–134; 42, с. 374–379; 61]. Такие произведения как «Утренняя смена» (*“La Relève du matin”*, 1920), «Сон» (*“Le Songe”*, 1922), «Памяти павших при Вердене» (*“Chant funèbre pour les morts de Verdun”*, 1925), посвященные размышлениям о войне, солдатском братстве и рожденных в нем любви и самопожертвовании, «Олимпийцы» (*“Les Olympiques”*, 1924), где главными героями предстают современные атлеты, в левых кругах воспринимались как реакционные и «фашистские». Об этом прямо писал уже знакомый нам по статьям о Селине Иван Анисимов, который дает следующую характеристику сочинений французского писателя 1920-х годов: «Монтерлан сходил с ранними теоретиками французского фашизма, как Жорж Валуа или Люсьен Ромье. Шла речь об определенной политической задаче – о подготовке фашистской “революции” <... > Необходимо установить близкую связь “спортивной

экзальтации" Монтерлана со взглядами ранних идеологов фашизма» [61, с. 125]. Следует заметить, что подобной точки зрения на творчество Монтерлана, относящегося к первому десятилетию после окончания Первой мировой войны, придерживаются и современные исследователи. Например, С.Л. Фокин в статье, дополняющей публикацию дневников французского писателя 1930–1944 годов в русском переводе, пишет следующее: «Вообще говоря, ностальгия по войне, равно как и культ спорта, эстетика силы и молодости, этика товарищества, отличающие раннее творчество Монтерлана, сближали его позицию с теми мировоззренческими устремлениями, которые были характерны для раннего фашизма и, в частности, нашли выражение в творчестве Ф.Т. Маринетти и Г. Д'Аннунцио (последний был его близким другом). В этом смысле фашизм был своего рода союзом политического футуризма и эстетического волюнтаризма» [62, с. 492].

Учитывая все вышеизложенное, тем более удивительно, что французского автора, которого на страницах авторитетного советского журнала «Интернациональная литература» в 1933 году открыто называли «фашистским писателем» [63], уже в 1936 году удостоился отдельной публикации романа на русском языке в СССР. Конечно, можно сказать, что в «Интернациональной литературе» в те годы не скупилась на подобного рода штампы в отношении «буржуазных» авторов, так, например, в том же номере за 1933 год в «фашистских высказываниях» уличали и самого Герберта Уэллса [64, с. 118]. Но дело, конечно, не только в специфическом словоупотреблении слова «фашизм» в отношении любых негативных с точки зрения советской культуры явлений, которое приводило к инфляции самого термина.

Уже во второй половине 1920-х выходят произведения Анри де Монтерлана, отмеченные печатью меланхолии, рассуждениями о смерти, распаде, усталости, тщете (сборник «У фонтанов желаний» (*Aux fontaines du désir*, 1927)). А в начале 1930-х *“Mors et vita”* (1932). Это говорит его «темная сторона», которая уже с конца 1920-х берет верх в творчестве, все это сопровождается личным кризисом. В окружающей действительности писатель перестал видеть какие бы то ни было значимые ориентиры, оставляет попытки обновления современной культуры.

В 1934 году увидел свет первый «большой роман» Монтерлана «Холостяки». Это меланхоличное повествование о закате двух разорившихся аристократических родов, доживающих свой век в 1920-х годах. Господин де Коантрэ и господин де Коэткидан. Племянник и дядя, холостяки, проедающие остатки семейного состояния, не проявляющие интереса к миру, запертые в пыльных комнатках своего домика в Париже, который вот-вот у них отнимут за долги. Картина упадка и безнадежности, постоянное упование на чудесную помощь извне, которая никак не приходит. Господа надеются на поддержку богатого родственника Октава Коэткидана, тоже, кстати, холостяка, что символично. Тот принимает лишь минимальное участие в их судьбе. В ходе тщетных попыток как-то разобраться в финансовом состоянии семейства и заручиться гарантиями от влиятельного родственника, господин де Коантрэ робко пытается соприкоснуться с жизнью современного Парижа. Но встречает на своем пути лишь грязь, обман, в конце концов терпит поражение, отказываясь от всякой борьбы за свою судьбу. Но стоит ли эта действительность того, чтобы за нее бороться? Ужас одиночества и безразличия захватил этот мир. Таковы вкратце настроения этого произведения, где нет положительных героев. После публикации романа на него обратила внимание левая критика. Наконец-то аристократ Монтерлан показал убогое состояние своего класса, его паразитическую сущность и кошмар капитализма!

Луи Арагон пишет в «Юманите»: «С какой ненавистью Монтерлан рисует этих последней аристократии, живущих в эпоху Третьей республики! С какой ненавистью он нападает на этот мир, из которого сам вышел». Французский коммунист считал, что после этого романа Монтерлан должен сделать наконец выбор: последовать ли прогрессивным

путем, как Андре Жид, или же остаться в лагере реакции, как Шарль Моррас. И добавляет: «...трудно поверить, что автор “Холостяков” последует примеру Морраса, а не Андре Жида». По мнению Арагона «судьба героев романа могла бы сложиться нормально, если бы они сумели пролетаризироваться», и наконец он приглашает Монтерлана посетить СССР: «Москва – подлинная молодость мира, молодость восходящего класса нашего времени, и она найдет у себя место для такого писателя как Монтерлан». Перевод этой статьи Арагона вышел на страницах журнала «Интернациональная литература» в 1935 году, вместе с фрагментами перевода «Холостяков» [65, 66].

Кроме, собственно, «Холостяков» левая критика отметила и фрагмент из романа «Роза песков» (*“La Rose de sable”*), опубликованный 6 марта 1935 года в журнале «Марианн», в котором, пользуясь советской терминологией, «разоблачались колониальные порядки во французском Марокко». Роман был основан на личных впечатлениях Монтерлана от пребывания в этих землях и общения с местным населением. Этот текст был довольно быстро переведен на русский язык и опубликован в журнале «Интернациональная литература» [67, 68].

В это время Луи Арагон публично называет Монтерлана «одним из лучших представителей французской интеллигенции» и заявляет о том, что «уважает его возвышенную мысль» и «гордится тем, что протянул ему руку на страницах “Юманите”, когда были опубликованы “Холостяки”». Кроме того, французский коммунист отдельно отмечает и эссе «За глубокое пение» (*“Pour le chant profound”*) Монтерлана, вошедшее в сборник «Бесполезное служение» (*“Service inutile”*, 1935) [69], произведение, которое также появилось в переводе на русский язык в сокращенном виде в «Интернациональной литературе» [70]. Это небольшое сочинение об андалузской народной вокальной традиции, воспетой, кстати, и Ф.Г. Лоркой в «Стихах о канте хондо». В примечаниях к русскому переводу «О глубоком пении», редактор «Интернациональной литературы» подчеркивает, что «народная тема не перестает волновать Монтерлана» и «в поисках подлинного искусства Монтерлан, тонкий и изощренный художник, обращается к искусству народа». И в заключении традиционным покровительственным тоном добавляет: «Дальнейшее сближение с мощным движением народного фронта, растущим во Франции, поможет Монтерлану понять роль революционного пролетариата в создании народного искусства (этой роли Монтерлан сейчас не понимает), поможет осознать долг художника, желающего служить народу не только в искусстве, но и в повседневной борьбе» [70, с. 131].

Впрочем, интерес левых сил к Монтерлану можно объяснить и вполне конкретным политическим обстоятельством. В конце 1935 года французская интеллектуальная и культурная общественность переживала еще один раскол. На этот раз он был вызван событиями извне. Осенью этого года началась Итало-абиссинская война. Писатели-антифашисты выступили с резким осуждением политики Муссолини. Всемирный комитет борьбы против войны и фашизма выпустил воззвание с призывом к немедленному прекращению боевых действий. Его подписали Ромен Роллан, Генрих Манн, Андре Мальро и другие. В то же время 4 октября 1935 года был опубликован «Манифест французской интеллигенции – за мир в Европе и защиту Запада», который подписали видные деятели «правого лагеря», выступавшие против политики санкций в отношении Италии и за нейтралитет Франции в этом конфликте. Инициатором создания документа выступил Анри Массис, а свои подписи под ним поставили 64 писателя и общественных деятеля. Среди них Клод Фаррер, Робер Бразийяк, Дриё ла Рошель, Марсель Эме, Леон Доде. А Анри де Монтерлан, известный певец войны в прошлом, к удивлению многих, выступил с протестом против «Манифеста 64-х», что отдельно отметили на «левом фланге» [58; 69, с. 154; 71].

В журнале «Интернациональная литература» сравнивали позиции и творчество Монтерлана и Дриё ла Рошеля не в пользу последнего: «Анри де Монтерлан и Дриё ла Ро-

шель! Оба эти писателя тяготели к силе и воспевали ее. Но если первый, подвижимый подлинным мужеством, преодолевает сомнение и тем самым обретает возможность утверждения силы – ибо она только в революции, в классе, борющемся за свое освобождение, – второй трусливо прячется за спины коричневых убийц, ибо он потрясен и напуган видением этой самой силы» [60, с. 193].

В 1936 году, после начала гражданской войны в Испании, «Интернациональная литература» выступает «защитником» Монтерлана от нападок «правого лагеря» за то, что писатель «внес некоторую сумму в фонд помощи борющемуся испанскому народу, учрежденный редакцией журнала “Вандреди”» [72]. «Деятели левого литературного движения повели борьбу за Монтерлана, – отметила Н.Я. Рыкова, – стараясь всячески облегчить ему разрыв с прошлым, левая критика с огромным сочувствием и вниманием отнеслась к его последним литературным выступлениям» [42, с. 380].

Как бы там ни было, Монтерлан так в Советский Союз и не собрался, несмотря на приглашения Луи Арагона, но его роман «Холостяки» был опубликован Гослитиздатом в начале 1936 года. Перевод романа тонкого французского эстета выполнил русский эстет Валентин Парнах, поэт, музыкант, хореограф, который шесть лет прожил в Париже, был знаком со многими деятелями французского авангарда, в том числе Пабло Пикассо, который выполнил его ставший знаменитым портрет. Так что сам по себе перевод «Холостяков» может быть отнесен к любопытным памятникам отечественной литературы XX века.

Советское издание «Холостяков», так же как и советское издание «Путешествия на край ночи», сопровождало предисловие Ивана Анисимова. Это была обширная статья под названием «Поучительная судьба Анри де Монтерлана». В ней в общих чертах рассматривалась эволюция французского автора от патетических манифестов национализма до практически социального реализма «Холостяков», в которых, наконец, по мнению Анисимова, и раскрывается подлинный талант Монтерлана [73]. «Случай с Монтерланом, – добавила Рыкова, – поразительный по резкости своих контуров пример того, как трудно, как невозможно настоящему художнику в течение долгого времени жить творчески в искусственной, отравленной атмосфере фальшивых и реакционных иллюзий о живом и реальном мире» [42, с. 380]. И тем не менее Монтерлана, со временем дистанцировавшегося от левых авторов и называвшего себя «правым анархистом», в Советском Союзе больше не издавали до самого конца «перестройки».

Альфонс де Шатобриан

Наконец, обратимся к последней книге, которую хотелось бы рассмотреть в рамках данной публикации. Это советское издание романа «Бриера» (“La Brière”, 1923) Альфонса де Шатобриана, увидевшее свет в середине 1936 года.

Альфонс де Шатобриан – самый старший из авторов, о которых идет речь в представленной статье. В литературу он пришел еще до Первой мировой войны. За роман «Господин де Лурдин» (“Monsieur des Lourdines”, 1911) он получил Гонкуровскую премию в 1911 году.

Шатобриан был католиком, певцом регионализма, почвенничества, старых обычаев, особенно его увлекала Западная Франция. Можно было бы назвать его «французским Кнутом Гамсуном», учитывая темы, к которым он обращался в своих произведениях, и его трагичную судьбу. От своего старшего друга Ромена Роллана он воспринял идеалы гуманизма, интернационализма и пацифизма, в чем его укрепил собственный опыт увиденного и пережитого на Великой войне.

Роман «Бриера» был опубликован в 1923 году. Он имел оглушительный успех, получил Большую премию Французской академии, расходился огромными, рекордными тиражами. Роман перевели и на немецкий, и на английский. Первый перевод этого произведения



на русский язык, выполненный Д.А. Левиным, был также опубликован почти сразу после его успеха во Франции, еще в 1924 году под названием «Власть земли» издательством «Петроград» [74]. Новый перевод был выполнен Наталией Немчиновой, позднее ставшей известной переводчицей французской прозы, под редакцией знатока французской литературы Бориса Грифцова, и издан в 1936 году Гослитиздатом.

Что же такое Бриера? Это местность на западе Франции, в устье реки Луары, на берегу Атлантического океана. Суровый, дикий край добытчиков торфа и рыбаков, охотников, непокорных, которые противостояли в давние времена и власти баронов, и революции, а в начале XX века – современным капиталистам. Они живут бедно, но вольно и независимо на туманных болотах и озерах в своих каменных домиках с соломенными крышами. Еще в XV веке общинам Бриеры была пожалована дарственная на владение здешними землями герцогством Бретонским и закреплена затем Людовиком XVI, по крайней мере так описывается в романе Шатобриана, где художественный вымысел переплетается с реальными историческими и этнографическими фактами [4, с. 27]. Свою родину бриеронцы любят и не хотят уступать никому. «Бриера больше, чем мы; она королева, а мы ее телки! Нет Бриеры с ее законами – нет и бриеронца; нет бриеронца с его ярмом – нет и Бриеры. Они друг другом только и держатся. Сдаст один – и все рассыплется; и придет погибель, страшнее нам будет чем рыбе, когда вода до дна промерзает!» – говорит старый объездчик Аустен, главный герой романа [4, с. 48]. Он местный уполномоченный представитель государственной власти, но исполняет свои обязанности по-особенному: «если он и контролировал бриеронцев в интересах государства, то, с другой стороны, контролировал государство в интересах бриеронцев» [4, с. 72].

Как следует из некоего доклада о бриеронцах первой половины XIX века, который упоминается в романе, «они нелюдимы, несговорчивы, способны затеять тяжбу из-за права прохода перед своей дверью, злопамятны...». А начало их общинам положили то ли беглые разбойники, то ли дикая утка, которая вывела у себя в гнезде первого бриеронца. Они не терпят вмешательства в свои дела, никакой власти сверху [4, с. 75]. Вообще, роман этнографический, обилует описаниями нравов, обычаев и культуры этого региона.

Бриера – частица уходящего старого мира. Она издавна живет обособленно согласно своим строгим традициям. Но и традиции уже не так сильны, как раньше, и стихия, которая наступает на этот край, куда более неумолима, чем все прошлые вызовы. Это сама современность и как частное ее проявление – вторжение в эти заповедные места крупного капитала и промышленности. Один из героев романа так описывает происходящие с ними изменения: «Вчера еще жили мы себе, друзья, никому неведомые, ото всех скрытые, жили без шума, по старинному, так сказать, великому правилу <...> свободно жили, свободно... а все-таки у себя дома, как водяные растения: листья плавают по воде, а корни глубоко вцепились в дно... Ну, а теперь это намерение богачей, которое задало нам жару, кой-чему нас научило, и мы увидели, что векам прекрасной отсталости пришел конец!.. Мы говорим себе, что небо новой эпохи поднялось уже и над нами!.. Нет больше никакой возможности укрыться от него, – вот что нас мучает!.. <...> знаешь, что вредить тебе придет не Пьер, не Жак, не Жан де-Рье, не какой-нибудь отдельный слабый человек, а силища новых времен, у нее нет ни имени, ни лица, и все она переплавит в своем горниле, смелет своими жерновами <...> сила эта нас увидела» [4, с. 211–212].

Разумеется, роман включает в себя не только тему противостояния традиционного общества и современности. В центре сюжета также и семейная драма главного героя, борьба его гордыни с христианскими добродетелями, наконец. Но советскую критику интересовало в первую очередь конечно, описание конфликта бедных деревенских жителей и капиталистов.

Лидия Сейфуллина, член правления Союза писателей СССР, в предисловии к советскому изданию книги Альфонса де Шатобриана отмечает, что Бриеру губят не только

капиталисты, но и сами ее жители, которые оказываются не способны подняться над мелкобуржуазными ценностями индивидуализма, разобщены и не знают подлинного товарищества. «Стиль писателя блестящ, локальность образов изумительна. Автор индивидуалист и мистик, не сумел указать основную причину неизбежной трагичности судеб своих героев. Он ищет объяснение в роке, в биологии, в индивидуальном своеобразии людей. Он не хочет видеть, что губит их капитализм. Но для советского читателя причина ясна. Это вода на нашу мельницу», – заключает Сейфуллина, подчеркивая, что многое в романе чуждо и враждебно восприятию советского читателя [4, с. 5–6].

Уже в годы публикации «Бриеры» в Советском Союзе Шатобриан сочувственно присматривался к происходящим в нацистской Германии событиям (книга «Сноп сил» (*“La Gerbe des forces”*, 1937), что в итоге привело его к активному идейному коллаборационизму в годы Второй мировой войны. Интересно, что природа убеждения в необходимости союза Франции с Германией, внутриевропейский пацифизм Шатобриана кроется в опыте Первой мировой войны. Такая позиция роднит его с Луи-Фердинандом Селином, который не раз подчеркивал бессмысленность и опасность противостояния Германии, суммируя свои впечатления участника сражений Великой войны, и отчасти с Пьером Дриё ла Рошелем. Отметим и то, что Альфонса де Шатобриана связывала дружба с Роменом Ролланом [11, с. 294]. Писатели были знакомы на протяжении десятков лет, а их переписка 1906–1944 годов (то есть до самой смерти Роллана) составляет два солидных тома. Можем предположить, что обстоятельство дружбы Шатобриана с таким важным «другом Советского Союза», как Ромен Роллан, повлияло на публикацию «Бриеры» в СССР. При этом в отличие от других героев нашего повествования Шатобриан, насколько известно, никакого заметного интереса к происходящему в СССР не проявлял. Но с 1936 года Шатобриана на русском языке больше не издавали, ему в этом смысле «повезло» даже меньше, чем предыдущим рассмотренным нами авторам, новые переводы произведений которых выходили в России в постсоветское время.

* * *

Такова в самых общих чертах история прижизненных публикаций четырех весьма примечательных французских писателей в Стране Советов в 1930-х годах. В качестве заключения следует резюмировать некоторые основные содержательные моменты статьи, проливающие свет на обстоятельства появления советских переводов произведений Селина, Дриё ла Рошеля, Монтерлана и Шатобриана. Итак:

1. Эти авторы, несомненно, были заметными фигурами французской литературы своего времени. В условиях, когда Советский Союз боролся за влияние на культурном фронте в Европе и мире, они рассматривались как потенциальные союзники в этой борьбе. Их старались привлечь к сотрудничеству и не оставляли эти попытки до последних возможностей, даже когда, как в случае с Дриё ла Рошелем, писатель уже высказывал открытые симпатии противоборствующему лагерю в лице фашизма.

2. Для публикации в Советском Союзе выбирались произведения, в которых содержались критика «современного буржуазного общества» («Путешествие на край ночи», «Комедия войны», «Холостяки», *“Cante hondo”*, «Бриера»), изображение «ужасов империалистической войны» («Путешествие на край ночи», «Комедия войны»), критика «колониальных порядков империалистических стран» («Путешествие на край ночи», «Роза песков»). Это позволяло представить их творчество под нужным для советской культуры и пропаганды углом.

3. Бедность описательного языка советских критиков и литературоведов, их крайняя идейная ангажированность не позволяли адекватно представить картину литературной жизни Франции и траектории мировоззренческих поисков французских писателей. Условия существования культурных кругов в СССР и Франции значительно отличались. Советские писатели и литературоведы, вероятно, слабо представляли себе среду литераторов



Франции, ее особенности. Во Франции писатели, представлявшие разные политические позиции, могли свободно общаться и перемещаться из лагеря в лагерь. Дриё ла Рошель мог быть другом Мальро и при этом выступать с поддержкой фашизма (с поправкой на собственное специфическое понимание данного политического движения). Шатобриан мог быть другом Ромена Роллана и симпатизировать Германии. Монтерлан мог восхищаться самобытностью марокканцев, но сохранять при этом дистанцию от левых сил. Так что социальная критика в их произведениях не свидетельствовала однозначно об их политической позиции, которая к тому же могла довольно быстро меняться.

4. Произведения Луи-Фердинанда Селина, Пьера Дриё ла Рошеля, Анри де Монтерлана и Альфонса де Шатобриана были рекомендованы влиятельными французскими писателями из числа «друзей Советского Союза». Селин был отмечен Луи Арагоном и Эльзой Триоле; за Дриё ла Рошеля высказались Андре Мальро и Поль Низан, а также, возможно, знавший его Илья Эренбург, который служил «мостом» между советской и левой французской литературой; «Холостяки» Анри де Монтерлана получили высокую оценку Луи Арагона; Альфонс де Шатобриан был многолетним другом Ромена Роллана.

Все изложенные обстоятельства говорят о крайне сложном и многогранном процессе восприятия советской культурой зарубежных литераторов и их произведений, в котором сочетались и курьезные обстоятельства, и вполне четкий политический расчет, и банальное непонимание той среды, с которой приходилось взаимодействовать, и идеологическое давление. Но несмотря на все сложности, советская сторона довольно оперативно реагировала на появление новых значительных фигур и новых произведений во французской литературе, предлагала собственную (пусть и весьма своеобразную) их интерпретацию, предоставляла своим читателям своевременные переводы, оказывала напрямую или через своих агентов влияние на культурные и политические процессы за рубежом, что особенно ярко демонстрируют биографии Селина и Дриё ла Рошеля. В случае с книгами «Комедия войны», «Холостяки» и «Бриера», необходимо отметить высокое качество переводов, что делает их актуальными и по сей день.

Литература

1. Селин Л.-Ф. Путешествие на край ночи. М.; Л.: ОГИЗ ГИХЛ, 1934. 280 с.
2. Монтерлан А. де. Холостяки. М.: Гослитиздат, 1936. 219 с.
3. Дриё Ля-Рошель. Комедия войны. М.: Гослитиздат, 1936. 190 с.
4. Шатобриан А. Бриера. М.: Гослитиздат, 1936. 269 с.
5. Montherlant. Théâtre: Collection Bibliothèque de la Pléiade. Paris: Gallimard, 1955. 1089 p.
6. Л.-Ф. Селин в России: Материалы и исследования / Общество друзей Л.-Ф. Селина. СПб., 2000. 144 с.
7. Селин Л.-Ф. Путешествие на край ночи. М.: АСТ, 2020. 480 с. (Эксклюзивная классика).
8. Селин Л.-Ф. Смерть в кредит. М.: АСТ, 2019. 544 с. (Эксклюзивная классика).
9. Селин Л.-Ф. Из замка в замок. М.: АСТ, 2021. 512 с. (Эксклюзивная классика).
10. Sipriot P. Montherlant sans masque. T. II. Paris: Robert Laffont, 1990. 504 p.
11. Бурлаков А.Н., Молодяков В.Э. Идеинный коллаборационизм во Франции 1940–1944: опыт типологии // Французский ежегодник 2023: война и общество. С. 288–309.
12. Юрьенен С. «Инженеры душ» на краю ночи // Л.-Ф. Селин в России: Материалы и исследования / Общество друзей Л.-Ф. Селина, СПб., 2000. С. 56–63.
13. Тиме Г.А. СССР и Европа: советский «культурный проект» тридцатых годов // XX век: Тридцатые годы. СПб.: Нестор-История, 2013. С. 5–41.
14. Кларк К. РАПП и институализация советского культурного поля // Соцреалистический канон. СПб., 2000. С. 209–224.
15. Пономарев Е.Р. Советский писатель в Париже: Парижская жизнь в советских травелогах конца двадцатых годов / Е.Р. Пономарев // Труды / СПбГУКИ. СПб.: СПбГУКИ, 2008. Т. 182: Литературные чтения: Время. Личность. Судьба. С. 68–99.
16. Максименков Л. Очерки номенклатурной истории советской литературы: Западные пилигримы у сталинского престола (Фейхтвангер и другие). Ч. I // Вопросы литературы. 2004. № 2. С. 242–291.

17. Наша печать: Сборник Отдела печати ЦК РКП(б). М.: Гос ин-т журналистики, 1925. 174 с.
18. Маликова М.Э. Как было организовано издание современной переводной литературы в Советской России в конце 1920-х – первой половине 1930-х годов (на материале деятельности ленинградского кооперативного издательства «Время») // XX век: Тридцатые годы. СПб.: Нестор-История, 2013. С. 41–132.
19. Панов С.И., Панова О.Ю. Издатели и читатели французской литературы в СССР в конце 1920-х – 1930-е гг. // Новейшая история России. СПб.: ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет». Т. 11. № 3. С. 738–754.
20. Ермилов В. Старая Франция (Roger Martin du Gard "Vieille France") // Красная новь. 1933. Кн. 12 (дек.). С. 188–194.
21. Анисимов И. Ночь капитализма // Интернациональная литература. 1933. № 4. С. 133–142.
22. Арагон Л. Луи Фердинанду Селину, стоящему вдали от толпы (По поводу «Церкви») // Интернациональная литература. 1934. № 1. С. 98–100.
23. Анисимов И. Во Франции // Интернациональная литература. 1934. № 3–4. С. 71–88.
24. Жибо Ф. К вопросу о пребывании Селина в Ленинграде в 1936 году // Л.-Ф. Селин в России: Материалы и исследования / Общество друзей Л.-Ф. Селина, СПб., 2000. С. 11–15.
25. Годар А. Предисловие к русскому изданию // Селин Л.Ф. Путешествие на край ночи. Харьков: Фолио; Ростов н/Д: Феникс, 1999. С. 5–20.
26. Троцкий Л. Селин и Пуанкаре // Селин Л.-Ф. Путешествие на край ночи. СПб.: Пламень, 2022. С. 581–593.
27. Селин Л.-Ф. Из замка в замок. СПб.: Издательская группа «Евразия», 1998. 440 с. ("Ultima Thule").
28. Разумова Н.Е. Роман Л.-Ф. Селина "Voyage au bout de la nuit" в русских переводах // Текст. Книга. Книгоиздание. 2012. № 1. С. 52–66.
29. Селин Л.Ф. В колониях // Интернациональная литература. 1933. № 4. С. 17–37.
30. Селин Л.Ф. Путешествие на край ночи. М.: Гослитиздат, 1934. 296 с.
31. Селин Л.-Ф. Путешествие на край ночи. М.: Журнально-газетное объединение, 1935. 48 с.
32. Селін Л.Ф. Подорож на край ночі. Київ: Держлітвидав, 1935. 431 с.
33. Селин Л. Путешествие на край ночи. Шанхай: Гонг, 1937. 509 с.
34. Ерофеев В. Путешествие Селина на край ночи // Л.-Ф. Селин в России: Материалы и исследования / Общество друзей Л.-Ф. Селина, СПб., 2000. С. 73–88.
35. Селин Л.-Ф. Mea culpa // Л.-Ф. Селин в России: Материалы и исследования / Общество друзей Л.-Ф. Селина, СПб., 2000. С. 39–48.
36. Шмитт К. Политическая теология. М.: КАНОН-пресс-Ц, 2000. 336 с.
37. Недосейскин М.Н. Роман Л.-Ф. Селина «Путешествие на край ночи»: человек в мире. М.: Наука, 2006. 222 с.
38. Е.Г. «Смерть в кредит» (о новой книге Луи Фердинанда Селина) // Интернациональная литература. 1936. № 7. С. 189–191.
39. Дижур И. Смерть в кредит или жизнь за наличные (Письмо из Парижа) // Интернациональная литература. 1936. № 8. С. 146–148.
40. Недосейскин М.Н. Путешествие в СССР: Селин // Наваждения: К истории «русской идеи» во французской литературе XX века: Материалы российско-французского коллоквиума. М.: Наука, 2005. С. 223–234.
41. Фокин С.Л. «Русская идея» во французской литературе XX века. СПб.: Издательский дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2003. 211 с.
42. Рыкова Н. Современная французская литература. Л.: ГИХЛ, 1939. 495 с.
43. Jünger E. Les prochains Titans. Paris: Grasset, 1998. 152 p.
44. Дрие ла Рошель П. Жиль. М.: Дмитрий Сечин, 2020. 494 с.
45. Молодяков В.Э. Пьер и Жиль // Дрие ла Рошель П. Жиль. М.: Дмитрий Сечин, 2020. С. 478–494.
46. Косиков Г.К. Может ли интеллигент быть фашистом? (Пьер Дриё ла Рошель между «словом» и «делом») / Г.К. Косиков // Собр. соч. Т. 1: Французская литература. М.: Центр книги Рудомино, 2011. С. 353–372.
47. Волчек О.Е., Фокин С.Л. Европеизм, фашизм и коммунизм в творчестве Пьера Дриё ла Рошеля // Наваждения: К истории «русской идеи» во французской литературе XX века: Материалы российско-французского коллоквиума. М.: Наука, 2005. С. 150–203.
48. Drieu La Rochelle P. Mesure de la France. Paris: Grasset, 1922. 163 p.
49. Фокин С.Л. Фигуры Достоевского во французской литературе XX века. СПб.: РХГА, 2013. 396 с.
50. Молодяков В.Э. Политический кризис 6 февраля 1934 года: «фашистский переворот» или «французский бунт»? // Вестник истории, литературы, искусства. Т. 14. М.: Собрание, 2019. С. 256–284.
51. Andreu P., Grover F. Drieu la Rochelle. Paris: La Table Ronde, 1989. 599 p.
52. Фокин С.Л. Пьер Дриё ла Рошель и фашизм во Франции // Дриё ла Рошель П. Дневник 1939–1945. СПб.: Владимир Даль. С. 5–44.
53. Токарев Д.В. Писатель-фашист в коммунистической Москве: визит Пьера Дриё ла Рошеля в СССР в 1935 году // XX век: Тридцатые годы. СПб.: Нестор-История, 2013. С. 132–154.
54. Дриё ла Рошель П. Фашистский социализм. СПб.: Владимир Даль, 2001. 244 с.
55. Ля Рошель. Лейтенант // Тридцать дней. 1935. № 9. С. 52–62.
56. Низан П. Дрие ла Рошель // Тридцать дней. 1935. № 9. С. 50–52.

57. *Дриэ ла-Рошель*. Библийский пес // Интернациональная литература. 1935. № 4. С. 62–71.
58. *Вайян Д.* Письмо из Парижа // Интернациональная литература. 1935. № 11. С. 158–160.
59. *Финк В.* Иностраный легион: роман в 13 новеллах. М.: Советский писатель. 219 с.
60. *Дмитревский Вл.* Дриэ ла Рошель – автор «Комедии войны» // Интернациональная литература. 1936. № 7. С. 191–193.
61. *Анисимов Ив.* Анри де Монтерлан, поэт мужества // Интернациональная литература. 1935. № 6. С. 123–130.
62. *Фокин С.Л.* Ангел или демон? Анри де Монтерлан: раннее творчество и «Дневники 1930–1944» // *Монтерлан А. де. Дневники 1930–1944*. СПб.: Владимир Даль, 2002. С. 477–501.
63. Добродетели войны // Интернациональная литература. 1933. № 2. С. 150.
64. *Филатова Л.* О современной английской литературе // Интернациональная литература. 1933. № 2. С. 116–119.
65. *Арагон Л.* «Холостяки» Монтерлана // Интернациональная литература. 1935. № 2. С. 133–134.
66. *Монтерлан А. де.* Холостяки. Отрывки из романа // Интернациональная литература. 1935. № 2. С. 3–42.
67. *Монтерлан А. де.* Роза песков (Отрывок из романа) // Интернациональная литература. 1935. № 9. С. 35–42.
68. *С.Д.* Заметки на полях // Интернациональная литература. 1935. № 9. С. 154–155.
69. *Арагон Л.* Анри де Монтерлан. «Бесполезное служение» // Интернациональная литература. 1936. № 3. С. 154–157.
70. *Монтерлан А. де.* Cante hondo // Интернациональная литература. 1936. № 6. С. 126–131.
71. *Вайян Д.* Цивилизация и «цивилизаторы» // Интернациональная литература. 1935. № 12. С. 138–140.
72. Кто и за что травит Анри де Монтерлана? // Интернациональная литература. 1936. № 10. С. 171–172.
73. *Анисимов Ив.* Поучительная судьба Анри де Монтерлана // *Монтерлан А. де. Холостяки*. М.: Гослитиздат, 1936. С. 3–23.
74. *Шатобриан А. де.* Власть земли. Л.; М.: Петроград, 1924. 278 с.

Аннотация. При большом разнообразии произведений иностранных авторов, опубликованных в русских переводах в СССР в 1930-х годах, выделяются сочинения французских писателей Луи-Фердинанда Селина, Пьера Дриэ ла Рошеля, Анри де Монтерлана и Альфонса де Шатобриана. Эти писатели не были ни коммунистами, ни попутчиками, более того, в истории за ними закрепились репутация коллаборантов. В статье исследуются обстоятельства публикации переводов их произведений в СССР, отклик советской критики на них, особенности советско-французских взаимодействий в области культуры тех лет. Кроме того, рассматриваются сюжеты произведений вышеобозначенных авторов, особенности их художественной прозы.

Ключевые слова: Луи-Фердинанд Селин, Пьер Дриэ ла Рошель, Анри де Монтерлан, Альфонс де Шатобриан, советско-французские связи, французская литература, СССР, коммунизм, фашизм.

Daniil S. Zhitenev, Deputy Head, Rare Books Fund of Scientific Library, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), Editor-in-chief of Silene Noctiflora Publishing House (Moscow). E-mail: zhitenev.dan@gmail.com

“Different” French Literature in the Soviet Union. First Russian Translations of the Works of Louis-Ferdinand Céline, Pierre Drieu la Rochelle, Henri de Montherlant and Alphonse de Châteaubriant in the 1930-ies*

Abstract. Though the Russian translations of a great variety of works by foreign authors were published in the USSR in the 1930s, the works of the French writers Louis-Ferdinand Céline, Pierre Drieu la Rochelle, Henri de Montherlant and Alphonse de Châteaubriant still stand out. Those writers were neither communists nor temporary companions; indeed, history established their reputation as collaborators. In the article the author explores the circumstances of the translations publication in the USSR, the response of Soviet criticism to them, the peculiarities of Soviet-French interactions in the field of culture in the 1930s, as well as the plots of the works of the above-mentioned authors and the specific features of their artistic prose.

Keywords: Louis-Ferdinand Céline, Pierre Drieu la Rochelle, Henri de Montherlant, Alphonse de Châteaubriant, Soviet-French Interactions, French Literature, USSR, Communism, Fascism.

* The main provisions of the present work were initially laid open for the public during the lecture delivered in the Cultural and Educational Center of Kant Baltic Federal University (Kaliningrad), May 16, 2023.

Кристоф Гильи: исследование новых расколов во французском обществе. Метрополия vs Периферия

Кристоф Гильи (р. 1964) давно завоевал популярность во Франции как один из наиболее проницательных исследователей социально-экономических трансформаций западных обществ, происходящих вследствие процессов глобализации. Специалист по географии и урбанистике, Гильи с конца 1990-х работает над созданием новой социальной географии Франции.

Социальная география – это отрасль на стыке географии и социологии; во Франции она получила развитие в 1980-х годах. Объектом социальной географии является изучение связей, существующих между социальными и пространственными отношениями. Весомый импульс этой отрасли знания дали ученые левых и марксистских взглядов, писавшие об устройстве пространства как отражении производственных отношений в обществе. По мнению этих ученых, главной задачей социальной географии является выявление пространственных дифференциаций и их связи с другими социальными показателями (профессиями, доходами, дипломами, безработицей, электоральным поведением, здоровьем). То есть в процессе изучения этих неравенств с использованием всех средств и методов гуманитарных и социальных наук происходит не только их теоретическое осмысление, но и практическое сглаживание.

Кристоф Гильи, уроженец департамента Сена-Сен-Дени, – один из таких левых мыслителей, испытавших влияние марксизма. Он долгое время был активным сторонником французской Коммунистической партии и никогда не скрывал своей приверженности идеалам антикапитализма и борьбы за права рабочего класса.

По мере того как Компартия сдавала свои позиции «партии рабочего класса» и теряла избирателей¹, Гильи отдалился от коммунистов и сегодня не связан ни с одной из французских партий. Его можно определить как левого консерватора, “*réactionnaire de gauche*”, близкого по духу философу Жан-Клоду Мишеа, называющему себя анархистом тори.

Подобно Мишеа и Мишелю Онфрэ, сочетающим противоречивые принципы, получившие в информационном поле ярлыки ультраправых и ультралевых, Гильи оригинально и нетипично для нынешних левых размышляет о таких «больных» темах французского общества, как иммиграция, ее последствия, мультикультурализм, стратегии избегания «другого» и так далее.

Пишущий в ярком и полемичном стиле, Гильи регулярно подвергается резкой критике, в том числе со стороны академического сообщества, члены которого обвиняют его в нехватке дипломов, недостаточно узкой специализации, экстраполяциях и упрощениях,

¹ На парламентских выборах 1978 года она получила 20,61% голосов, а на последних выборах 2022 года – 2,36%.

Руткевич Наталия Алексеевна, кандидат философских наук, журналист-политолог, франковед.
E-mail: nroutkevitch@yahoo.fr



чрезмерной политизированности. Чаще других звучит обвинение в «подыгрывании» «Национальному объединению» и ультраправым. Эта критика, впрочем, никак не сказывается на популярности Гильи и интересе к нему со стороны СМИ и политиков, как находящихся у руля, так и оппозиционных.

Разработанные им понятия «периферийная Франция», «метрополизация», «метрополис-цитадель», «социальное избегание», «республиканские фанфары» получили широкое хождение среди французских комментаторов общественно-политической жизни. Наверное, именно потому, что исследователь считает возможным говорить о глобальных общественных трендах и рисовать целостную картину, не ограничиваясь, как сегодня принято в академическом мире, крайне узкой областью экспертизы.

Главной темой работ Гильи является описание раскола между «периферийной Францией» и «Францией элит» (или, в его терминах, «Периферией» и «Метрополией»), углубляющегося в течение последних сорока лет. Как считает сам исследователь, этот раскол и сопутствующие ему трансформации свойственны не только его родной стране, но и значительной части западного мира. Они были подмечены и описаны не одним Гильи, но и рядом других западных исследователей. Одним из первых был американский ученый Кристофер Лэш, автор знаковой книги «Восстание элит», в которой автором выявлены главные общественные тенденции США конца 1980-х – начала 1990-х, получившие развитие в последующие годы и распространившиеся далеко за пределами страны. Оригинальность Гильи состоит в том, что он отталкивается от географических реалий, данных по мобильности народонаселения, изменению социопрофессионального состава жителей городов и пригородов, градостроительной политике, показывая в ходе своих исследований, как пространственная поляризация приводит к социальной сегрегации и многочисленным негативным последствиям для всего общественного организма.

В 1995 году Гильи основал консалтинговую компанию “Mars”, которая специализируется на проектах реконструкции крупных жилых комплексов. В рамках этой деятельности он работал над урбанистическими проектами в самых разных уголках страны, что позволило ему познакомиться с ситуацией на местах. Его первая работа, вышедшая в 2000 году, называется «Атлас французских расколов»; за ним последует «Атлас новых социальных расколов Франции» (2004), составленный в соавторстве с другим географом, Кристофом Нуайе. В этих работах выявляется двойная динамика – джентрификации центров крупных городов и упадка периферийной Франции. В 2010 году выходит работа «Французские расколы», в которой большую значимость приобретает этнокультурное измерение, общий тон становится более полемичным, а по словам критиков, и более ожесточенным и виндикативным.

Географ изобличает своих «идеологизированных коллег», которые отказываются признавать некоторые реалии расколов, о которых он говорит с конца 1990-х, таких как требование сохранения культурного капитала периферийной Франции, ее оппозиция доминирующим идеям мультикультурализма, рост поддержки этим электоратом «Национального фронта»¹. С 2010-х тезисы Гильи о периферийной Франции получают широкое распространение и цитируются многими политиками. С ним консультируются французские президенты – Николя Саркози и Франсуа Олланд. В эти годы у Гильи выходит ряд книг, где закрепляются и развиваются предыдущие тезисы, анализируется избирательная динамика, ставятся более глобальные вопросы о причинах расколов и об альтернативной модели общества: «В защиту народного левого движения: левые лицом к своим избирателям» (2011), «Периферийная Франция: как народные классы были принесены в жертву»

¹ Французская ультраправая партия «Национальный фронт», созданная Жан-Мари Ле Пеном в 1972 году, была переименована в 2018 году в «Национальное объединение» по инициативе Марин Ле Пен, возглавляющей ее с 2011 года.

(2014), «Сумерки Франции верхов» (2016), «No society. Конец европейского среднего класса» (2018).

Изменения в организации пространства в них увязаны с более глобальными культурными и политическими процессами. Гильи ищет структурные причины повсеместного подъема протестных движений, получивших название «популизмов», будь то Брексит, движение «Желтые жилеты», движение в поддержку Трампа и т.д. Тем самым от книги к книге он обрисовывает контуры той социальной революции, что сотрясает западные общества последние несколько лет.

Его последние книги – «Время простых людей» (2020) и «Обездоленные. Инстинкт выживания народных классов» (2022) – говорят о подъеме самосознания народных классов и ставят вопрос возможного «реванша» народного большинства, лишенного, по мнению автора, значительной части политических и экономических прав вследствие решений, принимаемых мировыми элитами.

Хотя само понятие «обездоленные» (*dépossédés*) появилось лишь в последней работе, жители периферийной Франции, «низы» давно в центре внимания исследователя. Сравнение с пролетариями прошлого века напрашивается само собой, но отождествлять их не следует. Как утверждает автор, протестные движения, охватившие западные страны около двадцати лет назад, не похожи на социальные движения прошлых веков. Разумеется, они обусловлены экономическими факторами и связаны с материальными лишениями, но ими не исчерпываются. «Обездоленные», по словам Гильи, – самые разные категории (рабочие, мелкие служащие, фермеры), которые традиционно составляли основу западного среднего класса и которые сегодня переживают вытеснение на периферию – как в прямом географическом смысле, так и в переносном, переживая социальное, политическое и культурное отчуждение. Вчера они были средним классом со стабильным положением, а сегодня превратились в низший средний, над которым нависла угроза полной маргинализации. Эти люди требуют не новых прав (как пролетарии конца XIX – начала XX века), но сохранения тех, что у них пока еще есть, или возвращения тех, что у них отняли совсем недавно – экономическую стабильность, блага государства всеобщего благосостояния, их социальный статус, их место референтной группы, на которую ориентировались партии при разработке своих программ или культурная индустрия при создании своей продукции [5].

Согласно Гильи, представители «периферийной Франции» – это в первую очередь те, кто проживает вдали от 15 главных французских метрополисов. Речь идет примерно о 60% населения Франции, то есть большинстве французов [4, с. 198].

Ряд социологов критикует Гильи за слишком размытое и неточное определение «периферийной Франции». Отказываясь напрямую отвечать критикам, исследователь однако уточняет, что далеко не все удаленные от экономических центров территории находятся в упадке и что в них живут не только деклассированные французы, равно как и в метрополиях живут не только обеспеченные классы. «Экспроприации» подвергся ряд других территорий: например, на атлантическом побережье (и других прибрежных зонах страны) фактически все жилье отныне скуплено состоятельными горожанами (или иностранцами), которые превращают бывшие рыбацкие домики в свои загородные резиденции, тогда как сами рыбаки вынуждены селиться все дальше от моря. Вместе с тем Гильи считает оправданным понятие социальной «периферии», так как оно сразу дает представление об определенной динамике, свойственной большинству развитых стран: концентрации ресурсов и состоятельных граждан в метрополисах и вытеснении низшего среднего класса с этих территорий, на которых они еще совсем недавно плотно проживали.



Начиная с 1990-х жилье в крупных городах, где «делаются деньги»¹ и где сконцентрированы офисы крупных предприятий, становится все менее доступным для средних классов. Строительство 20 или даже 30% социального жилья (так называемые HLM (*habitation à loyer modéré*), обладающие печальной репутацией) ситуацию для этих категорий существенно не меняет, так как квартиры в этих комплексах отводятся преимущественно не им. Рынок недвижимости создал условия для присутствия в крупных городах тех категорий, в которых нуждается рынок труда, пишет Гильи. Глобализованному городу нужны квалифицированные высшие классы и – для удовлетворения их потребностей – низкоквалифицированные работники, как правило иммигранты, которые компактно проживают в социальном жилье HLM, ставших своего рода городскими этническими гетто. Что приводит к тому, что даже при возможности получить квартиру в HLM низшие средние классы неохотно селятся в этих районах. Таким образом, крупные города оказались разделены на «гетто для богатых» и «гетто для самых бедных», а места для среднего класса в них фактически больше нет [3, с. 21].

Гильи пишет о процессе отгораживания, «превращения в крепости» богатых городов (откуда выражение «метрополисы-цитадели»). *Gentrification*, *airbnbisation* – джентрификация и сдача собственниками квартир городских центров гостям города приводят к тому, что отныне лучшие кварталы крупных городов рассчитаны на состоятельных людей и туристов. Более того, эти новые цитадели хотят как можно меньше делиться с другими, менее успешными регионами. Гильи напрямую увязывает развитие различных наднациональных союзов между крупными городами или подъем региональных инициатив со стремлением освободиться от обязательств перед государством-нацией и ослаблением последнего. В Европе этот процесс идет в контексте евроинтеграции, которая лишает суверенитета государства и наделяет большими прерогативами регионы и муниципалитеты.

В свою очередь евроинтеграция вписывается в более глобальный процесс неолиберальной глобализации, идущий более сорока лет и приведший к разрушению социально-экономической модели, свойственной не только Франции, но и, с некоторыми вариациями, большинству развитых государств Запада в послевоенное время. Период процветания этой модели получил название славного тридцатилетия (1946–1975). Он характеризовался устойчивым ростом экономики и занятости при контроле за рыночной экономикой на уровне государства, сочетанием рынка и планирования, многочисленными уступками трудящимся со стороны капитала. Это был, по словам Гильи, удивительный в истории пример успешной интеграции большинства – так называемый социальный капитализм.

Отказ от Бреттон-Вудских соглашений и нефтяной кризис 1973 года ознаменовали конец славного тридцатилетия. Последовавшие либерализация финансовых рынков и стремительное развитие международного разделения труда привели к постепенному превращению национального социал-капитализма, контролируемого на национальном уровне, в глобальный капитализм, который контролируется вненациональными структурами – «рынками», которые сами диктуют свои условия государствам. Социальные завоевания среднего класса периода «Славного тридцатилетия» были поставлены под вопрос, когда М. Тэтчер в Великобритании с 1979 года и Р. Рейган в США с 1981 года начали переход от кейнсианской политики государства всеобщего благосостояния (*welfare state*) к неолиберальной политике рыночного фундаментализма.

Как уже упомянуто, во Франции этот переход идет параллельно и в значительной степени в рамках процесса построения Европейского союза. Переломный момент для Франции – это 1983 год, когда президент-социалист Франсуа Миттеран объявляет о «повороте к бюджетной строгости». Своему советнику Жаку Аттали он объясняет ситуацию так:

¹ В 2017 году экономический рост страны происходит на $\frac{3}{4}$ за счет 12 французских крупнейших городов, там же сосредоточены 46% рабочих мест страны.

«Я стою перед сложной дилеммой: сделать выбор в пользу европейского строительства или в пользу социальной справедливости» [13]. Выбор будет сделан в пользу Единой Европы. Ради углубления евроинтеграции и сохранения Франции в Европейской валютной системе (что требовало привязывания франка к марке и сокращения инфляции) Миттеран переходит к политике строгой экономии, масштабным приватизациям и общей либерализации экономики и отказывается от политики государственных инвестиций, то есть той самой программы, благодаря которой он был избран.

По мере интеграции в глобальную экономику и снятия таможенных барьеров в стране исчезают целые отрасли промышленности и, соответственно, тысячи рабочих мест. С начала 1980-х Франция потеряла половину рабочих мест в промышленном секторе; доля промышленности в ВВП снизилась с 23% в 1980-х до 13% в 2010-х [12, с. 25]. Рабочие массово теряют работу из-за делокализаций и живут на пособия или поденную работу. Колоссальный кризис переживает сельское хозяйство. Число занятых в сельскохозяйственной отрасли за 30 лет сократилось вдвое. Фермеры выживают на пособия, глобализация губит небольшие семейные хозяйства, традиционно составлявшие основу сельского хозяйства Франции. Многие земли переходят в руки иностранных инвесторов. Введение единой валюты евро в 2002 году ускорило потерю конкурентоспособности рядом секторов французской промышленности (такой исход был вполне предсказуем, что не повлияло на решение о ее введении).

Таков контекст, позволяющий понять, почему Гильи (и не только он) говорит о проседании среднего класса во Франции по мере того как этот класс активно формируется в Китае или Индии вследствие необдуманного решения переместить в эти страны значительную часть производства [14].

Экономическая маргинализация социальных категорий, ранее составлявших средний класс, имевших устойчивые доходы и с уверенностью смотревших в будущее, а также их географическое вытеснение на периферию сопровождается культурным и политическим отчуждением вчерашнего большинства. Классические партии перестали быть носителями его интересов, считает Гильи.

«Левая Социалистическая партия или правое движение (которое с 2015 года носит название “Республиканцы”) были созданы средними классами и для средних классов. Эта двухпартийная система работала, пока два француза из трех были представителями среднего класса. Сегодня эти партии продолжают апеллировать к среднему классу, но средний класс оказался перед угрозой исчезновения», – пишет ученый [15].

Если говорить об исчезновении все же преждевременно (к среднему классу относится все еще около 50% населения страны), сжатие и ослабление среднего класса – это тенденция, хорошо заметная фактически во всех западных обществах. «Мечта выбиться в средний класс или в нем остаться для многих остается только мечтой», – констатирует ОЭСР в своем отчете 2019 года. И Франция – одна из стран, где низшие средние классы особенно страдают от роста неравенства и остановки «социального лифта» [7]. Сегодня лишь 20–30% жителей западных стран могут рассчитывать на улучшение условий их жизни. И все остальные прекрасно это поняли.

Левые и правые традиционно предлагали своим избирателям определенные политические проекты и способы их достижения, являлись носителями определенных политических идеалов и опирались на определенные классы общества.

Раньше рабочий и фермер, наемный работник и мелкий предприниматель находились по разные стороны баррикад: одни традиционно голосовали за левых, другие – за правых. Левые защищали права наемных трудящихся, государство всеобщего благосостояния, контроль государства за крупными предприятиями, эмансипацию угнетенных классов; правые – права национального предпринимателя, большую независимость



капитала от государства, консервативные ценности. Но в последние 30–40 лет разница между политикой правых и левых становится все менее ощутимой. И те, и другие ведут согласованную политику, которую Марин Ле Пен называла политикой UMPs, соединив правых UMP (так называлась главная правая партия с 2002 по 2015 год) с левой PS, а философ Жан-Клод Мишеа – принципом «единственно возможного выбора», характерного для неолиберальных обществ: политику последовательной глобализации, от которой страдает низший средний класс, будь то рабочие, бедные пенсионеры, мелкие служащие, фермеры. Будь у власти левые или правые, правительства следуют курсу евроинтеграции и глобальной интеграции, ведя политику, которая очень больно бьет по французской промышленности, всему рабочему классу и государственному сектору как таковому.

«Единственно возможный выбор» оставляет левым и правым, чередующимся у власти, различия чисто декоративного характера. Так, традиционализм и патриотизм правых все меньше находят свое отражение в политике и сохраняется скорее для имиджа. И если сам Шарль де Голль, от чьей партии ведут свое происхождение правые «Республиканцы», еще, бесспорно, был человеком, глубоко привязанным к традициям и национальному суверенитету во всех сферах, то его последователи хотя и называли себя голлистами, были куда менее национально ориентированы. По признанию одного из поздних «голлистов» Николя Саркози, разговоры о национальной идентичности или традициях служат правому движению «красной тряпкой», которой они машут, чтобы раззадорить противников слева и отобрать у них побольше голосов простого люда, который все еще не хочет отказываться от корней и верит в то, что правые более патриотичны, чем левые, и в то, что их противостояние по этому вопросу действительно принципиально. На деле начиная с Жискара д'Эстена французские правые и правопоцентристы – это защитники имущих классов и международного капитала, а не католических традиций, французской самобытности и национального суверенитета.

Что касается левых, то они не просто смирились как с неизбежностью с губительными последствиями неолиберальной глобализации, (в том числе разложением государства всеобщего благосостояния), они сами стали ее проводниками: роль левых правительств в евростроительстве, либерализации рынков, масштабных приватизациях во Франции мало отличается от того, что делают правые.

Постепенно императивы расширения индивидуальных прав и свобод заменяют в этих партиях систематическую критику неравенства и капиталистического строя, а требование защиты интересов трудящихся – то есть народного большинства – хотя и сохраняется на словах, на деле превращается в требование защиты интересов меньшинств. Из партий «народного большинства» левые превращаются в движение за права меньшинств. Такого видения эволюции левого движения у Гильи и многих его коллег, которые полагают, что начиная с конца 1980-х социалисты и социал-демократы западных стран – это «буржуазные и политкорректные левые, отягощенные комплексом вины в отношении меньшинств и менее чувствительные к проблеме социального неравенства, нежели к таким вопросам как экология, аборт, эвтаназия, однополый брак и расовая толерантность» [9].

Таким образом, когда в 2017 году появилось «не левое и не правое» движение Макрона, оно кристаллизовало политику «единственно возможного выбора», оставив правых и левых не у дел. От них остался только фасад, и до сих пор они так и не смогли убедительно перестроить свои программы. Все последующие выборы наглядно демонстрировали кризис классических партий. Их кандидаты не прошли во второй тур в 2017-м, в 2022 году Валери Пекресс от правых набрала 4,78%, социалистка Анн Идальго – 1,75%.

По мнению Гильи, именно разлом между «периферией» (проигравшими в ходе процессов глобализации-модернизации последних 30 лет) и «Метрополией» (выигравшей от нее) объясняет, почему во второй тур выборов и в 2017-м, и в 2022 годах вышли два

кандидата, не принадлежащие традиционным политическим партиям. Схематично говоря, за Марин Ле Пен (33,9% во втором туре 2017-го, 41,45% во втором туре 2022-го) голосовали «низы» и периферия, за Макрона (66,1% во втором туре 2017-го, 58,55% во втором туре 2022-го) – «верхи», метрополисы и те представители редющего среднего класса, которые успешно адаптировались к глобализации и пока защищены от ее негативных последствий (как многие пенсионеры или функционеры), или не хотят ассоциировать себя с проигравшими. Это прекрасно видно по всем электоральным картам, пишет Гильи: Макрон получил лучшие результаты в крупных городах, Ле Пен – в сельской местности, в бедных пригородных зонах, маленьких коммунах. В метрополисах отрыв в пользу Макрона особенно значителен. Так, во втором туре выборов 2022 года действующий президент получил 85,1% в Париже, 84,1% – в Ренне, 81,1% – в Нанте, 80,1% – в Бордо, 79,8% – в Лионе, 78,7% – в Гренобле, 77,6% – в Страсбурге, 77,5% – в Тулузе, 76,7% – в Кане, 76,6% – в Лилле, 76,5% – в Анже, 76,2% – в Руане, 76,2% – в Нанси, 76,2% – в Пуатье [16]. При этом в 18 тыс. из 35 тыс. французских коммун (самая мелкая территориально-административная единица во Франции) победу одержала Марин Ле Пен.

«Успехи Национального фронта у «низов» связаны не с его ориентацией на рабочий класс и его потребности (такой ориентации изначально и не было, партия Жан-Мари Ле Пена скорее апеллировала к мелкой буржуазии), а с тем, что рабочий класс выражает свое несогласие с глобализацией и усилением миграционных потоков, голосуя за эту партию. Симпатии этой категории избирателей объясняют эволюцию Марин Ле Пен последних пятнадцати лет: ультраправый кандидат адаптировала программу и риторику к своему новому электорату. Именно для него она во многом отказалась от экономического либерализма и теперь выступает в роли защитника государства всеобщего благосостояния» [2], – Гильи объясняет почему низы охотнее голосуют за партию Ле Пен, нежели за ультралиевых Меланшона, которые представляют себя выразителями народных чаяний и громко критикуют последствия неолиберальной глобализации, но не ставят под вопрос ее основы – будь то свободное перемещение труда и капитала или трансфер народного суверенитета наднациональным структурам. Низшие классы поворачиваются скорее к Ле Пен, нежели к Меланшону, за которого голосует довольно гетерогенный электорат: мелкая буржуазия, клиенты из этнических меньшинств, интеллектуальный класс. Сегодняшние ультралиевые, по мнению Гильи, – это де-факто часть неолиберальной системы, которая интегрировала в себя все формы протеста, не ставящие ее под вопрос. Так, ультралиевое движение Жан-Люка Меланшона охотно использует коды рабочих движений прошлых десятилетий и апеллирует к народным классам, но последние понимают, что оно куда больше выражает чаяния «буржуазных политкорректных левых, отягощенных комплексом вины в отношении меньшинств», а не народного большинства и его потребности.

Более 13 миллионов избирателей не участвовали во втором туре президентских выборов 2022 года, то есть 28,01% избирателей. Это самый высокий уровень неявки за всю историю страны. С высокой долей вероятности можно предположить, что почти треть избирателей, не явившаяся к урнам, относится скорее к низам, чем к верхам, традиционно более активным на выборах.

Надо сказать, что постоянное снижение явки – еще одна важнейшая характеристика политического процесса в целом ряде демократических стран. По опросу фонда Жана Жореса 2018 года, всего 65% французов верит в честные выборы, а в наиболее бедных слоях – только около половины. По опросам, 63% избирателей в возрасте 18–20 лет вообще не намеревались участвовать в первом туре президентских выборов 2022 года [17]. Комментируя это снижение явки среди молодежи и малоимущих, Гильи утверждает, что оно говорит не о том, что низшие классы всем довольны и потому не считают нужным голосовать. А скорее о том, что они не видят никакого смысла это делать, убежденные, что

политический курс все равно существенно не изменится, что он и дальше будет вестись исходя из принципа «единственно возможного выбора» – выбора в пользу неолиберальной глобализации и всех ее последствий.

Как уже говорилось выше, раскол между двумя Франциями идет, согласно Гильи, не только посредством вытеснения в прямом смысле слова – географического выталкивания на периферию, – но и путем символической дискредитации – вытеснения из центра социума на обочину, социальной стигматизации, лишения статуса.

Ведь, как подчеркивает Гильи, чувство принадлежности к среднему классу основывается не только на определенном достатке, но и на наличии определенного социально-профессионального статуса, восприятию самого себя как достойного представителя общества, носителя национальных ценностей, уважаемого как такового. В «славное тридцатилетие» средний класс был воплощением американского или европейского образа жизни; именно на него и на его ценности должны были ориентироваться прибывавшие в страну иммигранты. Но начиная с 1980-х эти классы постепенно лишаются своего важного символического статуса. На французском телевидении в эти годы расцветает особый жанр – высмеивание среднего класса, создание образа того «быдла», над которым потешается «прогрессивная интеллигенция», глядя на его жизнь в телевизионных реалити-шоу, сатирических комедиях, юмористических передачах [4]. Тогда же в отношении представителей нижних слоев среднего класса появляется прозвище «Дюпон-Лажуа» по названию одноименного фильма 1975 года, изобличающего жестокость, расизм и безнравственность «среднего француза».

Гильи напоминает, что когда в 2016-м Хиллари Клинтон назвала избирателей Трампа «сборищем убожеств» – *basket of deplorables*, это выражение запомнилось, так как оно было весьма показательно для видения элитами народного блока. Что еще более показательно, считает ученый, это то, что элиты больше не чувствуют необходимости скрывать свое презрение.

Deplorables, whitetrash, rednecks, beaufs, ploucs, les petits Blancs (англоязычные и франкоязычные аналоги таких выражений, как «гопники», «ватники», «совки») – удивительная легкость, с которой используются эти выражения, в том числе в публичном пространстве, контрастирует со все меньшей дозволенностью оскорбительной риторики в адрес меньшинств. По мере того как проявления этнического расизма, сексизма или гомофобии становятся все менее позволительными, классовое презрение становится все более раскрепощенным.

По мнению Гильи, вытеснение и дискредитация среднего класса – это последствие превращения французской эгалитарной модели в американскую модель: классовое видение общества заменяется этническим, пролетарии – меньшинствами (будь они сексуальными, конфессиональными или этническими), борьба с неравенством и за более справедливое общество – борьбой со «всеми дискриминациями».

«Под громкие возгласы о “единой и неделимой Республике” и ее ценностях Франция приняла все экономические и социальные нормы глобализации. Смирившись с “единственно возможным выбором” и поправ демократию [имеется в виду игнорирование результатов всенародного референдума 2005 года – *Н.Р.*], она вслед за многими другими обществами мира, совершенно американизировалась, став обществом неравенства и мультикультурализма. От эгалитарной модели мы за очень короткое время перешли к социально поляризованному обществу с высоким уровнем напряженности в отношениях между разными этническими группами. Эти перемены стали настоящей катастрофой для рабочих классов, вызвали беспрецедентный социальный и культурный хаос... Хаос, который воцарился под грохот республиканских фанфар, которые звучат все громче и громче, но все фальшивее и фальшивее», – пишет Гильи [3].

Оказалась разрушенной и французская модель ассимиляции – интеграции новопривывших иммигрантов в общество, которая долгое время работала довольно успешно. Разрушена она была отчасти из-за символической дискредитации среднего класса, о которой говорилось выше. Никто не хочет равняться на *deplorables*, «лузеров» и «ватников», становиться объектом презрения и насмешек. Но главную роль в ее разрушении все же сыграл массовый приток мигрантов, интегрировать которых французское общество оказывается не в состоянии, несмотря на все заявленные намерения и «грохот республиканских фанфар».

В годы миттеранизма кредо «иммиграция – это счастье для страны» стало догмой не только для левых, но для всех политиков, называющих себя приверженцами прогресса, европейских ценностей и идеологии прав человека. Согласно этому кредо, говорить об ограничении иммиграции (которая становится в 1980-х все более массовой и экзогенной (внеевропейской)), беспокоиться о ее последствиях, делить иммигрантов на легальных и нелегальных, экономических и политических, имеющих право находиться в стране и подлежащих высылке – это проявлять как минимум черствость, а скорее даже склонность к расизму и апартеиду. Иммигранты – это всегда «жертвы, нуждающиеся в защите». «Во Франции нет проблемы с иммигрантами, но есть только проблема с расизмом» – этот заголовок левой “*Libération*” 1989 года, равно как и повсеместно транслируемое клише «иммиграция – это удача для Франции», резюмируют позицию, характерную с некоторыми небольшими вариациями для всех политиков-глобалистов, ведущих линию «единственно возможного выбора». Воплощение неолиберального консенсуса, «не правый и не левый» Эммануэль Макрон пришел к власти с этим же лозунгом, требуя от сограждан открытости к иммигрантам, которые являются «безусловным обогащением для страны».

Следует напомнить, что подобное восприятие иммиграции не было свойственно ни социалистам, ни коммунистам вплоть до начала 1980-х. Их отношение к массовой трудовой иммиграции было скорее отрицательным в силу того, что она приводит к социальному демпингу и негативно сказывается на зарплатах трудящихся страны. Вот что говорил по этому поводу лидер коммунистической партии Франции Жорж Марше в 1981 году: «Нужно прекратить как нелегальную, так и легальную иммиграцию. Совершенно недопустимо впускать во Францию все новых трудовых мигрантов, когда наша страна уже насчитывает 2 миллиона безработных – французов и уже обосновавшихся у нас иммигрантов» [18]. Веком ранее самый почитаемый социалистический лидер страны Жан Жорес уже протестовал против «потока иностранной рабочей силы, которая приезжает работать за копейки» [19]. Массовая беспорядочная иммиграция выгодна крупному капиталу, но невыгодна трудящимся страны, считал он.

Сегодня этот постулат не менее, а более актуален. Как пишет Гильи, «если международное разделение труда позволяет снизить затраты на заработную плату, заменив европейского рабочего китайским или индийским, то массовая иммиграция позволяет осуществлять эффективный социальный демпинг для отраслей и услуг, которые невозможно делocalизовать. Потребность в иммигрантах тем более важна, что традиционные рабочие классы больше не живут в крупных городах. Поэтому рынок низкоквалифицированного или неквалифицированного труда в крупных городах в основном обеспечивается иммигрантами, особенно на стройках, в сфере общепита или услуг. Иммиграция также позволяет держать зарплаты на самом низком уровне. Одним словом, в ходу классическая система эксплуатации иммиграции, обеспеченная постоянным притоком новых работников. “*Medef*” (крупнейшая организация бизнес-сообщества Франции) ратует за то, чтобы этот приток не прекращался, с тем чтобы поддерживать постоянную конкуренцию, которая идет уже даже не между “коренными жителями” и “иммигрантами”, а между иммигрантами, приехавшими раньше, и приехавшими недавно. Другая очевидная цель – не допустить роста числа постоянных сотрудников на предприятиях» [3].



В сходном ключе высказывается и известный французский социолог Эммануэль Тодд, который, несмотря на свои левые убеждения и последовательную критику ксенофобии, признает тот факт, что массовая иммиграция создает конкуренцию в первую очередь самим иммигрантам и их потомкам, не позволяя им интегрироваться и получить стабильную, хорошо оплачиваемую работу.

И Гильи, и Тодд критикуют так называемый иммиграционизм элит. Гильи пишет об «опереточном антифашизме», Тодд называет его «альтруизмом, не требующим личных жертв»: «Именно в тот момент, когда французские рабочие классы стали испытывать беспокойство в связи с глобальной миграцией и ростом арабского и африканского населения на территории страны, французская буржуазия и обеспеченные слои неожиданно обнаружили в себе горячую любовь к мигрантам. <...> В обществе, где господствует индивидуализм, скучающий мелкий буржуа больше не имеет никакого последовательного политического мировоззрения. В отсутствие какой-либо идейности, свою идентичность он может определять только «от противного», и потому его единственное стремление – быть непохожим на сторонника Ле Пен. Если тот не хочет принимать дополнительных мигрантов, мелкий буржуа примет их с распростертыми объятиями. <...> Этот новый мелкобуржуазный иммиграционизм имеет прямое и негативное воздействие на возможность найти работу с приемлемой зарплатой для детей иммигрантов предыдущих поколений, которые уже являются французами. Но мелкий буржуа, которому, с одной стороны, хочется показать свою добродетельность, а с другой – дистанцироваться от простолюдина, голосующего за «Национальный фронт», даже не понимает, что жертвами его альтруизма становятся в первую очередь дети североафриканских иммигрантов, а следом за ними – и дети беженцев. Откровенно говоря, нам бы хотелось, чтобы его альтруизм требовал немного больше жертв с его стороны, чтобы ему приходилось лично за него расплатиться, что возможно заставило бы его задуматься о последствиях его щедрости» [6, с. 270–271].

В свою очередь Гильи указывает на то, что именно представители низовой Франции, в том числе французы иностранного происхождения, отвергают «иммиграционизм» элит и требуют контроля за миграционными потоками. Они видят, что неконтролируемая иммиграция подрывает возможности государства всеобщего благосостояния, и сталкиваются с целым рядом проблем – будь то в сфере образования, здравоохранения, безопасности, трудоустройства. Думать, что французы иностранного происхождения желают постоянного притока новых иммигрантов – наивное заблуждение, считает Гильи. Малообеспеченные слои населения отказываются всерьез воспринимать призывы к проявлению открытости и толерантности, исходящие от тех, кто на деле практикует сегрегацию. Толерантность и открытость обеспеченных классов сводится к тому, что они нанимают на работу няню, уборщицу или шофера родом из Африки. В то время как бедные классы оказались в среде, где их культурная модель, образ жизни и безопасность поставлены под вопрос стремительным и неконтролируемым изменением состава населения. Как и в англо-саксонском мире, результатом массовой миграции становится не смешение и быстрая интеграция, а компактное расселение разных народностей по этнокультурному признаку. Chinatown, Little Africa, Little India – многие районы Парижа и других городов Франции воспроизводят модель современного мегаполиса, будь то Нью-Йорк, Лондон или Брюссель [4].

В условиях, когда верхи не хотят или не могут контролировать иммиграцию, низы вынуждены приспосабливаться к ней и во избежание лобовых столкновений и конфликтов практиковать «социальное избегание», то есть, по возможности, раздельное проживание и функционирование различных этнокультурных общин. Whiteflight, Chineseflight, Arabflight, Jewishflight – так называют социологи эту стратегию обособления, которую практикует совсем не только коренное белое население, бегущее из районов, стремительно меняющих свой облик, но и представители остальных общин. Когда нет контроля за внешними

границами, люди строят границы внутренние, защищая свою идентичность и свой образ жизни так, как могут. И, по словам Гильи, народные классы проявляют здесь мудрость и сдержанность, всячески избегая конфликтов, так как понимают, что от «войны всех против всех», которой периодически угрожают вызывающие к толерантности и открытости элиты, пострадают именно они – низы общества.

Ни для кого уже не секрет, пишет Гильи, что риторика открытости и толерантности позволяет привилегированным слоям навязать другим свое «моральное превосходство» и служит удобной ширмой, чтобы надежнее укрыться в своих гетто для богатых. «Открытое общество» (“Open Society”) – это самый большой “фейк-ньюз” последних десятилетий. Прогрессивная буржуазия XXI века намерена держать народ на расстоянии и не хочет принимать во внимание его нужды. Задача этих новых всемирных элит – наслаждаться благами глобализации без каких-либо национальных, налоговых, культурных – а завтра и, возможно, биологических – ограничений». Не “open society”, а “no society” – вот истинный проект правящих классов, которые оторвались от остального общества, с которым их мало что роднит, пишет Гильи в работе под заголовком “No Society” [4, с. 104], пожалуй, самой яркой работе автора, которую упрекают в том, что она носит характер манифеста и недостаточно опирается на статистические данные.

Отметим, что в своей критике «постнациональных элит» Гильи не новатор. Оторванность западных элит мира от национальной почвы, их наднациональный глобальный характер ранее отмечали такие исследователи как Кристофер Лэш или Джозеф Боттэм, говоря о США, или Матье Бок-Коте – о Канаде.

Британский публицист Дэвид Гудхарт называет их «людьми отовсюду» – *people from anywhere* [8], которые легко адаптируются к любой среде благодаря «мобильному» культурному капиталу, английскому языку и космополитизму. Он противопоставляет им «людей отсюда», *people from somewhere*, народные классы, которые мало перемещаются как в силу экономических, так и культурных ограничений, и которые куда сильнее привязаны к месту жительства, национальной или региональной идентичности, к своей среде. Социолог Зигмунт Бауман в свою очередь говорил о том, что англо-саксонское общество разделилось на мобильное и неподвижное. Последнее привязано к месту жительства и обречено на остракизм, превращение в париев [10].

Как «обездоленные» определяются не только и не столько уровнем дохода, сколько отчужденностью от «повестки», так и буржуазия у Гильи – это не только и не столько уровень дохода, сколько приверженность определенным кодам, активное участие в формировании доминирующего в публичной сфере дискурса (иногда эта группа обозначается в западной публицистике как “*talking classes*”), высокий уровень социальной и культурной интегрированности. Подобные коды всегда существовали у имущих классов, напоминает Гильи; сегодня среди «прогрессивных» установок, по которым буржуазия распознает «своих», можно назвать космополитизм, порой доведенную до абсурда политкорректность, мультикультурализм, «опереточный антирасизм», еврооптимизм, экологизм или неофеминизм. Те, кто их не разделяет или критикует, объявляются расистами, сексистами и экологически безответственными гражданами.

Процесс отдаления западных элит от масс, потери связи с народным большинством и некой ответственности перед ним является, таким образом, одним из важнейших процессов, характеризующих современность. Как пишет Кристофер Лэш в своей работе «Восстание элит и предательство демократии»: «Войны культур, которые сотрясали Америку с начала 60-х гг., лучше понимать как форму классовой борьбы, в которой просвещенная элита (как она думает о себе) не столько стремится навязать свои ценности большинству (большинству, которое в их восприятии существует как непоправимо расистское, сексистское, провинциальное и ксенофобное) и еще того меньше – убедить большинство посредством



апеллирующей к рассудку общественной дискуссии, сколько создать параллельные, или “альтернативные”, учреждения, внутри которых более не придется сталкиваться с непро-свещенными вообще» [11].

Эту «прогрессивную», элитную идеологию, которую Гильи в шутку называет «ми-ровоззрением Нетфликс» (Эммануэль Тодд, говоря ранее о торжестве неолиберального мышления, именовал его “*pensée zero*”, что можно вольно перевести как «ничтожномыс-лие»), разделяют, в большей или меньшей степени, 20–30% тех, кто поддерживает нынеш-нюю модель глобализации. По словам ученого, приверженность единому мировоззрению консолидирует элиты в не меньшей степени, чем общие материальные интересы [20].

Важность идеологической составляющей в цементировании блока элит подчер-кивает еще один видный французский мыслитель Марсель Гоше (который требует ста-вить термин «элиты» в кавычки, ибо французские элиты, по его словам, себя полностью дискредитировали): «Я хотел бы подчеркнуть существенное отличие блока низов от блока элит. Цементом лагеря элит является в большей степени идеология, нежели социально-экономическое положение. В этом лагере объединились те, кто хочет чувствовать себя «людьми своего времени», идущими в ногу с прогрессом, кто ассоциируют себя с победи-телями глобализации, даже если на деле это не так» [21]. Благодаря наличию этих «скреп», элиты мобилизуются для защиты своих интересов намного лучше, чем «низы», у которых нет никакой объединяющей идеи, кроме недовольства их условиями жизни.

Гильи, которого можно упрекнуть в чрезмерной идеализации народа и доведенных до крайности неприязни и презрения к элитам, признаёт, что у тех, кого он называет «на-родное большинство», действительно нет единой идеологии или четкого классового со-знания, имевшегося у рабочего класса в XX веке.

Несмотря на это, Гильи убежден в том, что народное большинство существует как некая общность, объединенная чувством социального и культурного отчуждения, волей его преодолеть, добиться признания легитимности своих требований, выйти из тени. Но-вые обездоленные вряд ли захватят Бастилию, пишет Гильи, имея в виду, что все типы протеста, инициируемые профсоюзами, партиями или системными левыми движениями не приведут к каким-либо значительным изменениям в пользу большинства. Поэтому, счи-тает он, низы не видят возможности добиться перемен, голосуя за эти партии. Но их про-тест может принимать новые радикальные формы [2].

Ярким примером такого протеста стало для исследователя движение «Желтых жи-летов», возникшее осенью 2018 года, после того как правительство Эммануэля Макрона заявило о своем намерении поднять налоги на дизельное топливо, и продолжавшееся много месяцев подряд. Для Гильи «Желтые жилеты» и есть та самая периферийная глу-бинная Франция, о которой он писал уже много лет и которая отчетливо заявила о себе.

Это движение уникально не только по своим масштабам, оно не поддается политической классификации. Не похожее на забастовочные и иные движения прошлых лет, оно шло под иными лозунгами. Огромная часть протестующих – люди аполитичные, прямо-демонстранты, никогда ранее не участвовавшие в политических движениях или забастовках.

Костяк движения – это низший средний класс: те, кто работает, но получает невы-сокую зарплату и платит много налогов. Это те, кто находятся чуть выше, чем за чертой бедности. Те, кто недостаточно бедны, чтобы получать различные субсидии и поблажки, но кто не имеет достаточного состояния и наследия, чтобы получать с него дивиденды, и кто существует только благодаря своему труду или своей пенсии. Это по-настоящему народное движение «маленьких людей», которым все труднее сводить концы с концами. Это сельская Франция или Франция небольших коммун, которая рано встает и ежеднев-но нуждается в своем автомобиле, так как живет фактически в изоляции. Это Франция,

которая все больше страдает от исчезновения государства всеобщего благосостояния, деиндустриализации и запустения целых регионов, где закрываются школы, медицинские кабинеты, магазины, почтовые отделения, где пустеют городские центры и стремительно исчезают рабочие места. «Желтые жилеты» символизируют новый рабочий класс в широком смысле слова: мелкие служащие, индивидуальные предприниматели с небольшим и нестабильным доходом, поденщики, медсестры, фермеры, сиделки, кассиры, дальнбойщики, и т.д.

Это движение несводимо к протесту против налога на бензин. Восстановление покупательной способности действительно было одним из главных лозунгов демонстрантов. Но этот лозунг вписывается в более глобальное обращение «низов», которые говорят «верхам»: «Мы больше не можем жить по-старому!». И Гильи, и множество других наблюдателей восприняли движение именно так. Они также видят в движении «Желтых жилетов» стремление низов выйти из изоляции, из забвения, восстановить утраченные социальные связи и достоинство, ощутить себя частью общего движения, проявить солидарность, почувствовать себя единым народом. Группы «жилетов» часто выходят с французскими флагами и поют «Марсельезу». Те, кто был «никем», попадают в свет прожекторов, обретают политическую реальность.

Если вспомнить, что самым популярным лозунгом «Жилетов» был RIC – Референдум Гражданской Инициативы и что с их стороны регулярно звучало требование большей демократии и критика современной системы как несправедливой, недемократической и олигархической, то видение движения как широкого низового протеста представляется верным. В «Желтых жилетах» можно также увидеть отзвук широкого гражданского движения за отказ от европейской Конституции на референдуме 29 мая 2005 года. Тогда за «нет» действительно высказалось большинство французов, но французские политики фактически проигнорировали их мнение, ратифицировав текст Конституции в парламенте в том же году почти без изменений. Кристоф Гильи, проводивший опросы в 2005-м, уже тогда указывал на то, что за европейскую интеграцию голосуют жители метрополий, а против – периферийная Франция [1]. Этот разлом четко наметился уже при голосовании за Маастрихтский договор в 1992 году.

Согласно французскому политику и философу Мари-Франсуаз Бештель, 2005 год был последним моментом, когда французы весьма активно участвовали в политической кампании. Однако после референдума они поняли, что участие в политических процессах бессмысленно, так от него мало что зависит. Собственно, это был последний в истории Пятой Республики референдум. 2005 год – очень важная веха в истории современной Франции; это дата, когда становится очевидным, что политика «единственно возможного выбора» будет вестись, хотя бы этого избиратели или нет.

В 2018 году большинство французов поддержало движение «жилетов» – ту Францию, которая «воняет дизелем и дешевым табаком», как выразился о «Желтых жилетах» представитель президента Бенжамен Гриво. «Ворчливая, косная, грубая, вульгарная, старая, вечно недовольная, гнилая, суверенистская Франция» – как описал митингующих обозреватель Лоран Сагалович [22], дав французский аналог *basket of deplorables* Хиллари Клинтон. Те самые, что «неправильно» голосуют, отдавая свои голоса Трампу, Ле Пен, Земмуру, Сальвини, Орбану и так далее... Или не голосуют вовсе, потому что не видят в этом смысла.

Не выражая никакой симпатии политикам, именуемым популистами, Гильи не присоединяется к шумной критике тех, кто возмущается «лепенизацией», «земмуризацией», «трампизацией» умов, подразумевая, что достаточно отделаться от Трампа, Ле Пен, Земмура (а также Орбана, Сальвини, Качиньского и так далее), как их идеи растворятся в воздухе и все «вернется в норму». Согласно Гильи, протестная волна, охватившая такое

количество демократий, это не результат пропаганды или особых талантов нескольких демагогических трибунов.

И Трамп, и Грилло, и Сальвини, и Ле Пен, и Орбан, и другие «популисты» не стоят у истоков идей, которые они транслируют. Повестку формируют не они, она формируется снизу; они лишь улавливают дух времени и запросы значительной части общества. Нынешние трудности либеральных демократий, мешающие им функционировать как хорошо отлаженному механизму, вызваны целым рядом глубинных причин, связанных с глобализацией и протестом против политики правящих классов, пишет географ.

Столь беспокоящий элиты подъем популизмов по всему мир говорит о том, что народное большинство существует и что оно больше не ориентируется на элиты, которые отныне «вещают перед пустыми залами». Что оно требует иной политики, чем политика единственно возможного выбора. Что оно устало от «прогрессивной» идеологии, которую не принимает всерьез. Комментируя итоги выборов ноября 2024 года в США, Гильи напомнил свои давние аргументы, заявив, что избрание Трампа – это реакция на многолетнее игнорирование и остракизм в отношении народного большинства. Которое больше не желает мириться с удручающим существованием, описанным Джей Ди Вэнсом в «Элегии Хиллбилли», и быть объектом жалости и презрения.

Суверенитет, протекционизм, сохранение общественных услуг, отказ от неравенства, регулирование миграционных потоков, границ (которое не имеет ничего общего с расизмом и нетолерантностью), все это общие требования народных классов в любой стране мира, считает Гильи [4]. По словам которого, жители разных стран Запада поворачиваются к «популистам», так как в отличие от своих элит они видят необходимость в защите границ. И в защите внутренних национальных законов. Во французской юридической традиции государство видится в первую очередь как гарант индивидуальных свобод, а не как угроза для оных. Так, Монтескье определял политическую свободу как «душевное спокойствие гражданина, происходящее из его мнения, что правительство не только подчиняет его, но и гарантирует, что он может не бояться другого гражданина». Безопасность и уверенность гражданина в своей безопасности являются, таким образом, важной составляющей политической свободы.

Голосуя за «популистов», жители многих стран напоминают своим правителям, что те были избраны, чтобы защищать, в первую очередь, безопасность и интересы своего государства и его граждан, а не для того чтобы заниматься международной благотворительностью или моральными назиданиями. «Все эти ультраправые движения, которые множатся повсюду, – это не что иное как требование вернуться к политике», – пишет Марсель Гоше [23].

Это требование осознать свою территориальную обособленность и принимать решения, опираясь на волю национального большинства, которая зачастую не совпадает с устремлениями и ценностями других народов. Это стремление сохранить национальную общность, где «Я» – это часть «Мы»; национальную солидарность, которая исчезает во все более атомизированных обществах все более глобализованного мира. Ослабление среднего класса в западных демократиях нарушило общественное равновесие, привело к росту конфликтности и напряженности, противостоянию народного блока и блока элит.

Неолиберальный консенсус базируется на постулате, что общества как такового не существует (вспомним тэтчеровское *there's no such thing as society*), что существуют только отдельные индивиды, что нет никакой воли большинства, только разнонаправленные воли индивидов и меньшинств, и что нынешняя «рыночная демократия» безальтернативна, так как является лучшим из возможных общественных устройств.

Наперекор этому постулату “no alternative, no society, no majority” Гильи объявляет, что большинство существует и постепенно консолидируется. Оно существует в реальности, которая радикально отличается от той, в которой живут победители глобализации.

Оно существует все дальше от метрополисов, офисов крупных предприятий, а ментально – все дальше от элит.

По словам Гильи, для «верхов» формирование народного большинства, осознающего свои интересы, это очень плохая новость. Оно выражается в приходе к власти популистов или мощных протестах против «системы», происходящих в разных частях света. Они расшатывают неолиберальную модель мироустройства и кладут конец культурной гегемонии западных элит.

В течение нескольких десятилетий последние успешно навязывали экономическую модель и систему представлений, игнорировавшие интересы и ценности народных классов. Тем самым они сильно оторвались от реальной жизни, которая идет своим чередом и уже без оглядки на элиты.

«Идеология метрополисов» на глазах теряет легитимность, пишет Гильи. Контроль за мировыми процессами уходит в «Хартлэнд» – Гильи использует этот геополитический термин Маккиндера¹, говоря о вытесненном на периферию мировом большинстве, которое будет, на его взгляд, высказывать свои требования все более громко и формировать повестку грядущих десятилетий. У элит есть две возможности, считает ученый, – прислушаться к этим требованиям, вернуться к почве и к реальности, или же быть сметенными со сцены истории. Таким образом, дихотомия метрополия – периферия, применяемая к внутренним процессам, проецируется и на внешние. Будущее принадлежит сторонникам многополярного мира, считает Гильи, и новые поколения западных элит должны это учесть.

На что будет похожа новая повестка? По мнению Гильи, существенные изменения в социальной географии и желанны, и неизбежны. Это конец метрополизации и мегаломании – постоянного роста больших городов, бездумной и безудержной урбанизации, гипермобильности, гиперпотребления, возможного благодаря делокализациям и международному разделению труда.

С лозунгом “big is beautiful”, похоже, покончено. Теснота, загрязнение воздуха, рост этноконфессиональной напряженности, цены на жилье и услуги, время в транспорте и ограничение доступа для автомобилей, проблема безопасности – большие города стали неудобными, малоприспособленными для жизни семей. Географы называют эту комбинацию факторов «шкала невыгодности». Сочетание всех этих «невыгодностей» уже приводит к тому, что многие семьи покидают крупные города и ищут возможности обосноваться вдали от них. Рост крупных городов замедлился вопреки более ранним прогнозам.

Призывы к ограничению гипермобильности, релокализации, созданию более коротких цепочек снабжения, поддержанию местного сельского хозяйства и промышленности, отказу от гиперпотребления, от международного разделения труда в его нынешнем виде и от ряда правил международной торговли не обусловлены пассажем и идеализацией архаики. Напротив, всего этого требуют экономические, экологические и социальные императивы завтрашнего дня.

Соответствующая этим императивам общественная модель должна ориентироваться на достижение большей социальной справедливости, на более справедливое перераспределение имеющихся богатств и ресурсов, а не на экономический рост любой ценой. Гильи предупреждает, что такие меры как безусловный базовый доход или некоторое увеличение пособий не принесут здесь пользы. Консолидация общества и единение классов не могут произойти в результате «подачки», которую и представляет собой безусловный базовый доход. Не случайно инициативы по его введению исходят, как правило, от миллиардеров планеты, для которых введение этого пособия – возможность «откупиться» от

¹ «Осью истории», или Хартлендом Хэлфорд Маккиндер в 1904 году назвал массивную северо-восточную часть Евразии, которая за счет своих ресурсов имеет решающую роль в мировых процессах.

малоимущих, не меняя в корне нынешней системы. Во Франции народные классы привязаны к государству всеобщего благосостояния и болезненно переживают стремительное ухудшение сферы государственных услуг. По словам Гильи, они хотят сохранения качества этих учреждений – будь то здравоохранение, образование, транспорт, полиция, а также сохранения и создания рабочих мест. Безусловный базовый доход никак не решает эти проблемы. Наконец, он не удовлетворяет фундаментальную потребность человека получать деньги за честный труд, а не пожизненное пособие по безработице в отсутствие рабочего места и перспективы его когда-нибудь обрести.

В размышлениях Гильи можно увидеть ссылки на понятие “common decency” Джорджа Оруэлла, которое можно перевести как «элементарная порядочность» и которая, по мнению английского писателя, органично, на интуитивном уровне более свойственна простому люду, нежели интеллектуальной элите, которая любит «деконструировать» представления о “common decency” как косные, вредные, стереотипные и т.п. Исходя из “common decency”, совершенно очевидно, что получать универсальный доход в обмен на «ничего-не-делание» – это не то же самое, что получать зарплату, даже небольшую, в обмен на работу. Работающий находится в позиции активного члена общества, получающий базовый доход – в позиции иждивенца. Работа интегрирует человека в общество и создает социальные связи; тогда как хобби, которым можно предаваться при наличии универсального дохода, развлекают атомизированных индивидов.

В целом дисбаланс сложившейся территориальной модели – метрополия vs периферия – говорит о кризисе западной общественной модели как таковой: она неспособна создать функциональное жизнеспособное общество с высоким уровнем сплоченности. Осознание того, что общественное здание все больше расшатывается, постепенно доходит до тех, кто еще вчера чувствовал себя защищенными от негативных последствий глобализации, будь то молодые специалисты, госслужащие, пенсионеры. Это необратимый процесс, который, уверен Гильи, приведет к смене экономической и политической парадигмы.

Восстановление связи элит со своими народами должно произойти посредством возвращения в культурные, политические, территориальные рамки своих наций, реабилитации идей государства-нации и национального суверенитета, которые были преждевременно отправлены на «свалку истории» адептами глобализма.

Не будучи членом какой-либо партии, Гильи неоднократно выступал с критикой ЕС, чьи учреждения исторически выполняют роль катализатора процессов глобализации. В марте 2017 года Гильи вместе с рядом других ученых, политиков и журналистов подписал следующий призыв: «Супранациональная Европа обернулась провалом: вернем полномочия нациям». Вот что пишут авторы: «Brexit... должен заставить нас пробудиться от долгого сна, отказаться от политических иллюзий, которыми мы себя тешили... С момента основания единая Европа демонстрировала презрение и недоверие к народам; технократы из Еврокомиссии служат тому, чтобы сводить на нет все народные движения и порывы. Сегодня, шестьдесят лет после подписания Римского договора, заложившего основу ЕЭС, этот изначальный дефект договора между народами Европы и ее политическими институтами стал очевидностью. Поэтому этот договор должен быть полностью пересмотрен – исходя из тех требований, что выдвигают все более разочарованные единой Европой народы: требований демократии, процветания и независимости. Сегодня мы призываем главы государств и правительств Франции, Германии и Италии инициировать учреждение нового союза: он будет состоять из стран с наибольшим населением и ВВП. Идея заключается в том, чтобы созвать учредительную конференцию – почему бы не в Риме, – которая заложит основы нового союза... Эта конференция должна заново определить призвание

основных институтов ЕС... Она также определит сферы, в которых будут осуществляться полномочия союза» [24].

Для Гильи и ряда других мыслителей и политиков, возвращение к национальной демократии – это не только путь для выхода из тупиковой модели “no society”, сосуществования атомизированных индивидов, но и единственно возможный способ выстроить экологически, социально и политически устойчивую модель развития человечества. Таким образом, воссоздание утраченных общественных связей – не вопрос альтруизма и «милости к обездоленным», а вопрос необходимости, пишет он. От способности вовремя инициировать перемены, консолидироваться вокруг определенных национальных ценностей зависит выживание обществ в мире, где идет пересмотр глобальных ценностных, экономических, культурных иерархий и активный поиск альтернативы неолиберальной глобализации и постдемократическому обществу.

Литература

1. *Guilluy C., Noyé C.* Atlas des nouvelles fractures sociales en France: Editions Autrement. Paris, 2004. 63 p.
2. *Guilluy C.* La France périphérique: Comment on a sacrifié les classes populaires. Paris: Flammarion, 2014. 192 p.
3. *Guilluy C.* Le crépuscule de la France d'en haut. Paris: Flammarion, 2016. 252 p.
4. *Guilluy C.* No Society. Paris: Flammarion, 2018. 242 p.
5. *Guilly C.* Les dépossédés L'instinct de survie des classes populaires. Paris: Flammarion, 2022. 204 p.
6. *Todd E.* Les luttes de classes en France au XXIème siècle. Paris: Seuil, 2020. 366 p.
7. Under Pressure: The Squeezed Middle Class // OECD. 01.05.2019.
8. *Goodhart D.* The Road to Somewhere. London: C. Hurst & Co Publishers Ltd., 2017. 256 p.
9. *Boucher M.* La gauche et la race: Réflexions sur les marches de la dignité et les antimouvements décoloniaux. Paris: L'Harmattan, 2018. 284 p.
10. *Бауман З.* Глобализация: последствия для человека и общества. М.: Весь мир, 2004. 188 с.
11. *Лэш К.* Восстание элит и предательство демократии. М.: Логос, 2004. 224 с.
12. *Izard L.* La France vendue à la découpe. Paris: L'Artilleur, 2019, 320 с.
13. Mitterrand et le tournant libéral: y avait-il une alternative // Regards.fr. 26.10.2016.
14. Christophe Guilluy: “Ce qui est frappant, c'est le calme absolu des catégories populaires” // Europe 1. 02.11.2022.
15. Christophe Guilluy: La classe moyenne n'existe plus // France Culture. 09.11.2018.
16. En cartes, la France de Macron, celle de Le Pen et celle de l'abstention // Le Monde. 25.04.2022.
17. SONDAGE. Présidentielle 2022: Macron, Le Pen et Zemmour en tête des intentions de vote des 18-30 ans // Journal du dimanche. 11.12.2021.
18. *Марше, Жорж.* Речь у Portede Pantin 9 января 1981 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/georges-marchais-immigration-analyse-pascal-perrineau>
19. *Жорес, Жан.* Речь 17 февраля 1894 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://lvsl.fr/jean-jaures-pour-un-socialisme-douanier/>
20. Christophe Guilluy: “La dépossession des classes populaires est le plus grand plan social de l'Histoire” // Marianne. 20.10.2022.
21. Marcel Gauchet et Jérôme Sainte-Marie: y-a-t-il un clivage droite/gauche ou un affrontement bloc contre bloc? // FigaroVox. 05.11.2021.
22. *Sagalovitsch, Laurent.* Gilets jaunes: le retour du Français moyen, tris moyen // Slate. Fr. 19.11.2018.
23. L'Union européenne a accru nos problèmes, entretien avec Marcel Gauchet // L'arène nue: Blog. 30.05.2016.
24. Tribune. La supranationalité a échoué, faisons confiance aux nations // Le Figaro. 23.03.2017.



Аннотация. Статья посвящена творчеству французского социального географа Кристофа Гилли (р. 1964) и в первую очередь его концепции «периферийной Франции», в которой он описывает процессы географической, экономической, политической и символической маргинализации социальных категорий, ранее составлявших средний класс. Гилли ищет структурные причины повсеместного подъема протестных движений, получивших название популизмов, будь то Брексит, движение «Желтые жилеты», движение в поддержку Трампа и т.д. Разработанные исследователем понятия «периферийная Франция», «метрополизация», «метрополис-цитадель», «социальное избегание», «республиканские фанфары» получили широкое распространение в публичной сфере. Несмотря на существующую критику некоторой схематичности концепций Гилли и чрезмерной полемичности тона, его работы, по мнению автора статьи, весьма полезны для понимания общественно-политической эволюции не только Франции, но и других стран Запада последних 40 лет.

Ключевые слова: Кристоф Гилли, периферийная Франция, элиты, средний класс, глобализация, популизм, национальная демократия.

Natalia A. Rutkevich, PhD in Philosophy, Journalist, Political Scientist, French Politics and French Policy Studies. E-mail: nroutkevitch@yahoo.fr

Christophe Guilluy: Studies of New Splits in French Society. Metropolitan Country vs Outlying Districts

Abstract. The article is devoted to the work of the French social geographer Christophe Guilluy (born 1964) and most of all to his concept of "peripheral France", which describes the processes of geographical, economic, political and symbolic marginalization of social categories that previously constituted the middle class. Guilluy searches for the structural causes of the widespread rise of protest movements called "populisms", whether it's about Brexit, or the "Yellow Vests" movement, the pro-Trump protesters movement, etc. The concepts of 'peripheral France', 'metropolitanisation', 'metropolis-citadel', 'social avoidance' and 'republican fanfare' developed by the researcher have been widely used in the public sphere. Despite the existing criticism of certain sketchiness of Guilluy's concepts and excessive polemical tone, his works, according to the author of the present article, are very useful for the understanding of the social and political evolution not only in France, but also in other Western countries over the last 40 years.

Keywords: Christophe Guilluy, Peripheral France, Elites, Middle Class, Globalization, Populism, National Democracy.

«Французы любят величие, которое они ощущали благодаря своему государству»

Интервью Наталии Руткевич с Бертраном Ренувеном

Бертран Ренувен (р. 1943) – основатель и лидер “Nouvelle action royaliste” («Новое роялистское действие», далее NAR), французского монархического движения, возникшего в 1971 году, первоначально под названием “Nouvelle action française” («Новое французское действие»), после откола от “Action française” («Французское действие») – движения, созданного в 1899 году Шарлем Моррасом. В среде монархистов, которых в сегодняшней Франции осталось совсем немного, NAR является довольно атипичным явлением. В отличие от других сторонников возвращения монархии, в большинстве своем правых традиционалистов, NAR всегда было движением скорее левого толка, защищая требования социальной справедливости, поддерживая многие республиканские институты и борясь с ксенофобией.

Выступая за установление во Франции конституционной монархии по образцу современных европейских монархий, члены NAR утверждают, что преодолевают противоречие между монархией и республикой, что они являются одновременно наследниками Жана Бодена, либеральных монархистов (monarchiens), Французской революции и голлизма, сторонниками Декларации прав человека и гражданина и Конституции 3 сентября 1791 года (подписанной Людовиком XVI и утвердившей конституционную монархию в стране). В экономике движение придерживается дирижизма в традициях кейнсианства, во внешней политике выступает против атлантизма. Эти взгляды сближают его с левыми голлистами.

В 1974 году Бертран Ренувен участвовал в президентских выборах, предлагая в случае избрания ратовать за возвращение монархии и вступление на престол наследника орлеанской династии – графа Парижского. В первом туре он занял десятое место (из двенадцати), набрав 0,17% голосов.

Регулярная критика Ренувеном правых партий и политиков, включая Валери Жискара д’Эстена (UDF), его отдаление от традиционных монархистских кругов и отказ призывать голосовать против социалиста Франсуа Миттерана вызвали недовольство ряда членов монархического движения и их уход из NAR.

Движение участвовало в муниципальных выборах в Париже в 1977-м и в парламент в 1978 году. На выборах 1981 года партия Ренувена подтвердила свое левое позиционирование, открыто поддержав Франсуа Миттерана. Став президентом, последний

Руткевич Наталия Алексеевна, кандидат философских наук, журналист-политолог, франковед.
E-mail: nroutkkevitch@yahoo.fr

Ренувен, Бертран, французский политический деятель, основатель и лидер “Nouvelle action royaliste” французского монархического движения.

назначил Ренувена советником в Экономический и социальный совет¹, что позволило NAR расширить свою аудиторию, а самому Ренувену – принять активное участие в политической работе и консультациях на высшем уровне по таким вопросам как развитие франкофонии и связи с постсоветскими странами. В начале 1990-х Ренувен, будучи членом Совета, посвятил три года поездкам по странам постсоветского пространства для подготовки докладов о культурном единстве европейского континента и экономических реформах в постсоветской Европе. Эти проекты были элементом более глобальной стратегии Миттеррана по созданию широкой европейской конфедерации, которая, по плану президента Пятой Республики, должна была включать Россию и все постсоветское пространство. В эти годы Ренувен завязал множество знакомств в различных странах бывшего СССР, куда регулярно возвращается и по сей день.

В годы югославских войн Б. Ренувен, хорошо знавший Югославию еще с 1970-х, неоднократно осуждал официальную позицию Франции, западную политику на Балканах и освещение балканских конфликтов французской и европейской прессой.

В 2002 году NAR поддержала на президентских выборах кандидатуру Жан-Пьера Шевенмана. На референдуме в мае 2005 года NAR выступала против Договора о европейской Конституции. На выборах 2012 и 2017 годов призывала голосовать за суверениста Николя Дюпон-Эньяна.

В течение многих лет NAR издает собственную газету “Royaliste” и регулярно устраивает встречи с различными мыслителями, приглашенными представить результаты своих исследований и обменяться с публикой в лучших традициях французского интеллектуального дебата. Бертран Ренувен является организатором и ведущим этих встреч.

– Как вы стали роялистом? Связано ли это с семейным наследием?

– Я стал роялистом, когда мне было около пятнадцати лет, ввиду моих личных убеждений, но также и в память о моем отце, который был роялистом до войны и оставался им во время Сопротивления [речь о Жаке Ренувене, герое французского Сопротивления, схваченном Гестапо в 1943 году и погибшем после длительных допросов и пыток в концлагере Маутхаузен в 1944 году – Н.Р.]. В остальном моя семья никак не одобряла мое увлечение роялизмом да и в целом любые формы политической ангажированности. В пятнадцать лет мои представления о монархии были довольно поверхностными. Помню, что она всегда была связана для меня с идеей социальной справедливости, с образом Святого Людовика.

Главным движением французских монархистов в те годы была “Action française”. Так что мои изначальные убеждения сформировались на основе идейного наследия Шарля Морраса. Но уже в 1971 году мы с рядом однопатийцев отделились от AF и создали движение, которое сначала называлось “Nouvelle action française”, а затем – в 1978 году – было переименовано в “Nouvelle action royaliste”.

– Шарль Моррас был не только создателем “Action française”, но и виднейшим политическим мыслителем начала века. Что представляет собой монархизм Морраса и почему вы отказались от него?

– Шарль Моррас создал крайне своеобразное видение монархии, некий артефакт, который был далек от реальной истории Франции. Его девиз – наследственная, традиционная, антипарламентская и децентрализованная монархия – это наслоение неких вымышленных характеристик. Монархия во Франции не была наследственной. Наследственность

¹ Национальная консультативная ассамблея для обеих палат парламента и правительства страны. Совет призван консультировать правительство и участвовать в выработке экономической и социальной политики, привлекать общественные и профессиональные объединения к выработке государственной политики, способствовать установлению диалога между различными социальными и профессиональными группами.

относится к наследованию частной собственности. Во Франции же действовал закон о престолонаследии, что не то же самое.

Традиционная монархия – это может значить все что угодно. Французская монархия не всегда была абсолютистской. Таковой не была ни средневековая монархия, ни парламентская монархия, образовавшаяся после реставрации в 1814 году. Бессмысленно говорить и об антипарламентской монархии, ведь парламенты существовали уже при Старом режиме, хотя играли совершенно иную роль, чем парламент, который возник после Французской революции.

Что касается «децентрализованной монархии» – это тоже нонсенс, потому что династия Капетингов, напротив, стремилась объединить Францию, создать единое государство. Децентрализация касалась лишь отдаленного наследия феодализма – отличий некоторых провинций, присоединенных в результате бракосочетаний или войн. И после Французской революции правительства стали принимать меры по унификации страны и стиранию этих различий.

Так что монархия, описываемая Моррасом, была искусственной конструкцией. Его видение отмечено печатью национализма, который развился в конце XIX века на руинах либерального монархизма, возникшего в ходе периода Реставрации – монархии 1814 года и Июльской монархии, возникшей после революции 1830 года. Соответственно, все представления, полученные мной в “Action française”, были в высшей степени идеологизированными, имели мало общего с историей страны и отражали некоторые личные предубеждения или литературные фобии Морраса, в частности по отношению к Шатобриану и некоторым другим авторам.

Поначалу я воспринимал все эти идеи с большим энтузиазмом. Но когда по окончании лицея поступил в Институт политических исследований Парижа (Sciences-Po), то открыл для себя политическую экономию (испытывавшую на тот момент сильное влияние кейнсианства), а также конституционное и административное право, то в моем сознании произошел перелом. Идеи, перенятые мной от “Action française”, шли вразрез с тем, что я узнавал из лекций профессоров, которые были высокопоставленными государственными служащими, а значит, имели опыт, которого не было у последователей Морраса. Это ускорило разрыв с ними и мое переосмысление капетингской традиции. Я и мои соратники очень близко сошлись с графом Парижским – Генрихом Орлеанским (претендентом на французский трон от орлеанистов), который играл важную политическую роль до войны и во время войны. Он также поддерживал отношения с генералом де Голлем. Поэтому мы связались с голлистами, голло-монархистами, и с тех пор голлизм является одним из важнейших элементов нашего движения “Nouvelle action royaliste”.

– Шарль Моррас и “Action française” оставили важный след в политической и особенно интеллектуальной истории страны. Что сохранилось от идей моррасизма в NAR и во Франции в целом?

– Моррасизм был отброшен целиком и полностью. Он возник в специфическом политическом контексте, отмеченном национализмом Мориса Барреса¹, а также антисемитским национализмом антисемитских лиг Франции конца XIX века. Его мысль, его движение и блестящая газета, которую он издавал, увлекли многих французов, в том числе и моего отца. Но ирония истории состоит в том, что именно деятельность “Action française” привела к угасанию роялистских настроений и движений в тех регионах Франции, где исторически были сильны католицизм и традиционализм, – в Бретани, Вандее, на юге страны. Многие жители этих регионов, изначально склонные поддерживать монархические идеи, отвернулись от них после того, как Ватикан осудил “Action française” в 1926 году.

¹ Морис Баррес (1862–1923), французский писатель, публицист, политик, один из идейных вождей французских националистов 1900–1910-х годов.



В 1937 году партия также подверглась осуждению Графа Парижского, то есть того, кого АФ считала претендентом на престол. Он никогда не пересматривал свою позицию. Именно тогда от АФ откололось немало сторонников графа Парижского. Во время войны Моррас поддержал Петэна и политику коллаборационизма. В результате в 1944 году моррасизм и многие из тех, кто заявлял о своей принадлежности к нему, либо подверглись люстрации, либо были полностью вытеснены из политической жизни страны. Так что когда я вступил в эту организацию в 1958 году, она уже лежала в руинах. Наконец, когда мы сами откололись от АФ, то с нами ушли наиболее активные участники движения. На сегодняшний день в нашей стране осталось крайне мало последователей Морраса.

– Какие иные интеллектуальные и политические движения оказали влияние на NAR?

– В интеллектуальном и политическом плане мы являемся в первую очередь наследниками «Партии политиков», возникшей во время религиозных войн, – одного из самых важных и драматичных моментов в истории Франции. Хотя попытки светской власти освободиться от власти церкви предпринимались уже в Средние века, например Филиппом Красивым (1268–1314), они усилились после этих войн (их было восемь). Все это привело к переосмыслению роли государства и сокращению влияния церкви, ограничив ее деятельность рамками, установленными государством. «Партия политиков» была партией тех, кто выступал против ультракатоликов и сблизился с протестантами, в частности с Генрихом IV, помогая ему прийти к власти.

Во-вторых, мы – наследники monarchiens, то есть тех монархистов, кто в 1789 году стремился к установлению конституционной монархии. Они были среди инициаторов Учредительного собрания и полной отмены феодальных привилегий в знаменитую «ночь чудес» 4 августа 1789 года. В силу различных обстоятельств Французская революция приняла иной оборот, но в любом случае мы – наследники либеральных монархистов той поры, а также тех, кто чуть позже учреждал парламентскую монархию после реставрации 1814 года, и тех, кто пытался сохранить ее после Второй империи, хотя безуспешно, так как в 1870 году возникла Третья Республика. Мы напрямую связаны с историческим орлеанизмом, но также и с голлизмом. Во времена правления генерала де Голля в стране выходила газета «Notre République», которая была голлистской газетой левого толка, и ее главный редактор видел в нас последователей голлизма. Мы, бесспорно, связаны с наследием лидера «Свободной Франции» и в целом с движением Сопротивления.

– Нет ли здесь противоречия? Ведь де Голль не пытался реставрировать монархию, а основал Пятую Республику, хотя многие и воспринимают голлизм как республиканскую монархию...

– Де Голль происходил из семьи монархистов. По словам его недавних биографов, в юности он сам был монархистом. Он не присоединился к «Action française», потому что его видение истории отличалось от моррасовского. Его мировоззрение на протяжении всей жизни оставалось проникнуто идеями роялизма, хотя де Голль ощущал глубокую связь со всей историей Франции – от монархии и Первой Республики, включая Комитет общественного спасения революционной Франции, до всех последующих форм правления, которые он стремился преобразовать.

Современные правоведы нередко описывают Пятую Республику как своеобразную демократическую парламентскую республиканскую монархию, в которой явно ощущается дух старого орлеанизма. Всю жизнь де Голль был одержим идеей легитимности – в форме, которая до него не существовала во французской публичной сфере. До де Голля вопрос легитимности касался законности претензий той или иной династии на французский престол, то есть престолонаследия. Но для самого де Голля речь идет о совсем иной легитимности – легитимности государственного деятеля как такового. Она рождается из

заслуг перед нацией, и первой из них является завоевание или отвоевание ею независимости, а затем установление социальной справедливости и соблюдение принципов права, закрепленных юридической традицией Франции.

Таким образом, де Голль предпринимал все, что считал необходимым для обретения именно той легитимности, которую он понимал как личные заслуги перед нацией. Однако он также признавал значимость исторической легитимности и поддерживал отношения с графом Парижским. Де Голль стремился к тому, чтобы граф, обладавший значительным политическим влиянием, смог выставить свою кандидатуру на президентских выборах 1965 года. Это открыло бы возможность при поддержке французского народа вновь поднять вопрос о преобразовании Пятой Республики в конституционную монархию.

– Эта идея была высказана де Голлем?

Это была идея, о которой он говорил в частном порядке, в первую очередь с самим графом Парижским. Де Голль хотел, чтобы граф Парижский был признан французами как слугитель государства, который мог бы однажды возглавить страну.

В окружении де Голля было немало сторонников монархизма. В частности, министр юстиции Эдмон Мишле, с которым я был лично знаком, поскольку в годы войны он был соратником моего отца в Сопротивлении. Мишле, сумевший выжить в концлагере Дахау, служил важным связующим звеном между графом Парижским и генералом де Голлем. Помимо него, среди окружения де Голля было немало государственных деятелей, благосклонно относившихся к идее монархии. Конечно, ни Жорж Помпиду, ни Валери Жискар д'Эстен не принадлежали к их числу: оба стремились к власти и потому были далеки от такой идеи. Вокруг фигуры графа Парижского организовывались кампании, направленные на его дискредитацию. Что я хочу подчеркнуть, так это то, что между голлизмом и монархизмом нет противоречия; напротив, между голлистской традицией и нашими представлениями о монархии существует глубокая связь. По сути, де Голль создал во Франции республиканскую монархию.

– Поскольку Пятая Республика была создана де Голлем по его собственной «мерке», можно ли считать, что она обречена на дисфункцию в отсутствие фигуры его масштаба?

– Дисфункция Пятой Республики связана в первую очередь с проблемой арбитража, потому что роль президента в Пятой Республике – это роль арбитра, гаранта исторической преемственности и национальной независимости государства.

Чтобы быть верховным арбитром, нужно быть выше партий, находиться над партийной борьбой. Однако в нашей системе на президентских выборах выбирается представитель конкретной партии, что неизбежно порождает противоречия, особенно это можно было наблюдать в годы президентства Франсуа Миттерана, с которым я был близок. Он пытался быть президентом-арбитром, но ему не всегда это удавалось. Часто он действовал как представитель своей партии, и в этом трудно его упрекать. Тем не менее стоит признать, что в целом он справлялся с этой ролью довольно неплохо, особенно во время второго срока, когда к нему начали относиться как к верховному лицу, стоящему над партийной борьбой. В то же время в Пятой Республике сохраняется эта амбивалентность. Наше движение стремится устранить ее, предлагая назначать верховного арбитра в порядке преемственности (как это происходит в Испании и некоторых других странах) и вывести его из партийной игры, что сделает функционирование институтов более эффективным. В этой конфигурации премьер-министр играет ключевую политическую роль: выбор партийной программы определяет состав правительства и личность премьер-министра.

На сегодняшний же день все смешано: с одной стороны, президент выполняет функцию арбитра, с другой – он обеспечивает реализацию программы правительства. Премьер-министр фактически играет роль президентского секретаря, решая текущие

вопросы. Этот механизм никогда не работал должным образом, а после сокращения срока президентского мандата до пяти лет ситуация стала еще более нестабильной. Президенту уже не хватает времени быть арбитром, и ему приходится одновременно исполнять роли то премьер-министра, то министра сельского хозяйства, то министра обороны и так далее. Система сегодня полностью разбалансирована, и ее следовало бы привести в порядок, хотя бы увеличив срок полномочий президента, чтобы он был дольше, чем у депутатов и правительства. Можно также говорить о кризисе инкарнации – де Голль и с меньшими успехами некоторые его последователи олицетворяли Францию и ее традиции гораздо лучше, чем это делают нынешние лидеры.

– *Каковы, по вашему мнению, основные черты французского национального самосознания?*

– Трудно говорить о едином национальном самосознании. В стране с 1000-летней историей существуют очень разные интеллектуальные и духовные традиции. Все основные политические движения имеют собственное самосознание и исторический «нарратив». Однако если попытаться определить то, что нас всех объединяет, то можно сказать, что центральное место в нашем национальном самосознании занимает государство. Именно институт государства создал сначала королевство, а затем и нацию. Франция была воплощением национального государства (не государства-нации, а именно национального государства), и французы очень привязаны к нему. Любимыми историческими фигурами французов являются Людовик XIV, Наполеон и де Голль. Даже несмотря на то, что их деяния и достижения были весьма различными, их объединяет то, что они олицетворяют величие и грандиозность. Франция, конечно, не единственная страна, которая привязана к идее величия: национальное самосознание многих народов связано с эпохами завоеваний, великих национальных достижений, будь то военные победы, борьба за независимость или культурная экспансия. Это касается и России, и Великобритании, и многих других стран. Французам особенно близки те моменты в истории, когда Франция занимала лидирующие позиции на мировой арене – даже тогда, когда она покоряла Европу во главе с Наполеоном, что противоречило ее традициям и чего ей делать не следовало. Традиция Франции – это быть гарантом европейского равновесия, «концерта наций», а не стремиться к завоеванию всей Европы до Москвы. Тем не менее эти моменты величия и персоны, которые их олицетворяли, продолжают завораживать французов.

Еще одним важным моментом в национальной истории, который занимает особое место в нашем самосознании, является Великая Французская революция 1789 года. Это была огромная национальная трагедия, в которой пересеклись гении страны, великие свершения, потрясения, катастрофы и гражданская война. Это был поистине грандиозный момент, и трагическая бездна Французской революции продолжает захватывать французов, независимо от того, к какой традиции они себя относят. Мы, роялисты, часто проводим дебаты о Французской революции с представителями разных исторических школ. Как правило, среди участников – вовсе не роялисты, например, регулярно выступающий Жан-Клеман Мартен, который рассказывает о возникновении нарратива революции и ее мифологии. Французы любят величие, которое они ощущали благодаря своему государству. Они гордятся своей армией и особенно часто вспоминают те периоды, когда их культура была блистательной и влиятельной. Отсюда и их любовь к Великому веку [1589–1715, период правления трех первых королей династии Бурбонов – *Н.Р.*], к «королю-Солнце» Людовику XIV и шедеврам мировой культуры и литературы, созданным французами.

Увы, сегодня мы переживаем, мягко говоря, не самый блестящий период нашей истории. Государство находится в процессе дезинтеграции по воле тех, кто находится у власти, а Франция уже не играет значимой роли на международной арене, стремительно теряя свои позиции и влияние в разных частях света. Можно сказать,

что сегодня французы ощущают чувство унижения, хотя оно не выражается так явно, поскольку СМИ почти не освещают этот вопрос. Тем не менее унижение и удрученность ощутимы. Обычно, когда такие чувства накапливаются, они рано или поздно находят выход. Когда и как это произойдет – никто не знает, но я убежден, что в итоге это отразится в коллективных действиях.

– *Несколько лет назад они выразились в движении «Желтых жилетов»...*

– За которыми последовали и другие мобилизации, которые напомнили нам о духе Великой Французской революции. В 2023 году мы стали свидетелями крупнейших движений социального недовольства в истории Франции. Это было важнейшее событие, которое СМИ из всех сил пытались игнорировать, но оно вписывается в череду общественных волнений, которые регулярно сотрясают страну с 1995 года.

Недовольство вызвано последствиями неолиберальной политики, приведшей к множеству экономических и социальных проблем. Это стало особенно очевидным в ходе демонстраций 2023 года. Во Франции мы часто вспоминаем славное тридцатилетие (1945–1975) – пусть и в мифологизированной форме – как период социального прогресса, когда все слои общества, особенно средний и рабочий классы, могли с уверенностью сказать, что их дети будут жить лучше, чем они. Однако социальный лифт, который работал в те времена, сегодня сломан. Тот факт, что многие французы теперь убеждены, что их дети будут жить гораздо хуже, чем они сами (из-за проблем с медицинским страхованием, образованием, трудоустройством, пенсиями и так далее), является совершенно новым явлением и, очевидно, вызывает сильное беспокойство.

Это недовольство имеет массовый характер, несмотря на то, что элиты уверены, что в стране больше не может быть масштабных протестов. Французское население не аморфно, оно реагирует. Проблема, однако, в том, что эти движения чисто реактивны, протестны. Они выступают против ультралиберальных реформ, но не способны сформулировать политический проект. Я уверен, что если такой проект соответствующий ожиданиям большинства французов был бы предложен, он носил бы неоголливский характер. Но на сегодняшний день этого проекта так и не было сформулировано.

– *Вы неоднократно критиковали то, как строилась Единая Европа, и то, как функционирует ЕС. Как вы считаете, был ли проект изначально ущербным или в какой-то момент процесс евро-строительства принял дурной оборот?*

– С самого начала в проекте Единой Европы были заложены противоречия. Европа мыслилась как общий рынок; идея рынка уже присутствовала в Римском договоре. Но поскольку большинство европейских стран, за исключением Германии, были дирижистскими, то изначально процесс объединения шел как углубление сотрудничества между дирижистскими системами. Кроме того, в определенных кругах существовала идея, что Европа будет становиться все более социально ориентированной, в то время как Советский Союз – более либеральным и что в итоге мы получим общую смешанную систему производства и будем все вместе двигаться ко всеобщему процветанию. Таким образом при генерале де Голле, который не хотел федеративной Европы, Европа функционировала в режиме межправительственного сотрудничества. Но федерализм был духом времени, и вероятно был частью планов так называемых отцов-основателей ЕС (в первую очередь, Р. Шумана и Ж. Монне). На мой взгляд, ситуация значительно ухудшилась, когда был принят Единый европейский акт (1986), то есть как раз перед распадом Советского Союза. Именно тогда мы решили сделать акцент на том, что Европа – это большой единый рынок, обещая, что этот большой рынок всех осчастливит. В это поверили и многие жители Восточной Европы. Претензии к Единой Европе были и ранее, но с того момента Европа пошла по пути, который мне представляется гибельным.



Французские лидеры решили, что Франция – слишком маленькая страна и что необходимо объединиться, чтобы создать так называемую великую, державную Европу. Но несущей конструкцией Европы был общий рынок. Считалось, что он объединит европейский блок. Однако эти ожидания необоснованны. Ведь что такое рынок? Это конкуренция всех против всех... Как можно объединиться, если организовать войну всех против всех, между компаниями разных стран, а также между их социальными системами, налоговыми системами и т.д. Это приводит к ссорам, раздорам. Единства между европейцами стало не больше, а скорее наоборот. По сравнению с тем временем, когда я был молод, мы знаем о своих соседях гораздо меньше и интересуемся ими гораздо меньше, чем раньше. Во Франции мы гораздо больше интересовались соседними странами – например, Германией или Италией, – чем сейчас.

А затем, после распада Советского Союза, нам пришлось переосмыслить весь процесс евростроительства, ввиду одной важной проблемы, которая по дипломатическим причинам не артикулировалась как таковая. Это одержимость германским вопросом (которая была особенно сильна во Франции по историческим причинам). Я хорошо знаю, как и многие другие деятели, часто говорившие в ту пору с Миттераном, что тот не хотел воссоединения Германии. Франция вполне благосклонно смотрела на то, что Советский Союз оккупировал часть Германии. В Елисейском дворце тогда часто говорилось о том, что нас устраивает факт разделения Германии на две части. Отношение к воссоединению вовсе не было позитивным, и Елисейский дворец не поддерживал эту идею. Миттеран тогда отправился в Восточную Германию, чтобы понять, возможно ли сохранить открытую границу между двумя государствами при сохранении двух независимых образований. В итоге, как мы знаем, история пошла по иному пути.

– Одной из идей, приведших к углублению федерализма в ЕС и к созданию валюты евро, была идея сдерживания Германии, ставшей слишком крупной, слишком мощной...

– Маастрихтское соглашение было направлено на то, чтобы сдерживать Германию. Негласно такая же цель стояла и перед созданием единого рынка и евро. Как говорил мне Ролан Дюма [министр иностранных дел при Франсуа Миттеране с 1988 по 1993 год – Н.Р.], в Елисейском дворце считали, что с помощью европейских договоров им удастся предотвратить доминирование Германии в Европейском Союзе.

– Но вместо того, чтобы встроить Германию в Европу, произошло обратное – Европа выстраивалась в значительной степени по правилам и стандартам Германии...

– Да, де-факто евро стал немецкой валютой, и мы приняли все требования Германии, будь то независимый Центральный банк и так далее. Мы пошли на множество уступок, на которые не должны были идти. Мы надеялись, что, создав Европу, мы решим все наши проблемы, что станем еще богаче и стабильнее. Уже тогда я осознавал, насколько недальновидными были действия Франции. Я открыто говорил своим коллегам о их близорукости. Но чтобы не ссориться с Германией, наше руководство позволило войне в Югославии пойти по «немецкому сценарию», позволило немцам и Ватикану делать все, что они хотели, то есть признать Словению и Хорватию, и согласилось с их планами по разделу Югославии. Мы не сделали того, что должны были сделать, – найти способ остановить эту войну.

– Это то, что вы имели в виду, говоря, что войны в Югославии были ценой, которую Франция заплатила за Маастрихт?

Миттеран, Дюма, Ведрин – все они говорили об этом в своих мемуарах: мы не хотели ставить под вопрос маастрихтскую Европу из-за разногласий по Югославии. Мы дали немцам то, что они хотели – независимую Хорватию. Мы не нашли в себе смелости сказать «нет». Если бы это происходило во времена де Голля, то, я полагаю, мы сумели бы отстоять свою точку зрения. Идея Миттерана заключалась в том, чтобы идти на тактические

уступки, а потом развернуть ситуацию в свою пользу. Но уступка за уступкой – и вернуться назад стало невозможно. Поэтому мы попытались избежать худшего, то есть войны против Сербии. Результат был ужасен: тысячи погибших и полностью разрушенная страна. Мне было больно на это смотреть, так как я помнил Югославию относительно процветающей и счастливой. Она была разрушена против воли ее народа.

– И война против Сербии все-таки была объявлена, хотя и чуть позже...

– Да, в итоге и эта война состоялась. После нее Югославская Федерация была полностью разрушена. Мы создали очень дурной прецедент, продемонстрировав волю к разрушению суверенного государства. Как говорить о нашем уважении суверенитета и целостности государств, когда мы сами всячески способствовали разрушению государства? Более того, мы сделали это против воли большинства нашего населения, которое было настроено просербски из-за двух мировых войн. Но эти настроения было невозможно выразить. Тех, кто высказывался в подобном ключе, обвиняли в защите Милошевича.

Французские СМИ, как и другие, встали на сторону определенных участников конфликта в Югославии, зная факты крайне плохо, карикатурно упрощая ситуацию. Боснийским мусульманам была отведена роль “good guys”, а сербам – “bad guys”. Естественно, Сербия изображалась абсолютным врагом. В «Ле Монд» были карикатуры на сербов, которые носили фактически расистский характер. О том, что в сербском квартале Сараево, города, который я хорошо знал, было убито шесть тысяч человек, никто не упоминал. Мнение людей, которые что-то знали о Югославии, никого не интересовало. Я сам много путешествовал по этой стране в 1970-х годах и, будучи членом Экономического и социального совета при президенте, мог бы рассказать о том, что знал, но мои коллеги меня не слушали, а в СМИ меня почти не приглашали. Несколько раз меня обвинили в пособничестве Милошевичу, потому что я был совершенно не согласен с тем, как подавалась информация, и с нашими «новыми философами», чья роль в дезинформации населения была огромной. Тысячи часов и потоки кадров, транслируемых об этой войне, создавали ложную картину. Новые философы изображали римейк испанской гражданской войны, пытаясь играть роль Андре Мальро, который в 1936 году поддержал испанскую республику и возглавил международную эскадрилью «Эспанья». В результате Ален Финкелькрот был «хорватским Мальро», Бернар-Анри Леви – «боснийским Мальро», а Андре Глюксманн – Мальро где придется...

Со стороны этих интеллектуалов это был циничный расчет; они всегда смотрели, куда дует ветер, чтобы быть на «правильной стороне истории». Они были маоистами, когда надо было быть маоистами; они стали атлантистами, когда нужно было стать атлантистами. После войн в Югославии я отказался от всякого общения с ними. Нужно было быть слепым, чтобы не видеть, что в независимой Хорватии вернулась символика усташей, так же как сегодня нужно быть слепым, чтобы не видеть культа Бандеры и его соратников на Украине, где их имена присвоены сотням общественных мест. Это своего рода отрицание реальности, и я не знаю, как с этим бороться.

– Сегодня мы часто наблюдаем максимальное упрощение в подаче информации, манихейство и стремление немедленно обозначить «плохой» и «хороший» лагеря и занять сторону «хорошего»...

– Совершенно верно. Де-факто стало невозможно дать нюансированную оценку событиям или внести аргументы, которые идет вразрез с доминирующим нарративом. Например, в российско-украинском конфликте мы почти никогда не услышим, о том, что Украина возникла в своих признанных государственных границах не в результате спонтанного движения украинского населения, а была сформирована Российской империей и

СССР. В правящих кругах и в журналистской среде история никого не интересует, люди не знают ее, считают, что все это слишком сложно и скучно. Гораздо проще упростить и сказать: во всем виноват Путин, Трамп и т. д. Это не столько недостаток времени, сколько недостаток интереса. Это также недостаток исторической культуры у журналистов, который я отметил, когда мне приходилось давать интервью.

– С чем связан этот недостаток интереса и стремление к упрощению и манихеизму? Ведь получить информацию – историческую, политическую, любую – в наш век стало значительно проще и быстрее, чем полвека назад...

– Это настоящий парадокс: несмотря на многократное увеличение источников информации, мы стали менее любопытны. Вдумчивых обменов и глубоких дискуссий стало меньше. Я не стремлюсь приукрашивать прошлое, потому что в те времена тоже было много сектантства, но все же тогда, на мой взгляд, у людей в целом было больше желания понять, как функционируют общества, включая общества стран-противников или соперников, понять идеологии, на которых они основаны. Мы читали много Маркса или Альтюссера, других важных авторов, наше внимание к мировым событиям было более глубоким и пристальным.

Происходящее в Советском Союзе вызывало самый живой интерес. Во французской прессе было несколько прекрасных специалистов, например, Мишель Татю. Ведь советская Россия была моделью для 20% французского населения. Мы пытались разобраться, как устроено советское общество (но также китайское или вьетнамское), нас гораздо больше, чем сегодня, интересовало реальное положение дел в мире. Сегодня мы высказываемся о мировых делах на основе клише. Страны всегда персонифицированы – это обязательно «Россия Путина», «Германия Меркель», «Соединенные Штаты Джорджа Буша или Дональда Трампа» и так далее. Но зачастую комментаторы очень плохо представляют себе как функционируют политические институты этих стран, каково реальное состояние общества и т. д. Наше внимание ни на чем не задерживается долго, мы очень быстро переключаемся от одного к другому.

Что касается манихейского видения, то оно применимо сегодня фактически ко всем текущим конфликтам. Это религиозное и неисторичное видение мира, свойственное США: есть добро и зло. Зло должно быть уничтожено. Но европейское видение войны – не только французское, но и европейское – всегда было совершенно иным! Мы ведем войну, чтобы найти приемлемый компромисс, заставить врага прислушаться к нам и показать ему – своими действиями – почему и в чем он был неправ.

Для европейцев, войны – нечто естественное. Противник не демонизируется, ведь понятно, что после одной войны, возможно, будет другая, когда нынешний противник станет союзником в борьбе с новым противником. Более того, Европа имела и “противоестественные” антиидеологические альянсы, как, например, франко-османский, заключенный Франциском I в 1536 году. Мы заключили союз с османами и вместе с ними атаковали флот Папы Римского в Средиземноморье. В Венгрии мы помогли османам взять ряд укреплений, и, возможно, поэтому венгры не слишком нас любят, хотя у них есть и другие причины, связанные с событиями 1918 года.

Даже в отношении Германии после 1945 года задача стояла следующим образом: как обезвредить ее, не уничтожая полностью. Основной целью было восстановление баланса сил в Европе. Исторически для Франции было крайне важно найти и поддерживать это равновесие, и если нужно – достигать его даже через сближение с государством, чья идеология нам чужда (как это было с де Голлем и СССР). Однако сегодня это стремление к балансу исчезло.

– Немалую часть жизни вы посвятили поездкам в страны Восточной Европы и бывшего СССР, знакомству с их культурой и обществом, анализу происходящих в них политических и экономических процессов. Как и почему у вас возник интерес к этим регионам?

– Это очень давний интерес. Когда многие представители моего поколения смотрели в сторону США, меня манила Центральная и Восточная Европа и еще более далекие восточные земли. Возможно, это связано с памятью о моем деде, который был профессором литературы и горячо любил Центральную Европу. Он учился в Венгрии, поэтому выучил венгерский язык, но также ездил в Белград, в Румынию, был сторонником Малой Антанты¹ и внес вклад в ее развитие. Возможно, поэтому меня очень интересовали Балканы, Греция, Югославия и Турция. В 1970-х годах я совершил долгое автомобильное путешествие вдоль Далматинского побережья.

Что касается коммунизма и коммунистического строя, то он интересовал все мое поколение, будь то коммунистические идеи, Коммунистическая партия или Советский Союз. Надо сказать, что русской культурой интересовались даже те, кто не испытывал никаких симпатий к коммунизму. Моя мать, правая голлистка, была яркой антикоммунисткой, я тоже был антикоммунистом, но это не мешало нам ходить на великие советские фильмы: «Октябрь», «Летят журавли» и др. Разумеется, с Советской Россией нас сближала и память о войне. Даже у правых голлистов Красная армия была в почете благодаря своей роли в победе над нацизмом. Военные фильмы и Сталинградская битва изучались в школе, и это было чем-то очень важным и значительным в мировой истории.

Мне было очень интересно узнать, как работает советская система. Также бытовала идея, что холодная война вскоре закончится и мы построим Европу «от Атлантики до Урала», как предлагал генерал де Голль. Тридцать лет спустя Советский Союз действительно распался, а в конце 1989 года Миттеран запустил проект Европейской конфедерации, которая должна была объединить все страны континента, включая Россию. Поскольку я был членом Экономического и социального совета, то предложил подготовить доклад о культурных отношениях с Центральной и Восточной Европой и настоял на том, чтобы в него включили Россию (изначально это вызвало возражения Союза предпринимателей).

В этом докладе я хотел развить идею общей европейской идентичности. Что объединяет нас, что создает общность Европы? На мой взгляд, это не рынок и не экономическая конкуренция, а культура. Для подготовки доклада в 1993 году я совершил турне по Восточной Европе, включая Россию и бывшие советские республики. Я посетил Санкт-Петербург, Москву, Киев и другие города. Доклад был принят положительно и вызвал хороший отклик. Затем я предложил второй доклад, посвященный экономическим отношениям, но его принятие столкнулось с трудностями. Для этого я снова объехал Восточную Европу, встречаясь с экономическими лидерами, министрами и директорами центральных банков. Этот доклад вызвал сопротивление со стороны бизнесменов, понявших, что в нем содержится скрытая критика Европейского союза. Тем не менее он был утвержден, несмотря на возражения. Это дало мне возможность дважды побывать в постсоветской Европе, встретиться с официальными лицами, а также с простыми гражданами, и лучше узнать реалии местной жизни.

– *Какие впечатления вы вынесли из этих поездок?*

– Когда я впервые приехал в Санкт-Петербург в 1992 году, то увидел разваливавшуюся страну – кругом были нищета, деградация, бандитизм, массовая проституция. Я был поражен тем, что люди, находившиеся в то время у власти, буквально продавали свою страну с молотка. Я помню, как однажды зашел в Смольный институт и увидел, как три хорошо одетых молодых человека бойко распродавали госимущество. Меня задело то,

¹ Малая Антанта – политический союз Чехословакии, Румынии и Югославии, созданный в 1920–1921 годах для поддержания Версальской системы в Центральной и Юго-Восточной Европе. Основные цели – противодействие ревизионистским устремлениям Германии, Венгрии, Болгарии и Италии. Являлась важным звеном военной и политической системы Франции в Европе после Первой мировой войны.



что на тротуарах люди торговали военной формой, орденами и так далее. Кругом шла распродажа... То же самое я увидел и в Москве.

В Москве меня ждал особый опыт. На курсах в Институте политических исследований мы изучали систему советского планирования и то, как работал Госплан. Мы сравнивали его с французскими органами планирования экономики. Поэтому визит в Госплан в июне 1993 года стал для меня ярким событием. В зале стоял огромный стол, во главе которого находился министр Шаповальянц, повсюду были советники. Присутствовали и представители французского посольства. Я обратился к министру через стол со словами: «Господин министр, как вы собираетесь восстанавливать целостность вашей страны?» «Отличный вопрос», – ответил он.

Я был крайне опечален увиденным в России. Все это было крайне для нее пагубно, но и для Франции ничего хорошего в этом не было. Нам нужна была сильная Россия для равновесия в Европе, для сдерживания Германии. Надо сказать, что от Франции многие в Европе тоже ждали, что она сыграет эту роль, выступит противовесом мощной объединенной Германии. Этого хотели даже те страны, где Францию не слишком любят, например Венгрия, которая не хотела оставаться лицом к лицу с Германией. От Парижа ждали сильной и независимой дипломатии, но, увы, наши правительства этот запрос не удовлетворяли. А ведь мы могли бы сыграть более важную роль не только в развитии торговли и инвестиций, но и влияя на выбор модели развития. Во Франции действовала смешанная экономика: государственно-частная, которую я всячески продвигал. Но защищать ее было очень сложно: как только вы произносили слово «план» или «госпроект», вас обвиняли в пропаганде коллективизма.

Тем не менее, по моему мнению, Франция должна была настоять на том, что есть другие возможности, нежели переход к рынку за 500 дней. У нас все еще была жива традиция дирижизма, было много ученых, экономистов и различных деятелей, которые могли бы высказаться в защиту смешанной модели экономики. После падения советского строя ряд национальных компаний следовало сохранить в госсобственности, модернизировав их. Другие можно было приватизировать, но при реальном участии общественности.

Но Франция отказалась высказать особое мнение, создать какой-то диссонанс – повсюду были американские советники, которые диктовали свою повестку. Помню, находясь в Румынии, я взглянул на книжную полку принимавшего меня министра экономики – она была забита американскими книгами по экономике и финансам, ничего иного там не было.

Я был в ярости от увиденного и от советов, которые давали люди из МВФ. Однажды я столкнулся с ведущим советником МВФ в Вильнюсе, которая поинтересовалась моим мнением. Когда я сказал, что предлагаю три вещи – планирование, национализацию и контролируемую инфляцию, – она была ошарашена. Я по-прежнему считаю, что если бы мы сохранили модель планирования в этих странах, демократизировали бы ее и сделали более гибкой, а также приватизировали сферы, не являющиеся стратегически важными, переход к новой системе прошел бы гораздо легче. Ведь тот поспешный и насильственный переход к рынку стал для России страшным испытанием с крайне негативными последствиями.

Я много размышлял над этими вопросами, ведь в целом я провел три года, пытаясь найти наилучшую политику для этих стран. К сожалению, идея европейской конфедерации Миттерана была сведена на нет. Главную роль в ее дискредитации сыграли Вацлав Гавел и американцы. Чехи не хотели европейской конфедерации, они стремились в НАТО. Так что эта идея умерла. Наверное, я был последним человеком, который в нее верил.

– Многие российские интеллектуалы, ранее критически настроенные к СССР, включая известных диссидентов, начали сожалеть о трагических последствиях распада страны и пересматривать свое отношение к Советскому Союзу после его исчезновения. Понимаете ли вы их разочарование и в какой-то степени «реабилитацию» советского опыта задним числом?

– Хотя я всегда был противником коммунизма, я понимаю ностальгию по советской эпохе. Годы правления Ельцина стали временем страданий и разрушения всех основ существования. Вопреки распространенному мнению ностальгия по Советскому Союзу существует не только в России, но и в других бывших республиках. После завершения моих проектов в Совете я часто бывал в Средней Азии и на Кавказе и там я увидел, как сильно люди сожалели о потерянной советской социальной системе и всех ее преимуществах. Меня поразило, что даже молодежь, не знавшая советской жизни, выражала ностальгию, поскольку помнила, как их родители были счастливы. Я понимаю, что это было другое счастье, не западного типа, но по рассказам собеседников я видел, что они потеряли нечто важное.

Особенно меня удивлял высокий уровень культуры, буквально завидный, характерный для советских людей. Я был поражен тем, сколько французской литературы было на книжных полках. И я не ожидал встретить столь ярко выраженный советский патриотизм. Советский Союз давал людям ощущение принадлежности к мировой сверхдержаве. Это чувство принадлежности было настолько сильным, что меня поразило, как глубока была ностальгия, даже на периферии Союза. В республиках Азии люди ощущали себя частью огромной страны, они были дома в любой ее части. После распада же они оказались замкнуты в пределах маленьких республик, где разные этнические группы вдруг начали враждовать, порой очень жестоко.

– К каким выводам вы пришли в вашем докладе о культуре? Является ли Россия частью европейской цивилизации или вы рассматриваете ее как отдельную цивилизацию?

– Я убежден, что в культурном плане мы очень близки. Нас объединяют давние прочные связи. Взаимный интерес между нашими странами очень велик, и сегодняшнее противостояние не может стереть его.

Посмотрите на наши отношения с Германией, нашим «естественным врагом», с которой мы воевали постоянно с 1870 по 1945 год. Но это не мешало нашим культурным обменам. У нас никогда не были запрещены немецкие произведения, будь то музыка, литература, философия...

Мне очень странно слышать сегодня разговоры о том, что мы должны перестать читать русских авторов, слушать русскую музыку и отказаться от обмена в сфере науки и культуры. Мы никогда так не поступали. К тому же мы не находимся в состоянии войны с Россией. Между нашими народами нет ожесточения, которое мы могли испытывать к немцам после 1945-го.

В своем докладе я говорил о том, что Россия является частью европейской культурного ареала. На мой взгляд, утверждать обратное ошибочно. Мы принадлежим общей культуре, и этому не мешают ни конфликты, ни холодная война, ничто другое. Отношения между Россией и остальной Европой очень глубокие, очень давние, и они сохраняются независимо от политической конъюнктуры.



«Демократия стала бессильной, а либерализм – всесильным»

Интервью Наталии Руткевич с Марселем Гоше

Историк, философ и социолог, Марсель Гоше (р. 1946) – важнейший представитель современной французской мысли, известный как один из самых проникательных аналитиков и критиков западных обществ. Ученик Клода Лефора, одного из крупнейших исследователей тоталитаризма, Гоше в юности был приверженцем антисталинского марксизма и занимал ультралевые позиции, но позже сблизился с интеллектуалами либерально-консервативного толка, объединившимися в центре политических исследований имени Раймона Арона (действовавшего в рамках влиятельной EHESS – Высшей школы социальных наук в Париже).

Он стал известен своими исследованиями религии, прав человека, демократии, а также популяризацией таких понятий, как «социальный разлом» и «расколдование мира», заимствованного у Макса Вебера и понимаемого как утрата коллективных, религиозных и политических ориентиров на фоне нарастающего индивидуализма.

Важнейшим этапом развития западной современности для Гоше является то, что он называет «выход из религии». Религия, выполнявшая структурирующую роль в человеческих обществах, сегодня уступила место секулярным институтам.

Тема демократии занимает центральное место в размышлениях Гоше, который детально исследует ее происхождение, внутренние противоречия и кризисы. В четырехтомнике «Пришествие демократии» [1] он показывает, как демократия, даровавшая различные свободы, также привела к кризису представительства. Этот «демократический парадокс» – стремление к полной эмансипации личности и одновременно к жизни в определенном политическом строе – лежит в основе политического кризиса современного общества.

Изучая тоталитарные режимы XX века, Гоше рассматривает их как радикальную реакцию на кризисы современности и демократии. Тоталитаризм, по его мнению, стремится заполнить вакуум, возникший с утратой религиозных ориентиров, и предлагает новый сакральный порядок, основанный на идеологии. Пытаясь радикально трансформировать человека и общество, тоталитарная идеология в итоге лишает личность свободы. Гоше полагает, что тоталитарные режимы первой половины XX века являют собой предостережение о возможных последствиях индивидуализма, лишённого духовной или институциональной опоры.

С 1980 по 2020 год Марсель Гоше возглавлял редакцию философского журнала «Le Débat» (совместно с Пьером Нора). В своих статьях он критиковал ряд влиятельных

Руткевич Наталия Алексеевна, кандидат философских наук, журналист-политолог, франковед.
E-mail: nroutkevitch@yahoo.fr

Гоше, Марсель, французский историк, философ и социолог, является почетным профессором Центра политических исследований Раймона Арона в Школе высших исследований социальных наук.

интеллектуальных течений 1960–1970-х годов и в частности таких философов, как Мишеля Фуко, Жака Деррида, Жака Лакана, Пьера Бурдьё, обвиняя их в склонности к «тоталитарному мышлению», антигуманизме, детерминизме.

Большой общественный резонанс вызвали статьи Гоше, посвященные «идеологии прав человека», вышедшие в «Le Débat» с разрывом в двадцать лет: «Права человека не могут быть политикой» (1980) и «Когда права человека становятся политикой» (2000). Гоше полагает, что идеология прав человека подменяет собой идею общего блага, акцентируя внимание на индивидуальных правах, что в итоге ослабляет социальную ткань, дестабилизирует социальные институты и усиливает расколы в обществе.

В своей последней книге «Демократический узел. У истоков неолиберального кризиса» (2024) [2] Марсель Гоше продолжает развивать идеи о кризисе современной демократии, представленные в предыдущих работах. Он связывает этот кризис с так называемым «неолиберальным моментом» — эпохой, когда индивидуальные свободы стали выходить за рамки ограничений, установленных национальными государствами и политическими институтами. Хотя основные постулаты неолиберальной идеологии совпадают с классическим либерализмом, их область применения значительно расширяется и охватывает весь мир. Гоше называет этот момент революцией 1975 года, подчеркивая, что последствия неолиберализма действительно революционны. Особенность этой революции в том, что она не была результатом сознательного проекта и не произошла через насильственное изменение. Философ критикует неолиберальный дискурс, который восхваляет индивида, требующего защиты своих прав, не учитывая групповые интересы, и превозносит «вечное настоящее», отбрасывая размышления о прошлом и будущем.

— Какой термин вы считаете наиболее уместным для обозначения политического строя современных западных обществ? Можно ли еще называть их либеральными демократиями или следует, как считают многие наблюдатели, говорить скорее о постдемократии, олигархии, новом империализме?

— Я не вижу необходимости отказываться от привычного термина «либеральная демократия». Проблема точной классификации этого режима всегда существовала и не является чем-то новым. Все упомянутые вами понятия имеют прочные традиции и тоже актуальны. Любая форма представительства по определению олигархична, даже если правящая олигархия либеральна и позволяет нам ее критиковать и ставить под вопрос.

Тем не менее вы правы: за последние пятьдесят лет условия функционирования либеральной демократии в западных странах претерпели столь значительные изменения, что вопрос о смене названия вполне оправдан. Однако поскольку следует быть осторожными с разными неологизмами, я предпочитаю говорить о трансформации либеральной демократии. Сегодняшний режим становится все более либеральным и все менее демократическим. Кроме того, представления о демократии в умах наших граждан настолько изменились, что стоит задуматься, насколько они вообще соответствуют нашей интеллектуальной традиции.

Сегодня «демократия» для большинства людей означает личную свободу — свободу действий, свободу мысли, свободу выражать свое мнение и свою индивидуальность. И в целом в западных странах мы такие свободы получили. Однако «демократия» в ее классическом понимании — это не свобода делать то, что хочется. Ее задача стоит в том, чтобы свободные личности могли формировать автономную общность, способную самостоятельно определять свою коллективную судьбу. Современные же демократии все менее на это способны. Поле индивидуальных свобод расширяется, а способность к коллективному действию, напротив, ослабевает. Отсюда возникает сильное разочарование, особенно



у той части населения, которая справедливо полагает, что она существенно проигрывает от происходящих перемен. Дело здесь не только в снижении «покупательной способности». Различные социальные дисфункции наших обществ связаны с постепенной утратой идеи, что демократическая власть должна навязывать обществу публичный контроль, задавать ему определенный курс и его придерживаться. Демократия стала бессильной, а либерализм – всесильным. Таково нынешнее положение западной либеральной демократии, и это вызывает глубокое недовольство значительной части общества. На мой взгляд, мы переживаем настоящий кризис демократии.

– *Вы часто говорите о деполитизации наших обществ. Почему?*

– Мы сталкиваемся с деполитизированными демократиями в строгом смысле слова, ведь «политическая» деятельность заключается в тщательно обдуманном назначении представителей, которые должны будут принимать за нас решения, а не в более-менее произвольном выборе людей, о которых мы почти ничего не знаем. Сегодня больше не существует политических партий в их классическом понимании – с программой, горизонтом и определенным направлением; существуют лишь коалиции кандидатов на избрание. Современные «политические программы» все больше напоминают набор сиюминутных мер, продиктованных реакцией на текущие события и эмоции. Более того, как выразился один из наших бывших президентов [Жак Ширак – *Н.Р.*], эти «обещания обязывают лишь тех, кто их получает». Деполитизация демократии приводит к утрате ее первоначального смысла. Наши общества больше не являются политическими сообществами, где обсуждаются актуальные проблемы, принимаются коллективные решения и ведутся серьезные дебаты. На передний план выходит требование личной свободы и растущее неприятие любых коллективных обязательств и ограничений. Таким образом, в рамках либеральной демократии ее либеральная составляющая взяла верх, вытеснив собственно демократическую, политическую составляющую на периферию.

Политическое руководство заменяется технократическим управлением, безличными механизмами, направленными исключительно на оптимизацию экономического положения. Потому что главный запрос деполитизированных граждан – постоянный рост личного благосостояния и увеличение ресурсов, направленных на их защиту, пенсии, здравоохранение и так далее. Для удовлетворения этих требований наилучшим решением считается передача полномочий институтам глобализованной и финансово ориентированной экономики.

Материальное благосостояние стало единственной коллективной целью наших обществ. Поддержание дорогих систем здравоохранения, пенсионного обеспечения и бесплатного образования теперь полностью зависит от эффективности либеральной экономики, управление которой фактически не контролируется национальными политиками. Даже традиционные социал-демократы стали адептами подобной системы управления. Евросоюз является наиболее образцовым воплощением этой модели в жизнь: все по-настоящему важные решения принимаются здесь не на политическом, а на экономическом уровне и исключительно с экономической точки зрения. Единственный сохраняющийся политический вопрос – это перераспределение богатств, и он порой вызывает острые конфликты. Однако обсуждение самой сути демократии и правильного устройства общества на повестке дня больше не стоит.

– *То есть процесс принятия решений отныне делегирован финансовым структурам и международным бюрократическим органам?*

– Да, решения в значительной степени принимаются ими, исходя из их собственных критериев, вне каких-либо политических предпосылок. Они принимают технические решения и влияют на правительственные действия, не задумываясь о коллективных

последствиях этих решений, направленных на максимизацию их собственных интересов. Эти структуры сами лишены политического измерения, они просто стремятся к эффективности и умножению ресурсов. Политические вопросы или конечные цели их не волнуют; можно даже сказать, что они их пугают, ведь это может нарушить *business as usual*.

Кроме того, между государствами и финансовой системой образовался порочный союз. Государства вынуждены брать кредиты, и финансовая система с радостью поддерживает это кредитование: рынок спекуляций приносит максимальные доходы, а его деятельность основана на огромных долгах государств. Так устроен сегодняшний мир. Дежурно критикуя государства за «неправильное поведение», финансовые институты радуются росту их задолженности. Если бы завтра все государства избавились от своих долгов строгими мерами по снижению дефицита, мировая финансовая система просто рухнула бы. США, ведущая мировая держава, имеют огромный уровень госдолга, но именно это и подпитывает международную финансовую систему. Мы находимся внутри неуправляемой машины, которая разогналась так, что неспособна остановиться.

– *Вы предсказали трансформацию либеральных демократий более сорока лет назад, говоря о замене политики «идеологией прав человека». Как определить эту идеологию и отличить ее от самой идеи прав человека?*

– В своей основе идея прав человека была двойственной. С одной стороны, это либеральная концепция защиты индивидуальных прав от произвола любой власти: нельзя арестовывать человека без веских оснований, ограничивать его свободу выражать свои мысли и т.д. Первоначально права человека выполняли сугубо защитную функцию. Именно в этой форме они зародились в Англии в виде принципов *habeas corpus*. Именно это либеральное измерение проявляется в знаменитом лозунге американской революции «Нет налогам без представительства», который требовал участия граждан в принятии решений.

Позднее к этой концепции добавилось демократическое измерение, в рамках которого утверждается, что на основании этих прав можно построить политическое общество, выбирать представителей власти и определять общий политический курс. Таким образом, в самой идее прав человека заложена двойственность – либеральная и демократическая составляющие.

Но сегодня налицо следующая проблема: концепция прав человека, определяющая базовые условия функционирования политических обществ, больше не отвечает на вопрос, что такое политическое общество как таковое. Когда права человека вытесняют все остальное, забывается сама суть политического общежития. Остаются лишь отдельные права личности, без какой-либо политической структуры, которая могла бы связать их воедино. Такова эволюция последних пятидесяти лет: мы наблюдаем триумф прав человека, которые, по сути, превратились в антиполитические права.

– *Была ли эта эволюция предопределена христианством, которое вы называете «религией выхода из религии»?*

– Это был длительный путь, протяженностью два тысячелетия, с множеством этапов, и не следует делать слишком поспешных заключений. Ни Христос, ни Отцы Церкви не могли предвидеть того, что происходит с нами сегодня! Так что не стоит их в этом винить. Но нельзя не признать, что именно христианство стало той религией, которая способствовала рождению западной современности и создала предпосылки для функционирования общества без опоры на религию.

Не вдаваясь в подробности каждого этапа этого пути, я лишь отмечу насколько трудно объяснить постепенное исчезновение религиозной структуры, скреплявшей общество. Хотя вера в Бога постепенно ослабевала, общество, особенно политическое общество,



функционировало по религиозной модели. Несмотря на разнородные мнения, общество воспринималось составляющими его индивидами как нечто, налагающее внешние обязательства и стоящее выше личных интересов. Существовали общие правила, указывавшие, как людям следует взаимодействовать друг с другом, и служившие всем ориентиром. Иными словами, превосходство коллективного над личными свободами, его трансцендентный характер были очевидными для всех.

Поэтому с готовностью принимались такие ценности, как уважение к авторитету и готовность отдать жизнь за Родину, которая бесспорно считалась более значимой, чем индивидуальная жизнь. Это начиналось с авторитета учителя в школе, который действовал от лица всего общества, передавая ученикам необходимый минимум знаний, способствующих их личной эмансипации. Родительский авторитет отца и матери был непререкаемым, как и многие другие общественные нормы. Даже когда религия утратила свою прежнюю значимость, общество продолжало функционировать в рамках неявно религиозной модели, так как именно через религию оно традиционно навязывало свои ценности отдельным людям.

Однако некоторое время назад это наследие религиозных традиций окончательно исчезло. Несмотря на то, что религии в первую очередь занимались вопросами спасения души и загробной жизни, они играли важнейшую социальную роль, утверждая приоритет коллектива над личностью, цементируя общественный организм. Это была их естественная функция.

И она исчезла около полувека назад. Это произошло незаметно, хотя было абсолютно ключевым, переломным событием нашего времени. Как правило, мы замечаем лишь то, что появляется, и редко обращаем внимание на то, что уходит, но именно утраты могут иметь наиболее глубокие последствия. А пятьдесят лет назад исчезло нечто фундаментальное – то явное превосходство коллективного над индивидуальным, которое до тех пор было центральной характеристикой всех обществ.

За десятилетие, примерно между 1975 и 1985 годами, облик западных стран кардинально изменился. Исчезло множество ориентиров, правил общественной жизни, что вызвало глубинную трансформацию наших обществ. Этот сдвиг, связанный с утратой приоритета коллективного над индивидуальным, был усилен другим значительным явлением – глобализацией, которая стала источником многих современных проблем. В результате глобализации западное мировоззрение распространилось по всему миру. По сути, глобализация – это вестернизация, чей главный принцип – это приоритет экономики над политикой.

– Если обернуться назад, то одним из ключевых этапов освобождения личности от диктата коллектива и выхода общества из религиозной парадигмы кажутся религиозные войны XVI–XVII веков. Именно они стали тем переломным моментом, заставившим отказаться от идеи строить социальный порядок на метафизическом представлении о благе. Именно после этих войн в Европе появляется стремление создать новую основу – современное государство, которое должно обеспечивать безопасность своих граждан независимо от их религиозных убеждений и строить социальные отношения на праве и рынке (через контракты и обмен), вынося идею блага и метафизических смыслов в частную сферу. Коллективная вера, которая до тех пор была метафизической религиозной верой, соединявшей людей и обещавшей им коллективное бессмертие (но также порой приводившей к кровавым конфликтам с другими общинами), была заменена на другие формы коллективных верований: патриотизм, национализм и так далее. Отказ от поиска и воплощения идеи метафизического блага на уровне коллектива стал важной вехой в истории. Именно в этот момент были в значительной степени предопределены отказ от религиозной модели и атомизация общества, хотя на протяжении нескольких веков после этого общества продолжали функционировать в религиозной парадигме, но уже скорее по инерции. Полный распад религиозного

фундамента был неизбежен и случился около пятидесяти лет назад. Отражает ли это, по-вашему, суть произошедшего?

– Да, в целом это так. Раскол, возникший между Западом и остальным миром (сегодня его часто называют «глобальным Югом», хотя это понятие включает и страны Севера, – ведь глобальный Юг не представляет собой какой-то географический регион), объясняется тем, что большая часть мира все еще живет в рамках наследия, которое хотя и не обязательно религиозно, пронизано идеей приоритета коллектива над индивидом. Эта идея остается частью повседневной реальности, проявляясь в таких вещах, как важность семьи, семейных ценностей и отношений.

Конечно, западные идеи, транслируемые через СМИ, новые технологии и ценности, распространяемые через социальные сети, проникают во все уголки планеты. Однако вестернизация всего мира не является абсолютной, и глобальный Юг еще во многом оторван от Запада, чьи идеи воспринимаются им порой с недоумением, а то и с открытой враждебностью.

Серьезной проблемой является то, что западные страны не замечают этой неприязни. Они не понимают причин враждебности и отторжения, которые вызывают. Многие западные наблюдатели, в целом вполне благоразумные, видят в этом лишь «злонамеренность».

– Несмотря на сопротивление отдельных стран, процесс вестернизации в остальном мире набирает обороты. Является ли «коллективный Запад» непреодолимой планетарной силой, перед которой невозможно устоять? Можно ли считать неизбежной вестернизацию всех тех, кто пока еще сопротивляется ее влиянию?

– Вестернизация, действительно, кажется необратимым процессом. Современность – это как предложение мафии, от которого невозможно отказаться. Иранские муллы предпочитают ездить на бронированных «мерседесах», а не на лошадях; деньги и удобство для них тоже важны. Россия – особый случай с уникальной историей, но, по сути, она тоже полностью вестернизирована, хотя и сохраняет свою независимость и по понятным причинам поддерживает так называемый глобальный Юг. Важно понимать, что несмотря на то, что некоторые общества сохраняют свои традиции и что «глобальный Юг» еще отстает от Запада, модернизация по западному образцу – это вопрос времени. Этот процесс может быть долгим и противоречивым, но вектор движения остается неизменным.

Одним из ключевых вопросов в современных международных отношениях является антипатия к Западу, ресентимент, который вызывает его влияние. Запад, возможно, не желая того, создал такую цивилизацию, которая навязывается всему миру, но этот процесс зачастую наталкивается на сопротивление. Особенно сильно это ощущается в мусульманском мире, хотя проблема касается всех регионов планеты. Повсеместно возникает вопрос: почему мы должны принимать то, что было создано западными странами? Антизападные настроения во многом порождены ущемленной гордостью, ведь принятие чуждых моделей воспринимается как признание собственного бессилия. В мусульманских странах это чувство особенно остро, поскольку их религия претендует на превосходство над западными верованиями, но при освоении западного инструментария они сталкиваются с большими трудностями. Это вызывает негативные эмоции, которые непонятны представителям Запада. Они продолжают давать наставления, не осознавая, что эта демонстрация превосходства оскорбляет их собеседников и только обостряет разногласия. Это особенно касается американцев; Европа извлекла некоторые уроки из колониального прошлого и умирала свои амбиции и требования.

Американцы же порой проявляют крайнюю бестактность, что задевает их визави и наносит серьезный ущерб взаимоотношениям. Если бы западные лидеры лучше осознавали эту проблему, они бы делали меньше ошибок и изменили бы свою манеру взаимодействия. Возьмем хотя бы отношения с Россией: западный подход к ней абсурден.

Деление на «лагерь добра» и «лагерь зла» не выдерживает критики. Западу категорически не хватает нюансированности и разумности.

– *Вы не раз критиковали интеллектуальный конформизм и тенденцию к упрощению мышления современников. Как получилось, что в обществах, где имеется доступ к разнообразной информации и полная свобода ее использования, мы не наблюдаем расцвета свободомыслия и большого интеллектуального любопытства? Почему Просвещение, наследниками которого считают себя либеральные демократии, не смогло сдержать свои обещания?*

– Потому что личная свобода, которую мы обрели, может быть плохим советчиком в интеллектуальном плане. Способность к разумному мышлению – это нечто требующее постоянных усилий, труда. Нам неочевидно, что эта способность не дается сама собой, не возникает на пустом месте. Произошло радикальное упрощение духа Просвещения: так, мы решили, что, поборов суеверия и фанатизм, навсегда избавились от религий. Мы воспринимаем Просвещение как нечто, что мы приобрели раз и навсегда, тогда как истинное Просвещение предполагает постоянный совместный кропотливый труд, чтобы определить тот путь, который позволит нам воплотить в жизнь то, что нам кажется общим благом. Мы полностью утратили эту требовательность к себе. В естественных науках исследователи понимают, что вселенная чрезвычайно сложно устроена и что ее понимание не дается без труда. Но в гуманитарных науках мы решили, что отныне все трудности остались позади. Я вижу в этом вырождение духа Просвещения. Просвещение победило, но только для того, чтобы раствориться в легковесности, поверхностности!

– *Вы также отмечаете, что несмотря на беспрецедентное развитие прикладных наук, стремление к пониманию людьми условий их совместного общежития, напротив, ослабевает и исчезает. Разве это не удивительно для общества, которое превратило научное знание в культ?*

– Здесь мы снова возвращаемся к вопросу деполитизации, которая состоит не просто в отсутствии интереса к политическим процедурам как таковым, но более глобально вытекает из предположения, что вникать в общие процессы, стремиться к пониманию того как устроены общество и мир, вообще не имеет смысла. Это не только отказ от участия в выборах, хотя рост абсентеизма действительно характерен для наших демократий. Речь идет о подходе, при котором люди предпочитают доверить политические вопросы экспертам, занявшись исключительно своими личными делами, не задумываясь более об общественном благе. В определенной степени это результат триумфа идеи личной свободы в ее современном понимании. Задача человека отныне – не вникать в суть мировых процессов, а стараться выжить, найти приемлемые условия существования, избежать бедности. Перед ним больше не стоят коллективные цели. Это и объясняет общую демобилизацию и ощущение коллективного бессилия. Мы замыкаемся в своем небольшом мире, избегая вопросов, связанных с коллективным общежитием.

– *Можно ли сказать, что другая великая идея эпохи Просвещения – идея прогресса, которая долгое время фактически играла роль религии, вера в возможность постоянного улучшения мира и человека, – тоже полностью себя изжила?*

– Так утверждать нельзя, потому что в коллективном сознании эта идея победила. Но теперь прогресс сводится к техническим и финансовым средствам, которые позволяют каждому жить достаточно защищенной жизнью, иметь хорошее здоровье, нормальный доход и так далее. В целом в западных обществах такого прогресса мы добились. Прогресс, которого хотят люди, – это покупательная способность, чтобы можно было больше потреблять, путешествовать и дальше разрушать планету!

– *То есть идея прогресса свелась к гедонизму и безграничному росту материального благополучия?*

– Именно здесь начинаются вопросы морального, интеллектуального и духовного толка. Заключается ли прогресс в обеспечении всеобщего комфорта и благополучной жизни от рождения до ста лет? Является ли прогрессом разработка все более сложных моделей телефонов для просмотра на них все более убогих инфлюенсеров или для ежечасного отслеживания курса биткойна, куда вложены твои сбережения? Подобная «логика прогресса» на деле ведет к коллективному самоубийству – и уже в скором будущем... Но мы не хотим это видеть, не хотим нести ответственность за принимаемые нами решения. В этом и заключается современный нигилизм. Однако будущее не предопределено. Я продолжаю надеяться, что мы не обречены на массовую глупость и коллективное саморазрушение. Еще не поздно изменить реальность, задумавшись о том, каким могло бы быть будущее человечества.

Речь, однако, не идет о том, чтобы раз и навсегда установить модель идеального общества, как того хотел коммунизм. Представьте, что мы живем в коммунистическом обществе и что, как говорил Ленин, утром мы идем работать на завод, днем заседаем в правительстве, а вечером рыбачим. И поскольку таков идеальный строй, то время застыло. Можем ли мы вообще представить себе такое общество? Есть знаменитое выражение Гегеля – по-моему весьма удачное, – которое Раймон Кено взял для заголовка своего романа «Воскресенье жизни». Общество, о котором мечтали коммунисты, было именно таким «воскресеньем жизни». Мы боролись, мы добились желаемого, теперь все завершено, и можно расслабиться... Но разве можно представить будущее человечества как всеобщие праздность и довольство; будущее, где общество функционирует, как заведенные часы? Подобные утопии абсурдны, потому что человеческие общества устроены иначе!

– Советский коммунизм был попыткой воплощения идей Просвещения, он родился из тех же идеалов, что и либеральные демократии...

– И он был идеальным примером вырождения идей Просвещения через их упрощение. Абсурдно полагать, что можно отладить механизмы человеческого общества, чтобы они работали бесперебойно, как часы. Никакого «воскресенья жизни» не существует. И все же я продолжаю верить, что улучшение коллективной жизни возможно, не впадая в те крайности, гипертрофированным выражением которых был коммунизм. Я убежден в том, что общество и наш мир в целом могут быть лучше. Наши общества уже сделали гигантский шаг вперед. Чтобы осознать этот прогресс, достаточно вспомнить, на что была похожа жизнь промышленного пролетариата XIX века. Да, сегодня наши страны переживают период глубокого интеллектуального и морального упадка, можно даже говорить о тревожной деградации, но это еще не конец истории.

– Сегодня, очевидно, требуется найти какое-то новое равновесие между интересами личности и коллектива. В какой политической форме оно могло бы выразиться?

– У меня нет окончательного ответа на этот вопрос. Начинать действовать нужно на самом базовом уровне. Возможно, одной из ключевых проблем является состояние образования, которое на Западе сегодня оставляет желать лучшего. И это предвещает нам серьезные трудности в будущем. Мы хотим обеспечить здоровье и благосостояние людей, но будет ли это возможно, если у нас не будет хорошо подготовленных, знающих врачей? Сегодня уровень подготовки специалистов оставляет желать лучшего. Человечество нуждается в грамотных специалистах – но они не возникнут сами по себе. Многие в этой области требуют пересмотра. Система образования переживает глубокий кризис, и это касается всего западного мира.

– Многие французские авторы, такие как Жером Фурке, Жан-Пьер Ле Гофф и Мишель Анри, говорят о «девитализации», «дезинтеграции», «децивилизации» и «мягкой форме варварства», характеризующих западные общества. Кажется ли вам верным этот диагноз или он излишне мрачен?



– Я не сторонник катастрофизма. Да, есть определенные проявления «децивилизации», это очевидно. Но назвать это неразрешимой проблемой нельзя. Не стоит рисовать слишком апокалиптические картины полной деградации общества.

– *Можно ли сказать, что главным «цементом» западных обществ, объединяющим их граждан, является прежде всего общая приверженность идеалу безусловных прав личности?*

– Да, это так, и, к счастью, этот «цемент» довольно прочен. Нарушения норм общественной жизни, которые мы наблюдаем, – это следствие ослабления авторитета в самом широком смысле. Но эти проблемы решаемы, если мы действительно намерены заняться их устранением. Авторитет можно восстановить, например, пересмотрев чрезмерно либеральные практики в образовании. Жан-Пьер Ле Гофф нашел довольно удачное название – «мягкое варварство»: оно действительно мягкое, и бороться с ним можно без оружия и насилия. Апокалиптические пророчества неуместны: мы – не «Рим, который вот вот рухнет», и к нашим границам не движутся орды варваров. С нашими проблемами можно справиться посредством реформы системы образования и грамотных политических мер.

– *Хотя именно Запад инициировал глобализацию, сегодня он проигрывает от нее больше других, утверждаете вы. Почему он проигрывает?*

– По очень простой причине: начав глобализацию, Запад дал своим противникам инструменты, с помощью которых они его ослабили. Это главный стратегический вызов нашего времени. Запад совершил стратегический просчет, передав своим врагам оружие, которое они могут использовать против него. И сегодня он в растерянности. Мы ясно видим смятение наших лидеров перед враждебностью, которую они не предвидели и ее причины им непонятны. Они не понимают, потому что забыли историю, потому что не знают ее, они также не понимают культуры, которые отличаются от их собственной. Культура как таковая для них не имеет значения. Нами правят люди, у которых нет исторического сознания и, если можно так выразиться, этнографической осведомленности, интереса к многообразию. Это проявляется как в международной стратегии, так и во внутренней политике. Если взять весьма важную для наших стран проблему иммиграции, наши правящие элиты не хотят признать, что к нам приезжают люди с совершенно другой культурой и ценностями и что это не может не влиять на социальную целостность. Так называемое мультикультурное общество не существует – это миф, оксюморон. В рамках определенного общества должен иметься консенсус касательно общих для всех цивилизационных основ. В свою очередь мир действительно многообразен и мультикультурен, и эту реальность нужно учитывать, признавая значимость понятия культуры.

К сожалению, Запад слеп к этому. Он не желает признавать цивилизационное многообразие. Запад уверен, что он создал «правильную» цивилизацию, что это всем ясно и вопрос даже не заслуживает обсуждения. Но реальность существенно отличается от этих представлений, заходит ли речь о том, что творится внутри наших обществ или в мире в целом.

– *Что касается других мировых игроков, является ли их оценка более трезвой, чем западная, или их представления о реальности тоже искажены?*

– Здесь есть различия в зависимости от страны, но в целом многие из них тоже достаточно близоруки, потому что отказываются признавать реальность того, что они переживают, а именно тот факт, что они постепенно вестернизируются, хотя бы они этого или нет. Таким образом, они живут в самообмане. Например, стремление принца Мухаммеда бен Салмана сделать Саудовскую Аравию столицей мирового туризма, полагая, что можно при этом сохранить ваххабитский ислам, – это отрицание реальности. Мы наблюдаем повсеместное затмение разума, и оно по-настоящему опасно, поскольку ослепленные люди редко принимают разумные решения, а когда они к тому же имеют значительные ресурсы, способные причинить вред другим, ситуация легко может выйти из-под контроля.

– Международные конфликты, которые мы наблюдаем в последние годы, особенно на Украине и на Ближнем Востоке, иногда воспринимаются как попытка оспорить существующий порядок, основанный на западном доминировании, и как стремление не-западных стран изменить баланс сил в свою пользу. Разделяете ли вы это мнение?

– Новизна ситуации заключается в том, что наши противники осознали нашу слабость, и это, на мой взгляд, ключевой момент. Путин прекрасно понимает, что европейцы не готовы сражаться за Украину. Несмотря на воинственные речи наших правительств, он понимает, что у него есть шанс повернуть ситуацию в свою пользу, ведь немногие готовы погибать за украинский режим, природа которого к тому же вызывает сомнения. Это новая реальность, которая может иметь серьезные последствия. Например, если посмотреть на Китай и его правящий класс, то это решительные и методичные люди, четко понимающие, чего хотят, и готовые идти до конца в реализации своих целей. Они могут позволить себе такие действия, поскольку Запад ослаблен. Это факт: мы обладаем колоссальными ресурсами, но мы неспособны эффективно действовать.

– Франция оказалась особенно ослаблена глобализацией и очень тяжело переживает утрату своего исторического статуса великой державы. Она пожертвовала этим статусом ради европейского проекта или, точнее, пыталась реализовать свои амбиции через этот проект, но это не удалось. Почему?

– Фигура Эммануэля Макрона – это воплощение иллюзорной веры в Европу, веры, из-за которой французы буквально потеряли ориентиры, то есть перестали четко понимать, как отстаивать свои интересы. Франция – страна, которая очень тяжело воспринимает свой объективный упадок, что, впрочем, неудивительно. Французы всегда мечтали о величии, ведь они были великой европейской державой. Но на глобальной арене Франция мала, даже очень мала. В этом контексте Франция мечтала о продлении величия через Европу. Это был способ продолжить амбиции де Голля, но эти амбиции оказались обманчивыми. Де Голль дал Франции мировую роль, стремясь сделать из нее лидера неприсоединившихся, внеблоковых стран в годы холодной войны. Французские лидеры были обмануты этой иллюзией. Когда стало ясно, что этот план не работает, Франция попыталась занять лидерские позиции в Европе. Но и эта попытка была обречена на провал, поскольку сама структура Европейского союза изначально не предполагала подобной возможности. Особая ответственность лежит здесь на Жаке Делоре¹, который убедил французов, что Париж играет ведущую роль в строительстве Европы. Но реальность была иной: другие европейцы тоже имеют свое мнение, и часто оно не совпадало с Парижем по ключевым вопросам. Со временем членов ЕС становилось все больше, а голос Франции звучал все тише. Логично, что с ростом числа стран в ЕС все больше власти сосредотачивается в руках Европейской комиссии, так как именно она способна выработать более или менее жизнеспособные компромиссы. Сегодня французы продолжают мечтать о былом величии и не желают смириться со статусом страны среднего уровня, хотя по факту мы – первые среди последних. Эта иллюзия величия сохраняется, поскольку у нас все еще есть постоянное место в Совете Безопасности ООН, что позволяет нам говорить с великими державами на равных.

Французы гордились тем, что смогли навязать Европе свою политику «культурного исключения», но теперь на международной арене французская культура почти ничего не значит. Франция не поняла, что происходит; не осознала, что интеграция в единую Европу ускорила ее выход из клуба великих держав. Французская элита серьезно ошиблась, не предсказав последствия глобализации, которая ею же была и задумана.

¹ Жак Делоре, министр экономики при Франсуа Миттерране (1981–1984), глава Еврокомиссии (1985–1995), считается одним из главнейших архитекторов Евросоюза.



– Сегодня сама идея величия у многих вызывает резкое отторжение: критики рассматривают стремление к величию как неизбежно насильственное, колониальное, империалистическое, негуманное и тому подобное. Кажется ли вам, что поиск величия неизбежно сопряжен с насилием и жестокостью? И если перевернуть вопрос: возможно ли величие без насилия?

– Да, величие может быть достигнуто без насилия, потому что его можно добиться в самых разных сферах. Так, после эпохи Наполеона Франция вела только оборонительные войны (если не считать колониационные, но в них была задействована лишь малая часть населения). Франция всегда славилась политическим, интеллектуальным и культурным влиянием. Она – страна прав человека, ее политические идеалы вдохновляли мир. Ничто не мешает нам продолжать в том же ключе. Мы могли бы быть примером демократии. Мы могли бы создать систему высшего образования мирового уровня. Коллективной ошибкой французских элит было пренебрежение к нашим университетам. Еще двадцать лет назад у нас была одна из самых конкурентоспособных систем высшего образования в мире: при скромных вложениях мы добивались выдающихся результатов. Почему мы не могли бы развивать эти успехи?

– Не считаете ли вы, что с подобными задачами успешнее справляются страны, которые сохранили историческое мышление, которые продолжают задаваться фундаментальными вопросами – «кто мы?», «откуда мы пришли?», «куда мы идем?», в отличие от тех, кто утратил интерес к истории и культуре?

– Безусловно. Мы видим, как нас обгоняют другие страны. В глобализованном мире, мире конкуренции, нужно мыслить именно в конкурентных категориях. Каковы наши преимущества? В чем мы можем добиться выдающихся успехов? Франция, к примеру, по-прежнему является значимой научной державой, и это весьма достойная роль в мировом сообществе. Вместо сокращения финансирования науки ради увеличения пенсий нам стоило бы принимать дальновидные решения, направленные на укрепление нашего научного и культурного потенциала.

– Вы являетесь одним из подписантов трибуны против усиления супранациональной Европы¹. В ЕС всегда существовало противоречие между федеральным и межправительственным подходами. По вашим словам, сегодня сторонники федерализации намерены ускорить процесс передачи Брюсселю дополнительных полномочий. Удастся ли им это?

– Мне кажется, французские элиты готовы пойти на этот шаг по одной простой причине: чтобы снять с себя ответственность. Остро ощущая собственные неудачи, они в глубине души надеются, что Европа избавит их от позора и освободит от бремени обязательств. Этот важнейший вопрос, о котором практически не говорили в ходе предвыборной кампании лета 2024 года, на самом деле имеет ключевое значение.

– По всей Европе наблюдается рост популизма и новых форм отстаивания идентичности. Эти националистические движения, скорее, носят оборонительный, нежели агрессивный характер. Считаете ли вы, что они станут более агрессивными, как часто утверждают?

– Действительно, эти так называемые популистские силы предлагают скорее защитные меры, которые, как показывают выборы, вполне отвечают ожиданиям избирателей. Но в настоящее время мы оказались в странной ситуации, когда нам внушают, что народное голосование – это не демократия. Хотелось бы понять, что сегодня подразумевается

¹ Трибуна под заголовком: «Призыв 50 деятелей к референдуму против ускоренной федерализации ЕС» была подписана многими видными интеллектуалами и политическими деятелями Франции. В ней говорилось, что «постдемократическая федеральная система противоречит традициям Европы и Франции, а также коллективному самосознанию наших народов, которое питается <...> многообразием различных культур». Подписанты также выражали недовольство политикой ЕС на восточном направлении, углубляющей конфликт с Россией [3].

под «демократией». Вместе с тем я не думаю, что лидеры «Национального объединения» достаточно ответственны, чтобы вести политику национального примирения и компромисса, в частности, социального компромисса, на котором зиждется социально-демократическое государство. Сегодня у нас нет лидеров, способных на это, в этом и заключается политическая драма современности.

– Вы много работали над изучением тоталитарных режимов. Насколько уместно говорить о тоталитаризме в отношении режимов различных стран, которые, к тому же, менялись от одной эпохи к другой, как например СССР? Не служит ли сам термин «тоталитаризм» в современной историографии способом стереть различия между нацистским, фашистским и советским режимами?

– Термин «тоталитаризм» действительно должен использоваться осторожно и с оговорками, но у нас нет лучшего. Само понятие и его использование наглядно демонстрируют важный недостаток человеческого мышления: неспособность совмещать две идеи в рамках одной концепции. Нацизм и коммунизм были врагами по своей природе. Они сами себя определяли – первый как антикоммунизм, второй как антифашизм. Тем не менее оба режима относятся к одной исторической эпохе и имеют много общего в своих методах. Следует рассматривать их как диаметрально противоположные явления и одновременно как явления, вписывающиеся в общие исторические рамки. Сегодня термином «тоталитаризм» часто манипулируют в политических целях, отождествляя нацизм с коммунизмом, стирая различия между ними и, более глобально, искажая исторические данные для демонстрации превосходства современной модели общества. Это идеологическое, пропагандистское использование понятия.

– Вы не раз говорили, что тоталитаризм остался в прошлом, что он более невозможен. Но разве в сегодняшних обществах не практикуется еще более тотальный контроль над человеком (пусть и куда менее жестокий)? Не живем ли мы при «мягком» тоталитаризме, описанном в антиутопии Хаксли?

– Нет. Я бы даже сказал, что мы живем в условиях, прямо противоположных тоталитаризму. Намерение тоталитарного государства – создать порядок и подчинить все живое этому порядку. Сегодняшние общества, напротив, сталкиваются с угрозой хаоса, высокой энтропии и разложения, а не с угрозой установления жесткого контроля и порядка. Технологии действительно порождают зависимость и аддиктивное поведение, но это скорее фактор общественного беспорядка и разложения. Люди, взрослеющие в наших обществах, все меньше способны к самоконтролю и самодисциплине, а значит, в будущем и к полноценному выполнению профессиональных обязанностей. Для нормального функционирования общества потребления необходимы профессионалы, способные удовлетворить его запросы: производители, импортеры, продавцы и другие специалисты. Сегодня же многие вакансии остаются незаполненными из-за нехватки кадров, что является тревожным симптомом, указывающим на то, что мы перестали готовить людей, необходимых для поддержания нормальной работы наших стран. Думаю, главным риском для будущего является не тотальный контроль, а распад общества. Это угроза иного характера, хотя и не менее серьезная.

Литература

1. Gauchet, Marcel. L'avènement de la démocratie. Paris: Gallimard, 2007–2017.
2. Gauchet, Marcel. Le noeud démocratique. Aux origines de la crise néolibérale. Paris: Gallimard, 2024.
3. L'appel de 50 personnalités pour un référendum sur "le tour de vis fédéraliste" de l'Union européenne // Figaro Vox. 23.04.2024.

**«...если концепции Добра и Зла больше не существуют,
то за что вообще нам стоит бороться?»***

Интервью Наталии Руткевич с Эммануэлем Тоддом

Эммануэль Тодд (р. 1951) – французский историк, антрополог и демограф, широко известный своими оригинальными взглядами на развитие современных обществ, семейные системы и глобальные политические процессы. Родившись в семье интеллектуалов (его отец – журналист Оливье Тодд, а дед – философ-коммунист Поль Низан), Тодд получил блестящее образование в парижском Институте политических исследований, а затем в Кембридже, где изучал историю, социальную антропологию и демографию. Уже в 1976 году он привлек внимание публики книгой «Окончательный крах», в которой предсказал распад Советского Союза, – задолго до того, как этот сценарий стал казаться реальным. Эта работа утвердила его репутацию аналитика, способного проникать в суть социальных процессов с помощью оригинальных подходов.

Центральным элементом исследований Тодда является сравнительный анализ семейных систем, которые он считает основой социальных и политических структур. Он утверждает, что именно семейные структуры формируют идеологические, религиозные и политические установки народов. Исследуя разные типы семей – нуклеарные (авторитарные), и другие, – Тодд выявляет социологические и исторические закономерности, которые помогают понять развитие стран, их внутренние конфликты и потенциал для трансформации.

Работы Тодда пронизаны критикой неолиберальной экономической модели и глобализации, которые он рассматривает как главные причины обнищания и роста неравенства в западных обществах. Во многих своих книгах и статьях он резко критикует политические и интеллектуальные элиты, указывая на разрыв между интересами правящих классов и широкой общественностью. В книге «После империи» (2002), опираясь на данные по демографии, образованию и здравоохранению, Тодд предсказывает упадок США закат их мирового лидерства, говоря об их роли в дестабилизации глобального порядка. В «Классовых войнах во Франции XXI века» (2020) он анализирует последствия глобализации для французского рабочего и среднего классов, адаптируя марксистскую концепцию классовой борьбы к современным условиям.

Последняя книга Эммануэля Тодда «Поражение Запада» (2024), опубликованная в разных странах, включая Россию, вызвала широкий резонанс и оживленную дискуссию, сопровождалась критикой и обвинениями в пророссийской позиции. В книге Тодд анализирует раскол между западными странами и остальным миром, особенно в вопросах религии, демократии и экономического развития, что стало источником острых споров.

Руткевич Наталия Алексеевна, кандидат философских наук, журналист-политолог, франковед.
E-mail: nroutkevitch@yahoo.fr

Тодд, Эммануэль, французский историк, антрополог и демограф, социолог, журналист.

Хотя в молодости Тодд был членом Компартии, он довольно быстро порвал с ней. Защищая такие ценности, как социальная справедливость, эмансипация женщин и терпимость, он тем не менее дистанцируется от современных левых течений, которые порой считают его взгляды реакционными.

Среди особенностей стиля Тодда – его прямота, образность, доступность и остроумие, что делает его работы увлекательными для широкой аудитории. Как неординарный мыслитель, он привлекает внимание способностью сочетать исторические, антропологические и экономические подходы, создавая глубокое и целостное представление об эволюции обществ.

– Сегодня, когда о Западе говорят как о некоем блоке, западные политики и обыватели обычно подразумевают союз «свободных демократий» против «авторитарных режимов»: The West versus The Rest. Однако вы решительно опровергаете этот тезис, показывая, что исторически Запад вовсе не является единым блоком, что либеральные демократии больше таковыми не являются и что в целом Запад находится под угрозой поражения в ряде конфликтов с его участием, а также потери своего мирового лидерства и краха собственных основ. Что есть Запад в вашем понимании?

– Определять границы западного блока можно, руководствуясь несколькими соображениями, я бы выделил два возможных подхода. Первый – это узкое понимание Запада, включающее страны, в которых зародилась либеральная демократия и сформировались нормы, ставшие сегодня доминирующими. Этот Запад включает Англию, США и Францию, а его ключевыми моментами являются Славная революция в Англии 1688 года, Декларация независимости США 1776 года и Французская революция 1789 года.

Однако современное понятие Запада обычно охватывает гораздо более широкий круг стран, достигших высокого уровня промышленного развития и образования благодаря долгому процессу модернизации. Эти страны объединены в военный альянс и декларируют общие ценности. Тем не менее исторически этот «широкий» Запад не был исключительно либеральным, ведь именно он породил такие явления, как итальянский фашизм, немецкий нацизм и японский милитаризм.

В своей последней книге «Поражение Запада» я подробно разбираю различия в семейных и политических моделях, которые исторически сложились в разных странах, ставших частью западного блока. Взять хотя бы Германию или Японию: они не пришли к либеральной демократии естественным путем, а были вынуждены принять ее под давлением американского военного вмешательства.

Современный Запад – это блок НАТО и мейнстримное политическое и информационное пространство. Он находится под руководством США и сплочен благодаря их военному контролю. Вторым элементом, цементирующим западный блок, является извлечение наибольших выгод от глобализации. Подчинение США и эксплуатация ресурсов остального мира – вот те факторы, которые сегодня определяют принадлежность к Западу.

В своей книге я придерживаюсь этого широкого понимания Запада, однако при этом учитываю сосуществование либерального и авторитарного Запада. Кстати, к последнему могла бы принадлежать и Россия, если бы ее предложения 1990-х и 2006 годов были приняты западным блоком.

– Вы говорите не только о том, что сегодняшний «либерально-демократический Запад» включает в себя страны, исторически далекие от либерализма, но и о том, что воздействие нелиберальной Германии на развитие Запада было не менее, а возможно и более определяющим, чем освободительные революции либерального ядра Запада – США, Франции, Соединенного Королевства.

– Совершенно верно. Протестантизм, зародившийся в Германии, сыграл ключевую роль в становлении Запада. Ранний экономический подъем этого региона, отличавший его от других частей мира, был вызван двумя культурными революциями: итальянским Возрождением и немецким протестантизмом. Наша современность во многом сформировалась под влиянием авторитарных традиций. Протестантизм, исходя из своих принципов, делал акцент на грамотности, поскольку каждый верующий должен был самостоятельно читать Священное Писание. Это способствовало формированию образованного общества, что, в свою очередь, стимулировало технологический и экономический прогресс. В результате протестантская религия сыграла важную роль в создании высокоэффективной рабочей силы.

Хотя промышленная революция началась в Великобритании, а наиболее мощный экономический рывок произошел в США, центральное место в развитии Запада заняла Германия. Протестантская часть западного мира находилась на пересечении либерализма и авторитаризма, образуя культурный и политический мост между англосаксонским миром и Германией. Протестантизм стал ключевым элементом западной истории, влияя не только на образовательный и экономический прогресс, но и на распространение идеи неравенства. Кроме того, он заложил основу для формирования национальных государств. Ошибочно полагать, что концепция нации возникла с Французской революцией; именно протестантизм впервые дал народам осознание себя как коллективных субъектов с уникальным общественным сознанием.

Накануне Первой мировой войны Макс Вебер в своей знаменитой книге справедливо утверждал, что подъем Запада был, по сути, подъемом протестантского мира – Англии, Соединенных Штатов, Германии, объединенной Пруссии и Скандинавии. Благоприятное географическое положение Франции, находящейся рядом с этими ведущими силами, способствовало ее успеху. Протестантизм, требуя, чтобы каждый верующий мог самостоятельно читать Библию, привел к высокому уровню грамотности. Страх перед вечным проклятием и стремление к поиску знаков избранности формировали трудовую этику и прочную моральную основу как на индивидуальном, так и на коллективном уровне.

Однако протестантское мировоззрение имело и негативные последствия, такие как расизм в отношении чернокожих в США и антисемитизм в Германии. Разделяя людей на «избранных» и «проклятых», протестантизм отвергал католический принцип равенства. Тем не менее благодаря образовательному преимуществу и трудовой этике Запад добился значительных успехов в экономическом и промышленном развитии.

– Книга «Поражение Запада» – это, по вашим словам, продолжение работы Вебера о протестантизме. Он писал о становлении западного мира на основе протестантской этики, вы – о его падении в связи с исчезновением последней. Ведь именно с этим, по-вашему, связан нынешний кризис Запада?

– Нынешний кризис Запада имеет множество причин и проявлений, но его истоком является религиозный кризис – кризис общих верований, который ведет к утрате способности к коллективному действию. Постепенное ослабление протестантизма (современные евангелические движения, по моему мнению, сильно отличаются от классических форм) стало причиной интеллектуального упадка, исчезновения трудовой этики, замененной на культ жадности и потребления (который официально именуется «неолиберализм»). Я говорю об этом без ностальгии и сожаления, ведь протестантизм породил и ужасающий расизм; я просто констатирую исторический факт.

Сегодня Запад вступил в фазу, которую я называю нулевой фазой религиозности. В своих предыдущих книгах я разработал концепцию состояния религиозности в фазе зомби: когда вера исчезает, но обычаи, ценности и коллективные практики, унаследованные

от религии, остаются и часто трансформируются в идеологии – националистические, социалистические, коммунистические. Однако на рубеже третьего тысячелетия религия достигла нулевого состояния. Я определяю это состояние с помощью трех индикаторов – будучи поклонником Дюркгейма, основателя количественной социологии, я всегда ищу статистические показатели для оценки моральных и социальных явлений.

Вот эти индикаторы. В состоянии зомби-религиозности люди уже не посещают мессу, но продолжают крестить своих детей; сегодня же исчезновение обряда крещения стало очевидным – религия достигла нулевого состояния. В состоянии зомби-религиозности умерших по-прежнему хоронили по церковным традициям, отвергая кремацию; теперь же кремация стала доминирующей практикой – удобной и дешевой, что также знаменует нулевое состояние. Наконец, гражданский брак в период зомби-религиозности сохранял традиционные черты религиозного брака – один мужчина, одна женщина, дети, которых необходимо совместно воспитывать. Однако с появлением однополых браков, не имеющих никакого смысла с точки зрения религии, общество вышло из зомби-состояния. Законы о браке для всех стали вехой, фиксирующей новое – нулевое состояние религиозности. Во Франции, например, можно с точностью судить о начале этой нулевой фазы – это принятие закона о браке для всех в 2013 году.

– Вы говорили о том, что новые нормативы, касающиеся сексуальных меньшинств, являются чем-то большим, нежели просто выражением толерантности. «Идеология ЛГБТ» – это центральный элемент западного мировоззрения, которое Запад пытается навязать остальному миру и которое вызывает резкое отторжение во многих регионах...

– Изучая эволюцию прав сексуальных меньшинств при написании моей предыдущей книги о феминизме, я пришел к пониманию того, что эти вопросы выходят за рамки защиты прав сексуальных меньшинств, что они занимают ключевое место в геополитике. Запад проявил удивительную наивность, не осознав, что его идеология ЛГБТ не воспринимается остальным миром так, как они ожидали. Это явное непонимание окружающего мира открыло для России огромные возможности позиционировать себя как консервативную державу на мировой арене, ведь сопротивление западной ЛГБТ-идеологии гораздо сильнее, чем на Западе привыкли думать.

Если я говорю об идеологии – так это потому, что речь идет о чем-то ином, нежели просто о защите прав сексуальных меньшинств. Эти меньшинства всегда существовали, и их право на достойное и спокойное существование представляется мне очевидным. Однако «Т» в ЛГБТ – это нечто иного порядка. Трансгендерность – это, по сути, отрицание биологической реальности. Гипертрофированное внимание, которое западный средний класс уделяет проблеме, которая касается крошечного меньшинства граждан, вызывает вопросы. Утверждать как социальную норму, что мужчина может стать женщиной, а женщина – мужчиной, означает провозглашать нечто биологически невозможное, отрицать реальность мира, выдавать ложь за истину. Я говорю это как ученый-антрополог: утверждать, что человек может менять пол, – это форма нигилизма, ухода от реальности. Современный Запад охвачен этим нигилизмом, и идеология ЛГБТ становится его центральным символом. По моему мнению, трансгендерная идеология – это один из флагов нигилизма, который теперь определяет западное общество, стремящееся к разрушению не только предметов и людей, но и самой реальности. Однако я не выражаю здесь ни негодования, ни эмоций – эта идеология существует, и я должен учитывать ее в рамках данной исторической модели.

– За эту позицию вас регулярно называют реакционером и консерватором. А вы считаете себя таковым?

– В моей книге о феминизме я в шутку говорю, что предлагаю революционное определение женщины как человека, способного выносить ребенка, и мужчины как человека,

на это неспособного. Подобное «революционное» открытие, однако, не делает из вас консерватора, это просто значит, что вы не впали в нигилизм и сохраняете рассудок. Я не считаю себя консерватором, потому что не стремлюсь к сохранению политического статуса-кво и верю в прогресс.

– Ваша репутация консерватора только укрепилась после выхода книги о феминизме [1], где вы утверждаете, что патриархат в привычном нам смысле никогда не существовал в западных обществах. Этот тезис крайне шокировал многих борцов за права женщин...

– Да я считаю, что термин «патриархат» – это идеологическая конструкция и что говорить о существовании некой единой для всех системы патриархата бессмысленно. Разные типы семейных структур в Европе способствовали возникновению весьма различных отношений между полами, что исключает какой-то единый «патриархат». Я опровергаю и распространенное представление о том, что в более отдаленные исторические периоды угнетение женщин было сильнее. Это совсем не так. Западные общества даже до революции последних семидесяти лет были очень близки в своих обычаях к охотникам-собираателям, у которых статус женщины был высоким.

Практически во всех уголках мира женщины всегда обладали определенной автономией, особенно в семейных и бытовых вопросах, что ставит под сомнение абсолютное доминирование мужчин. В ряде культур наследование шло по женской линии, обеспечивая женщинам экономическую и социальную значимость. Религия хотя и поддерживала мужское господство, открывала женщинам доступ к определенным сферам влияния, таким как образование и духовное наставничество. Поэтому считать женщин исключительно угнетенной и подчиненной группой неправомерно.

– Вы говорите о том, что женская эмансипация, сторонником которой вы являетесь, имеет свою цену и что ее последствия двойственны...

– Я безусловно поддерживаю женскую эмансипацию и вижу все ее позитивные стороны, но нужно честно и трезво оценивать все ее последствия, в том числе и менее позитивные. Во-первых, в современных обществах женщины отныне сталкиваются с теми же проблемами, что и мужчины, испытывают те же психосоциальные проблемы, которые раньше были присущи в первую очередь мужчинам: классовое недовольство, растерянность, тревогу за свое будущее, отчуждение, неуверенность в завтрашнем дне и так далее.

Женская эмансипация развивалась одновременно с распадом коллективных верований и процессом деиндустриализации, и все эти явления тесно взаимосвязаны. Доступ женщин к высшему образованию способствовал переходу экономики к сфере услуг, сопровождаемая спадом промышленного производства. В итоге мы видим, что феминистически ориентированные страны превращаются в сервисные и потребительские экономики, передавая свое производство регионам, где сохраняется промышленная база и определенная форма мужского доминирования – например, в Восточную Европу и Азию. Бывшие социалистические страны (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния) стали своего рода «Китаем Европы», что позволяет Западу фокусироваться на развитии сектора услуг и потребления, тем самым усиливая женскую эмансипацию.

Запад сегодня полностью зависит от труда жителей Востока, при этом нередко осуждая их за «традиционализм» и «отсталость». С одной стороны, он переносит туда свое производство, с другой – пытается экспортировать свои «прогрессивные» нормы и взгляды. Но тут уж нужно делать выбор между своими экономическими интересами и моральной позицией!

Наконец, еще одно не очень приятное последствие: современный феминизм, в отличие от более ранних движений за женские права, зиждется на антагонизме между

мужчинами и женщинами. Он рассматривает отношения между мужчинами и женщинами как борьбу за власть, где мужчины выступают угнетателями, а женщины – угнетенными. Этот феминизм носит ярко выраженный идеологический характер и разделяется в основном женщинами из академической среды, которых трудно назвать жертвами патриархального угнетения. То есть классы, продвигающие борьбу против мужского доминирования, сами от него не страдают. Носители этой идеологии забыли ту простую истину, что союз мужчины и женщины – это самая базовая система взаимопомощи. Изначально функция пары – гарантировать выживание и продление рода, в основе ее лежит солидарность между мужчиной и женщиной. На мой взгляд, современному обществу нужно не столько дальнейшее продвижение женской эмансипации, которая уже состоялась, сколько переоценка важности взаимной поддержки в паре и укрепления чувства принадлежности коллективу, которые сейчас пребывают в упадке.

– Возможно, вы – консерватор в онтологическом смысле, если верите в некую неизменную природу человека, в данную нам биологическую реальность и даже, возможно, в человеческую природу в аристотелевском смысле, то есть человека как животного социального...

– Но для меня это не консерватизм, а просто здравый смысл! Это рационально, в отличие от многих элементов политической философии современного прогрессизма, которые порой иррациональны. Некоторые из этих элементов можно найти уже в «Общественном договоре» Руссо, но сегодня само понятие прогресса искажается, как и понимание того, что такое «консерватизм». Ранее он был противопоставлен прогрессу, который действительно имел позитивное значение: он означал промышленное развитие, повышение грамотности, улучшение материальных условий жизни, эмансипацию людей и другие важные и нужные достижения.

Я всегда верил в социальный прогресс и эмансипацию. Но те, кто сегодня называют себя прогрессистами, на самом деле не имеют отношения к прогрессу. Это скорее апологеты упадка и какого-то коллективного помешательства. Мы больше не находимся в привычной дихотомии «консерватизм – прогрессизм», а перешли к новой: «консерватизм – декаданс». И если уж выбирать между консерватизмом и декадансом, я, безусловно, выберу консерватизм.

– Вы всегда считали и продолжаете считать себя человеком левых убеждений, но, похоже, сегодня вы почти во всем не согласны с современными левыми (для которых являетесь реакционером). Что для вас означает быть левым? Какая политическая партия сегодня воплощает ваши убеждения? И вообще уместно ли еще говорить о делении политического спектра на левых и правых?

– Что касается меня, то по своим убеждениям и взглядам я, безусловно, остаюсь левым. Я верю в идею равенства, считаю ее правильной и необходимой. Стремление к большей социальной справедливости – это, на мой взгляд, основа достойного общества. Я убежден, что лучшая возможная система – это смешанная экономика, где рынок и государство взаимодействуют для общего блага. Все классические и умеренные левые ценности по-прежнему для меня важны. Я придерживаюсь либеральных взглядов на социальные вопросы, выступаю за сексуальную свободу, эмансипацию и защиту сексуальных и репродуктивных прав, но без крайностей, свойственных современным активистам. В отличие от них я не считаю, что сексуальность должна быть основой социальной идентичности или играть ключевую роль в общественной жизни. Я – классический левый, каких почти не осталось, своего рода реликт, ископаемое. Найти движения, воплощающие мой идеал, в современной политике практически невозможно.

По сути, сегодня левых почти не осталось – в какой-то степени все стали правыми. В мире есть страны, где левых вообще нет, и примером такой страны для меня служит

Япония. Это удивительное государство, где, можно сказать, все придерживаются правых взглядов.

Если говорить о том, что значит быть левым, существует два основных определения. Самое базовое – это приверженность идеалу равенства в сочетании с верой в прогресс. В контексте Франции к этому стоит добавить уважение к индивидуальной свободе, но в рамках четко определенной социальной структуры. Однако сегодня вера в равенство и прогресс почти исчезла, я их не вижу. Поэтому я бы сказал, что большинство людей теперь фактически правые, не столько по убеждениям, сколько из-за отсутствия проектов, направленных на улучшение общества.

Эта нехватка прогрессивных идей проявилась особенно ярко во время политического кризиса лета-осени 2024 года, когда долго не удавалось сформировать правительство. Однако кризис не был столь серьезным, потому что Франция давно утратила свою суверенность. Мы ограничены европейскими нормативами, у нас нет ни денежной, ни торговой независимости. Франция сейчас больше похожа на крупный муниципалитет, чем на полноценное государство.

Посмотрите на состав Национального Собрания: оно состоит в основном из правых и крайне правых сил – центристы, макронисты и другие. Все они придерживаются правых ценностей, и этого даже не скрывают. Их политика направлена на поддержку богатых, пожилых, на сохранение статус-кво и заботу о своем благополучии.

– Тем не менее на досрочных парламентских выборах лета 2024 победили левые...

– Можно было бы подумать, что «Непокоренная Франция» Меланшона и «Национальное объединение» Ле Пен-Барделла действительно противостоят друг другу как непримиримые движения левого и правого спектра. Но если посмотреть на социальные силы, которые они представляют, то окажется, что это не так. Электорат «Национального объединения» состоит в основном из представителей низших слоев общества, в то время как «Непокоренная Франция» опирается на поддержку мелкой городской буржуазии, обедневших интеллектуалов и иммигрантов из пригородов, за чьи голоса активно борется.

У меня нет сомнений в том, что «Национальное объединение» – это правое движение. Хотя среди их избирателей много малообеспеченных людей, они не верят в идеал равенства. Я хорошо знаю подобных людей, они не стремятся к равенству в обществе. Вы спросите почему многие представители низших слоев общества утратили веру в этот идеал? Возможно, объяснение стоит искать в марксистских или даже ленинских теориях. Или, можно копнуть еще глубже и обратиться к Джону А. Гобсону¹, который, хотя и был либералом, предвидел возможность того, что Европа будет процветать за счет эксплуатации других народов.

Если рассматривать французское общество как сообщество, которое больше не производит, а получает прибавочную стоимость от труда других стран, то можно рассматривать его как своего рода глобальных эксплуататоров. Это общество потребителей, которым чужды идеи равенства, потому что их благосостояние напрямую зависит от труда других народов, живущих в худших условиях. Именно поэтому французы не стремятся к переменам и хотят сохранить текущий порядок как можно дольше. И вот почему современная Франция – это в целом консервативное общество.

В этом контексте стратегия Жан-Люка Меланшона и его движения – это тупиковая стратегия, направленная лишь на блокировку политической системы. Решить этот кризис было бы несложно, если бы «Непокоренная Франция» и «Национальное объединение» смогли договориться, отказавшись от своей показной вражды. По сути, договориться было

¹ Джон Аткинсон Гобсон (1858–1940), британский экономист, оказал важное влияние на работу В.И. Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма».

бы не так уж сложно: одни должны признать законность контроля за иммиграцией, другие – тот факт, что французы иммигрантского происхождения обладают теми же правами, что и остальные граждане. Но кажется, что реальной целью является не поиск решений для страны, а намеренный иммобилизм политической системы.

Было бы слишком легко во всем винить Макрона. Я был среди первых, кто подверг его жесткой критике, и мое мнение о нем с тех пор не изменилось. Но сам факт появления такого абсурдного политического персонажа, как Макрон, стал возможен лишь в условиях партийной системы, где, по сути, есть только консерваторы, сторонники политического статус-кво. У партий и правительства могут быть молодые лидеры – Макрон, Атталь, Барделла, – но это лишь визуальное «рекламное» обновление. На деле же они представляют интересы стареющей и консервативной Франции, которая всеми силами тормозит всякие значительные перемены.

– Можно ли сказать, что ваше видение окончательно оформилось в дни массовых манифестаций в поддержку «Шарли Эбдо» 10 и 11 января 2015 года. В тот момент, когда все говорили о национальном единстве и о том, что страна сплотилась вокруг своих фундаментальных ценностей, таких как светский характер государства и свобода слова, вы, напротив, высказали мнение, что общество утратило самообладание, а происходящее – это не что иное, как демонстрация превосходства высших классов. Ваши выступления и написанная по «горячим следам» книга «Кто такой Шарли?» (2015) вызвали тогда крайне резкую критику, ведь они шли вразрез с господствующим в обществе настроением...

– Когда я начал изучать картографию манифестаций 11 января, их распределение по региональным, социально-профессиональным и религиозным параметрам, то сразу понял, что все эти речи о национальном единстве были вздором.

Социологические опросы указывали на то, что среди демонстрантов преобладали представители так называемых руководящих и интеллектуальных профессий. Это и объясняет масштаб демонстраций в Париже, Тулузе, Гренобле и других крупных городах. На манифестации вышла Франция высшего среднего класса, в то время как представители низших классов, молодежь из пригородов и трудящиеся из провинции проигнорировали это событие.

Однако для меня еще важнее другое наблюдение – огромная активность в регионах с глубокими католическими корнями. Здесь стоит вспомнить мою давнюю теорию о двух Франциях. С одной стороны, это светская и республиканская Франция: Парижский бассейн, средиземноморское побережье, та самая Франция, которая поддерживала Революцию. С другой стороны, католическая и антиреволюционная Франция: запад страны, часть Центрального массива, регион Рона-Альпы, Лотарингия, Франш-Конте. Сильное католическое влияние сохранялось здесь вплоть до конца Второй мировой войны.

Что сразу привлекло мое внимание – это поразительный контраст: 11 января уровень мобилизации в светской и революционной Франции был вдвое ниже, чем в периферийных регионах, традиционно склонных к антидемократическим настроениям. Те регионы, которые в прошлом были наименее республиканскими, теперь оказались самыми активными защитниками светскости. Это вызывает недоумение. В бывших католических бастионах люди яростно отстаивали право на богохульство. Я назвал их «католиками-зомби». Таким образом, я не воспринимал манифестации в защиту «Шарли Эбдо» как защиту светскости в прежнем смысле. Речь шла о чем-то совсем другом.

– Иначе говоря, защита свободы слова была для этих демонстрантов не более чем ширмой для защиты своего буржуазного образа жизни? Более того – вы заявили, что впервые в жизни вам было стыдно за страну...

– Я всегда был патриотом и защищал свою страну, но впервые задумался: если Франция превращается в подобное общество, могу ли я по-прежнему ее защищать? Когда



четыре миллиона человек собираются, чтобы заявить, что насмешки над чужой религией – их неотъемлемое право, а может, даже обязанность, и при этом эти «другие» – самые уязвимые слои общества, можно сколько угодно убеждать себя, что ты стоишь на стороне добра и справедливости и что твоя страна – оплот гуманизма. Но это иллюзия. Как Дюркгейм в исследованиях о суициде или Вебер – о социологии, я в своих работах пытаюсь позволить людям осознать истинные ценности, которые движут их поступками, даже если они сами этого не видят.

За фасадом благих намерений и самовосхваления скрывается нечто совершенно иное. Безусловно, среди тех, кто пришел на манифестации 11 января, было много людей, не осознающих цели своего участия. Однако участвовать в таком массовом событии, не понимая его смысла, – это недопустимо.

Наблюдая за этими демонстрациями, я вдруг осознал подлинную природу французской социальной и политической системы. Это уже не Республика, стремящаяся учитывать интересы всего общества, а некая «нео-Республика», которая объединяет лишь свою привилегированную верхушку – образованный средний класс и пожилых людей. Этот гегемонистский блок обладает огромной инерцией, парализующей систему. Он исключает и маргинализирует другие общественные группы: избиратели «Национального объединения», а значит, с социологической точки зрения – новый рабочий класс (в связи с масштабной деиндустриализацией в эту категорию можно включить и промежуточные профессии), а также дети иммигрантов, которые не участвовали в манифестациях. «Нео-Республика» – странное социополитическое формирование, которое продолжает использовать лозунги свободы, равенства и братства, которыми некогда прославили Францию. Однако на деле страна стала неравноправной, ультраконсервативной и закрытой и напоминает антидрейфусарскую, католическую и вишистскую Францию. Когда я это говорю, мои слова, разумеется, вызывают шок у многих моих сограждан.

– Вы считаете неоправданным страх многих французов перед исламом, их опасения в связи с тем, что многие мусульмане не разделяют ценности светского государства, не готовы жить по его правилам?

– Сегодня страх перед исламом стал одной из центральных проблем нашего общества. Я же пытаюсь изменить этот угол зрения и показать, что реальная проблема состоит в том, что Франция, особенно ее средний класс, переживает религиозный кризис. Французское общество погружено в глубокий духовный вакуум после утраты своих традиционных верований, но, вместо того чтобы осознать это, возлагает вину на мусульман, делая их козлами отпущения.

На фоне ослабления религиозности Франция неожиданно начинает заикливаться на религиозных символах. Все отныне пропитано религиозными вопросами, хотя сама вера исчезает, и ее место не занимает ни новая идеология, ни какая-либо ценностная система.

– Вы много писали о влиянии семейных моделей на политическую культуру обществ. Например, англосаксонский либерализм возникает там, где семьи билинейные и нуклеарные, в то время как авторитарный коллективизм (в частности, советский коммунизм) является естественным результатом патрилинейной коллективной модели. Сохраняют ли сегодня эти исторические модели свое значение, если традиционная семья все больше заменяется нуклеарной?

– Вы говорите о нуклеарных домохозяйствах, о процессах перехода к нуклеарным домохозяйствам, которые происходят с разной скоростью в разных странах. Растет и число неполных семей, разводов, смешанных семей. Но изменение состава домохозяйств не обязательно влечет за собой изменение семейной модели. Я определяю семейную модель как набор ценностей, которые организуют жизнь домохозяйств на определен-

ной территории. Одно время я полагал, что эволюция семейных систем приводит к их конвергенции, но теперь склонен думать, что они развиваются параллельно и не обязательно сходятся.

В своей книге «На каком этапе мы находимся?» (2017) я объясняю, что семейные модели сохраняются, несмотря на изменения в структуре домохозяйств. Таким образом, даже в условиях трансформации домохозяйств глубинные логики, вытекающие из исторических семейных структур, сохраняются и формируют социальные взаимодействия и индивидуальные идентичности. Поэтому распад сложных немецких или русских домохозяйств не означает исчезновение таких немецких ценностей, как авторитет и неравенство, или таких русских ценностей, как авторитет и равенство.

Это постоянство важно учитывать для понимания современных социальных конфликтов и динамики. Моя теория семейных структур стала неотъемлемой частью моего научного анализа, она крайне мне полезна для понимания и объяснения окружающего мира. Этот элемент обеспечивает преемственность в истории человеческих сообществ; знание семейных моделей дает понимание того, что именно позволяет им сохранять свою устойчивость.

Эти знания помогают мне как в оценке текущих событий, так и в прогнозировании. Например, когда в России случился бунт Пригожина, все комментаторы были крайне возбуждены и ждали переворота. Я же, опираясь на свой опыт и знания о русской семейной модели, сразу предупредил, что не стоит слишком нервничать и что через пару дней все утихнет. И хотя в своей последней книге «Поражение Запада» я больше говорю о религиозном факторе, нежели о влиянии семейных моделей, их сохраняющаяся устойчивость позволяет мне среди прочего предсказывать победу России в ее противостоянии с Западом.

– Мы уже говорили о неоднородности Запада как такового. Можно ли сказать, что глубинная неоднородность Европы объясняет неспособность ЕС к объединению? Будучи евроскептиком, вы считаете Евросоюз нежизнеспособным формированием...

– Европа – это мозаика культур, глубоко укорененных в различных семейных системах. Эти различия сохранялись на протяжении веков, несмотря на попытки политической и экономической унификации, такие как создание Европейского союза.

Об идее объединения континента посредством введения единой валюты стало известно на следующий год после того, как вышла моя книга «Изобретение Европы» (1990), над которой я работал много лет, изучая европейскую историю сквозь призму семейных систем. И поэтому эта идея сразу показалась мне безумной. Я очень хорошо знаю Великобританию, исследовал другие страны Европы и понимал, что между ними есть очень существенные различия, которые трудно или невозможно преодолеть. В этом желании слияния был элемент отсутствия здравого смысла, некая оторванность от реальности, которая проявилась уже тогда. Я же уже тогда, опираясь на свои исследования семейных систем, осознавал, что единая валюта не станет ключом к подлинному единству Европы.

– Вы также говорили о том, что идея о воссоединении Восточной и Западной Европы после периода искусственного разделения железным занавесом (основополагающая идея ЕС) – это миф, что Восточная и Западная Европа всегда сильно отличались друг от друга...

– В книге «Поражение Запада» я подчеркиваю, что накануне Второй мировой войны многие страны Восточной Европы находились под диктаторским или по крайней мере авторитарным правлением, а регион был охвачен антисемитизмом. Для историка, изучающего процессы в длительной перспективе, первое удивительное противоречие заключается в том, что Восточная Европа сегодня воспринимается как естественная часть Западной, лишь временно отделенная от нее советским империализмом. Такое восприятие искажает реальность: эти регионы всегда развивались разными путями – дополняющими,

но противоположными. В то время как экономическое и культурное развитие Западной Европы началось в Средние века и ускорилось в XVI веке, Восточная Европа оказалась в зависимом положении, превратившись в поставщика сельскохозяйственной продукции и сырья в обмен на промышленные товары с Запада. Таким образом, она стала своего рода «первым третьим миром», периферией Запада. Этот факт остался неосознанным, поскольку само понятие «третий мир» появилось только в 1952 году, когда Восточная Европа уже находилась под советским влиянием.

Реинтеграция бывших советских сателлитов в западное пространство не принесла этим странам подлинной свободы, а лишь вернула им статус периферии, работающей на экономическое процветание Запада. Если в Средние века Восточная Европа специализировалась на сельском хозяйстве, то в условиях глобализации ее роль свелась к промышленному производству, в первую очередь для Германии. Пока рабочие классы Западной Европы терпели последствия глобализации, в бывших народных демократиях неожиданно возник новый пролетариат, о котором даже сталинизм не мог мечтать. Интеграция этих стран в Европейский союз сопровождалась демократизацией, но не привела к созданию государств-наций по западноевропейскому образцу. Наоборот, ЕС пополнился обществами с другой историей и самобытностью, что стало более очевидным на фоне русофобии и стремления восточноевропейских государств к интеграции в НАТО и ЕС. Это стремление не столько отражает подлинное родство с Западом, сколько указывает на отрицание собственной исторической и социальной идентичности.

Я называю нынешнюю позицию восточноевропейских стран (за исключением Венгрии) «неаутентичной», поскольку их русофобия на деле представляет собой попытку забыть, как многим они обязаны своему бывшему «властителю» – России, особенно в плане промышленного и образовательного развития. Показателен контраст: эти страны быстро простили Германии ее роль в их недавнем прошлом, но продолжают хранить непримиримость по отношению к России.

– Но можно ли утверждать, как вы это делаете, что европейская идея – это мертвая идея, хотя в странах ЕС за последние десятилетия выросло уже несколько поколений, которым настойчиво внушаются европейские ценности и европейская идентичность?

– Да, можно сказать, что в головы людей удалось вбить идею о принадлежности несуществующей общности. Утверждение европейской идентичности стало обязательным элементом современной политкорректности, навязываемым с подавляющей, почти тоталитарной настойчивостью. Я всегда любил Европу – мне приятно путешествовать по этому континенту, но у меня нет никакой европейской идентичности. Я определяю себя как француза. Возможно, я также бретонец, еврей, имею связи с англосаксонским миром, но я никогда не называю себя европейцем. Я особенно люблю Италию, Японию, Венгрию. Я всегда испытывал огромную благодарность к России, которая избавила нас от Вермахта.

Мне неприятна риторическая обязанность называть себя европейцем. Единая Европа – это провальный проект, у которого нет будущего. Нынешняя Европа – это уже не та добрая старая Европа общей сельскохозяйственной политики, промышленных проектов “Airbus”, “Ariane” и программы “Erasmus”. Это Европа, где процветает нездоровая конкуренция, неравенство, распри, мстительность и реваншизм. Европа движется к неминуемым кризисам. Она показала свою несостоятельность в ходе войны на Украине. Ось Лондон – Варшава – Киев – Вашингтон пришла на смену оси Париж – Берлин – Рим, то есть историческое ядро Единой Европы оказалось вытеснено.

Возможный выход из кризиса я связываю именно с восстановлением этого исторического ядра – альянса Германии, Италии и Франции, которые могли бы сообща вывести Европу из-под американского контроля, которому способствует координированная политика

Великобритании, Скандинавии, Польши и Киевской Украины. По всем опросам видно, что народные классы Германии, Италии и Франции противятся продолжению прокси-войны с Россией больше чем в других странах Европы.

– В двадцать пять лет вы получили известность благодаря книге «Окончательный крах», где предсказали распад коммунистической системы, опираясь на данные о самоубийствах и младенческой смертности. Позже, пересматривая свои выводы, вы подчеркнули другой ключевой фактор: рост уровня образования и появление широкого образованного среднего класса.

– Показателем, который дал мне уверенность предсказать крах СССР, стал рост младенческой смертности в период 1970–1974 годов, после чего публикация этих данных была прекращена. Младенческая смертность – это один из наиболее важных индикаторов, который отражает не только состояние системы здравоохранения, но и общее благосостояние общества. Ее рост был явным признаком дисфункции системы, но этого фактора было недостаточно для полного понимания ее краха. Позже я понял, что рост образованного среднего класса сыграл ключевую роль в крахе коммунистических режимов. Этот класс, обладая лучшим доступом к информации и различным благам, стремился к обогащению, расширению свобод и большему участию в политической жизни страны. Он оказался в противоречии с жесткими структурами авторитарного режима и стал главным двигателем перемен. Система, не сумевшая удовлетворить эти новые ожидания, рухнула под тяжестью своих внутренних противоречий.

– Уже много лет вы предсказываете неизбежный крах второй Великой Империи – Соединенных Штатов. Признаками этого распада для вас являются кризис системы образования, деиндустриализация, растущее неравенство и, что самое важное, глубокий религиозный кризис. Давайте рассмотрим эти явления по порядку.

– Начало кризиса образования в США я датирую 1965 годом, когда результаты тестов кандидатов в вузы начали снижаться по всем ключевым направлениям – математике, устной и письменной речи. В этот момент начинается то, что американский социолог Кристофер Лэш называл «бунт элит» – рестратификация общества, углубление неравенства и обособление высших слоев. Чуть позже началась делокализация производства в другие страны из-за глобализации, что привело к исчезновению рабочих мест в промышленности и ослаблению ее базы. Экономика США стала все больше концентрироваться на секторе услуг, менее устойчивом в долгосрочной перспективе. Зависимость от иностранных поставок ослабила инновационный потенциал страны и ее конкурентоспособность. Затем началось сокращение числа выпускников инженерных вузов, что обострило кризис. Американский ВВП сильно раздут – эти цифры не отражают реального промышленного производства. Удивительно, что элиты, средний и даже часть низших классов искренне верят, что манипуляции на фондовом рынке соответствуют реальной экономике. Они упускают из виду, что это больше не связано с производственной эффективностью. Чем дольше доллар поддерживается за счет притока иностранного капитала, тем слабее становится американская промышленность.

Но основная причина упадка США – это кризис протестантизма и разрушительная неолиберальная идеология, утверждающая примат индивида над коллективом. Эта вера в индивидуализм противоположна идеологии Советского Союза, где коллектив был всем, а личность – ничем. Это слепая вера, что рынок способен все урегулировать, исключая тот очевидный постулат, что индивид и коллектив дополняют друг друга.

Англосаксонский мир, навязавший остальным принципы свободной торговли и глобализации, сам теперь не выдерживает последствий своих ценностей. Даже для общества с глубоко индивидуалистическими традициями ультралиберализм оказался невыносимым. Без коллективной интеграции и эффективной системы социального обеспечения общество не может существовать – отрицание этих основ ведет к возрождению самых мрачных проявлений: расизма, милитаризма, войн.



Я вижу Запад как цивилизацию, истощившую свои моральные и социальные ресурсы. В то время как многие обеспокоены энергетическим кризисом, меня тревожит кризис социального и морального капитала. Наше религиозное наследие, которое служило двигателем роста Запада, исчерпано. Атомизация общества, старение населения, деиндустриализация и неспособность к коллективным действиям вызывают у меня глубокое беспокойство как человека, чья личная история тесно связана с Западом – Англией, Францией, США. И мне тяжело наблюдать их упадок.

– Вы часто используете понятие «нигилизм». Вы подразумеваете духовную пустоту, отсутствие общих верований, иррациональные постулаты о возможности смены пола, о которых вы говорили выше?

– Как я пишу в начале книги, война – это испытание реальностью. Здесь важны не слова, а реальные действия. Война показала, что амбиции и притязания Запада не подкреплены подлинной силой, слова не совпадают с делами. И эта проблема кроется гораздо глубже, чем просто нехватка промышленных ресурсов; она связана с самим отношением к реальности. То, что характеризует Запад, – это разрыв с реальностью (я упоминал об этом в связи с идеологией ЛГБТ или евростроительством на зыбком фундаменте), и его я и называю нигилизмом, считаю признаком упадка. Еще одно из проявлений отрицания реальности – это идея о том, что общество может существовать, не производя ничего самостоятельно, что можно «экспортировать» свой рабочий класс, ожидая, что трудящиеся и элиты эксплуатируемых стран будут вечно мириться с этой ситуацией. Все это разные грани нигилистического сознания.

– Можно ли сказать, что остальной мир избежал этого упадка, поскольку его моральные ресурсы еще не исчерпаны и он находится в стадии «зомби-веры» (а в некоторых случаях и активной веры)?

– Вполне возможно. Россия сталкивается с теми же проблемами рождаемости и торжества индивидуализма, что и западный мир. Я не верю в консервативную революцию и не верю в продвигаемую точку зрения о религиозном сопротивлении России Западу, о каком-то ее православном возрождении. Коммунизм стал возможен в России из-за упадка православной церкви, который предшествовал революции 1917 года, как и Французская революция 1789 года стала возможной вследствие кризиса католической церкви в период между 1730 и 1789 годами.

Тем не менее враждебность Запада может сыграть на руку российской системе, усиливая патриотизм и общественное единство. Санкции позволили российскому правительству внедрить широкую политику протекционизма, которую в других условиях было бы трудно навязать гражданам, и это может дать их экономике значительные преимущества перед экономикой ЕС. Война также способствовала укреплению социальной стабильности, хотя индивидуализм продолжает оказывать разлагающее действие на общественные устои и в России. Остатки семейной коллективистской и авторитарной модели лишь замедляют это воздействие. В своей основе Россия остается обществом «структурированного индивидуализма», как, например, Япония или Германия.

Интересно проследить движение нигилизма с Востока на Запад в ходе XX века. Если в начале века жесткие, оторванные от почвы идеологии возникли и прижились на востоке – в России и в Германии, в странах с авторитарной семейной моделью, то в конце века они переместились на Запад, в страны с нуклеарной индивидуалистической моделью. Сегодня наш черед терять рассудок и переживать нигилистический кризис.

– В итоге вы утверждаете, что вера в то, что эмансипация личности и освобождение ее от навязанных коллективных убеждений и обязательств приведут к прогрессу общества в целом, оказалась иллюзорной...

– Если говорить на языке психоанализа, индивидуум, лишенный моральных и коллективных ориентиров, становится беднее в духовном и личностном плане, поскольку у него не формируется полноценное суперэго. Однако нельзя отрицать прогресс и его достижения. Взять хотя бы снижение смертности – это поистине удивительное явление. Или возможность рожать детей без страха за жизнь матери и ребенка – разве это не прекрасно? Во Франции уровень младенческой смертности снизился до 3,5 на 1000. Кто осмелится сказать, что сокращение смертности с 30% до столь низкого показателя – это плохо? Кто осмелится заявить, что увеличение продолжительности жизни, достижения в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний и рост долголетия – не замечательные успехи? Люди умирают реже и позже, и это, безусловно, великое благо.

Но у любого прогресса есть свои издержки. Сегодня наше общество стареет, становится более консервативным и защищается от молодежи. Это приводит к стагнации и параличу развития. Но никто этого не желал, и это не чья-то вина – это просто один из парадоксов прогресса.

Подобное случалось и раньше. Когда люди изобрели земледелие, оно обеспечило стабильность. Но с ростом населения появились эпидемии, которых не знали охотники-собиратели. Вся история полна примеров того, как прогресс сначала открывает новые возможности, а затем порождает проблемы, которых никто не мог предсказать.

– Когда именно Запад сделал неверный шаг? Когда произошел этот поворот, который привел нас к нынешнему состоянию? Одни указывают на номинализм и протестантизм, другие считают, что само христианство, обращаясь к отдельному индивиду, неизбежно ведет к отказу от коллективных верований. Где же мы свернули с правильного пути?

– Вы говорите о неверном шаге, и это очень интересная метафора, потому что она антропоморфизует общественный процесс. Можно представить себе индивида или прусский полк, делающих неверный шаг, но общество нужно рассматривать в процессе естественного развития. Существуют определенные закономерности, которые можно наблюдать на примере античных обществ. Человеческие общества возникают для решения проблем нехватки ресурсов и трудностей существования. Все начинается именно так. Если они терпят неудачу, о них забывают, но если им удастся преуспеть, начинается подъем. Происходят великие свершения, условия жизни улучшаются, появляются возможности для дальнейшего развития.

В период подъема существуют определенные закономерности. Одним из важных факторов, способствующих этому подъему, является наличие сильных коллективных ограничений. Однако по мере повышения уровня жизни эти ограничения начинают ослабевать. В результате возникает стремление к индивидуальной свободе и самовыражению. Это приводит к отказу от ручного труда и неприятию его. Когда этот этап достигается, исчезают те силы, которые поддерживали эти общества, и они в итоге начинают рушиться.

Я уверен, что тот, кто изобрел сельское хозяйство, думал, что нашел решение всех проблем. В свою очередь, развитие начального образования преобразовало мышление, создав людей с другой способностью восприятия, людей, воспринимавших тексты всерьез – порой даже чрезмерно всерьез, как, например, тексты Гитлера или религиозные тексты. Я сам когда-то полагал, что развитие высшего образования будет исключительно позитивным для общества. Я думал, что высшее образование поможет множеству людей достичь более высокого уровня сознания и, почему бы и нет, повысить чувство социальной ответственности.

Однако реальность оказалась совершенно иной: люди с высшим образованием стали считать себя выше других и презирать тех, кто не достиг такого уровня. Это привело к обособлению элит и формированию стратифицированных обществ, которые мы видим

сегодня. Образовательная стратификация стала ключевой концепцией для понимания всей электоральной системы. Но предсказать все это было невозможно.

– Как, по вашему мнению, можно выйти из этого тупика и преодолеть бессилие и нигилизм, которые, как вы утверждаете, охватили западные общества?

– Сегодня почти все признают, что в основе кризиса коллективного действия лежит религиозный кризис. Существование религиозной матрицы политики – это общепринятая идея, равно как и признание связи между религиозной пустотой и атомизацией наших обществ, аморальностью наших элит, их коррумпированностью и жадой наживы. Поэтому считать, что решить сегодняшний кризис можно с помощью какого-либо технического решения – будь то в социальной, политической, экономической или геополитической сферах – является ошибочным. Очевидно, что мы не сможем найти решение религиозного кризиса в рамках политических, экономических или геополитических процессов.

Как же тогда вернуть обществу ту сплоченность, которую оно черпало из религиозных или квазирелигиозных систем мышления? Массовое возвращение к вере в Бога кажется маловероятным. Однако если не новая религия, то необходим коллективный моральный подъем, некая «квазирелигия», которая позволила бы нам, гражданам, осознать и признать все ничтожество нашего правящего класса. Такой подъем мог бы стать тем объединяющим фактором, который вернул бы обществу внутреннюю силу и единство.

Это и есть условие для политической реструктуризации, которое могло бы дать новый импульс индивидуальной самоотверженности и сделать возможным коллективное действие. Чтобы пожертвовать собой ради какой-то цели, нужна вера, а единственная вера, которую можно вообразить сегодня, – это любовь к родине. Нынешняя пустота объясняет, почему так трудно организовать эффективную классовую борьбу в мире, который стал не просто атеистическим, но и по-настоящему пострелигиозным. Ведь если концепции Добра и Зла больше не существуют, то за что вообще нам стоит бороться?

Литература

1. Todd E. Où en sont-elles ? Une esquisse de l'histoire des femmes. Paris: Seuil, 2022.

Альманах
Тетради по консерватизму
№ 3 2024

Редактор
Е.М. Кострова

Художественное оформление
В.И. Кучмин

Компьютерная верстка
А.В. Талалаевский

[http://www.essaysonconservatism.ru/
tetradipokonservatizmu@gmail.com](http://www.essaysonconservatism.ru/tetradipokonservatizmu@gmail.com)

Подписано в печать 28.10.2024. Формат 60х90 1/8. Усл. печ. л. 42.5
Тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Паблит»
127282 Москва, Полярная ул., д. 31В, стр. 1.
Тел. 8 (495) 685-93-18